



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

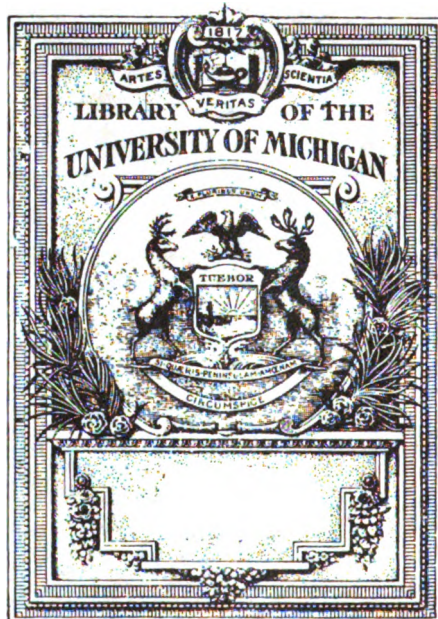
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

GRAD
891.79
P997
1907
v.3



THE GIFT OF
Dr. Deming B. Brown

3. Kucerebon².

Pyrin, Aleksandr Nikolaevich, 1833-1904

Istoriā russkoī literatury

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМЪ III.

- СУДЬБЫ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ.
- ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
- УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
- ЛОМОНОСОВЪ.

А. Н. ПЫПИНА.

ИЗДАНИЕ 3-Е, БЕЗЪ ПЕРЕМѢНЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. остр., 5 лин., 28.

1907.

891.79
P997
1907
v. 3



9653

52
J. H. H.
J. H. H.
J. H. H.
8-26-94

[Предисловіе перваго изданія].

Въ предисловіи къ I-му тому мы указывали, почему нашли нужнымъ отступить отъ обычнаго приема — изложенія народной поэзіи въ самомъ началѣ литературной исторіи: въ томъ составѣ, какъ мы знаемъ народную поэзію теперь, это — явленіе сравнительно позднее, съ архаическими остатками и съ новыми наслоеніями и образованіями, между прочимъ именно подъ вѣдѣніемъ позднимъ вліяніемъ, и въ виду послѣдняго она не можетъ стать во главѣ исторіи, какъ исходный пунктъ. Съ этой точки зрѣнія мы остановились на народной поэзіи только въ ея историко-литературныхъ отношеніяхъ: современное положеніе вопроса мы указывали въ библиографическихъ примѣчаніяхъ. Критики серьезные признали основанія этого изложенія. Цѣлый вопросъ о народной поэзіи все болѣе усложняется съ развитіемъ науки, отражающимся новыми изысканіями и у насъ: объясненіе народной поэзіи связывается съ археологіей быта, міѳологіей, христіанскими древностями и исторіей легенды, психологіей народнаго творчества и языка, изученіемъ поэтической формы и музыкальнаго ритма. Эти точки зрѣнія частью намѣчены и у насъ, но изслѣдованія въ большинствѣ вопросовъ едва начаты. Цѣльное изложеніе народной поэзіи, — не только въ ея историко-литературныхъ отношеніяхъ, — потребовало бы особаго обширнаго труда, котораго я не имѣлъ въ виду.

Въ томъ же предисловіи замѣчено, что въ изложеніи новаго періода русской литературы необходимъ другой приемъ. Если старая письменность нерѣдко почти не знала хронологіи, и въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ держались однородныя направленія и складъ памятниковъ, то здѣсь хронологическая послѣдовательность и возростаніе есть существенная черта и интересъ исторіи, — каждое поколѣніе приносить новую ступень развитія. вмѣстѣ съ тѣмъ факты новой литературы болѣе извѣстны. Это опредѣлило программу втораго отдѣла моего труда. Историческое изложеніе можетъ ставить разныя задачи: болѣе или менѣе подробный инвентарь фактовъ — біографію писателей и исторію

книгъ; или историко-эстетическую оцѣнку художественнаго творчества въ разныхъ областяхъ поэзіи; или исторію общественности, какъ отражалась она въ литературѣ, и т. п.; я имѣлъ въ виду объясненіе основныхъ явленій въ историческомъ движеніи новой литературы, ея развитія въ направленіи художественномъ и общественномъ.

Съ особенной подробностью я остановился на томъ историческомъ переломѣ, который произведенъ былъ реформой Петра. До сихъ поръ повторяется мнѣніе объ этой эпохѣ, какъ о насильственномъ перерывѣ національнаго развитія, будто бы требующемъ исцѣленія, возврата къ старинѣ, отрицанія европейской цивилизаціи; безпристрастная оцѣнка фактовъ указываетъ, напротивъ, какъ издавна, задолго до временъ Петра, возникаетъ это движеніе, и какъ оно развивается въпослѣдствіи, органически разрастаясь, даже независимо отъ воздѣйствій Петра и несмотря на весь упадокъ преобразовательной дѣятельности при его преемникахъ. Какъ Петръ Великій былъ, въ чертахъ своего времени, могучимъ образцомъ русскаго человѣка, такъ въ половинѣ столѣтія самымъ сильнымъ представителемъ движенія является другой чисто русскій человѣкъ, Ломоносовъ.

Реформа была только выраженіемъ настоятельной потребности государства и народа въ новомъ просторѣ для ихъ жизненной силы. Разладъ въ народной жизни, „расколъ“, произошелъ задолго до Петра, въ условіяхъ стараго русскаго быта, и поддерживался только тѣми же условіями, перешедшими и въ новый историческій періодъ. Реформа шла поверхъ этого явленія, ставя новыя широкія задачи. За дѣломъ государственнымъ, за вѣншимъ утвержденіемъ національнаго бытія, и рядомъ съ нимъ, шло первое, хотя неполное и колеблющееся установленіе науки — невѣдомой прежде области, открывавшейся для народнаго ума; и чрезвычайно характерно исторически, что самую крупную силу въ этомъ направленіи сталъ въ XVIII вѣкѣ Ломоносовъ, человѣкъ изъ народа. Наперекоръ тому, что говорилось объ измѣнѣ народности, о рабской подражательности XVIII вѣка, видимъ, что въ первыхъ нескладныхъ попыткахъ для созданія будущей новой поэзіи ищутъ уже ея формы въ народной пѣснѣ, и Ломоносовъ, извлекая изъ чужой школы убѣжденіе въ единствѣ науки для всякаго просвѣщеннаго народа, ведетъ, даже съ необузданными крайностями, борьбу за „собственное и природное“.

Наука давалась не вдругъ; ее должно было завоевать трудами многихъ поколѣній, чтобы обогатить ея содержаніемъ на-

ціональну жизнь. И точно также только трудомъ многихъ поколѣній могло быть приобрѣтено и стать національнымъ достояніемъ и нравственной силой пониманіе искусства, вообще, и въ частности—поэзіи. И здѣсь, при всемъ естественномъ авторитетѣ иноземныхъ образцовъ, съ первыхъ опытовъ пробиваются уже черты русскаго содержанія и проблески будущаго разцвѣта поэтическаго языка.

Изученіе этого процесса развитія новой литературы отъ временъ Петра и Ломоносова до самобытныхъ созданій Пушкина и Гоголя составляетъ задачу второго отдѣла моего труда. Я останавливался поэтому только на главныхъ явленіяхъ, опредѣлявшихъ постоянный ростъ внѣшнихъ формъ и внутренняго содержанія литературы, на ряду съ расширеніемъ общественной мысли. Явленія второстепенныя, писатели и произведенія второй величины имѣютъ свое важное историческое значеніе, какъ детальныя проявленія господствующаго теченія, но вообще они не измѣняли основного процесса; излагать ихъ сполна, при избранномъ мною планѣ, значило бы отвлекать вниманіе отъ главной темы, и я даю имъ мѣсто въ біографическихъ и бібліографическихъ дополненіяхъ.

Нѣкоторые строгіе судьи считали какъ будто излишними цитаты, какія приводилъ я изъ важнѣйшихъ историческихъ изслѣдованій; но я дѣлалъ это именно съ намѣреніемъ: по характеру своей работы, передавая составъ вопроса, я въ то же время хотѣлъ и долженъ былъ знакомить читателя съ ходомъ и оттѣнками его научной разработки. Исторія нашей литературы, при разбросанности изслѣдованій, оставляетъ еще много невыясненнаго и спорнаго, и сопоставленіе ученыхъ мнѣній, т.-е. непосредственныхъ впечатлѣній и выводовъ авторитетныхъ изыскателей, становится важнымъ и необходимымъ для того, чтобы читатель могъ сознательно воспринять дѣйствительное состояніе историческаго вопроса,—къ этому направлялъ я и бібліографическія примѣчанія. Другіе упрекали меня за недостаточность бібліографическихъ указаній; но я опять намѣренно ограничивалъ ихъ необходимымъ, такъ какъ изъ приведенныхъ сочиненій читатель, къ нимъ обращающійся, будетъ въ состояніи самъ познакомиться съ подробностями литературы даннаго предмета.

Сентябрь, 1898.

СОДЕРЖАНІЕ.

СТР.

Предисловіе, стр. III—V.

Глава I. — Народная поэзія. — Ея судьбы въ древней письменности. Стр. 1—54.

Значеніе народной поэзіи въ развитіи литературы. — Двѣ стороны ея въ условіяхъ русской литературы: народная поэзія какъ свидѣтельство о древнемъ бытѣ и преданіи; народно-поэтическое влиятелье въ литературу новѣйшаго періода.

Поздняя форма извѣстной нынѣ поэзіи. — Ея историко-литературное мѣсто на границѣ двухъ періодовъ.

Первые интересы къ народной литературѣ на Западѣ и въ нашей литературѣ. — Восемнадцатый вѣкъ. — Начало изученій: школа Гримма; теорія международныхъ вліяній; сравнительно-историческое изученіе.

Вопросъ о степени общенародности и неизмѣнности народно-поэтического преданія. — Историческая судьба этого преданія. — Эпическая старина въ рукахъ профессиональныхъ пѣвцовъ; современная форма былиннаго эпоса.

Вѣдущая судьба народной поэзіи въ древнемъ періодѣ. — Ея осужденія съ точки зрѣнія строгаго аскетизма съ XI-го до конца XVII столѣтія . . . 1

Библиографическія примѣчанія 48—54

Глава II. — Народная поэзія. — Ея основы и наслоенія. Стр. 55—107.

Мифологическія основы. — Состояніе вопроса о славяно-русской мифологіи: школа Гримма; новѣйшія изслѣдованія; языческая древность; христіанская легенда; двоевѣріе.

Бытовые основы. — Древній родъ и семья. — Обрядовыя пѣсни: отраженіе формъ родового и семейнаго быта въ свадебной пѣснѣ и обрядѣ; почитаніе предковъ и пр.

Народно-поэтическое творчество. — Первичныя формы поэзіи. — Изслѣдованія Потебни.

Историческія наслоенія. — Отголоски древняго быта и эпического сказа-нія. — Первое проникновеніе христіанства. — Періодъ двоевѣрія: народно-хри-

стіанская міеологія.—Историческія событія; племенные передвиженія; татарское иго; основаніе московскаго царства.—Переходъ эпоса въ новыя условія историческо-бытовныя и географическія.—Сліяніе древнихъ сюжетовъ съ болѣе поздними переходными сказаніями.—Пѣсни историческія.

Уцѣлѣвшее донинѣ богатство пѣсни, — но и новѣйшій сильный упадокъ стараго пѣсеннаго творчества 55
Библиографическія примѣчанія 96—107

Глава III. — Народная поэзія. — Ея литературныя воздѣйствія. Стр. 108—170.

Вопросъ о значеніи народной поэзіи въ исторіи литературнаго развитія.

Отсутствіе литературныхъ вліяній народной поэзіи въ древнемъ періодѣ. — Восемнадцатый вѣкъ: съ одной стороны, продолженіе стараго преданія подражательности и отрицанія народной поэзіи; съ другой — первые признаки ея сознательной оцѣнки. — Интересъ къ народности въ XVIII вѣкѣ: Татищевъ, Новиковъ, Чулковъ, Дмитріевъ, Аблесимовъ; сочиненія имп. Екатерины; Радищевъ. — Это обращеніе къ народу было органическимъ результатомъ реформы.

Деятнадцатый вѣкъ: общественный интересъ къ народу и литературный романтизмъ. Вліянія научныя. Начатки славянскаго движенія: основаніе русскаго славяновѣдѣнія. Изслѣдованія народной поэзіи: Сахаровъ, Петръ Кирѣевскій. — Сороковые года: два литературные лагеря. Статьи Каткова и Бѣлинскаго. — Національная міеологическая школа. Взгляды Буслаева. Несправедливость къ XVIII вѣку.

Новѣйшее время. — Общественное значеніе преданій. — Отраженія народнаго элемента въ новѣйшей литературѣ. 108
Библиографическія примѣчанія 154—170

Глава IV. — Время Петра Великаго. Стр. 171—217.

Взглядъ на дѣятельность Петра, какъ на переворотъ. — Два теченія, явившіяся въ русской жизни. — Восхваленія и осужденія реформы. — Историческая критика. — Реформа какъ завершеніе давнихъ стремленій самой исторической жизни.

Связь литературы Петровскаго времени съ „письменностью“ XVII вѣка: литературное междоусловіе.

Время царевны Софьи. — Первые обращенія къ иностранцамъ. — Помощники Петра изъ Кіевской школы. — Стефанъ Яворскій. — Столкновенія съ Петромъ. — Дѣло Тверитинова. — „Камень вѣры“. — Феофанъ Прокоповичъ. — Его школа. — Быстрое возвышеніе. — Сочувствіе къ свѣтской наукѣ. — Вызовъ въ Петербургъ. — Дѣятельность ученая, проповѣдническая и административная. — Посошковъ. . 171
Библиографическія примѣчанія 215—217

Глава V. — Путешествія за границу. Стр. 218—269.

Путешествія Петра Великаго. — Стольникъ Петръ Толстой. — Бояринъ Бор. Петр. Шереметевъ. — „Записная книжка замѣчаній великой особы“. — Еще

дневникъ неизвѣстнаго.—Путешествія и дневники кн. Бор. Ив. Куракина.—	
Статейный списокъ гр. А. А. Матѣева.—Записки Ив. Ив. Неплюева . . .	218
Библиографическія примѣчанія	267—269

Глава VI.—Книжная дѣятельность при Петрѣ Великомъ. Стр. 270—306.

Разнообразіе книжныхъ интересовъ Петра.—Забота о распространеніи знаній техническихъ, научныхъ и нравственно-общественныхъ.

Исполнители изъ разнообразныхъ круговъ тогдашняго общества.—Питомцы Кіевской Академіи.—Питомцы Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ.—Переводчики Посольскаго приказа, иностранцы и русскіе.—Плѣнные шведы.—Молодые люди, посланные за границу для навигацкаго дѣла и для „либеральныхъ наукъ“.

Личное участіе Петра въ выборѣ книгъ для перевода, въ просмотрѣ переводовъ, въ ихъ исправленіи и въ корректурѣ.—Книжный языкъ Петра . 270

Библиографическія примѣчанія 304—306

Глава VII.—Петръ Великій въ народномъ преданіи. Стр. 307—342.

„Толковый Апокалипсисъ“, поморскаго письма, съ изображеніями Петра въ видѣ Антихриста.—Зарожденіе этого представленія въ первые годы царствованія и развитіе его въ расколѣ.—Григорій Талицкій.—Дѣла Преображенскаго приказа.—Поэтическая молитва-причитаніе о Петрѣ.

Раскольниковъ сатира: „Мыши kota погребаютъ“, и другія лубочныя картины того же происхожденія.

Петръ въ историческихъ пѣсняхъ и сказочныхъ преданіяхъ. 307

Библиографическія примѣчанія 341—342

Глава VIII.—Первое время послѣ Петра. Стр. 343—388.

Связь первой половины XVIII вѣка со старинными книжными преданіями.—Отсутствіе настоящей литературы и начатки новыхъ образовательныхъ интересовъ подъ западно-европейскими вліяніями.

Ееофанъ Прокоповичъ. — Его дѣятельность послѣ Петра и защита его преданій.—Отталкивающий характеръ его церковно-политической борьбы.

Абрамовъ, нѣкогда послѣдователь, потомъ фанатическій противникъ нововведеній.

Антіохъ Кантемиръ. — Бружокъ Ееофана; нѣмецкіе академики; знакомство съ классиками и иностранной литературой.—Сатиры.—Переводъ книги Фонтенелла о множествѣ міровъ.

Татищевъ.—Практическая школа при Петрѣ.—Пребываніе за границей.—Литературные труды 343

Биографическія и библиографическія примѣчанія 384—388

Глава IX. — Исканіе новыхъ литературныхъ формъ. Стр. 389—431.

Сознаніе необходимости реальной науки.—Распространеніе любознательности и нѣкоторой критики.—Исканіе новыхъ литературныхъ формъ и содержанія.

Зачатки новыхъ формъ въ предшествующемъ періодѣ.—Рукописная повѣсть начала XVIII вѣка: связь ея, ранѣе, съ повѣстями XVII вѣка и, позднѣе, съ первыми печатными романами второй половины XVIII-го.—Русскіе опыты.

Первое знакомство съ театромъ въ концѣ XVII вѣка.—Театръ при Петрѣ.—Иностранные актеры и опера на придворномъ театрѣ при Аннѣ.—Русская сцена при Елизаветѣ.

Стихотворство. — Силлабическій стихъ. — Первое знакомство съ новой европейской поэзіей. 389

Библиографическія примѣчанія 427—431

Глава X. — Установленіе новой литературы. Стр. 432—456.

Середина XVIII вѣка.—Новыя прямыя вліянія европейской образованности и первое установленіе литературной жизни.—Литературный трудъ какъ профессія: первые „писатели“, читающая публика, критика.

Созданіе литературы подъ впечатлѣніями эпохи преобразования.—„Насажденіе“ изящной словесности какъ продолженіе стремленій реформы.

Единственный наличный источникъ — западная литература. — Было ли заимствованіе изъ этого источника измѣной народности или національному „культурному типу“?—Европейскія основы русской національности.—Историческая преемственность цивилизаціи.

Образовательная ступень русскаго общества въ половинѣ XVIII вѣка.—Состояніе школы: Славяно-греко-латинская Академія; духовныя школы.—Свѣтскія училища со временъ Петра: Академія наукъ и академическая гимназія; Шляхетный кадетскій корпусъ; медицинская школа и пр.—Образованіе за границей.—Основаніе московскаго Университета. 432

Библиографическія примѣчанія 455—456

Глава XI. — Тредьяковскій и Сумароковъ. Стр. 457—488.

Стремленіе установить теоретическія основанія и формы литературы.

Труды Тредьяковскаго.—Реторика и пѣтушка.—Вопросъ о языкѣ и стихосложеніи.

Литературная дѣятельность Сумарокова.—Увѣренность, что русская литература уже равняется съ европейскими, именно съ французской 457

Биографическія и библиографическія примѣчанія 480—488

Глава XII. — Ломоносовъ. Стр. 489—543.

Историко-литературныя изученія Ломоносова.

Складъ понятій въ обществѣ его времени.

Основной смыслъ дѣятельности Ломоносова. 489

Биографическія и библиографическія примѣчанія 532—543

ГЛАВА I.

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ.—ЕЯ СУДЬБЫ ВЪ ДРЕВНЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ.

Значеніе народной поэзіи въ развитіи литературы.—Двѣ стороны ея въ условіяхъ русской литературы: народная поэзія какъ свидѣтельство о древнемъ бытѣ и преданіи; народно-поэтическія внушенія въ литературу новѣйшаго періода.

Поздняя форма извѣстной нынѣ поэзіи. — Ея историко-литературное мѣсто на границѣ двухъ періодовъ.

Первые интересы къ народной литературѣ на Западѣ и въ нашей литературѣ. — Восемнадцатый вѣкъ. — Начало изученій: школа Гримма; теорія международныхъ воздѣйствій; сравнительно-историческое изученіе.

Вопросъ о степени общенародности и неизмѣнности народно-поэтического преданія. — Историческая судьба этого преданія. — Эпическая старина въ рукахъ профессиональных пѣвцовъ; современная форма былиннаго эпоса.

Вѣтшая судьба народной поэзіи въ древнемъ періодѣ. — Ея осужденія съ точки зрѣнія строгаго аскетизма съ XI-го до конца XVII столѣтія.

Историко-литературное значеніе народной поэзіи можетъ быть весьма различно, смотря по цѣлой судьбѣ литературы. Если литература развивалась естественнымъ образомъ изъ собственнаго источника народной культуры, внѣ чуждыхъ овладѣвающихъ ея воздѣйствій, народная поэзія бываетъ первымъ началомъ литературы, ея основнымъ мотивомъ, который, заключая въ себѣ всѣ стороны нравственной и художественной жизни, создаетъ въ послѣдствіи разнообразныя проявленія народно-поэтического духа: эпосъ, сохраняя древнія сказанія, остается навсегда авторитетнымъ литературнымъ преданіемъ, какъ эпосъ Гомеровскій; лирика развивается въ обрядовую пѣсню; драма есть изображеніе міа; личное творчество идетъ непосредственно за народно-поэтическими основами, и литературное развитіе представляется цѣльнымъ организмомъ. Но иначе бываетъ тамъ, гдѣ литература находитъ содержаніе не въ одномъ народномъ преданіи, или ищетъ содержанія внѣ преданія или даже наперекоръ ему. Такъ римская литература, въ сильной степени подпавшая греческимъ вліяніямъ, совсѣмъ не имѣетъ характера той цѣльности и самобыт-

ности, какою отличается литература грековъ. Литература народовъ средневѣковой западной Европы, вслѣдствіе раннихъ вліяній съ одной стороны классическаго міра, съ другой—христіанства, съ самаго начала распадается на нѣсколько теченій, въ которыхъ сказываются различные элементы народной культуры—и классическое преданіе (съ ученымъ латинскимъ языкомъ), и христіанское ученіе и легенда (опять съ латинскимъ языкомъ и народными переложеніями), и наконецъ національно-поэтическіе мотивы, которые, впрочемъ, сравнительно только позднѣе проникають въ книгу, т.-е. приобрѣтають настоящее литературное значеніе. Древняя народно-поэтическая основа еще менѣе получила мѣста въ нашей старой письменности: эта письменность, возникши только послѣ принятія христіанства, — съ которымъ пришли иноземные, греческіе учителя и готовые церковныя книги, хотя на родственномъ, но все-таки чужомъ языкѣ, книги, созданныя внѣ собственнаго труда древней Руси, — съ самаго начала оказалась въ рукахъ церковныхъ грамотниковъ и стремилась установиться и дѣйствовать именно наперекоръ народному преданію, такъ какъ оно казалось сполна языческимъ... Въ результатѣ, письменность слагалась въ принципиальной враждѣ къ народному преданію, уступая ему только произвольно, но и безъ послѣдовательности, такъ что народно-поэтическіе элементы, въ свою очередь уже окрашенные христіанствомъ, проникали въ литературу только отрывочно: до самаго конца стараго періода нашей литературы эти элементы не успѣли получить какую-либо сознательную организацію, изъ которой могла бы образоваться литературная школа, способная къ развитію. Такимъ образомъ народно-поэтическое преданіе не было у насъ исходнымъ пунктомъ литературнаго развитія и только въ новѣйшемъ періодѣ литературы стало привлекать къ себѣ вниманіе, вызывать ревностное собраніе и изученіе, наконецъ, въ извѣстной мѣрѣ стать литературной силой.

По этимъ судьбамъ литературы историческое значеніе нашей народной поэзіи имѣетъ двѣ стороны. Во-первыхъ, народная поэзія является свидѣтельствомъ о старыхъ эпохахъ народной жизни, о древнемъ народномъ міровоззрѣніи, о народно-поэтическомъ складѣ и чертахъ быта—большею частію внѣ общенія съ письменной литературой и насколько указанныя особенности ея содержанія могутъ быть изучены по рѣдкимъ сообщеніямъ памятниковъ и по современному состоянію народно-поэтическаго преданія, т.-е. по сохранившимся донинѣ старымъ пѣснямъ, сказкамъ и всѣмъ инымъ произведеніямъ народной словесности. Во-

вторыхъ, историко-литературному изслѣдованію подлежитъ отраженіе народно-поэтическаго преданія въ той литературѣ новаго періода, которая впервые обращалась сперва инстинктивно, потомъ сознательно, къ этому преданію, какъ непосредственному созданію народа, гдѣ заключены поэтическія откровенія народнаго духа.

Такимъ образомъ, является вопросъ: какъ при этихъ условіяхъ опредѣлить мѣсто народной поэзіи въ историко-литературномъ изложеніи, гдѣ поставить ея памятники въ историческомъ ряду литературнаго развитія? Замѣтимъ прежде всего, что народная поэзія въ первый разъ привлекла вниманіе историковъ литературы только въ недавнее время, нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ, только съ тѣхъ поръ, какъ ея содержаніе нашло первыя научныя объясненія. Вошло въ обычай начинать исторію литературы съ памятниковъ народной словесности, которые являются такимъ образомъ какъ бы основою, исходнымъ пунктомъ этой исторіи,—и это было бы правильно тамъ, гдѣ литература въ самомъ дѣлѣ развивалась послѣдовательно изъ своихъ народныхъ стихій. Но въ старой русской письменности этого именно не было, и поставленіе народно-поэтической словесности въ качествѣ исходнаго пункта создаетъ извѣстное историческое недоразумѣніе. Исходнымъ пунктомъ литературнаго развитія она *не была*, а было какъ разъ обратное. Первоначальная народная поэзія въ томъ видѣ, въ какомъ она была въ IX—X вѣкѣ, исчезла почти безслѣдно и можетъ быть только предметомъ научныхъ гипотезъ; а послѣдующіе вѣка (какъ можемъ судить по *нынѣ* извѣстному ея содержанію) она уже осложнилась множествомъ новыхъ стихій—изъ письменной церковной и иной литературы, изъ чужихъ устныхъ сказаній, такъ что форма, въ какой мы знаемъ ее теперь, была именно *поздняя*, прошедшая цѣлые вѣка разнообразныхъ видоизмѣненій и наслоеній. Очевидно, что, ставя эту позднюю форму народной поэзіи во главу историко-литературнаго построенія, мы производимъ смѣшеніе явленій и нарушаемъ историко-литературную связь и послѣдовательность: до книжной литературы ставится явленіе, образовавшееся между прочимъ изъ элементовъ этой же книжной литературы и изъ позднѣйшихъ осложненій народнаго преданія, отчасти изъ чужихъ источниковъ (христіанская легенда и особливо апокрифическія сказанія); и наоборотъ, *послѣ* ставится книжная литература, возникшая первоначально внѣ всякихъ ея вліяній. Единственнымъ явленіемъ старой письменности, которое стоитъ въ связи съ подлинными источниками народнаго преданія, было

Слово о полку Игоревѣ, но оно не имѣетъ ничего однороднаго ни раньше, ни ниже ¹⁾.

Въ настоящее время, когда, собственно говоря, впервые раскрывается для насъ объемъ и характеръ народной поэзіи путемъ изслѣдованія, ея формы и содержаніе являются намъ въ томъ видѣ, въ какомъ они сложились въ особенности къ концу XVII вѣка. Если научныя разысканія ставятъ внѣ сомнѣнія далекую древность многихъ *мотивовъ* народной поэзіи, то другіе, напротивъ, очень поздні, и самые *тексты* извѣстны намъ уже въ измѣнившихся формахъ народной рѣчи, и съ этимъ измѣненіемъ необходимо должны были утратиться многія архаическія подробности самыхъ понятій, — какъ вмѣстѣ съ тѣмъ на изложеніе текстовъ должно было повліять сильно измѣнившееся міровоззрѣніе народа и измѣнявшіяся формы самого быта. Съ конца XVII вѣка начинаются и *первыя записи* народной поэзіи, т.-е. первая забота книжниковъ о сохраненіи этихъ памятниковъ, проявленіе извѣстнаго интереса къ этимъ произведеніямъ и нѣкоторой эстетической ихъ оцѣнки: это совпадало съ тѣмъ, что къ той же эпохѣ относится вообще несомнѣнный поворотъ въ умахъ книжныхъ людей и освѣженіе литературныхъ интересовъ, ослаблявшихъ старое книжное преданіе. Итакъ, здѣсь характеристическій пунктъ исторіи: завершеніе стараго творчества ²⁾ и начало литературныхъ вліяній народной поэзіи.

Такимъ образомъ изложеніе народной поэзіи, по историческимъ требованіямъ, должно переплетаться съ изложеніемъ тѣхъ фактовъ книжной литературы, которые вмѣстѣ съ бытовыми явленіями исторической жизни оказывали вліяніе на ея содержаніе и форму—или уничтожая ея архаическія черты, или возбуждая въ ней новое развитіе, какъ было, напримѣръ, въ особенности въ эпической богатырской пѣснѣ и въ духовномъ стихѣ. Или же, во внѣшней постановкѣ предмета, изложеніе народной поэзіи можетъ занять мѣсто на границѣ двухъ главныхъ періодовъ нашей литературы, границѣ, отмѣченной концомъ XVII-го и началомъ XVIII вѣка.

Интересъ къ народной поэзіи и ревностное изученіе тѣхъ

¹⁾ Отголоски его въ „Задонщинѣ“ не были продолженіемъ поэтической традиціи и носятъ всѣ признаки книжническаго подражанія.

²⁾ Само собою разумѣется, что это можетъ быть сказано только приблизительно, въ главныхъ чертахъ. Далѣе скажемъ, почему около этой эпохи надо принимать послѣднюю живую пору анической пѣсни; историческія пѣсни XVIII вѣка носятъ уже иной характеръ; съ этой поры вѣроятно сталъ усиливаться и упадокъ народной лирики, который къ нашему времени сказывается уже чрезвычайно рѣзко.

періодовъ народной жизни, къ которымъ относится ея первое созданіе, составляютъ заслугу нашего времени. Первые начатки этого интереса восходятъ ко второй половинѣ XVIII вѣка. Мы имѣли случай говорить о томъ, изъ какихъ разнообразныхъ источниковъ, философско-историческихъ, нравственно-общественныхъ, археологическихъ и филологическихъ, происходила эта любознательность къ произведеніямъ „народной музы“, а вскорѣ потомъ страстное увлеченіе первобытною поэзіей, въ которой находили безыскусственное, свѣжее выраженіе народнаго чувства и фантазіи. Одинъ изъ первыхъ начинателей народно-поэтическихъ изученій во второй половинѣ XVIII вѣка, Гердеръ, руководился вмѣстѣ философско-исторической идеей и нравственнымъ интересомъ и сочувствіемъ къ народнымъ массамъ, въ которыхъ, даже среди самыхъ грубыхъ племенъ, онъ отыскивалъ перлы истинной поэзіи и проблески глубокаго человѣческаго чувства: народная поэзія впервые представала предъ избалованнымъ, а также испорченнымъ литературнымъ вкусомъ прошлаго столѣтія, какъ новая поэтическая стихія, откуда могла обновиться старѣющая поэзія ложно-классической школы. Съ другой стороны, и въ то же время, классическія изученія, которымъ со временъ Возрожденія посвящали свои силы первостепенные научные умы всѣхъ странъ западной Европы, приходили къ выводамъ, совершенно измѣнявшимъ литературные взгляды ложнаго классицизма. Таковъ былъ Лессингъ, одинъ изъ начинателей цѣлаго переворота, подготовившаго новое направленіе европейской литературы; и таковъ былъ знаменитый филологъ Фридрихъ-Августъ Вольфъ, котораго изслѣдованія о Гомерѣ положили основаніе новымъ представленіямъ о литературной исторіи: отвергнувъ Гомера, какъ единичнаго автора Иліады и Одиссеи, Вольфъ открывалъ путь къ истолкованію національной эпопеи, какъ созданія общенароднаго, и вообще къ истолкованію народно-поэтическаго творчества. Въ XIX вѣкѣ рядъ новыхъ научныхъ и общественныхъ движеній, какъ развитіе средневѣковыхъ изученій, первые опыты сравнительнаго языковѣдѣнія и историческая школа въ правѣ, какъ возбужденіе національной идеи, литературный романтизмъ и т. д., создали въ сложности тотъ интересъ къ первобытнымъ эпохамъ народной жизни и народно-поэческаго творчества, — интересъ, котораго самымъ характернымъ, сильнымъ и нравственно-высокимъ представителемъ былъ въ свое время Яковъ Гриммъ. Онъ сталъ создателемъ школы, широкое распространеніе которой отразилось и въ нашей литературѣ.

Далѣе скажемъ, какъ еще съ XVIII вѣка въ новой русской

литературѣ, повидимому столь охваченной вліяніемъ западныхъ образцовъ преимущественно ложно-классическаго типа, издавна пробивалось влеченіе къ собственной народной поэзіи: независимо отъ непосредственной привлекательности родного преданія, чувствовалась художественная красота; и у первостепенныхъ писателей на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій являются попытки подражанія, старанія усвоить литературѣ содержаніе и складъ народной поэзіи—какъ у Державина и Карамзина. Со времени Пушкина этотъ вкусъ становится несравненно болѣе опредѣленнымъ, какъ вкусъ литературный, но историческое пониманіе народной поэзіи, ея происхожденія и состава остается неяснымъ—между прочимъ и у ревностныхъ собирателей, какъ Сахаровъ, и любителей пѣсни, какъ Аполлонъ Григорьевъ и др. Это была еще инстинктивная догадка, неясное представленіе о томъ, что литература должна быть близка къ своимъ національнымъ основамъ; въ народной пѣснѣ восхищались простотой непосредственнаго чувства, естественной поэзіей, оригинальнымъ и выразительнымъ языкомъ и въ концѣ концовъ ожидали благоворныхъ вліяній народной поэзіи на литературу,—хотя для этого было пока мало данныхъ. Первое опредѣленное представленіе объ исторіи и значеніи народной поэзіи является съ тѣхъ поръ, когда начали проникать къ намъ новыя изслѣдованія, во главѣ которыхъ стоялъ Гриммъ,—и это было понятно: ученіе Гримма была цѣлая система, обставленная обширнымъ научнымъ аппаратомъ, подкрѣпленная тонкимъ пониманіемъ древняго поэтическаго міровоззрѣнія и, наконецъ, проникнутая теплымъ сочувствіемъ къ народу, гдѣ какъ будто сказывался тотъ же новѣйшій демократизмъ, принявшій археологическую и романтическую одежду. Въ этой формѣ ученіе не было общедоступнымъ, но въ глубинѣ его была настоящая поэзія и вмѣстѣ вѣра въ народъ, великое почтеніе къ его патриархально-возвышенному прошлому и, повидимому, надежда, что это идеальное прошлое можетъ до извѣстной степени возродиться, когда общество отъ своей утонченной и такъ часто испорченной цивилизаціи будетъ обращаться съ любовью къ преданіямъ своего давняго прошлаго... Въ этомъ идеализмѣ, подкрѣпленномъ великой эрудиціей, была причина обширнаго вліянія Гримма въ ученomъ мѣрѣ,—вліянія, достигшаго наконецъ и до нашей литературы. Главнымъ образомъ на основаніи Гримма создавалось высокое представленіе о древней народной поэзіи, которая была не только историческимъ національнымъ достояніемъ, но имѣла достоинства поэтическія и нравственныя, незнакомыя дальнѣйшимъ періодамъ литературы

искусственной: на эту последнюю энтузиасты народной поэзии смотрѣли наконецъ съ пренебреженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ,—думали они,—народная поэзія имѣла передъ этой литературой уже то великое преимущество, что была созданіемъ и достояніемъ цѣлаго народа, выражала его мысль и его чувство; она была всегда искренна и правдива,—она не знаетъ лжи, которую такъ переполнена литература искусственная; она была дорогимъ завѣтомъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, постояннымъ орудіемъ и результатомъ общенароднаго нравственнаго единства... Эта точка зрѣнія была принята сполна и нашими изслѣдователями народной поэзии, и въ ея смыслѣ предпринималось истолкованіе произведеній современной народной поэзии и древнихъ памятниковъ, въ которыхъ видѣли ея отраженія и отголоски. Таковы были съ сороковыхъ и особливо пятидесятихъ годовъ изслѣдованія Буслаева, Аванасьева, Ореста Миллера и др. Но система Гримма въ ея полномъ объемѣ не удержалась въ самой нѣмецкой наукѣ. Возбужденные имъ интересы къ древностямъ языка, народной поэзии, мифологіи, обычая, въ сильномъ движеніи науки развились въ необозримую массу изслѣдованій, которыя ввели новый громадный матеріалъ наблюденій, и новыя приемы критики. Между прочимъ дальнѣйшій ходъ изслѣдованія отразился на одномъ изъ существенныхъ положеній системы, на вопросѣ о происхожденіи и составѣ народнаго эпоса. По Гримму основа эпоса есть исконный мифъ, созданный въ древнѣйшую пору племени, именно мифъ религіозный, исторія боговъ; позднѣе, эпосъ мифическій перерождается въ героическій и, наконецъ, переходитъ въ историческую и бытовую поэзію,—таковы были у насъ толкованія, изображавшія князя Владимира дѣйствительнымъ „краснымъ солнышкомъ“, божествомъ солнца, Илью Муромца—переодѣтымъ богомъ-громовникомъ, и т. д. Ближайшее изученіе, въ особенности подѣ влияніемъ теоріи заимствованій, выставленной Бенфеємъ, указало, что многое мифологическое, находимое въ нашемъ эпосѣ, не только не было мифологическимъ, но не было и особенно древнимъ; что, напротивъ, мнимое первобытное и языческое бывало простымъ и позднимъ заимствованіемъ изъ христіанскаго книжнаго источника, время котораго могло быть опредѣлено, или изъ ходячихъ международныхъ сказаній. Изслѣдованія г. Веселовскаго, восточная теорія г. Стасова, поддержанная и видоизмѣненная въ послѣднее время г. Всева. Миллеромъ и г. Потанинымъ, сообщали неожиданныя данныя для выясненія нашего эпоса и заставляли предполагать совсѣмъ иную исторію его происхожденія и развитія. Прежняя система, оче-

видно, терпѣла крушеніе въ наукѣ,—хотя до сихъ поръ продолжаетъ держаться въ учебникахъ.

Положеніе этого вопроса о народной поэзіи Всев. Миллеръ изображаетъ такъ:

„...Мы могли еще недавно твердо и отчетливо отвѣтить на цѣлый рядъ интереснѣйшихъ вопросовъ: ни одинъ хорошій ученикъ гимназіи не затруднился бы уяснить отличіе народной, устной поэзіи отъ поэзіи культурной, литературно-художественной. Онъ сказалъ бы (со словъ О. Миллера и А. Галахова), что народная поэзія есть произведеніе и общее достояніе всего народа, что она возникла въ періодъ господства наивныхъ вѣрованій и юношеской фантазіи, когда народъ еще не распался на классы и сословія, когда всѣ принимали равное участіе въ подвигахъ, „совершаемыхъ не замысломъ и волею одного какого-либо чело-вѣка, а инстинктомъ и силою цѣлаго народа“. Отдѣльный чело-вѣкъ, слагавшій и пѣвшій пѣсню, былъ органомъ, голосомъ всего народа... Самодѣтельность его не простиралась на созданіе сюжета поэтического произведенія. Онъ не вносилъ въ пѣсню ни личныхъ лирическихъ изліяній, ни сатиры... Народъ понимаетъ свою поэзію „не какъ особую сферу духовной дѣятельности, сферу искусства, которое образованный чело-вѣкъ отличаетъ явственно отъ другихъ областей жизни—религіи, гражданской дѣятельности, науки. Естественная поэзія касается всего народнаго быта: обнимаетъ и религіозные, и нравственные, и умственные его интересы“. Поэтому, „народъ видитъ въ своей поэзіи драгоценное достояніе, которое, въ теченіе многихъ столѣтій, одни поколѣнія завѣщевали другимъ. Она имѣетъ смыслъ священной старины, неприкосновеннаго преданія, которое должны усвоивать люди молодые съ тѣмъ, чтобы въ свою очередь передать его потомкамъ“, и т. д.

Таковы были дѣйствительно представленія о народной поэзіи въ пору первыхъ увлеченій. Новый изслѣдователь, послѣ тѣхъ, хотя еще неполныхъ изысканій, какія сдѣланы были въ послѣднее время, приходилъ, однако, къ убѣжденію въ невозможности подобнаго взгляда. „Если спросить,—замѣчаетъ Всев. Миллеръ,—знаетъ ли наука дѣйствительно поэзію того періода какого-нибудь народа, когда этотъ народъ не представлялъ никакой матеріальной и духовной дифференціаціи, когда всѣ члены его принимали равное участіе въ подвигахъ и каждый испытывалъ одинаково возбужденное и одинаково направленное духовное настроеніе? На такой вопросъ послѣдуетъ немедленно отрицательный отвѣтъ: окажется, что такого народа этнографія, а тѣмъ

менѣ исторія, не можетъ указать, что такой народъ—созданіе теоріи. Далѣе, окажется такою же научною фикціей поэтъ-пѣвецъ этого предполагаемаго народа,—поэтъ, который не творитъ чего-либо новаго, но выражаетъ лишь то единственно, что извѣстно каждому, и не можетъ создать новаго сюжета. Спрашивается, на чемъ основано предположеніе, что душевная жизнь примитивнаго человѣка такъ рѣзко расходилась съ нашей? Мы алчемъ новыхъ впечатлѣній, цѣнимъ то, чего раньше не слышали, первобытный же пѣвецъ-поэтъ почему-то долженъ пѣть лишь старое, общезвѣстное. Какъ же представить намъ себѣ вообще появленіе многочисленныхъ сюжетовъ? Какъ они были измыслены? Коллективнымъ творчествомъ массы? Но вѣдь и это—фикція, такъ какъ человѣческій опытъ такого творчества никогда не наблюдалъ. Далѣе спрашивается, на чемъ основано положеніе, будто первобытный поэтъ-пѣвецъ былъ настолько увѣренъ въ сочувствіи слушателя, что не допускалъ никакихъ украшеній и эффектовъ? Почему теорія лишаетъ его естественныхъ свойствъ всякаго художника всѣхъ временъ и народовъ—стремленія произвести впечатлѣніе, украсить по мѣрѣ силъ свое твореніе? Какъ же, однако, объяснить происхожденіе обычныхъ украшеній произведеній такъ называемой народной поэзіи—размѣренной рѣчи, эпитетовъ, сравненій и проч.? Тою же фикціей коллективнаго творчества, которое, если мы отъ фразы перейдемъ къ представленію, сведется къ творчеству отдѣльныхъ лицъ, хотя бы ими имъ было легіонъ. Имѣемъ ли мы какое-нибудь научное основаніе предполагать, что всѣ эти безымянные первобытные поэты по психическимъ свойствамъ совершенно отличались отъ современнаго? Это было бы равносильно предположенію, что вообще духовная жизнь человѣка слѣдовала другимъ законамъ, а не тѣмъ, которымъ подчиняется психика современнаго человѣка. Въ такомъ случаѣ, конечно, онъ всегда останется для насъ загадкой.

„Наконецъ, теорія безыскусственной народной поэзіи видитъ различіе въ самомъ отношеніи примитивнаго народа къ его поэзіи отъ отношенія къ ней современнаго образованнаго человѣка. Мы относимъ твореніе поэта въ сферу искусства. Первобытному (фиктивному) народу пѣсня служитъ не однимъ только предметомъ эстетическаго удовольствія: естественная поэзія обнимаетъ и религіозные, и нравственные, и умственные его интересы; ее нельзя отдѣлить отъ его вѣрованій и убѣжденій. Здѣсь опять за фразами скрывается какое-то недоразумѣніе. Вѣдь поэтическое произведеніе и нашего времени можетъ выражать рели-

говыя, нравственныя и умственныя интересы поэта и читающаго его общества, но это нисколько не препятствуетъ этому произведенію удовлетворять и эстетическимъ интересамъ. Какое же основаніе мы имѣемъ предполагать, что того же самаго не было въ первобытномъ народѣ“¹⁾).

Объяснивъ, что это пониманіе нашей народной поэзіи взято было нашими изслѣдователями на вѣру изъ теоріи Гримма, авторъ замѣчаетъ, что результатомъ было смутное представленіе о нашей поэтической старинѣ: напримѣръ, эпическая пѣсня казалась нашимъ изслѣдователямъ народнымъ созданіемъ глубокой древности, дошедшимъ до насъ путемъ вѣрнаго преданія. „Мы дивились народной памяти, любовались благоговѣйнымъ отношеніемъ народа къ наслѣдію предковъ и объясняли себѣ это отношеніе такъ, что для него древняя богатырская былина „служила не однимъ только предметомъ эстетическаго удовольствія“, но что онъ видѣлъ въ ней „драгоцѣнное достояніе, которое въ теченіе многихъ столѣтій одни поколѣнія завѣщевали другимъ“. Нѣкоторымъ сентиментальнымъ народолюбцамъ эта вѣрность народа старинѣ и преданію служила темой для противопоставленія народа культурнымъ слоямъ общества, пренебрегшимъ, со времени поворота къ Западу, этимъ наслѣдіемъ предковъ. Пораженные обиліемъ и высокимъ интересомъ нашихъ былинъ, изслѣдователи перваго поколѣнія (Безсоновъ, Буслаевъ, Ор. Миллеръ, Квашнинъ-Самаринъ) не находили словъ для возвеличенія этого наслѣдія предковъ, открывая въ немъ таинственный смыслъ (Безсоновъ), слѣды древней русской міеологіи (Ор. Миллеръ) и изумляясь передъ чудомъ народнаго творчества и памяти, донесшей до насъ, хотя бы и въ измѣненномъ видѣ, сказанія чуть ли не эпохи кн. Владимира“. Когда прошло время „лиризма“, какъ называетъ его Всев. Миллеръ, и началось новое изслѣдованіе предмета съ точки зрѣнія реально-историческаго сравненія, прежнее представленіе оказалось иллюзіей. „Въ наше время,—продолжаетъ авторъ,—едва ли кто-нибудь изъ изслѣдователей былинъ вѣритъ въ міеологическую ихъ основу или въ полную самостоятельность народа въ созданіи ихъ сюжетовъ, которую такъ энергично отстаивалъ Ор. Миллеръ отъ всякихъ покушеній „теоріи заимствованія“. Но зато детальныя изслѣдованія содержанія нашего эпоса подняли цѣлый рядъ интереснѣйшихъ историко-литературныхъ вопросовъ, имѣющихъ не только домашнее, но и европейское значеніе, наприм., какъ относится эпосъ къ

¹⁾ Всев. Миллеръ, Очерки р. нар. словесности. М. 1897: Русская былина, ея слагатели и исполнители, стр. 22 и д.

положительной исторіи, какъ усваиваетъ и перерабатываетъ народъ бродячіе сюжеты, какое отношеніе между сказочными фабулами и историческими именами нашего эпоса, какое вліяніе оказала „бнига“ на народныя сказанія, въ какой культурно-исторической связи находится нашъ эпосъ съ европейскимъ средневѣковымъ фольклоромъ, кто были слагатели быдинъ и какова среда, въ которой онѣ распространялись“, и т. д.

Получается иная картина нашей народной поэзіи въ ея историческомъ прошедшемъ. Правда, эта картина пока еще далеко не приобрѣла ясныхъ очертаній, но во всякомъ случаѣ ея общій складъ и колоритъ получились совсѣмъ иные. Но подвергая сомнѣнію или отвергая совсѣмъ міеологическія толкованія старой школы, не должно преувеличивать этого недовѣрія къ древности народно-поэтического наслѣдія. Въ самомъ дѣлѣ, даже въ томъ отрывочномъ видѣ, въ какомъ достигаетъ до насъ древняя народная поэзія, при всей массѣ забытыхъ подробностей, и вѣроятно цѣлыхъ забытыхъ отдѣловъ ея первоначальнаго объема, при всѣхъ измѣненіяхъ, какія она потерпѣла, при всѣхъ наслоеніяхъ новаго содержанія и выраженія, надо изумляться той памяти, которая въ различныхъ, нерѣдко чрезвычайно отдаленныхъ одна отъ другой мѣстностяхъ громадной русской территоріи сохранила не только отдѣльныя черты большой старины, но даже общій тонъ, несомнѣнно указывающій на далекій источникъ. Если изслѣдователи современнаго фольклора съ великимъ интересомъ записываютъ отрывки народныхъ сказаній, обломки старой пѣсни, мѣстное повѣрье, поговорку и т. п., ожидая найти въ нихъ еще незамершій отголосокъ древняго вѣрованія, то несомнѣнно подобныхъ отголосковъ не мало сохранилось и въ русскомъ народно-поэтическомъ преданіи. Изслѣдователи языка на основаніи сравненій находили возможнымъ опредѣлять міеическое содержаніе древняго міровоззрѣнія даже изъ той отдаленной поры, когда совершалась самая формація языка; подобнымъ образомъ эта міеическая подкладка можетъ быть прослѣжена и въ болѣе позднихъ явленіяхъ, какъ, напр., въ пѣснѣ, гдѣ извѣстные повторяющіеся образы и самыя выраженія, очевидно, принадлежали древнему складу самого быта, а слѣдовательно, могли сохранить и отголосокъ тѣхъ представленій, какими жилъ этотъ бытъ въ ту пору, когда складывалась пѣсня: многое въ народной пѣснѣ, преданіи, повѣрьѣ, обрядѣ можетъ быть объяснено только при этомъ предположеніи о старомъ міровоззрѣніи, которое было міеологическимъ (если не вполнѣ, т.-е. не на каждомъ шагѣ, гдѣ видѣли его прежде, то въ большей или

меньшей степени). Что подобныя черты преданія и обряда бывали не случайнымъ созданіемъ болѣе поздней эпохи, оказывается не только изъ того, что иногда ихъ древность подтверждается прямыми историческими свидѣтельствами, но также изъ сравненія съ народными преданіями другихъ народовъ, которое укажетъ въ нихъ именно однородный остатокъ далекой старины.

Какъ, однако, ни велика сила народной памяти, она имѣла свои предѣлы, и народная поэзія вѣроятно никогда не оставалась неподвижна. Насколько сдѣланы наблюденія ея содержанія и формы, ея прошедшее состояло въ рядѣ постоянныхъ видоизмѣненій, потерь и новыхъ приобрѣтеній. Источникъ ихъ былъ въ судьбахъ самой народной жизни. Какъ при самыхъ разселеніяхъ племени, уже въ древности разсѣявшагося на громадныя пространства, происходило тотчасъ видоизмѣненіе языка, который разбивался на отдѣльные говоры, выроставшіе потомъ въ нарѣчія, наконецъ, въ отдѣльные языки, и послѣдніе въ свою очередь дѣлились на свои варианты (напр., въ области славянскаго языка, потомъ въ области языка русскаго, наконецъ въ области великорусскихъ нарѣчій), такъ, безъ сомнѣнія, совершалось и видоизмѣненіе преданія, при чемъ, какъ въ отдѣльныхъ отрасляхъ языка различнымъ образомъ берегались или забывались отдѣльныя черты старины, такъ черты поэтическаго преданія различно сохранялись или забывались въ разныхъ отдѣлахъ племени, или приобрѣтались вновь, вслѣдствіе приходившихъ историческихъ и культурныхъ вліяній.

Первая ступень народной поэзіи должна, очевидно, принадлежать отдаленнѣйшей эпохѣ самаго образованія племени, языка и быта. Народная поэзія могла слагаться рядомъ съ образованіемъ мѣна или даже быть съ нимъ нераздѣльной. Какъ совершался этотъ процессъ, еще остается загадкой, для рѣшенія которой можетъ служить пока только гипотеза, какъ съ ея только помощью могутъ быть объясняемы и гораздо болѣе позднія эпохи народнаго міровоззрѣнія и поэзіи,—именно потому, что наша исторія осталась особливо бѣдна положительными указаніями объ этой сторонѣ народной жизни.

Гипотеза, которая въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ впервые заимствована была изъ европейской науки и примѣнена къ объясненію нашей поэтической старины, въ своемъ источникѣ была плодомъ замѣчательно остроумныхъ соображеній, основанныхъ на громадномъ матеріалѣ данныхъ филологіи, археологіи, культурной исторіи. Древніе періоды жизни народовъ были впервые освѣщены изученіями языка, которыя въ сравнительномъ

языковѣднѣе открывали путь къ уразумѣнію съ одной стороны психологической жизни первобытныхъ эпохъ, съ другой—въ первый разъ поставили вѣдѣ сомнѣнія племенное родство историческихъ народовъ Европы и Азіи, которые до тѣхъ поръ считались чуждыми другъ другу. Когда въ связи съ установленіемъ языка принято было и самое установленіе понятій и происхожденіе мифа, который являлся первою формою мысли, то родственность языковъ сама собою дала поводъ заключать о родственности мифологій, т.-е. цѣлой системы народныхъ вѣрованій. Чтобы опредѣлить древнѣйшія ступени культуры, и первые шаги возникающей мысли человѣка о природѣ и самомъ себѣ, и первыя формы быта, привлеченъ былъ къ изученію бытъ современныхъ дикарей, собраны свидѣтельства о древнѣйшемъ бытѣ народовъ историческихъ, привлеченъ громадный матеріалъ народныхъ преданій, въ которыхъ предположены обломки незапамятной старины, снова пересмотрѣны сказанія классической мифологій, изучены приемы народной поэзіи и т. д. Такимъ образомъ, въ особенности усиленіями нѣмецкой науки, создана была теорія о „законахъ“ развитія мифа и рядомъ съ нимъ народной поэзіи, о „законахъ“ народнаго эпоса, которые предполагались неизмѣнными... Въ этомъ видѣ, всего болѣе подъ вліяніемъ Гримма и слѣдовавшихъ за нимъ мифологовъ и филологовъ, гипотеза примѣнена была къ славянской и русской древности и одно время господствовала почти безраздѣльно въ объясненіи нашей поэтической старины, въ особенности эпоса. Но историческія отношенія были сложнѣе, чѣмъ предполагала теорія, и новыя наблюденія показали, что въ исторіи народныхъ вѣрованій и сказаній совершалось не только развитіе первоначальнаго содержанія, выпесеннаго народами изъ предполагаемой древней общей родины, но совершались новыя формаціи, между прочимъ прямое заимствование чужого матеріала при международныхъ встрѣчахъ, не только дружескихъ, но и враждебныхъ. Упомянутая теорія Бенфея шла наперекоръ прежнему ученію, и чрезвычайно развившееся нынѣ сравнительное изученіе народныхъ сказаній,—которое началось еще раньше Бенфея, но подъ его вліяніемъ особенно расширилось,—привело уже теперь къ заключенію, что процессъ образованія народныхъ сказаній былъ гораздо сложнѣе, а въ иныхъ случаяхъ гораздо проще, чѣмъ прежде казалось.

Исслѣдователи, примѣнявшіе ученіе Гримма, должны были уже признать, что древнее преданіе было существенно измѣнено вліяніями христіанства; но имъ казалось, что при этомъ произошло только измѣненіе внѣшней оболочки, и что если древ-

ній эпосъ превратился изъ миѣческаго въ богатырскій, а затѣмъ и богатыри получили христіанскій характеръ, то въ основѣ ихъ подвиговъ продолжали отражаться типическія черты того же миѣа. Но кромѣ того, что примѣненіе „закона“ не отвѣчало здѣсь даннѣмъ нашей народной поэзіи, и потому получилось множество „миѣческаго“ тамъ, гдѣ въ сущности его нельзя было доказать, былъ упущенъ изъ виду еще одинъ чрезвычайно важный элементъ древняго сказанія—прямое заимствованіе чужого, даже книжнаго, матеріала, или приуроченіе къ русской почвѣ бродячихъ сказаній, которыя въ изобиліи распространялись въ средніе вѣка у народовъ Востока и Запада, и которыхъ родина остается всего чаще полною загадкой. Дальше увидимъ примѣры, при которыхъ считать составъ нашего эпоса исконно древнимъ, самобытно и исключительно русскимъ не представляется никакой возможности. Что именно осталось отъ подлинной старины, въ какую эпоху сдѣланы новыя приобрѣтенія, едва ли когда-нибудь можетъ быть выяснено съ точностью: несомнѣнно русской остается обработка этого содержанія своего и чужого, съ ея историческими и національными примѣненіями, съ ея поэтическимъ складомъ. И если здѣсь произошло уже коренное измѣненіе древняго преданія, заставляющее отказаться отъ миѣческой эпохи и перенести хронологическое начало нашего эпоса въ болѣе позднюю пору, то кромѣ того въ его составѣ, какъ мы знаемъ его теперь, мы можемъ видѣть отраженіе послѣдовательныхъ періодовъ исторической жизни: старѣйшее воспоминаніе нашей эпической пѣсни ведетъ насъ до Кіева, но рядомъ съ кіевскимъ богатыремъ, какъ Илья Муромецъ, мы встрѣчаемъ и Ермака.

На примѣрѣ эпоса можно видѣть, что народная поэзія не можетъ считаться неизмѣннымъ преданіемъ, вѣрно передаваемымъ отъ поколѣнія къ поколѣнію. Въстѣ съ тѣмъ, она только съ извѣстными ограниченіями можетъ называться общенародной. Давно было замѣчено, что первое созданіе пѣсенъ по необходимости должно было быть дѣломъ единичнаго пѣвца, и его пѣсня могла становиться общенародною, когда освящалась общимъ усвоеніемъ. Общенародной, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ отдѣлѣ племени и территоріи, могла и должна была быть пѣсня обрядовая, исполняемая необходимо многими лицами, повторяющими установленный текстъ,—но, повидимому, уже въ древнѣйшую пору должно было обособляться эпическое творчество... Какъ ни были просты древніе нравы и древнія политическія (военныя) отношенія, но героическіе подвиги, которые становились темой

для эпического пѣвца, не были все-таки подвиги, „совершаемые инстинктомъ и силою цѣлаго народа“; во главѣ всегда стоялъ предводитель племени, царь, князь и его избранная дружина, въ средѣ которой долженъ былъ находиться и пѣвецъ, свидѣтель подвиговъ и одаренный поэтическимъ словомъ; если онъ пѣлъ даже о подвигахъ, которыхъ не былъ свидѣтелемъ, а только слѣдуя молвѣ, это былъ человѣкъ избранный. Таковъ былъ гомеровскій пѣвецъ Демодокъ, который при дворѣ царя феаковъ воспѣвалъ подвиги Одиссея. Это былъ вѣщій пѣвецъ ¹⁾, какъ вѣщій Боянъ въ Словѣ о полку Игоревѣ, „внукъ Велеса“. Привязанная къ единичнымъ подвигамъ князя и его богатырей, эпическая пѣсня была, вѣроятно, мѣстная, принадлежала одному отдѣлу племени и одной землѣ, и получала, если не общенародное, то болѣе широкое распространѣніе лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда самъ князь бывалъ общенароднымъ или дѣянія получали особенную славу. Эпическія пѣсни составляли, вѣроятно, принадлежность пѣвцовъ по профессіи, послѣдній отголосокъ которыхъ представляютъ въ настоящее время сѣверно-русскіе „пѣтари“, „сказатели“ и малорусскіе кобзарі, какъ пѣвцами духовныхъ стиховъ бывають слѣпцы, калики и лирники. Пѣніе олонецкихъ и архангельскихъ пѣвцовъ (какъ южно-русскихъ кобзарей), вѣроятно сохранившихъ въ значительной степени характеръ древнихъ пѣвцовъ, не составляетъ исключительной профессіи, но есть спеціальность, требующая особаго дара и изученія, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по самой важности эпическаго сказанія, пѣвцы сохраняли и поддерживали достоинство своего дѣла: они вѣрятъ въ передаваемую ими эпическую старину; они видятъ въ ней завѣтъ предковъ и — историческую быль. Это какъ будто отголосокъ того достоинства древняго эпическаго тона, какое должны были имѣть нѣкогда пѣвцы дружинные.

Впослѣдствіи, какъ полагають, носителями нашей эпической пѣсни по преимуществу стали тѣ „веселые люди“, скоморохи, о которыхъ нѣсколько ясныхъ извѣстія сохранились только за послѣдніе вѣка ихъ существованія. Они вѣроятно не бывали пѣвцами обрядовыхъ и лирическихъ пѣсенъ, которыя имѣли, какъ теперь, исполнителей въ самихъ участникахъ обряда и въ любящихъ пѣвцахъ изъ народной среды. Репертуаръ скомороховъ составляли пѣсни эпическія въ широкомъ смыслѣ слова, т.-е. не только пѣсни богатырскія, но и такъ называемыя низшія эпиче-

1)

...„Даръ пѣсней пріялъ отъ боговъ онъ
Дивный, чтобъ все воспѣвать, что въ его пробуждается сердца“.
(Одиссея, пѣснь VIII).

скія пѣсни, между прочимъ пѣсни шутливыя, какія остались и въ извѣстномъ теперь составѣ „былинъ“; въ пѣсняхъ этого послѣдняго рода естественно примыкало шутовское балагурство и настоящія комическія сцены, и все это вмѣстѣ оставило за скоморохами репутацію „веселыхъ людей“. Это время обособленія профессиональных пѣвцовъ, о странствіяхъ которыхъ по разнымъ краямъ русской земли сохранились историческія свидѣтельства, повидимому и было тѣмъ періодомъ, отъ котораго въ особенности дошла до насъ эпическая старина въ ея сравнительно позднемъ и сложномъ составѣ. Отъ скомороховъ расходились въ народѣ пѣсни ихъ спеціальнаго репертуара; это были странствующие компаніи, иногда очень многочисленныя и не только веселыя, но и буйныя; едва ли сомнительно, что какъ спеціалисты веселаго ремесла, владѣвшіе его техникой, они бывали и авторами многихъ пѣсень... Отсюда, вѣроятно, объясняется то обстоятельство, что въ то время какъ пѣсни обрядовыя сохранялись въ народѣ сами собою, въ силу любимаго, свято сохраняемаго обычая, и сбереглись донинѣ въ замѣчательномъ обиліи по всей территоріи русскаго племени, пѣсни эпическія забылись почти вездѣ, кромѣ сѣвера и частию Сибири, съ тѣхъ поръ какъ сошли со сцены профессиональные пѣвцы, скоморохи.

Но и въ пѣсняхъ обрядовыхъ нѣтъ полной однородности. Эти пѣсни, какъ и самый обрядъ, въ настоящее время отличаются большимъ разнообразіемъ. Не говоря о томъ рѣзкомъ различіи, какое представляютъ въ этомъ отношеніи двѣ главныя отрасли русскаго племени, великорусская и малорусская, и которое восходитъ, вѣроятно, къ очень отдаленнымъ временамъ, большую массу вариантовъ находимъ въ области самого великорусскаго племени,—и это разнообразіе было, безъ сомнѣнія, не позднѣйшимъ забвеніемъ и искаженіемъ (хотя необходимо бывало и то и другое), но также слѣдомъ давняго различія пѣсни и обряда по мѣстностямъ и племенамъ. Начальная лѣтопись не даромъ рѣзкими чертами изображала несходные характеры русско-славянскихъ племенъ, отъ тѣхъ, которыя жили „звѣринскимъ“ образомъ, да любезныхъ лѣтописцу, цивилизованныхъ полянъ: очевидно, что съ различіемъ быта и съ различіемъ самаго происхожденія, которое лѣтописецъ также указываетъ, должны были соединяться различныя обряды и обрядовая поэзія. Кромѣ краткаго упоминанія начальной лѣтописи, мы не имѣемъ другихъ прямыхъ данныхъ объ этой древнѣйшей порѣ народнаго быта. Совершенно естественно, что въ теченіе исторіи народная поэзія, даже въ той интимной сторонѣ ея, которая всего меньше

могла подвергаться случайнымъ чуждымъ вліяніямъ, должна была испытать не мало измѣненій по формѣ и по существу; разнородному колебанію пѣсенной старины должны были не мало содѣйствовать передвиженія и взаимныя связи народныхъ массъ;— великій переворотъ въ началѣ писанной исторіи былъ произведенъ установленіемъ христіанства. Быть можетъ, будущему изслѣдованію удастся со временемъ выдѣлить среди позднѣйшихъ видоизмѣненій и наслоеній народной пѣсни и слѣды этихъ древнихъ отбѣнковъ племенного быта.

Такимъ образомъ, общій характеръ состоянія народной поэзіи заключается не въ неподвижномъ храненіи преданія отъ поколѣнія къ поколѣнію, а напротивъ, въ постоянномъ колебаніи, измѣнчивости, происходившей, во-первыхъ, отъ первобытнаго различія племенъ, объединенныхъ потомъ въ русскомъ народѣ; во-вторыхъ, отъ историческихъ вліяній, дѣйствовавшихъ въ народной жизни въ теченіе вѣковъ, и съ одной стороны приносявшихъ новое содержаніе, а съ другой—измѣнявшихъ и вытѣснявшихъ старое; наконецъ, измѣнялся текстъ народной пѣсни съ историческими измѣненіями въ языкѣ. Вслѣдствіе всего этого, старыя формы и содержаніе народной поэзіи остаются намъ мало или совсѣмъ неизвѣстны. Наконецъ, присоединяется и то, что по историческимъ условіямъ нашей письменности народная поэзія не была закрѣплена (за немногими исключеніями) въ письменныхъ памятникахъ, такъ что для насъ затеряно древнее преданіе въ его подлинной формѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ народная поэзія не могла стать органическою силою въ развитіи старой нашей литературы.

Устраненіе народной стихіи изъ интересовъ письменности, которая была первой формой просвѣщенія, совершилось при самомъ началѣ письменности, послѣ введенія христіанства. Первымъ дѣломъ князя Владимира было низверженіе идоловъ: такъ было сдѣлано въ Кіевѣ, потомъ въ Новгородѣ; первые учителя христіанства не удовольствовались этимъ уничтоженіемъ предметовъ языческаго культа и, проповѣдуя новое ученіе, отвергли цѣликомъ весь старый обычай, въ которомъ видѣли только наслѣдіе язычества. Новое ученіе понято было ими въ суровой аскетической формѣ, требовавшей отъ новообращенныхъ покаянія и молитвы и не допускавшей никакого мірскаго развлеченія. По примѣру греческихъ учителей, которые приравняли боговъ античнаго язычества къ бѣсамъ, и все языческое преданіе русскаго народа было отождествлено съ бѣсовскимъ; исполненіе стараго

обычая было осуждено какъ служеніе дьяволу, — но въ старой народной поэзіи, какъ въ современной, наибольшая масса пѣсенъ должна была принадлежать къ пѣснямъ обрядовымъ, и потому запрещеніе распространилось и на пѣсни, которыя обозначались равно и „мірскими“, и „бѣсовскими“. Извѣстно вообще (хотя не выяснено, какъ именно это совершилось), что приняты были мѣры къ тому, чтобы удалить изъ народной памяти и обычая старыя языческія празднества, приурочивъ къ нимъ празднества церковныя: какъ на мѣстѣ капища Перуна построена была церковь, такъ старый народный календарь замѣнился мало-помалу календаремъ церковнымъ, старыя божества смѣнились христіанскою святыней. Весьма возможно, что атрибуты Перуна дѣйствительно были переносимы на Илью Пророка или атрибуты Волоса на св. Власія, — какъ у самихъ грековъ Илья Пророкъ замѣнилъ стараго Зевса ¹⁾.

Первые книжники были почти исключительно лица духовныя, проникнутыя упомянутымъ аскетическимъ взглядомъ; книга назначалась исключительно для церковнаго обученія и частью для лѣтописи. Естественнo, что такіе книжники сочли бы за великій грѣхъ дать въ книгѣ мѣсто какому-либо произведенію народной поэзіи: церковный учитель, какъ и лѣтописецъ, находить только слова осужденія для „бѣсовской“ пѣсни, составлявшей одинъ грѣховный соблазнъ; тотъ и другой желали, напротивъ, чтобы о ней утратилась всякая память. Сама народная поэзія не успѣла стать такимъ жизненнымъ интересомъ, который превозмогъ бы опасенія книжниковъ: изъ ея любителей не нашлось достаточно грамотныхъ людей, которые сберегли бы ея преданіе; или до насъ не дошли старыя памятники подобнаго рода, — и позднѣе только въ случайномъ единичномъ памятникѣ уцѣлѣло Слово о полку Игоревѣ.

Первыя поученія христіанскихъ проповѣдниковъ, упоминанія лѣтописи о старомъ обычаѣ, наконецъ переводы византійскихъ обличеній язычества, дополняемые южно-славянскими и русскими прибавками, были вмѣстѣ обличеніемъ языческаго преданія и осужденіемъ народной поэзіи. Начиная съ XI вѣка, эти осужденія тянутся черезъ весь старый періодъ нашей исторіи до временъ Алексѣя Михайловича и даже до „Духовнаго Регламента“...

Начальный лѣтописецъ, говоря о старомъ бытѣ русскихъ славянъ до основанія государства и до христіанства, упоминаетъ

¹⁾ Ср. Голубинскаго, Исторія р. церкви. I, 2, стр. 742.

о поклоненіи идоламъ, которые, по его христіанскому разумѣнію, были именно бѣсы, и эта точка зрѣнія утвердилась во всѣхъ дальнѣйшихъ обличеніяхъ, гдѣ сохраненіе до-христіанскаго обычая изображалось какъ остатокъ служенія бѣсамъ. Первые руководители русской церкви были греки, которымъ русская жизнь была чужда, и тѣмъ болѣе всякій не-церковный обычай казался старымъ идолослуженіемъ. Въ церковномъ правилѣ митр. Іоанна (въ концѣ XI вѣка) пересчитанъ цѣлый рядъ такихъ языческихъ обычаевъ: поклоненіе „бѣсамъ“ и колодезямъ, „играніе, плясаніе, гудѣніе“ и „бѣсовское пѣніе“. Запрещенія повторяются въ церковномъ уставѣ князя Всеволода, въ первой половинѣ XII вѣка. Лѣтописецъ, рассказывая подъ 1067 годомъ о нашествіи половцевъ, предается размышленію о томъ, что Богъ наводитъ ино-племенниковъ по гнѣву за наши грѣхи. „Богъ бо не хочетъ зла человѣкомъ, но блага; а дьяволъ радуется злему убійству и крови-пролитію, подвизая свары и зависти, братоненавидѣніе, клеветы. Земли же согрѣпивши которѣй любо, казнить Богъ смертію, ли голодомъ, ли наведеніемъ поганыхъ, ли ведромъ, ли гусеницею, ли инѣми казними, аще ли покаявшася будемъ въ немъ же ны Богъ велитъ жити. Глаголетъ бо Пророкомъ намъ: обратитесь ко мнѣ всѣмъ сердцемъ вашимъ, постомъ и плачемъ. Да аще сице створимъ, всѣхъ грѣхъ прощени будемъ: но мы на злое възвращаемся, акы свинья въ калѣ грѣховнѣмъ присно валяющесе, и тако пребываемъ“. По мнѣнію благочестиваго книжника, его современники только назывались христіанами, а жили еще совсѣмъ по-язычески. „Се бо не погански ли живемъ?.. Аще бо кто усращеть черноризца, то възвращается, ли единецъ, ли свинью, то не поганьскы ли се есть? Се бо по дьяволу наученію кобъ сію держать, друзіи же и закиханью (чиханью) вѣрують, еже бываетъ на здравье главѣ. Но сими дьяволъ лститъ, и другими нравы, всячьскыми лестьми превабляя ны отъ Бога, трубами и скоморохы, гуслыми и русальи. Видимъ бо игрища утолочена, и людій много множество, яко упихати начнутъ другъ друга, позоры дѣюще отъ бѣса замышленаго дѣла, а церкви стоять; егда же бываетъ годъ молитвы, мало ихъ обрѣтается въ церкви. Да сего ради казни пріедемъ отъ Бога всячскыя, и нахоженіе ратныхъ, по божьей повелѣнію пріедемъ казнь грѣхъ ради нашихъ“ ¹⁾.

Эти слова лѣтописца были извлеченіемъ изъ поученія „о казняхъ божіихъ“, приписываемаго Θεодосію Печерскому ²⁾, и вѣ-

¹⁾ Полное Собраніе Лѣтоп., I, стр. 73.

²⁾ Ученія Записки II Отдѣленія Академіи. Спб. 1856, вып. 2, стр. 195.

которые изслѣдователи сомнѣвались принять этотъ текстъ за прямое свидѣтельство о русской древности, такъ какъ поученіе Θεодосія имѣло въ основѣ своей памятникъ, переведенный съ греческаго и занесенный къ намъ изъ южно-славянской письменности. По старому книжному обычаю и неумѣлости, чужое сочиненіе относимо было къ своей жизни, если только представлялся къ этому поводъ въ какихъ-нибудь чертахъ содержанія, иногда съ приноровленіями къ русской жизни, или съ наивнымъ соединеніемъ своего и чужого.

Вѣроятно очень рано, и также изъ южно-славянскаго источника, появились спеціальныя обличенія язычества, опять съ этимъ смѣшеніемъ чужого и своего. Таковы были: Слово Григорія Богослова „о томъ, како первое погани суще языци кланялися идоломъ и требы клали, то и нынѣ творять“; Слово Іоанна Златоуста о томъ же; Слово „отъ св. евангелія“. Эти статьи направлены были противъ древняго греческаго язычества: славянскій переводчикъ не усумнился примѣнить къ своимъ соотечественникамъ поученія знаменитыхъ церковныхъ писателей, но рядомъ съ греческими „идолами“ и „требами“ поставилъ и предметы славяно-русскаго язычества. Получалось нѣчто странное; все язычество было смѣшано въ одно общее идолослуженіе, и вычитавъ у греческихъ обличителей осужденіе античнаго политеизма, наши книжники надолго усвоили себѣ ихъ терминологию и обличали русскаго людей въ „еллинскихъ“ заблужденіяхъ: къ именамъ боговъ греческаго Олимпа прибавлены простодушно имена русскаго языческихъ божествъ, и такъ какъ поученія обращены были противъ русскаго людей, еще не отставшихъ отъ язычества, то выходило, что русскіе поселяне кланялись не только Перуну и Мокоши, но также Дію (Зевсу), Артемидѣ и т. д.

До сихъ поръ не вполне изслѣдованное „Слово нѣкоего Христолюбца, ревнителя по правой вѣрѣ“, извѣстное по рукописямъ съ XIV вѣка, въ особенности богато обличеніями язычества, послѣдователей котораго Христолюбецъ считаетъ достойными огня негасимаго и смолы вѣчно кипящей: авторъ съ великимъ негодованіемъ говоритъ объ „идольской службѣ“, проклинаетъ языческіе обряды и суевѣрія, бѣсовскія игры, которыя играютъ на пирахъ и на свадьбахъ, и наконецъ бѣсовскія пѣсни.

Еще одно обличеніе народнаго обычая находимъ въ поученіи Георгія, монаха Зарубскаго монастыря (въ Кіевской области), относимомъ къ до-монгольскому періоду. Благодетельный инокъ убѣждаетъ свое духовное чадо бѣгать лихого смѣха, скомороха, не вводитъ въ свой домъ гудца, потому что это дѣло поганское, а

не христіанское; а для христіанина должно быть другое увеселеніе: „а крестьянскы суть гусли прѣврасная доброгласная псалтыря, ею же присво должни есмы веселитися... То ти драго есть веселье, то ти прѣславная есть пѣснь со аньелы ны совкупляющи“.

Христіанство медленно проникало въ массу; еще лѣтъ сто спустя послѣ Владимира выступали въ самомъ Кіевѣ и Новгородѣ старыя волхвы, какъ явные противники христіанства, и увлекали за собой толпу; еще больше держалось „тайное язычество“,—но мало-по-малу образовалось то состояніе умовъ, которое древній обличитель называлъ „двоевѣріемъ“. Это было именно народное міровоззрѣніе древняго и средняго періода—фантастическая смѣсь христіанскаго ученія и полу-языческаго повѣрья, которая частію держится въ народѣ по сіе время, а въ половинѣ стараго періода была выражена особенно ярко и въ концѣ концовъ образовала новую почву для народно-поэтическаго творчества въ области духовнаго стиха и питавшей его легенды. Если древніе проповѣдники и лѣтописцы, если „Слово Христовлюбца“ говорятъ еще о настоящемъ язычествѣ, называя имена крупныхъ и мелкихъ языческихъ божествъ, которымъ вѣрилъ и приносилъ жертвы темный народъ, то позднѣе, въ XVI—XVII вѣкѣ, странно было говорить объ язычествѣ; но тѣмъ не менѣе продолжаютъ суровыя обличенія народныхъ суевѣрій, не признаваемыхъ церковью праздниковъ и обычаевъ, игръ и увеселеній, и затѣмъ народной поэзіи. Прежняя аскетическая точка зрѣнія,—съ которой проклинались бѣсовскія пѣсни и народныя увеселенія были только „безчиніемъ“ или „сборищами идольскихъ игръ“,—впослѣдствіи, когда русская церковь „просіяла“ уже множествомъ святыхъ подвижниковъ и святыхъ, еще усилилась. Стоглавый соборъ старался изгнать изъ народной жизни все, что по его взгляду не отвѣчало церковному благочинію; въ соборныхъ отвѣтахъ на царскіе вопросы поставленъ цѣлый рядъ запрещеній, направленныхъ противъ глумотворцевъ, органиковъ, гусельниковъ, смѣхотворцевъ и тѣхъ, кто поетъ „бѣсовскія пѣсни“ и предается „бѣсовскимъ играмъ“; противъ волхвовъ и „еллинскаго“ чародѣянія; противъ всякихъ апокрифическихъ суевѣрій; противъ оплакиванія умершихъ (или причитаній) на „жалыникахъ“, куда являлись и скоморохи; противъ народныхъ праздниковъ въ теченіе святокъ, когда совершалось „ночное плещеваніе и безчинный говоръ, и бѣсовскія пѣсни, и плясаніе, и скаканіе, и многія богомерзкія дѣла“, потому что всѣ эти „еллинскія прелести“ были священными правилами апостоловъ и св.

отець запрещены и прокляты; и далѣе противъ цѣлаго ряда народныхъ обычаевъ, сопровождаемыхъ конечно обрядовыми пѣснями (глава 41). И далѣе, еще нѣсколько главъ въ постановленіяхъ собора наполнено осужденіемъ „игрищъ еллинскаго бѣснованія“.

Этого предмета не могъ, конечно, пропустить „Домострой“, ставившій себѣ цѣлью опредѣлить правила благочестиваго житія. Онъ нѣсколько разъ возвращается къ обличенію „злыхъ нравовъ и обычаевъ“, къ чему, кромѣ всякаго рода грѣховъ, суевѣрій и всякихъ безнравственныхъ проступковъ, принадлежатъ и такія „богомерзкія дѣла“: „пѣсни бѣсовскія, плясаніе, скаканіе, гудѣніе, трубы, бубны, сопѣли, и медвѣди и птицы и собаки ловчія, творяще конское урестаніе, всякое бѣсовское угодіе и всякое безчиніе и безстрашіе“. Дѣлая наставленіе о томъ, какъ принимать гостей, „Домострой“ изображаетъ пиръ благочестивый „съ молчаніемъ или съ духовною бесѣдою“, при которой тогда „ангели невидимо предстоятъ и пишутъ дѣла добрая“, и пиръ безчинный, гдѣ „еще начнутъ смрадны и скаредны рѣчи и блудны и срамословіе и смѣхотвореніе и всяко глумленіе или гусли, и всяко гудѣніе, и плясаніе, и плесканіе и всякія игры бѣсовскія, тогда якожь дымъ отгонитъ пчелы, такожь отъидутъ ангели божія отъ тоя трапезы и смрадныя бѣси предстанутъ тѣ и возрадуются“: и когда пирующие „начнутъ безчинствовати зернью, и шахматы, и всякими игры бѣсовскими тѣшпитися“, то „написуютъ дѣла ихъ бѣси и приносятъ къ сотонѣ, и вкупѣ радуются погибели христіанской; и та вся дѣла предстанутъ въ день страшнаго суда“. И еще разъ „Домострой“ возвращается къ этому предмету, въ главѣ „о неправедномъ житіи“: онъ перечисляетъ людей, живущихъ не по христіанскому закону и не имѣющихъ страха Божія, и въ числѣ такихъ людей называется между прочимъ тотъ, кто не хранитъ поста или чародѣйствуетъ, „или ловы творитъ съ собаками и со птицами, и съ медвѣди; и всякое дьяволе угодіе творитъ, и скоморохи и ихъ дѣло, плясаніе и сопѣли, пѣсни бѣсовскія всегда любя, и зернью, и шахматы, и тавлеи самъ государь ¹⁾), и его дѣти и христіане тако творятъ, а государь о томъ не возбраняетъ, и обидимому управы не дастъ прямо, вси вкупѣ будутъ во адѣ, а здѣ прокляты; и во всѣхъ тѣхъ плодѣхъ не благословенныхъ отъ Бога не милуванъ, а отъ народа проклятъ“.

Проходитъ еще сто лѣтъ, и въ первые годы царствованія Алексѣя Михайловича открывается новое преслѣдованіе тѣхъ же

¹⁾ Отецъ семейства, хозяинъ дома.

„еллинскихъ“ обычаевъ. Въ знаменитой грамотѣ верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго на Ирбитѣ передается царскій указъ 1649 г., въ которомъ говорится, что до царскаго свѣдѣнія дошло, что въ Тобольскѣ и иныхъ сибирскихъ городахъ и уѣздахъ, всякихъ чиновъ люди предаются пьянству, всякому бѣсовскому дѣйству и т. д., и воеводѣ повелѣвалось чинить такимъ людямъ строгое наказаніе и ослушниковъ бить батогами. По московскому приказному обычаю всѣ эти бѣсовскія дѣйства съ точностью перечислены, такъ что мы имѣемъ въ царскомъ указѣ подробный списокъ народныхъ увеселеній, праздниковъ и обрядовъ, причемъ не забыты и „сатанинскія пѣсни“. Указъ чрезвычайно характеренъ для опредѣленія того, какъ относились къ народному обычаю въ ту эпоху, которую изображаютъ какъ золотой вѣкъ охраненія народности и отсутствія „разлада“. Указъ долженъ занять важное мѣсто и въ исторіи судебъ народной поэзіи. Приводимъ извлеченіе.

А именно, до царя дошло, что между православными христианами учинилось отъ сатанинскихъ учениковъ многое неистовство. „Многіе люди, забывъ Бога и православную христианскую вѣру, тѣмъ прелестникомъ, своморохомъ послѣдствуютъ, на безчинное ихъ прелщеніе сходятся по вечерамъ на позорища, и на улицахъ и на поляхъ богомерзкихъ ихъ и скверныхъ пѣсней и всякихъ бѣсовскихъ игръ слушаютъ, мужского и женскаго полу, въ городѣхъ и уѣздѣхъ, бываютъ со многими чародѣйствомъ и волхованіемъ и многихъ людей тѣмъ своимъ чародѣйствомъ прелщаютъ; а иные люди тѣхъ чародѣевъ и волхвовъ и богомерзкихъ бабъ въ домъ къ себѣ призываютъ и къ малымъ дѣтемъ, и тѣ волхвы надъ болными и надъ младенцы чинятъ всякое бѣсовское волхованіе и отъ правовѣрія православныхъ крестьянъ отлучаютъ; да въ городѣхъ же и уѣздѣхъ отъ прелестниковъ и отъ малоумныхъ людей дѣлается бѣсовское сонмище, сходятся многіе люди мужского и женского полу по зорямъ и въ ночи чародѣйствуютъ, съ солнычнаго схода перваго дни луны смотреть и о громное громленіе на рѣкахъ и въ озерахъ купаются, чаютъ себѣ отъ того здравія, и съ серебра умываются, и медвѣди водятъ и съ собачками пляшутъ, и зернью и карты и шахматы и лодыгами играютъ, и чинятъ безчинное скаканіе и плясаніе, и поютъ бѣсовскія пѣсни, и на Святой недѣли жонки и дѣвки на доскахъ скачутъ, а о Рождествѣ Христовѣ и до Богоявленьева дни сходятся мужского и женского полу многіе люди въ бѣсовское сонмище, по дьявольской прелести, во многое бѣсовское дѣйство, играютъ во всякіе бѣсовскіе игры;

а въ навечеріе Рождества Христова, и Васильева дни, и Бого-явленія Господня, клички бѣсовскіе кличуть, Коледу и Таусень и Плуту; и многіе человѣцы, неразумьѣмъ, вѣрують въ сонъ, и въ встрѣчу, и въ полазъ, и въ птичей грай, и загадки загадываютъ, и сказки сказываютъ небылые, и празднословіемъ и смѣхотвореніемъ и кощунаніемъ души свои губятъ такими помраченными и беззаконными дѣлами, и накладываютъ на себя личины и платье скоморожское, межъ себя нарядя бѣсовскую кобылку водятъ: и въ такихъ позорищахъ своихъ многіе люди въ блудъ впадаютъ и незапною смертію умирають, и въ той прелести христіане погибають, и съ качели многіе убиваются до смерти. Да въ городѣхъ же и у уѣздныхъ людей у многихъ бывають на свадьбахъ всякіе безчинники и сввернословцы и скоморохи, со всякими бѣсовскими игры, и уклоняются православные христіане къ бѣсовскимъ прелестямъ и ко пьянству, а отцовъ духовныхъ, и по приходомъ поповъ, и учителей людей наказанья не слушаютъ, и за наказанье отцомъ духовнымъ и приходскимъ попомъ и учительнымъ людямъ поруганіе и укоризну и безчестье и налогъ дѣлають“...

Вслѣдствіе всего этого велѣно было прочитатъ всякихъ чиновъ людямъ этотъ государевъ указъ „не по одиножды, всѣмъ вслухъ“ и „приказатъ“, чтобы всѣхъ чиновъ люди вели себя благочинно, чтобы всего вышеписаннаго они не дѣлали, и отставъ отъ безчинія, приходили по воскресеньямъ и праздникамъ въ божіи церкви, слушали поученія духовныхъ отцовъ и учительныхъ людей,—при чемъ снова пересчитано упомянутое „неистовство“, котораго не слѣдовало дѣлать, и наконецъ „гдѣ объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари“ (т.-е. маски), „и всякія гудебные бѣсовскіе сосуды, и тебѣ бѣ (кто получаетъ указъ) то все велѣтъ вынимать, и изломать тѣ бѣсовскія игры велѣтъ жечь“, а ослушниковъ „бить батоги“. Подобныя распоряженія повторены были въ 1652 и 1657 годахъ. Олеарій рассказываетъ, что въ самой Москвѣ патріархъ велѣлъ собрать всѣ музыкальные инструменты, какіе могли найти; ими нагроулили пять воезовъ, свезли за Москву рѣку на Болото (мѣсто казни преступниковъ) и сожгли. „Читая рассказъ Олеарія,—говоритъ Забѣлинъ,—сначала можно было бы подумать, что патріархъ напалъ только на развратныя оргіи народа, которымъ музыка служила подспорьемъ, и потому запретилъ тамъ музыкальные инструменты. Такъ, безъ сомнѣнія, Олеарію объясняли дѣло благочестивые современники. Но вскорѣ изъ его словъ мы узнаемъ, что не оргіи были причиною такого запрещенія, а бѣсовство самыхъ инструментовъ,

этихъ отреченныхъ церковью гудебныхъ сосудовъ, которые сами по себѣ изгонялись изъ міра, какъ сатанинскій соблазнъ благочестивыхъ душъ. Торжество старческихъ ученій объ этихъ сатанинскихъ прелестяхъ сего міра воодушевило и молодого царя, который вообще былъ очень приверженъ къ авторитету священства и монашества“. На собственной свадьбѣ царя не было обычныхъ увеселеній и, вмѣсто „свадебныхъ потѣхъ“, воспѣвались только церковныя пѣсни. Историкъ замѣчаетъ: „Въ сущности въ этомъ постычскомъ поворотѣ общественной жизни обнаруживался иной ея поворотъ, неудержимый поворотъ къ Петровской реформѣ. Здѣсь высказывалась главнымъ образомъ настоятельная потребность всенароднаго нравственнаго очищенія, такая же потребность, какая была заявлена ровно за сто лѣтъ предъ тѣмъ, изданіемъ Стоглава и Домостроя. Но какъ тогда, такъ и въ эту минуту руководители народной потребности смотрѣли не впередъ, а назадъ, стремились найти источникъ нравственнаго обновленія на старомъ, уже пройденномъ пути, въ старыхъ преданіяхъ, въ старыхъ отеческихъ обычаяхъ и поученіяхъ. Отсюда и въ настоящую эпоху, въ половинѣ XVII-го ст., новое торжество того же Стоглава и того же Домостроя, т.-е. торжество вѣры въ смыслѣ старой культуры, стараго развитія, старой нравственной выработки. Но съ этимъ торжествомъ для старой культуры наставалъ уже послѣдній часъ, ибо въ немъ, при его помощи, для выросшаго государства съ большею ясностью предстали одностороннія начала старой жизни; лучшимъ людямъ вѣка при новой постановкѣ Домостроя стало несравненно виднѣе, осязательнѣе, что съ такими началами, если и необходимо жить всякому постыку, то государству съ нимъ жить невозможно“ ¹⁾. Царь сдѣлалъ одно исключеніе: изъ всѣхъ потѣхъ онъ сохранилъ только охоту, а изъ народно-поэтическихъ развлеченій сберегъ при дворцѣ только бахарей, которымъ однако былъ приданъ видъ „верховыхъ“, т.-е. придворныхъ, нищихъ; въ послѣдствіи они называются верховными богомольцами. Они составили какъ бы дворцовую богадѣльню, значеніе которой объясняется извѣстіями англичанина Коллинса (1659—1666): онъ говоритъ между прочимъ, что царь содержитъ во дворцѣ стариковъ, имѣющихъ по 100 лѣтъ отъ роду, и очень любитъ слушать ихъ рассказы о старинѣ. Полагаютъ, что это были именно тѣ нищіе старцы или переходные калики, которые уцѣлѣли до сихъ поръ, какъ пѣвцы духовныхъ

¹⁾ Забѣлинъ, Домашній бытъ русскихъ царицъ. Москва. 1869, стр. 441—443.

стиховъ, а въ старину могли воспѣвать также, кромѣ подвиговъ церковныхъ, и подвиги богатырскіе...

Впослѣдствіи самъ царь Алексѣй не выдержалъ аскетической программы, которую наложилъ на себя и на своихъ подданныхъ. Въ послѣдніе годы жизни онъ увлекся до страсти иноземнымъ театромъ, который и послужилъ началомъ русской сцены.

Эти взгляды царя Алексѣя и принимавшіяся имъ мѣры чрезвычайно характерны для исторіи нашей народной поэзіи. Во второй половинѣ XVII вѣка, почти наканунѣ реформы, среди различныхъ явленій бытовой и умственной жизни, ясно указывавшихъ на необходимость и близость преобразованія, находимъ рѣшительное подтвержденіе того самаго взгляда на народную поэзію, который видѣли у благочестиваго лѣтописца XI вѣка, въ изданіяхъ Печерскаго Патерика въ церковныхъ и княжескихъ постановленіяхъ первыхъ вѣковъ русскаго государства и церкви, у Зарубскаго инока и Христомѣца XIII — XIV вѣка, въ Стоглавѣ и Домостроѣ. Нельзя не удивляться, что при этой безмѣрности взгляда на народную поэзію, проходящаго черезъ весь старый періодъ нашей исторіи, новѣйшіе поклонники старины могли не видѣть, что здѣсь именно происходилъ систематически тотъ разрывъ съ народомъ, который ставитъ въ вину новому періоду нашей исторіи, и звали насъ „домой“ въ этотъ XVI — XVII вѣкъ, для того, чтобы объединиться съ народомъ... Поляти были грубо наивны, но съ этими упрямими преслѣдованіемъ народно-поэтическаго преданія какъ народною жизнью совершалось настоящее насиліе. Правда, благочестивые преслѣдователи могли недоумѣвать на то, что въ народномъ обычаѣ и пѣсняхъ встрѣчалось иногда прямо непростительное, но они не чувствовали, что за этимъ исключеніемъ въ массѣ пѣсенъ была истинная поэзія, глубокое и нѣжное чувство, какія имъ видны и въ современныхъ дѣлкахъ отголоскахъ этой старины, что народъ могъ справедливо порожать эти послѣдніе предвѣсты, гдѣ такъ много было себѣ нравственную силу и поэтическую отраду. Съ другой стороны правда и то, что преслѣдованіе не могло имѣть достигнуть своей цѣли: пѣсни продолжали жить въ народѣ, — какъ продолжало жить и даже нарождалось вновь безграмотное степеніе; но во всякомъ случаѣ въ средѣ, едва начинавшей умственную и литературную жизнь, не могло остаться безъ вліянія то, что народная поэзія была на нѣсколько вѣковъ осуждена сѣтанинскою, что она принадлежала кнѣзьямъ и боярамъ, а не народу, что не было случая говорить о ней. Имѣлъ сомнѣнія, что въ связи съ этимъ народное явленіе, отбывавшее весь древній

періодъ нашей исторіи,—что письменность осталась чужда этой стихіи, не сохранила намъ поэтическихъ памятниковъ древности, такъ что мы, потомство, лишены въ высшей степени любопытныхъ свидѣтельствъ объ исторической жизни народа въ его поэзи. Сама письменность лишена была оживляющаго вліянія поэтическихъ завѣтовъ древности; за единственнымъ исключеніемъ Слова о полку Игоревѣ, она осталась безъ поэтического отдѣла: въ ней всего шире распространилась аскетическая книга, переводная или подражательная; легенда, только изрѣдка и одною стороною касавшаяся народной почвы; исторіографія въ большинствѣ блѣдная, часто прямо официальная,—для живыхъ отраженій народнаго чувства, даже въ самые возбужденные, трагическіе или радостные моменты ея, въ письменности не находилось мѣста.

Эти безконечныя проклятія достигли одной цѣли: онѣ лишили литературу непосредственной жизненности, богатаго источни- художественной красоты, лишили потомство самыхъ яркихъ свидѣтельствъ о пережитой исторіи; но все-таки не смогли истребить эту народную поэзію. Она продолжала жить въ народѣ, несмотря на всѣ запрещенія, потому что была слишкомъ необходимымъ элементомъ бытовой и нравственной жизни, неустранимой эстетической потребностью. Постоянныя запрещенія были постояннымъ свидѣтельствомъ, что она продолжала существовать.

Древнѣйшее свидѣтельство о русской народной поэзи находили въ извѣстномъ разсказѣ арабскаго писателя X вѣка Ибнъ Фадлана о видѣнныхъ имъ похоронахъ „русса“, причемъ описано, какъ была погнута и молодая дѣвушка, рабыня; передъ похороною она проводила время въ странномъ весельѣ и пѣлѣ. Впрочемъ, трудно принять этотъ разсказъ за первое свидѣтельство о русской поэзи послѣ возраженій, какія сдѣланы были г. Стасюлемъ и другими въ обычныхъ толкованіяхъ арабскаго писателя (см. примечанія 1).

Упорныя попытки доказать возможность предположить, что народная жизнь была переполнена поэтическимъ элементомъ.

бѣсовскихъ пѣсенъ и т. д. доказываютъ, что народная жизнь была переполнена поэтическимъ элементомъ. Особенно очевидно это въ свадебныхъ пѣсняхъ и донинѣ.

стиховъ, а въ старину могли воспѣвать также, кромѣ подвиговъ церковныхъ, и подвиги богатырскіе...

Впослѣдствіи самъ царь Алексѣй не выдержалъ аскетической программы, которую наложилъ на себя и на своихъ подданныхъ. Въ послѣдніе годы жизни онъ увлекся до страсти иноземнымъ театромъ, который и послужилъ началомъ русской сцены.

Эти взгляды царя Алексѣя и принимавшіяся имъ мѣры чрезвычайно характерны для исторіи нашей народной поэзіи. Во второй половинѣ XVII вѣка, почти наканунѣ реформы, среди различныхъ явленій бытовой и умственной жизни, ясно указывавшихъ на необходимость и близость преобразованія, находимъ рѣшительное подтвержденіе того самаго взгляда на народную поэзію, который видѣли у благочестиваго лѣтописца XI вѣка, въ назиданіяхъ Печерскаго Патерика, въ церковныхъ и княжескихъ постановленіяхъ первыхъ вѣковъ русскаго государства и церкви, у Зарубскаго инока и Христолюбца XIII — XIV вѣка, въ Стоглавѣ и Домостроѣ. Нельзя не удивляться, что при этой неизмѣнности взгляда на народную поэзію, проходящаго черезъ весь старый періодъ нашей исторіи, новѣйшіе поклонники старины могли не видѣть, что здѣсь именно происходилъ систематически тотъ разрывъ съ народомъ, который ставятъ въ вину новому періоду нашей исторіи, и звали насъ „домой“ въ этотъ XVI — XVII вѣкъ, для того, чтобы объединиться съ народомъ... Понятія были грубо наивны, но съ этимъ упорнымъ преслѣдованіемъ народно-поэтического преданія надъ народною жизнью совершалось настоящее насиліе. Правда, благочестивые преслѣдователи могли негодовать на то, что въ народномъ обычаѣ и пѣсняхъ встрѣчалось иногда прямо непристойное, но они не чувствовали, что за этимъ исключеніемъ въ массѣ пѣсенъ была истинная поэзія, глубокое и нѣжное чувство, какія мы видимъ и въ современныхъ далекихъ отголоскахъ этой старины, что народъ могъ справедливо дорожить этимъ наслѣдіемъ предковъ, гдѣ онъ находилъ себѣ нравственную пищу и поэтическую отраду. Съ другой стороны правда и то, что преслѣдованіе не могло вполне достигнуть своей цѣли: пѣсни продолжали жить въ народѣ, — какъ продолжало жить и даже нарождалось вновь безграничное суевѣріе; но во всякомъ случаѣ въ средѣ, едва начавшей умственную и литературную жизнь, не могло остаться безъ вліянія то, что народная поэзія была на нѣсколько вѣковъ ославлена сатанинской, что она проклиналась книжниками каждый разъ, когда имъ случалось говорить о ней. Нѣтъ сомнѣнія, что въ связи съ этимъ находится явленіе, отмѣтившее весь древній

періодъ нашей исторіи,—что письменность осталась чужда этой стихіи, не сохранила намъ поэтическихъ памятниковъ древности, такъ что мы, потомство, лишены въ высшей степени любопытныхъ свидѣтельствъ объ исторической жизни народа въ его поэзіи. Сама письменность лишена была оживляющаго вліянія поэтическихъ завѣтовъ древности; за единственнымъ исключеніемъ Слова о полку Игоревѣ, она осталась безъ поэтическаго отдѣла: въ ней всего шире распространилась аскетическая книга, переводная или подражательная; легенда, только изрѣдка и одною стороною касавшаяся народной почвы; исторіографія въ большинствѣ блѣдная, часто прямо официальная,—для живыхъ отраженій народнаго чувства, даже въ самые возбужденные, трагическіе или радостные моменты ея, въ письменности не находилось мѣста.

Эти безконечныя проклятія достигли одной цѣли: онѣ лишили литературу непосредственной жизненности, богатаго источника художественной красоты, лишили потомство самыхъ яркихъ свидѣтельствъ о пережитой исторіи; но все-таки не смогли истребить эту народную поэзію. Она продолжала жить въ народѣ, несмотря на всѣ запрещенія, потому что была слишкомъ необходимымъ элементомъ бытовой и нравственной жизни, неустранимой эстетической потребностью. Постоянныя запрещенія были постояннымъ свидѣтельствомъ, что она продолжала существовать.

Древнѣйшее свидѣтельство о русской народной пѣснѣ находили въ извѣстномъ разсказѣ арабскаго писателя X вѣка Ибнъ-Фадлана о видѣнныхъ имъ похоровахъ „русса“, при чемъ должна была погибнуть и молодая дѣвушка, рабыня; передъ смертью она проводила время въ странномъ весельѣ и пѣлѣ. Впрочемъ, трудно принять этотъ разсказъ за первое свидѣтельство о русской пѣснѣ послѣ возраженій, какія сдѣланы были г. Стасовымъ противъ обычныхъ толкованій арабскаго писателя и которыя, кажется, еще не были опровергнуты ¹⁾.

Упорныя осужденія бѣсовскихъ пѣсенъ и игрищъ даютъ возможность предполагать, что народная жизнь была дѣйствительно переполнена пѣснями, какъ и донныя народный календарь и главнѣйшія событія бытовой жизни сопровождаются своимъ особымъ подборомъ пѣсенъ. Особливо обильно были, вѣроятно, какъ и впоследствии, пѣсни свадебныя. Случайное упоминаніе объ

¹⁾ „Замѣтки о „Руссахъ“ Ибнъ-Фадлана и другихъ арабскихъ писателей“, Журн. мин. просв., 1881, августъ, и въ „Собраніи сочиненій В. В. Стасова“. Спб. 1894, III, ст. 1450 и далѣе.

нихъ осталось въ посланіи Владимира Мономаха къ Олегу Святославичу. Онъ говоритъ о вдовѣ своего сына Изяслава, убитаго въ муромскомъ сраженіи: „а сноху мою послати ко мнѣ, зане нѣсть въ ней ни зла, ни добра, да быхъ обуимъ оплакать мужа ея и оны сватбы ею, въ пѣсний мѣсто: не видѣхъ бо ею первѣ радости, ни вѣнчанья ею, за грѣхы своя“¹⁾. Такія случайныя упоминанія есть и о похоронныхъ причитаніяхъ. Такъ въ Словѣ о полку Игоревѣ: „жены рускыя всилакашася аркучи: уже намъ своихъ милыхъ ладъ не мыслію смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати“. Знаменитый плачъ Ярославны даетъ другой, въ высокой степени поэтической образчикъ самаго текста заунывной пѣсни. Лѣтопись упоминаетъ о плачѣ Ярополка и его дружины по Изяславѣ и опять даетъ образчикъ причитанія князя и дружины: „изиде противу ему весь городъ Къевъ, и възложивше тѣло его на сани повезоша и съ пѣснями попове и черноризци понесоша и въ градъ, и не бѣ лѣзъ слышати пѣнья во плачи, велицѣ вопли, плакабоя по немъ весь градъ Кіевъ. Ярополкъ же идяше по немъ, плачася съ дружиною своею: отче, отче мой! что еси пожилъ безъ печали на свѣтѣ семъ, многы напасти пріимъ отъ людій и отъ братья своея? се же погыбе не отъ брата, но за брата своего положи главу свою“²⁾.

Обиліе пѣсень обрядовыхъ можно бы предположить даже безъ этихъ прямыхъ или косвенныхъ указаній, но историкамъ древней русской поэзіи представляется вопросъ, дала ли она въ древнемъ періодѣ такіе памятники, которые непосредственно представляли бы историческую дѣйствительность своего времени. „Мы узнаемъ,—говоритъ одинъ изъ этихъ историковъ³⁾,—что у русскихъ въ до-монгольскую эпоху существовали причитанья, свадебныя пѣсни, пѣсни на пирахъ, но всѣ такого рода памятники сложились, конечно, въ болѣе отдаленную эпоху,—въ эпоху, до которой не достигаетъ историческая память. Спрашивается: существовали ли въ до-монгольскую эпоху такіе поэтические памятники, которые и сложились въ это исторически-опредѣленное время, хотя бы на основѣ болѣе древней, на основѣ всего предшествовавшаго (быть можетъ, разнообразнаго, допускавшаго участіе неодинаковыхъ вліяній) эпического процесса? Находимъ ли поэтическія образованія, отражающія историческую дѣйствительность? Находимъ ли эпосъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова?“

¹⁾ Полное Собр. Лѣтоп. I, стр. 105.

²⁾ Тамъ же, стр. 86.

³⁾ Ждановъ, Русская поэзія въ до-монг. эпоху, стр. 7—8 и дальше.

Авторъ находитъ указаніе на такой эпосъ въ древнемъ житіи князя Владимира, занесенномъ и въ лѣтопись. Въ житіи высказывается жалоба, что несмотря на великую заслугу князя Владимира для русской земли, ему не воздается должная почесть ¹⁾. Но вслѣдъ затѣмъ мы читаемъ, что „русскіе люди держатъ его въ памяти, поминая св. крещеніе“. Является какое-то противорѣчіе, что русскіе люди помнятъ и не помнятъ Владимира. Сопоставляя эти слова съ выраженіями другого житія Владимира, принадлежащаго Іакову Мниху, что князь „не творитъ чудесъ по смерти“, и затѣмъ съ похвалой „кагану Владимиру“: „твоя щедроты и милостыня и нынѣ въ человѣцѣхъ поминаемы суть“, нашъ историкъ приходитъ къ заключенію, что здѣсь говорится именно о двухъ разрядахъ русскихъ людей; одни чтутъ Владимира, крестившаго русскую землю, а другіе вспоминаютъ только щедраго князя, не дѣлать крещенія и не приносятъ молитвъ для того, чтобы Богъ „прославилъ“ его,—а прославленіе заключалось по христіанскому понятію именно въ чудесахъ, которыхъ Владимиръ еще не творилъ. Причисленіе князя Владимира къ лику святыхъ совершилось гораздо позднѣе. Это прославленіе Владимира, какъ щедраго князя, представляется нашему историкъ именно тѣмъ эпическимъ элементомъ, какой могъ принадлежать еще древней поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, давно замѣчено и бросается въ глаза сходное изображеніе почестныхъ пировъ ласковаго князя Владимира въ былинѣ и въ лѣтописи, гдѣ съ видимымъ удовольствіемъ передаются подробности объ его щедрости. Избѣгнувъ смерти въ битвѣ съ печенѣгами, Владимиръ поставилъ церковь въ Василевѣ въ память своего избавленія—и сотворилъ великій праздникъ, сваривши 300 проваровъ меду, и сзывалъ своихъ бояръ и посадниковъ, старѣйшинъ по всѣмъ городамъ, и людей многихъ и роздалъ убогимъ 300 гривенъ; князь праздновалъ восемь дней и, вернувшись въ Кіевъ, опять сотворилъ великій праздникъ, сзывая безчисленное множество народа... „И такъ онъ творилъ каждый годъ“. Князь Владимиръ любилъ книжныя словеса и, слыша слова евангелія, Давида и Соломона о милосердіи къ нищимъ и убогимъ, — „повелѣ всякому нищему и убогому приходити на дворъ княжъ и взимати всяку потребу, питье и яденье, и отъ скотъницъ (изъ казны) кунами. Устрои же и се, рекъ: яко немощни и больни не могутъ долѣзти двора

¹⁾ „Дивно есть се, колико добра сътворилъ рускій земли, крестивъ ю. Мы же, крестьяне суще, не воздаемъ почести противу онаго възданію... Да еще быхомъ имѣли потшаніе и молбу приносилъ Богу за нѣ, въ день преставленія его вида бы Богъ тѣшаніе наше къ нему, прославилъ бы и. Намъ бо достойтъ за нѣ Бога молити, понеже тѣмъ Бога познахомъ“.

моего. Повелѣ пристроити кола; въскладше хлѣбы, мяса, рыбы, овощъ разнообразный, медъ въ бчелвахъ, а въ другихъ квасъ, возити по городу, въпрашивающимъ: „гдѣ болніи и нищѣ, не могы ходити?“ тѣмъ раздаваху на потребу. Се же пакы творяше людемъ своимъ по вся недѣля, устави на дворѣ въ гридьницѣ пиръ творити и приходити боляромъ и гридемъ, и съцьскимъ и десятицкимъ, и нарочитымъ мужемъ, при князи и безъ князя: бываше множество отъ мясъ, отъ скота и отъ звѣрины, бяше по изобилію отъ всего“. Лѣтописецъ не забылъ и той подробности, что дружина, „подпивши“, начинала роптать на князя: „зло есть нашимъ головамъ! да намъ ясти деревянными лъжцами, а не серебряными“. И князь велѣлъ сковать ей серебряныя ложки ¹⁾. Записалъ ли здѣсь лѣтописецъ простое преданіе или передалъ сложившуюся пѣсню, рѣшить трудно, но на возможность послѣдняго можетъ указать прочно установившееся представленіе позднѣйшей былины о пирахъ князя Владимира. Извѣстны другія поэтическія преданія, переданныя лѣтописью о временахъ Владимира: основаніе Переяславля, осада Бѣлгорода, сказаніе о Рогнедѣ; историкъ видитъ здѣсь остатки того же народнаго поминанья, о которомъ говорилъ древній жизнеописатель Владимира.

Начало русской исторіи лѣтописецъ передаетъ въ цѣломъ рядѣ преданій, которыя онъ считаетъ обыкновенно за фактъ и которыя, однако, носятъ иногда явный характеръ эпическаго сказанія. Таковы преданія о переселеніи славянъ съ Дуная, объ обрахъ, уграхъ и хазарахъ, призваніи князей, о смерти Олега, о мести Ольги древлянамъ, объ ея крещеніи въ Константинополь, о Святославѣ, о дѣяніяхъ Владимира язычника, о выборѣ вѣры, о Рогнедѣ, объ Янѣ Усмошвецѣ, о Всеславѣ полоцкомъ, объ осадѣ Бѣлгорода печенѣгами и т. д. Только очень немногое изъ этихъ преданій можно встрѣтить въ эпосѣ былины, напр. память о пирахъ ласковаго князя Владимира, объ Олегѣ и Всеславѣ, слитыхъ въ одно лицо какого-то мифическаго волшебника (Волхъ Всеславьевичъ), какъ память о нѣкоторыхъ богатыряхъ, напр., Добрынѣ и Алешѣ Поповичѣ (послѣдній, повидимому, перенесенъ во времена Владимира изъ XIII вѣка), отраженія сказанія объ Янѣ Усмошвецѣ и т. д. Былина запомнила нѣсколько историческихъ именъ, нѣкоторыя черты быта княжескихъ временъ, — но въ цѣломъ связь между эпосомъ лѣтописи и былины отсутствуетъ. Надо думать, что преданія, еще памятные во время

¹⁾ Полное Собр. Лѣтоп. I, стр. 53 и далѣе.

составленія лѣтописи, въ послѣдствіи забылись, заслоненныя новыми мотивами, между прочимъ мотивами заимствованныхъ переходящихъ сказаній,—эти переходящіе сказанія мы видимъ еще въ самой древности.

Уже со временъ Шлёцера замѣчено было, что многія изъ лѣтописныхъ преданій не остаются одиноки и, напротивъ, имѣютъ свои параллели въ сказаніяхъ другихъ народовъ, европейскихъ и азіатскихъ, начиная съ призванія трехъ братьевъ на царство и продолжая сказаніями объ Ольгѣ, Олегѣ, о выборѣ вѣры; преданіе о взятіи Искоростеня имѣетъ свою параллель еще въ сказаніяхъ объ Александрѣ Македонскомъ... Одинъ изъ ревностныхъ ратоборцевъ въ норманскомъ вопросѣ, Геденовъ, оспаривая норманство, объяснялъ сходство русскихъ преданій съ норманскими тѣмъ, что норманны, странствуя по разнымъ странамъ, усвоивали себѣ чужія сказанія и даже „обкрадывали“ самихъ себя, прилагая одну и ту же легенду къ разнымъ лицамъ своей исторіи. Но сходство преданій,—не говоря ни за, ни противъ норманской теоріи потому уже, что простирается гораздо дальше скандинавскихъ сказаній,—указываетъ на общую эпическую почву, на давнія международныя связи, путемъ которыхъ издавна распространялись въ Европѣ переходящіе сказанія, устные, а потомъ и книжныя. Кто у кого заимствовалъ,—въ данномъ случаѣ скандинавы или русскіе,—или оба черпали изъ третьяго источника, пока не выяснено; для переходящихъ сказаній часто невозможно отыскать перваго изобрѣтателя и собственника—теперь ихъ начинаютъ искать на Востокѣ, въ Индіи и Монголіи.

Какъ бы ни было, имѣемъ ли мы въ упомянутыхъ разсказахъ лѣтописи только ходячее преданіе, или оно успѣло сложиться въ эпическую пѣсню, но, по словамъ Жданова, „отъ формы передачи преданій, какъ она ни важна сама по себѣ, нисколько не измѣняется поэтическая природа самихъ преданій: передавались ли преданія въ пѣсняхъ или нѣтъ, но мы имѣемъ полное право назвать ихъ отрывками нашей древней народной эпикѣ. Исторія поэзіи найдетъ здѣсь свое неоспоримое достояніе“ ¹⁾.

Основнымъ свидѣтельствомъ о древней русской поэзіи является Слово о полку Игоревѣ, единственный памятникъ своего рода, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшій отъ разгрома, который постигъ южную Русь въ татарское нашествіе. Величайшій интересъ памятника былъ понятъ при самомъ его открытіи, хотя въ концѣ

¹⁾ Ждановъ, тамъ же, стр. 11.

XVIII вѣка тогдашніе любители (ученыхъ еще не было) мало разумѣли старую письменность; къ сожалѣнію, первый издатель не сумѣлъ даже прочесть старой рукописи, и когда потомъ подлинникъ сгорѣлъ въ московскомъ пожарѣ 12-го года, дурно прочитанный текстъ перваго изданія заставилъ позднѣйшихъ изслѣдователей ломать голову надъ непонятными искаженіями подлинника. Ни одинъ памятникъ нашей древней письменности не вызывалъ столько усердныхъ толкованій, переводовъ,—и справедливо, потому что онъ оставался одинъ драгоценнымъ наслѣдіемъ старой поэзіи среди сухихъ аскетическихъ проклятій всему народно-поэтическому содержанію древности. Кромѣ испорченнаго текста, памятникъ требовалъ объясненій по цѣлому ряду вопросовъ, какіе вызывало его необычайное содержаніе: это былъ памятникъ изъ области народнаго эпоса, котораго еще не умѣли понимать ученые начала столѣтія, и многое въ „Словѣ“ объяснилось только тогда, когда къ нему приложены были критическіе приемы Гриммовой школы. Многое остается неяснымъ и донинѣ: таковы прежде всего единственные во всей нашей старой письменности упоминанія объ языческихъ божествахъ не съ придачею провѣстій „еллинскому“ идолослуженію, а со всѣмъ почетомъ къ Дажьбогу, внукомъ котораго является самъ русскій народъ (или князь, какъ предполагаетъ Буслаевъ), къ Велесу, внукомъ котораго изображается пѣвецъ Боянъ, къ „великому Хорсу“ и Стрибогу,—хотя здѣсь же упоминается потомъ христіанская святыня, Богородица Пирогощая. Но въ цѣломъ памятникъ открывалъ поистинѣ замѣчательныя красоты самой подлинной эпической поэзіи. Таково описаніе всего похода противъ половцевъ, когда въ людскихъ дѣлахъ какъ будто принимаетъ участіе сама природа; таковы чисто гомерическія описанія битвы,—между прочимъ, какъ свадебнаго пира,—бѣгство Игоря изъ плѣна, плачь Ярославны и т. д. Въ историческомъ отношеніи чрезвычайно любопытно, хотя не ясно, изображеніе пѣвца Бояна, которое открываетъ перспективу въ область древняго эпоса. Боянъ—вѣщій пѣвецъ; онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, какъ внукъ Велеса, и безъ сомнѣнія отъ божества получалъ свое вдохновеніе, какъ гомерическій пѣвецъ, „принявшій отъ боговъ дивный даръ пѣсней“. Чрезвычайно любопытно, что черезъ два столѣтія послѣ крещенія сохранялось еще это свѣжее представленіе объ эпической старинѣ: сколько поэтическаго содержанія могло бы сохраниться отъ древней Руси, еслибы этотъ инстинктъ, еще не заглохшій въ концѣ XII вѣка, не былъ такъ усиленно подавляемъ и изгоняемъ изъ жизни и изъ письменности черезъ

мѣру ревностными книжниками. Упомянутія о Боянѣ намекаютъ на цѣлую исторію эпическаго творчества: Боянъ помнилъ усобицы первыхъ временъ, онъ воспѣвалъ стараго Ярослава, храбраго Мстислава, краснаго (т.-е. прекраснаго) Романа, Олега Гори-славича (Святославича), Святослава Ярославича и Всеслава по-лоцкаго ¹⁾, т.-е. рядъ князей на пространствѣ цѣлаго столѣтія. Загадочныя воспоминанія о Троянѣ, изображеніе князя Всеслава какъ оборотня и т. п. указываютъ, что въ этомъ эпосѣ были еще живы мифологическія преданія, какъ поэтическое и бытовое повѣрье. Единственными въ своемъ родѣ являются намеки, въ которыхъ видятъ сознание кровнаго родства русской поэзіи и прочихъ славянскихъ племенъ, и особливо южныхъ дунайскихъ ²⁾. Игорь освободился изъ плѣна, и радость объ этомъ выражена такъ: солнце свѣтитъ на небѣ, Игорь князь въ русской землѣ, — „дѣвицы поютъ на Дунай, вьются голоса черезъ море до Кіева“. Но международные интересы идутъ еще далѣе: авторъ говоритъ о Святославѣ: „ту нѣмци и венеци, ту греци и Морава поютъ славу Святъславлю“.

Историческое положеніе пѣсней Бояна въ судьбахъ древней народной поэзіи Буслаевъ опредѣляетъ какъ вторичную ступень ея развитія. Боянъ—княжій пѣвецъ, и былъ вѣроятно не одинъ. Это не были придворные пѣвцы, сочинявшіе по заказу, но пѣвцы народные,—тѣмъ не менѣе „въ ихъ пѣсняхъ древніе интересы, обнимавшіе весь бытъ народа, всѣ его вѣрованія и преданія, должны были, такъ сказать, сократиться, сосредоточиваясь къ отдѣльнымъ личностямъ князей. Поэтическое творчество отъ божествъ и мифическихъ героев снизошло къ обыкновеннымъ смертнымъ, но остановилось только на высшихъ представителяхъ народа, на князьяхъ, придавъ имъ мифическія черты знакомыхъ идеаловъ древнѣйшаго эпоса. Это быстрое сокращеніе поэтическихъ интересовъ могло произойти только потому, что не успѣвшій созрѣть и окрѣпнуть мифическій эпосъ древней Руси не могъ устоять противъ напора новыхъ силъ, внесенныхъ на Русь вмѣстѣ съ христіанствомъ и учрежденіемъ государственнаго порядка“ ³⁾.

¹⁾ Буслаевъ обратилъ вниманіе на хронологію этихъ князей:

Мстиславъ, ум. 1033.

Ярославъ, 1054.

Святославъ, 1076.

Романъ, 1079.

Всеславъ, 1101.

Олегъ, 1115.

²⁾ Буслаевъ, Историческіе Очерки, т. I, стр. 377 и дал.: „Русская поэзія XI и начала XII вѣка“.

³⁾ Тамъ же, стр. 390.

Но этотъ „древнѣйшій эпосъ“ намъ именно неизвѣстенъ, — быть можетъ, и вовсе не сложился въ какія-либо законченныя сказанія (его реставраціи, въ гипотезахъ изслѣдователей Гриммовой школы, теперь сильно поколеблены, или совсѣмъ устранены), а эпосъ княжескій могъ существовать до введенія христіанства, и даже до основанія государства въ концѣ IX вѣка, — потому что и до того времени были князья, общины, города, шла извѣстная политическая жизнь съ ея столкновеніями и подвигами. О возможности княжескаго эпоса до-христіанскаго могутъ свидѣтельствовать лѣтописныя преданія о первыхъ князьяхъ.

Съ другой стороны Буслаевъ сопоставлялъ „Слово“ съ лѣтописью, какъ литературные факты одного историческаго порядка. Пробудившееся сознаніе самостоятельной жизни политической и религіозной отозвалось потребностью въ лѣтописи. „На новомъ, болѣе развитомъ поприщѣ образованности возникли новыя нравственно-религіозныя и художественныя типы добра и зла. Фантазія народная уже увлекалась свѣтлыми образами Бориса и Глѣба и рисовала мрачную тѣнь Святополка Окаяннаго. Соединяя интересы народа и литературы, Боянъ былъ достойный современникъ Нестору, и если самъ заимствовалъ въ свои пѣсни изъ историческихъ разсказовъ, то, безъ сомнѣнія, могъ и передавать лѣтописцу въ звучныхъ пѣсняхъ преданія русской старины. По крайней мѣрѣ и лѣтописецъ, и поэтъ смотрѣли на міръ одинаковыми глазами, оба обрабатывали одно и то же содержаніе, и волею или неволею сходились на однихъ и тѣхъ же предметахъ, какъ, напримѣръ, на прославленіи храбраго Мстислава — „иже зарѣза Редедю предъ полки касожскими“ ¹⁾. Полнаго согласія между лѣтописцемъ и поэтомъ не было, — потому уже, что первый неспособенъ былъ бы на тѣ языческія воспоминанія, къ какимъ такъ охотно обращался второй; но они были единодушны въ любви къ отечеству, въ скорби о княжескихъ раздорахъ, губительныхъ для цѣлой земли; а съ другой стороны между ними открывалось иногда общее настроеніе въ живомъ, образномъ и поэтическомъ разсказѣ, какимъ отмѣчены, за эту самую пору, многіе эпизоды галицко-волынской лѣтописи.

Слово о полку Игоревѣ заканчивается прославленіемъ князей: „пѣвши пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти слава... княземъ слава, а дружинѣ аминь“. У стараго Бояна его струны „сами княземъ славу рокотаху“. Позднѣе, читаемъ въ лѣтописи о галицкихъ князьяхъ Даниилѣ и Василии (подъ 1251 годомъ):

¹⁾ Тамъ же, стр. 399.

„многы крестьяны отъ плѣненія избависта; и пѣснь славу пояху има, Богу помогшю има“, и пр. ¹⁾). Пѣть славу могло означать одинъ привѣтственный возгласъ, но вмѣстѣ и настоящую пѣсню, какими бывали пѣсни Бояна и какою, въ литературной формѣ, хотѣлъ сдѣлать свое произведеніе авторъ Слова. И позднѣйшая былина нерѣдко оканчивается разсказъ славленьемъ героя: „а слава ихъ (князя Владимира и Ильи) до скончанія вѣка“; „ихъ идетъ слава до вѣка“; „тутъ старому славу поютъ“; „а Ильина-то слава не минуется“ и т. д. ²⁾). Естественно предположеніе, что эпическая пѣсня совпадала съ обрядомъ величанья. „Обрядовая слава давала основу пѣсенной славѣ. Народное величанье должно было находить въ пѣснѣ объясненіе и историческую опредѣленность... Въ позднѣйшихъ былевыхъ пѣсняхъ прищѣвка „слава“ повторяется, конечно, по привычкѣ, по установившемуся обычаю. Но позволительно думать, что обычай этотъ имѣлъ древнѣйшее бытовое основаніе“ ³⁾).

Въ первыхъ научныхъ изслѣдованіяхъ о былинѣ явилась уже мысль опредѣлить ея историческія отношенія. Князь Владимиръ былъ въ ней центромъ; богатыри сѣзжались на службу князю въ Кіевъ; другая сцена дѣйствія былъ Новгородъ; наконецъ, третій—Москва. Такъ сами собой опредѣлялись „цѣлы“. Изъ лѣтописей, хронографовъ и другихъ источниковъ собранъ былъ весь историческій и географическій матеріалъ, имѣвшій отношеніе къ былинамъ,—но если было поставлено вѣ сомнѣнія, что въ былинахъ сохранилось воспоминаніе о кіевской или новгородской эпохѣ, то труднѣе было доказать ихъ непосредственное созданіе въ ту эпоху. Оказывались странныя разнорѣчія: историческіе источники не говорятъ ничего о знаменитѣйшемъ изъ Владимировыхъ богатырей, Ильѣ Муромцѣ, и первыя упоминанія о немъ принадлежать гораздо болѣе позднему времени; имена другихъ богатырей, напр., Добрыни (какъ былиннаго богатыря) и Алеши Поповича, неизвѣстны древней лѣтописи, но извѣстны лѣтописи позднѣйшей, XVI—XVII вѣка, и здѣсь, однако, относятся въ однихъ случаяхъ ко временамъ князя Владимира, въ другихъ къ XIII столѣтію, гдѣ они являются участниками битвы при Калкѣ, а наконецъ то, что разсказываютъ объ нихъ эти позднѣйшія лѣтописи, не совпадаетъ съ былинной... „Народная эпика,—говорилъ г. Ягичъ,—передаваясь отъ одного

¹⁾ Полное Собр. Лѣтописей, II, стр. 187.

²⁾ См. старыя записки въ „Русск. былинахъ“ Тихонравова и Всев. Миллера. М. 1894, и въ новѣйшихъ собраніяхъ. Мы видѣли, что даже „Богъ слова не минется“.

³⁾ Ждановъ, тамъ же, стр. 18.

поколѣнія къ другому, захватываетъ жизнью своихъ богатырей цѣлые вѣка. Итакъ, съ точки зрѣнія народной эпикѣ можно еще кое-какъ объяснить, почему Алеша Поповичъ по однимъ лѣтописнымъ извѣстіямъ богатырствовалъ въ XI вѣкѣ, въ эпоху Владимира, а по другимъ жилъ и погибъ именно въ первой половинѣ XIII вѣка. Но хотя это толкованіе и можетъ быть поддержано разными аналогіями объ отношеніяхъ русскихъ богатырей, какъ историческихъ лицъ, къ мѣсту, занимаемому ими въ поэзіи, но не удовлетворяетъ вполне нашему ожиданію. Ибо, если эти черты внесены въ лѣтописный рассказъ изъ народнаго преданія (по крайней мѣрѣ, одна ихъ часть), то весьма естественно ожидать, что въ теперешнихъ былинахъ, упоминающихъ объ Алешѣ Поповичѣ,—найдутся какіе-нибудь слѣды того, что сообщаютъ лѣтописи,—чтобы можно было подтвердить тожество Алеши Поповича народныхъ былинъ и Александра Поповича лѣтописныхъ сказаній нѣкоторыми, сколько-нибудь ясными общими чертами. Къ удивленію, такой общности между былинами и лѣтописями почти нѣтъ "... Намъ остается на выборъ одно изъ двухъ: или лѣтописныя сказанія черпали свои извѣстія не прямо изъ былинъ, но изъ какихъ-нибудь не-поэтическихъ, отличныхъ отъ былинъ, народныхъ преданій; или старинное оригинальное содержаніе былинъ съ теченіемъ вѣковъ измѣнилось, стерлось и уступило мѣсто новому содержанію. Я болѣе склоненъ принять эту послѣднюю гипотезу, уже и потому, что, мнѣ кажется, Алеша Поповичъ не былъ бы достоинъ воспѣванія въ былинахъ, еслибы онъ искони игралъ такую незавидную роль, какъ теперь". Дальнѣйшія изслѣдованія ¹⁾ подтверждаютъ это предположеніе: присутствіе древняго имени можетъ не доказывать ни древности, ни даже подлиннаго русскаго происхожденія сюжета, и позднѣйшія наслоенія бывали гораздо значительнѣе, чѣмъ это раньше полагали;—вмѣстѣ съ тѣмъ однако новыя изысканія начинаютъ все болѣе раскрывать историческую судьбу самаго преданія.

О главномъ героѣ „Владимирова цикла“, Ильѣ Муромцѣ, въ древнихъ историческихъ памятникахъ нѣтъ никакихъ извѣстій; тѣмъ оригинальнѣе и неожиданнѣе фактъ, что старѣйшее упоминаніе о немъ находится въ скандинавской Вилькина-сагѣ XIII вѣка, составленной по рассказамъ ниже-нѣмецкихъ людей и отчасти по ихъ пѣснямъ о Дитрихѣ Бернскомъ. Рассказъ касается и русской земли; между прочимъ, одинъ изъ сыновей рус-

¹⁾ Въ трудахъ Веселовскаго, Жданова, Дашкевича, Кирпичникова, Всева, Милера и др.

скаго Гертвита, Вольдимаръ, дѣлается королемъ Руси и Польши, а другой сынъ, отъ наложницы, Илья, поставленъ былъ ярломъ (княземъ) Греціи. Такимъ образомъ Илья (Ilias von Riuzen, или af Greka) является братомъ князя Владимира. Въ сагѣ названы русскіе города—Кіевъ, Полоцкъ, Смоленскъ, Новгородъ, и тожество Ilias von Riuzen съ Ильей Муромцемъ не подлежитъ сомнѣнію. „Германцы,—говорилъ г. Ягичъ,—которые бывали въ Новгородѣ и другихъ торговыхъ пунктахъ въ очень живомъ общеніи съ русскими, легко могли познакомиться съ большимъ почетомъ, какой русскіе оказывали своему Владимиру и его главнѣйшему богатырю Ильѣ; вернувшись домой, они рассказывали объ этомъ своимъ, и такимъ образомъ имена русскихъ богатырей, Владимира и Ильи, сдѣлались популярными между ихъ сѣверо-западными сосѣдями“. Въ событіяхъ, рассказанныхъ сагой, не находили ничего общаго съ русской исторіей, и смѣшеніе Греціи и Россіи считали понятнымъ при тогдашнихъ тѣсныхъ религіозныхъ связяхъ обѣихъ странъ, когда и въ былинахъ Илья доводилъ свои походы до Царьграда и Іерусалима ¹⁾... Иначе, и вѣрнѣе, ставить вопросъ Веселовскій. При всемъ смѣшеніи эпическихъ мотивовъ ниже-нѣмецкихъ, скандинавскихъ, русскихъ, даже романскихъ, онъ находитъ, что въ основѣ саги есть отраженіе опредѣленныхъ *историческихъ* отношеній. Въ „вильтинахъ“ онъ видитъ велетовъ, полабское племя, и сказочныхъ волотовъ; князь есть Владимиръ полоцкій (русскимъ лѣтописцамъ неизвѣстный); Илья, или въ другихъ случаяхъ безымянный ярлъ, af Greka, называется также af Gerseke borg, ярлъ изъ города Герсеке, родичъ Владимира конунга: на Двинѣ упоминается въ началѣ XIII вѣка городъ Герцике, повидному тотъ самый, и изъ его названія могло произойти af Greka, безъ всякой связи съ Греціей. Такимъ образомъ получается заключеніе объ историческихъ мотивахъ сказанія ниже-нѣмецкаго и скандинавскаго, а также и заключеніе еще объ одномъ очагѣ развитія древняго русскаго эпоса и вмѣстѣ о пути международнаго взаимодѣйствія: кромѣ Кіева и Новгорода, это былъ очагъ западно-русскій, въ Смоленскѣ и Полоцкѣ ²⁾. Изложивъ различные историческіе и сказочные намеки западнаго сказанія, Веселовскій заключаетъ: „Все это даетъ поводъ къ нѣкоторымъ предположеніямъ. Нѣмецкіе люди, захожіе въ Двинскую область, застали тамъ „великую сагу“ (allmikill saga), какія-то преданія о вильтинахъ, еще

¹⁾ Ягичъ, тамъ же, стр. 216 и т. д.

²⁾ Веселовскій. Уголокъ русскаго эпоса въ сагѣ о Тидрекѣ Бернскомъ, въ Журн. мин. просв. 1896, № 8, особливо стр. 251—265.

и теперь доживающія въ „волотахъ“ мѣстныхъ (западно-русскихъ) легендъ; могли слышать и сказы пѣсни о „старомъ“ Владимирѣ и Ильѣ, заходившія вверхъ по долинѣ Днѣпра, черезъ „черныя грязи смоленскія“ и „хоробру Литву“. Еще въ XVI вѣкѣ помнили въ Бѣлоруссіи Илью Муромца и Соловья Будимировича: *bo prijdet czas, коли budiet nadobe Ilii Murawlenina i Solowia Budimigowicza*,—писалъ въ 1574 году изъ Орши староста Филонъ Кмита Чернобыльскій Остафью Воловичу; бѣлорусскія сказки объ Ильѣ, можетъ быть, послѣдніе, хотя и подневольные слѣды развитія, прерваннаго историческими отношеніями и смѣшеніемъ народностей. Такія-то преданія застали въ Двинской области нѣмецкіе купцы или шпильманы и дали имъ окраску недавнихъ, мѣстныхъ событій, въ которыхъ Владимиръ Полоцкій, Полоцкъ и Смоленскъ стояли на первомъ мѣстѣ. Такъ получился рассказъ о Вильтинѣ и вильтинахъ и ихъ борьбѣ съ Русью, которой также дали княжескую родословную „... Затѣмъ, болѣе позднее, опять иностранное извѣстіе объ Ильѣ принадлежитъ нѣкому Эриху Лассотѣ, который въ 1594 путешествовалъ къ запорожскимъ казакамъ и, описывая Кіевъ, замѣчаетъ, что въ одномъ придѣлѣ св. Софьи была гробница „Ильи Моровлина“: „онъ былъ знатный герой или, какъ говорятъ, богатырь (Bohater); о немъ рассказываютъ много басенъ“. Какія „басни“, не говорится, но важно, что въ концѣ XVI вѣка Илью еще помнили въ Кіевѣ, гдѣ потомъ эпическія сказанія о немъ были совсѣмъ забыты, и притомъ, что его помнили съ прозваніемъ „Моровлина“, вѣроятно болѣе подлиннымъ, чѣмъ „Муромецъ“. Еще долго спустя встрѣчаемъ извѣстіе объ Ильѣ у южно-русскаго писателя XVII вѣка, Калнофойскаго; одинъ благочестивый странникъ около 1701 г. видѣлъ въ Кіевѣ храбраго воина Илью Муромца „въ нетлѣнніи, подъ покровомъ златымъ, ростомъ яко нынѣшніе крупныя люди; рука у него лѣвая пробита копіемъ, язва вся знать, а правая его рука изображена крестнымъ знаменіемъ“ и пр.

Остановимся еще на исторіи другого богатыря, о которомъ выше приведено мнѣніе Ягича. Замѣтимъ, что старая лѣтопись не знаетъ „богатырей“: она говоритъ, когда случится, о мужахъ „сильныхъ“ и „храбрыхъ“, но слово „богатырь“ примѣняется уже только позднѣе собственно къ вождямъ и бойцамъ татарскимъ. Это слово объяснялось двояко: одни приписывали ему происхожденіе арійское (въ русскомъ языкѣ въ связи съ словами „богъ“, „богатый“), другіе считали его тюркскимъ, которое могло быть заимствовано не только у татаръ, но еще у полов-

цевъ; но употребленіе этого слова лѣтописью (первоначально въ примѣненіи къ храбрецамъ татарскимъ) заставляетъ считать его скорѣе татарскимъ, позднѣе какъ бы осмысленнымъ въ связи съ русскимъ однозвучнымъ корнемъ.

Къ числу такихъ „храбрыхъ“ принадлежалъ по лѣтописи Алеша, собственно Александръ, Поповичъ. Сличая упоминанія объ немъ въ лѣтописяхъ и въ былинѣ, г. Дашкевичъ пришелъ въ такому опредѣленію историческаго факта и его народно-поэтическаго развитія. Въ дѣйствительности, Александръ Поповичъ былъ храбрымъ дружинникомъ первой четверти XIII столѣтія въ Ростовской области. Очень вѣроятно лѣтописный рассказъ, что этотъ витязь, уже совершившій не мало подвиговъ въ военныхъ дѣлахъ своего края, созвалъ однажды своихъ ближайшихъ сподвижниковъ и рѣшилъ перейти съ ними на службу къ кіевскому князю, за нѣсколько лѣтъ до перваго татарскаго нашествія. Затѣмъ лѣтопись упоминаетъ о гибели Александра Поповича и семидесяти храбрыхъ богатырей въ битвѣ при Калкѣ. Лѣтописныя сказанія нерѣдко представляютъ смѣшеніе фактовъ и преданій: въ однихъ случаяхъ лѣтописцы, безъ сомнѣнія, имѣли въ виду дѣйствительныя событія, болѣе или менѣе вѣрно передаваемые молвой; въ другихъ, лѣтописцы, именно поздніе, записывали только преданіе, и по такой поздней лѣтописи воевода XIII вѣка оказывается богатыремъ Владимірова цикла (такъ въ Никоновской лѣтописи),—очевидно, что здѣсь въ основаніи лежитъ былина, успѣвшая по-своему обработать старое преданіе объ этомъ богатырѣ. Ходъ этой обработки былъ таковъ. „Въ XIII—XVI столѣтіяхъ,—говоритъ г. Дашкевичъ,—въ Суздальской землѣ и преимущественно въ Ростовѣ обращались народные эпическія (пѣсенныя и прозаическія) сказанія о ростовскомъ „храбромъ“ первой четверти XIII вѣка—Александрѣ Поповичѣ. Эти сказанія представляли Александра мѣстнымъ удалцомъ, стоявшимъ во главѣ дружины храбрыхъ. Онъ былъ извѣстенъ подвигами личнаго мужества, какъ выдающійся дружинникъ ростовскаго князя. Имя Александра было прикрѣплено къ могильнымъ насыпямъ въ различныхъ мѣстахъ. Виѣсть съ тѣмъ суздальскія преданія считали важнымъ подвигомъ Александра участіе въ Калеской битвѣ и гибель за обще-русское дѣло въ сонмѣ храброй дружины, съ которою раньше онъ отправлялся на югъ служить кіевскому князю. То былъ единственный не мѣстный подвигъ Александра.—Популярность его имени и народные преданія подали поводъ къ занесенію имени Александра въ суздальскія лѣтописи. Невозможно опредѣлить, когда это случилось

впервые, тотчасъ ли, вскорѣ ли послѣ Калкискаго боя, или же позднѣе... Во всякомъ случаѣ въ XV-мъ столѣтіи (какъ можно судить по хронологіи лѣтописныхъ сборниковъ) въ Суздальской землѣ держалось еще отчетливое преданіе о гибели цѣлой дружины суздальскихъ богатырей на Калѣѣ, и, слѣдовательно, она не отождествлялась еще съ богатырями Владимира. Съ этимъ какъ бы согласуется то обстоятельство, что, повидимому, первенствующее значеніе въ этой дружинѣ усвоилось не Ильѣ, но Александру, а за нимъ Добрынь. Затѣмъ въ памятникахъ Александръ упоминается вмѣстѣ съ Добрыней. „Это упоминаніе об ихъ богатырей рядомъ показываетъ, что къ началу XVI-го столѣтія Александръ вошелъ во Владимировъ цѣль и былъ поставленъ въ связь съ общерусскою дружиною богатырей Владимирова времени, которые были представлены также погибшими на Калѣѣ“¹⁾. Впослѣдствіи — трудно сказать, когда именно — является специальное приуроченіе богатыря къ церковному словію: онъ — поповичъ, именно сынъ ростовскаго попа, и этого исходнаго пункта было достаточно, чтобы привязать къ его имени тѣ качества, съ какими представлялись народу церковники средняго, да и позднѣйшаго періода; Алешѣ приписываются невысокія нравственныя свойства, за одной чертой прибавляются другія и наконецъ изображеніе богатыря въ новѣйшей былинѣ становится бытовымъ типомъ. Превжніе историки эпоса относили обыкновенно и эти бытовыя черты въ далекую древность, видя здѣсь свидѣтельство жизненнаго разнообразія богатырскихъ типовъ: едва ли не справедливѣе предположить, что этотъ правописательный элементъ не существовалъ въ древнихъ редакціяхъ былинъ и былъ результатомъ позднѣйшаго эпическаго досужества, когда оставалось варьировать и украшать старыя темы.

Далѣе г. Дашкевичъ ставитъ вопросъ объ исторической основѣ знаменитой былинны о томъ, какъ „не осталось на Руси богатырей“. Объ исторической подкладкѣ былинны догадывались и прежде; новый изслѣдователь доказываетъ, что былинны о гибели богатырей относятся не къ чему иному какъ къ побоищу при Калѣѣ. Богатыри погибли въ битвѣ съ татарами; даже въ тѣхъ вариантахъ былинны, гдѣ упоминается „сила нездѣшняя“, называются и татары; до Куликовской битвы Калекское сраженіе было единственное, гдѣ русскія силы являлись нѣсколько сплоченными; лѣтопись относитъ именно къ этому сраженію гибель множества сильныхъ богатырей. Былина создавалась подъ впечатлѣніемъ этой

¹⁾ Дашкевичъ, стр. 23—26.

битвы въ мрачныя времена татарскаго ига. „Народная поэзія, — говоритъ г. Дашкевичъ, — не знаетъ точной хронологіи и оставляетъ безъ вниманія теченіе лѣтъ. Во времена злой татарщины княженіе Владимира I представлялось въ народной памяти самымъ свѣтлымъ моментомъ прошлаго и продолжало быть притягательнымъ центромъ другихъ эпическихъ сказаній. Съ другой стороны, слушая пѣсни о славныхъ подвигахъ богатырей стараго времени и сравнивая съ нимъ холопство своего, народъ не разъ могъ задаваться вопросомъ, куда же дѣвались его старые защитники, его любимые герои, куда исчезла богатырская застава, бывшая нѣкогда на границахъ русской земли? Этотъ вопросъ нерѣдко вызвала суровая дѣйствительность, такъ неприглядно отличавшаяся отъ днѣй славы и силы. Отвѣтъ на него давало сказаніе о гибели всѣхъ лучшихъ богатырей русской земли въ битвѣ при Калѣѣ. Тамъ должны были погибнуть и славные витязи Владимира на ряду съ богатырями, дѣйствительно легшими въ ней... Народная память не различала рѣзко время, въ которое жили богатыри Владимира, отъ момента калкскаго побоища, вѣдь и витязи Владимира вели борьбу, по народнымъ сказаніямъ, съ Царегородомъ, съ идолищами, со змїями, быть можетъ также — съ печенѣгами и половцами“.

Болѣе или менѣе далекіе отголоски исторіи открываютъ: въ пѣсняхъ о князѣ Романѣ, который, по изслѣдованіямъ Жданова, есть именно знаменитый Романъ Мстиславичъ галицкій (конца XII вѣка и первыхъ годовъ XIII-го); въ пѣсняхъ о князѣ Михаилѣ тотъ же изслѣдователь находитъ слѣды историческаго лица, и т. д. Отдѣльныя историческія черты давняго времени несомнѣнны въ былинѣ, и она могла усвоить ихъ именно только какъ черты современныя или недавнія, — потому что въ послѣдствіи народная память не могла бы найти для нихъ опоры. Подобнымъ образомъ сохранились и общія воспоминанія о старинѣ княжескаго періода: географія старой быliny обыкновенно обнимаетъ именно земли княжеской Руси: Кіевъ, Новгородъ, Смоленскъ, Полоцкъ, Волинь, Красный Галичъ; изъ сосѣдей помнится Царьградъ съ его царями; Сорочина долгополая; поганая, но и „хоробрая“ Литва и т. д.; можно предположить непосредственный отголосокъ татарскаго нашествія.

Новыя изслѣдованія идутъ вообще въ двухъ направленіяхъ: съ одной стороны сравнительномъ, которое открываетъ общую эпическую почву средневѣковаго преданія; съ другой, историческомъ, которое старается уловить историческо-бытовую сторону преданія на русской почвѣ. Съ обѣихъ точекъ зрѣнія прежнее мнѣ-

логическое толкованіе древней поэзіи подвергается сомнѣнію или совсѣмъ устраняется,—съ этимъ вопросъ о первобытной эпохѣ народной поэзіи долженъ быть поставленъ вновь. Богатыри древнаго эпоса, какъ мы знаемъ его теперь, не произошли отъ мифологическихъ божествъ: или иначе, герои эпоса, были ли это историческія или невѣдомыя исторія лица,—потому что эпосъ нерѣдко беретъ своими героями лицъ, о которыхъ исторія не знаетъ,—эти герои не унаслѣдовали мифическаго достоинства предъидущей эпохи. Если въ нашемъ эпосѣ существовала основа исторической жизни, что несомнѣнно, она покрывалась поэтическими наслоеніями: Слово о полку Игоревѣ даетъ послѣдній поэтический отголосокъ старой мифологіи, а затѣмъ, въ извѣстной намъ былинѣ эти наслоенія идутъ изъ того матеріала, какой приносила дальнѣйшая историческая жизнь, болѣе поздняя мифологія христіанская и условія международнаго поэтическаго общенія и книжныхъ воздѣйствій. Самъ князь Владиміръ есть „красное солнышко“ не мифическое, а поэтическое, изображавшее князя „ласковаго“ и щедраго, и, въ силу того, собиравшаго вокругъ себя богатырей. Столь же мало былъ преемникомъ какого-нибудь мифическаго божества главный изъ русскихъ богатырей, Илья Муромецъ, котораго прежде теорія считала то солнцемъ, то богомъ-громовникомъ, который былъ смѣненъ сначала Ильею-пророкомъ, а послѣ эпическимъ героемъ; но если для легенды Ильи-пророка, какъ громовержца, подавателя дождя и т. д., достаточно библейскихъ сказаній и особенной популярности его въ восточномъ христіанствѣ, то богатырь Илья не имѣетъ съ нимъ ничего общаго, кромѣ имени. Другой богатырь, Добрыня, могъ имѣть отношеніе къ историческому лицу, но по изслѣдованіямъ Веселовскаго, когда въ былинѣ Добрыня является змѣборцемъ, то здѣсь опять надо искать не отраженій первобытной мифологіи, а напротивъ, представляется болѣе естественнымъ сличеніе съ народно-христіанскими легендами, которыя были перенесены на русскаго богатыря ¹⁾.

¹⁾ Разбирая сказанія о святомъ Георгіи, г. Веселовскій отмѣчаетъ эпитетъ „аникитовъ“, „аникіевъ“ (т.-е. необходимыхъ), который придавался у грековъ святому Георгію и родственникъ ему святымъ; святой Георгій былъ змѣборецъ по преимуществу. „Въ русскомъ былинномъ эпосѣ“,—продолжаетъ Веселовскій,—спеціальность змѣборства принадлежитъ Добрынѣ. Его былины относятся къ наиболѣе смѣшаннымъ и запутаннымъ. Я выдѣляю изъ нихъ лишь нѣкоторыя черты. Отчество Добрыни—Никитичъ; отецъ его Никита является въ былинахъ съ блѣдными чертами, естественно ведущими въ догадкѣ, что онъ отвѣченъ отъ прозвища сына (Никитичъ-Никита) и едва-ли пользовался, когда бы то ни было, болѣе реальнымъ бытіемъ“. Авторъ думаетъ, что отчество Добрыни именно идетъ отъ греческаго „аникита“. См. „Разысканія“, II, стр. 158—159.

Дальше мы остановимся особо на этих наслоенияхъ, закрывавшихъ первоначальную основу древняго эпоса и создававшихъ въ сущности новую его формацию.

Въ 1619 году въ концѣ января пріѣхалъ въ Москву, въ качествѣ священника при англійскомъ посольствѣ оксфордскій бакалавръ Ричардъ Джемсъ; въ концѣ августа онъ отправился къ Архангельску, чтобы вернуться въ Англію, но кораблекрушеніе задержало его и онъ провелъ зиму въ Холмогорахъ и отплылъ въ Англію уже весной 1620 года. Бакалавръ, человѣкъ ученый, видимо былъ и человѣкъ любознательный: изъ описи принадлежавшихъ ему книгъ и рукописей, составленной послѣ его смерти, оказывается, что имъ сдѣлано было описаніе путешествія его въ Россію; описаніе не сохранилось, но уцѣлѣла книжка, въ которой писано было шесть русскихъ стихотвореній или пѣсень, записанныхъ для него вѣроятно въ Москвѣ. Эти бумаги открыты были акад. Гамелемъ, и стихотворенія съ 1852 г. были неоднократно напечатаны. Стихотворенія относятся къ слѣдующимъ сюжетамъ: 1, ко вѣзду въ Москву патріарха Филарета въ 1619, чего самъ Джемсъ былъ очевидцемъ; 2, къ скоростижной смерти князя Михаила Скопина-Шуйскаго въ Москвѣ въ 1610; 3 и 4, къ судьбѣ царевны Ксении Годуновой, постриженной въ инокини при Лжедмитріи и умершей въ 1622; 5, къ весновой или весенней службѣ, и 6, къ набѣгу крымскихъ татаръ. Такимъ образомъ четыре изъ шести стихотвореній относились къ современнымъ или очень недавнимъ событіямъ и представляли свѣжее произведеніе народной поэзіи.

Въ XVII столѣтіи встрѣчаемъ первыя записи народныхъ пѣсень и именно былинъ. Вопросъ, почему эти произведенія стали наконецъ получать мѣсто въ книгѣ, объясняется отчасти тѣмъ, въ какихъ рукописяхъ XVII вѣка мы встрѣчаемъ эти записи: обыкновенно мы находимъ ихъ въ ряду повѣстей, которыя такъ размножаются уже въ XVI-мъ, а еще болѣе въ XVII столѣтіи. Многія изъ повѣстей, большею частью иноземнаго происхожденія, такъ заинтересовали русскихъ читателей, что отъ продолжительнаго обращенія въ спискахъ стали пріобрѣтать чисто-народную складку изложенія; герои чужихъ повѣстей становились, наконецъ, народными богатырями, на ряду съ тѣми, о какихъ рассказывали собственныя пѣсни. Таковыми богатырями стали, напримѣръ, Бова Королевичъ, Ерусланъ Лазаревичъ и др. Въ концѣ концовъ любители стали вносить въ сборники и сказанія о собственно русскихъ богатыряхъ: былина подъ этимъ книжнымъ воздѣйствіемъ входила въ общій составъ богатырскихъ

повѣствованій и записывалась безъ раздѣленія на стихи. Въ послѣднее время изданъ былъ цѣлый рядъ подобныхъ записей гг. Барсовымъ, Майковымъ, Тихонравовымъ и Всеv. Миллеромъ.

На переходѣ въ XVIII столѣтіе въ ряду рукописныхъ текстовъ являются, наконецъ, два замѣчательныя произведенія. Одно изъ нихъ есть упомянутая раньше „Повѣсть о Горѣ-Злочастіи, какъ Горе-Злочастіе довело молодца во иноческій чинъ“, произведеніе чисто народнаго склада, которое состоитъ въ тѣсной, даже буквальной связи съ очень распространенными пѣснями о Горѣ, по своему благочестивому правоученію подходитъ къ духовнымъ стихамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ по назидательному заключенію и полученному въ рукописи заглавію „Повѣсть“ входитъ въ разрядъ того множества благочестивыхъ исторій, какія разсѣяны въ старинныхъ сборникахъ и происходили изъ различныхъ Патериковъ, Великихъ Зерцалъ и т. п. были весьма любимымъ чтеніемъ; не отличаясь отъ нихъ по заглавію, „Повѣсть“ похожа на нихъ и благочестивымъ вступленіемъ, начинающимъ отъ Адама, и написана безъ раздѣленія на стихи,—но по всему складу разсказа это есть чисто народное произведеніе, и стихъ нерѣдко чрезвычайно яркій и характерный.

Другой памятникъ, оставленный намъ XVIII столѣтіемъ, есть большое собраніе былинъ пѣсень, извѣстное съ именемъ Кирши Данилова. Въ изданіе Калайдовича (61 пѣсня) не вошло нѣсколько отдѣльных стиховъ и цѣлыхъ пѣсень; семь изъ нихъ издатель пропустилъ на томъ основаніи, что „тутъ пѣвецъ нашъ, пресыщенный дарами Бахуса и мечтаніями о сладострастныхъ вакханкахъ, терялъ совершенно уваженіе къ стыдливости“, и кромѣ того онъ выпустилъ еще двѣ пѣсни: одну, „Изъ монастыря Боголюбова старецъ Игрьмище“, какъ въ „насмѣшливомъ тонѣ написанную“, и другую: „Голубина книга сорока падень“, какъ „неприличную по смѣшенію духовныхъ вещей съ простонароднымъ разсказомъ“. Эта послѣдняя, знаменитая пѣсня о Голубиной книгѣ издана была потомъ впервые, по другому тексту, въ числѣ духовныхъ стиховъ П. В. Кирѣевскимъ ¹⁾. Въ сборникъ Кирши Данилова, по словамъ Калайдовича, пѣсни были написаны „безъ орографіи и безъ раздѣленія стиховъ“, какъ вообще въ старыхъ записяхъ. До самыхъ открытій Рыбникова сборникъ Кирши Данилова былъ единственнымъ источникомъ, по которому историки литературы судили о нашей народной эпической поэзіи.

¹⁾ Русскія нар. пѣсни. Въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества ист. и древн. 1848, № 9. Затѣмъ издаво было много новѣйшихъ варіантовъ.

Къ послѣднему до-Петровскому времени относятся первыя записи другихъ народно-поэтическихъ произведеній. „Въ XVII вѣкѣ, — говоритъ Тихонравовъ, — начали собирать и записывать и „пословицы всенароднѣйшія“. Былина, подѣ перомъ писца, полагавшаго ихъ на бумагу, получила названіе „сказанія“ и, такимъ образомъ, поставляема была наравнѣ съ оригинальными и переводными историческими и поэтическими „сказаніями“, „словами“ и „повѣстями“. Пословицы, или „мірскія притчи“, отождествлялись съ мудрыми изреченіями языческихъ и христіанскихъ писателей, — въ родѣ тѣхъ, которые вошли въ составъ „Пчелъ“, — и даже съ „словами божественныхъ писаній“. Старинныя пословицы, притчи и поговорки, вписанныя въ одинъ сборникъ XVII вѣка, озаглавлены: „Слова избраны отъ Мудрости Исуса, сына Сирахова, и отъ Премудрости царя Соломона“¹⁾.

Съ XVIII вѣка количество записей возрастаетъ и опять обыкновенно такъ, что народно-поэтическія произведенія примыкаютъ къ книжной литературѣ; былины поставлены рядомъ съ переводными богатырскими повѣстями, пословицы поставлены рядомъ съ притчами Исуса, сына Сирахова. Въ XVIII столѣтіи, съ начатками новой искусственной литературы, интересъ къ народной поэзіи даже повысился, — безъ сомнѣнія, именно въ связи съ распространеніемъ книжной литературы. Когда пошли въ ходъ пѣсенки новѣйшаго сочиненія на французскій ладъ, въ родѣ пѣсенъ Сумарокова, читателямъ вспоминались пѣсни народныя, которыя сохранялись въ обращеніи по старому обычаю, какъ развлеченіе въ домашнемъ быту не только простонародномъ, но купеческомъ и помѣщичьемъ: не исчезла еще старая простота нравовъ, и народная пѣсня любима была не только у вельможъ, но и при дворѣ. И наоборотъ, самыя пѣсни на французскій ладъ вызывались этими народными пѣснями и казались вѣроятно ихъ усовершенствованіемъ. Изъ этого смѣшенія поэтическихъ интересовъ, весьма элементарныхъ, произошли извѣстные „Пѣсенники“ XVIII вѣка, гдѣ народныя пѣсни стояли рядомъ съ пѣснями сочиненными, романсами, оперными аріями и т. д. Эти пѣсенники были, вѣроятно, сначала рукописные, и только послѣ перешли въ печать. Подобнымъ образомъ, въ старинные сборники силлабическихъ виршей и кантовъ попадали опять и пѣсни народныя.

¹⁾ Русскія Былины, стр. 71.

Такова была внѣшняя судьба народной поэзіи въ старомъ періодѣ нашей литературы. Въ этомъ періодѣ, гдѣ хотѣть видѣть именно вѣрное охраненіе народности, напротивъ, принимались всѣ мѣры къ тому, чтобы заставить народъ забыть и потерять свое поэтическое достояніе. Старанія не были безуспѣшны. Народъ, конечно, не создавалъ того, что происходитъ: безсознательно, сколько могъ, онъ отстаивалъ это достояніе и несмотря на проклятія противъ его поэзіи, неизмѣнно продолжавшіяся нѣсколько столѣтій, сберегъ до нашего времени очень многое изъ этой поэзіи, въ которую онъ влагалъ столько своей фантазіи и чувства;—но многое погибло безвозвратно. Только чужія свидѣтельства, скандинавское и нѣмецкое, отъ XIII вѣка, сохранили старѣйшую память о главномъ героѣ нашего народнаго эпоса, Ильѣ Муромцѣ; только любознательность заѣзжаго англичанина сберегла для насъ подлинныя образчики народной лирики начала XVII вѣка; Слово о полку Игоревѣ осталось одинокой руиной.

Въ эпоху того „лиризма“ во взглядахъ на народную поэзію, о которомъ говоритъ Всеv. Миллеръ, высказывалось, между прочимъ, мнѣніе, что времена Петра Великаго, нарушивъ органическое теченіе русской жизни, прервали и органическое развитіе литературы изъ чисто-народныхъ источниковъ: съ сожалѣніемъ говорилось, что реформа совсѣмъ отрѣзала новѣйшую нашу литературу отъ эпическихъ основъ нашей національности. На дѣлѣ, однако, литература была отрѣзана отъ этихъ основъ за цѣлые вѣка до Петра и къ XVIII вѣку не произвела ничего, въ чемъ можно было бы видѣть задатки крѣпкаго литературнаго развитія изъ народнаго источника: не нашлось ни одного дарованія, которое способно было бы вырваться изъ тѣсныхъ условій тогдашней книжности, если не установить, то хотя бы намѣтить такое направленіе. Слово о полку Игоревѣ, едва извѣстное впослѣдствіи, было единственнымъ исключеніемъ; нѣсколько вѣковъ спустя повѣсть о Горѣ-Злочастіи, какъ первыя начавшіяся записи былинъ, осталась въ области непосредственнаго народнаго творчества; немногія попытки (въ родѣ повѣсти о Фролѣ Скобѣевѣ, хронологія которой въ точности еще не опредѣлилась) въ концѣ концовъ не отвѣчали тому широкому горизонту, который началъ открываться для умственныхъ и поэтическихъ интересовъ, — и долженъ былъ открыться рано или поздно. Прямое подражаніе западнымъ европейскимъ образцамъ въ литературной области было положительно заявлено во времена Алексѣя Михайловича стихотворствомъ Симеона Полоцкаго и иностраннымъ театромъ

при царскомъ дворѣ. Это было естественное исканіе болѣе широкаго содержанія, чѣмъ то, котораго исключительный кругъ данъ былъ древней письменностью.

Национальная жизнь именно искала себѣ болѣе широкаго поприща; въ предчувствіи его происходили эти неясныя и пока несмысленныя обращенія къ Западу, — между тѣмъ старыя эпическія основы ограничивались тѣснымъ средневѣковымъ міровоззрѣніемъ, изъ котораго въ ту пору давно вышла литература западно-европейская. Нѣтъ сомнѣнія, что въ концѣ стараго періода у болѣе образованныхъ людей была потребность болѣе обширнаго знанія, чѣмъ тѣ скудныя обрывки его, какими приходилось до тѣхъ поръ довольствоваться, и болѣе широкаго содержанія для литературной дѣятельности, чѣмъ прежній обиходъ русской письменности... Пора для вполне самобытнаго и независимаго развитія литературы изъ чисто-національныхъ основъ, если только была когда-нибудь, давно миновала: исторія могла совершаться только во взаимодействіи съ западно-европейскими народами и ихъ просвѣщеніемъ, къ которымъ давно влекли московскую Россію и инстинкты любознательности, и потребности государства, и полусознательное чувство національнаго достоинства. Чисто народныя основы поэтическаго развитія были давно подавлены, а отчасти слиты съ христіанско-легендарнымъ міровоззрѣніемъ среднихъ вѣковъ; какъ дѣятельная сила, старая народная поэзія не могла уже возродиться. Когда въ 1861 году Рыбниковъ началъ изданіе своихъ находокъ въ Олонецкомъ краѣ, Срезневскій писалъ по поводу его сборника о трудности собиранія эпическихъ пѣсенъ: „Кстати вспомнить, — говорилъ онъ, — что, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ еще былины не забыты, есть въ народѣ какая-то странная увѣренность, что былины кѣмъ-то преслѣдуются какъ что-то противозаконное, и что поэтому опасно ихъ сообщать для записыванія; это свидѣтельство одного почтеннаго священника. Ужели эта увѣренность въ противозаконность былинь въ связи съ тѣмъ преслѣдованіемъ мірскихъ и бѣсовскихъ пѣсенъ, о которомъ напоминаютъ нѣкоторые изъ нашихъ древнихъ памятниковъ?“ Это вѣроятно; только помнились запрещенія не древнихъ памятниковъ, уже забытыхъ, а болѣе позднихъ, какъ вѣяшенія „Домостроя“, какъ правительственныя запрещенія Стоглава и указовъ царя Алексѣя Михайловича, въ родѣ грамоты воеводѣ Рафу Всеволожскому. Цѣль ихъ была достигнута: эпическія пѣсни уцѣлѣли только въ дальнихъ захолустяхъ; въ главной массѣ народа онѣ были забыты. Новѣйшее время восстанавливаетъ, сколько

возможно, содержаніе народной поэзіи по двоякому побужденію: во-первыхъ, по общественному интересу къ народнымъ массамъ, который сосредоточился на освобожденіи крестьянъ и развитіи крестьянской реформы, и во-вторыхъ, по интересамъ науки, которая дала и пониманіе поэтического достоинства этой старины. То и другое было плодомъ новѣйшаго періода нашей образованности.

Подробнѣе о вліяніи теоріи Якова Гримма см. въ „Исторіи р. Этнографіи“, т. II, гл. III, IV, VIII, по поводу трудовъ Буслаева, Афанасьева, Ор. Миллера („Илья Муромецъ и богатырство кievское“. Спб. 1869); тамъ же о взглядахъ писателей славянофильской школы: К. Аксакова, Безсонова и др.

О древнѣйшей порѣ русской народной поэзіи:

— Буслаевъ, Русская поэзія XI и начала XII вѣка, въ „Историч. Очеркахъ“ I, стр. 377 и д., и другія статьи тамъ же.

— Ждановъ, Русская поэзія въ до-монгольскую эпоху, въ кievскихъ Унив. Извѣстіяхъ, 1879; Русскій былевой эпосъ. Спб. 1895, и др.

— А. Веселовскій, важныя изслѣдованія и рѣшенія въ „Южно-русскихъ былинахъ“, „Разысканія въ области р. духовнаго стиха“, „Мелкихъ замѣткахъ къ былинамъ“ и пр.; для подробностей см. вообще „Указатель“ къ его трудамъ, 2-е изд. Спб. 1896.

— Всев. Миллеръ, Экскурсы въ область русскаго народнаго эпоса. I—VIII. М. 1892; Очерки р. народной словесности. Былины. I—XVI. М. 1897. Здѣсь находятся статьи: Былинное преданіе въ Олонецкой губерніи; Русская былина, ея слагатели и исполнители; Наблюденія надъ географическимъ распространеніемъ былины; Отголоски галицко-волинскихъ сказаній въ современныхъ былинахъ; Къ былинамъ о Добрынѣ Никитичѣ;—о Вольгѣ и Микулѣ;—о Чурилѣ Пленковичѣ;—о Соловѣ Будимировичѣ;—о Хотѣнѣ Блудовичѣ;—объ Иванѣ Гостиномъ сынѣ;—о Ставрѣ Гоудиновичѣ;—о Садѣ;—о Батыѣ;—о Саурѣ и сродныя по содержанію;—объ Ильѣ Муромцѣ;—Новыя записи былины въ Якутской области.

— М. Халанскій, Великорусскія былины Кіевского цикла. Варшава, 1885; Южно-славянскія сказанія о Крадевичѣ Маркѣ въ связи съ произведеніями русскаго былевого эпоса. Варшава, 1893—1895.

— И. Сазоновичъ, Пѣсни о дѣвушкѣ-воинѣ и былины о Ставрѣ Гоудиновичѣ. Варшава, 1886; Къ вопросу о западномъ вліяніи на славянскую и русскую поэзію. Варшава, 1898.

— Wilh. Wollner, Untersuchungen über die Volksepik der Grossrussen. Leipzig. 1879.

— V. Jagić, Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik, въ Archiv für slav. Philologie I. 1875; Gradja za historiju slov. nar. poezije, „въ Радѣ“ юго-слав. академіи, т. XXXVII. Zagreb, 1876, переведено въ Слав. Ежегодникѣ. Кіевъ, 1878: „О славянской нар. поэзіи. I. Историческія свидѣтельства о пѣніи и пѣсняхъ славянскихъ народовъ“.

— Л. Майковъ, О былинахъ Владимірова цикла. Спб. 1863—историческая точка зрѣнія, къ которой относятся еще труды Н. Кваш-

нина-Самарина: „Русскія былины въ историко-географическомъ отношеніи“, въ Бесѣдѣ 1871, № 4—5; „Новые источники для изученія русскаго эпоса“, въ Р. Вѣстн. 1874, № 9—10; Дашкевича, Былины объ Алешѣ Поповичѣ и пр., въ кievскихъ Унив. Извѣстіяхъ, 1883, и въ „Чтеніяхъ“ въ Обществѣ Нестора Лѣт. т. III; „Разборъ“ Эскурсовъ Всев. Миллера, въ отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1895;—Голубовскаго, „Печенѣги, торки и половцы до нашествія татаръ“. Кіевъ, 1884.

— Наконецъ работы по общимъ и частнымъ вопросамъ предмета—Стасова, Дашкевича, Кирпичникова, Сумцова, и раньше, Костомарова, А. Котляревскаго, Безсонова и пр. Обстоятельная исторія вопроса въ книгѣ А. М. Лободы: Русскій богатырскій эпосъ. Опытъ критико-библіографическаго обзора трудовъ по р. богатырскому эпосу. Кіевъ, 1896 (ср. замѣтку въ „Вѣстникѣ Европы“, 1897, мартъ).

Обличенія язычества и запрещенія стараго обычая:

— Слова и поученія, направленные противъ языческихъ вѣрованій и обрядовъ, въ „Лѣтописяхъ р. литературы и древности“, Тихоновова. IV. М. 1862, стр. 83—112.

— Различные списки Слова Христолюбца изданы были Срезневскимъ въ „Древнихъ памятникахъ р. языка и письма“ (Извѣстія II Отд. Аѣ., X.), Буслаевымъ въ Историч. Христоматіи. М. 1861, стр. 519 и д.

— Поученіе Георгія, монаха Зарубскаго монастыря, у Срезневскаго, Свѣдѣнія и Замѣтки. № VII.

— Посланіе митр. Фотія въ Новгородѣ. 1410 г. (осужденіе народныхъ пѣсень, также лихихъ бабъ, вѣдьмъ) въ Р. Историч. Библіотекѣ, т. VI, ст. 274.

— Стоглавъ. Цитаты въ текстѣ изъ главы 41-й. Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: „Еще же мнози отъ неразумія простая чадъ православныхъ христіанъ во градѣхъ въ селѣхъ творятъ еллинское бѣсованіе, различныя игры и плясанія, въ навечеріи праздника Рождества Христова, и противъ праздника Рождества Іоанна Предтечи въ нощи, и въ праздникъ весь день, мужи, и жены, и дѣти въ домѣхъ по улицамъ отходя, и по водамъ глумы творятъ всякими играми и пѣснями сотонинскими, и многими виды скаредными; подобно же сему творятъ и во святыхъ вечерахъ, и въ навечеріи Богоявленія Господня, и тѣмъ Господа Бога прогнѣваютъ, ни кимъ же возбраняеми, ни обличаеми, ни наказуеми, ни отъ священникъ, ни отъ судей устрашаеми, таковыя творятъ неподобныя дѣла, святыми отцы отреченныя. Отнынѣ же впредь подобаетъ православнымъ христіаномъ, вмѣсто сихъ бѣсованія, въ такія святыхъ и честныхъ праздники приходити ко святымъ божіимъ церквамъ и упражняться на молитву, и божественными пѣснями улажаться, и божественнаго писанія со вниманіемъ слушати, и божественную литургію со страхомъ предстояти, и потомъ въ домѣхъ своихъ учреждатися, вкушѣ о Бозѣ ликовствующе со священническимъ чиномъ, и со други своими духовнѣ нищихъ питающе и въ славу божію веселящися, а не упиватися во пьянство“, и пр.

(глава 92, 93, со ссылками на правила шестого вселенского собора, на Иоанна Златоуста и т. д.).

— Домострой, подъ ред. В. Яковлева. Спб. 1867, стр. 16, 38, 73.

— Царскій указъ 1649 г. въ грамотѣ верхотурскаго воеводы Рафа Всеволожскаго на Ирбитѣ, въ Актахъ Историч. Спб. 1842, IV, стр. 124—126. Другіе указы о благочестивомъ житіи, 1652 и 1657 года, въ Актахъ Археогр. Экспедиціи. Спб. 1836, IV, стр. 91, 138—139 (память митр. ростовскаго и ярославскаго Іоны своему приставу, 1657 г.), и друг.

— Объ этихъ и другихъ запрещеніяхъ см. у Буслаева, Историч. Очерки, I, стр. 478—483, и др.

— Въ 1688 напечатано было въ Москвѣ „Поученіе отъ іереевъ къ людямъ, чтобы не пѣть бѣсовскихъ пѣсень“—Іоакима патріарха, по замѣчанію Ундольскаго, Очеркъ славяно-русской библіографіи. М. 1871, № 1077.

— Подробный разборъ предмета съ церковной стороны у М. Азбукина: Очеркъ литературной борьбы представителей христіанства съ остатками язычества въ русскомъ народѣ, въ Р. Филолог. Вѣстникѣ, 1896—97, и отдѣльно.

— Новѣйшія народныя опасенія о запрещенности былинь упомянуты Срезневскимъ въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад., X., стр. 254.

О лѣтописныхъ преданіяхъ:

— Костомаровъ, Преданія первоначальной русской лѣтописи, „Вѣстн. Европы“ 1873, январь—мартъ. Еще ранѣе: Погодинъ, „Исслѣдованія, замѣчанія и лекціи“. М. 1846, I, стр. 173—195; Сухолиновъ, О преданіяхъ въ др. р. лѣтописи, „Основа“, 1861. Далѣе, Васильевскій, Варяго-русская и варяго-англійская дружина въ Константинополѣ XI и XII вѣковъ, въ Журн. мин. просв. 1874, ноябрь и дал. Геденовъ („Варяги и Русь“. Спб. 1878, II, стр. LXXV—LXXV) рѣшительно говорилъ, что наши преданія оказывались сходны съ норманскими потому, что норманны прямо заимствовали чужія сказанія (русскія, польскія, греческія, германскія) и перелагали ихъ на скандинавскіе нравы. Такъ именно у русскихъ они взяли: сказаніе о смерти Олега; объ Ольгиной мести; о мести Рогнеды; объ Янѣ Усмошвецѣ. Какъ признакъ подлинности или подражанія онъ выставляетъ слѣдующее: „Чѣмъ глубже сказаніе вошло въ народную жизнь, тѣмъ тѣснѣе оно связано съ великими историческими событіями и личностями, тѣмъ непринужденнѣе его подробности и поразительнѣе образъ его изложенія, — тѣмъ оно ближе къ своему первородному источнику“, — и это преимущество онъ находитъ на сторонѣ русскаго лѣтописнаго разсказа. — Но, во-первыхъ, здѣсь можетъ быть только внѣшняя разница стиля, а не основы преданія; а во-вторыхъ, параллели русскихъ сказаній находятся не у однихъ норманновъ.

Старыя записи былинь и пѣсень:

— Богатырское слово въ спискѣ начала XVII вѣка, открытое Е. В. Барсовымъ. Спб. 1881 (изъ „Записокъ“ Акад. Наукъ, т. XI). Здѣсь помѣщено: „Сказаніе о Кѣвскихъ богатырехъ какъ ходили во Царьградъ и какъ побили цареградскихъ богатырей, учинили себѣ честь“.

— Матеріалы и изслѣдованія по старинной русской литературѣ, Л. Майкова. Спб. 1891. Здѣсь помѣщены: Сказанія объ Ильѣ Муромцѣ по рукописямъ XVIII вѣка; повѣсть о Михаилѣ Потокѣ по рукописи XVII вѣка.

— Русскія былины старой и новой записи, подъ редакціей Тихонравова и В. О. Миллера. Москва, 1894. Здѣсь помѣщенъ рядъ старыхъ записей былинь объ Ильѣ Муромцѣ, Михаилѣ Потокѣ и Алешѣ Поповичѣ, о семи русскихъ богатыряхъ, о Ставрѣ Гаденовичѣ, о кievскомъ богатырѣ Михаилѣ сынѣ Даниловичѣ двѣнадцать лѣтъ, и отрывокъ неизвѣстной былины; и статья Тихонравова (стр. 69—85) съ перечисленіемъ подобныхъ записей.

— Отрывокъ изъ былины объ Алешѣ Поповичѣ по списку XVII вѣка, А. И. Станкевича, въ „Древностяхъ“ Моск. Археол. Общества, т. XV. Текстъ вошелъ въ предъидущее изданіе, но здѣсь помѣщенъ снимокъ самой рукописи.

— Пѣсни Ричарда Джемса изданы были въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. Наукъ, 1852, и повторены въ книжѣ: Памятники великорусскаго нарѣчія, Спб. 1852; „Историч. Хрестоматія“ Буслаева, стр. 1031 и дал. Разборъ этихъ пѣсенъ у Буслаева, Историч. Очерки, I, стр. 470 и д.: „Русская поэзія XVII вѣка“.

— Кирша Даниловъ. Первое изданіе: „Древнія русскія стихотворенія“, М. 1804, Якубовича, было неполное; второе изданіе: „Древнія русскія стихотворенія, собранныя Киршею Даниловымъ“ и пр. сдѣлано было, почти сполна, Калайдовичемъ, М. 1818; третье, 1878, и четвертое въ „Дешевой библіотекѣ“ Суворина, с. а. Рукопись считалась потерянною; но затѣмъ явились о ней сообщенія Н. В. Чехова въ „Живой Старинѣ“, 1894, вып. 2, стр. 299—300, и замѣтка П. Шейна тамъ же, 1895, вып. I, стр. 122—123; наконецъ рукопись, находящаяся въ библіотекѣ кн. М. Р. Долгорукова (внука А. О. Малиновскаго, по матери), была разсмотрѣна П. Н. Шефферомъ, который сдѣлалъ соображенія объ ея исторіи и напечаталъ изъ нея, буквально, стихъ о Голубиной книгѣ (Замѣтка о сборникѣ Кирши Данилова, въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. Н., 1897, кн. 1). Теперь вышло изданіе самой рукописи: „Сборникъ Кирши Данилова. Изданіе Имп. Публичной Библіотеки по рукописи, пожертвованной въ Библіотеку княземъ М. Р. Долгоруковымъ, подъ редакцію П. Н. Шеффера. Съ фототипическимъ снимкомъ“. Спб. 1901. XLVI и 284 стр.

— Пѣсня 1699 года, въ столбцахъ Приказнаго стола, у Соловьева, Ист. Россіи, т. XIV; приложенія.

— Н. Тихонравовъ, Платъ холоповъ прошлаго вѣка, въ сборникѣ Общества люб. рос. слов „Починъ“. М. 1895.

— А. Пыпинъ, Дѣла о пѣсняхъ въ XVIII вѣкѣ (1704—1764). Спб. 1900 (изъ „Извѣстій“ II Отд. Акад. Н., т. V, кн. 2).

Скоморохи:

— Первые упоминанія о скоморохахъ указаны въ текстѣ. Впослѣдствіи эти упоминанія весьма многочисленны, если тѣ же скоморохи называются еще и другими именами: сопѣльники, гудцы, свирцы, глумотворцы и пр. Въ XIII вѣкѣ лѣтописецъ Переяславля Суздальскаго даетъ понятіе о костюмѣ скомороховъ, сравнивая съ нимъ одѣяніе

латинъ: „начаша пристроати себѣ кошули, а не срачици, и межиножіе показывати и кротополіе (короткопалое платье) носить, и яки гворѣ (мѣщокъ) въ ногавици створше, образъ килы имуще и не стыдящеся отгнудъ, аки скомраси“ (Лѣтописецъ, изд. кн. М. Оболенскаго. М. 1851, стр. 3).

Ко временамъ Московскаго царства скоморохи такъ размножились, что ходили большими толпами и наконецъ чинили насилія жителямъ. Стоглавъ принимаетъ противъ этого мѣры. Въ главѣ 41 (19-й царскій вопросъ и соборный отвѣтъ) читаемъ: „Да по дальнимъ странамъ ходятъ скомрахи ватагами многими, по шестидесять и по семидесять человѣкъ, и по сту, и по деревнямъ у христіанъ сильно (т. е. насиліемъ) ядаютъ и пьютъ, и изъ клѣтъ животы грабятъ, а по дорогамъ людей разбиваютъ“. Соборъ отвѣчалъ: „Благочестивому царю своя заповѣдь учинити, якоже самъ вѣсть, чтобы впредь такое насилство и безчиніе не было“. Въ отвѣтѣ 23-мъ запрещалось скоморохамъ въ Троицкую субботу смущать людей бѣсовскими играми,—поводъ былъ слѣдующій: „Въ Троицкую субботу, по селамъ и по погостамъ сходятся мужи и жены на жалъникахъ и плачутся не гробомъ умершихъ съ великимъ воплемъ, и егда скомрахи учнутъ играть во всякіе бѣсовскіе игры, и они, отъ плача преставше, начнутъ скакати и плясати и въ долони бити и пѣсни сотонинскіе пѣти. на тѣхъ же жалъникахъ обманщики и мошенники“ (Ср. въ изданіи 1863, стр. 311).

Безчинства скомороховъ упоминаются въ грамотахъ еще съ конца XV вѣка: имъ запрещалось играть въ деревняхъ „сильно“, и въ этихъ случаяхъ жителямъ разрѣшено было удалить ихъ отъ себя. Въ жалованной грамотѣ дмитровскаго князя, въ 1470, пишется: „и скоморохи у нихъ въ тѣхъ селѣхъ не играютъ (Акты Археогр. Комм., 1836, I, № 86). Въ уставной грамотѣ дмитровскаго князя бобровникамъ Каменскаго стана, 1509 года, читаемъ: „А скоморохомъ у нихъ ловчей и его тіуны по деревнямъ силно играти не ослобожаетъ: кто ихъ пуститъ на дворъ доброволно, и они тутъ играютъ; а учнутъ у нихъ скоморохи по деревнямъ играти силно (не спросяся или противъ запрещенія), и они ихъ изъ волости выплютъ вонъ безпенно“, т. е. безнаказанно (Акты, тамъ же, № 150; ср. еще № 144, 171, 181, 201, 217, 240, 244; Акты Историч. I. № 137 и др., до самыхъ временъ Стоглаваго собора). Рядомъ съ царскими указами шли и церковныя угрозы. Въ памяти митр. Іоны, 1657 года, въ запрещеніи бѣсовскихъ игръ на первомъ планѣ названы скоморохи: „а велѣно на Устюгѣ на посадѣ и въ Устюжскомъ уѣздѣ учинить заказъ крѣпкой, чтобы отнюдь скомороховъ и медвѣжьихъ поводчиковъ не было, и въ гусли бѣ и въ домры и въ сурны и въ волюнки и во всякія бѣсовскія игры не играли и пѣсней сатанинскихъ не пѣли, и мірскихъ людей не соблажняли; а буде такіе люди впредь объявятся и указу сего святителскаго не послушаютъ, поводчики съ медвѣди учнутъ ходити и скомрахи въ гусли и въ домры и въ сурны и въ волюнки и во всякія бѣсовскія игры играть, и сатанинскія пѣсни пѣть, и мірскихъ людей соблажнять, или мірскіе люди тѣхъ скомраховъ и медвѣжьихъ поводчиковъ съ медвѣдьми въ дома своя пускати, а ему великому святителю про то вѣдомо учинится, и тѣмъ людямъ и скомрахомъ и медвѣжьимъ поводчикомъ быть отъ него святителя въ великомъ смиреніи и наказаніи“.

ни безъ пощады и во отлученіи отъ церкви божіи“... (Акты Археогр. Экспед. IV, стр. 138).

Со второй половины XVII вѣка скоморошество видимо падаетъ; о немъ наконецъ не слышно. Историки его предполагаютъ, что паденіе его приведено было строгими запрещеніями времени царя Алексѣя, который въ первые годы царствованія отличался особою ревностью къ водворенію благочестиваго житія. „Наказаніе безъ пощады“, „великая опала и жестокое наказаніе“, „битье кнутомъ“ и „битье батогами“,—говоритъ Фаминцынъ, — а главное, ненависть самого юнаго царя Алексѣя Михайловича къ скоморохамъ, конечно не безызвѣстная властямъ и руководившая дѣйствіями послѣднихъ, все это не могло не оказать сильнаго вліянія на участь преслѣдуемыхъ царскими указами, преимущественно бродячихъ скомороховъ, главныхъ зачинщиковъ „безчинствъ и неистовствъ“. — Кромѣ царскихъ указовъ были еще патріаршія проклятія, и извѣстно, что наконецъ въ Москвѣ было совершено сожженіе всякихъ гудебныхъ судовъ, т. е. музыкальныхъ инструментовъ, какъ вещей сатанинскихъ.

— А. Поповъ, *Пиры и братчины*. М. 1854 (изъ „Архива“ Калачова).

— Илья Бѣляевъ, *О скоморохахъ*, во „Временникѣ“ моск. Общ. ист. и др. 1854, т. XX, стр. 69—92 (собраны свѣдѣнія изъ лѣтописей и актовъ).

— Д. Ровинскій, *Р. Нар. Карт. I*, стр. 330; *VI*, стр. 36, 391—393.

— А. Веселовскій, *Разысканія въ области р. духовнаго стиха. VI—X*. Спб. 1883, стр. 128—222: Святочные маски и скоморохи. Начавъ съ древнихъ мимовъ, авторъ переходитъ къ средневѣковымъ западнымъ жонглерамъ и шпильманамъ, наконецъ къ скоморохамъ на Руси; происхожденіе названія; ихъ общественное положеніе, взглядъ церкви; ихъ роль въ народной обрядности; скоморохи въ качествѣ эпическихъ пѣвцовъ. (Голубинскій, *Ист. церкви*, I, 2, стр. 755, прим. предлагаетъ объясненіе слова „скоморохъ“ изъ народнаго греческаго *skommarchos*).

— Ал. Фаминцынъ, *Скоморохи на Руси*. Спб. 1889.

— А. Кирпичниковъ, *Къ вопросу о древне-русскихъ скоморохахъ*, въ *Сборникѣ II Отд. Акад.*, т. LII. Спб. 1891, стр. 1—22. Авторъ предлагаетъ новое объясненіе слова скоморохъ,—почти то самое. какъ г. Голубинскій: *skommarches*,—но не имѣвши въ виду этого послѣдняго; сообщаетъ много любопытныхъ замѣчаній о скоморохахъ византійскихъ, и пр.

— Русскія древности въ памятникахъ искусства, Н. П. Кондакова и гр. И. И. Толстого, т. IV. Спб. 1891, стр. 154—155. Здѣсь говорится, въ связи съ византійскими источниками, о скоморохахъ и русальяхъ, и слову дается толкованіе: „Скоморохъ есть переставленное: скоромохъ. отъ скоро (шкура)=мѣхъ,—ряженный звѣремъ чело-вѣкъ“,—но вторая часть слова остается и при этомъ необъясненной.

Для нѣкоторыхъ параллелей и догадокъ можетъ служить сравненіе съ нѣмецкими „шпильманами“ (имя ихъ было, между прочимъ, давно извѣстно на Руси по Кормчей). См.: *Altdeutsch-lateinische Spielmannsgedichte des 10. Jahrhunderts*, —übertragen von Moritz Heyne. Göttingen, 1900 (Einleitung).

— „Случалось мнѣ,—разсказываетъ Самуилъ Маскѣвичъ,—бывать на свадьбахъ московскихъ, у многихъ знатныхъ людей. Обычай тамъ такіе: въ одной комнатѣ сидятъ мужчины, въ другой, особой, женщины. Тутъ угощаютъ ихъ множествомъ яствъ... Никакой музыки на вечеринкахъ не бываетъ; надъ танцами нашими смѣются, считая неприличнымъ плясать честному человѣку. Зато есть у нихъ такъ называемые шуты, которые тѣшатъ ихъ русскими плясками, кривляясь какъ скоморохи на канатѣ, и пѣснями, большею частію весьма безстыдными. Иногда же, въ подражаніе нашимъ обычаямъ, приказываютъ играть на лирахъ: этотъ инструментъ похожъ на скрипку, только вмѣсто смычка, употребляютъ колесо, приправленное по срединѣ: одною рукою кружатъ колесо и трогаютъ имъ струны, снизу, другою прижимаютъ клавиши, коихъ на шейкѣ инструмента находится около десяти: каждый придавленный клавишъ сообщаетъ струнѣ звукъ тонѣе. Впрочемъ играютъ и припѣваютъ на одну только ноту.“

„За этою забавою слѣдуетъ другая: изъ дальней комнаты, гдѣ сидятъ женщины (строеніе идетъ рядомъ въ три и четыре комнаты), является нѣсколько такъ называемыхъ дворянокъ, хорошо одѣтыхъ: это жены слугъ. Онѣ становятся у дверей, изъ которыхъ вышли, при концѣ стола, гдѣ сидятъ гости, и забавляютъ ихъ разными шутками: сперва разсказываютъ сказки съ прибаутками, благопристойныя, а потомъ поютъ пѣсни, такіа срамныя и безстыдныя, что уши вянутъ. Русскимъ однако это очень нравится, и на здоровье! Пусть останутся при своихъ забавахъ, не зная лучшихъ! О танцахъ нашихъ они говорятъ:—что за охота ходить по избѣ, искать, ничего не потерявъ, притворяться сумасшедшимъ и скакать скоморохомъ? Человѣкъ честный долженъ сидѣть на своемъ мѣстѣ, и только забавляться кривляньями шута, а не самъ быть шутомъ, для забавы другого: это не годится!“ (Устряловъ, Сказанія современниковъ о Димитріи Самозванцѣ. Изд. 3. Спб. 1859, т. II, стр. 51—52).

Образчики „безстыдныхъ пѣсень“ сохранились въ рукописи недавно вновь отысканнаго сборника Кирши Данилова.

ГЛАВА II.

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ.—ЕЯ ОСНОВЫ И НАСЛОЕНИЯ.

Мнеологическія основы.—Состояніе вопроса о славяно-русской міеологіи: школа Гримма; новѣйшія изслѣдованія; языческая древность; христіанская легенда; двоевѣріе.

Бытovyя основы.—Древній родъ и семья.—Обрядовыя пѣсни: отраженіе формъ родового и семейнаго быта въ свадебной пѣснѣ и обрядѣ; почитаніе предковъ и пр.

Народно-поэтическое творчество.—Первичныя формы поэзіи.—Изслѣдованія Потебни.

Историческія наслоенія.—Отголоски древняго быта и эпическаго сказанія.—Первое проникновеніе христіанства.—Періодъ двоевѣрія: народно-христіанская міеологія.—Историческія событія: племенные передвиженія; татарское иго; основаніе царства.—Переходъ эпоса въ новыя условія историческо-бытovyя и географическія.—Сліяніе древнихъ сюжетовъ съ болѣе поздними переходными сказаніями.—Пѣсни историческія.

Уцѣлѣвшее донынѣ богатство пѣсни,—но и новѣйшій сильный упадокъ стараго пѣсеннаго творчества.

Внѣшнія судьбы народной поэзіи, изгнаніе ея изъ книги, отсутствіе записей, имѣли то слѣдствіе, что въ настоящее время мы имѣемъ передъ собой только сравнительно позднюю форму народно-поэтическаго преданія,—а именно, хотя въ современной пѣснѣ уцѣлѣли нерѣдко отголоски весьма далекой древности, но, съ другой стороны, мы не имѣемъ и того, что зналъ еще, на примѣръ, XVII вѣкъ. Преданіе, которому приписывали прежде великую степень силы и неизмѣнности, на дѣлѣ было весьма неустойчиво, и хотя жило повидимому въ одной средѣ, отличавшейся большимъ консерватизмомъ понятій и обычая, но и здѣсь подверглось обширнымъ измѣненіямъ, какія совершаетъ исторія. На народной пѣснѣ отразились разнообразныя вліянія, болѣе или менѣе глубоко или поверхностно касавшіяся цѣлой судьбы народа — внѣшнія и внутреннія политическія событія, измѣненія

хозяйственного быта, народно-бытовое дѣйствіе церкви, школы и книжности, международныя встрѣчи, мѣстныя взаимодействія и т. д. Если мы можемъ услѣдить подобныя явленія на тѣхъ фактахъ народной поэзіи, которые болѣе доступны историческому наблюденію, то несомнѣнно, что подобный процессъ историческаго видоизмѣненія совершался и раньше, потому что и древняя судьба народа не представляла условій бытовой уединенности и неизмѣнности.

Исторія народной поэзіи восходитъ къ отдаленнѣйшимъ временамъ жизни народовъ. Ея первое начало относить къ тому же времени, когда создавался самый языкъ: первая рѣчь возникала съ первымъ отвлеченнымъ и образнымъ представленіемъ. Въ начаткахъ языка, съ какими отрывалось человѣческое общеніе, были вмѣстѣ начатки пониманія окружающей жизни, которое сопровождалось съ одной стороны созданіемъ міа, съ другой, созданіемъ поэзіи: полагаютъ именно, что на этой первобытной ступени рѣчь, міа и поэзія составляли нераздѣльное явленіе. Не однажды дѣлались опыты возстановлять эти первоначальныя дѣйствія человѣческой мысли и фантазіи, первыя понятія человѣка о самомъ себѣ и о природѣ, когда отсутствіе знанія побуждало къ работѣ воображенія, къ созданію фантастическихъ идей о внѣшнихъ силахъ, правящихъ природой и самимъ человѣкомъ, и когда создаваемый такимъ путемъ міа воображеніе стремилось завершить въ цѣльномъ образѣ, который становился первымъ произведеніемъ поэзіи... Какъ совершалось это въ дѣйствительности, мы конечно можемъ только догадываться. Если въ гораздо болѣе близкихъ фактахъ реальной исторіи, отъ которой остались свидѣтельства археологическихъ памятниковъ и даже письменности, историческая память была заглушена до такой степени, что затерялись языкъ и самая азбука цѣлыхъ литературъ и только въ недавнее время наука цѣною величайшихъ усилій знанія и остроумія достигла чтенія іероглифовъ и клинообразныхъ писемъ; если только въ недавнее время подъ цѣлымъ рядомъ историческихъ наслоеній можно было доискаться предполагаемыхъ остатковъ Гомеровской Трои и т. п., — то еще несравненно труднѣе было бы возстановить тотъ процессъ созданія языка, міа и поэзіи, отъ котораго не осталось и не могло остаться никакихъ современныхъ реальныхъ свидѣтельствъ, о которомъ можно догадываться только по позднѣйшимъ памятникамъ языка. Наличныя данныя очень далеки отъ самаго факта, который хотятъ ими объяснять, и если новѣйшее сравнительное

языкознаніе пыталось для этой реставраціи воспользоваться древними памятниками индо-европейской рѣчи, эти памятники все еще отдалены отъ древнѣйшей дѣйствительности вѣроятно на цѣлыя тысячелѣтія, и въ заключеніяхъ о первобытныхъ временахъ необходима великая осторожность.

Первые успѣхи сравнительнаго языкознанія въ нынѣшнемъ столѣтіи, съ которыми открывалась невѣдомая прежде возможность угадывать историческіе процессы языка, какъ будто приносили разрѣшеніе долго недоступной загадки. По слѣдамъ Гримма, потомъ особливо Куна, Шварца, Макса Миллера, предприняты были разысканія славянской и русской древности и въ результатѣ получалась обширная система славяно-русской міеологіи, съ ея отраженіями въ народной поэзіи. Правда, не всегда можно было послѣдовательно опредѣлить ходъ міеологическаго процесса; но зато собрана была масса міеологическихъ представленій изъ народной поэзіи, современнаго обряда, обычая и повѣрья. Цѣлый кодексъ этой міеологіи изложенъ былъ въ особенности въ извѣстной книгѣ Аѳанасьева: „Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу“ (1866 — 1869). Выше упомянуто о томъ, какъ просто объяснялись съ этой точки зрѣнія памятники народнаго эпоса, напримѣръ, какъ Илья Муромецъ оказывался прямымъ преемникомъ Перуна „при переходѣ эпоса изъ его міеологическаго періода въ героическій“. Уже вскорѣ была почувствована крайность; и какъ относительно народныхъ сказаній теорія ихъ исконнаго происхожденія изъ древнихъ индо-европейскихъ преданій осложнилась или смѣнилась теоріею поздняго заимствованія, такъ была частью совсѣмъ отвергнута, частью иначе поставлена и система міеологіи. Ближайшее изслѣдованіе народной поэзіи рядомъ съ памятниками письменности указало, что тамъ, гдѣ видѣли несомнѣнное будто бы присутствіе древняго преданія, открывался, напротивъ, фактъ очевидно книжнаго и поздняго происхожденія; что, напримѣръ, знаменитая „Голубиная Книга“ не давала въ сущности никакого матеріала для заключеній о первобытной языческой міеологіи, а принадлежала средневѣковой міеологіи или легендѣ христіанской; что предполагаемый миеническій Волоотоманъ былъ книжнымъ искаженіемъ имени Птолемея; что такъ-называемые „старшіе богатыри“ былины, которые предполагались эпическими предшественниками князя Владимира, бывали позднѣйшимъ созданіемъ народной фантазіи на основѣ той же христіанской легенды; что въ народный эпосъ вошли несомнѣнно позднія книжныя сказанія и т. д.

Довѣріе къ міеологическимъ построеніямъ пошатнулось и съ

другихъ сторонъ. Въ то же время, когда въ русской народной поэзіи на мѣсто первобытной древности все ярче выступали явленія христіанскаго двоевѣрнаго періода, ближайшее изученіе средне-вѣковыхъ памятниковъ сокращало размѣры предполагаемаго славянскаго языческаго Олимпа. Доказанная подложность чешскихъ вставокъ въ средне-вѣковомъ словарѣ *Mater Verborum*, упоминавшихъ мнимыя славянскія божества; подложность Краледворской рукописи; болѣе точное объясненіе латинскихъ лѣтописцевъ, говорившихъ о балтійскомъ славянствѣ и древней Польшѣ, — побуждали къ пересмотру и другихъ свидѣтельствъ о старомъ славянскомъ язычествѣ, въ томъ числѣ русскомъ; и рядомъ съ этимъ являлось недоумѣніе: какимъ образомъ при той силѣ міеологическаго преданія, какую предполагали, въ народной памяти сохранились только частныя подробности міеической старины и потерялись именно крупныя черты, напримѣръ фигуры и самыя имена древнихъ божествъ, какъ Перунъ, Дажьбогъ, Хорсъ и т. д. Тѣ же недоумѣнія возникли относительно міеологии западнаго и южнаго славянства, и у нѣкоторыхъ изслѣдователей явилось, наконецъ, крайне отрицательное отношеніе къ прежней міеологической теоріи.

Одинъ изъ такихъ изслѣдователей говоритъ, напримѣръ: „Большую путаницу производитъ въ міеологіи злоупотребленіе словами „древній“ и „первобытный“. Всякое развитіе совершалось однако въ какомъ-нибудь настоящемъ изъ своего прошедшаго и подготовляло свое будущее. На нашъ взглядъ славянство начинается только тамъ, гдѣ мы наблюдаемъ и изучаемъ его особенныя нравы, обычаи и религіозныя представленія изъ непосредственной народной жизни. Но это славянство очень молодо и вмѣстѣ съ тѣмъ отличается величайшей древностью, какую можно вообразить, потому что иные обычаи и представленія коренятся не въ какомъ-нибудь недавнемъ времени, а въ первобытныхъ временахъ человѣческаго рода. Поэтому изслѣдователю случается иногда открывать первобытныя формы существующими и въ настоящее время, и тогда оказывается, что онѣ имѣютъ развѣ только славянскую окраску, а затѣмъ почти безъ исключенія являются международными, по крайней мѣрѣ европейско-международными. — Славянскіе міеологи вышли изъ славянскаго лингвистическаго направленія и большею частью ссылаются на результаты сравненія славянскихъ языковъ. Но родство между славянскими народными религіями несравненно меньше, чѣмъ общность между славянскими языками. Гипотеза о первобытномъ славянствѣ, т.-е. такомъ времени, когда былъ только одинъ славянскій народъ, съ

однимъ языкомъ и одной народной религіей, была для изученія религіи и для этнографіи скорѣе вредна, чѣмъ полезна. Замѣтимъ, что весьма многочисленные антропологическіе и этнографическіе моменты довольно серьезно предостерегаютъ насъ отъ того, чтобы смотрѣть на нынѣшніе славянскіе народы, какъ на физическихъ потомковъ одного народа, который просто въ своихъ развѣтвленіяхъ раздѣлился на различныя нарѣчія. Исслѣдователь фольклора сдѣлаетъ благоразумно, если будетъ говорить скорѣе о семьѣ славянскихъ языковъ, чѣмъ о семьѣ славянскихъ народовъ. Дѣло въ томъ, что славяне вообще и каждый славянский народъ въ частности произошли изъ самыхъ пестрыхъ смѣшеній племенъ, явленіе, которое не прекращается и въ наше время... Я все болѣе и болѣе прихожу къ убѣжденію, что не далеко время, когда съ успѣхами науки религіи она будетъ ставить конечной цѣлью изслѣдованія не столько первобытно-славянскую, или германскую, или финскую миеологию, сколько первобытную религію европейско-азиатскую и будетъ дѣлать изъ лингвистическо-историческаго метода гораздо болѣе второстепенное употребленіе, чѣмъ мы можемъ это одобритъ теперь¹⁾.

Возставая противъ прежней преувеличенной миеологіи, тотъ же изслѣдователь говоритъ: „Основную ошибку этихъ миеологовъ надо видѣть въ томъ, что они обыкновенно не различаютъ народной поэзіи отъ народной вѣры. Эта ошибка идетъ отъ нѣмецкихъ миеологовъ. Славянскіе ученые только изготовили славянскія миеологіи болѣе или менѣе искусно по нѣмецкимъ образцамъ, большею частію въ полной отъ нихъ зависимости“²⁾. Авторъ припоминаетъ слова Зимрока, что „древнее служеніе богамъ есть поэзія, самая древняя и самая возвышенная поэзія народовъ“, и находитъ, что эти слова заключаютъ въ себѣ несомнѣнное извращеніе существа религіи и поэзіи, т.-е. душевнаго ощущенія и способа выраженія. „Исповѣдники какой-нибудь вѣры дѣлаютъ ясное различіе между обязанностями, какія возлагаетъ на нихъ вѣра, и поэтическимъ творчествомъ. Никакой народъ не сдѣлаетъ себѣ религіи изъ поэзіи, но всякая религія есть неисчерпаемый источникъ возбужденія для поэтовъ. Религія есть богатый свидѣльствами фактъ, жизненное доказательство народной души, а поэзія есть только виѣшняя придача, описаніе всякаго рода ощущеній“. Авторъ приводитъ въ примѣръ южно-

¹⁾ Fr. S. Kraus. „Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven“. Münster i. W. 1890, стр. VII—X.

²⁾ Авторъ разумѣлъ главнымъ образомъ миеологовъ западно-славянскихъ и южно-славянскихъ, но его слова могутъ относиться и къ миеологамъ русскимъ.

славянскія пѣсни, которыя съ разнообразными вариантами воспѣваютъ свадьбу солнца или мѣсяца съ утренней звѣздой, причемъ являются на сцену и ихъ родители, или наконецъ святитель Іоаннъ, громовникъ Илья, „Огненная Марія“, иногда самъ Господь Богъ. „Солнце, мѣсяцъ, звѣзды, святые ведутъ себя на этомъ торжествѣ такъ по-человѣчески, что наконецъ не знаешь, что должно означать присутствіе столь высокихъ существъ или, другими словами, вся исторія является, несмотря на всю ясность, чрезвычайно запутанной и темной. Но миеологъ быстро справляется съ этимъ и съ величайшей серьезностью приводитъ самыя глубокомысленныя объясненія: передъ нимъ проходитъ пышный міръ божествъ. Легко добыть параллели изъ греческой, римской, индійской, германской и особливо литовской миеологіи, и жуткоученая славянская миеологія готова. Затѣмъ слѣдуетъ обыкновенно приблизительно такой выводъ миеологовъ: — „народъ, который можетъ выставить такое созерцаніе, необходимо долженъ былъ занимать нѣкогда высокую ступень культуры и можетъ равняться первымъ культурнымъ народамъ міра“. Но дѣло становится еще загадочнѣе отъ того, что всѣ эти исторіи о свадьбахъ солнца и мѣсяца не находятъ затѣмъ ни малѣйшей опоры въ народной вѣрѣ и ихъ нельзя привести ни въ какую связь съ остальными народно-религіозными воззрѣніями“. Правда, приводятъ въ подтвержденіе сказку, гдѣ юноша ищетъ свою исчезнувшую возлюбленную и спрашиваетъ о ней по порядку мать вѣтра, мать солнца и мать мѣсяца; но эта сказка извѣстна повсюду и вовсе не принадлежитъ исключительно славянскому міру. Въ чемъ же заключается разрѣшеніе загадки? Авторъ указываетъ, что эти упоминанія солнца, мѣсяца, утренней звѣзды или зари совершаются исключительно въ короткихъ лирическихъ пѣсняхъ, именно въ пѣсняхъ свадебныхъ, въ привѣтствіяхъ невѣстѣ и жениху, родителямъ ихъ и главнымъ руководителямъ обряда, и затѣмъ не повторяются больше нигдѣ и не находятъ мѣста въ пѣсняхъ эпическихъ, которыя именно могли бы заключать миеическую исторію, еслибы это дѣйствительно былъ настоящій миеъ. Названія солнца, мѣсяца, громовника Ильи и пр. — только ласкательныя поэтическія имена, приноровленные къ лицамъ и подробностямъ обряда, и не предполагаютъ никакого дѣйствительнаго религіозно-миеическаго представленія. Авторъ замѣчаетъ, что обозначеніе „солнца“ или „мѣсяца“ народный поэтъ переноситъ не только на людей, но и на драгоценныя украшенія: „Не должно упускать изъ виду одного, что народный поэтъ, столько же, какъ и поэтъ искусственный, имѣетъ въ своемъ распоряженіи безконеч-

ную область поэтических троповъ и фигуръ. Очевидно, что для народнаго поэта вслѣдствіе его меньшаго образованія и меньшихъ познаній сравнительно суживается сама собою та область, изъ которой онъ почерпаетъ св-и сравненій. Онъ беретъ свои сравненія изъ собственнаго кругозора и кругозора своихъ ближайшихъ товарищей. Что можетъ служить ему въ качествѣ высшаго *tertium comparationis*? Конечно только солнце, мѣсяцъ и звѣзды, и тѣмъ легче; что онъ вовсе не считаетъ этихъ небесныхъ свѣтилъ мнѣическими существами и вовсе не питаетъ въ нимъ того почтительнаго страха, который могъ бы удержатъ его отъ сравненія. Солнце, которое въ славянскомъ языкѣ средняго рода поэтъ олицетворяетъ, смотря по надобности, то мужчиной, то женщиной, не дѣлая себѣ при этомъ никакихъ религіозныхъ представленій. Народная фантазія, создающая мнѣи, укрѣпляется на болѣе глубокихъ и сильнѣе дѣйствующихъ моментахъ. Народная вѣра вовсе не составляетъ игрушки для народныхъ поэтовъ. Они не создаютъ этой вѣры, но только иногда пользуются ею, какъ основнымъ фономъ. У народнаго поэта это бываетъ правиломъ почти безъ исключенія“. Такъ, въ очень распространенной сербской пѣснѣ о спорѣ красивой дѣвушки съ солнцемъ нѣтъ никакой народной вѣры, а только поэтическое сравненіе.

Этимъ, по мнѣнію автора, вполне объясняются поэтическіе образы солнца, мѣсяца и т. д. „Употребленіе ихъ въ народной поэзіи свободно и, обыкновенно, за нимъ не скрывается ничего неразумнаго. Надо принять въ соображеніе, что всякая народная поэзія владѣетъ относительно только очень ограниченнымъ запасомъ сравненій и образовъ и что она вынуждена при всѣхъ случаяхъ довольствоваться малыми средствами. Народъ не легко тратитъ свое поэтическое достоинство; и если что-либо уже совсѣмъ обветшаетъ, только тогда оно выходитъ изъ обращенія. Но метафоры съ небесными тѣлами, еще и теперь цѣлы и нашли въ народной поэзіи богатое примѣненіе. Никакой мнѣической таинственности здѣсь нечего искать“¹⁾.

Новѣйшіе изслѣдователи, очнувшись отъ увлеченій теоріею Гримма, давшихъ слишкомъ большой просторъ фантазіи, или съ самаго начала не поддаваясь имъ, и убѣдившись также въ справедливости многихъ указаній теоріи заимствованій, стали требовать отъ миеологіи болѣе точныхъ доказательствъ, чѣмъ голословныя ссылки на грозовые или солнечные мнѣи, требовать положительнаго свидѣтельства памятниковъ,—какъ во всякомъ историческомъ

¹⁾ Тамъ же, стр. 2—10.

вопросъ. Въ такомъ смыслѣ давно уже начаты были изслѣдованія Александра Веселовскаго, Ягича и нѣкоторыхъ ученыхъ западно-славянскихъ по вопросамъ мифологіи, и рядомъ съ этимъ предпринято сравнительное и реально-историческое изслѣдованіе памятниковъ народной поэзіи и средневѣковаго сказанія, легенды, житія и т. д., изслѣдованіе, которое удалило прежнія произвольныя построенія и указывало основанія для возстановленія мифологіи, — насколько оно возможно, — въ документальныхъ свидѣтельствахъ древности и въ современныхъ реальныхъ фактахъ обряда, обрядовой пѣсни, заговора. Но и старая точка зрѣнія продолжаетъ существовать, и построеніе славянской и русской мифологіи еще впереди.

Если однако остается здѣсь еще много недослѣдованнаго, это не значитъ, чтобы мифологія не присутствовала въ древней народной поэзіи и чтобы народная вѣра и поэзія были такъ далеки одна отъ другой, какъ предполагалъ упомянутый изслѣдователь народной вѣры южнаго славянства. Отъ нашей древности не сохранилось мифологическаго эпоса, но примѣръ народовъ съ выработанной мифологіей указываетъ его возможность въ исторіи религіознаго и поэтическаго развитія; и самый неразвившійся мифъ, въ видѣ собранія отдѣльныхъ повѣрій, образовъ, лицетвореній и ихъ комбинаціи, заключаетъ извѣстную работу поэтическаго творчества. Обрядовыя пѣсни, которыя въ громадномъ количествѣ и съ многими несомнѣнно архаическими чертами сохранились доннѣ въ средѣ русскаго народа, восходятъ именно къ тому, что было нѣкогда религіознымъ вѣрованіемъ: въ старину исполненіе этого обряда въ глазахъ церковныхъ обличителей было „идолослуженіемъ“, а если смѣшивалось съ христіанствомъ (хотя бы внѣшнимъ), было „двоевѣріемъ“. Наконецъ, когда въ послѣдствіи въ умахъ народа возобладало церковное ученіе и легенда, въ народной поэзіи возникла новая форма, духовный стихъ, которая именно служила религіознымъ темамъ: это не была церковность догматическая, — которой народъ вообще не зналъ, — но это было выраженіе настоящаго народнаго вѣрованія и религіознаго настроенія. „Голубиная книга“ падаетъ съ самаго неба и ея „божественное писаніе“ открывается только прославленному царю Давиду; съ неба падаетъ „епистоля“ самого Христа и другія писанія, которыя пользовались полною народной вѣрой. Въ духовныхъ стихахъ легендарнаго и нравоучительнаго содержанія передавались опять предметы, которые были для народа настоящей религіозной исторіей и авторитетнымъ поученіемъ...

Такимъ образомъ, будущимъ изслѣдованіямъ предстоитъ вы-

яснить, что можетъ быть извлечено изъ историческихъ данныхъ о древнемъ русскомъ язычествѣ, и привести этотъ результатъ въ связь съ позднѣйшимъ составомъ народныхъ вѣрованій. Въ настоящее время есть однако область, изслѣдованіе которой можетъ открыть просвѣтъ въ древнія міеологическія и особенно бытовыя основы народной поэзіи. Это именно—обрядъ и съ нимъ обрядовая пѣсня, повѣрье и съ нимъ заговоръ.

Древняя народная поэзія, очевидно, должна была корениться въ бытѣ, въ бытовыхъ представленіяхъ религіозныхъ и реальныхъ. То и другое выражалось въ обычаяхъ и обрядахъ, который имѣлъ поэтому двоякое значеніе—религіозное и соціологическое. Въ тѣ отдаленныя времена, отъ которыхъ сохранилось для насъ такъ мало ясныхъ свидѣтельствъ, обрядъ, сопровождавшій всю жизнь человѣка отъ рожденія до похоронъ, имѣлъ несомнѣнно отношеніе къ культу,—объ этомъ можно съ увѣренностью заключать изъ позднѣйшаго обычая, хотя уже ослабленнаго и видоизмѣненнаго христіанствомъ. Пѣсни, сопровождавшія обрядъ, также должны были примыкать къ культу, и древніе обличители могли не безъ основанія называть ихъ, съ своей точки зрѣнія, бѣсовскими... Міеологамъ прежней школы казалось, что въ народныхъ пѣсняхъ и повѣрьяхъ легко открыть самые слѣды древняго культа. На самомъ дѣлѣ это довольно трудно, потому что въ теченіе тысячелѣтнаго христіанства и бытовой исторіи многое въ обычаяхъ должно было измѣниться, совсѣмъ исчезнуть, могли образоваться новыя повѣрья, такъ что мы, по крайней мѣрѣ, при современномъ состояніи изслѣдованія, не имѣемъ данныхъ, чтобы принять непрерывность этого преданія; тѣмъ не менѣе для многихъ предметовъ современнаго вѣрованія можно установить весьма отдаленную древность, и извѣстная доля нынѣшняго „суевѣрія“ была нѣкогда принадлежностью языческаго вѣроученія.

Наши міеологи, по слѣдамъ нѣмецкихъ, въ особенности принимали солнечную или грозовую теорію міеа, или обѣ вмѣстѣ; но, не говоря о крайностяхъ ихъ толкованій, овѣ мало согласуются съ разнообразіемъ божествъ, на которое указываетъ начальная лѣтопись, а затѣмъ едва ли были бы согласны съ данными народной психологіи. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было бы предположить, чтобы „первобытный человѣкъ“, на психологіи котораго строились обыкновенно міеологическія теоріи, былъ пораженъ въ природѣ только однимъ явленіемъ солнца, вообще небесныхъ свѣтилъ, или однимъ явленіемъ грозы. Трудно представить, чтобы его не поражало еще множество другихъ явленій природы и его собственной жизни, явленій загадочныхъ, и для

уразумѣнія которыхъ только фантазія могла подсказывать тѣ или другія мнимыя объясненія: не одно небо, но вся природа, въ ея рѣзкихъ проявленіяхъ, должны были быть населены фантастическими существами, олицетвореніями природныхъ силъ, которымъ приписывалась власть и вмѣшательство въ жизнь человѣка и природы, которыхъ нужно было задабривать или которыхъ нужно было остерегаться. По тѣмъ современнымъ повѣрьямъ, для которыхъ надо признать источникъ древняго преданія, такими силами были наполнены не только небо и тучи, но земля, на которой человѣкъ жилъ. воды, лѣсъ, поля, его собственное жилище и т. д.; собственная жизнь человѣка была въ рукахъ невѣдомыхъ силъ, дававшихъ здоровье или насылавшихъ болѣзни и пр. По современному пѣсенному обиходу, для котораго опять съ большою вѣроятностью надо принимать до-христіанское происхожденіе, — можно полагать, что еще въ глубокой старинѣ образовался годовой циклъ обрядовыхъ пѣсень, которыя бывали отраженіемъ представленій религіозныхъ, празднествомъ или поэтической игрой и, наконецъ, отраженіемъ реальныхъ бытовыхъ отношеній (какъ, напр., въ пѣсняхъ свадебныхъ, причитаніяхъ и т. д.). Возможно, что въ нѣкоторыхъ чертахъ домашняго обряда, и особенно въ заговорѣ, уцѣлѣлъ прямой остатокъ стараго культа, оберегавшаго домашній очагъ, предохранявшаго отъ опасности, порчи, болѣзни и т. д. Новѣйшіе болѣе осторожные изслѣдователи справедливо думаютъ, что, въ особенности въ условіяхъ нашей старины, построеніе древней мифологіи должно прежде всего исходить именно изъ изученія бытового обряда и пѣсни.

Съ другой стороны, обрядъ опирался на формахъ быта. Всякая поэзія вырастаетъ въ данномъ общественномъ состояніи. Съ этой стороны наша пѣсенная старина изучена до сихъ поръ очень мало, между тѣмъ нѣкоторыя черты ея могутъ быть объяснены только съ точки зрѣнія древнихъ общественныхъ отношеній. За послѣднее время, съ обширнымъ развитіемъ археологіи и антропологіи, особенное вниманіе изслѣдователей направилось на первобытную исторію человѣческихъ обществъ, на древній законъ и обычай... Древность мечтала о золотомъ вѣкѣ, въ которомъ жило первобытное человѣчество; Руссо возобновилъ эту фантазію, противопоставляя „естественное состояніе“ новѣйшей испорченной цивилизаціи; наука давно отвергла эту теорію блаженнаго естественнаго состоянія, а также и ту заманчивую картину древняго быта съ живой поэзіей и простыми нравами, которую ри-

совала идеалистическая археологія Гримма, или идеалистическая соціологія Рилля; отвергла и то представление о древнем патріархальномъ бытѣ, которое строила философія исторіи у Гегеля и его школы, — и взамѣвъ предприняла критическое изслѣдованіе первобытныхъ общественныхъ формъ на основаніи фактовъ, какіе даетъ изученіе древнѣйшаго закона и обычая, наблюденіе быта современныхъ племенъ, мало или совсѣмъ не тронутыхъ цивилизаціей и потому сохранившихъ бытовые остатки далекой древности, наконецъ наблюденіе тѣхъ обломковъ старины, которые сохранились безсознательно, какъ старая привычка, въ самомъ быту народовъ цивилизованныхъ (survivals, что у насъ тяжело переводится „переживаніями“ или „пережитками“).

Рядомъ съ первобытными представленіями о природѣ и личной жизни человѣка, въ древней поэзіи должны были отразиться и первобытныя формы реального быта. Въ средѣ его создавался тотъ обрядъ, который донинѣ сохранилъ многія черты древности путемъ „переживаній“, — такъ что слѣдъ стараго обряда остался, во-первыхъ, въ самой формѣ его современнаго исполненія и, во-вторыхъ, въ обрядовой пѣснѣ. Отсюда важность для объясненія народной поэзіи этихъ изслѣдованій о древнемъ законѣ и обычаѣ. Возстановляя древнія формы рода и семьи, собственности, правовыхъ отношеній, самыхъ приѣмовъ быта звѣроловнаго, пастушескаго, земледѣльческаго, понятій о внѣшней природѣ и т. д., эти изслѣдованія, на основѣ реальныхъ фактовъ, раскрываютъ тотъ кругъ воззрѣній и обычая, который представлялъ дѣйствительныя отношенія, сохраненныя какъ отголосокъ въ преданіи народной пѣсни. Такіе отголоски изслѣдованіе находятъ въ настоящее время въ захолустныхъ даже у наиболѣе цивилизованныхъ народовъ; тѣмъ больше могло сохраниться и сохранилось ихъ въ средѣ нашего народа, несравненно меньше затронутого цивилизаціей, такъ сильно заглушающей старыя нравы. Приводимъ нѣсколько примѣровъ исторической реставраціи древняго быта, достигнутой новыми изслѣдованіями въ этой области ¹⁾.

Однимъ изъ важнѣйшихъ выводовъ въ новыхъ изслѣдованіяхъ древняго общежитія является то, что первобытной формой семейнаго устройства была не индивидуальная чѣта, какъ въ настоящее время, не семья патріархальная, а совсѣмъ иная форма,

¹⁾ Мы воспользуемся нѣсколькими М. М. Ковалевскаго: „Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété“, 1890, которая заключаетъ публичныя лекціи, читанныя авторомъ въ Стокгольмѣ, и послѣдній сводъ его взглядовъ по данному предмету.

которой дали названіе матриархата, гдѣ исключительной основой семьи была мать. Еще не очень давно этотъ фактъ былъ неизвѣстенъ наукѣ. „Съ легкой руки Гегеля, Аренса и Моля,—говоритъ г. Ковалевскій,—утвердился-было въ наукѣ взглядъ, что такъ называемая патриархальная семья существовала уже въ древнѣйшія времена. Въ своемъ ослѣпленіи не доходили, тѣмъ не менѣе, до огульнаго отрицанія данныхъ, указывающихъ на отсутствіе у многихъ древнихъ народовъ и современныхъ дикихъ племенъ постоянныхъ связей между супругами. Никто, впрочемъ, изъ цеховыхъ ученыхъ не обращалъ должнаго вниманія на это обстоятельство. Разсказы древнихъ историковъ и географовъ, какъ несогласные съ теоріей, признавались баснословными; что же касается свободы половыхъ отношеній у дикарей, то въ ней видѣли лишь досадное уклоненіе отъ „естественной“ чистоты нравовъ. Недавно умершимъ Бахофену и Макъ-Леннану принадлежитъ честь прекращенія этой вздорной болтовни“. Эти изслѣдователи, не зная другъ о другѣ, идя каждый своимъ путемъ, одинъ при помощи сравнительной мифологіи и изученія классической древности, другой — этнографіи и изученія современнаго состоянія дикарей, одинаково отвергали существованіе индивидуальной семьи въ первобытной жизни человѣчества. Ихъ заключенія дополняются трудами лицъ, которыя, много лѣтъ проживъ среди современныхъ дикарей и усвоивъ ихъ языкъ, въ подробностяхъ изучили ихъ родственныя и брачныя отношенія, которыя именно могли быть подобіемъ первобытныхъ нравовъ. Въ результатъ получилось убѣжденіе, что „вмѣсто нашей индивидуальной семьи съ ея системой супружескихъ и родственныхъ отношеній, въ началѣ человѣческаго общежитія существовала материнская или матриархальная семья, не признававшая никакихъ другихъ связей, кромѣ какъ между ребенкомъ, его матерью и ея родственниками по женской линіи“. Этотъ выводъ былъ пріобрѣтенъ не вдругъ. Трудность изученія быта народовъ, которыхъ умственное и социальное состояніе для насъ совершенно чуждо, отрывочность греческихъ и римскихъ извѣстій о варварахъ древности приводили сначала къ отрицанію всякихъ семейныхъ связей у первобытнаго человѣка, вмѣсто которыхъ предполагалось безпорядочное общеніе (*promiscuité*) и „гетеризмъ“; но этому отрицанію противорѣчитъ явленіе, наблюдаемое въ жизни дикарей, именно родство по матери, т.-е. материнская семья. Новое поколѣніе входитъ въ родовую группу, къ которой принадлежитъ мать, и всѣ члены этой группы носятъ одно общее прозвище. Другимъ важнымъ открытіемъ была такъ называемая экзогамія,

т.-е. запрещеніе брачныхъ отношеній между членами одной соціальной группы, носящими одно имя, которымъ означалось ихъ дѣйствительное или предполагаемое родство. „Эти два явленія, — родство по матери и экзогамія, — заставляютъ насъ усумниться въ существованіи безпорядочнаго полового сожитія, не знающаго никакихъ правилъ и исключеній, которымъ Джонъ Леббокъ думалъ наградить дѣтство человечества. Мало того, оба эти явленія позволяютъ намъ предполагать, что еще при самомъ зарожденіи человеческихъ обществъ половыя отношенія не были предоставлены на усмотрѣніе отдѣльныхъ личностей, но были регулируемы обычаемъ, религіей и моралью“.

Гипотеза матриархальной семьи, утверждаемая ея существованіемъ у современныхъ дикихъ и полудикихъ племенъ, утверждается также и извѣстіями древнихъ писателей и нѣкоторыми чертами средневѣковыхъ законодательствъ. Матриархальная семья существовала нѣкогда у семитовъ (какъ можно видѣть изъ нѣкоторыхъ указаній Библіи), у древнихъ индійцевъ, грековъ, германцевъ, такъ что вообще надо принять, что „семиты и арійцы слѣдовали въ своемъ общественномъ развитіи по тому же пути, какъ и другія расы. Подобно океанійцамъ и краснокожимъ, они начали съ матриархата, слѣды котораго сохранились въ ихъ древнѣйшемъ правѣ и народномъ эпосѣ“.

Съ теченіемъ времени эта первобытная семья мало-по-малу принимаетъ новую форму, болѣе близкую къ ея современному состоянію. Самопроизвольно развиваясь, супружескія отношенія должны были понемногу стать болѣе прочными; мужъ началъ затѣмъ пріобрѣтать власть надъ женой и входитъ въ роль ея покровителя, принадлежавшую до тѣхъ поръ ея брату; наконецъ, власть отца надъ дѣтьми увѣнчала новое зданіе патриархальной семьи“. Укажемъ лишь нѣкоторыя черты этого развитія, составлявшія нѣкогда опять общую принадлежность древняго быта и въ разныхъ отгѣнкахъ уцѣлѣвшія у разныхъ племенъ даже донынѣ. Паденіе материнской семьи не уничтожило экзогаміи; единственнымъ средствомъ пріобрѣтенія жепщины было похищеніе — противъ ея воли или съ ея согласія, и эту стадію развитія семьи прошли и цивилизованные народы современной Европы. „У русскихъ и нѣмцевъ можно еще открыть нѣкоторые слѣды древняго похищенія или такъ называемой умычки. То же самое нужно сказать не только о грекахъ, римлянахъ, индусахъ и кельтахъ, но и краснокожихъ, океанійцахъ, неграхъ, а также о многихъ другихъ наименѣе культурныхъ народахъ земного шара. Между ними существуетъ однако и различіе: то, что у дикарей является

настоящимъ грабежомъ, у народовъ арійскаго происхожденія составляетъ лишь символъ, строго, правда, соблюдаемый, но часто совершенно непонятный для самихъ исполнителей. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. *Deductio*, или приведеніе невѣсты въ домъ жениха, было въ ходу какъ у римлянъ, такъ и у грековъ. Молодой человѣкъ бралъ свою будущую жену на руки и переносилъ ее черезъ порогъ своего дома. Въ Валлисѣ до сихъ поръ еще сохранился слѣдующій обычай. Въ день свадьбы ближайшій родственникъ жениха въ сопровожденіи цѣлаго отряда всадниковъ является въ деревню невѣсты. Она ожидаетъ его, окруженная своими родственниками и друзьями. Сватъ требуетъ у нихъ выдачи невѣсты. Получивъ отказъ, онъ притворно сражается съ ея защитниками, сажаетъ ее къ себѣ на сѣдло и уносится вскачь. Пѣсни Эдды... описываютъ борьбу жениха съ родственникомъ невѣсты передъ ея насильственнымъ похищеніемъ. Славянскія народныя пѣсни обыкновенно называютъ жениха „ворогомъ“ или врагомъ. Во многихъ мѣстностяхъ Россіи и теперь еще родственники невѣсты, исполняя требованіе обычая, окружаютъ ее со всѣхъ сторонъ и не допускаютъ къ ней жениха“. По поводу упомянутаго символа должно только замѣтить, что первоначально у народовъ арійскихъ онъ также былъ настоящимъ фактомъ похищенія или грабежа, и только впоследствии, когда установились болѣе мирныя отношенія, прежній фактъ сталъ исполняться только символически, какъ требованіе приличія.

Новую стадію въ развитіи брачныхъ отношеній составляетъ покупка невѣсты, обычай также повсюду распространенный. Купля невѣсты была, повидимому, только развитіемъ и видоизмѣненіемъ прежняго похищенія. Голландскій ученый Вилькенъ далъ объясненіе этой смѣнѣ явленій. Онъ утверждаетъ, что „плата за невѣсту (калымъ, вѣно) представляетъ изъ себя на первыхъ порахъ родъ виры, иначе говоря, выкупъ, который платилъ грабитель-женихъ семьѣ своей жертвы, чтобы избѣжать преслѣдованій съ ея стороны. Въ пользу этого предположенія говорить то обстоятельство, что, несмотря на полученное вознагражденіе, родственники невѣсты продолжаютъ выказывать признаки сильнаго неудовольствія противъ жениха. Это было бы необъяснимо, еслибы мы стали смотрѣть на бракъ, заключенный путемъ купли, какъ на сдѣлку по обоюдному соглашенію. Какъ бы то ни было, нельзя во всякомъ случаѣ оспаривать, что этотъ новый способъ заключать бракъ долженъ былъ очень содѣйствовать установленію нерасторжимости брачныхъ узъ, если не для мужа, то по крайней мѣрѣ

для жены. Утверждать противное значило бы предполагать, что владѣлец не станетъ охранять своего имущества“.

Обычай заключенія брака посредствомъ купли былъ распространенъ почти повсемѣстно. „Исторія Іудей въ эпоху патріарховъ и Греціи въ ея героическій періодъ представляетъ не мало указаній на существованіе обычая покупать невѣсть или зарабатывать ихъ многолѣтнимъ трудомъ. Такъ, Гомеръ часто называетъ дочерей „приносящими родителямъ быковъ“. Что касается славянъ, то въ ихъ народномъ эпосѣ вообще и въ русскомъ въ частности часто говорится о продажѣ дочери жениху... Въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ онъ до сихъ поръ еще зовется „купцомъ“, а его будущая жена „товаромъ“. Англо-саксонскіе законы и пѣсни Эдды постоянно говорятъ о покупателѣ женщины, о золотѣ, серебрѣ, рабахъ и драгоценныхъ камняхъ, которыми женихъ платитъ за свою суженую“.

Важнымъ обстоятельствомъ этой новой формы брачныхъ отношеній является то, что отношенія супруговъ освящаются теперь покровительствомъ боговъ и особливо боговъ домашнихъ, пенатовъ, т.-е. обожествленныхъ предковъ. На основаніи изученія историческихъ и этнографическихъ данныхъ и личнаго наблюденія архаическихъ формъ быта у нѣкоторыхъ кавказскихъ племенъ, г. Ковалевскій говоритъ: „Съ каждымъ новымъ шагомъ въ изученія народныхъ обрядовъ все болѣе и болѣе убѣждаешься, что свадебный ритуалъ грековъ и римлянъ отнюдь не составляетъ ихъ исключительнаго достоянія и встрѣчается у очень многихъ народовъ: у германцевъ, славянъ и индусовъ, а также, что не менѣе любопытно, у туземныхъ племенъ Кавказа, въ частности у осетинъ и пшавовъ. Еще и въ наши дни у послѣднихъ новобрачные торжественно обходятъ вокругъ домашнего очага и ѣдятъ хлѣбъ съ медомъ, подносимый свекровью. Можно сказать, что сама римская *confarreatio* воскресла у подошвы Эльбруса черезъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ своего исчезновенія.

„Освященіе брака религіозными обрядами, придающими ему характеръ пожизненности и ненарушимости, является отличительной чертой послѣдней стадіи его эволюціи. вмѣстѣ съ достиженіемъ этого пункта своего развитія онъ подвергается цѣлому ряду другихъ измѣненій. Исчезаетъ первобытное представленіе о половыхъ отношеніяхъ. Мать уступаетъ свое прежнее мѣсто отцу, отношенія между супругами преобразуются, власть брата и дяди смѣняется властью мужа и отца“.

Это измѣненіе материнской семьи въ семью патріархальную совершалось, безъ сомнѣнія, въ теченіе болѣе или менѣе про-

должительнаго періода, когда еще смѣшивались явленія того и другого порядка, пока не брали окончательнаго перевѣса формы семьи патріархальной. Однимъ изъ очень странныхъ обычаевъ, принадлежащихъ этому промежуточному періоду, была такъ называемая „кувада“: въ глазахъ дикарей отцовская власть является такою новостью, что для ея установленія они прибѣгаютъ къ уподобленію акта рожденія, — отецъ при усыновленіи собственнаго ребенка или чужеродца ложится въ постель и стонетъ подобно роженицѣ. По словамъ Страбона, этотъ обычай существовалъ у древнихъ иберійцевъ, существуетъ до сихъ поръ у ихъ потомковъ басковъ и у многихъ другихъ дивихъ и патріархальныхъ племенъ въ разныхъ мѣстахъ земного шара... Въ концѣ концовъ совершенно измѣняются отношенія между отцомъ и дѣтьми: онъ становится ихъ покровителемъ, какимъ прежде былъ дядя по матери, и дѣлается, наконецъ, полнымъ главою семьи; возникаетъ то, что называется въ старомъ римскомъ правѣ и обычаѣ *manus*, т.-е. власть мужа надъ женой, и *patria potestas*, т.-е. власть отца надъ дѣтьми.

Въ извѣстной связи съ развитіемъ патріархальной семьи стоитъ развитіе собственности, особливо земельной. По выводамъ нашего ученаго, древняя патріархальная семья въ экономическомъ отношеніи является въ видѣ общины кровныхъ родственниковъ, живущихъ вмѣстѣ и ведущихъ общее хозяйство. Для исторіи народныхъ вѣрованій здѣсь былъ тотъ важный моментъ, что съ образованіемъ патріархальной семьи (впервые утверждавшей родовую цѣльность и преемство) и съ образованіемъ хозяйственной единицы въ общинѣ, если не возникаетъ впервые, то утверждается домашній родовой культъ, почитаніе предковъ, начателей рода. „Въ наше время, — говоритъ г. Ковалевскій, — странно звучитъ утвержденіе, что каждая семья составляетъ самостоятельный религіозный союзъ съ особыми богами и своеобразнымъ культомъ. Однако, многія черты изъ обыденной жизни нашихъ низшихъ классовъ доказываютъ существованіе наивнаго вѣрованія въ души предковъ и ихъ постоянное общеніе съ живыми членами семьи. Въ Тиролѣ, старой Баваріи, верхнемъ Пфальцѣ и нѣмецкой Богеміи, по словамъ Бухгольца, крестьянскія католическія семьи круглый годъ принимаютъ всѣ необходимыя мѣры для благополучія своихъ умершихъ родственниковъ. Съ этою цѣлью каждый день собираютъ остатки отъ обѣда и въ субботу бросаютъ ихъ въ огонь: они предназначаются для питанія мертвецовъ. Наканунѣ дня всѣхъ святыхъ огни зажигаютъ на всю ночь и не запираютъ окна или двери, чтобы дать возможность

душамъ покойниковъ придти на семейное пиршество“. „Чтобы уяснить себѣ происхожденіе этихъ не совсѣмъ понятныхъ явленій, нужно сблизить ихъ съ несравненно болѣе краснорѣчивыми обыкновеніями русскихъ крестьянъ и славянъ вообще. Русскій „домовой“, соотвѣтствующій шведскому „tomten“, заботливо оберегаетъ домъ и всѣхъ его обитателей, не исключая и животныхъ. Онъ является благожелательнымъ духомъ, если его холятъ. Въ противномъ случаѣ онъ становится злымъ и мстительнымъ. Между нимъ и семейнымъ очагомъ существуетъ очень тѣсная связь. Вотъ почему переносъ очага въ новое жилище сопровождается такимъ множествомъ обрядовъ. Замѣтимъ также, что лишь свой домашній домовой считается другомъ, всѣ же остальные—завистливыми и опасными врагами“.

Недавно открыто чрезвычайно любопытное свидѣтельство объ этомъ почитаніи предковъ въ древне-русскомъ поученіи до-монгольской эпохи. Здѣсь читаемъ цѣлое описаніе того угощенія мертвыхъ, какое мы видѣли выше въ современныхъ нѣмецкихъ обычаяхъ. „Мнози же отъ человекъ се творятъ по злоумію своему,—говоритъ древнее поученіе.—Въ святыи великій четвертокъ повѣдаютъ мертвымъ мяса и млеко и яйца, и мыльница (бани) топятъ, и на печь льютъ (для пара) и попель посредѣ сыплютъ слѣда ради, и глаголютъ: „мойтеса“, и чехлы вѣшаютъ и убрусы, и велятъ ся терти (утираться). Бѣси же смѣются злоумію ихъ, и влѣзши мыются и порплются въ попель томъ, яко и куры, слѣдъ свой показываютъ на попель на прельщеніе имъ, и трутся чехлы и убрусы тѣми. И приходятъ топившіи мовници (бани), и глядають на попель слѣда, и егда видятъ на попель слѣдъ, и глаголютъ: „приходили къ намъ навья (покойники) мытса“. Егда то слышатъ бѣсы, и смѣются имъ... Но и паки проклятіе творятъ, еже та мяса приповѣдаютъ мертвымъ въ четвертокъ и паки скверное то приповѣданіе въ Воскресеніе Христово ѣдятъ сами, ихъ же не достояло и псомъ ясти“... ¹⁾.

Это поклоненіе предкамъ, вѣра въ ихъ общеніе съ живущими, въ ихъ помощь или гнѣвъ, вообще домашній, родовой культъ, принадлежали не только арійцамъ, но и семитамъ, и даже почти всему населенію земного шара; современное существованіе его въ самыхъ яркихъ проявленіяхъ г. Ковалевскій указываетъ у различныхъ племенъ Кавказа.

„Центромъ этого столь распространеннаго и древняго культа былъ домашній очагъ. Такое значеніе онъ пріобрѣлъ подъ влія-

¹⁾ Отчетъ Публ. Библіотеки за 1888 г., стр. 106; „Живая Старина“, годъ I, 1890—1891, вып. IV, стр. 229.

ніемъ слѣдующихъ причинъ. Около него хоронили родственниковъ (это обыкновенно до сихъ поръ еще держится въ Китаѣ) или, подобно этрускамъ, окружали очагъ ихъ изображеніями. Нужно кромѣ того замѣтить, что древній человѣкъ чисто матеріалистически смотрѣлъ на будущую жизнь. Видя въ постоянныхъ жертвоприношеніяхъ единственный способъ общенія съ усопшими, онъ смотрѣлъ на поглощеніе огнемъ предложенныхъ имъ яствъ, какъ на доказательство того, что они приняты мертвецами. Вотъ почему очагъ и составляетъ у народовъ арійскаго происхожденія наиболѣе священное мѣсто во всемъ домѣ“.

О загробной жизни было чрезвычайно распространено представленіе, какъ о подобіи жизни земной. Таковъ былъ извѣстный древній обычай класть въ могилу вмѣстѣ съ покойникомъ его оружіе, его охотничьи и рыболовные принадлежности, его коней, рабовъ и, наконецъ, жену. Разсказъ Ибнъ-Фадлана о погребеніи русса (котораго г. Ковалевскій склоненъ считать не славяниномъ, а скандинавомъ) относится еще къ X вѣку. Древнему человѣчеству была незнакома мысль о какомъ-нибудь возмездіи въ будущей жизни, о наградѣ для добрыхъ или о наказаніи для злыхъ. „Мысль о двойственности загробной жизни, объ адѣ и раѣ—сравнительно недавняго происхожденія. Не говоря уже о томъ, что она совершенно незнакома множеству дикихъ и варварскихъ народностей, нужно припомнить также, что сами евреи не вѣдали ея въ отдаленнѣйшій періодъ своей исторіи. „Шеолъ“ или мѣсто пребыванія всѣхъ мертвыхъ находилось, по ихъ мнѣнію, гдѣ-то въ глубинѣ земли; тамъ, какъ добрые, такъ и злые влачили въ вѣчной тьмѣ свое существованіе“. „Рай, чистилище и адъ, елисейскія поля и тартаръ могутъ существовать въ воображеніи только тѣхъ народовъ, которые достигли уже извѣстной высоты нравственнаго чувства и развили въ себѣ духъ обобщенія, чего отнюдь нельзя сказать про первобытное человѣчество... По древнѣйшимъ вѣрованіямъ, душа не уносится послѣ смерти въ иной міръ; она остается тутъ же, подъ землей. Если покойника оставляютъ безъ погребенія, то душа его продолжаетъ скитаться по землѣ и является по ночамъ въ образѣ привидѣнія. Вотъ почему погребеніе считалось настолько важной обязанностью всѣхъ родственниковъ, что неисполненіе ея признавалось преступленіемъ“. Вспомнимъ, какъ у Гомера тѣни павшихъ героевъ съ тоскою ждутъ почести сожженія. Въ общемъ выводѣ—„семейная община была въ то же время и религіозной общиной. Мы должны признать, что существуетъ тѣсная связь между этой древней фазой общежитія и не менѣе древнимъ вѣ-

рованіемъ въ духовъ. Основанный на мысли, что будущая жизнь воплѣтъ подобна настоящей, земной, — культъ мертвыхъ зарождается лишь съ установленіемъ патріархальной семьи, ибо это прежде всего культъ агнатическій, переходящій отъ мужчины къ женщинѣ и отдающій ему предпочтеніе передъ женщиной. Семейная община, являющаяся, съ одной стороны, соціальной организаціей, а съ другой — самостоятельнымъ религіознымъ союзомъ съ отцомъ во главѣ, порождаетъ всѣ учрежденія, которыя составляютъ особенность патріархальнаго періода¹⁾. Отсюда развивались и дальнѣйшія общественныя и правовыя отношенія, которыя принадлежать уже документальной исторіи.

О положеніи женщины въ патріархальной семьѣ г. Ковалевскій говоритъ, что прежде, на основаніи римскихъ юристовъ, говорили о всемогуществѣ мужа, о полномъ его правѣ распоряжаться личностью и имуществомъ жены, и это положеніе распространяли затѣмъ на древне-германское и славянское право; но при помощи сравнительной исторіи законодательствъ было найдено, что такой выводъ былъ неточенъ: римская матрона была не служанкой своего мужа, а равноправнымъ ему лицомъ; если жена и дочь не имѣли права отчуждать семейнаго имущества, то лишь потому, что оно составляло общую семейную собственность. Авторъ не признаетъ также господства произвола въ семейныхъ отношеніяхъ въ обычаяхъ германскихъ и славянскихъ: жена имѣла извѣстныя имущественныя права, она имѣла защитниковъ въ своихъ родственникахъ. Авторъ полагаетъ, что въ вопросѣ о правахъ женщины не должно полагаться на поговорки о власти мужа, на грубыя насилія, какія онъ совершалъ и которыя находили одобреніе у древнихъ писателей, какъ, напримѣръ, въ наставленіяхъ русскаго Домостроя¹⁾.

„Спрашивается, однако, — говоритъ г. Ковалевскій, — считались ли законными подобныя дѣйствія. Можно ли въ самомъ дѣлѣ, сдѣлать изъ нихъ другой выводъ, кромѣ того, что сильные всегда давили слабыхъ, что въ эпоху „жестокихъ нравовъ“ мужья чаще, чѣмъ теперь, злоупотребляли своимъ физическимъ превосходствомъ и дурно обходились со своими женами? Въ сущности говоря, все это не должно играть никакой роли при разрѣшеніи занимающаго насъ вопроса. Намъ вовсе не важно знать, тиранили мужья своихъ женъ или нѣтъ, насъ интересуетъ лишь, —

¹⁾ „А только жены... слово или наказаніе не иметъ, не слушаетъ и не винитъ и не боится и не творитъ того, какъ мужъ... учить, ино... сойма рубашку, плеткою вѣжливенько добить, за руки держа... и разумно, и больно, и страшно, и здорово“. Домострой, гл. 38.

разрѣшалъ ли имъ это обычай и было ли запрещено родственникамъ вмѣшиваться въ столкновенія между супругами. Въ дѣйствительности имѣло мѣсто какъ разъ противоположное“. Обычное представленіе о порабощеніи женщины патріархальнаго періода,—продолжаетъ авторъ,—находится въ прямомъ противорѣчій съ данными исторіи древняго права вообще, и римскаго, германскаго и славянскаго—въ особенности.

„Жена была не рабой, а подругой своего мужа. Это неоспоримо доказывается ролью, которую она играетъ въ семейномъ культѣ, какъ у древнихъ грековъ, такъ и усовременныхъ славянъ. Священнодѣйствуетъ, правда, мужъ или сынъ, но приготовленіе жертвенныхъ яствъ и напитковъ составляетъ именно ея обязанность“. Самая зависимость жены отъ мужа обязана была своимъ происхожденіемъ стремленію древняго обычая сохранить семью въ неприкосновенности и чистотѣ... Должно, однако, замѣтить, что съ теченіемъ времени практика грубаго населенія, въ соединеніи съ позднѣйшей аскетической проповѣдью о прирожденной испорченности женщины, создала изъ поученій Домостроя новый крѣпкій обычай, по которому каждый самодуръ донинѣ считаетъ себя призваннымъ „учить жену“, при чемъ ученіе доходитъ до смертоубійства...

Таковы были въ общихъ чертахъ основы народнаго быта, въ которыхъ создавалась древняя народная поэзія. У тѣхъ народовъ, которые прошли съ этой поры долгую жизнь цивилизаціи, эти основы сильно измѣнены и даже окончательно пережиты, хотя ихъ слѣды и здѣсь сохраняется нерѣдко въ преданіяхъ и обычаяхъ массы, особливо сельской. Тѣмъ больше этихъ отголосковъ старины осталось тамъ, гдѣ движеніе исторіи меньше затрогивало народные нравы, гдѣ условія быта больше способствовали сохраненію обычая,—какъ, на примѣръ, чрезвычайная разбросанность населенія, неизмѣнный земледѣльческій трудъ, отсутствіе школы, наконецъ, соціальныя отношенія, уединившія народную массу отъ воздѣйствія другихъ классовъ (какъ, позднѣе, крѣпостное право). Такъ бывало особливо у русскаго народа, и потому въ русской народной жизни встрѣчаемъ такое богатство древности въ пѣсняхъ, обрядахъ и повѣрьяхъ.

Но степень древности была разная. Начальная лѣтопись постоянно указываетъ на разнообразіе быта у славяно-русскихъ племенъ: у cadaго племени былъ свой обычай и, повидимому, именно различныя степени общественнаго и семейнаго быта, какія мы видѣли въ предыдущемъ изложеніи. Впослѣдствіи политическое сближеніе племенъ, христіанство, уничтожили эти архан-

ческія бытовыя формы, но въ народномъ повѣрьѣ, въ безсознательно сохраняемыхъ остаткахъ стараго обычая, сбереглись несомнѣнные отголоски донсторического быта и домашняго культа. Такъ изслѣдователи свадебнаго обряда и свадебныхъ пѣсенъ находятъ въ обрядахъ, сопровождающихъ церковный бракъ и отъ него однако совсѣмъ независимыхъ, эти остатки древности. Пѣсня, очевидно, зарождалась въ эти отдаленныя времена и сохраняла старые мотивы, хотя истинный смыслъ ихъ бывалъ наконецъ затерянъ.

Напомнимъ нѣкоторыя подробности въ разсказѣ начальнаго лѣтописца. Поляне имѣли „обычай кротокъ и тихъ“, „стыдѣнне“ къ близкимъ и брачныя обычаи: „не хожаше зять (или: женихъ) по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завтра приношаху по ней что вдадуче“ (или: „что на ней вдадуче“). Послѣднія слова объясняли прежде какъ выдачу приданаго; новѣйшіе изслѣдователи предпочитаютъ другое толкованіе, а именно, что на другой день приносили то, что давали за невѣсту (ея родителямъ). Варіанты двухъ старѣйшихъ списковъ лѣтописи передаютъ древнѣйшій и подновленный текстъ: первый предполагалъ древній обычай купли, второй думалъ о болѣе позднемъ обычаѣ приданаго. Но древляне, по разсказу лѣтописца, жили совсѣмъ „звѣринскимъ“ образомъ, убивали другъ друга, ѣли все нечистое, „и брака у нихъ не бываше, но умыываху у воды дѣвица“, т.-е. у нихъ былъ обычай похищенія женщинъ. Немногимъ лучше было у другихъ племенъ: радимичи, вятичи, сѣверъ, жили въ лѣсахъ, какъ звѣри, ѣли все нечистое, было у нихъ срамословіе: „брати не бываху въ нихъ, но игрища межю селы; схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бѣсовская игрища, и ту умываху жены собѣ, съ нею же кто съвѣщашеся; имяху же по двѣ и по три жены“. Указавши еще по лѣтописанью Георгія (Амартола) обычаи другихъ народовъ, упомянувъ, какъ „и при насъ“ держатся скверныхъ обычаевъ половцы, лѣтописецъ заключаетъ, что теперь, съ христіанствомъ, дурныя обычаи должны кончиться: „мы же христіане, ...законъ имамы единъ, елико во Христа крестихомся и во Христа облекохомся“.

Древніе обличители долго еще осуждали въ народномъ быту сохраненіе поганскихъ обычаевъ, между прочимъ въ брачныхъ отношеніяхъ: такъ упоминается, что простой народъ долго не считалъ нужнымъ совершеніе церковнаго брака, полагая, что онъ нуженъ только для князей и бояръ; до самаго XVII столѣтія встрѣчается осужденіе людей, имѣвшихъ по нѣскольکو женъ. Наконецъ, при самомъ церковномъ бракѣ свадьба сопро-

вождалась всѣми обрядами, какіе были необходимою принадлежностью стараго свадебнаго празднества, и тѣми же старыми пѣснями. И донинѣ наиболѣе изобильный отдѣлъ обрядовыхъ пѣсенъ составляютъ именно пѣсни свадебныя, со множествомъ варіацій: онѣ показываютъ съ одной стороны, какъ разнообразенъ былъ самый обычай въ разныхъ мѣстностяхъ, оттѣнкахъ племени, и съ другой, съ какою любовью народная поэзія останавливалась на этомъ родовомъ и семейномъ празднествѣ. Но эти варіаціи указываютъ также различную степень храненія старины. Бытовая жизнь мѣнялась; не было надобности въ похищеніи; въ сватовствѣ не было прямой купли дѣвушки, — но старина была слишкомъ привычна и памятна, и исполнялась по-прежнему: обычай уже не отвѣчалъ дѣйствительности и изображали только фиктивное похищеніе, борьбу двухъ сторонъ, куплю и т. д.; обрядъ становился только символомъ, пѣсня только поэтическимъ украшеніемъ, — хотя причеты невѣсты, также условно необходимыя, отвѣчали совершавшейся, хотя уже не насильственно, разлукѣ съ роднымъ домомъ и неизвѣстности будущаго въ чужой семьѣ.

Прежніе толкователи связывали свадебный обрядъ съ мифами небснаго брака и отсюда объясняли свадебныя пѣсни. „Очевидное для всѣхъ вліяніе неба на земные роды (урожаи) невольно возбуждало въ умѣ мысль о супружескомъ союзѣ отца Неба съ матерью Землею“ (Афанасьевъ). Черты небснаго брака повторялись въ бракѣ человѣческомъ: „Мысль о томъ, что браки, совершающіеся на землѣ, представляютъ подобіе супружескихъ сочетаній божественныхъ существъ, повела къ низведенію небсной брачной обстановки на землю“ (Сумцовъ), и отсюда: „свѣтоносное и громоносное свойства молодыхъ“, „расположеніе къ красному цвѣту“, „молодые оказываютъ благотворное вліяніе на растительность“, „исключительное уваженіе къ невѣстѣ“ и т. п., — но, во-первыхъ, были слишкомъ близки простыя реальныя отношенія, чтобы дать эти представленія, а во-вторыхъ, внѣ свадебной пѣсни наша поэзія не сохранила ни малѣйшаго намека на „небсныя браки“, — такъ что гораздо проще въ символахъ и гиперболахъ свадебной пѣсни видѣть не мифъ, а свободную игру поэтической фантазіи.

Такимъ образомъ въ свадебной пѣснѣ и обрядѣ сбереглись воспоминанія о далекихъ бытовыхъ формахъ, экзогаміи и умычкѣ, куплѣ и т. п., — но при всемъ томъ мы не находимъ здѣсь, какъ и въ другихъ пѣсняхъ обряда, никакого слѣда преданій о тѣхъ божествахъ, которыя названы въ лѣтописи и въ древнихъ по-

ученіяхъ противъ язычества: ничего похожаго на Перуна, Хорса, Дажьбога, Велеса; русская древность не сохранила никакой „миѳологіи“ въ сопровожденіи эпоса... Взамѣнъ сохранилась обширная миѳологія домашняго культа. Вслѣдствіе разрозненности племенъ и самыхъ родовыхъ группъ эта миѳологія дробилась на варианты, имѣвшіе, однако, извѣстное типическое единство по единству основнаго племеннаго характера и условій быта...

Этотъ матеріалъ миѳическихъ представленій и бытовыхъ формъ сталъ содержаніемъ народно-поэтическаго творчества. Съ прежней точки зрѣнія, когда народная поэзія представлялась какъ бы произвольнымъ выраженіемъ цѣлаго народа, гдѣ не было мѣста личному изобрѣтенію и чувству, и противопоставлялась поэзіи искусственной, какъ исключительно личной, оцѣнка этого творчества давала поводъ къ нѣкоторому недоумѣнію. Если нельзя предположить вполне одинаго первобытнаго народа, которому могло бы быть приписано созданіе народной поэзіи; если, напротивъ, въ старѣйшія, доступныя исторіи, времена мы имѣемъ дѣло уже съ разрозненнымъ общинно-родовымъ бытомъ,—трудно предположить единство творчества. Если затѣмъ народная пѣсня представляетъ намъ поэзію образовъ и выраженій, нерѣдко высокой красоты, трудно предположить, чтобы эта поэзія была обыкновенной рѣчью,—напротивъ, естественно предположеніе, что и въ этой области, какъ и въ позднѣйшей искусственной поэзіи, дѣйствовалъ также личный поэтъ, особливо одаренный, владѣвшій фантазіей и богатствомъ языка, и только позднѣе его пѣсня въ силу своихъ достоинствъ обобщалась, видоизмѣнялась и тогда уже становилась „народной“. Но условія ея установленія были дѣйствительно иныя: если у личнаго поэта позднѣйшихъ временъ всегда болѣе или менѣе ярко высказывается его индивидуальность, создаваемая единичными данными его воспитанія и обстановки, если эта индивидуальность нерѣдко становится въ противорѣчіе съ его общественной средой, то здѣсь поэтъ бывалъ именно типическимъ представителемъ своей среды, развивался въ ея условіяхъ, высказывалъ только ея содержаніе. Народная поэзія можетъ быть отраженіемъ только установившагося быта практическаго и нравственнаго; только здѣсь является возможность ея распространенія и утвержденія въ массѣ: поэтому народная поэзія падаетъ съ измѣненіемъ условій быта (такъ древнія формы ея пали у народовъ западно-европейскихъ и частью западно-славянскихъ, такъ начинается паденіе нашей на-

родной поэзіи). Въ этой связи народнаго поэта съ его средой основную важность имѣло одно условіе живой своеобразности и всеобщности народной поэзіи—языкъ. Предполагаемый единичный поэтъ, начинатель пѣсни, становившейся потомъ народною, своимъ орудіемъ имѣлъ языкъ въ той стадіи развитія, когда его образность сохраняла всю свѣжесть, — подобная образность не исчезла еще и изъ обыкновенной рѣчи. Предполагаемый единичный поэтъ былъ членомъ рода; его поэзія служила родовому культу, сопровождала родовой обрядъ, празднество и т. п., была близка всей родовой группѣ, говорила привычнымъ для нея языкомъ: она должна была отражать общее міровоззрѣніе, для котораго находила художественную форму.

Первое возникновеніе поэзіи представляетъ столь же трудный вопросъ, какъ возникновеніе самаго языка и мѣла; въ сущности это можетъ быть одинъ и тотъ же вопросъ. Только съ новѣйшими успѣхами антропологіи, сравнительнаго языкознанія, онъ можетъ быть если пока не рѣшенъ, то поставленъ съ большимъ количествомъ данныхъ. По крайней мѣрѣ въ послѣднее время гораздо болѣе изучены древнѣйшія, доступныя наблюденію стадіи въ развитіи языка и поэзіи, и если исходный пунктъ все еще остается неясенъ, то многія явленія уже находятъ свое истолкованіе.

А. Н. Веселовскій (въ одномъ изъ своихъ чтеній въ Неофилологическомъ Обществѣ, 1896) такъ ставилъ вопросъ о характерѣ древнѣйшей поэзіи и о выдѣленіи изъ нея эпоса, лирики и драмы. Судя по тому, что мы знаемъ о поэзіи древнѣйшихъ народовъ и современныхъ дикарей,—говорилъ онъ,—древнѣйшая поэзія представляла смѣшеніе слова, мимики, пляски и музыки. Въ своей первичной формѣ она состояла почти изъ однихъ восклицаній, междометій и сопровождалась жестами, причемъ главную роль игралъ ритмъ. И человѣческая рѣчь въ началѣ состояла изъ восклицаній, сопровождаемыхъ жестами. Какъ междометія являются теперь остаткомъ первичнаго языка, такъ остаткомъ первичной поэзіи являются припѣвы народныхъ пѣсенъ, не имѣющіе обыкновенно никакого смысла. Мало-по-малу содержаніе пѣсенъ обогащалось смысломъ, и поэзія становилась содержательною. Древнѣйшая поэзія не преслѣдовала цѣлей эстетическихъ и была или просто игрою, или же преслѣдовала цѣли практическія, будучи тѣсно связана съ обрядомъ. Она исполнялась всегда хоромъ, который сталъ позднѣе дѣлиться на двѣ партіи; тогда явилось пѣніе антифонное, діалогическое, явился запѣвало. Содержаніе пѣсни въ то же время изображалось тѣлодвиженіями,

а самая пѣсня была лирико-эпическая. Такимъ образомъ, тутъ были смѣшаны зачатки эпоса, лирики, драмы, музыки и балета. Затѣмъ началось разложене этого синкретизма искусствъ и выдѣленіе особей.

Пѣсня пѣлась одними, а мимировалась другими; затѣмъ пѣсня пѣлась одними, а рассказывалась другимъ, или совершалось драматическое дѣйствіе безъ словъ, а кто-нибудь рассказывалъ содержаніе. Далѣе, вмѣсто двухъ партій хора выступили два пѣвца, состязавшіеся между собою. Одинъ пѣлъ одну пѣсню, другой другую. Потомъ обѣ пѣсни могли сливаться въ одну. Кромѣ того, одинъ пѣвецъ начиналъ, другой отвѣчалъ ему новымъ куплетомъ. Первый, напримѣръ, задавалъ загадку, второй отвѣчалъ и задавалъ свою и т. д. Такимъ образомъ антифонизмъ хоровой смѣнился личнымъ, а затѣмъ эта пѣсня лирико-эпическая, образовавшаяся изъ вопросовъ и отвѣтовъ, поется подъ-рядъ уже однимъ лицомъ и это одно лицо сопровождаетъ ее мимикой и предпосылаетъ ей прозаическій пересказъ ея содержанія (*dire et chanter, singen und sagen*). Такимъ образомъ шло выдѣленіе литературныхъ родовъ, и многія правила поэтики становятся понятными и объяснимыми только благодаря этой гипотезѣ.

Прежде полагали, по ходу развитія греческой литературы, что первою формою поэзіи былъ эпосъ, за нимъ слѣдовала лирика и далѣе, какъ совершеннѣйшая форма, выступила драма. Въ недавнее время Лудвигъ Якобовскій (*Die Anfänge der Poesie. Dresden. 1891*) доказывалъ, что первою формою поэзіи была лирика „голода и любви“, такъ какъ человѣкъ прежде всего думалъ о себѣ; затѣмъ явился эпосъ и наконецъ, драма, когда человѣкъ сталъ вести діалоги съ женою. По мнѣнію г. Веселовскаго, драма съ формальной стороны есть именно переживание древнѣйшей формы смѣшанной поэзіи, за нею слѣдовала пѣсня лирико-эпическая и т. п.

Первыя изслѣдованія художественныхъ приемовъ и самаго содержанія нашей народной поэзіи предприняты были съ сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ Буслаевымъ и Афанасьевымъ, въ смыслѣ ученія Гримма. Древнее слово, создававшееся въ первую пору возникновенія языка, было уже поэтическимъ и мифологическимъ творчествомъ, и отсюда языкъ народной поэзіи и каждое народное представленіе въ пѣснѣ, повѣр'ѣ и т. д. было исполнено мифическаго смысла; сравненіе языка и мифа русской народной поэзіи съ однородными явленіями и другихъ народовъ убѣждало въ исконной древности того, что сохранилось въ современномъ преданіи, и заставляло предполагать въ послѣднемъ не преры-

вавшееся преемство древняго обще-арійскаго наслѣдія. Но эта первая разработка народной поэзіи и поэтики не обошлась безъ излишествъ: міеологическія объясненія были преувеличены, и новыя изысканія установили фактъ, что многое изъ современнаго народно-поэтическаго матеріала было вовсе не первобытно-арійскимъ, а позднѣйшимъ, заимствованнымъ извнѣ, средневѣковымъ и христіанскимъ, что въ стилѣ были не только міеическія внушенія, но свободная дѣятельность фантазіи въ символѣ, уподобленіи и т. д.

Настоящимъ образомъ эти два направленія донинѣ не опредѣлены и не уравновѣшены; прежняя точка зрѣнія, хотя съ болѣе осторожными приѣмами, имѣла сторонника въ изслѣдователѣ, которому принадлежатъ замѣчательныя изысканія въ народной поэтикѣ. Это былъ А. А. Потебня, почти единственный у насъ представитель философскаго языковѣданія; его великимъ, хотя не безусловнымъ, авторитетомъ былъ Вильгельмъ Гумбольдтъ, на знаменитое твореніе котораго ¹⁾ онъ постоянно указывалъ. Въ своей автобіографіи ²⁾ онъ говорилъ, что главнымъ интересомъ его были вопросы языковѣданія въ смыслѣ Гумбольдта. Языкъ есть нѣчто, постоянно, въ каждое мгновеніе исчезающее; это не есть неподвижное произведеніе, а именно дѣятельность, непрерывный процессъ; это—вѣчно повторяющееся усиліе сдѣлать членораздѣльный звукъ выраженіемъ мысли, но вмѣстѣ съ тѣмъ отъ языка въ смыслѣ рѣчи, каждый разъ нами произносимой, надо отличать языкъ, какъ массу произведеній этой рѣчи, — во всемъ своемъ объемѣ языкъ заключаетъ въ себѣ все измѣненное имъ въ звуки, всѣ стихіи, уже получившія форму; въ немъ образуется запасъ словъ и система правилъ, посредствомъ которыхъ онъ въ теченіе тысячелѣтій становится самостоятельною силою. Отношеніе слова къ мысли состоитъ въ томъ, что языкъ есть органъ, образующій мысль: понятіе образуется только посредствомъ слова, а безъ понятія невозможно истинное мышленіе. Но въ дѣйствительности „языкъ развивается только въ обществѣ, и притомъ не только потому, что человѣкъ есть всегда часть цѣлаго, къ которому принадлежитъ, именно своего племени, народа, человѣчества, не только вслѣдствіе необходимости взаимнаго пониманія, какъ условія возможности общественныхъ пред-

¹⁾ „Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts“ 1836, собственно введеніе къ изслѣдованію объ языкѣ Кави на островѣ Явѣ; 6-й томъ въ *Gesammelte Werke*, 1848; новое изданіе Потта, 1880; русскій переводъ былъ сдѣланъ Виларскимъ. Спб. 1859.

²⁾ Исторія русской этнографіи, т. III, стр. 420 и далѣе.

пріятій, но и потому, что человекъ понимаетъ самого себя, только испытавши на другихъ людяхъ понятность своихъ словъ". „Если со стороны противоположности рѣчи и пониманія языкъ является посредникомъ между людьми и содѣйствуетъ достиженію истины въ чисто субъективномъ кругу человѣческой мысли, то съ другой стороны онъ служитъ среднимъ звеномъ между міромъ познаваемыхъ предметовъ и познающимъ лицомъ, и въ этомъ смыслѣ совмѣщаетъ въ себѣ объективность и субъективность". „Что касается до субъективности языка по отношенію къ познаваемому, то она еще болѣе очевидна, и эмпирически доказывается тѣмъ, что содержаніе слова (напр., дерево) во всякомъ случаѣ не равняется даже самому бѣдному понятію о предметѣ, и тѣмъ болѣе неисчерпаемому множеству свойствъ самого предмета. Объясненіе въ слѣдующемъ. Слово образуется изъ субъективнаго воспріятія и есть отпечатокъ не самого предмета, а его отраженія въ душѣ". „Между строевіемъ языка и успѣхами всѣхъ другихъ родовъ умственной дѣятельности есть неоспоримая связь... Извѣстныя направленія духа и извѣстная сила его стремленій немислимы до появленія языковъ того, а не другого устройства... и въ этомъ смыслѣ будетъ совершенно справедливо, что созданіе народовъ (языкъ) должно предшествовать созданіямъ недѣлимыхъ, хотя въ свою очередь несомнѣнно, что дѣятельность тѣхъ и другихъ одновременно сливается въ этихъ созданіяхъ". „Въ утвержденіе, что языкъ есть созданіе народовъ, которые слѣдуетъ представлять себѣ духовными единицами, есть два члена, взаимное отношеніе конихъ должно быть опредѣлено, именно духовныя особенности народовъ и языкъ. Съ одной стороны, разнообразіе строя языковъ представляется зависимымъ отъ особенностей народнаго духа и должно объясняться ими, такъ что языкъ будетъ хотя и народнымъ, но все же человѣческимъ произведеніемъ. Но съ другой стороны языкъ зарождается въ такой глубинѣ человѣчества, что его нельзя считать собственнымъ созданіемъ народовъ. Въ немъ есть явственная для насъ, хотя въ сущности своей необъяснимая, самодѣятельность, и съ этой точки зрѣнія онъ не есть произведеніе дѣятельности духа, а—непроизвольная его эманация, не дѣло народовъ, а даръ имъ. Они употребляютъ языкъ, сами не зная, какъ его образовали".

Эти положенія Гумбольдта Потебня излагалъ въ одной изъ самыхъ первыхъ своихъ работъ ¹⁾; но и тогда онъ умѣлъ относиться къ авторитету великаго ученаго съ большою независи-

¹⁾ „Мысль и языкъ". Спб. 1862 (изъ „Журнала мин. просв.").

мостью и, не давая преобладающего значенія метафизикѣ, ставилъ вопросъ въ границы, доступныя болѣе точному изслѣдованію. „Гумбольдтъ не находитъ ничего равнаго языку,—говоритъ онъ:—не отвергая этого безусловно, мы однако смѣло можемъ повторить признаваемую многими мысль, что аналогія поэтическаго народнаго творчества съ созданіемъ языка во многихъ случаяхъ поразительна. Если при дѣйствительномъ существованіи такого соотвѣтствія возможно изслѣдовать не только ходъ развитія, но и самое зарожденіе мѣла и народно-поэтическаго произведенія, не вдаваясь въ рѣшеніе метафизическихъ задачъ, то должно быть возможно и не-метафизическое изслѣдованіе начала языка. Уже по этому одному можетъ казаться, что область метафизики не заключаетъ въ себѣ нашего вопроса, а начинается тамъ, гдѣ онъ оканчивается, и что въ вопросахъ о языкѣ прибѣгать къ метафизикѣ—слишкомъ рано. При томъ, хотя мы не можемъ представить себѣ народа безъ языка, и хотя поэтому, рассматривая языкъ какъ произведеніе народа, можемъ принять и самостоятельность языка, и его высшее единство съ духомъ; но жизнь недѣлимаго представляетъ много фактовъ, заставляющихъ усомниться и въ этой самостоятельности, и въ этомъ единствѣ“... „Область языка далеко не совпадаетъ съ областью мысли. Въ срединѣ человѣческаго развитія мысль можетъ быть связана со словомъ, но въ началѣ она, повидимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидаетъ его, какъ неудовлетворяющее ея требованіямъ и какъ бы потому, что не можетъ вполне отрѣшиться отъ чувственности, ищетъ вѣншей опоры только въ произвольномъ знакѣ“. „Языкъ не можетъ быть тождественъ съ духомъ народнымъ; какъ въ жизни лица, такъ и въ жизни народа должны быть явленія, предшествующія языку и слѣдующія за нимъ. Взявши во вниманіе, что языкъ есть переходъ отъ безсознательности къ сознанию, можно сравнить отношеніе данной системы словъ и грамматическихъ формъ къ духу народному съ отношеніемъ къ нему извѣстной философской системы. Какъ та, такъ и другая, завершая одинъ періодъ развитія и подчиняя его сознанию, служить началомъ и основаніемъ другому высшему“... „Вопросъ о происхожденіи языка становится вопросомъ о вліяніяхъ душевной жизни, предшествующихъ языку, о законахъ его образованія и развитія, о вліяніи его на послѣдующую душевную дѣятельность, т.-е. вопросомъ чисто психологическимъ. Самъ Гумбольдтъ не могъ оторваться отъ метафизической точки зрѣнія, но онъ именно положилъ основаніе перенесенію вопроса на психологическую почву своими опре-

дѣленіями языка, какъ дѣятельности, работы духа, какъ органа мысли "... „Если мы будемъ въ состояніи опредѣлить законы прогресса языка, узнать, какъ онъ измѣняется съ теченіемъ вѣковъ подъ вліяніемъ дѣйствующей на него мысли, какъ постепенно растетъ перемѣнный агентъ въ прогрессѣ языка, т.-е. найдемъ постоянныя отношенія, въ какія становится уже сформированная масса языка къ новымъ актамъ творчества, то и въ этихъ послѣднихъ, взятыхъ въ томъ видѣ, въ какомъ ихъ застаемъ въ насъ самихъ, сможемъ найти черты, общія намъ съ первыми говорившими людьми. Такимъ образомъ въ исторіи языка, въ психологическихъ наблюденіяхъ современныхъ намъ процессовъ рѣчи—ключъ къ тому, какъ совершались эти процессы въ началѣ жизни человѣчества“.

Въ этомъ смыслѣ Потебня совершалъ потомъ свои изслѣдованія объ языкѣ и народной поэзіи. Такъ какъ языкъ былъ органомъ мысли и явленіемъ психологическимъ, его исторія, очевидно, должна была находиться въ неразрывной связи съ тою работою первобытной мысли, которая выразилась нѣкогда созданіемъ мифа и продолжалась его видоизмѣненіями въ дальнѣйшіе періоды народной жизни. Такимъ образомъ, по общимъ основаніямъ взгляды Потебни примыкали къ мифологической школѣ Буслаева и Афанасьева и даже еще раньше ко взглядамъ Костомарова (въ его книгѣ объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи), у котораго впервые предпринято было объясненіе народной поэзіи съ точки зрѣнія символизма: у Буслаева онъ находилъ приѣмъ объясненія мифа въ связи съ исторіей слова; у Афанасьева сдѣлана была масса мифологическихъ сближеній, хотя нѣрѣдко произвольныхъ,—но Потебня провелъ свое изслѣдованіе внутренняго поэтического процесса гораздо глубже. Онъ остался вѣренъ своему взгляду и позднѣе, когда сталъ особенно развиваться приѣмъ сравнительно-историческаго изслѣдованія. По словамъ одного изъ ближайшихъ его учениковъ, Потебня не особенно сочувствовалъ господствующей теперь теоріи заимствованія, объясняющей многія народныя преданія и вѣрованія изъ книжныхъ источниковъ христіанскаго времени, и болѣе придерживался старой мифологической теоріи, представителями которой у насъ были Афанасьевъ и Буслаевъ. Онъ говорилъ:—слишкомъ рано похоронили у насъ славянскую мифологію; сравненіе греческихъ именъ съ санскритскими показываетъ, что уже до раздѣленія грековъ и индійцевъ была развитая религія; странно было бы, если бы славяне ея не имѣли. Не гомериды создали греческую мифологію; напротивъ, у нихъ видно уже скептическое

и ироническое отношеніе къ богамъ. Умалчиваніе нашихъ дѣтописцевъ или упоминаніе только вскользь о народныхъ вѣрованіяхъ объясняется презрительнымъ отношеніемъ монаховъ къ этимъ вѣрованіямъ. По отсутствію данныхъ нельзя дѣлать выводъ только отрицательный: еслибы не сохранилось „Слово о полку Игоревѣ“, пожалуй, кто-нибудь сдѣлалъ бы выводъ, что у славянъ не было народной поэзіи ¹⁾).

Въ своихъ комментаріяхъ къ народной пѣснѣ Потебня всего меньше останавливался на томъ, что въ народной поэзіи могло быть чуждаго, заимствованнаго, и напротивъ, старался объяснить въ ней то, что было въ ней исконнымъ и органическимъ, принадлежащимъ самому существу народнаго творчества. Поэтому главное вниманіе его обращено на объясненіе самаго приѣма народной мысли, который для первобытной эпохи состоялъ именно въ образѣ и порождать мифъ и символъ. Съ великимъ знаніемъ народной рѣчи древней и новой онъ соединялъ знаніе народной поэзіи русской, славянской и европейской; въ его памяти всегда были налицо поэтические мотивы, обороты народной рѣчи; онъ слѣдилъ въ пѣснѣ за каждымъ поэтическимъ движеніемъ, объяснял источникъ образа, его дальѣйшее развитіе, сложныя комбинаціи, въ которыхъ этотъ образъ являлся потомъ у народнаго пѣвца; онъ, указывая, какъ извѣстные символы и сравненія выражаютъ реальную черту быта и настроеніе поэта, какъ они развиваются въ цѣлую картину и какъ нерѣдко, становясь постояннымъ приѣмомъ, забываются въ своемъ первоначальномъ значеніи, примѣняются къ другому положенію, такъ что ихъ истинный смыслъ открывается только путемъ сличеній, иногда весьма сложныхъ. Его изслѣдованія поражаютъ богатствомъ народно-поэтическихъ фактовъ и тѣмъ искусствомъ, съ какимъ онъ разбирается въ сложномъ узорѣ пѣсни. Было жаль, что его изслѣдованія, по словамъ самихъ его учениковъ, бывали сухи и иногда тяжелы для пониманія ²⁾), и въ данномъ случаѣ не были сведены въ цѣльную систему. При всей склонности къ мифологическимъ объясненіямъ онъ былъ осторожнѣе предшественниковъ, указывая ошибки Афанасьева и вычеркивалъ изъ русской мифологіи мнимыя божества (въ родѣ Леля и т. п.).

Между прочимъ Потебня обратилъ вниманіе на вопросъ о принятомъ распредѣленіи пѣсенъ. Въ прежнее время пѣсенные сборники дѣлились на отдѣлы по ихъ содержанію: пѣсни эпиче-

¹⁾ Воспоминанія Б. М. Ляпунова въ „Живой Старинѣ“, 1892, вып. I, стр. 147 и др.

²⁾ Тамъ же, стр. 150.

скія, обрядовыя разнаго рода, бытовыя, любовныя, семейныя, шуточные и т. д. Потебня сравнивалъ языкознаніе съ исторіей поэзіи и утверждалъ, что какъ языкознаніе можетъ распредѣлять слова только по ихъ формѣ, вѣшной и внутренней, такъ и исторія поэзіи должна принять относительно пѣсенъ подобную точку зрѣнія. „Точка зрѣнія исторіи поэзіи такъ же формальна и изслѣдованіе съ нея такъ же необходимо, какъ условія успѣшнаго пользованія поэтическимъ произведеніемъ для цѣлей житейскихъ и научныхъ (историческихъ и др.);—мысль далеко не новая. Въ частности, существенная односторонность всякихъ распредѣленій пѣсенъ по признакамъ не историко-поэтическимъ именно и состоитъ въ томъ, что они болѣе-менѣе игнорируютъ поэтичность этихъ произведеній, рассматривая ихъ какъ содержаніе, какъ лѣтописныя замѣтки и т. п. Будь эти распредѣленія послѣдовательны, они должны бы разрушать цѣльность не только сложныхъ поэтическихъ произведеній, но и входящихъ въ нихъ относительно недѣлимыхъ образовъ; они свелись бы на составленіе мозаики изъ кусочковъ, вырванныхъ изъ своей естественной связи и искусственно обдѣланныхъ. Народная пѣсня есть матеріалъ для языкознанія, этнографіи, исторіи, психологіи и пр. Но этимъ наукамъ нужна вовсе не пѣсня, а на примѣръ, языкознанію—звукъ, слово, форма, оборотъ и т. п. Съ точки зрѣнія исторіи въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова приходится изъ извѣстныхъ пѣсенныхъ семействъ брать лишь тѣ пѣсни, въ коихъ упоминаются такіа-то лица и обстоятельства, иногда вовсе несущественныя для самой пѣсни, или же... отклоняться отъ принципа, вдаваясь въ историко-литературныя изслѣдованія. Подобнымъ образомъ миеологъ изъ обширнаго круга пѣсенъ возьметъ лишь немного. Для языкознанія и этнографіи можетъ быть полезно только распредѣленіе пѣсенъ по говорамъ и мѣстностямъ... Но будучи принято за главное, этнографическое основаніе разъединяетъ семейства пѣсенъ... Историко-литературный принципъ, какъ въ языкознаніи этимологическій, влечетъ къ выходу за предѣлы говора, нарѣчія, языка, такъ что чѣмъ шире этнографическія границы сборника, тѣмъ совершеннѣе можетъ быть въ немъ генетическая группировка пѣсенъ“¹⁾.

Если въ распредѣленіяхъ, чуждыхъ самому существу пѣсенъ, приходится выдѣлять изъ пѣсенъ различные ихъ элементы, то классификація по внутреннему основанію должна брать пѣсни въ ихъ цѣломъ. Пѣсня, особливо лирическая, безъ напѣва теряетъ половину своей жизни и цѣны. „Пѣсня слагается по образцу

¹⁾ Разборъ „Народныхъ пѣсенъ“ Головацкаго, въ XXII отчетѣ объ Уваровскихъ преміяхъ, 1880, стр. 108 и далѣе.

прежней, т.-е. между прочимъ примыкаетъ къ ней своимъ напѣвомъ и стихотворнымъ размѣромъ. Это наиболѣе общія формальныя основанія генетическаго распредѣленія. Установленіе генеалогіи напѣвовъ должно бы идти объ руку съ изслѣдованіемъ генетическихъ отношеній размѣровъ и прочаго. Если это вѣрно, то теперь у насъ объ удовлетворительномъ генетическомъ распредѣленіи пѣсенъ нечего и думать. Для него нѣтъ ни достаточныхъ матеріаловъ, ни нужнаго соединенія знаній въ изслѣдователяхъ. Нельзя винить нашихъ собирателей за то, что у нихъ относительно легкое записыванье словъ неидетъ рядомъ съ записываніемъ напѣвовъ, которое во многихъ случаяхъ одно только и можетъ предохранить отъ неточностей и ошибокъ въ передачѣ размѣра "... „Для того,—продолжаетъ онъ,—чтобы это дѣло могло у насъ пойти впередъ, нужны прежде всего многочисленные собиратели, руководящіеся эстетическими побужденіями; развитіе же образованнаго общества въ этомъ направленіи встрѣчаетъ у насъ не только внутреннія, но и внѣшнія препятствія. Это одинъ изъ множества случаевъ. когда вещи, повидимому столь далекія другъ отъ друга, какъ формальная классификація словесныхъ произведеній и устройство общества, находятся между собою въ связи".

Онъ указываетъ, напримѣръ, что извѣстные разряды пѣсенъ имѣютъ свой постоянный размѣръ, какъ, напримѣръ (въ малорусской поэзіи), колядки и весняки; пѣсни свадебныя обыкновенно распредѣляются по времени, когда поются, но при этомъ однородное раздѣляется, и въ формальномъ и генетическомъ отношеніи онѣ не составляютъ одного типа; многочисленные пѣсни, за которыми не установилось прочнаго обозначенія и которыя блуждаютъ по отдѣламъ „любовныхъ“, „семейныхъ“, „бытовыхъ“, прежде всего должны бы быть распредѣлены по напѣвамъ и размѣрамъ или, за неимѣніемъ первыхъ, по крайней мѣрѣ по размѣрамъ (самыя пѣсни обрядовыя, выдѣленныя въ особые отдѣлы, могутъ быть въ то же время любовными, семейными, бытовыми и т. д.). Такой работы еще не было сдѣлано надъ пѣснями, но Потебня думалъ, что „этимъ опредѣлились бы самыя широкіе потоки пѣсеннаго преданія и облегчилось бы отыскиваніе развѣтвленій и сліяній болѣе узкихъ теченій, образующихъ генетическую сѣть. Внѣшнія основанія распредѣленія поведутъ къ болѣе внутреннимъ основаніямъ подраздѣленій, именно — по сродству поэтическихъ образовъ“. Въ цѣломъ рядѣ сопоставленій онъ даетъ примѣры того, какъ въ предѣлахъ одного размѣра дѣйствительно связывается цѣлая філіалія пѣсенныхъ сюжетовъ. Впослѣдствіи, въ „Объясненіяхъ малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ“,

онъ возвращается къ вопросу о значеніи размѣра и напѣва и даетъ множество комментариевъ къ пѣсеннымъ сюжетамъ, затрогивая народный мнѣ, символъ и вообще народную поэтику. По поводу приведенныхъ имъ примѣровъ онъ замѣчалъ, что „на основаніи размѣра возможны сближенія, не безполезныя въ историко-литературномъ отношеніи, вовсе не дѣлаемыя издателями русскихъ народныхъ пѣсенъ, или дѣлаемыя только случайно, на основаніи содержанія. Если это такъ, то морфологическая точка не останется безъ вліянія на пониманіе и тѣхъ отдѣльныхъ чертъ пѣсни, которыми интересуются какъ свидѣтельствами историческими въ тѣсномъ смыслѣ слова“.

Понятна важность изысканій, предпринятыхъ въ этомъ направленіи Потебнею, въ послѣднее время Веселовскимъ, а также изслѣдователями народнаго стиха и музыки. Они могли бы ввести насъ въ самый процессъ народнаго творчества, гдѣ въ связи съ сюжетомъ появлялся данный ритмъ; гдѣ то или другое настроеніе находило себѣ извѣстные образы и символы, гдѣ сказывалось народное повѣрье, и въ цѣломъ создавалось произведеніе, близкое народу по всему существу содержанія и формы; гдѣ впоследствии поэтическія темы встрѣчались, переплетались одна съ другою, развивались вновь, произведя множество варіацій, которыя могли сдѣлаться наконецъ самостоятельными пѣснями; данные символы, которые при своемъ первомъ появленіи вызывались какъ бы необходимою, составляя народный взглядъ на вещи, привычную работу народной фантазіи, превращались съ теченіемъ времени въ освященную преданіемъ формулу. Что во всемъ этомъ бывали остатки глубокой старины, подтверждается, во-первыхъ, архаическимъ свойствомъ самихъ понятій, во-вторыхъ, повтореніемъ этихъ формулъ въ поэзіи сродныхъ племенъ, гдѣ невозможно было бы предположить ни заимствованія, ни случайнаго сходства; эта старина продолжалась и въ новыхъ пѣсенныхъ образованіяхъ, примѣняясь къ новымъ варіантамъ содержанія, къ новымъ явленіямъ реальной жизни. Но въ судьбѣ народной пѣсни дѣйствовали и другія условія, кромѣ данныхъ ея естественнаго саморазвитія. Это были условія, приносимыя исторіей.

Упомянутыя возраженія противъ теоріи заимствованій касались, вѣроятно, только отдѣльныхъ пунктовъ вопроса. Факты чужихъ воздѣйствій и заимствованія не подлежатъ сомнѣнію, и можно было требовать только болѣе точнаго опредѣленія двухъ

элементовъ въ составѣ пѣсни: продолжающагося преданія съ его поэтическими приѣмами, и наплыва новыхъ темъ, исходившихъ какъ изъ дальнѣйшаго развитія исторической жизни, такъ и изъ чуженародныхъ и иногда книжныхъ источниковъ. Остативаясь на существѣ народной поэтики, па мифъ и символъ, которыми сопровождалось въ пѣснѣ изображение дѣйствительности, Потебня наблюдалъ удивительную живучесть этихъ приѣмовъ народной поэзіи, и это явленіе убѣждало его въ неизмѣнности народно-поэтического саморазвитія. Съ другой стороны, однако, народная пѣсня въ теченіе исторической жизни должна была испытать многоразличныя измѣненія подъ внутренними и внѣшними вліяніями. Еще въ ту эпоху, когда можно предполагать обособленную жизнь племень, совершались измѣненія родового, общиннаго и религіознаго быта, и очевидно, что рядомъ съ этимъ должны были произойти измѣненія въ самомъ народномъ мировоззрѣніи, въ миическихъ и поэтическихъ представленіяхъ. Въ обрядовой пѣснѣ изслѣдователи находятъ возможнымъ видѣть слѣды того бытового состоянія, которое называютъ матриархатомъ,—это даетъ понятіе о той хронологически неопредѣлимой, но во всякомъ случаѣ очень далекой древности, къ которой долженъ восходить старѣйшій исходный пунктъ народной поэзіи: поэтический мотивъ этой эпохи въ позднѣйшее время переставалъ быть живымъ отраженіемъ дѣйствительности и затѣмъ исчезалъ или получалъ новое примѣненіе. Тѣмъ больше внутреннихъ переворотовъ совершилось впоследствии, когда исторія вывела народную жизнь изъ ея обособленности ¹⁾, и когда основаніе государства народными силами и особенно введеніе христіанства наполнили народную жизнь новыми фактами и понятіями, которые должны были отразиться новыми поэтическими настроеніями. Между той эпохой, которой можетъ принадлежать основное образованіе народно-поэтической традиціи, и современнымъ состояніемъ народной пѣсни лежитъ громадныи историческій періодъ, который долженъ былъ наложить на народное творчество свою печать. Таковъ былъ, напр., упомянутый періодъ двоевѣрія той амальгамы христіанства и язычества, которая начала образовываться съ первыхъ вѣковъ исторической жизни, всего ярче господствовала въ наши средніе вѣка и въ темной народной массѣ сохраняется донинѣ: съ нимъ явилась новая мифологія и символика. Выѣстъ съ тѣмъ произошелъ наплывъ новыхъ эпическихкихъ мотивовъ, и этому надо приписать то, что отъ древняго

¹⁾ Если таковая когда-нибудь существовала.

эпоса, даже отъ старыхъ пѣсенъ Бояна, упомянутыхъ еще въ концѣ XII вѣка, уцѣлѣли только самые скудные остатки. Какъ великъ былъ переворотъ въ народно-поэтическомъ преданіи, можно судить, напр., изъ того, что въ южной Руси XVI вѣка существовали сказанія объ Ильѣ Муромцѣ, которыя къ нашему времени совершенно забыты. Вообще поразителенъ фактъ, что именно въ южной Руси, за немногими отрывками, исчезъ изъ народной памяти тотъ „киевскій періодъ“, которому принадлежитъ древнѣйшее эническое богатырство. Позднѣйшій южно-русскій эпосъ, свидѣтельствующій о богатствѣ живого поэтическаго настроенія, не сохранилъ связи съ древнимъ преданіемъ и, какъ объясняетъ новѣйшее изслѣдованіе, возникалъ уже подъ извѣстными книжными вліяніями.

Когда собственно началось вліяніе христіанства въ области русскихъ племенъ и формація двоевѣрія, остается вопросомъ темнымъ. Ко времени перевода священнаго писанія на славянскій языкъ христіанская терминологія была уже до извѣстной степени подготовлена, такъ что надо предполагать извѣстную степень знакомства съ христіанствомъ до Кирилла и Меѳодія. вмѣстѣ съ тѣмъ остается неяснымъ, когда произошли первыя воздѣйствія христіанскаго календаря въ южномъ славянствѣ, которыя потомъ могли отразиться и на русскомъ народномъ календарѣ. Приуроченіе христіанскихъ праздниковъ къ старымъ праздникамъ языческимъ едва ли подлежитъ сомнѣнію: оно совершалось въ Греціи, на западѣ и нашло мѣсто въ славянскомъ христіанствѣ. Мало свѣдѣній, или есть только намеки о томъ, какъ происходила эта христіанская переработка бытового обычая: по извѣстіямъ позднѣйшимъ видно, что языческое и христіанское въ народныхъ понятіяхъ и обычаяхъ стояли часто рядомъ, привычка къ старому и слабо сознаваемое новое мирились на среднемъ терминѣ наивно и полусознательно; но любопытно, что уже въ самыхъ древнихъ обличеніяхъ „идолослуженія“ осуждаются народные языческіе праздники подъ названіями чуждаго происхожденія, заимствованными при условіяхъ христіанскихъ вліяній. Таковы упомянутыя въ древнихъ обличеніяхъ и въ начальной лѣтописи коляда и русалы: первое несомнѣнно восходитъ къ греко-римскимъ календамъ, второе—къ розаліямъ, русаліямъ; подобнымъ образомъ, къ какой бы языческой основѣ ни примыкалъ праздникъ Ивана Купалы, онъ носитъ имя популярно-христіанскаго происхожденія. Можно думать, что при этомъ, особливо въ первое время, произошло только вѣднѣе переименованіе и, напримѣръ, въ купальскихъ обрядахъ не было ни-

чего собственно христіанскаго; но съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію широкое распространеніе христіанско-легендарнаго міеа и народно-христіанскаго обычая, которые не могли не отразиться на самомъ существѣ народнаго міровоззрѣнія. Фактъ чрезвычайнаго распространенія паломничества въ первые вѣка нашего христіанства указываетъ между прочимъ тотъ широкій путь, какимъ шло усвоеніе и развитіе популярно-христіанскаго міеа, и въ этомъ послѣднемъ могла быть причина исчезновенія всѣхъ сказаній о древнихъ языческихъ божествахъ, — отъ нихъ остались только имена, хотя мало вѣроятно, чтобы они не имѣли какой-нибудь міеической исторіи. Народное преданіе сохранило повѣрья о тѣхъ міеическихъ существахъ, которыя принадлежали родовому культу, сохранило приемы стараго вѣдовства, необходимые въ бытовомъ обиходѣ, но не сохранило преданій древней космогоніи, которая, вѣроятно, все-таки существовала.

Взамѣнъ явилась космогонія легендарно-христіанская; смѣсь отрывочныхъ свѣдѣній изъ Библии, а главное, апокрифическая легенда, приходившая съ византійско-славянскаго юга, частію книжнымъ путемъ, частію черезъ богомольцевъ и калекъ переходящихъ; присоединялись и дуалистическія сказанія богомильства. Статья о „книгахъ истинныхъ и ложныхъ“ упоминаетъ цѣлую литературу ложныхъ книгъ, и черезъ усерднаго книжника апокрифическая легенда переходила въ народную массу. Отсюда создалось широко распространенное устное преданіе, которое наконецъ получило поэтическую обработку и составило цѣлую область новѣйшаго народно-поэтическаго творчества: таковы были духовные стихи, въ особенности знаменитый стихъ о Голубиной Книгѣ. Этотъ послѣдній былъ своего рода космогоніей, въ основѣ которой лежала чисто христіанская легенда: „заимствование“ было очевидно.

Чѣмъ дальше идутъ разысканія въ области легенды, тѣмъ все больше выясняется фактъ широкаго воздѣйствія этого популярно-христіанскаго міеа на народное міровоззрѣніе и поэзію. Взамѣнъ и рядомъ съ княжеско-богатырскимъ преданіемъ въ эпическую пѣсню вступали черты содержанія, навѣяанныя книжною повѣстью: таковы были отголоски сказаній о Соломонѣ; въ „старшемъ богатырѣ“ Святогорѣ отозвалась византійская легенда. Новые сравнительно-историческія данныя раскрываютъ связь эпоса не столько съ предполагаемымъ древнимъ преданіемъ, сколько съ тѣми переходными поэтическими сюжетами, которые существовали въ средневѣковой литературѣ, какъ международное до-

стояніе, отличаясь въ отдѣльныхъ редакціяхъ только различнымъ мѣстнымъ колоритомъ...

Такимъ образомъ народная поэзія должна быть разсматриваема съ различныхъ сторонъ ея содержанія и формы. Въ своемъ настоящемъ объемѣ, съ присоединеніемъ немногихъ памятниковъ, какіе сохранились отъ ея прошедшаго, она представляетъ явленіе весьма сложное. Современный составъ ея есть то, что уцѣлѣло въ народной памяти изъ различныхъ эпохъ исторической жизни; онъ очевидно опредѣлялся историческо-бытовыми вліяніями, но эти вліянія бывали такъ разнообразны и часто неувидимы, что сохраненіе или забвеніе извѣстныхъ мотивовъ могутъ казаться намъ какъ будто произвольными. Несомнѣнно одно, что надъ народной поэзіей, которая искони, не закрѣпленная письменностью, подлежала случайностямъ личной памяти, прошла многовѣковая исторія народной жизни съ крупными событіями, затрогивавшими народную жизнь въ самомъ существѣ, и съ безконечнымъ множествомъ частныхъ событій, дѣйствовавшихъ на доли и единицы народнаго цѣлаго. Крупныя событія различнымъ образомъ видоизмѣняли и прерывали народное преданіе, или давали народной мысли, чувству, фантазіи новое направленіе. Таковы были введеніе христіанства, татарское нашествіе, политическое дѣленіе русскаго сѣверо-востока отъ юга и сѣверо-запада, образованіе Московскаго царства, громадное расширеніе территоріи велико-русскаго племени и т. д. Въ частности, отдѣльныя передвиженія народа, характеръ промысла, мѣста жительства, напр., жизнь въ захолустѣ или въ городскихъ центрахъ и на путяхъ большого движенія, развитіе книжности, сношенія съ иноземцами и т. д., создавали разнообразныя условія для сохраненія, развитія или утраты старыхъ особенностей быта и преданія. Новые періоды историческаго бытія глубоко отражались и на нравственномъ состояніи народа и на его поэзіи: такъ великимъ переворотомъ въ ея судьбѣ было распространеніе христіанства или, точнѣе, установленіе двоевѣрія, которое подорвало старую мифологію и создало новую; политическія событія уничтожили память о старыхъ князьяхъ и создали представленіе о царской власти, обставленное своими легендами, и т. д.

Древнѣйшая стадія, о которой лишь намекаютъ извѣстія лѣтописи, остается неизвѣстна. Мы не знаемъ подлинныхъ сказаній о божествахъ, о происхожденіи народа, сказаній героическихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ даже въ современной обрядовой пѣснѣ

уцѣляли архаическія черты, которыя указываютъ на далекое первобытное состояніе семейно-родового быта. Язычество смѣнилось христіанскимъ благочестіемъ и легендой, но въ заговорахъ и заклинаніяхъ сохранился первобытный взглядъ на возможность управлять силами природы и сверхъестественнымъ образомъ устроить судьбу человѣка — остатокъ древней религіи, гдѣ исполнителемъ обряда, приносившимъ заклятіе, былъ не только мужчина, но и женщина, вѣдунъ и вѣдьма, люди вѣдущіе, которымъ послѣдующее благочестіе приписало связь съ бѣсами и „нечистую“ силу. Заговоръ получилъ христіанскую окраску, обставленъ священными именами; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ вещь все-таки противная христіанскому ученію, былъ осуждаемъ обличителями какъ „ложная молитва“. Древній эпосъ испыталъ въ теченіе вѣковъ такія превратности судьбы, что въ большинствѣ народа въ настоящее время окончательно забытъ; изрѣдка эпическое сказаніе превратилось въ сказку, и богатый запасъ еще свѣжаго эпического воспоминанія только недавно открылся въ уединенномъ, малозвѣстномъ и малодоступномъ краѣ. Историкъ народной поэзіи не объяснили, какъ совершалось это переселеніе древняго преданія (во многихъ частяхъ несомнѣнно кievскаго) на далекой сѣверъ, какъ съ другой стороны еще не согласились въ объясненіи „кievскаго цикла“: если весьма вѣроятно происхожденіе его въ условіяхъ дружиннаго быта и въ дружескомъ или враждебномъ сосѣдствѣ южной Руси съ кочевниками, то остается предметомъ спора образованіе самаго эпоса. Ученые взгляды на этотъ вопросъ расходились въ совершенно противоположныя стороны: однимъ кievское богатырство казалось абсолютно національнымъ развитіемъ древней мифологической темы, а другіе находили возможнымъ считать исторію этихъ національных богатырей прямою копіей восточныхъ сказаній,—недавняя гипотеза г. Всева. Миллера объ иранскомъ элементѣ въ древней былинѣ можетъ казаться очень скромной въ сравненіи съ категорическими рѣшеніями г. Стасова или новѣйшими выводами г. Потанина... Въ „циклѣ новгородскомъ“, герои его, буйный Василій Буслаевичъ и богатый гость Садко, признавались самобытными созданіями эпоса, олицетворявшими историческія особенности великаго Новгорода; но если въ подробностяхъ побоищъ Василя Буслаевича съ „новгородскими мужиками“ несомнѣнно есть историческій колоритъ, то мы съ удивленіемъ узнаемъ отъ новѣйшаго изслѣдователя, что самый типъ новгородскаго богатыря есть только варіація исторіи необузданнаго героя, извѣстнаго средневѣковой Европѣ съ именемъ Роберта Дьявола; исто-

рія гостя Садко опять является въ довольно странномъ освѣщеніи, когда очень близкая параллель для него открылась въ средневѣковомъ французскомъ сказаніи, самый герой котораго называется „Sadoc“. Наконецъ въ былинѣ несомнѣнно присутствіе чисто-книжныхъ, позднихъ элементовъ, хотя они прикрывались старыми и народными именами, какъ, на примѣръ, отраженія сказаній о Соломонѣ. Знаменитѣйшій богатырь русскаго эпоса, которому придавалось даже національно-мистическое значеніе, повидимому утратилъ свое подлинное прозваніе (Моровинъ, Муровецъ и т. п.) и извѣстенъ только съ позднѣйшимъ приуроченіемъ къ городу Мурому и селу Карачарову... До такой степени терялась подлинная эпическая память: смыслъ древняго эпоса открывается только послѣ сложнаго труда критической реставраціи, до сихъ поръ далеко не конченной.

Итакъ старое преданіе можно считать наиболѣе сохранившимся въ обрядовой поэзіи,—но и здѣсь оно покрыто позднѣйшимъ наслоеніемъ, которое также еще нуждается въ опредѣленіи. Съ теченіемъ времени народъ, вѣкогда осуждаемый за „еллипство“ и двоевѣріе, такъ проникся новыми вѣрованіями, что считалъ себя по преимуществу, даже исключительно христіанскимъ: „святая“ Русь, въ противоположность „поганымъ“ татарамъ, латинѣ и другому иновѣрію. Правда, и тогда въ его міровоззрѣніи причудливо переплетались два разные порядка понятій—усиленная обрядность, уже церковная, и многочисленные остатки традиціоннаго суевѣрія, но во всякомъ случаѣ старое преданіе исчезало или получало новую окраску. Въ духовномъ стихѣ создавался новый эпосъ легенды и аскетическаго поученія; бытовые остатки отдаленной старины, очевидно, для самого народа не имѣли уже своего первоначальнаго значенія и становились только поэтическимъ украшеніемъ или символомъ.

Историческая судьба народа принесла новыя поэтическія формаціи. Къ старому эпосу пыталась примкнуть историческая пѣсня, когда Ермакъ ставился рядомъ со „старымъ казакомъ“ Ильей Муромцемъ; но затѣмъ историческая пѣсня выдѣлилась въ свое особое теченіе. Къ старому духовному стиху, а также къ школьнымъ виршамъ, псалмамъ и кантамъ, примкнула духовная пѣсня раскольниковъ. Старая бытовая пѣсня продолжалась въ новыхъ образованіяхъ, напр., въ такъ-называемыхъ низшихъ эпическихъ пѣсняхъ, гдѣ къ прежнимъ мотивамъ присоединялись черты новыхъ нравовъ и самаго выраженія. Сравнительно новому періоду принадлежатъ пѣсни разбойничьи, начало которыхъ относится вѣроятно ко временамъ Московскаго царства, в

которыя потомъ находили себѣ почву въ теченіе всего XVIII-го и частью XIX вѣка. Любопытнымъ эпизодомъ являются весьма распространенныя въ свое время пѣсни знаменитаго Вавьки Каина. Съ XVIII вѣка идутъ пѣсни солдатскія; началомъ ихъ могли быть еще старыя пѣсни служивыхъ военныхъ людей, но онѣ приобрѣли особую складку по самому характеру новой солдатской службы, и т. д.

Наконецъ, современное состояніе пѣсни есть состояніе переходнаго явленія. Въ ней хранится донинѣ много прекрасныхъ остатковъ стараго поэтическаго развитія, но несомнѣнны признаки разложенія. Наша пѣсенная старина съ полнымъ правомъ могла восхищать любителей, считаться доказательствомъ великой поэтической одаренности русскаго народа; тѣ иностранцы, которые занимались изученіемъ русской народной поэзіи (и ихъ отзывы любопытны какъ мнѣнія постороннихъ судей), выносили изъ этого изученія высокое представленіе объ ея художественномъ и нравственномъ достоинствѣ. Назовемъ Рольстона, Рамбо, Вестфала, не говоря о другихъ. Послѣдній, большой знатокъ античной поэзіи и разносторонній ученый, близко зная русскую пѣсню, видѣлъ нѣкоторые ея недостатки, но въ цѣломъ русская народная поэзія производила на него настоящее обаяніе.

„Поразительно громадное большинство русскихъ народныхъ пѣсенъ, какъ свадебныхъ и похоронныхъ, такъ и всякихъ другихъ,—говоритъ Вестфаль,—представляетъ намъ такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинной, нѣжной поэзіи, чисто-поэтическаго мировоззрѣнія, облеченнаго въ высоко-поэтическую форму, что литературная эстетика, принявъ разъ русскую народную пѣсню въ кругъ своихъ сравнительныхъ изслѣдованій, непременно назначить ей безусловно первое мѣсто между народными пѣснями всѣхъ народовъ земного шара. И нѣмецкая народная пѣсня представляетъ намъ много прекраснаго, задушевнаго и глубоко-прочувствованнаго, но какъ узко теченіе этой пѣсни въ сравненіи съ широкимъ потокомъ русской народной лирики, которая не менѣе нѣмецкой поражаетъ наше впечатлѣніе, но зато далеко превосходитъ ее своею несравненною законченностью формы. Развѣ русская народная лирика не создала себѣ собственнаго, опредѣленнаго канона поэтической риторики, который въ результатъ приводитъ насъ къ тѣмъ тропамъ и фигурамъ, которыя выработала себѣ искусственная поэтика и риторика грековъ? Едва ли можно найти въ канонѣ, составленномъ греческими риторами на основаніи ихъ поэтической и риторической литературы, хоть одну фигуру, для которой мы не

могли бы найти многочисленныхъ примѣровъ въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ. Въ этомъ мы видимъ явное доказательство высокаго поэтическаго дарованія русскаго народа. Философія исторіи имѣетъ полное право вывести изъ этого дарованія самыя свѣтлыя заключенія для будущности русской исторіи. Не только русскій крестьянинъ наслаждается своими пѣснями, но и образованный русскій человѣкъ, къ какому бы сословію онъ ни принадлежалъ, ощущаетъ невыразимое, глубокое чувство наслажденія при первыхъ звукахъ или словахъ своей родной національной пѣсни, тогда какъ въ Германіи люди, какъ Арнимъ и Брентано, должны были пробудить искусственнымъ образомъ любовь къ народной пѣснѣ. Русскій народъ, повидимому, съ самаго начала своего существованія во всѣхъ своихъ сословіяхъ выросъ среди магическаго обаянія этихъ народныхъ пѣсенъ. Онѣ носятъ на себѣ несомнѣнную печать первобытной старины, хоть текстъ ихъ въ теченіе временъ подвергся многимъ разнообразнымъ измѣненіямъ. Даже теперь еще пѣвцы и пѣвицы прибавляютъ къ стариннымъ пѣснямъ свои импровизаціи, но вѣроятно весьма значительный циклъ пѣсенъ несомнѣнно принадлежитъ самой глубокой старинѣ, и болѣе подробное изученіе, такъ сказать, филологія русской народной поэзіи навѣрное найдетъ критерій для распознаванія и отдѣленія болѣе древняго текста отъ позднѣйшаго. Лучшее ядро русскихъ свадебныхъ и похоронныхъ пѣсенъ отличается такою древностью, что онѣ стоятъ на одной ступени съ самыми ранними произведеніями древне-арійской народной поэзіи, о которыхъ до насъ дошли извѣстія только благодаря Гомеру“...

Но если такъ богато было наслѣдіе отъ прошлаго, то настоящее давно уже возбуждаетъ недоумѣнія. Съ тридцатыхъ и особливо сороковыхъ годовъ и позже, когда началось первое пристальное собраніе и изученіе народной поэзіи, стали высказываться сожалѣнія, что народъ забываетъ старыя прекрасныя пѣсни, что новыя поколѣнія становятся равнодушнѣе къ старинѣ, искажаютъ ее и предпочитаютъ безвкусныя или прямо дурныя пѣсни новаго сложенія, трактирныя и фабричныя. Современные наблюдатели народной жизни указываютъ наконецъ цѣлую формацию новѣйшихъ пѣсенъ въ этомъ направленіи, съ грубой формой и столь же грубымъ содержаніемъ, нерѣдко лишь въ нѣсколько стиховъ, почему онѣ называются „частушками“, „сбиркушками“, „вертушками“ и другими наименованіями, въ которыхъ между прочимъ также сказалось ихъ случайное уличное и трактирное происхожденіе. Отношеніе къ этимъ пѣснямъ у собира-

телей и критиковъ двоякое. однимъ кажется униженіемъ достоинства народной поэзіи собираніе и сохраненіе этихъ произведеній, представляющихъ только низменное искаженіе ея чистаго преданія; другіе считаютъ этотъ взглядъ несправедливымъ и видятъ здѣсь, правда еще неустановившійся, но здоровый переходный моментъ къ новому развитію. „Перерожденіе народной пѣсни, — говоритъ г. Львовъ, вызвано знакомствомъ народа съ городомъ и съ литературнымъ стихомъ“; прибавимъ, не съ лучшими сторонами города и не съ лучшимъ литературнымъ стихомъ, и отсюда — уродливости новой пѣсни; но, по мнѣнію того же автора, это еще не даетъ основанія къ мрачнымъ историческимъ выводамъ. „Напротивъ, въ этомъ явленіи чувствуется молодость народнаго духа, кипящій и льющійся черезъ край избытокъ жизненной силы, но льющійся не по тому направленію, благодаря грязной накали, образовавшейся на ея поверхности отъ соприкосновенія съ изоржавѣвшей крышкой. Эта молодость народной души — явный признакъ способности народа къ движенію по пути прогресса“. Къ сожалѣнію, для болѣе здраваго направленія нужны условія, которыхъ народная жизнь не имѣетъ, и неизвѣстно, когда будетъ имѣть; и во всякомъ случаѣ процессъ разложенія старой пѣсни, начавшійся давно, будетъ подвигаться все далѣе, и старый періодъ народнаго пѣсеннаго творчества вѣроятно близится къ своему концу, тому концу, который давно наступилъ для старой пѣсни у народовъ западной Европы.

Не останавливаясь на частностяхъ, укажемъ нѣсколько изслѣдованій, прямо касающихся мифологіи и мифологическихъ теорій. Такъ, давно уже высказался противъ прежней системы А. Веселовскій, въ разборѣ „Зоологической Мифологіи“ де-Губернатиса („Сравнительная мифологія и ея методъ“, въ „Вѣстн. Европы“ 1873, октябрь), не безъ отношенія и къ мифологіи славяно-русской. Ягичъ, въ изслѣдованіи: „Die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volks-epik“ (въ его „Архивѣ“, 1876), объяснялъ чисто книжнымъ и позднимъ источникомъ нѣкоторыя подробности нашего народнаго эпоса, прежде относимыя къ первобытному языческому преданію; тотъ же ученый считалъ даже возможнымъ усумниться въ документальности тѣхъ извѣстій о славяно-русскомъ язычествѣ, какія находятся въ древнемъ переводномъ греческомъ хронографѣ и повторены въ лѣтописи, и др. („Mythologische Skizzen“, въ „Архивѣ“, т. IV, V; возраженія Крека относительно „Сварога“ и „Солнца, Сына Сварогова“ въ томъ же „Архивѣ“ и въ „Einleitung in die slavische Literaturgeschichte“, 2-е изд. Грацъ, 1887, стр. 378 и д.). А. И. Кирпичниковъ („Что мы знаемъ достовернаго о личныхъ божествахъ славянъ“, въ Журн. мин. пр. 1885, сент., стр. 47—65), рассмотрѣвъ съ крити-

ческимъ недовѣріемъ извѣстія о языческихъ божествахъ балтійскаго славянства (эта мѣологія считалась самой обильной), пришелъ къ сомнѣнію и объ языческихъ божествахъ славянъ русскихъ. „Памятники русской старины,—говоритъ онъ,—еще бѣднѣ свидѣніями о божествахъ славянъ, да и эти бѣдныя свидѣнія констатируютъ весьма странный фактъ: полное несходство въ именахъ боговъ восточныхъ и западныхъ славянъ. ...Строго говоря изъ всѣхъ боговъ русскихъ непоколебимо можетъ вынести критику только одинъ Перунъ“. Берлинскій профессоръ А. Брикнеръ предпринималъ подобный трудъ пересмотра данныхъ по мѣологіи славянъ западныхъ („*Mythologische Studien*“, въ „Архивѣ“ т. VI, IX, XIV), причемъ оказывалось, что нужно отказаться отъ нѣкоторыхъ мнимыхъ божествъ. Упомянутое выше раскрытіе подлоговъ Краледворской рукописи и *Mater Verborum* опять устранило нѣсколько мнимыхъ древнихъ свидѣтельствъ, которыя между прочимъ бывали приводимы и для объясненія русской мѣологіи.

Подобнымъ образомъ мѣологическая древность была устранена новѣйшими изслѣдованіями въ эпосѣ былинъ, съ тѣхъ поръ какъ сдѣланы были новыя сравненія сюжетовъ, поставлены гипотезы о заимствованіяхъ, а также примѣнена реально-историческая критика.

Прежнія мѣологическія изслѣдованія были нами указаны неоднократно; см. въ „Исторіи р. этнографіи“, т. II, о трудахъ Буслаева, Афанасьева, Ор. Миллера, Шеппинга и др. Изъ новѣйшихъ изложеній наиболѣе цѣльный трудъ есть книга Гр. Крека: *Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streifzüge*. 2-е изд. Graz, 1887, именно вторая книга, стр. 477 и д., которая представляетъ много цѣнныхъ библиографическихъ указаній, но по существу стоитъ на старой точкѣ зрѣнія.

Сочиненіе г. Будде: „Мѣическій элементъ въ русской народной словесности“ (вып. I. Воронежъ, 1885), опять построено на данныхъ лингвистическихъ и расширяетъ область мѣологіи не только на собственно народныя факты языка и поэзіи, но и на заведомо чужіе книжныя, даже очень поздніе памятники,—напр., не только на „Голубиную книгу“ и поздніе апокрифы, но и на „Луцидаріусъ“ (стр. 35, 53 и пр.),—и объясняетъ свой приемъ слѣдующимъ образомъ: „Доказательствъ своей мысли (о міровоззрѣніи первобытнаго, именно арійскаго, человѣка, отождествлявшаго себя съ міромъ и объяснявшаго неизвѣстныя явленія извѣстными) мы искали и будемъ искать не только въ чисто народныхъ памятникахъ творчества, но и въ памятникахъ письменныхъ, въ памятникахъ сравнительно поздняго періода литературы, какъ напр., въ памятникахъ апокрифической письменности. На это мы имѣемъ полное право въ виду того несомнѣннаго факта, что письменные памятники древнѣйшей литературы (раньше говорилось, однако, о памятникахъ „сравнительно позднихъ“) у каждаго народа содержатъ въ себѣ всегда значительную долю народнаго элемента, т.-е. въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ обличаютъ свое тѣснѣйшее сопрікосновеніе съ усвоенными народными традиціями, несмотря на то, что борьба съ послѣдними только и начинается серьезнымъ образомъ тогда, когда появляется у народа письменность. Выдѣленіе такого народнаго элемента изъ памятниковъ письменной литературы

входить всецѣло въ нашу задачу, составляя средство для отысканія матеріала; въ данномъ случаѣ насъ не касается вопросъ о народности извѣстнаго воззрѣнія: для насъ важенъ фактъ существованія извѣстнаго воззрѣнія у разныхъ народовъ, и изъ такого факта-слѣдствія мы считаемъ себя въ правѣ заключать о причинахъ его, видя ихъ въ совмѣстной до-исторической жизни народовъ... Такъ мы будемъ поступать, пока отыскиваемъ общія начала арійской міеологіи"... (стр. 23—34). Несмотря на это объясненіе, трудно понять, какимъ образомъ поздній памятникъ съ книжническими измышленіями можетъ служить указаніемъ „общихъ началъ арійской міеологіи“ и „до-исторической жизни народовъ“, когда притомъ авторъ раньше уже предупредилъ читателя, что, „разбирая миѳы самой отдаленной старины, мы должны обратить вниманіе на то, что человѣкъ въ эпоху созданія такихъ миѳовъ былъ существомъ, очень близкимъ къ животному состоянію“ и пр. (стр. 25).

—Замѣчательная книжка Ник. Крушевскаго: „Заговоры какъ видъ русской народной поэзіи“ (Варшава, 1876), не свободна отъ излишествъ прежней міеологической системы и еще больше ихъ въ изслѣдованіи г. Сумцова: „О свадебныхъ обрядахъ, преимущественно русскихъ“ (Харьковъ, 1881) и т. д. Въ новѣйшее время очеркъ славянской міеологіи составилъ Ганушъ Маааль „Nákres slovanského bájesloví“ (Прага, 1891), отзывъ Ягича объ этой книгѣ (Archiv, XIV, стр. 635—636) даетъ понятіе о томъ недовѣріи, къ какому приводятъ до сихъ поръ построенія славянской міеологіи: но эта книга „положительно лучше репутаціи своего заглавія“ и представляетъ добросовѣстный сводъ данныхъ и изслѣдованій по этому предмету.

— Укажемъ еще новый трудъ берлинскаго профессора А. Брикнера, имѣющій отношеніе и къ міеологіи славянской: *Starożytna Litwa. Ludy i bogi*,—Biblioteka Warszawska, 1897, II, стр. 235—265; III, 416—450; 1898, I, 37—68.

Первый изданный трудъ А. А. Потебни была книга: „О нѣкоторыхъ символахъ въ славянской народной поэзіи“ (Харьковъ, 1860, магистерская диссертация); затѣмъ кромѣ отдѣльных замѣтокъ болѣе обширныя работы: „О миѳическомъ значеніи нѣкоторыхъ обрядовъ и повѣрій“, 1865; „О долѣ и сродныхъ съ нею существахъ“, „О купальскихъ огняхъ и сродныхъ съ ними представленіяхъ“, 1867, „Переправа черезъ воду, какъ представленіе брака“, 1868; далѣе: „Малорусская народная пѣсня по списку XVI вѣка“, 1877; „Слово о полку Игоревѣ. Текстъ и примѣчанія“, 1878; разборъ сборника пѣсенъ Головацкаго, 1880; наконецъ, самый обширный трудъ, посвященный народной поэзіи: „Объясненія малорусскихъ и сродныхъ народныхъ пѣсенъ“, 1883—1887. Прибавимъ, что въ работахъ по языку, которыхъ здѣсь не перечисляемъ, разсѣяно также множество объясненій словъ, между прочимъ, изъ круга пѣсенной поэзіи. Полный обзоръ его трудовъ сдѣланъ Э. Вольтеромъ, въ „Сборникѣ“ II Отд. Акад. 1892, т. LIII: „Библиографическіе матеріалы для біографіи А. А. Потебни“.

— Въ послѣднее время вопросъ о метрикѣ народной поэзіи и ея музыкѣ сталъ внушать особенный интересъ какъ собирателямъ пѣсенъ, такъ и музыкальнымъ теоретикамъ. Особенный поводъ къ этому далъ

сборникъ пѣсенъ съ напѣвами, Ю. Н. Мельгунова, сборникъ, вызвавшій изслѣдованія Ѳ. Е. Корша, Вестфала и др. Въ новѣйшихъ сборникахъ, какъ труды Пальчикова, Лопатина и Прокунина, сборники, составленные Ѳ. М. Истоминымъ съ помощью Дютша и С. М. Ляпунова, постоянно обращаютъ уже вниманіе на музыку пѣсни; П. Сокальскій посвятилъ ей обширное изслѣдованіе: „Русская народная музыка“, Харьковъ, 1888. Нѣсколько общихъ указаній, и также замѣчаній о книгѣ Сокальскаго и сборникѣ Лопатина и Прокунина въ статьѣ Ю. Мельгунова: Къ вопросу о русской народной музыкѣ, въ „Этнограф. Обзорѣніи“, 1890, кн. VI, стр. 115—138. Ѳ. Е. Коршъ предпринялъ новый трудъ „О русскомъ народномъ стихосложеніи“ („Извѣстія“ II отд. Академіи, 1896, т. I, кн. 1),—но вопросъ, поставленный въ изслѣдованіяхъ Потебни, еще ожидаетъ разысканій и рѣшеній.

— Въ новѣйшихъ работахъ А. Н. Веселовскаго предпринято построеніе исторической поэтики, которое обѣщаетъ восполнить великій пробѣлъ въ нашей литературѣ по этому предмету. Сюда принадлежатъ статьи: Изъ введенія въ историческую поэтику, въ Журн. мин. просв. 1894, май; Изъ исторіи эпитета, тамъ же 1895, ноябрь; упомянутый докладъ въ Нео-филологическомъ Обществѣ, въ мартѣ 1896; Эпическія повторенія какъ хронологическій моментъ, въ Журн. мин. просв. 1897, апрѣль; Психологическій параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтического стиля, тамъ же, 1898, мартъ, и отдѣльно: Три главы изъ исторической поэтики, тамъ же, апрѣль—май, и отдѣльно. Спб. 1899.

— Д. Матовъ, Эпосъ ли древнѣйшій родъ поэзіи? въ журналѣ „Български Прѣгледъ“, 1895, № 1, откуда переведено въ „Этнограф. Обзорѣніи“, 1895, кн. XXVI, стр. 93—104. Матовъ отвѣчаетъ на вопросъ отрицательно: кромѣ болѣе раннихъ мнѣній по этому предмету (Гриммъ; Вакернагель, Poetik; М. Каррьеръ: „Искусство“ и Aesthetik; Спенсеръ, Основы соціологіи) онъ указываетъ: упомянутое сочиненіе Якобовскаго; Евгенія Вольфа, Vorstudien zur Poetik, въ Zeitschr. für vergleich. Literaturgesch. 1893; Ch. Letourneau, L'évolution littéraire dans les diverses races humaines. Paris, 1894.

Отзывы иноземныхъ критиковъ.

— Вестфаль, О русской народной пѣснѣ, въ Р. Вѣстникѣ, 1879, сентябрь; приведенная цитата, стр. 126—127.

— Alfred Rambaud, La Russie épique. Paris, 1876... „On verra, par ses chansons héroïques, que le peuple russe... a mieux conservé que la plupart des autres peuples européens ce trésor de traditions et de légendes dont chacun d'eux fut si richement doté à sa sortie du berceau commun. Les Slaves russes, cette branche, qui paraît si jeune, de la famille européenne, semblent avoir joui du droit de préférence qu'on trouve dans nos vieilles lois celtiques en faveur des puînés, le droit de juveigneurie.. De nos ancêtres communs ils ont gardé presque tout l'héritage poétique... En comparant le peu qui nous reste de notre vieille littérature et de nos vieilles traditions populaires avec cette poétique opulence de la Slavie, nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment d'envie... La Russie a eu encore cette fortune que les

chansons nationales se sont conservées fidèlement dans le peuple jusqu'au moment où la curiosité scientifique s'est enfin éveillée chez les lettrés... En Russie le mouvement romantique de ce siècle put donc se rattacher sans effort aux origines nationales"... (Предисловіе, стр. XII—XIV).

— W. R. S. Ralston, The songs of the Russian people. London, 1872, вводная глава... „How rich in popular poetry that country is but few foreigners are thoroughly aware... A vein of natural and genuine poetry runs through the thought and speech of the Russian peasant and so in songs which accompany him through life there is a true poetic ring“, и пр.

Исслѣдованія общественнаго строя, культурной жизни и обычая составляютъ также новую отрасль науки, какъ были исслѣдованія языка и народной поэзіи. Эта отрасль науки сложилась опять изъ сложныхъ интересовъ исслѣдованія. Восемнадцатый вѣкъ со времени Монтескьё и Вольтера впервые ощутилъ потребность выйти за предѣлы привычной внѣшней исторіи и разгадать „духъ“ политической жизни; затѣмъ съ конца вѣка, и особенно въ девятнадцатомъ столѣтіи, въ разныхъ областяхъ науки, сосѣднихъ и совсѣмъ отдѣльныхъ, началось усиленное движеніе, сходявшееся въ концѣ концовъ на исслѣдованіи внутренняго социологическаго процесса, отъ перваго возникновенія человѣческихъ обществъ: историческая школа въ правѣ и бытовое изученіе (какъ въ *Rechtsalterthümer* Гримма); философія исторіи; кругосвѣтныя путешествія, доставлявшія особенно съ XVIII в. свѣдѣнія о нравахъ и образѣ жизни первобытныхъ дикарей; успѣхи археологіи, открытіе каменнаго вѣка и древнихъ цивилизацій въ Азіи, Африкѣ и Америкѣ; успѣхи біологическихъ наукъ и именно созданіе „антропологіи“ въ ея различныхъ сторонахъ—біологической, психологической, исторической; „культурная исторія“ и сравнительное изученіе бытовыхъ обычаевъ и преданій—все это создавало ту науку, которая (называется ли она антропологіей, культурной исторіей, общественной философіей, народной психологіей, исторіей закона и обычая) стремится реставрировать древнія формы быта и, покидая на время міеологію, отыскать объясненіе реальнымъ фактовъ, послужившихъ исходнымъ пунктомъ развитія новѣйшихъ общественныхъ формъ. Въ послѣднее время особенное вниманіе посвящено именно древнимъ формамъ рода и семьи,—въ условіяхъ которыхъ должны были вращаться произведенія народной обрядовой лирики и баллады.

Въ настоящее время образовалась уже въ этой области обширная литература (укажемъ весьма сжатый и содержательный очеркъ ея въ чешской книжкѣ Ченка Зиберта: *Kulturní Historie. Její vznik, rozvoj a posavadní literatura cizí a česká*. Прага, 1892). Исторія семьи и рода была предметомъ исслѣдованій Дарвина, Либбока, Тэйлора, Спенсера, Бахофена, Макъ-Леннана и пр.; къ послѣднимъ примыкаютъ въ этомъ вопросѣ труды М. М. Ковалевскаго: *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété*, 1890—публичныя лекціи, читанныя авторомъ въ Стокгольмѣ (русскій переводъ въ изданіи Павленкова: „Очеркъ происхожденія и развитія семьи и собственности“. Спб. 1895), и болѣе раннія работы автора: Первобытное

право; два выпуска: Родъ. Семья, М. 1896; Современный обычай и древній законъ. М. 1886; Законъ и обычай на Кавказѣ, 2 тома, М. 1890. Книга Е. Вестермарка (русскій переводъ И. Семенова: Исторія брака. Спб. 1896) приносить новыя взгляды на вопросъ, и особенно возстаетъ противъ теоріи безпорядочнаго сожителства. Въ нашей литературѣ имѣются переводы Дарвина, Спенсера, Лёбока („Начало цивилизаціи“), Тэйлора („Первобытная культура“), Мэна („Древній законъ“), Топинара („Антропология“), О. Шрадера („Сравнительно-языковѣдніе и первобытная исторія“), Линперта (Исторія культуры, Исторія семьи), Гёрнеса („Исторія первобытнаго человѣчества“), Летуэнно (Соціология, основанная на этнографіи), Ахелиса („Современное народовѣдніе“) и др. Укажемъ, наконецъ русское общее сочиненіе: „Антропология“, Э. Ю. Петри, Спб. 1890, т. I.

Изъ трудовъ, имѣющихъ въ виду русскій матеріалъ, укажемъ прежде всего важную книгу Е. И. Якушкина: „Обычное Право“, 2 тома. Ярославль, 1875—1896, библиографическое описаніе литературы по русскому обычному праву (при обоихъ томахъ вводныя статьи, къ которымъ отмѣтимъ еще: „Замѣтки о вліяніи религіозныхъ вѣрованій и предразсудковъ на народныя юридическіе обычаи и понятія“, въ Этнограф. Обзор. 1891, кн. IX, стр. 1—19), — и новый трудъ автора: „Обычное право русскихъ инородцевъ. Матеріалы для библиографіи обычнаго права“. М. 1899 (изъ „Чтеній“ Моск. общ. ист. и др.). Разработка предмета была у насъ до сихъ поръ направлена гораздо больше на этнографическую и административно-бытовую сторону вопроса и гораздо меньше касалась археологіи быта и народной поэзіи.

— Александръ Ефименко, „Исслѣдованія народной жизни“. Вып. I. М. 1884.

— Г. Ф. Блюменфельдъ, О формахъ землевладѣнія въ древней Россіи. Одесса, 1884 (О формахъ древнихъ, въ первой главѣ).

— М. Кулишеръ, Очерки сравнительной этнографіи и культуры, Спб. 1887 (общность законовъ развитія; первобытная нравственность; символика въ жизни, исторіи и правѣ, и пр.).

— Théod. Wolkow, Rites et usages nuptiaux en Ukraine, въ журналѣ L'Anthropologie, т. II, а передъ тѣмъ въ болгарскомъ „Сборникѣ за народни умотворенія“, и пр.; Свадебные обряды въ Болгаріи, въ „Этнограф. Обзорѣ“, 1895, кн. XXVII, стр. 1—56, съ извѣстіями о древнемъ бытѣ.

— А. Котляревскій, О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ (1868), въ „Сочиненіяхъ“, Спб. 1891, т. III.

— Съ точки зрѣнія міеологіи и поэтики, въ изслѣдованіяхъ Потебни о малорусскихъ и сродныхъ пѣсняхъ.

— Съ точки зрѣнія сравнительно-исторической, въ примѣненіи къ поэтическому преданію, у Веселовскаго, особенно въ „Разысканіяхъ въ области р. дух. стиха“ (языческій элементъ коляды, судьба-доля, купальскіе обряды, побратимство, свадебные обычаи и др.).

— В. Охримовичъ, Значеніе малорусскихъ свадебныхъ обрядовъ и пѣсенъ въ исторіи эволюціи семьи, въ „Этнограф. Обзорѣ“, 1891, кн. XI, стр. 44—105; 1892, кн. XV, стр. 1—54.

— Г. Куликовскій, Похоронные обряды Обонежскаго края, въ „Этнограф. Обзор“. 1890, кн. IV, стр. 44—60.

— М. Довнаръ-Запольскій, Бѣлорусская свадьба въ культурно-религіозныхъ пережиткахъ, въ *Этнограф. Обзорѣни*, 1893, кн. XVI, XVII, XIX.

— Stanislaus Ciszewski. Künstliche Verwandtschaft bei den Süd-slaven. Leipz. 1897 (побратимство; привлечена отчасти и русская литература вопроса).

— Немало частныхъ изслѣдованій и замѣтокъ въ изданіяхъ московскаго Общества Ест., Антр. и Этнографіи, особливо въ „Этнографическомъ Обзорѣни“ (здѣсь, между прочимъ, обзорѣніе новой литературы предмета), въ „Живой Старинѣ“ и проч. Много изъ бытовыхъ обычаевъ и преданій указано, хотя въ преувеличенно-мифологическихъ толкованіяхъ, въ старой книгѣ Аванасьева: „Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу“, М. 1866—1869. Другія указанія см. въ „Исторіи русской Этнографіи“, т. II.

Эта необходимость болѣе реальнаго изученія древности, не довольствуясь болѣе или менѣе отвлеченной филологіей, уже прямо указывается въ нѣмецкой наукѣ. Недавно основанный Archiv für Religionswissenschaft, Ахелиса, настаиваетъ на соединеніи филологіи съ этнографіей (Völkerkunde, т. е. тѣмъ, что другіе называютъ антропологіей и культурной исторіей). По поводу книги знаменитаго филолога Узенера (Götternamen. 1896) журналъ замѣчаетъ: „Es muss leider immer noch die Klage wiederholt werden, dass zwischen der Philologie und der Geschichtswissenschaft einerseits und der Völkerkunde und Völkerpsychologie andererseits die trennende Mauer noch immer nicht völlig niedergerrissen ist“ (I. Erstes Heft. Freiburg i. B. 1898, стр. 99). Рѣшительно отвергаются тѣ исключительныя теоріи мифа, солнечныя, грозовыя и т. п., какія были распространены и у насъ: „Im Grunde sind die Mythen weiter nichts als mehr oder weniger getreue Spiegelbilder des gesammten antiken Lebens, Fühlens und Denkens. Nichts würde einseitiger sein als mit früheren Forschern anzunehmen, dass nur gewisse Naturerscheinungen wie das Gewitter, Sonne, Mond, Regenbogen, Flüsse, u. s. w., oder nur die Thatsachen des „Seelenkultes“ Anlass zur Entstehung von Mythen gegeben hätten. Das Richtige ist vielmehr, dass alle menschlichen Erfahrungen, sowohl die des äusseren, wie die des inneren Lebens, zu Mythen werden können wenn sie an irgend eine göttliche oder dämonische Persönlichkeit angeschlossen werden oder sich zu solchen verdichten“ и т. п. (стр. 89).

Въ примѣръ того, какъ до сихъ поръ разнообразны толкованія нашего былиннаго эпоса, приводимъ нѣсколько указаній:

— Илья Муромецъ въ мифологической школѣ считался, въ преемствѣ мифическаго и героическаго эпоса, дальнѣйшимъ развитіемъ бога-громовника, а въ новой стадіи олицетвореніемъ русскаго народа, символомъ его высокаго нравственнаго содержанія (Ор. Миллеръ). Раньше это символическое значеніе было объясняемо въ славянофильской школѣ: „Эпоха Владиміра, ея главный представитель, Илья Муромецъ — первое творческое выраженіе сложившагося русскаго народа, упрочившаго вскорѣ формы своего новаго бытія христіанствомъ и огласившаго разсвѣтъ новой жизни былевымъ словомъ“, „представитель Земли и Земщины“ или земской дружины. Относи-

тельно „старшихъ богатырей“, эпохи титанической, Илья принадлежитъ эпохѣ богатырской, онъ есть первая величайшая человѣческая сила. „Таковъ онъ со стороны вѣросознанія, того пути, который пройденъ русскимъ сознаніемъ въ язычествѣ, отъ ступени внѣшне-природной до внутренне-человѣческой; со стороны же внѣшняго быта и бытія политическаго онъ есть первая народная, земско-дружинная сила“ (Бесоновъ; К. Аксаковъ). Но все это было подвергнуто сомнѣнію: всѣ подвиги Ильи Муромца нашлись, болѣе полно, въ восточныхъ первообразахъ. „Мы не видимъ, почему Илья Муромецъ въ самомъ корнѣ созданія — самый, что ни есть истинно-русскій богатырь (какъ насъ до сихъ поръ увѣрили), и почему именно онъ — болѣе національное воплощеніе русскаго народа, чѣмъ всѣ остальные наши богатыри. Крестьянское происхожденіе, его дѣтство, отрочество, зрѣлые годы и смерть — рассказы обо всемъ этомъ создались первоначально не у насъ, не въ нашемъ отечествѣ, и никоимъ образомъ не изшли изъ исключительныхъ особенностей русскаго народнаго духа“ (Стасовъ). Илья Муромецъ есть Рустемъ иранскихъ сказаній; происхожденіе его типа не простонародное; посредниками въ перенесеніи иранскихъ сюжетовъ въ русскій эпосъ могли быть половцы (Всев. Миллеръ). „Всев. Миллеръ не выводитъ читателя изъ „замысловатаго лабиринта“, въ которомъ пребываетъ изслѣдованіе нашихъ былинъ, и выводы его остаются только предположеніями“ (Дашкевичъ). Различныя сближенія, съ западнымъ эпосомъ — у Веселовскаго. По выводамъ Потанина, былины объ Ильѣ совпадаютъ съ тюркомонгольскими сказками объ Иринѣ-Сайнѣ (т.-е., надо думать, имѣютъ въ нихъ свой источникъ).

Илья Муромецъ неизвѣстенъ древнимъ русскимъ памятникамъ, но является въ германо-скандинавскихъ сказаніяхъ XII—XIII вѣка; потомъ упоминается въ западно-русскихъ извѣстіяхъ XVI вѣка съ прозваніемъ „Муравленина“ или „Моровлина“; въ XVII вѣкѣ упоминается, что въ южной Руси называли его Чоботкомъ, и съ XVII вѣка извѣстія о мощахъ св. Ильи Муромца въ Кіевскихъ пещерахъ; еще въ концѣ XVIII вѣка испанскій писатель называетъ его „Муровецъ“. Но давно уже началось приуроченіе Ильи не только къ „Мурому“, но даже къ муромскому селу Карачарову, съ мѣстными преданіями: „муромское“ прозваніе, какъ полагаютъ, произошло отъ города „Морова“ (въ одномъ вариантѣ былины) или Моровска, упоминаемаго старою лѣтописью въ Черниговской области, и село Карачарово — отъ Карачева. (Ср. замѣтки В. Калаша, въ Этногр. Обзорѣніи. 1889, кн. III, стр. 204—205). И. Д. Четыркинъ приводитъ, въ „Извѣстіяхъ Калужской ученой архивной Коммиссіи“, 1898 г., вып. II. Калуга, 1898, стр. 8—9, слѣдующее свидѣніе объ Ильѣ Муромцѣ изъ рукописи 1667 года, писанной въ Кіевѣ: „Зде лежать мощи преподобнаго Ильи Муромца, богатыря и война великаго, который пришовши потомъ въ чувство вспомнилъ собѣ ижъ воинство есть ремесло неспасенное, то есть мечомъ воевати, и кровъ проливати, убогихъ людей кривдити и грабити, а Христосъ повѣдалъ хто мечемъ воужетъ тои отъ меча погибаетъ, такъ же и оное слово Павла апостола не лстѣтся жаденъ и ни забойца, а ни злое, а ни піяници, а ни блудникъ, а ни грабитель не ввойде до царства небесного; а постригълся

въ иночество, покутоваль въ постахъ и молитвахъ и плачу непрестанномъ; если его кто утѣшалъ абы не плакалъ отповѣдалъ много и крови пролилъ невинной треба ей слезами омѣти". (Тамъ же, указаніе о гравюрахъ, изображающихъ Илью Муромца). Н. И. Петровъ: „Историко-географическая основа былины о побѣдѣ Ильи Муромца надъ Соловьемъ Разбойникомъ“, въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Ак. Н. 1900, стр. 624—630

— Добрыня Никитичъ. Въ немъ надо видѣть солнечное божество, какъ и въ князѣ Владимірѣ. „Одно и то же существо, какъ оно и часто встрѣчается въ мифологіи, распалось на два совершенно различныхъ лица. Недѣятельная, страдательная сторона солнца, т.-е. представленіе его ровно, невозмутимо совершающимъ свое теченіе и какъ бы предоставляющимъ оборону себя отъ тучъ—разсѣивающему ихъ мечу громовержца Ильи, это осуществлено въ лицѣ Владимира. Сторона же солнца дѣятельная, воинственная, т.-е. представленіе его ведущимъ постоянную борьбу съ тьмою... это олицетворилось въ Добрынѣ... (Ор. Миллеръ). „Въ нашихъ пѣсняхъ о Добрынѣ уместилось, съ нѣкоторыми небольшими измѣненіями, повѣствованіе объ одной изъ знаменитѣйшихъ и величайшихъ мифическихъ личностей древняго Востока: нашъ Добрыня—это не кто иной, какъ индѣйскій Кришна“ и т. д. „Фаворитные азіатскіе мотивы... превратились въ мотивы, считаемыя за чисто русскіе, и носителями ихъ явились кievскій богатырь, князь Добрыня, и его крестовый братъ“ (Стасовъ). Добрыня — родовитый богатырь-князь, его имя сопровождается постояннымъ отчествомъ (Безсоновъ). Веселовскій полагаетъ, что отчество—искусственное, взятое отъ греческихъ богатырей-змѣеборцевъ (аникитъ).

— Чурила Пленковичъ. Онъ имѣетъ двоякое значеніе. Во внѣшнемъ, это—„богатырь-горожанинъ, богатырь-посадскій, досуужій щеголь древней Руси, краса игръ, хоровода, бесѣдъ и посидѣлокъ, зазноба молодицъ“ и т. д. Но основное значеніе его гораздо глубже: изъ мудреныхъ словопроизводствъ, при помощи санскрита, греческаго языка и т. д., оказывается, что „Чурила, именованный этимъ производнымъ словомъ, является богатыремъ, героемъ; словомъ старшимъ, кореннымъ, должно быть обозначено существо высшее, демоническое, полубожеское и даже божеское“. Отецъ Чурилы—Пленъ, или Плѣнъ, былъ существо еще болѣе таинственное: „въ эпоху Кроническую, эпоху Дажбога, сознание человѣческое было въ плѣну у внѣшней космической силы, было ею связано и въ узахъ, было само себѣ внѣшнимъ и не могло еще высвободиться въ средоточіе человѣческаго духа. Потому самъ богъ этого періода представился въ плѣну, въ узахъ“ и т. д. (Безсоновъ). Это было слишкомъ; но „не была ли гибель Чурилы мифически обусловленною, а если такъ, то не указываетъ ли она и на его первоначальное мифически злое значеніе?“ и т. д. (Ор. Миллеръ). По другому толкованію, это—чисто бытовая фигура, одинъ изъ тѣхъ греко-романскихъ „гостей-сурожанъ, которые, являясь въ Кіевъ, изумляютъ своихъ болѣе грубыхъ сосѣдей блескомъ своихъ культурныхъ привычекъ“; былина, очень старая, еще изъ кievскаго періода, есть повелла съ трагической развязкой; Чурила есть Кириллъ; имя отца, Пленка, есть искаженіе слова „франкъ“

(Веселовскій). Или: по первому происхожденію, сказанія о Чурилѣ принадлежатъ югу, но выработаны были уже въ московскій періодъ; отчество его—искаженіе изъ „Щаппенковичъ“—какъ въ нѣкоторыхъ вариантахъ: „щипитъ“ значитъ щеголять (Халанскій). Или: „Типъ Чурилы—богача-красавца, опаснаго для мужей, не исключая и князя Владимира,—продуктъ культуры богатаго города, въ которомъ развитіе промышленности и торговли отразилось на нравахъ его обитателей“... Эта былина, какъ другая—о гостѣ Терентьищѣ, принадлежитъ Новгороду и относится вѣроятно къ періоду, который предшествовалъ его паденію въ концѣ XV вѣка (Всеv. Миллеръ).

— Садко. „Никогда еще жизнь Новгорода, со своими представителями, поименно названными, съ предприимчивостью своихъ торговыхъ гостей, съ отвагою своей молодежи-повольницы, съ рѣками, озерами, морями и ихъ подводнымъ царствомъ, не являлась въ такихъ живыхъ краскахъ, какъ въ пѣсняхъ о Васильѣ Буслаевѣ и Садеѣ“ (Веселовъ). Пѣсни о Садеѣ особливо замѣчательны, какъ „образецъ мѣстнаго развитія эпической поэзіи, во всей его чистотѣ, безъ малѣйшей примѣси вліянія чужихъ мѣстностей“. „Былины о Садеѣ, кромѣ миенческой основы, имѣютъ еще и бытовое, такъ сказать, историческое содержаніе. Народный эпосъ, сильно пропитанный мѣстными интересами, восходитъ до торжественной пѣсни во славу великаго и богатаго Новгорода“ (Буслаевъ)... „Надо оставить совершенно въ сторонѣ всѣ эти прекрасные выводы и соображенія, какъ невѣрные и фантастическіе“. Въ пѣсняхъ о Садеѣ „нечего искать ни Новгорода, ни Волхова, ни русскаго моря, ни русскихъ купцовъ, ни русскихъ вообще людей. Все чужое, все пришло въ нашу пѣсню—съ Востока“ (Стасовъ). Затѣмъ нашлись инныя параллели, а именно, сходство одного эпизода съ французскимъ стариннымъ романомъ, гдѣ сходно даже имя гороя (Садокъ); нашлись другія сходства (Веселовскій). Новыя параллели были найдены въ народномъ эпосѣ финскомъ: именно, матеріаломъ для былины между прочимъ послужили сказанія о Вейнемейненѣ, любимцѣ морского бога Ахто (Всеv. Миллеръ);—по послѣднее было подвергнуто сомнѣнію на томъ основаніи, что многія мѣста, цитированныя для сравненія изъ Калевалы, оказались не принадлежащими подлинной народной пѣснѣ, а добавленными Леннротомъ (Мандельштамъ: Журн. мин. просв. 1898).

Подобное разнообразіе или прямую противоположность заключеній мы встрѣтимъ и относительно другихъ былинь и эпическихъ подробностей. Въ упоръ противъ миенческихъ толкованій встрѣтимъ утвержденіе г. Стасова о простомъ заимствованіи былинныхъ сюжетовъ съ Востока; эти утвержденія приняты были только въ небольшой долѣ; но минологическія толкованія окончились. Взамѣнъ минологіи, а также огульнаго указанія на восточные источники, новыя изслѣдованія разрабатывали, съ большею убѣдительною, во-первыхъ, отношенія русскаго эпоса къ общему составу средневѣковаго эпическаго преданія и легенды, во-вторыхъ русскія историческія отношенія. Выше упомянуты обильныя указанія этого рода въ трудахъ Веселовскаго, Ягича, Жданова, Кириичникова, Дашкевича, Всеv. Миллера, Халанскаго, и др. Между прочимъ, совсѣмъ иначе сравнительно съ прежнимъ поставленъ, и частію уже выясненъ, вопросъ о такъ называемыхъ

„старших богатырях“, какъ въ особенности Святоторъ. Эти богатыри признаваемы были за представителей древнѣйшей титанической эпохи народнаго богатырства и древнѣйшей поры народно-поэтического творчества; Ждановъ, остановившись на изслѣдованіи „Прѣнія живота и смерти“, перешедшаго потомъ въ стихъ объ Аникѣ Воинѣ, находилъ, что въ родствѣ съ нимъ и былина о Святоторѣ; г. Веселовскій, не принимая этого сполна, думалъ, что въ нашемъ эпосѣ могли отразиться византійскія народныя сказанія, и указывалъ также, что въ былинѣ о Святоторѣ вмѣшался весьма распространенный сказочный эпизодъ о женѣ въ ларцѣ.—Что книжные сюжеты проникали въ былинѣ и ассимилировались въ ней, очевидно, напр., изъ той былины (о Васильѣ Окуловичѣ), гдѣ г. Ягичъ указалъ заимствование изъ Соломоновскихъ сказаній, или изъ той новѣйшей былины, гдѣ переработана сербская пѣсня объ Іово и Марѣ изъ популярнаго сборника Щербини.

Восточная теорія Стасова нашла новаго защитника въ Гр. Н. Потанинѣ: „Восточные мотивы въ средневѣковомъ европейскомъ эпосѣ“. М. 1899. Вліяніе восточныхъ мотивовъ ведется здѣсь не изъ индійско-тибетскаго, а всего болѣе, или только, изъ тюрко-монгольскаго источника, и распространяется не только на русскую былинѣ, но также на многія основныя темы западно-европейскаго эпоса. Множество сдѣланныхъ сличеній требуютъ однако ближайшихъ объясненій относительно путей и способовъ заимствованія, — пока, все это остается недоказаннымъ.

О современномъ паденіи пѣсенной старины сдѣлано было, въ послѣднее время, не мало замѣтокъ, но только отрывочныхъ,—цѣлое явленіе не изучено. Объ упадкѣ пѣсни говорилъ Костомаровъ въ статьѣ: „Великорусская народная пѣсенная поэзія“ („Вѣстн. Европы“ 1872, май). На пѣсни новой формациі одинъ изъ первыхъ обратилъ вниманіе Глѣбъ Успенскій: „Новые народные стишки“ (въ „Сочиненіяхъ“, т. III. Спб. 1891, стр. 650—662).

— Михневичъ, Извращеніе народнаго пѣснотворчества. „Истор. Вѣстникъ“, 1880, т. III. декабрь.

— Лопатинъ и Прокунинъ, Сборникъ русскихъ лирическихъ пѣсенъ. М. 1889. I, стр. 9—11, 21 и дал.

— На сѣверѣ. Путевыя воспоминанія. В. Х. Москва, 1890 (объ этой книгѣ „Вѣстн. Европы“, 1890, мартъ).

— И. Львовъ, „Новое время. новыя пѣсни (о поворотѣ въ народной поэзіи)“. Устюгъ, 1891 (объ этой книжкѣ „Вѣстн. Европы“, 1892, октябрь).

— В. Перетцъ, Современная русская народная пѣсня. Спб. 1893 (его же замѣтка о брошюрѣ Львова, въ „Библиографъ“ 1892, № 12).

— П. Тиховскаго, рефератъ о паденіи народной пѣсни въ „Извѣстіяхъ“ IX Археологич. съѣзда въ Вильнѣ, 1893. № 13.

— А. Лященко, Замѣтки по изученію современной народной пѣсни. I (по поводу книжки г. Перетца). Спб. 1894.

— Н. Смирновъ, Русскія народныя пѣсни новѣйшаго времени. Спб. 1895 (изъ „Библиографа“).

— Н. Ахутинъ, въ Нижегород. губ. Вѣдомостяхъ, 1895 (по указанію Балова).

— Н. Позняковъ, Къ вопросу объ упадкѣ народнаго творчества, М., 1897,—изъ журнала „Вѣстникъ Воспитанія“ (брошюра, еще съ нѣкоторыми библиографическими указаніями).

— А. Бадловъ, Эскурсы въ область народной пѣсни, въ „Этногр. Обзорѣніи“, 1896—1897, кн. XXIX, XXX, XXXIII (приведены образчики).

— Тамъ же, кн. XXXIII, замѣчанія М. Васильева и А. Малинки о новыхъ мотивахъ въ малорусской народной поэзіи.

При всемъ томъ, современный запасъ старинной пѣсни все еще замѣчательно богатъ, какъ свидѣлствуютъ новѣйшіе сборники: объ нихъ—въ слѣдующей главѣ.

Прибавимъ нѣсколько новыхъ литературныхъ указаній:

— Э. Лангъ, Мифологія. Переводъ подъ редакціею Н. Н. и В. Н. Харузиныхъ. М. 1901. Это была первоначально статья въ 9-мъ изданіи „Британской Энциклопедіи“ (т. XVII, „Mythology“); русскій переводъ сдѣланъ по французскому дополненному изданію Ш. Мишеля. Точка зрѣнія Ланга—антропологическая: мифологія есть произведеніе первобытной ступени племенного развитія; отсюда ея общія аналогіи. Полезныя указанія на исторію вопроса.

— Ник. Харузинъ. Этнографія. Лекціи, читанныя въ Имп. московскомъ университетѣ. Изданіе посмертное, подъ ред. Вѣры и Алексѣя Харузиныхъ. Вып. I. Часть общая; матеріальная культура. Спб. 1901. Въ дальнѣйшихъ выпускахъ, II—IV, должны быть: Семья и родъ; Собственность и первобытное государство; Вѣрованія.

— Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ. Т. II (въ Запискахъ Геогр. Общ. по Отд. Этнографіи, т. XVIII). Изданъ подъ ред. С. В. Пахмана. Спб. 1900. (Первый томъ, подъ ред. П. А. Матвѣева,—Записки, т. VIII,—Спб. 1878).

ГЛАВА III.

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ.—ЕЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОЗДѢЙСТВІЯ.

Вопросъ о значеніи народной поэзіи въ исторіи литературнаго развитія.—Различныя его стороны.

Отсутствіе литературныхъ вліяній народной поэзіи въ древнемъ періодѣ.—Восемнадцатый вѣкъ: съ одной стороны, продолженіе стараго преданія подражательности и отрицанія народной поэзіи; съ другой—первые признаки ея сознательной одѣжки.—Интересъ къ народности въ XVIII вѣкѣ: Татищевъ, Новиковъ, Чулковъ, Дмитріевъ, Аблесимовъ; сочиненія имп. Екатерины; Радищевъ.—Это обращеніе къ народу было органическимъ результатомъ реформы.

Деятнадцатый вѣкъ: общественный интересъ къ народу и литературный романтизмъ. Вліянія научныя. Начатки славянскаго движенія: основаніе русскаго славяновѣдѣнія. Исслѣдованія народной поэзіи: Сахаровъ, Петръ Кирѣевскій.—Сороковые года; два литературные лагеря. Статья Каткова и Бѣлинскаго.—Національная миеологическая школа. Взгляды Буслаева. Неправедливость къ XVIII вѣку.

Новѣйшее время.—Общественное значеніе преданій.—Отраженія народнаго элемента въ новѣйшей литературѣ.

Вопросъ о значеніи народной поэзіи въ нашемъ цѣломъ литературномъ развитіи и особливо въ новѣйшемъ его періодѣ очень сложенъ и долженъ быть расчлененъ, чтобы отдѣльныя части его содержанія получили правильное историческое освѣщеніе. Пересмотрѣвъ разнообразныя взгляды, какіе высказывались въ литературѣ по этому предмету еще съ XVIII в., мы встрѣчаемъ массу противорѣчій, исходявшихъ отчасти изъ теоретическихъ смѣшеній, отчасти изъ неправильныхъ историческихъ представленій о прошлой судьбѣ и смыслѣ народной поэзіи. Послѣдняя нерѣдко отождествлялась съ „народностью“, хотя одно есть только частное проявленіе другого; самая „народность“ отождествлялась съ преданіемъ стараго обычая, съ извѣстнымъ консерватизмомъ, даже косностью народныхъ массъ, хотя въ понятіи народности, народнаго существа, національнаго содержанія, очевидно, должны заключаться элементы не только историческаго преданія, но и дальнѣйшаго историческаго развитія

со всѣмъ объемомъ новаго умственнаго и нравственнаго содержанія, и новыхъ общественныхъ и бытовыхъ формъ. Когда говорится о „народности“ писателя или извѣстнаго литературнаго произведенія, она можетъ заключаться именно въ близости писателя съ этимъ глубокимъ содержаніемъ національнаго существа, но можетъ быть далека отъ спеціального, техническаго родства съ народной поэзіей: этого рода народность можетъ отражать, и дѣйствительно отражаетъ, ту нравственную связь, которая необходимо, нерѣдко какъ бы безсознательно, соединяетъ писателя съ воспитавшей его національной средой, — она скажется невольно, и чѣмъ глубже талантъ, чѣмъ сильнѣе личная воспримчивость, чѣмъ строже нравственныя требованія самого писателя, тѣмъ больше онъ можетъ стать народнымъ или національнымъ въ этомъ смыслѣ. Въ частности, народная поэзія можетъ не играть при этомъ никакой роли или же занимать только роль второстепенную — одного изъ многихъ впечатлѣній народной жизни.

Мы собрали въ другомъ мѣстѣ данныя о томъ, какъ развивался и отражался въ нашей литературѣ вопросъ народности въ смыслѣ все болѣе возроставаго въ литературѣ значенія народныхъ элементовъ содержанія и формы, въ связи съ развитіемъ общественныхъ, политическихъ и нравственныхъ интересовъ въ образованномъ кругу, и въ связи съ научнымъ изслѣдованіемъ народной жизни, — и при этомъ также народной поэзіи ¹⁾. Здѣсь мы остановимся на историко-литературныхъ отношеніяхъ собственно народной поэзіи.

Нормальное отношеніе народной поэзіи къ развивающейся искусственной литературѣ, какъ замѣчено раньше, бываетъ только тамъ, гдѣ послѣдняя естественнымъ образомъ вырастаетъ изъ національныхъ началъ, гдѣ послѣдующая ступень опирается на предыдущей безъ перерыва преданій, и такимъ образомъ развитіе сохраняетъ органическую цѣльность. Такъ было нѣкогда въ Греціи; но такъ не было вообще въ новыхъ литературахъ европейскихъ, гдѣ національные источники уже на первыхъ ступеняхъ были осложнены вліяніями христіанства и античнаго преданія. Еще меньше этой цѣльности было въ развитіи старой русской письменности, гдѣ первые шаги книжности, имѣвшей источникъ церковный, соединялись уже съ отрицаніемъ народно-поэтическаго преданія. Мы видѣли, что народная поэзія была изгнана изъ книги, была запрещаемая и проклинаема. Такимъ

¹⁾ Исторія русской этнографіи, т. I—II.

образомъ, въ той древней Руси, которая для новѣйшихъ идеалистовъ представлялась именно хранилищемъ самой подлинной народности. эта послѣдняя—въ формѣ народной поэзіи, которая считается однимъ изъ самыхъ задушевныхъ ея выраженій,—была предметомъ гоненій и провѣтій. Нѣкоторымъ изъ новѣйшихъ наблюдателей этого страннаго явленія казалось, что въ подкладѣ его лежало социальное различіе народныхъ классовъ, а именно, что старая письменность была въ рукахъ съ одной стороны правящаго класса, съ другой—союзнаго съ нимъ духовенства, и потому осталась чужда народу: такимъ образомъ собственно народная масса не находила своего представительства въ литературѣ и, сама лишенная образованія, не могла найти себѣ выраженія въ этой литературѣ ¹⁾. Это объясненіе было нѣсколько огульно, — въ письменности участвовали и люди изъ народа, — но дѣйствительно въ ней не осталось никакого слѣда защиты народнаго преданія противъ фанатическихъ книжниковъ, хотя самое преданіе продолжало существовать въ памяти и въ устахъ народа, иногда захватывая самихъ книжниковъ, какъ въ Словѣ о полку Игоревѣ. Само преданіе не успѣло сложиться въ достаточно сильное явленіе, чтобы оказать отпоръ преслѣдованію, какъ было, напримѣръ, въ поэзіи западной. Отношенія были полусознательныя: народъ про себя сберегалъ старую пѣсню, обрядъ, повѣрье, но онъ самъ не умѣлъ ни защитить ихъ передъ авторитетомъ, ни дать имъ прочной формы. Въ концѣ концовъ, хотя, повидимому, очень медленно, христіанство, съ новымъ вѣроученіемъ и съ легендарнымъ мѣстомъ, овладѣло умами: оно стало народной религіей въ видѣ „двоевѣрія“; его письменность все больше проникала въ народъ въ извѣстной популярной редакціи, и во времена Московскаго царства въ этомъ отношеніи уже не было того рѣзкаго социальнаго контраста, какой былъ предположенъ въ упомянутомъ объясненіи. Одно мировоззрѣніе стало болѣе или менѣе общимъ достояніемъ всѣхъ классовъ народа: бояринъ относительно вѣры и народнаго преданія и обряда мало отличался отъ простаго человека, —но старое преслѣдованіе народной поэзіи продолжалось и теперь: по прежнему грубому представленію не находили иныхъ средствъ помочь благочинію народа иначе, какъ повтореніемъ церковныхъ и приказныхъ заклѣтъ, полагая, что главная причина неурядицъ въ нравственной жизни народа есть бѣсовская пѣсня.

Мы довели выше разсказъ о внѣшней исторіи народной

¹⁾ Добролюбовъ, „Сочиненія“. Сиб. 1861, I, стр. 514 и далѣе.

поэзіи до конца XVII вѣка и видѣли, что XVII вѣкъ не пошелъ дальше этого вывода; но до сихъ поръ мало обращали вниманія на то, что этотъ выводъ перешелъ въ наслѣдство и къ XVIII вѣку.

Обычныя обвиненія противъ XVIII вѣка, что онъ отрекся отъ народнаго преданія, вступивъ на путь подражанія, оказываются далеко несправедливыми: если литература этого вѣка впадала въ подражаніе и осталась чужда народной поэзіи, то она уже слѣдовала примѣру XVII столѣтія. Первые писатели послѣ-Петровской литературы чуждались народной поэзіи точно такъ же, какъ книжники времянь Алексѣя Михайловича: для тѣхъ и другихъ это было нѣчто низменное по грубости народа, создавшаго эти пѣсни и сказки, и если старый книжникъ видѣлъ въ народной поэзіи остатокъ бѣсовскаго язычества (какъ училъ объ этомъ Домострой и грамоты Алексѣя Михайловича), то книжникъ послѣднихъ времянь Московскаго царства, учившійся въ Кіевской академіи или въ Заиконоспасскихъ школахъ, пренебрежительно смотрѣлъ на народную пѣсню съ высоты своей школьной учености, — притомъ для кіевлянъ это была и незнакомая пѣсня. Исторія нашего псевдо-классицизма начинается не съ Кантемира и Ломоносова, а съ Симеона Полоцкаго и другихъ книжниковъ XVII столѣтія. Извѣстная связь между двумя вѣками была и въ другомъ отношеніи. Тогда и теперь народная поэзія одинаково хранилась въ устахъ народа, и какъ въ концѣ московскаго періода она стала наконецъ завоевывать себѣ мѣсто письменности, такъ интересъ къ ней не исчезалъ и въ теченіе XVIII вѣка, не только въ средѣ простыхъ, нетребовательныхъ любителей, но и между учеными писателями псевдо-классиками и, напротивъ, становился у нихъ мало-по-малу сознательнымъ дѣломъ и возымѣлъ свои послѣдствія въ литературѣ. Знаменателенъ фактъ, что когда въ новой литературѣ возникалъ впервые вопросъ о правильной постановкѣ стихотворства, Тредьяковскій, при всемъ его ученomъ высокомѣріи, указалъ настоящее основаніе русскаго стиха въ народной пѣснѣ: римотворцы XVII вѣка не могли до этого додуматься. Далѣе, какъ въ XVII вѣкѣ первыя записи былинь появлялись въ связи съ повѣстями (обыкновенно переводными), такъ теперь народная пѣсня вспоминалась псевдо-классикамъ въ связи съ легкими стихотвореніями и пѣснями, которыя писались по иностраннымъ образцамъ: великій поклонникъ Расина и Вольтера, Сумароковъ, писалъ пѣсни по образцу народныхъ. Такимъ образомъ вѣкъ псевдо-классицизма послѣдовательно шелъ за старыми книжниками и въ

теоретическомъ пренебреженіи къ народной пѣснѣ, и въ инстинктивномъ непосредственномъ интересѣ къ народной поэзіи, но въ концѣ концовъ между ними была большая разница, заключавшая въ себѣ залогъ дальнѣйшаго литературнаго успѣха: писатели XVIII в. сѣмѣли наконецъ отнестись къ дѣлу сознательно—во всякомъ случаѣ болѣе сознательно, чѣмъ ихъ предшественники. Съ одной стороны, они сѣмѣли почувствовать въ народной поэзіи органическое созданіе народа, вслѣдствіе чего русскій народный стихъ былъ положенъ въ основу новаго стихосложенія; съ другой стороны, во второй половинѣ XVIII вѣка въ первый разъ начинается собираніе произведеній народной поэзіи. Во вкусѣ вѣка эти произведенія не получили своего самостоятельнаго мѣста,—ихъ все еще находили слишкомъ безыскусственными твореніями народной „музы“,—но во всякомъ случаѣ ихъ ставили рядомъ съ произведеніями любимымъ тогдашнихъ писателей, въ тѣхъ „Пѣсепникахъ“, которые въ записяхъ XVIII вѣка сохранили не мало прекрасныхъ произведеній этой музыки, впоследствии повидимому уже забытыхъ. Народная сказка, въ сочиненіяхъ Чулкова и подобныхъ любителей, также ставится рядомъ съ волшебными и чудесными переводными повѣстями, какія были тогда въ ходу. Собираются народныя пословицы—притомъ не только въ подправленной формѣ, какъ у Богдановича, но и въ ихъ подлинномъ народномъ видѣ¹⁾. Когда во второй половинѣ XVIII вѣка началась дѣятельность Новикова, любовь къ старинѣ представляется уже цѣлымъ сознательнымъ направленіемъ, которое возымѣло потомъ обширное вліяніе не только въ исторической разработкѣ старины, но и въ литературѣ...

Далѣе скажемъ, какъ этотъ интересъ къ старинѣ получалъ тогда окраску патріотическаго отрицанія иностранныхъ вліяній въ общественныхъ нравахъ, воспитаніи и т. п. Впоследствии думали, что Новиковъ вмѣстѣ съ другими писателями, которые высказывали подобное отрицаніе иноземныхъ образцовъ вмѣстѣ съ восхваленіемъ слагочестивой старины, были прямыми предшественниками новѣйшихъ приверженцевъ старины, напр., въ славянофильской школѣ. Подобныя сравненія не совсѣмъ точны: тотъ же Новиковъ, превозносившій древне-русскія добродѣтели и осуждавшій подражаніе иноземцамъ, въ сущности говорилъ это лишь въ извѣстныхъ предѣлахъ, которые ему самому не были ясны,—въ то самое время онъ въ своемъ „Словарѣ“ восхвалялъ „зна-

¹⁾ Укажемъ, напримѣръ, прекрасный небольшой сборникъ, до сихъ поръ мало замѣченный: „Пословицы и поговорки простонародныя“, въ книжкѣ: „Любовники и супруги, или мужины и женщины. Г. Г.“ (Глаба Громова). Слб. 1798, стр. 206—224.

менитыхъ русскихъ писателей“, которые были именно преисполнены явнаго подражанія иноземцамъ, и онъ самъ въ своемъ мистическомъ направленіи подчинялся иностраннымъ образцамъ. Важность иноземной науки, разъяснявшей вопросы исторіи, общества, нравственности, не подлежала для Новикова сомнѣнію, какъ онъ умѣлъ цѣнить значеніе лучшихъ европейскихъ писателей: въ мистическій періодъ его жизни лучшимъ его другомъ былъ настоящій „нѣмчикъ“, Шварцъ; въ Дружескомъ Обществѣ воспитывался Карамзинъ, почитатель европейскаго просвѣщенія и другъ Карамзина, Петровъ становился поклонникомъ Шекспира... Новиковъ не сумѣлъ только свести въ опредѣленную формулу своихъ общественныхъ стремленій.

Это было цѣлое новое явленіе нашего литературнаго развитія, Съ конца, даже съ половины, XVIII столѣтія открывается исканіе народной почвы, сначала полусознательное, потомъ все болѣе опредѣленное. Движеніе возникло изъ внушеній общественнаго свойства, развивавшихся подъ вліяніемъ новаго образованія, и счастливо, но и логично, совпадавшихъ съ инстинктивными сочувствіями къ народу и народности. Здѣсь былъ источникъ дѣятельности Новикова и его лучшихъ современниковъ—источникъ его сатиры, его увлеченій стариною и даже вполнѣдствіи его мистицизма. Широкіе планы Дружескаго Общества остаются свидѣтельствомъ его желанія расширить умственный горизонтъ общества, положить основы новаго просвѣщенія: въ Дружескомъ Обществѣ была забота о широкомъ образованіи его питомцевъ, и о дѣйствіи на общество въ смыслѣ нравственнаго перевоспитанія; какъ самъ Новиковъ, такъ и многіе изъ его круга были убѣждены въ ненормальности и безнравственности крѣпостного поработенія крестьянъ. Нуженъ былъ идеалъ, и этого идеала стали искать въ полузабытой старинѣ, изъ которой можно было извлечь по желанію образцы добродѣтели и мудрости, забывши образцы пороковъ и невѣжества. Это обращеніе было вполнѣ естественно: куда иначе можно было обратиться, чтобы высказать свое негодованіе противъ даннаго порядка вещей, гдѣ властвовалъ крѣпостной произволъ, гдѣ забывались обязанности къ той народной массѣ, на которой утверждалось могущество государства и самое богатство господствующаго сословія, и для которой не находилось ни матеріальной помощи, ни добраго слова.

При всей приверженности къ старинѣ, Новиковъ и люди его круга были несомнѣнными питомцами того самаго европейскаго образованія, противъ котораго они какъ будто возставали; въ то

же самое время въ нихъ несомнѣнно сберегалась та связь съ народомъ, которую будто бы отвергалъ XVIII вѣкъ... Въ той массѣ крупныхъ и мелкихъ нововведеній, какія приносила реформа, дѣйствительно отвергнуто было многое, что было привычнымъ преданіемъ старины; но въ своемъ существѣ реформа оставалась дѣломъ глубоко національнымъ, именно потому, что давала наконецъ просторъ умственнымъ и нравственнымъ силамъ народа и указывала для нихъ новый путь. Въ силу этого происходило явленіе, которое не только не протворѣло реформѣ, но именно отвѣчало ей существу, явленіе, состоящее въ томъ, что въ теченіе XVIII вѣка новое образованіе съ особенною ревностью направилось на изученіе русской земли и народа, какое въ этомъ духѣ и въ этихъ размѣрахъ XVII вѣку было совсѣмъ неизвѣстно. Таковы были географическія и этнографическія изслѣдованія, произведенныя многочисленными экспедиціями того времени; таковы были первые опыты научной исторіи (Манкиевъ, Татищевъ, кн. Щербатовъ, Болтинъ, „Вивліоника“ Новикова, Голиковъ), и совершенно естественно шелъ рядомъ съ этимъ все большій интересъ къ народному быту и поэзіи. Историки, какъ Татищевъ, въ объясненіяхъ исторической старины впервые ссылаются на народный обычай, припоминаютъ народныя пѣсни; Новиковъ, среди работъ по русской древности и среди мистической философіи, считаетъ нужнымъ издать пѣсенникъ; Чулковъ, издатель пѣсенъ и сказокъ, пишетъ „Абевегу русскихъ суетвѣрій“; авторъ „Душеньки“ собираетъ народныя пословицы, хотя портитъ ихъ литературными подправками; одинъ изъ первѣйшихъ стихотворцевъ своего времени, И. И. Дмитріевъ, издаетъ сборникъ народныхъ пѣсенъ, хотя также желаетъ нѣсколько прикрасить ихъ, по своимъ понятіямъ объ изяществѣ; его другъ, Карамзинъ затѣваетъ поэму въ предполагаемомъ духѣ народной поэзіи, и подъ тѣми же влеченіями къ народной старинѣ пишетъ свои историческія повѣсти; самъ пѣвецъ сѣверной Семирамиды съ одной стороны желаетъ рисовать сельскую народную идиллію, съ другой—сѣдую древность и новгородскихъ волхвовъ; среди ничѣмъ еще не нарушеннаго господства псевдоклассицизма, писателей той эпохи влечетъ къ изображенію реальныхъ сценъ народнаго быта, какъ Василя Майкова и иныхъ; писатели драматическіе желаютъ ввести этотъ бытъ на сцену, какъ Аблесимовъ, какъ сама императрица Екатерина и др. Наконецъ, эпизоды народной жизни и вмѣстѣ эпизоды народной поэзіи являются въ неожиданно сильныхъ для XVIII вѣка картинахъ „Путешествія изъ Петербурга въ Москву“.

Такимъ образомъ, не выходя изъ XVIII вѣка, нельзя не видѣть возрастающаго стремленія къ изученію русской жизни. Именно въ противность тому, что говорилось о разрывѣ образованности прошлаго вѣка съ народомъ, видимъ явныя старанія изучать народную жизнь и усваивать ея поэтическіе элементы, — еще въ то время, когда школьная теорія поучала о „низкой природѣ“ и „грубости“ народной пѣсни. Дѣйствовали здѣсь въ равной мѣрѣ какъ инстинктивная привязанность къ народно-поэтическому содержанію, когда пѣсня и сказка были еще живой стѣпной не только въ народномъ, но и въ помѣщичьемъ быту стараго вѣка (до временъ Пушкина и его знаменитой нянюшки), такъ и новое образованіе, научавшее все болѣе сознательно смотрѣть на исторію и жизнь своего народа, внушавшее любознательность и нравственный интересъ къ его преданіямъ.

Въ самой европейской литературѣ интересы подобнаго рода только-что возникали. Еще далеко было до философско-историческихъ теорій и идеаловъ Гердера, сполна господствовалъ высокоумный классицизмъ, и наши первые любители народной старины собственными средствами старались понять ея значеніе, шли ощупью, — не мудрено, что въ ихъ отношеніи къ народности было еще много неяснаго, но въ цѣломъ это явленіе было чрезвычайно знаменательно. Нашъ восемнадцатый вѣкъ именно хотѣлъ возстановлять органическую связь съ тѣмъ народнымъ преданіемъ, — которое такъ усиленно старался заглушить фанатизмъ XVII столѣтія, съ одной стороны проклиная наивную „старую вѣру“, съ другой, преслѣдуя народную поэзію, какъ дѣло дьявола. Восемнадцатый вѣкъ чрезвычайно характерно начинается писаніями стариннаго русскаго человѣка, умѣвшаго понять реформу, Посошкова, и завершается сочиненіями ревностнаго послѣдователя всякихъ западныхъ философій, сѣумѣвшаго, однако, понять русскую народную жизнь, Радищева... При всѣхъ страшныхъ тягостяхъ, какія пришлось вынести русскому народу въ переломѣ XVIII вѣка, при всей грубости нравовъ и невѣжествѣ, которыя въ значительной мѣрѣ должны были отнесены на счетъ прежняго вѣкового застоя, это обращеніе къ народу было именно указателемъ органическаго значенія реформы.

Съ этимъ неопредѣленнымъ влеченіемъ къ народу общество вступало въ девятнадцатое столѣтіе. Инстинктъ угадывалъ нравственно-воспитательное и литературное значеніе народно-поэческаго преданія, но еще не могъ осмыслить того и другого ни научнымъ доказательствомъ, ни общественнымъ пониманіемъ. Историкъ извлекалъ изъ народной пѣсни какое-либо бытовое указаніе

или историческое воспоминаніе, догадывался, что пѣсня идетъ изъ далекихъ вѣковъ и сохраняетъ изъ нихъ нѣчто въ своемъ содержаніи,—но не умѣлъ понять этого цѣльно и систематически. Любитель народности наслаждался сельской идилліей, угадывалъ поэтическую красоту пѣсни,—но съ идилліей умѣлъ соединять понятія откровеннаго крѣпостничества, и т. п. Въ этомъ неясномъ влеченіи къ народному были, однако, задатки дальнѣйшаго болѣе серьезнаго пониманія. Историческое изслѣдованіе, получивъ опору въ успѣхахъ исторической критики, съ помощью европейской науки, должно было придти къ систематическому взгляду на предметъ; сентиментальная идиллія сама по себѣ была уже большимъ прогрессомъ въ сравненіи съ прежнею грубостью понятій ¹⁾, и подражая Стерну, Радищевъ умѣлъ правдиво почувствовать и смѣло высказать негодованіе противъ угнетенія народа...

Этимъ начаткамъ, въ области вопросовъ народной поэзіи, предстояло развиться въ девятнадцатомъ столѣтіи съ одной стороны въ обширное научное изслѣдованіе, съ другой—въ восторженный идеализмъ, разныхъ направленій.

Это шло послѣдовательно, шагъ за шагомъ, подъ сложными вліяніями общественными, литературными и научными. Довольно напомнить, какъ во времена Александра I въ молодыхъ поколѣніяхъ развивался интересъ къ положенію народа и мысль объ освобожденіи крестьянъ; какъ событія Двѣнадцатаго года и ихъ продолженіе въ Европѣ произвели національное возбужденіе, которое отразилось возвышеніемъ понятій о народности и народѣ; какъ литературный романтизмъ въ его разныхъ отбѣнкахъ перенесъ на нашу почву ту поэзію, которая искала пищи въ старомъ народномъ преданіи. Послѣ опытовъ Жуковского, Пушкинъ узаконилъ въ нашей литературѣ эту поэтическую реставрацію старины сказочной, героической и исторической; богатый языкъ его поэзіи такимъ же образомъ узаконилъ право народной рѣчи въ литературномъ языкѣ. Послѣ Пушкина и Гоголя, изображеніе

¹⁾ „Конечно, говорить о временахъ Карамзина авторитетный знатокъ стараго русскаго быта,—было очень много смѣшнаго въ подобныхъ вліяніяхъ чувствительности, которая съ разсудочной и остроумной точки зрѣнія всегда оказывается довольно глуповатою, но въ этомъ сентиментальномъ настроеніи литературныхъ вкусовъ все-таки слышался хотя и слабый отголосокъ обще-европейскихъ гуманныхъ стремленій: чувствительность къ красотахъ природы вызвала чувствительность къ человеку. Въ туманныхъ образахъ сентиментальности все-таки являлся, хотя тоже въ болѣе еще туманѣ, идеалъ, которому вѣра было—человѣчность, и который вмѣстѣ съ тѣмъ очень ясно заявлялъ свои требованія о правахъ человека на свободу и независимость чувства. Для русскаго общества это былъ первый привѣтливый голосъ, звучавшій объ освобожденіи человѣческихъ чувствъ изъ крѣпостной зависимости многообразныхъ бытовыхъ порядковъ, нажитыхъ вліяніемъ и развитіемъ стараго „Домостроя“... Забѣлины, „Кунцово и древній Сѣтунскій станъ“. М. 1873, стр. 10—11.

дѣйствительности народнаго быта и разработка его поэтическихъ элементовъ стали постоянной принадлежностью русской литературы, на которой въ одно и то же время развивалась самостоятельность художественнаго творчества и общественный интересъ къ народной жизни. Достаточно назвать имя Лермонтова, который въ пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ далъ не превзойденный донинѣ образецъ поэтическаго возсозданія народнои старины; Кольцова, который въ тѣ же годы писалъ свои пѣсни, хотя независимыя отъ непосредственнаго преданія, но поражающія необычайною свѣжестью и яркостью народно-поэтическаго стиля и языка; Даля, рассказы котораго высоко цѣнились по единственному въ то время этнографическому знанію быта, — довольно назвать эти имена, чтобы видѣть, что уже въ то время въ общемъ настроеніи литературы готовилась почва для идеализаціи народности.

Присоединились, наконецъ, вліянія научныя.

Упомянутое движеніе развивалось само собою въ чисто-литературной области и тѣмъ самымъ свидѣтельствовало, что въ обществѣ интересъ къ народному являлся естественнымъ результатомъ накопившихся издавна впечатлѣній и настроеній. За первое время девятнадцатаго вѣка это движеніе не могло пока опереться на какую-нибудь научную теорію. Мало-по-малу, однако, собирались факты и подготавливались соображенія, которые побуждали, наконецъ, ставить общій вопросъ объ историческомъ значеніи народной поэзіи и объ ея роли въ развитіи національной литературы. Прежде всего все возрасталъ авторитетъ Слова о полку Игоревѣ: оно долго не было понято ни по языку, ни по стилю, но съ теченіемъ времени въ немъ начали уразумѣвать не „ироническую поэмѣ“ въ псевдо-классическомъ родѣ, а своеобразное произведеніе древней русской поэзіи, и ему посвящена была масса комментариевъ. Другимъ фактомъ было открытіе сборника Кирши Данилова: ученый издатель этого сборника, тогда одинъ изъ лучшихъ знатоковъ древней письменности, Калайдовичъ, судилъ объ этихъ „стихотвореніяхъ“ пока еще съ привычною псевдо-классической точки зрѣнія. Это было въ 1818 году. Вскорѣ послѣ того стали у насъ извѣстны мнимо-древніе памятники чешской литературы: „Любушинъ Судъ“ и „Краледворская рукопись“. Эти поддѣлки, для своего времени исполненныя очень искусно, долго держали ученый міръ въ полномъ заблужденіи. Появленіе памятниковъ мнимой далекой древности произвело у чеховъ сильное впечатлѣніе и въ трудные годы начинавшагося чешскаго возрожденія исполнило ихъ патріотическимъ одушевленіемъ; оно отразилось во всѣхъ славянскихъ литерату-

рахъ, переживавшихъ тотъ же процессъ, и, наконецъ, отозвалось у насъ, поддерживавъ первый интересъ къ славянскому литературному движенію. Тогда же узнали у насъ о трудахъ серба Вука Стефановича Караджича, прославившагося и внѣ славянскихъ земель изданіемъ сербскихъ народныхъ пѣсень. Спустя немного времени, началась въ русской литературѣ дѣятельность еще одного восторженного славянолюбца, но и фантаста, Венелина. Стали доходить вѣсти о славянскомъ движеніи, о совершаемыхъ трудахъ по общей славянской древности, объ открываемыхъ сокровищахъ народной поэзіи, о патріотическомъ одушевленіи славянскихъ дѣятелей, которые въ обращеніи къ народнымъ массамъ, вѣрно хранившимъ старину, почерпали твердую вѣру въ возрожденіе славянскаго народнаго начала—прежде всего въ поэзіи и въ литературѣ. Отголоски славянскаго движенія доходили, между прочимъ, изъ польской литературы, съ которой было тогда нѣкоторое дружелюбное общеніе: были извѣстны сочиненія ученаго Линде, польскаго романтика и славянолюбца Казимира Бродзинскаго, начинавшаго Мацѣвскаго, Кухарскаго, Лелевеля. Все это было пока весьма неясно, но находило себѣ опору въ настроеніяхъ самой русской литературы, между прочимъ, совсѣмъ въ противоположныхъ лагеряхъ: самъ Шишковъ переводилъ въ Россійской Академіи древнія чешскія поэмы и вступалъ въ сношенія съ славянскими учеными,—въ ожиданіи успѣховъ своего архаическаго корнесловія; Пушкинъ переводилъ „пѣсни западныхъ славянъ“ въ интересахъ романтизма; зарождалась группа народолюбцевъ, которая, на разныхъ ступеняхъ образованія, ожидала то возрожденія цѣлаго славянскаго міра, въ параллель съ западно-славянскими патріотами, какъ, напримеръ, Венелинъ, потомъ Погодинъ, то, по крайней мѣрѣ, изгнанія иноземцевъ, особливо нѣмцевъ, изъ Россіи, какъ, напримеръ, Сахаровъ, и т. п. Это смутное ожиданіе литературнаго и общественнаго обновленія путемъ общенія съ цѣлымъ славянскимъ міромъ (о которомъ имѣли пока весьма темное представленіе) наполняетъ двадцатые и тридцатые года; но въ теченіе этого времени появляются и признаки серьезнаго научнаго движенія, когда въ изученіи славянской древности выступали такіа крупныя силы, какъ Востоковъ и Калайдовичъ, когда Кёппенъ завязывалъ личныя сношенія съ руководящими людьми западнаго славянства, когда въ концѣ тридцатыхъ годовъ Бодянский писалъ диссертацию о народной поэзіи славянскихъ племенъ, когда въ то же время рѣшался вопросъ объ основаніи славянскихъ кафедръ въ русскихъ университетахъ и отправлены были за границу мо-

лодые талантливые ученые, уже теперь энтузіасты своего дѣла, будущіе основатели русскаго славновѣдѣнія. Возникалъ, наконецъ, тотъ идеализмъ, который стремился отыскать національныя начала самой русской жизни,—онъ обращался для этого къ старинѣ и вмѣстѣ мечталъ о славянскомъ единствѣ, которое также было для этого нужно: въ двадцатыхъ годахъ, въ средѣ либеральнаго молодого поколѣнія, будущихъ декабристовъ, было уже основано тайное общество „Соединенныхъ Славянъ“; въ 1832 году написано было извѣстное стихотвореніе Хомякова „Орелъ“. Когда въ тѣ же годы официально заявлено было въ извѣстномъ символѣ С. С. Уварова начало „народности“, въ этомъ заявленіи увидѣли искомое опредѣленіе государственныхъ и общественныхъ основъ русской жизни. Правда, понятіе народности давало мѣсто весьма различнымъ толкованіямъ; большинство на первое время поняло ее въ томъ смыслѣ, какъ имѣлъ въ виду самъ Уваровъ — въ смыслѣ консервативной неподвижности, неизмѣннаго продолженія стараго преданія, которому народъ предполагался строго вѣрнымъ:—не хотѣли признать, что самая народность не была достаточно изучена, что теоретически предполагаемый народъ могъ стремиться не только къ сохраненію старины, но, быть можетъ, еще больше къ новымъ формамъ жизни, гдѣ, напримѣръ, онъ могъ прежде всего искать освобожденія, поднятія какъ своихъ гражданскихъ правъ, такъ и образовательнаго уровня, которое одно могло дать просторъ его труду, его умственнымъ силамъ, сознанію, и дать ему все нравственное достоинство. Этотъ послѣдній взглядъ въ тѣ времена не могъ быть даже высказанъ, и осталось пока господствовать только чисто-консервативное толкованіе теоріи.. Къ счастью, это официальное заявленіе „народности“, хотя понятой внѣшне и бюрократически односторонне, въ извѣстной степени помогло распространенію поисковъ въ археологін, исторіи и этнографіи.

Въ близкомъ къ этому направленіи, особаго рода упорнаго консерватизма, полу-арханческаго, полу-народническаго, велъ свою дѣятельность Сахаровъ, первый послѣ конца XVIII вѣка собиратель „сказаній“ русскаго народа. Вѣрное послѣдованіе старинѣ должно было предохранить насъ отъ всякой порчи: всѣ бѣды русской жизни происходили изъ одного источника — изъ допущенія въ Россію иноземцевъ и подражанія имъ; иноземцы были для Сахарова предметомъ настоящей ненависти, подражаніе имъ — измѣной своему народу. Чисто русское сохранилось только въ народѣ, и въ силу этого мнѣнія у Сахарова была черта извѣстнаго демократизма, къ сожалѣнію, соединявшагося съ малымъ

образованіемъ. Позднѣйшая критика нашла крупные недостатки въ его сборникахъ, которые не оправдывали его высокоумія относительно прежнихъ собирателей, нашла въ нихъ прямые заимствованія изъ тѣхъ же старыхъ сборниковъ, какіе онъ бранилъ, искаженіе пѣсенъ на предполагаемый древній ладъ, наконецъ прямо поддѣлки ¹⁾: но съ одной стороны такъ ново было собраніе пѣсенъ, повѣрій, описаній обрядовъ и т. п. и такъ былъ невеликъ этнографическій опытъ, что въ свое время изданія Сахарова составили ему большую славу.

Подъ вліяніемъ указанныхъ условий: продолжавшагося непосредственнаго интереса къ народной пѣснѣ и преданію, романтическихъ внушеній, вѣстей о славянскомъ возрожденіи и славянской народной поэзіи, возникавшаго общественнаго интереса къ народу, неясныхъ предчувствій, на которыя наводили толки о народности, открытій въ области самой русской старины, ссѣднаго движенія въ Малороссіи,—въ тридцатыхъ годахъ народность становится предметомъ оживленныхъ разсужденій въ литературѣ, народная пѣсня—искомымъ сокровищемъ, отъ котораго ожидаютъ настоящихъ откровеній: какъ общественныхъ, потому что въ пѣснѣ думали найти полное выраженіе народнаго характера; такъ и литературныхъ, потому что въ ней предполагались или уже были извѣстны образчики самой настоящей поэзіи, къ пониманію которой приготовилъ романтизмъ. Извѣстно, какъ пѣсни интересовали Пушкина, какую славу доставилъ Петру Кирѣевскому его едва только начатый сборникъ ²⁾; въ который между прочимъ самъ Пушкинъ дѣлалъ свои вклады; извѣстно, какимъ восторгамъ отдавался Гоголь по поводу пѣсенъ малорусскихъ. Къ сороковымъ годамъ этотъ интересъ созрѣлъ настолько, что надо было ожидать, наконецъ, болѣе близкаго вниманія къ предмету и со стороны литературной критики, которой предстояло бы разъяснить художественное значеніе народной поэзіи въ ея отношеніяхъ къ литературѣ, и со стороны науки, которой предстояло бы объяснить ея значеніе историческое. Очевидно, что главное было бы именно въ этомъ послѣднемъ, потому что истинный смыслъ народной поэзіи могъ быть раскрытъ лишь тогда, когда было бы объяснено ея происхожденіе и свойство

¹⁾ Ср. „Ист. русской этнографіи“, т. I, стр. 300 и далѣе; Безсоновъ, въ „Пѣсняхъ Кирѣевскаго“, вып. 4—5, примѣчанія издателя; Потебня, „Объясненія малорусскихъ и сродныхъ пѣсенъ“, I, стр. 26, 89. Напримѣръ, въ извѣстной пѣснѣ о сѣнѣхъ проса, Сахаровъ, вмѣсто стиха: „а мы дадимъ сто рублей“, пишетъ: „а мы дадимъ веверицу“ или: „сто гривенъ“, желая придать пѣснѣ архаическій видъ, и т. п. Ср. „Поддѣлки рукописей и нар. пѣсенъ“ Спб. 1898, изд. Общ. люб. арх. письменности.

²⁾ Еще донынѣ выодитъ неизданный.

того міровоззрѣнія, которому принадлежали ея миѳическія, бытовыя и поэтическія представленія. Но эти изслѣдованія требовали научной шеолы, и въ литературномъ обращеніи еще долго оставались тѣ понятія, какія были намѣчены двадцатыми и тридцатыми годами. Но въ этихъ взглядахъ появились уже извѣстные оттѣнки. Въ сороковыхъ годахъ готовилось и, наконецъ, высказалось раздѣленіе нашего литературнаго міра на два извѣстныхъ лагеря. Основное философское различіе ихъ отразилось и во взглядахъ на старину. Въ то время, какъ одни видѣли въ ней именно подлинное, самобытное созданіе народнаго духа, которое мы должны хранить и въ томъ же направленіи развивать, чтобы сохранить національное достоинство и самый смыслъ своего историческаго существованія, — другіе видѣли въ ней только пройденную историческую ступень, за которою передъ народомъ являются новыя, болѣе широкія задачи. На одной сторонѣ народная поэзія казалась откровеніемъ народнаго духа и завѣтомъ; на другой — остаткомъ младенческаго періода народной жизни, и ея произведенія — наивнымъ лепетомъ въ сравненіи съ высокими созданіями зрѣлаго искусства. Отраженія подобныхъ взглядовъ мы встрѣтимъ не только въ сороковыхъ годахъ, но и послѣ; къ нимъ, однако, начинаютъ присоединяться новыя точки зрѣнія, которыя возникали въ результатѣ начавшихся изслѣдованій. Народная пѣсня находитъ ревностныхъ любителей, которые умѣли оцѣнить въ ней самой, независимо отъ каковаго-либо теоретическаго взгляда, великія поэтическія достоинства, — и отсюда развивалось высокое представленіе о народѣ, который способенъ былъ создать эту замѣчательную поэзію: едва ли мы ошибемся, что въ настроеніи тогдашнихъ любителей народной поэзіи былъ первый историческій зародышъ позднѣйшаго народничества. Съ другой стороны, успѣхи исторической критики вводили народное преданіе и народную поэзію въ рядъ историческихъ свидѣтельствъ о древнихъ вѣкахъ народной жизни: эти преданія, обряды, народные пѣсни, когда заключался въ нихъ бытовой археологическій намекъ, должны были подвергнуться изслѣдованію, и съ конца сороковыхъ и въ пятидесятыхъ годахъ начинается дѣйствительно старательное изученіе древняго быта и миѳологіи, въ которое все больше вводится матеріалъ современнаго народнаго преданья, обряда и поэзіи. Въ ряду этихъ художественныхъ цѣнителей назовемъ, напримѣръ, Аполлона Григорьева; въ ряду историческихъ изслѣдователей — Надеждина, Снегирева, Кавелина, Соловьева, Калачова, наконецъ Буслаева и Афанасьева.

Возвращаясь къ сороковымъ годамъ, уважемъ, напримѣръ, взгляды двухъ писателей такъ называемаго западнаго лагеря.

По поводу сборника Сахарова, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1840 г. была помѣщена обширная статья, которая характерно совмѣщаетъ и прежнее инстинктивное возвеличеніе народной поэзіи, какъ поучительнаго наслѣдія предковъ, и назрѣвающую потребность научной критики, которая раскрыла бы наконецъ таинственный смыслъ этого наслѣдія. Авторъ статьи не есть наивный народолобецъ, а новѣйшій гегеліанецъ, который стремится къ постановкѣ цѣлаго вопроса, къ объясненію самого существа того процесса, какимъ создавалась народная поэзія, и результатъ этого процесса. Жизнь народа проходитъ три ступени развитія: семейный бытъ; жизнь общественная, изъ которой развивается государство; духовная дѣятельность, которая создаетъ его міровоззрѣніе, міеологію, поэзію; но въ своемъ первобытномъ патріархальномъ состояніи народъ не остается чуждъ высшимъ порывамъ духа; въ его мысли и фантазіи отражаются глубочайшія стремленія его существа и выраженіемъ ихъ является пѣсня. Авторъ негодуетъ на то, что наша народная поэзія остается не собранной и не вызываетъ изысканій, которыя должны объяснить ея значеніе; негодуетъ на ученыхъ педантовъ, которые все еще заняты спорами о варяго-руссахъ, копаются въ архивной пыли и не видятъ цѣлаго философскаго вопроса русской исторіи. Авторъ призываетъ архивныхъ ученыхъ къ изслѣдованію народного творчества. „Выйдите изъ вашего душнаго заточенія, выйдите подъ открытое небо, на чистый воздухъ; здѣсь обновятся ваши истощенныя силы, освѣжатся ваши блѣдныя лица; здѣсь солнце,—въ вашихъ кабинетахъ тусклая лампа; здѣсь жизнь,—въ вашихъ кабинетахъ смерть и тлѣніе; здѣсь трудъ не изнуруетъ, здѣсь трудъ живить, и здѣсь онъ легокъ и сладокъ... Собирайте русскія пѣсни, изучать ихъ; критизировать, по крайней мѣрѣ съ исторической точки зрѣнія обязаны болѣе, нежели кто-нибудь, занимающіеся исторіею Руси: кто будетъ отрицать, что пѣсни народа суть одинъ изъ самыхъ важныхъ, изъ самыхъ существенныхъ источниковъ для его исторіи? Скажемъ болѣе: нигдѣ народныя пѣсни не могутъ имѣть такого значенія, не заключаютъ въ себѣ столько важности для исторіи, какъ у насъ. Славянскія племена такъ бѣдны памятниками другого рода, жизнь многихъ изъ нихъ и теперь еще чужда всемірно-историческаго прогресса; они всѣ очень хорошо сознаютъ это и обращаютъ все вниманіе на единственное выраженіе своей внутренней жизни—на пѣсни. Русскій народъ былъ также долго

внѣ этого всемірно-историческаго развитія; до него также долго не касались идеи, двигавшія человѣчество; онъ долго зрѣлъ одиноко, замкнутый со всѣхъ сторонъ, и только готовился — готовился тихо, едва замѣтно — къ своему высокому назначенію, въ которое ввелъ его гений великаго Петра. Только съ Петра возникла Россія, могучее, исполинское государство, только съ Петра русскій народъ сталъ націею, сталъ однимъ изъ представителей человѣчества, развивающимъ своею жизнію одну изъ сторонъ духа; только съ Петра вошли въ его организмъ высшіе духовные интересы; только съ него началъ онъ принимать въ себя содержаніе развитія человѣчества. А до Великаго у насъ не было ни искусства, въ собственномъ смыслѣ этого слова, ни науки. — У насъ нѣтъ готическихъ храмовъ, у насъ нѣтъ ни произведеній художественной кисти, ни произведеній рѣзца, у насъ не было музыки. Народъ еще не созрѣлъ тогда для такихъ проявленій своего существа: онъ былъ весь погруженъ въ естественную жизнь, которая можетъ обнаруживаться въ естественной же, въ наивной формѣ. Эта наивная форма выраженія жизни народной есть народная поэзія. Въ самомъ дѣлѣ, у насъ очень мало предметовъ, непосредственно выражающихъ натуру русскаго народа, и ни одного, который бы равнялся въ важности пѣснямъ "... Мы не говоримъ здѣсь, — прибавляетъ авторъ, — объ исторіи въ тѣсномъ смыслѣ, о политическихъ фактахъ, въ которыхъ также выражается, или, лучше сказать, проявляется жизнь народа: они относятся къ другой категоріи" ¹⁾.

Указавъ тяжелую судьбу, въ которой древняя Русь перенесла столько испытаній, авторъ говоритъ, что этотъ періодъ жизни русскаго народа былъ, однако, приготовленіемъ къ великому будущему. „Отъ монгольскаго ига востепенулось и обнаружилось сердце Руси, боль отозвалась въ немъ, и кровь вдругъ, сначала неровно и бурно, хлынула къ нему. Это сердце дотогѣ таинственно крившееся, это сердце — Москва. Магнетическая сила сердца волею или неволею начала привлекать къ себѣ, или, лучше, совокуплять въ организмъ растерзанные члены... Съ Іоанна III на Руси начался разсвѣтъ... Мракъ разсѣялся и прогрессъ развитія явственно обнаружился. Нужно ли говорить о томъ, какое великое значеніе имѣетъ въ русской исторіи Іоаннъ Грозный;

¹⁾ Укоряя нашихъ ученыхъ въ равнодушіи къ народнымъ пѣснямъ, авторъ замѣчаетъ здѣсь: „Давно уже общана намъ большая, ученая коллекція русскихъ пѣсенъ, взоры всѣхъ любителей народной поэзіи съ ожиданіемъ устремлены на г. Кирѣвскаго, но онъ медлитъ и медлитъ; его изданіе мелькаетъ передъ нами въ туманной дали будущаго, какъ прекрасная мечта, къ которой мы привязаны даже и тогда, когда не совсѣмъ вѣрна надежда на ея осуществленіе“.

какъ необходима была въ ней власть этого могучаго истребителя всего, что еще оставалось отъ предшествовавшаго періода, — этого царя-исполина, такъ мощно скрѣпившаго желѣзными руками только-что сочленившійся организмъ, и въ лицѣ бояръ нещадно поражающаго отжившихъ свое время удѣльныхъ владѣльцевъ? Нужно ли говорить о томъ, какъ благотворна была для юнаго организма послѣдняя страшная буря, разразившаяся надъ цѣлою Россіею, буря самозванства, довершившая своимъ потрясеніемъ организацію частей, пробудивъ въ народѣ такое энергическое чувство единокровности... И вотъ на огромномъ пространствѣ лежитъ распростерто колоссальное тѣло недвижимо, еще покрытое запекшеюся кровью столькихъ павшихъ за него въ жертву поколѣній, и ждетъ гласа Божія, чтобы воздвигнуться и воспрянуть на подвигъ жизни... И гласъ Божій провѣщалъ въ нему устами величайшаго въ человѣчествѣ мужа... Когда тѣло было готово и достойно пріять въ себѣ душу, провидѣніе воззвало Петра, — и онъ вдунулъ въ лицо мертвому духъ всемірной жизни, и распахнулъ врата Европы, и свѣжій воздухъ проникъ исполина; могучія силы заиграли въ немъ, и онъ поднялся въ громадномъ величіи“.

Итакъ, не безплодна была историческая жизнь народа, создававшего необъятную и неодолимо мощную внутри и вкѣ монархію. Эта монархія свидѣтельствуешь о силѣ создаващаго ее народа, потому что какое государство, не исключая и древняго Рима, можетъ сравниться съ нею по объему, могуществу и изумительной силѣ ассимилированія? Достигнувъ этого величія, Россія начала жить всею полнотою свѣжихъ силъ... Оглянувшись на это прошлое, „мы открыли смыслъ жизни русской, мы приобрѣли теперь тактъ для всѣхъ проявленій русскаго духа, мы нашли для нихъ критеріумъ“. Имѣя этотъ критеріумъ, мы можемъ приступить къ изученію свойствъ русскаго духа: „гдѣ-жъ какъ не въ самой свѣтлой и прозрачной его формѣ, въ той формѣ, въ которой онъ предстанетъ намъ лицомъ къ лицу, гдѣ-жъ, какъ не въ поэзіи, будемъ мы изучать его?“

Внутреннее состояніе народа, создававшаго свою поэзію въ тяжкіи времена своей исторіи, искавшаго въ ней выхода для своихъ духовныхъ силъ, желавшаго забыться отъ мрачной дѣйствительности, авторъ изображаетъ такую картиною „разлива“ народной души, такъ называемаго русскаго разгула: „Загнанная внутрь самой себя горькою, злою дѣйствительностію, вся сосредоточенная въ безнадежномъ чувствѣ унынія, русская душа вдругъ приходила въ судорожное потрясеніе, разрывала поглощавшее ее

чувство, выбивалась изъ самой себя, съ неодолимою силою разбѣгалась во всѣ стороны, низвергая и уничтожая все встрѣчное, разливалась и терялась въ безконечности пустаго пространства. Ничто не было сильно удержатъ этотъ могучій разливъ. Тутъ уже все исчезало, все молено: струны разрывались и послѣдніе заунывные стоны ихъ обнимались шумомъ разлива, быстро подхватывались и быстро разносились вихремъ внезапнаго стремленія, и наконецъ умирали въ трепетныхъ отголоскахъ... Всѣ преграды низвергнуты—ничего нѣтъ, ничего не видать, ничего не слышать, только высота поднебесная, да глубина моря-окіяна“.

Внутренній смыслъ „разлива“ состоятъ въ слѣдующемъ: „Въ народахъ, находящихся, какъ говорятъ нѣмцы, *im Werden*, въ томъ состояніи развитія, когда они только становятся тѣмъ, чѣмъ будутъ со временемъ дѣйствительно, живетъ всегда инстинктивное сознаніе того, что сокрыто въ тайникахъ ихъ существа, того, что нужно имъ, предчувствіе будущей дѣйствительности, въ которой найдутъ они свое опредѣленіе. Ихъ будущее назначеніе является въ нихъ какимъ-то смутнымъ идеаломъ, въ которомъ основа совпадаетъ съ основой дѣйствительности, еще не наставшей, и съ тѣмъ, слѣдовательно, чего требуетъ отъ нихъ настоящее ихъ назначеніе. Въ этомъ-то идеалѣ, въ этомъ инстинктѣ своего назначенія народъ ищетъ забываться, если вокругъ него неготово ни съ какой стороны настоящее. Мы нашли отвѣтъ на заданный вопросъ: русская душа, оторвавшись отъ настоящаго, искала забыть себя въ инстинктѣ своего назначенія“.

Переходя къ частностямъ нашей народной поэзіи, авторъ замѣчаетъ, что въ ней, какъ и вообще въ народной поэзіи, „выражается борьба возникающаго сознанія съ темными и чуждыми еще для него явленіями природы, стремленіе и усиліе духа достигнуть свѣта и свободы. Но мы имѣемъ мало, или, лучше сказать, почти вовсе не имѣемъ памятниковъ первоначальной эпохи этой борьбы и стремленія; наша поэзія не восходитъ дальше христіанской эры нашей исторіи; нашъ паганизмъ теряется въ непроницаемомъ мракѣ“. Авторъ опять говоритъ о непростительной небрежности нашихъ ученыхъ къ народному преданію, которое еще могло бы быть сохранено, и указываетъ, какой интересный предметъ изслѣдованія могло составить это преданіе съ его смѣшеніемъ языческаго и христіанскаго. Въ чудесномъ элементѣ своей поэзіи народъ, по мнѣнію автора, сохранилъ темное воспоминаніе о далекой прародинѣ, но это воспоминаніе затемнилось позднѣйшими впечатлѣніями, особливо христіанскими. „Чудною смѣсью полны многія сказки и пѣсни фантастическаго со-

держанія! Не должно однакожъ думать, чтобы эта смѣсь была вездѣ въ равной степени. Иногда разнородные элементы идутъ совершенно параллельно, не имѣя никакого внутренняго соотношенія и только извнѣ связанные; большею же частью они соприкасаются и входятъ взаимно другъ въ друга: есть, наконецъ, такія порожденія фантазіи, въ которыхъ искаженные вѣрованія такъ сопроникаются ея языческими призраками, что оба элемента теряютъ всякое различіе и образуютъ, органически врослая другъ въ друга, совершенно новыя существа. Мы особенно совѣтовали бы нашимъ ученымъ обратить вниманіе на тѣ произведенія народа, которыя запечатлѣны этою смѣсью, и вообще на его повѣрья и призраки его фантазіи. Они могутъ отчасти замѣнить недостатокъ памятниковъ язычества; нужна только острая сила для того, чтобы разложить и разрѣзать перепутанные и сросшіеся элементы, нужно довольно трудное искусство совершить съ ними химическій процессъ, чтобы потомъ изучить отсѣвшую примѣсь паганизма. Тутъ бы приобрѣли вы не одни пустыя названія, тутъ бы обнаружилась жизненная эссенція того, что такъ давно прожито народомъ "... Наконецъ авторъ указываетъ необходимость широкаго, всесторонняго собиранія и изслѣдованія народныхъ пѣсенъ, которое опредѣлило бы историческія эпохи народнаго творчества, всѣ временныя и мѣстные отпечатки жизни народа на его поэзіи; къ этой критическо-исторической работѣ изслѣдователь долженъ присоединить пониманіе внутренней стороны народной поэзіи, для чего онъ „долженъ быть проникнутъ высшими интересами человѣчества, долженъ имѣть доступъ и ключъ ко всѣмъ современнымъ понятіямъ“. Въ концѣ концовъ, „такъ составленная коллекція пѣсенъ народа будетъ уже имѣть право на другое, высшее названіе, на названіе системы внутренней жизни народа въ поэзіи, системы не въ мертвомъ смыслѣ отвлеченныхъ схематическихъ рамокъ, а въ живомъ смыслѣ органическаго, разумнаго порядка частей. Эта коллекція займетъ почетное мѣсто въ сокровищницѣ цѣлаго человѣчества и будетъ однимъ изъ великихъ предметовъ, которымъ посвящаютъ свои силы и свои труды представители умственной дѣятельности образованныхъ націй, а имя коллектора причтется къ именамъ немногихъ, къ именамъ лицъ историческихъ“. Авторъ заключаетъ воззваніемъ: „Да, мы должны, мы обязаны посвятить безъ раздѣла всѣ наши силы нашей родинѣ, нашему народу. Все то, чѣмъ мы теперь пользуемся, чѣмъ наслаждаемся, эта жизнь духа, которой мы стали участниками, не онъ ли, не этотъ ли народъ выкупилъ намъ все это такою дорогою цѣною?.. Не то — горе

намъ! Народъ отодвинетъ отъ насъ свою могучую сущность, не дастъ жизненныхъ соковъ корнямъ иноземныхъ растений, и наша образованность, которою мы такъ гордимся, иссохнетъ и увянетъ,—и не будетъ плода... Если намъ дорога слава нашей Россіи, то мы безъ замедленія, чистосердечно и искренно, должны избрать своимъ лозунгомъ тѣ три великія слова: православіе, самодержавіе и народность, которыя изрекло правительство во благо намъ и во благо народа, и которыя должны быть запечатлѣны въ сердцахъ каждаго истинно-русскаго“.

Статья была написана Катковымъ и произвела въ свое время большое впечатлѣніе ¹⁾. Здѣсь соединяются различные оттѣнки: и прежнее неясное, нѣсколько мистическое и очень высокопарное, возвеличеніе народной поэзіи, но поднятое на высоту „философскихъ“ опредѣленій въ тогдашнемъ стишѣ, и дань официальной народности, и предчувствіе научнаго изслѣдованія, которое дѣйствительно вскорѣ наступило, — направившись и на древніе аріійскіе источники нашей мифологіи, и на двоякій характеръ преданія, на временные и мѣстные отпечатки, сохранившіеся въ современной пѣснѣ. Прежде, однако, чѣмъ это изслѣдованіе наступило, выяснилась другая черта въ тогдашнемъ пониманіи народной поэзіи—опредѣленіе ея отношенія къ поэзіи художественной. Въ слѣдующемъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“ явилась статья Бѣлинскаго, по поводу изданій Сахарова и „Древнихъ руссійскихъ стихотвореній“ Кирши Данилова.

Бѣлинскій также начинаетъ съ философскихъ опредѣленій. „Народность“ есть альфа и омега эстетики нашего времени: это—волшебное слово, таинственный символъ; въ ходячихъ литературныхъ понятіяхъ она замѣняетъ собой и творчество, и художественность, и эстетику, и критику,—но очень часто она понимается не только недостаточно, но даже совсѣмъ превратно. Понятіе о народности есть только одна сторона болѣе широкаго понятія, другая сторона котораго есть общность въ человѣчествѣ, общечеловѣческое. Какъ ни одинъ человѣкъ не долженъ существовать внѣ общества, такъ ни одинъ народъ не долженъ существовать внѣ человѣчества. Всякая индивидуальность дѣйствительно существуетъ только въ силу общаго, которое есть его содержаніе, и сама она служитъ только выраженіемъ и формой этого общаго. Поэтому люди, которые требуютъ въ литературѣ одной народности, требуютъ чего-то призрачнаго и пустого, и

¹⁾ „Отечественныя Записки“, 1840, т. IV, отд. VI, двѣ статьи. О тогдашнихъ литературныхъ отношеніяхъ Каткова, см. С. Невѣдннскаго. Спб. 1888, гл. I. Тамъ же замѣчанія о тогдашнемъ отношеніи Каткова къ официальной народности.

точно также требуютъ этого тѣ, которые хотятъ въ литературѣ полного отсутствія народности, предполагая этимъ сдѣлать ее доступною для всѣхъ, общечеловѣческою. „Только та литература истинно народна, которая, въ то же время, есть литература общечеловѣческая, и только та литература—истинно-человѣческая, которая въ то же время и народна“. Правда, нѣтъ племени на землѣ, которое не имѣло бы своей поэзіи; но не въ равной мѣрѣ эта поэзія принадлежитъ всему человѣчеству.

„Поэзія каждаго народа есть непосредственное выраженіе его сознанія; отъ этого поэзія тѣсно слита съ жизнью народа. Вотъ причина, почему поэзія должна быть народною, и почему поэзія одного народа непохожа на поэзію всѣхъ другихъ народовъ“. Но у каждаго историческаго народа есть двѣ великія эпохи его существованія: естественная непосредственность или младенчество, и эпоха существованія сознательнаго. Въ первую эпоху національная особенность каждаго народа выражается рѣзче и его поэзія бываетъ по преимуществу народною: поэтому она бываетъ болѣе доступна для всей массы своего народа, и недоступна для другихъ; и напротивъ, во вторую эпоху поэзія становится менѣе понятна для массы и болѣе доступна для другихъ народовъ: такъ русскій мужикъ не пойметъ Пушкина, но зато поэзія Пушкина доступна всякому образованному иностранцу. „Если народъ ничтоженъ въ историческомъ значеніи, его естественная (народная) поэзія всегда выше его художественной поэзіи, потому что послѣдняя болѣе требуетъ общечеловѣческихъ элементовъ, и если не находитъ ихъ въ жизни своего народа, то дѣлается подражательною“.

Для Бѣлинскаго не было вопроса о томъ, какая изъ двухъ стадій поэзіи выше по историческому и эстетическому значенію. „Художественная поэзія всегда выше естественной, или собственно народной. Послѣдняя—только младенческій лепетъ народа, міръ темныхъ предощущеній, смутныхъ предчувствій: часто она не находитъ слова для выраженія мысли и прибѣгаетъ къ условнымъ формамъ — къ аллегоріямъ и символамъ; художественная поэзія есть, напротивъ, опредѣленное слово мужественнаго сознанія, форма, равновѣсная заключающейся въ ней мысли; міръ положительной дѣйствительности, она всегда выражается образами опредѣленными и точными, прозрачными и ясными, равносильными идеѣ. Мы помнимъ, какъ въ разгарѣ романтическаго броженія многіе утверждали у насъ, что народная пѣсня выше всякаго художественнаго произведенія, и что будто бы какой-нибудь Пушкинъ за честь себѣ ставилъ поддѣлаться подъ про-

стой и наивный складъ народной пѣсни: смѣшное заблужденіе, впрочемъ понятное въ эпоху односторонняго увлеченія! Нѣтъ, одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ!.. Его народная пѣснь выше всѣхъ собственно народныхъ пѣсней, вмѣстѣ взятыхъ; произведеніе, которое выходитъ изъ творческаго духа, обладающаго своимъ предметомъ, всегда выше того, которое выходитъ изъ духа, покореннаго своимъ предметомъ“.

При всемъ томъ, говорятъ Бѣлинскій, въ естественной или народной поэзіи есть нѣчто, чего не можетъ замѣнить намъ поэзія художественная. „Никто не будетъ спорить, что реквиемъ Моцарта или соната Бетховена неизмѣримо выше всякой народной музыки, — это доказывается даже и тѣмъ, что первыя никогда не наскучаютъ, но всегда являются болѣе новыми, а вторая хороша во-время и изрѣдка; но тѣмъ не менѣе неоспоримо, что власть народной музыки безконечна надъ чувствомъ“. Бѣлинскій объясняетъ это тѣмъ же, почему въ старости намъ бываютъ дороги воспоминанія нашего дѣтства. „Да, мысль выше непосредственнаго чувства, пора мужества выше поры младенчества: но все же и въ непосредственномъ чувствѣ, и въ порѣ дѣтства есть нѣчто такое, чего нѣтъ ни въ разумномъ сознаніи, ни въ гордой возмужалости, что бываетъ только разъ въ жизни, и больше не возвращается... Такъ и для народа: онъ все тотъ же и въ эпоху разумаго сознанія, какъ и въ эпоху непосредственнаго чувства: но его непосредственное чувство было почвою, изъ которой возникъ и разлился цвѣтъ и плодъ его разумаго сознанія“. Въ концѣ концовъ, „въ художественной поэзіи заключаются всѣ элементы народной, и сверхъ того есть еще нѣчто такое, чего нѣтъ въ народной поэзіи: однакожь, тѣмъ не менѣе народная поэзія имѣетъ для насъ свою цѣну, такъ, какъ она есть, — въ ея чистомъ, непримѣсномъ элементѣ, въ ея простой, безыскусственной и часто грубой формѣ“.

Эпоха сознательности въ исторической жизни русскаго народа началась, конечно, отъ реформы. Этимъ рѣшена была и судьба народной поэзіи. Самъ Бѣлинскій думалъ, что „изъ памятниковъ русской народной поэзіи можно доказать великій и могучій духъ народа“, и приводить тому примѣры: тѣмъ не менѣе дальнѣйшее развитіе русской поэзіи должно было идти уже другимъ путемъ. „Вся наша народная поэзія есть живое свидѣтельство безконечной силы духа, которому надлежало, однакожь, быть возбуждену извнѣ. Отсюда понятно, почему величайшій представитель рус-

скаго духа—Петръ Великій, совершенно отрывая свой народъ отъ его прошедшаго, стремясь сдѣлать изъ него совсѣмъ другой народъ, все-таки провидѣлъ въ немъ великую націю и не вотьще пророчествовалъ, о ея великомъ назначеніи въ будущемъ. Отсюда же понятно, почему величайшій и по преимуществу національный русскій поэтъ — Пушкинъ воспиталъ свою музу не на материнскомъ лонѣ народной поэзіи, а на европейской почвѣ, былъ приготовленъ не „Словомъ о полку Игоревѣ“, не сказочными поэмами Кириши Данилова, не простонародными пѣснями, а Ломоносовымъ, Державинымъ, фонъ-Визинимъ, Богдановичемъ, Крыловымъ, Озеровымъ, Карамзинымъ, Дмитріевымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ — писателями и поэтами подражательными и нисколько не національными“¹⁾.

Эти положенія достаточно указываютъ взглядъ Бѣлинскаго на отношеніе народной поэзіи къ поэзіи искусственно-художественной: первая есть младенчество; вторая—эпоха сознанія и въ силу этого неизмѣримо выше первой... Прошло немного лѣтъ и въ понятіяхъ о народной поэзіи совершается полный переворотъ — по крайней мѣрѣ въ кругу тѣхъ, кто предался теперь ея изученію. Должно вспомнить, что въ то время, къ которому относятся указанныя статьи, народной поэзіи еще не было посвящено никакого спеціальнаго изученія. Новая точка зрѣнія развилась съ помощью такого же чужого источника, какъ передъ тѣмъ эстетическая критика сороковыхъ годовъ. Общюю почвою литературы былъ возроставшій интересъ къ народу и народной жизни: съ этимъ интересомъ тѣснѣйшимъ образомъ связаны и послѣдніе социальныя взгляды Бѣлинскаго, и стремленія славянофильской школы, и небывалая ревность къ этнографическому изученію, однимъ изъ центровъ котораго стало основанное тогда Географическое Общество, и пробивавшіяся мысли объ освобожденіи крестьянъ. Въ частности, въ вопросѣ о народной старинѣ и поэзіи новое движеніе было сообщено знакомствомъ съ ученіями Гримма. Подъ его влияніями выросла заманчивая, сильно фантастическая картина. Высокое достоинство древней поэзіи было въ томъ, что она была живымъ созданіемъ народной массы, проявленіемъ общей народной мысли и чувства, и потому въ ней собралось такое обиліе поэтическихъ образовъ, установленныхъ всеобщимъ признаніемъ въ постоянную формулу. Могущество этой поэзіи сказалось уже въ томъ, что она могла прожить цѣлыя вѣка въ устахъ народа, сберегая не только исто-

¹⁾ Сочиненія Бѣлинскаго, т. V, изд. 2-а. М. 1865, стр. 7—254; т. XII, стр. 448—455.

рическія воспоминанія, но и сохраняя отголоски отдаленнѣйшихъ вѣковъ индо-европейскаго родства. Позднѣйшая эпоха христіанства дала народу новыя просвѣтленныя нравственныя понятія, обогатила его фантазію новыми образами, но не уничтожала самой сущности поэтическаго творчества: оба содержанія, старое и новое, сливались въ поэзіи двоевѣрія, и въ средніе вѣка народная поэзія обнаруживаетъ ту же свѣжую дѣятельность. Такимъ образомъ и въ свою первобытную пору, и въ историческое время народная поэзія своимъ происхожденіемъ создавала нравственное единство народа и была истиннымъ выраженіемъ его національной природы. Никакая искусственная поэзія не въ силахъ подняться до этой нравственной и художественной высоты, и въ особенности, если эта искусственная поэзія не развивается, изъ національной почвы, а напротивъ, является чужимъ внушеніемъ, рабскимъ подражаніемъ чужому образцу.

Взглядъ Бѣлинскаго, въ свое время очень распространенный въ обычныхъ понятіяхъ, съ этой точки зрѣнія, былъ не только ересь, но настоящее варварство. Новое ученіе съ презрѣніемъ смотрѣло на нашу литературу XVIII вѣка, которая была только подражаніемъ, которая забывала о поэтическомъ наслѣдіи народа и не имѣя въ немъ почвы, была безсодержательнымъ пустоцвѣтомъ.

Первыя заявленія этой теоріи сдѣланы были съ конца сороковыхъ и особливо въ пятидесятыхъ годахъ въ трудахъ Буслаева, затѣмъ съ разными оттѣнками у Аѳанасьева, Ореста Миллера, писателей славянофильскихъ: К. Аксакова, Безсонова и др. Новыя изслѣдованія, — какъ бывало у насъ нерѣдко, когда проникали къ намъ новыя вліянія западной науки, — вступали прямо *in medias res*, безъ всякаго подготовленія и предисловія: основа теоріи заключалась въ европейской наукѣ и знакома была только adeptамъ; теорія прямо примѣнялась къ русскому матеріалу, такъ что общій взглядъ выяснялся только мало-по-малу, — а иногда оставался совсѣмъ невыясненнымъ, напр., именно по вопросу объ отношеніяхъ народно-поэтической старины, къ послѣднимъ двумъ вѣкамъ русской литературы.

Ислѣдованія начались съ частныхъ вопросовъ мифологическаго преданія, двоевѣрной легенды стараго эпоса, все съ большимъ матеріаломъ народной поэзіи и памятниковъ письменности, которые иногда впервые открываемы были для исторіи литературы; присоединились потомъ неожиданныя и богатые находки Рыбникова, позднѣе Гильфердинга, которыя давали поразительное свидѣтельство о жизненности народной поэзіи, — и новая теорія

тѣмъ рѣшительнѣе заявляла свои выводы о достоинствѣ народно-поэтического преданія и протесты противъ „ложнаго“ направленія нашей литературы въ послѣдніе два вѣка ея исторіи. Какъ будто открывалась новая эра русскаго самосознанія: въ воскресающей древности являлось для современнаго общества нравственное поученіе. Въ глазахъ Ор. Миллера, Илья Муромецъ или Микла Селяниновичъ были національнымъ символомъ, и Миллеръ не усомнился, напримѣръ, назвать анахронизмомъ взгляды Соловьева, когда послѣдній въ серединѣ своего монументальнаго труда остановился на объясненіи переходнаго момента русскѣй исторіи—подготовленія Петровской реформы ¹⁾. Въ глазахъ Безсонова, древній эпосъ былъ цѣлымъ апокалипсисомъ національной жизни, который онъ брался истолковать. Наиболѣе авторитетный изъ новыхъ изслѣдователей, Буслаевъ, высоко цѣнившій древне-русскую поэзію, далеко не всегда соглашаясь съ славянофильской школой въ опредѣленіи древней Руси, сходилса съ нею въ протестъ противъ XVIII вѣка. И здѣсь онъ отличался отъ славянофиловъ тѣмъ, что начало не-народнаго характера письменности онъ видѣлъ еще въ древне-русской жизни, — но окончательное торжество не-народности наступило все-таки въ XVIII вѣкѣ.

На этомъ предметѣ Буслаевъ остановился въ своемъ трактатѣ о русскомъ богатырскомъ эпосѣ. Онъ начинаетъ съ безспорныхъ положеній о національномъ и общечеловѣческомъ значеніи литературы. „Литература, служа выраженіемъ жизни народа, имѣетъ болѣе или меньшее значеніе по народу, которому принадлежитъ, то-есть, чѣмъ образованіе народъ, тѣмъ важнѣе его нравственное вліяніе на исторію человѣка, тѣмъ значительнѣе его литература. Потому литература классическихъ народовъ, грековъ и римлянъ, стала общимъ достояніемъ всего образованнаго міра... Счастливы тотъ народъ, который въ національныхъ основахъ своей литературы, вмѣстѣ съ любовью къ родинѣ, можетъ воспитывать въ себѣ всѣ высшія, общечеловѣческія стремленія, народъ, который, раскрывая свою національность, двигаетъ впередъ исторію человѣчества, и въ произведеніяхъ своихъ писателей съ гордостью указываетъ на высшую степень умственнаго и литературнаго развитія, какой только могъ достигнуть человѣческій разумъ въ ту или другую эпоху исторіи цивилизаціи. Послѣ классическихъ народовъ, эта счастливая доля доставалась, въ разные времена, другимъ европейскимъ странамъ, поочередно, то нѣмецкимъ племенамъ, въ блистатель-

¹⁾ „Русскій народный эпосъ передъ судомъ г. Соловьева“ (по поводу XIII тома „Исторіи“), въ Библ. для Чтенія. 1864. Ср. „Илья Муромецъ“. Спб. 1869, заключеніе.

номъ развитіи безыскусственнаго средневѣковаго эпоса, то итальянцамъ и испанцамъ въ художественномъ возсозданіи разныхъ средневѣковыхъ источниковъ письменной словесности, то французамъ и англичанамъ“. И затѣмъ между ними было постоянное общеніе, такъ что національность не только не противопоставляла себя общечеловѣческому, но совпадала съ нимъ, служа ему извѣстною ступенью на пути прогресса.

„Нельзя того же сказать о племенахъ славянскихъ, не исключая и нашего отечества. Тихо и скромно пествуя въ концѣ общеевропейскаго движенія, славянскія племена никогда не были настолько сильны въ своей политической и нравственной жизни, чтобы могли наложить печать своего умственного авторитета на прочія европейскія націи. Литература русская, какъ и прочихъ нарѣчій, принадлежитъ къ тѣмъ скромнымъ явленіямъ, въ которыхъ національное еще не дошло до общечеловѣческаго, не могло еще стать обязательною нравственною силою, передъ которою преклонились бы прочіе образованные народы“. И въ то время, какъ на Западѣ искусственная поэзія не только не заглушала національнаго преданія, но даже способствовала его сохраненію, у насъ было именно обратное: „На Руси искусственная литература и народный эпосъ уже съ древнѣйшихъ временъ рѣзко отдѣлились другъ отъ друга, вслѣдствіе бѣднаго и крайне односторонняго клерикальнаго направленія нашей письменности. Въ XVI и особенно въ XVII вѣкѣ народный русскій эпосъ сталъ-было заявлять нѣкоторыя права на вліяніе въ искусственной литературѣ, но не успѣлъ ее освѣжить, а внезапный разрывъ Петровской Руси съ національною стариною совсѣмъ уже отрѣзалъ новѣйшую нашу литературу отъ эпическихъ основъ русской національности“. И Буслаевъ даетъ такую уничтожающую характеристику нашего XVIII вѣка, — въ которой онъ почти вполне совпадалъ съ славянофилами:

„Такимъ образомъ (послѣ реформы), на Руси совершалось то, чего не бывало ни въ одной изъ цивилизованныхъ европейскихъ странъ: явилась свѣтская литература, созданная изъ случайныхъ, кое-какъ и отовсюду нахвачанныхъ, чуждыхъ намъ элементовъ. Русская народность стала не основою для этой колонизованной на Руси литературы, а мишенью, въ которую отъ времени до времени она направляла свои сатирическіе выстрѣлы, какъ въ дикое невѣжество, которое надобно искоренить въ конецъ. Было бы крайнею несправедливостью обвинять нашихъ писателей послѣднихъ ста лѣтъ въ ихъ анти-національномъ направленіи: они сознательно и честно поддерживали его, будучи

поставлены насильственной реформой въ ложное и одностороннее отношеніе къ своей народности. И такъ, несмотря на видимое присутствіе цивилизованныхъ, европейскихъ элементовъ въ нашей новой литературѣ, она представляетъ собою явленіе чудовищное, въ цивилизованныхъ странахъ небывалое, потому что состоитъ не въ симпатическихъ, а во враждебныхъ отношеніяхъ къ народности, какъ пришлый завоеватель, который силою покоряетъ себѣ туземныя массы, какъ эгоистическій плантаторъ, который, игнорируя нравы и убѣжденія своихъ невольниковъ, позачинаетъ ихъ цѣпи лоскомъ европейскаго комфорта“.

Но факты опредѣлены здѣсь весьма неточно. Многіе примѣры подражательности, господствовавшей въ XVIII вѣкѣ, пожалуй, могутъ казаться теперь чудовищными; но самъ Буслаевъ признавалъ, что еще въ древнемъ періодѣ наша письменность отдѣлилась отъ эпической основы вслѣдствіе „крайне односторонняго клерикальнаго направленія“, и народный эпосъ „не успѣлъ освѣжить литературы“ въ XVI и XVII столѣтіи, т.-е. задолго до реформы. Съ другой стороны, по его словамъ, въ литературѣ русской, какъ и остальныхъ славянскихъ нарѣчій, „національное еще не дошло до общечеловѣческаго, не могло еще стать обязательною нравственною силою“: гдѣ же было искать этого общечеловѣческаго, — когда наконецъ явилась въ немъ потребность, когда явились новые запросы мысли, чувства и самой фантазіи, — какъ не въ сближеніи съ тѣмъ общечеловѣческимъ, какое чуяли на Западѣ? Исторія указываетъ, что когда старая Россія искала научныхъ и практическихъ знаній, нуждалась въ нѣсколько болѣе сложныхъ и тонкихъ формахъ искусства и эстетическаго удовольствія, она прямо или косвенно обращалась къ этому западно-европейскому источнику — вызывала иноземныхъ мастеровъ и технику всякаго рода, архитекторовъ и музыкантовъ, наконецъ устроителей театра и садоводовъ, — и XVIII вѣкъ пошелъ только дальше въ этомъ направленіи. Къ тому же источнику обращалась старая Россія, когда искала новаго художественно-литературнаго содержанія. Таковы были уже съ древнихъ временъ заимствованія славяно-русской письменности; таковы были многія переводныя книги XVI и XVII вѣка, повѣсти и сказанія героическія, любовныя и шутливыя; таково было первое начало нашего псевдо-классицизма въ стихотворствѣ Симеона Полоцкаго и т. д.; самое отрицаніе стараго русскаго застоя задолго до Петра было заявлено фактомъ этихъ заимствованій и книгой Котошихина. Далѣе, среди всѣхъ „чудовищностей“, именно XVIII вѣку принадлежитъ первый литературный и науч-

ный интересъ къ старому преданію, первое стремленіе къ историческому сознанію, къ собиранію и объясненію старины: многіе памятники русской древности были впервые извлечены изъ забвенія только XVIII вѣкомъ, — но московская Россія уже забывала о нихъ, какъ, напримѣръ, само Слово о полку Игоревѣ; послѣ грубыхъ силлабическихъ виршъ, завѣщанныхъ XVII вѣкомъ и которымъ еще остался вѣренъ Кантемиръ, правильная форма русскаго стиха была найдена въ народной пѣснѣ; и чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе русскіе писатели обращались съ любовью къ старинѣ, искали поученія въ ея преданіяхъ и, подъ этими внушеніями, задумывались о реальномъ положеніи народа до опасной въ то время мысли о необходимости его освобожденія, — и это стремленіе къ старинѣ и народности соединялось не только съ признаніемъ реформы, но съ настоящимъ обоготвореніемъ Петра, какъ у Ломоносова... Въ обществѣ, издавна лишенномъ инициативы, это развитіе мысли о народѣ не могло не соединяться съ великими трудностями, и тѣмъ не менѣе шло, хотя медленно, но постоянно, и это заслуживаетъ высокаго признанія. Движеніе, начатое XVIII вѣкомъ въ этомъ направленіи, продолжалось и въ XIX-мъ: при всѣхъ литературныхъ заимствованіяхъ, русскихъ писателей не покидала мысль объ отечественномъ и народномъ, и опять было бы историческою несправедливостью не видѣть этихъ великодушныхъ стремленій, между прочимъ отмѣченныхъ художественными произведеніями. Наконецъ, самыя „заимствованія“ содѣйствовали тому же движенію, потому что изъ европейской литературы притекали все новыя гуманистическія возбужденія, создававшія новую атмосферу нравственно-общественнаго чувства. Такъ съ XVIII вѣка, подъ разными вліяніями, путемъ послѣдовательнаго преемства, достигъ до новѣйшаго времени интересъ къ народу, никогда не упадавшій, несмотря на всѣ смѣны литературныхъ направленій и вкусовъ, на всѣ едва одолимые препятствія, какія ставили ему вѣщныя условія: обскурантизмъ, крѣпостничество и т. д.

Общественное возбужденіе въ концѣ пятидесятихъ и въ шестидесятихъ годахъ было именно проявленіемъ этого древняго интереса, который теперь получилъ только возможность высказываться болѣе полно. Онъ сосредоточивался прежде всего на освобожденіи крестьянъ, которое и было самымъ крупнымъ господствующимъ вопросомъ народной жизни. Одушевленіе наиболѣе образованнаго круга общества свидѣтельствовало о живомъ участіи къ дѣлу народа, и понятно, что въ разнообразныхъ слояхъ общества оно высказывалось въ весьма различныхъ настроеніяхъ,

какъ сложенъ былъ самый вопросъ: крестьянское дѣло вызывало на изслѣдованія историческія, юридическія, экономическія, ставило задачи народнаго образованія, напоминало давно поднятые вопросы о народномъ характерѣ, бытѣ, наконецъ, народномъ міровоззрѣніи и поэзіи. Вопросы естественно обособлялись: экономистъ могъ совсѣмъ не думать о міеологіи, а филологъ имѣть слабое представленіе о соображеніяхъ политической экономіи. Не подлежало сомнѣнію одно, что „народность“ становилась впервые реальнымъ элементомъ жизни, потому что ожидалась впереди гражданская полноправность освобожденныхъ миллионовъ... Нашъ ученый, не видѣвшій въ XVIII вѣкѣ никакихъ признаковъ интереса къ народности, видѣвшій въ литературѣ послѣднихъ вѣковъ только смѣну легкомысленныхъ подражаній, усумнился и теперь: ему съ его исключительной точки зрѣнія казалось, что въ современномъ интересѣ къ народу и въ общемъ характерѣ литературы, который онъ предполагалъ, лежитъ противорѣчіе.

Сказавъ приведенныя слова о XVIII вѣкѣ, Буслаевъ продолжалъ: „Но если русская цивилизованная современность, по своему происхожденію и составу, такъ чужда народности, то почему же она въ теоріи противорѣчитъ сама себѣ и стремится къ національнымъ идеямъ, то въ уваженіи къ свободѣ человѣческаго духа въ простомъ мужикѣ, то въ сентиментальномъ поклоненіи мірской сходѣ, то въ заявленіи притязаній на ученую и поэтическую разработку русской народности и старины? Неужели это такая же мода на народность, занесенная къ намъ съ Запада, какъ заносила мода на классицизмъ, сентиментальность, романтизмъ, гегелизмъ, и другія направленія, сознательно и исторически возникавшія на Западѣ, и случайно, кое-какъ принимавшіяся у насъ на грубой, не приготовленной къ тому почвѣ?

„И дѣйствительно, все, что ни бралось къ намъ съ Запада, было только временною модою, досужимъ препровожденіемъ времени, мало оставлявшимъ по себѣ существенной пользы. Все это скользило только по поверхности русской жизни, не спускаясь въ глубину ея историческаго и бытового броженія“.

Останавливаясь спеціально на идеѣ народности, Буслаевъ указывалъ, что она исторически развилась на Западѣ, особливо въ Германіи, на почвѣ такъ называемаго романтизма, выдвинувшаго на общее вниманіе средневѣковую старину. Она пришлась по сердцу славянскимъ племенамъ, особенно тѣмъ, которыя теряли свою національную самостоятельность подъ господствомъ

нѣмецкимъ,—таково было развитіе этого направленія у чеховъ: „ученымъ изысканіямъ давали сильный толчокъ политическія идеи о возможной независимости славянъ отъ чуждаго преобладанія“; но теперь „сама исторія доказала, что эти идеи не привели къ желаннымъ результатамъ“, и славянскій энтузіазмъ къ старинѣ и народности значительно охладѣлъ. Далѣе: „западное ученіе о народности отразилось на Руси сначала въ такъ-называемомъ славянофильствѣ, которое, прилагая уже готовую чешскую программу къ чужеземной обстановкѣ русской жизни, съ ненавистію отнеслось ко всему нѣмецкому, предало Европу проклятію, открывая въ ней предсмертные симптомы конечнаго упаденія и тлѣнія, и съ юношескимъ увлеченіемъ облеклось въ мужицкій кафтанъ и мурملку, предавъ себя разнымъ аскетическимъ подвигамъ по примѣру благочестивыхъ предковъ временъ Іоанна Грознаго“.

Справедливо, что „чешская программа“ играла нѣкоторую роль въ программѣ славянофильской, и что было юношескимъ увлеченіемъ переодѣванье въ старинные костюмы и подражаніе аскетическимъ подвигамъ предковъ, но повторимъ, что начало движенія восходитъ гораздо далѣе: сами славянофилы находили въ XVIII столѣтіи своихъ предковъ въ Новиковѣ, въ Болтинѣ, позднѣе, въ Шишковѣ; даже терминъ „народности“ выставленъ былъ до славянофиловъ въ официальной программѣ.

Буслаевъ по неволѣ признавалъ широкое значеніе новаго движенія, и мы читаемъ у него слѣдующія прекрасныя строки: „Мы живемъ и дѣйствуемъ въ эпоху, когда уваженіе къ человѣческому достоинству вообще, независимо отъ сословныхъ и іерархическихъ преданій, даетъ новое направленіе и политикѣ, и философіи, и легкой литературѣ, направленіе, опредѣляемое національными и вообще этнографическими условіями страны... Какъ бы различны ни казались съ перваго взгляда стремленія теоретиковъ и практиковъ, но въ существѣ своемъ они идутъ по одному направленію и ведутъ къ одной и той же цѣли, къ подчиненію эгоистической личности насущнымъ интересамъ народа, не только матеріальнымъ, но и особенно духовнымъ. Заботливое собраніе и теоретическое изученіе народныхъ преданій, пѣсенъ, пословицъ, легендъ, не есть явленіе изолированное отъ разнообразныхъ идей политическихъ и вообще практическихъ нашего времени: это одинъ изъ моментовъ той же дружной дѣятельности, которая освобождаетъ рабовъ отъ крѣпостного ярма, отнимаетъ отъ монополіи право обогащаться на счетъ бѣдствующихъ массъ, ниспровергаетъ застарѣлыя касты и, распространяя повсемѣстно

грамотность, отбираетъ у нихъ вѣковыя привилегіи на исключительную образованность, ведущую свое начало чуть ли не отъ миѳическихъ жрецовъ, хранившихъ подъ спудомъ свою таинственную премудрость для острастки профановъ“.

Но, затѣмъ, имъ опять овладѣвають сомнѣнія. Онъ думаетъ, что въ водоворотѣ современныхъ вопросовъ едва ли кто можетъ указать, какіе результаты принесетъ новѣйшее народное направленіе. „Теперь можно, кажется, сказать только то, что, при-выкнувши хватать западныя идеи наобумъ и опрометчиво торопясь прикладывать ихъ какъ ни попало къ практикѣ, не переведши ихъ для себя въ сознательное, честное убѣжденіе, мы усвоиваемъ себѣ и это народное направленіе такъ же легкомысленно и поверхностно, какъ усвоивали прежде классицизмъ, романтизмъ и разныя философскія ученія. Чтобы честно и искренно посвящать себя на служеніе народу, надобно искренно любить его, и для того нужно коротко его знать: а между нѣмецкою образованностью Петровской Руси и простымъ народомъ, въ теченіе послѣднихъ полутора вѣковъ, раскрылась такая глубокая трещина, которую не замажешь въ какіе-нибудь десятки годовъ сентиментальнымъ піететомъ къ народности, теоретически перенятымъ у другихъ и разбѣненнымъ на мелочь ради минутныхъ эгоистическихъ цѣлей той же образованной монополіи, противъ которой должно бы бороться это новое направленіе. Потому надобно опасаться, чтобы наша нѣмецкая образованность, вооруженная чиномъ и другими привилегіями, не отнеслась къ народности какъ къ выгодной добычѣ, и чтобы изъ вопроса о нравственномъ и матеріальномъ благосостояніи народныхъ массъ не сдѣлала для себя ловкой спекуляціи. По крайней мѣрѣ въ дѣлѣ просвѣщенія народа грамотностію нельзя не заподозрить корыстныхъ цѣлей со стороны просвѣтителей... Добыча готова, но кому она достанется въ жертву—вотъ вопросъ, который не рѣшится безъ борьбы эгоистическихъ побужденій. Духовенству или свѣтскимъ людямъ будетъ обязано простонародье своею грамотностію? Дворянство ли, лишившись нѣкоторыхъ правъ матеріальнаго преобладанія надъ русскимъ невѣжествомъ, возьметъ теперь его подъ свою умственную и нравственную опеку, или безпомѣстные авантюристы, вмѣсто рудниковъ Калифорніи, будутъ пробовать свое счастье, производя свои педагогическіе опыты надъ своею меньшею братією, и, какъ новые посланники свыше, будутъ своими грамотными мрежами уловлять добычу въ мутной водѣ невѣжества?“

„Впрочемъ, — говоритъ онъ дальше, — не отказывая инымъ

просвѣтителѣмъ полуязыческаго простонародья въ совершенно безкорыстныхъ, честныхъ стремленіяхъ, все же для характеристики вопроса о народномъ направленіи образованныхъ умовъ на Руси не подлежитъ сомнѣнію, что они на первыхъ же порахъ относятся къ своей простонародной братинѣ вовсе не по-братски, а свысока, и не хотятъ къ ней снизойти и чѣмъ-нибудь отъ нея позаимствоваться, въ полной увѣренности, что всѣ народные преданія и обычаи, вся застарѣлая народность—хламъ, который слѣдуетъ выбросить за окно (?). Но если просвѣтителѣмъ такъ противна (?) русская народность, то могутъ ли они симпатично предлагать свои цивилизованныя услуги тѣмъ, кто въ теченіе вѣковъ и доселѣ свято хранить въ себѣ весь этотъ ненужный и противный хламъ, полагая въ немъ всю свою нравственную характеристику? Можно ли между такими учителями и такою школой допустить взаимное уваженіе, довѣріе и любовь, эти необходимыя условія всякаго правильнаго воспитанія?

„И такъ, кажется, съ достовѣрностью можно опредѣлить вопросъ о русской народности въ его современномъ состояніи такимъ образомъ: это не болѣе, какъ распространеніе западныхъ идей и цивилизованныхъ удобствъ въ народныхъ массахъ. Русская народность, слѣдовательно, играетъ въ этомъ вопросѣ роль страдательную“.

Онъ негодуетъ, что въ новѣйшихъ увлеченіяхъ народностью слишкомъ мало думаютъ о томъ, чтобы воспользоваться при этомъ сокровищами самаго народа, его поэтической стариной, въ которой, напротивъ, хотятъ видѣть только отжившее суетворіе. Но онъ опять самъ признаетъ особенное положеніе русской народности. „Народность француза или англичанина обязательна не для Франціи или Англіи только, но для всякаго озразованнаго человѣка, къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ. Напротивъ того, народы, далеко отставшіе отъ другихъ въ цивилизаціи, но усердно за нею стремящіеся, до тѣхъ поръ будутъ отодвигать свою народность на задній планъ, пока не усвоятъ себѣ всего полезнаго и необходимаго, что сдѣлано уже цивилизованными націями... Конечно, легко какому-нибудь читателю Востока, сидя въ дружескомъ кружкѣ, мечтать о чистотѣ и глубинѣ русскаго духа, и о колоссальномъ величій нравственныхъ силъ русскаго мужика; понятно также, почему и кабинетный ученый, изслѣдователь русской литературы и исторіи, можетъ усердно хлопотать о рѣшеніи разныхъ вопросовъ по русской народности и старинѣ; но въ самой жизни, на практикѣ, волею или неволею, западное направленіе беретъ перевѣсъ“. Дальше оказы-

ается, что „западное направление“ состоитъ въ томъ, что русскій политикъ увлекается западными учрежденіями, и русскій семинаристъ тихонько отъ наставниковъ спѣшитъ освѣжить свою „забитую голову“ новой западной книжкой, но и въ томъ, что русскій промышленникъ, „хотя бы вчера изъ мужиковъ, едва умѣя читать, хочетъ улучшить свои промыслы по западнымъ образцамъ“... Оставивъ въ сторонѣ политика, не трудно видѣть и изъ этихъ примѣровъ, что нужно было все-таки освѣжать „забитую голову“ и приобрѣтать промышленное знаніе.

Неправильность и легкость нашего отношенія къ народности Буслаевъ видѣлъ, на примѣръ, въ томъ равнодушіи, съ какимъ былъ встрѣченъ сборникъ Рыбникова, — „а между тѣмъ многія изъ этихъ пѣсенъ такъ прекрасны, что самъ Пушкинъ преклонился бы передъ высоко-наивною и классическою граціей, которую въ нихъ вдохнула простонародная фантазія. А между тѣмъ эти прекрасныя пѣсни доселѣ оглашаютъ русскую землю по всѣмъ концамъ ея, воспѣвая мнѣическихъ богатырей и историческихъ героевъ нашего отечества; и внимательному, просвѣщенному слуху могли бы эти вѣковыя пѣсни такъ много внушить, могли бы пробудить въ умѣ столько полезныхъ идей, а въ сердцѣ столько любви къ родной землѣ, и особенно въ такую эпоху, когда коренное преобразование быта народнаго на нашихъ глазахъ полагаетъ новыя основы для будущихъ успѣховъ русской цивилизаціи!“ Но для этого нужно относиться къ народу съ дѣйствительною любовью, нужно быть твердо съ своимъ образованіемъ, чтобы не смотрѣть свысока на мужицкую поэзію.

Буслаевъ находитъ, что тогдашній складъ народнаго направленія объяснялся обличительнымъ характеромъ современной литературы (1862). „Обличать въ тысячу разъ легче, нежели изучать... Сказано, что вся византійщина — гнѣль и тлѣнь, и это рѣшеніе сдано въ архивъ Россійскаго просвѣщенія, прежде нежели на Руси выучились, какъ слѣдуетъ, греческой азбукѣ. Хотите ли вы серьезно изучить памятники русской архитектуры или иконописи, — тотчасъ возбуждаете подозрѣніе въ преступномъ поповствованіи рекомендовать въ назиданіе современнымъ живописцамъ какой-нибудь курьезный типъ съ собачьею или лошадиною головою. Отнесетесь ли вы серьезно, безъ балаганнаго гаерства, къ стариннымъ повѣріямъ и преданіямъ, — васъ ужъ подозрѣваютъ, не вѣруете ли вы въ мнѣическіе догматы, что земля основана на трехъ китахъ, и что громъ гремитъ отъ поѣздки по облакамъ Ильи Громовника“.

Но главное то, что наша мысль все еще неспособна отне-

стись спокойно въ нашей старинѣ и народности, потому что все еще находится въ рабствѣ. „Періодъ анти-національнаго преобладанія, начавшійся монгольскимъ игомъ и скрѣпленный въ XV и XVI вѣкахъ московскою политикою, и доселѣ еще не завершилъ круга своей дѣятельности. Надобно отдать полную справедливость политическому такту тѣхъ историковъ, которые, выбрасывая изъ русской исторіи татарскій періодъ, находятъ его результаты въ Московскомъ княжествѣ XV вѣка. Дѣйствительно, оба эти явленія совпадаютъ; точно такъ же, какъ и подчиненіе русской національности нравственнымъ и матеріальнымъ силамъ Запада со временъ Петра Великаго, въ сущности, для сознанія народныхъ массъ, есть не что иное, какъ только перенесеніе Золотой Орды временъ татарщины куда-то за море, откуда и доселѣ не перестаетъ русскій людъ чаять себѣ суда и порядка. Согласно этимъ вѣковымъ преданіямъ русской исторіи и въ настоящее время образованный человѣкъ, литераторъ или ученый, относится къ русской народности, какъ пришлый варягъ къ кривичамъ и чуди, или какъ миссіонеръ къ толпѣ дикарей, которыхъ желаетъ обратить въ крещеную вѣру. Слѣдовательно, русская народность и старина съ этой точки зрѣнія представляются только жалкимъ собраніемъ темныхъ предразсудковъ и суевѣрій, которые должно только обличать, а не изслѣдовать ученымъ порядкомъ. Но для кого же ихъ обличать и съ какой цѣлью?... И не смѣшно ли такъ много заботиться о простомъ народѣ на словахъ, когда онъ самъ идетъ своею дорогою, и вовсе не хочетъ знать ни нашихъ обличеній, ни защиты?“ ¹⁾.

Это была въ нашей литературѣ одна изъ самыхъ сильныхъ филиппикъ противъ непризнанія достоинства народности; ее можно сравнить только съ протестами Константина Аксакова (напр., „Публика и народъ“), или, позднѣе, съ нѣкоторыми изъ статей Ивана Аксакова. Она была и столь же исключительна.

Изъ самыхъ словъ нашего ученаго, который былъ настоящимъ основателемъ новыхъ изученій народной старины, можно видѣть тѣ общія условія, которыя создавали особенное положеніе русской „народности“. Требовалось въ одно и то же время и просвѣщеніе и обереганіе реальныхъ правъ народа, и то нравственное единеніе, какое, по мнѣнію Буслаева, должно было заключаться въ усвоеніи обществомъ народнаго преданія, а по

¹⁾ Русскій богатырскій эпосъ, въ „І“. Вѣстникъ“ 1862, и въ книгѣ: „Народная поэзія“. Сиб. 1887, стр. 1—17 и далѣе.

миѣнію другихъ, въ повышеніи матеріальнаго и образовательнаго уровня народной массы.

Съ этими вопросами мы опять возвращаемся къ шестидесятымъ годамъ. Не должно забывать прежде всего, что этотъ вопросъ о народности—то-есть о реальномъ народѣ съ его нуждами, предполагаемыми свойствами и стремленіями,—только-что сталъ возможенъ для литературы въ виду ожидаемаго освобожденія. Высказывалось давно бродившее въ умахъ, но не успѣвшее, по прежнему положенію вещей, сложиться въ опредѣленные взгляды, высказывалось второпяхъ подъ впечатлѣніемъ минуты, но съ ясною памятью о тѣхъ невзгодахъ, какія выпадали на долю народа, а также и на долю цѣлаго русскаго просвѣщенія. И въ ту самую минуту въ литературѣ слышались голоса людей, которымъ самое освобожденіе было ненавистно, которые, не задумываясь, утверждали, что народу не нужна грамота, что онъ любить старые патріархальные порядки и т. п.; и когда, на примѣръ, ревностные идеалисты занялись устройствомъ воскресныхъ народныхъ школъ, тотчасъ наплывъ люди, которые съумѣли подъ нихъ подкопаться. Въ „водоворотѣ современныхъ вопросовъ“ взгляды перекрещивались, и когда все еще нельзя было называть многихъ вещей ихъ именами, могли происходить недоразумѣнія, въ которыя самъ Буслаевъ впадалъ. И тогда не было сомнѣнія, что „спокойное, чуждое всякихъ практическихъ тенденцій изученіе старины“ имѣетъ полное право въ наукѣ,—но бѣда была въ томъ, что подъ флагомъ народности и старины выступалъ (какъ и теперь) и прямой обскурантизмъ: если первое заслуживало всякаго уваженія, второй возбуждалъ только негодованіе, и надо было желать, чтобы онъ не могъ подложно воспользоваться ссылками на науку. Опасенія о томъ, въ чьи руки попадетъ просвѣщеніе народа, были напрасны, потому что оно не могло быть ни въ чьихъ рукахъ, кромѣ административныхъ. Литература могла только высказывать желаніе, чтобы народу была дана настоящая, а не только дьячковская школа: элементъ „народности“ не могъ отсутствовать въ томъ, что хотѣли дать народной школѣ, хотя, быть можетъ, и не въ томъ объемѣ, какой предполагалъ Буслаевъ. Если тогда особенно заботились о грамотности, о какомъ-либо ознакомленіи народнаго читателя или школьника, будущаго крестьянина, съ природою, исторіей, практическими свѣдѣніями, это было естественно. Какъ это необходимо и до сей минуты, черезъ сорокъ лѣтъ послѣ этихъ споровъ,—оказалось при народныхъ бѣдствіяхъ. Недавніе голода въ значительной мѣрѣ произошли отъ неудовлетворительности на-

родного хозяйства, и правительство сочло необходимымъ принять мѣры для распространенія въ народѣ сельско-хозяйственныхъ познаній; недавнія эпидеміи сопровождались во многихъ мѣстностяхъ безпорядками и убійствами, потому что народной массѣ непонятны были мѣры предосторожности и леченія,—приходилось учить этому съ церковной кафедры; отъ времени до времени читаемъ извѣстія объ убійствахъ колдуновъ и вѣдьмъ; невозможно сосчитать весь матеріальный и нравственный ущербъ, какой несетъ народная жизнь отъ страшной „власти тьмы“...

Когда такимъ образомъ возникали вдругъ самые разнообразныя вопросы народной жизни, привлекавшіе и тревожившіе лучшихъ людей общества, не мудрено, что въ этихъ вопросахъ было еще много неяснаго, даже загадочнаго: раньше они были закрыты, опытъ не былъ еще собранъ. Въ прежней литературѣ почти обязательно господствовала упомянутая точка зрѣнія официальной народности: лишь незадолго передъ тѣмъ она была повторена въ книгѣ писателя, записавшаго господствующую роль въ цѣломъ періодѣ русской литературы—въ „Выбранныхъ Мѣстахъ“ Гоголя: но даже между его ближайшими друзьями книга вызвала недоумѣніе, а въ средѣ его литературныхъ поклонниковъ печаль и негодованіе,—такъ мало удовлетворялось общественное мнѣніе теорій, утверждавшей, что все обстоитъ благополучно и слѣдуетъ только предаваться смиренію и пользоваться вѣрноподаннымъ правомъ... Всего настойчивѣе говорили о народности писатели славянофильской школы, — но самъ пламенный защитникъ и изслѣдователь нашей старины не раздѣлялъ взгляда „читателей Востока“, не увлекался ни „клерикальнымъ“ складомъ старой письменности, ни московскимъ преданіемъ, потому что и то и другое считалъ противонароднымъ.

Но и въ собственномъ взглядѣ Буслаева, при всей привлекательности его идеалистической любви къ народному преданію, многое нуждалось въ разъясненіи. Во первыхъ, если монгольское иго, котораго онъ не покрывалъ исторической вуалью, продлилось не только черезъ московское царство, но дошло и въ XVIII вѣкъ,—гдѣ же была та пора, которая была запечатлѣна чистою народностью и могла стать идеаломъ и поученіемъ, какъ положительное историческое явленіе? И если, съ другой стороны, русская литература „принадлежала къ тѣмъ скромнымъ явленіямъ, въ которыхъ національное еще не дошло до общечеловѣческаго“, — какимъ процессомъ, довольствуясь только національнымъ преданіемъ, она могла бы достигнуть этого общечеловѣческаго? Если народы средневѣковаго Запада могли „въ національныхъ осно-

вахъ своей литературы воспитывать въ себѣ всѣ высшія общечеловѣческія стремленія“, это было возможно только въ извѣстныхъ условіяхъ общественнаго быта и умственнаго развитія. Рядомъ съ народно-поэтическими преданіями средневѣковый Западъ унаслѣдовалъ преданія классической образованности и полагалъ основанія науки, и когда эта дѣятельность умственная и поэтическая совершалась въ общеніи народовъ между собою, отсюда происходила возможность ея общечеловѣческаго значенія: древняя Русь не обладала этими условіями, и для достиженія такого развитія литературы, которое отвѣчало бы и внутреннему достоинству и общечеловѣческому значенію великаго историческаго народа, требовались эти необходимыя данныя органической національной жизни: усвоеніе ранѣе добытаго другими народами общечеловѣческаго наслѣдія; общественная самодѣятельность и просвѣщеніе. Въ стремленіи пріобрѣсти эти необходимыя данныя національной жизни заключался весь смыслъ реформы XVIII вѣка и общенія съ Западомъ, которыя нашъ ученый отвергаетъ какъ рабство и подражаніе: они были, напротивъ, необходимою ступенью; это были „годы ученья“, пропущенные древнею Русью — не по одной собственной винѣ... Самъ Буслаевъ отступилъ отъ своего рѣзкаго приговора, когда много лѣтъ спустя говорилъ о столѣтнемъ юбилеѣ „Писемъ русскаго путешественника“¹⁾; но Карамзинъ, хотя выдѣлялся изъ массы литературы высокимъ дарованіемъ, слѣдовалъ общему направленію нашей образованности со временъ Петра.

Далѣе, если судьба народной поэзіи у насъ и на Западѣ въ средніе вѣка была такъ различна, то и въ новѣйшее время осталось различно ея историко-литературное положеніе тамъ и здѣсь. Литература европейская въ романтическомъ возвратѣ къ прошедшему могла опираться на памятники, которые представляли органически сложившуюся систему: западная старина заключала цѣлую литературу эпоса, лирики и драмы съ большимъ или меньшимъ отбѣнкомъ народно-поэтическаго преданія и творчества, и къ концу среднихъ вѣковъ эта литература, распространяемая нѣ-

¹⁾ „Если русская литература, со временъ Петра Великаго, довершая дѣло преобразования, имѣла своею задачею внести къ намъ плоды западнаго просвѣщенія, то Карамзинъ блистательно исполнилъ свое назначеніе. Онъ воспиталъ въ себѣ чловека, чтобы потомъ, съ полнымъ сознаніемъ, явить въ себѣ русскаго патриота. Любовь къ челоѣчеству была для него основою разумной любви къ родннѣ, и западное просвѣщеніе было ему дорого потому, что онъ чувствовалъ въ себѣ силу воздворить его въ своемъ отечествѣ.

„Стремясь на Западъ учиться для блага своего отечества, онъ шелъ по пути, проложенному Петромъ Великимъ и Ломоносовымъ, и въ свою очередь далъ собою образецъ поколѣніямъ новѣйшимъ“... „Мои досуги“. М. 1886. II, стр. 170.

когда рукописами, входила въ первыя печатныя книги. Наше древнее народное творчество не удостоивалось даже письменности,—его произведенія предавались благочестивыми книжниками проклятію: знаменитѣйшій памятникъ нашей поэзіи едва уцѣлѣлъ въ единственной рукописи, и въ новѣйшее время нужны были долгіе поиски, чтобы мы могли реставрировать изъ устъ народа уцѣлѣвшее наслѣдіе народной поэзіи, и изъ древнихъ рукописей немногія ея отраженія въ старое время. Нужна была ученая реставрація для того, чтобы передъ нами открылись сокровища народной поэзіи, заброшенные самѣю древнею Русью. Такимъ образомъ наша народная поэзія фактически не могла пріобрѣсти того національно-литературнаго значенія, какого требовали для нея, ссылаясь на примѣръ западной Европы.

Но и въ самой западной Европѣ національно-поэтическое преданіе не было непрерывно. Напротивъ, между средними вѣками и новымъ періодомъ ея литературы совершился цѣлый переворотъ, отодвинувшій въ прошлое и все старое міровоззрѣніе, и старую поэзію. Вторженіе классицизма,—когда явился даже новый литературный языкъ въ латини, служившей не только для науки, но и для поэзіи, по крайней мѣрѣ для стихотворства,—означало не только успѣхъ научнаго знанія, но и то, что старое содержаніе отживало свое время: мысль и поэтическое творчество требовали бѣльшаго простора и глубины, и вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ рѣшительный (хотя временный) отказъ отъ стараго національнаго преданія. Западные псевдо-классики съ такимъ же пренебреженіемъ относились къ старинѣ, которая казалась простонародною и вульгарною, какъ потомъ это бывало у насъ: но школьныя крайности не уничтожили національнаго существа и, переживъ эпоху Возрожденія, европейскія литературы становятся вновь (если только переставали быть) національными, но уже съ другимъ тономъ и другимъ уровнемъ міровоззрѣнія и поэтическаго творчества.

Въ исторіи русской жизни и литературы реформа была своего рода Возрожденіемъ. Впервые, хотя въ очень небольшомъ объемѣ, вступаетъ научное знаніе; впервые литература пріобрѣтаетъ тѣ формы, въ которыхъ при всей ихъ подражательной искусственности могло выражаться болѣе разнообразное содержаніе, сначала также элементарно подражательное, но затѣмъ все сильнѣе примыкающее къ русской жизни; языкъ, сначала опять неуклюже и неумѣло служившій этому содержанію, быстро развивается въ новомъ направленіи и, воспользовавшись одинаково запасами старой книжной и живой народной рѣчи, при-

обрѣтаетъ въ рукахъ даровитыхъ писателей то богатое изящество, въ которомъ Тургеневъ видѣлъ залогъ будущаго развитія русской жизни... Все преданіе московской Россіи, съ ея клерикальнымъ направленіемъ, боязнью знанія и грубой общественностью, и долго послѣ не допускало ни быстрого хода науки, ни успѣховъ общественности и литературы: но въ концѣ концовъ почти съ каждымъ десятилѣтіемъ совершались приобрѣтенія литературы, которая вмѣстѣ съ тѣмъ все больше приближалась къ „народности“, — частью инстинктивно, по естественному влеченію къ родному быту и народу, частью сознательно, когда разившееся чувство и общественное пониманіе внушало мысль о народной массѣ. Не должно забывать, что развитію этой мысли препятствовалъ фактъ крѣпостного права, при которомъ въ различныхъ отношеніяхъ трудно было поднимать самый вопросъ о народности; и стремленія благороднѣйшихъ представителей литературы прошлаго вѣка прежде всего направлены были на борьбу противъ этого факта — или стараніями о смягченіи грубыхъ нравовъ, или болѣе или менѣе прямыми указаніями на необходимость освобожденія. Съ шестидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка эта мысль не исчезаетъ изъ нашей литературы въ теченіе цѣлаго столѣтія, пока, наконецъ, освобожденіе совершилось.. Очевидно, что безъ этого какая-либо забота о народности была бы ложью или ироніей, — поэтому такъ странно было заявленіе о „народности“, сдѣланное въ тридцатыхъ годахъ, и каковы бы ни были недостатки новой русской литературы, которые казались нашему автору „чудовищными“, безпристрастная исторія должна признать, что эта мысль была понята; исторія признаетъ также, что она не была и бесплодна. Образованіе, которое заимствовало отъ Запада, не осталось безъ своего благотворнаго вліянія, и новѣйшій идеализмъ, призывавшій наше общество и литературу обновиться изъ источника народности, возникъ при несомнѣнныхъ вліяніяхъ европейской литературы и науки: первая, богатымъ развитіемъ своей поэзіи, воспитывала то понятіе о человѣкѣ, за которымъ (какъ Буслаевъ указывалъ это на Карамзинѣ) слѣдовало и воспитаніе разумной любви къ своему народу; наука, въ области философіи, исторіи и т. д., настойчиво утверждала ту же идею человѣчности, разъясняя достоинство личности и ея нравственное право, разъясняя условія общества и государства; и, наконецъ, та же европейская наука, въ области филологіи, дала ключъ къ уразумѣнію того народно-поэтического преданія, на которомъ строился нашъ новѣйшій народный идеализмъ... Новѣйшая исторія русскаго общества успѣла уже указать, что

народное направленіе вовсе не было такъ опрометчиво и поверхностно, какъ опасался Буслаевъ; напротивъ, съ конца пятидесятыхъ годовъ оно все больше расширялось и укрѣплялось, захватывая все большее число молодыхъ силъ, направляясь на различныя стороны народной жизни въ своихъ изученіяхъ и въ практическомъ трудѣ, стремясь и къ возвышенію образовательнаго уровня народа, и къ личному, нравственному воспитанію въ общеніи съ народомъ. Мы называли имена, которые уже отошли въ исторію съ памятью достойнаго служенія народу; другими словами, мы привели примѣры людей, весь жизненный трудъ которыхъ проходилъ и завершился въ этомъ служеніи... Если окончательный результатъ еще не удовлетворить насъ, если предстоитъ сдѣлать слишкомъ много впереди, то великой заслугой общества остается широкая постановка вопросовъ о народѣ, его благѣ и достоинствахъ.

И такъ, вліяніе „народности“ на развитіе нашей новѣйшей литературы было гораздо обширнѣе, чѣмъ это казалось критикамъ самыхъ противоположныхъ лагерей, — напримѣръ, тѣмъ, которые съ реальной точки зрѣнія относились нѣкогда недовѣрчиво къ пріобрѣтеніямъ нашей литературы, и тѣмъ, которые съ идеалистической точки зрѣнія видѣли залогъ будущихъ успѣховъ въ усвоеніи и развитіи народно-поэтическаго преданія ¹⁾. Для правильной оцѣнки этого вліянія должно однако имѣть въ виду два основныя условія, въ которыхъ оно совершалось.

Во-первыхъ, какъ показываетъ исторія, „народность“ въ старомъ періодѣ нашей жизни не создала литературнаго явленія, которое было бы выраженіемъ національнаго духа, сосредоточило народно-поэтическія силы, связало бы ихъ съ дѣломъ образованія и въ послѣдующихъ судьбахъ литературы послужило исходнымъ памятникомъ національно-поэтической самобытности. Наша поэзія въ ея творческую пору осталась только устной, подверженной всѣмъ случайностямъ искаженія и забвенія. Впослѣдствіи народно-поэтическое преданіе раздробилось, и древній эпосъ окончательно забытъ въ большинствѣ народной массы. Буслаевъ, восхищаясь новыми открытіями въ нашемъ эпосѣ, говорилъ, что „эти прекрасныя пѣсни доселѣ оглашаютъ русскую землю по всѣмъ жонцамъ ея, воспѣвая мнѣческихъ богатырей и историческихъ героевъ нашего отечества“, но это было заблужденіе: эпическая старина сохранилась только въ одномъ сѣверномъ край и частью въ Сибири, — потому, что самая отдаленность уединила ихъ отъ

¹⁾ Укажемъ, напр., статью Добролюбова: „О степени народности въ развитіи русской литературы“, „Сочиненія“, т. I, и взгляды Буслаева.

общаго теченія народной жизни; и если, напр, сбереглась память объ Ильѣ Муромцѣ, то это было благодаря старымъ любочнымъ изданіямъ „сказки“ и продолжающимъ ихъ новѣйшимъ рыночнымъ книжкамъ. Такъ самъ народъ забывалъ свои старыя созданія, забвеніе которыхъ ставятъ въ вину обществу. Такимъ же образомъ, никогда въ старину не было даже попытки собрать народную лирику, которая до сихъ поръ сохранила въ устахъ народа столько поистинѣ прекраснаго. Именно только новѣйшая литература, учившаяся по иностраннымъ образцамъ, въ первый разъ обратила вниманіе на народную поэзію и со второй половины прошлаго вѣка ввела ее въ книгу,—и, между прочимъ, сохранила этимъ многіе старые тексты народной пѣсни. Другимъ заблужденіемъ была мысль, что въ своемъ нынѣшнемъ составѣ народная поэзія, собранная въ сборникахъ, представляетъ нѣчто цѣльное, способное къ непосредственному дѣйствию на общественное образованіе и литературу. Въ дѣйствительности, когда, еще на нашей памяти, началось изслѣдованіе народно-поэтической старины, когда явились сборники современныхъ эпическихъ и обрядовыхъ пѣсенъ, духовныхъ стиховъ, сказокъ и т. д., ученымъ изыскателямъ представился цѣлый рядъ сложныхъ вопросовъ и недоумѣній. При отсутствіи письменныхъ памятниковъ, при крайней разбросанности и случайности новѣйшаго преданія, затерялась самая исторія народнаго творчества, затерялся смыслъ самыхъ сказаній, поэтическихъ и миеологическихъ образовъ, значеніе самыхъ словъ, освященныхъ нѣкогда преданіемъ. Какъ изслѣдователямъ античной литературы приходится работать надъ ея реставраціей, собирая *disjecta membra* забытыхъ поэтовъ по случайнымъ цитатамъ позднѣйшихъ писателей, такъ наши изслѣдователи нерѣдко вынуждены путемъ сложныхъ комбинацій доискиваться первоначальнаго смысла и формы сказанія, угадывать условія, въ какихъ оно образовалось, изслѣдовать значеніе словъ, потерявшихъ смыслъ для самого народа и т. д. Вслѣдствіе того, что наша древность, въ своемъ „клерикальномъ“ направленіи, истребила народно-поэтическіе памятники въ ихъ древней формѣ, современная наука полагаетъ нескончаемый трудъ на объясненіе тѣхъ загадокъ, какими являются эти памятники теперь, черезъ вѣка ихъ существованія въ устахъ народа: она трудится, собственно говоря, въ первый разъ надъ реставраціей того, что у западныхъ народовъ сбереглось въ ихъ средневѣковыхъ памятникахъ цѣликомъ. Такимъ образомъ, къ русской литературѣ послѣднихъ двухъ вѣковъ даже не можетъ быть предъявлено то

требованіе самобытнаго развитія, какое извлекають изъ примѣра западно-европейской литературы.

Во-вторыхъ, въ силу этой запоздалости, когда мы, собственно говоря, только теперь можемъ до извѣстной степени реставрировать составъ народно-поэтическаго преданія, время для его непосредственнаго дѣйствія уже прошло. Наша „свѣтская письменность“ получила право гражданства только послѣ реформы: лишь съ этого времени она получила доступъ въ печатную книгу, и пѣсня впервые перестала быть бѣсовской. Начало новой литературы было слѣдствіемъ новаго образованія, и было весьма естественно, что для людей новаго образованія, которые вдругъ встрѣтились съ богатствомъ европейской литературы и стали изъ нея поучаться, не могла быть литературнымъ авторитетомъ первобытная пѣсня, не представлявшая чего-либо цѣльнаго и организованнаго: для новаго возникавшаго литературнаго вкуса произведенія тогдашней псевдо-классической поэмы, романа, драмы, были привлекательны тѣмъ, что кромѣ выработанной формы давали „общечеловѣческое“ содержаніе, затрогивали нравственные и общественные вопросы, которые начинали бродить въ средѣ наиболѣе образованныхъ людей. Наконецъ, нравы и обычаи возникавшаго общества переставали совпадать съ содержаніемъ народной лирики. Уже вскорѣ оказалось, что новое образованіе и народная старина представляли два различные уровня понятій. Первые писатели знакомы были съ знаменитѣйшими произведеніями европейской литературы; первые историки, напримѣръ, Татищевъ, могли уже относиться критически къ народному преданію: какъ бы ни была искусственна форма псевдо-классической поэзіи, въ ней было много дѣйствительнаго изящества, которое было понято, и человѣкъ новаго образованія не могъ уравнивать этой привлекательности собственною народною поэзіей, которая была далека по содержанію, первобытна по формѣ и случайна, такъ какъ была только устная; историки сжился съ своимъ раціонализмомъ и смотрѣлъ на народную поэзію, какъ на памятникъ стараго времени, чуждаго новому. Въ этомъ удаленіи отъ старины вовсе не было никакой страшной измѣны: въ другихъ условіяхъ, но такое же удаленіе отъ старины, — притомъ именно богатой въ литературномъ отношеніи, — произошло въ литературахъ западной Европы въ эпоху Возрожденія; прежнее содержаніе національной литературы точно также было забыто въ увлеченіи классическою древностью.

При этихъ двухъ условіяхъ, которыми сопровождалась переходная эпоха въ нашей литературѣ, начатая реформой, вліяніе

„народности“ въ XVIII вѣкѣ и даже до нашего времени не могло заключаться въ прямомъ воздѣйствіи народно-поэтическаго преданія. Это вліяніе совершалось иными путями, и только отчасти непосредственнымъ воздѣйствіемъ народной поэзіи: самая реставрація народно-поэтической старины, предпринятая въ наше время, была послѣдствіемъ движенія, исходившаго изъ иныхъ источниковъ.

Вліяніе „народности“ можно наблюдать съ первыхъ шаговъ новой литературы. Прежде всего „народность“ сказывалась сама собою, потому что это была природа, которой не могло заглушить вліяніе заимствованной образованности. Не только въ народной массѣ и въ среднемъ кругу, но и въ высшемъ, долго хранилась первобытная простота нравовъ: жизнь дворянства въ помѣстьяхъ была окружена народнымъ обычаемъ; старыя пѣсни по прежнему были развлеченіемъ, которое, напримѣръ, при Елизаветѣ проникло и въ придворную жизнь; пѣсни Кириши Данилова, по словамъ Калайдовича, были списаны въ половинѣ XVIII вѣка для Прокофія Демидова; несомнѣнно ходили по рукамъ рукописные сборники пѣсень, которые послужили потомъ для первыхъ печатныхъ изданій. Не было мысли о томъ (какъ въ то время ея не было и въ массѣ европейской литературы), что эта поэзія должна занять какое-либо мѣсто въ литературѣ; но она жила въ обществѣ и въ самихъ писателяхъ, какъ инстинктъ, и при извѣстныхъ условіяхъ могла оказать свое дѣйствіе по содержанію и по формѣ. Въ старыхъ рукописныхъ сборникахъ школьныхъ кавтовъ замѣшиваются отголоски народной пѣсни; Сумароковъ въ своемъ плодовиномъ стихотворствѣ далъ мѣсто подражаніямъ народной пѣснѣ, и въ теченіе XVIII вѣка различнымъ образомъ сказывалось сочувствіе къ народной пѣснѣ. Это непосредственное вліяніе народной поэзіи доходитъ до Пушкина и, въ малорусской средѣ, до Гоголя: теперь оно только было почувствовано сильнѣе — по новымъ условіямъ русской литературы.

Дѣло въ томъ, что къ этому жизненному инстинкту, которому помогала бытовая домашняя среда, присоединялись литературныя вліянія, которыя сначала мѣшали его дѣйствію, а затѣмъ становились для него благоприятными въ томъ или другомъ отношеніи. Псевдо-классицизмъ по своему существу вездѣ былъ чуждъ народно-поэтическимъ мотивамъ. Но къ концу прошлаго вѣка въ цѣлой европейской литературѣ возникаетъ національная реакція противъ его искусственности: реакція состояла и въ отрицаніи его теоріи искусства, и въ высокой оцѣнѣ національно-

литературныхъ явленій, которыя онъ отвергалъ или не удостоивалъ вниманія, — таково было обращеніе къ Шекспиру (у Лессинга), возвеличеніе народной поэзіи (у Гердера), начало буржуазной драмы, возвращающійся интересъ къ среднимъ вѣкамъ (у предшественниковъ романтизма, и тѣмъ болѣе у самихъ романтиковъ) и т. д. Все это начинало отражаться и у насъ. Это были опять чужія вліянія, но это во всякомъ случаѣ былъ успѣхъ въ литературномъ образованіи, и падая на ту почву, гдѣ уже были зародыши народно-поэтическихъ сочувствій, эти вліянія съ различныхъ сторонъ усиливали значеніе народныхъ элементовъ нашей литературы и, наконецъ, вызвали сначала темное, потомъ все болѣе прояснявшееся сознаніе, что литература должна быть народна.

Псевдо-классицизмъ держался въ нашей литературѣ долго и упорно, но рано сказались и тѣ направленія, которыя въ концѣ концовъ должны были устроить его. Рядомъ съ литературными новизнами, какъ Шекспиръ, какъ мѣщанская драма, слышались отголоски философіи XVIII вѣка и въ числѣ ихъ то сентиментальное направленіе, которое было свидѣтельствомъ общественной склонности въ сторону гуманизма и вмѣстѣ литературной реформы: Новиковъ въ 1760-хъ годахъ уже довольно открыто защищаетъ интересы крѣпостного народа, и если позднѣе Карамзинъ изображалъ „счастливыхъ поселянъ“ въ нѣжномъ тонѣ идилліи, то другой поклонникъ Стерна далъ мрачныя картины крѣпостного быта съ прямыми сочувствіями къ народу, какъ Радищевъ. Съ первыхъ десятилѣтій XIX столѣтія господствующимъ направленіемъ литературы становится „романтизмъ“, и его вліянія, въ соединеніи съ другими условіями времени, сильнѣе, чѣмъ когда-либо, содѣйствуютъ узаконенію народной стихіи. Пушкинъ даетъ уже высоко художественныя реставраціи народнаго эпоса и лирики и является истиннымъ виртуозомъ народно-поэческаго языка; изъ окружавшей его плеяды меньшихъ поэтовъ, одинъ, какъ Рылѣевъ, стремится дать романтическія картины гражданскихъ моментовъ старой русской исторіи; другой, какъ баронъ Дельвигъ, съ одной стороны хочетъ быть антологическимъ поэтомъ (въ романтической окраскѣ), съ другой, дѣлаетъ своею спеціальностью „народную“ пѣсню; Мерзляковъ, старый классицистъ, пишетъ пѣсенки въ народномъ вкусѣ.

Это стремленіе къ народнымъ мотивамъ и къ ихъ воссозданію, — хотя бы еще въ тѣсныхъ границахъ, — опредѣляется у Пушкина и также Гоголя гораздо раньше тѣхъ философскихъ соображеній о значеніи народной поэзіи, какія ставились у на-

сихъ гегельянцевъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и раньше той ученой реставраціи народно-поэтического преданія, начинателемъ которой былъ въ особенности Буслаевъ. Это стремленіе къ народнымъ мотивамъ, соединявшееся съ опытами изображенія жизни самого общества (Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь), очевидно, было не однимъ внѣшнимъ расширеніемъ области художественнаго творчества: оно было и расширеніемъ нравственно-общественныхъ интересовъ, свидѣтельствомъ сочувствія къ народнымъ массамъ, надъ которыми еще тяготѣло крѣпостное рабство, но въ которыхъ уже видѣлась основа націи и государства. Путемъ непрерывавшагося развитія, литература приходила къ высокому представленію о народѣ, и въ сущности приходила въ первый разъ, потому что древняя Русь сознавала себя только патріархальнымъ инстинктомъ, а теперь являлось настойчивое стремленіе сознать народъ во всей широтѣ его нравственной и реальной жизни, съ его историческимъ прошлымъ и съ идеалами будущаго.

Эта жажда опредѣлить свое общественное и народное сознаніе не даромъ овладѣваетъ лучшими умами общества въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ. Пушкинъ и Гоголь вообще, и въ частности съ ихъ народно-поэтическими элементами, были крупными силами этого сознанія; и затѣмъ оно опять укрѣпляется новыми явленіями умственной жизни. Мы указывали вліяніе изученій историческихъ и этнографическихъ, разъяснявшихъ факты прошлой и современной народной жизни; отголоски славянскаго возрожденія („чешская программа“, вліявшая, по замѣчанію Буслаева, на славянофиловъ); вліяніе нѣмецкой философіи, отразившееся въ обоихъ лагеряхъ сороковыхъ годовъ и дававшее широкую основу для постановки вопроса о національных особенностяхъ и историческихъ задачахъ народа; наконецъ, отголоски западнаго социализма, сначала полу-фантастическіе, но опять направлявшіе мысль на положеніе общества и народа. Все это покрыто было въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ однимъ изъ величайшихъ фактовъ новѣйшей русской исторіи, освобожденіемъ крестьянъ, которое подняло вдругъ цѣлую массу вопросовъ о положеніи народа матеріальномъ, гражданскомъ, нравственномъ, возбудило новыя изслѣдованія и новый порывъ идеализма. Когда почти въ то же время начались усиленные разысканія въ области народнаго преданія, они своимъ нравственнымъ смысломъ совпадали съ идеализмомъ лучшихъ людей общества, воспитаннымъ на другой почвѣ... Разногласіе, указанное выше по трактату Буслаева, было только разногласіемъ о данномъ по-

ложеніи общества и о средствахъ установить національное значеніе литературы и нравственное достоинство народной идеи,—но высшая цѣль того и другого идеализма была одна.

Такими путями развивалась въ новой литературѣ народная идея. Успѣхи ея идутъ параллельно съ успѣхами самой литературы, такъ или иначе связаны съ тѣми разнообразными воздѣйствіями, какія испытывала умственная и нравственная жизнь общества. Въ результатѣ получалось убѣжденіе въ необходимости развитія народной стихіи въ литературѣ и въ жизни общественной,—но эта „народность“ не была уже поверхностнымъ литературнымъ, или оффиціальнымъ терминомъ,—она связывается съ цѣлымъ вопросомъ исторической жизни народа, и настоящая минута захвачена столкновеніями взглядовъ, по-своему ставящихъ великій вопросъ: истинное рѣшеніе будетъ тамъ, гдѣ будетъ мысль о широкихъ путяхъ для развитія народныхъ силъ и просвѣщенія, стоящаго на высотѣ просвѣщенія общечеловѣческаго.

Но какое было въ частности вліяніе народно-поэтической старины? Во всемъ указанномъ развитіи она была лишь однимъ мотивомъ въ числѣ многихъ другихъ. Въ цѣломъ складѣ народной жизни, образующемъ „народность“, поэзія народа есть безъ сомнѣнія важная черта, но не единственная, которою опредѣлялись сочувствія къ народу. Для возстановленія связи новѣйшаго общества съ народно-поэтическою стариною, — о чемъ мечтали идеалисты, какъ Буслаевъ, — едва-ли остается возможность не только со стороны общества, міровоззрѣніе котораго слишкомъ удалилось отъ этой старины, но и со стороны народа, въ которомъ эта старина давно и неудержимо падаетъ. Народно-поэтическое преданіе дѣлается для насъ доступно только путемъ научной реставраціи, которая далеко не завершена и донинѣ наполнена противорѣчіями. Что не нуждалось въ толкованіяхъ, то дѣйствовало непосредственно живою силою чувства или поэтического образа, и независимо отъ ученыхъ комментаріевъ Лермонтовъ и Кольцовъ создавали свои произведенія; и затѣмъ подъ непосредственными впечатлѣніями самого реального быта, внѣ „филологическихъ“ соображеній, новѣйшая литература давала намъ увлекательныя или потрясающія картины народной жизни, характеровъ и самыхъ поэтическихъ настроеній, — въ произведеніяхъ Тургенева, Григоровича, Некрасова, Писемскаго, Глѣба Успенскаго, Достоевскаго, Салтыкова. Тенденціозное внушеніе старины, наоборотъ, производило всего чаще только фальшиво-сентиментальныя изображенія или уродливо искажало старину,—когда, напримѣръ, поэтъ, съ очень значительнымъ именемъ, ре-

ставрируя древнюю былинну, заставлялъ ея героя на поддѣльномъ старомъ языкѣ и въ мнимо народномъ духѣ декламировать противъ суда присяжныхъ!.. Близкое наблюденіе жизни, сочувственное отношеніе къ народу въ рукахъ сильнаго дарованія сами собою, безъ искусственнаго подражанія народнымъ мотивамъ, достигаютъ вѣрнаго изображенія, и даже тамъ, гдѣ мы не замѣчаемъ въ произведеніяхъ писателя чисто національных особенностей творчества, или съ исключительной точки зрѣнія даже отвергаемъ ихъ, западная европейская критика изумляется его именно національной оригинальности: самъ Тургеневъ представлялся ей тонко-цивилизованнымъ скиномъ,—такъ хотѣли выразить русскій характеръ его творчества. Реализмъ русскаго искусства, соединенный съ глубиною чувства, который такъ поражалъ европейскую критику, когда для нея открылась, наконецъ, наша литература, самъ по себѣ носитъ черты нашего національнаго характера. Въ концѣ концовъ наше искусство рѣшаетъ, наконецъ, трудную задачу произведенія, сохраняющаго условія художества, исполняющаго сильную бытовую тему и одинаково доступнаго всѣмъ слоямъ общества и народа—таковы послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого.

Русскія народныя пѣсни вызвали собирателей съ конца прошлаго вѣка (см. „Исторію русской Этнографіи“, т. I—II): таковы были знаменитые сборники Чулкова и Новикова, впоследствии не однажды повторенные, и сборникъ пѣсенныхъ мотивовъ Прача, недавно переизданный (въ третій разъ). Основные послѣдующіе сборники:

— Кирша Даниловъ, въ изданіи Калайдовича, 1818: пѣсни богатырскія и историческія; вновь по подлинной рукописи подъ ред. П. Н. Шеффера. Спб. 1901.

— Сахаровъ, 1838—39; пѣсни обрядовыя и лирическія.

— Памятники великорусскаго нарѣчія. Спб. 1855.

— Петръ Кирѣевскій: Духовные стихи, 1848; „Пѣсни“, подъ ред. П. Безсонова, 1860 и далѣе, 10 выпусковъ.

— П. Якушкинъ, 1860—65: Сочиненія, изд. Вл. Михневича, съ портр. и біографіей. Спб. 1884.

— Рыбниковъ, 1861—1868, особливо богатырскія пѣсни.

— Гильфердингъ, Онежскія былинны. 1873; новое академическое изданіе: „Сборникъ“, т. LIX—LXI (1-й вып.), 1894—1900.

— Е. Барсовъ, Причитанія сѣвернаго края. I—II. М. 1872—82; томъ III—въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ.

— А. Соболевскій, Великорусскія народныя пѣсни. Спб. 1895—1901, шесть томовъ.

— Шейнъ, П. В., Русскія нар. пѣсни. Часть первая. М. 1870; Великоруссы въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ,

сказкахъ, легендахъ и т. п. Томъ I, въ двухъ выпускахъ. Спб. 1898 — 1900.

— Тихонравовъ и Всев. Миллеръ, Р. былины старой и новой записи. М. 1894. Къ этому присоединяется изданное раньше „Богатырское слово, въ спискѣ начала XVII вѣка“, открытое Е. В. Барсовымъ. Спб. 1881 (изъ „Записокъ“ Акад. Наукъ, т. XL).

Въ послѣдніе годы открытъ былъ на сѣверѣ и въ Сибири новый богатый запасъ былины, о чемъ сдѣланы были слѣдующія сообщенія:

— Всев. Миллеръ, Новыя записи былинь въ Архангельской губерніи, — въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. Н., т. IV. 1899, стр. 661—725 (нѣсколько текстовъ, записанныхъ А. В. Марковымъ на Зимнемъ берегу Вѣлаго моря, съ объясненіями г. Миллера).

— Его же новыя записи былинь въ Якутской области, — тамъ же, т. V. 1900, стр. 36—78 (восемь былинь, записанныхъ В. Г. Богоразомъ, съ объясненіями г. Миллера).

— А. В. Марковъ и А. Д. Григорьевъ, Былинная традиція на Бѣломъ морѣ Изъ отчетовъ о поѣздкахъ, — тамъ же, стр. 641—653.

Затѣмъ явился самый сборникъ, изданный Этнографическимъ Отдѣломъ моск. Общества люб. Ест., Антр. и Этнографіи:

— Бѣломорскія былины, записанныя А. Марковымъ. Съ предисловіемъ проф. В. О. Миллера. М. 1901, — большой томъ (сверхъ 600 стр.), 116 текстовъ, съ обстоятельными указаніями мѣстностей, пѣвцовъ и пѣвицъ, параллелей въ другихъ изданіяхъ, и пр.

Сборникъ г. Григорьева издается II Отдѣленіемъ Академіи.

По разработкѣ былинныхъ сюжетовъ:

— К. Тиандеръ, Западныя параллели къ былинамъ о Чуригѣ и Катеринѣ, — въ Журн. мин. просв. 1898, декабрь; а именно скандинавскія и шотландскія баллады, французскія пѣсни, иберійскіе романсы, славянскія пѣсни.

— Всев. Миллеръ, Къ былинь о сорока каликахъ со каликою, — въ Жур. мин. просв. 1899, № 7.

— Н. Коробка, Весенняя игра пѣсни Воротарь и пѣсни о князѣ Романѣ, — въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад., т. IV. 1899, стр. 589—640; въ особенности по поводу рѣшеній Жданова. Г. Коробка собралъ также волынскія сказанія объ Игорѣ и Ольгѣ въ „Памятной книжкѣ“ Волынской губ. на 1899 годъ (ср. „Живую Старину“, 1895, № 1).

— Н. О. Сумцовъ, Пѣсни о гостѣ Терентіи и родственныя имъ сказки, — въ Этнограф. Обзорѣніи, 1892, кн. XII; — Былины о Добрынь и Маринѣ и родственныя имъ сказки о женѣ волшебницѣ, — тамъ же, кн. XIII—XIV; — Народныя пѣсни о смерти солдата, — тамъ же, 1893, кн. XVI; — Мужъ на свадьбѣ своей жены, — тамъ же, кн. XIX (былины о Соловѣ Будимировичѣ и Добрынь Никитичѣ и родственныя по вѣсти и сказки).

— Григ. Н. Потанинъ, Мелкія фольклористическія замѣтки, въ „Этнограф. Обзорѣніи“, кн. XXI—XXVII, XXXI. Здѣсь, какъ во многихъ другихъ замѣткахъ, помѣщенныхъ въ этомъ изданіи, авторъ собиралъ уже матеріалы для большой, вышеупомянутой, книги о восточныхъ источникахъ европейскихъ сказаній.

Далѣе, пѣсни историческія:

— Пѣсни П. В. Кирѣевского, въ изданіи Безсонова, вып. 6—10,

гдѣ уже опредѣленною темой служатъ историческія событія, главнымъ образомъ съ XVI вѣка.

— П. Вейнбергъ, Русскія нар. пѣсни объ Иванѣ Грозномъ. Варшава, 1872; разборъ А. Веселовскаго, въ „Вѣстн. Европы“ 1872, августъ.

— Сениговъ, Іосифъ. Народное воззрѣніе на дѣятельность Іоанна Грознаго. Спб. 1892,—на основаніи пѣсенъ. Разборъ П. Колокольникова въ „Этногр. Обзорѣніи“, 1893, XIX, стр. 179—181.

Новую формацію составляютъ пѣсни казацкія, солдатскія:

— Донскія, въ сборникахъ А. Савельева (1866) и А. Пивоварова (1885).

— Іоасафъ Желѣзновъ. Уральцы. Очерки быта уральскихъ казаковъ. Три тома. Спб. 1888.

— Н. Мякушинъ. Сборникъ уральскихъ казачьихъ пѣсенъ. Спб. 1890 (также „стихотворенія“ уральскихъ и другихъ казачьихъ войскъ).

— Терскій Календарь на 1891 и 1892 годъ. Владикавказъ, 1890—91, и къ нему приложение: „Терскій сборникъ“, подъ ред. секретаря статист. комитета, П. Стефановскаго, тамъ же, 1890—92.

— М. Карпинскій. Русскій былевой эпосъ на Терекѣ (сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, вып. XXII).

— Старинныя пѣсни гребенскихъ казаковъ,—тамъ же, вып. XXIV, и др.

Особую категорію составляютъ пѣсни разбойничьи:

— Н. Аристовъ. Объ историческомъ значеніи русскихъ разбойничьихъ пѣсенъ. Воронежъ, 1875 (изъ „Филологич. Записокъ“). Замятка Мордовцева въ „Истор. Проплеяхъ“. Спб. 1889, т. 2.

— Ванька Каинъ. Историческій очеркъ Д. Мордовцева. Изданіе второе. Спб. 1887.

— М. Е. Соколовъ, Былины историческія, военныя, разбойничьи, и воровскія пѣсни, записанныя въ Саратовской губерніи. Петровскъ, 1896 (съ нѣсколькими странными предисловіемъ).

О новѣйшихъ пѣсняхъ, представляющихъ по однимъ, упадокъ жизненности стараго народнаго творчества, по другимъ—переходную ступень къ возможному новому, упомянуто въ предыдущей главѣ. (См. къ этому ст. А. Штакельберга, въ газ. „Россія“, 1901, № 916).

По исторіи пѣсни вообще (кромѣ указаннаго раньше):

— И. Шляпкинъ, Историческая пѣсня XVII вѣка „О взятіи Смоленска“,—сообщеніе въ Обществѣ любит. древней письменности, текстъ по рукописи XVII вѣка.

— Ст. Кале. Русскія историческія пѣсни XVII-го вѣка. Воронежъ, 1897 (изъ „Филологическихъ записокъ“, 52 стр.).

— В. Перетцъ, Скоморошья вирши по рукописи половины XVIII вѣка. Спб. 1898 (изъ „Ежегодника Импер. театровъ“, сезона 1896—1897 гг.); Запретная пѣсня временъ имп. Елизаветы Петровны, въ „Литер. Вѣстникъ“, 1901, кн. V, стр. 17—18; ср. выше, стр. 51: „Дѣла о пѣсняхъ“.

— Кохановская (Н. С. Соханская), „Нѣсколько русскихъ пѣсенъ“, въ „Русской Бесѣдѣ“, 1860. I, стр. 41—132: „Остатки боярскихъ пѣсенъ“, тамъ же, II, стр. 71—142.

- Записки Никиты Ив. Толубѣева (1780—1809). Изд. журнала „Р. Старина“. Спб. 1888 (пѣсни въ деревенскомъ помѣщичьемъ быту).
 — (Графъ С. Шереметевъ). Отголоски XVIII вѣка. Выпускъ IV. Спб. 1897. (Русскія пѣсни и гусли въ богатыхъ барскихъ домахъ).

Музыка русскихъ пѣсень:

— „Собраніе русскихъ пѣсень съ нотами“. Спб. 1776—79; 62 пѣсни на два голоса,—считается первымъ по времени печатнымъ собраніемъ пѣсенныхъ напѣвовъ,—оно было однако неудовлетворительно. Гораздо выше было „Собраніе р. пѣсень съ ихъ голосами“ Прача. (См. 1790; второе умноженное изданіе 1806; новѣйшая перепечатка 1896); раньше указаны изданія Кирши Данилова. Новѣйшее собраніе напѣвовъ открывается сборникомъ Дан. Кашина (М. 1833; 2-е изд. 1841). Сборникъ Кашина, какъ и послѣдующія собранія—А. Снегирева, А. Гурилева, М. Бернарда, А. Варламова и В. Кажинскаго и др., были вообще мало удовлетворительны, такъ какъ въ нихъ не было правильнаго пониманія народной музыки, напѣвы прикрашивались, пѣсня принималась за романсъ. Болѣе строгая постановка вопроса, и именно болѣе точная запись и передача напѣвовъ, начинается съ тѣхъ поръ, какъ распространяется научное разъясненіе значенія пѣсни и ея музыки. Таковы, въ разной мѣрѣ достоинства, послѣдующіе сборники,—начиная съ М. А. Стаховича (1851—54); К. Вильбоа (два сборника, одинъ съ текстомъ Ап. Григорьева, 1860); М. А. Балакирева (1866); Н. Аванасьева (въ шестидесятыхъ годахъ и 1876); П. Воротникова (1870); Прокунина (подъ ред. П. Чайковского, 1872); Рубца (1875); Н. Римскаго Корсакова (1877); мѣстные сборники Ф. Лаговскаго (пѣсни костромскія, вологодскія, новгородскія и др., Череповецъ, 1877) и Н. Абрамичева (пѣсни вятскія, 1879). Послѣ сборниковъ Стаховича и Балакирева, новый важный успѣхъ въ изученіи пѣсенной музыки сдѣланъ былъ сборникомъ Ю. М. Мельгунова (два вып., 1879—85): подъ вліяніемъ нѣмецкихъ теоретиковъ музыки, Вестфала и Эттингена, Мельгуновъ выработалъ новую гармонизацію пѣсни. Въ этомъ новомъ направленіи, съ разнымъ успѣхомъ, шли дальнѣйшія собранія: Т. И. Филиппова и Н. А. Римскаго-Корсакова (1882); Н. Е. Пальчикова (уфимскія пѣсни, 1888); Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина (1889). Отмѣтимъ еще сборникъ В. М. Орлова и Е. П. Якубенка (тамбовскія пѣсни, 1890); сборникъ Д. А. Славянскаго (М. 1889. музыкантами неодобряемый); наконецъ популярныя, школьныя и дѣтскія сборники А. Архангельскаго, П. Чайковского, Дольда и А. Фаминина, А. Богородицкаго, А. Лядова, Гр. Маренича и др.
 — Е. Ляцкій, Сказитель И. Т. Рябининъ и его былины. Съ музыкальною замѣткою А. С. Аренскаго,—въ Этногр. Обзорѣніи, т. XXVI. и отдѣльно. М. 1894.

Новый обширный трудъ по изученію народной музыки предпринятъ былъ, по инициативѣ Географ. Общества и при содѣйствіи Т. И. Филиппова, особой экспедиціей, исполнителемъ которой былъ Ѳ. М. Истоминъ и его музыкальные сотрудники:

— Пѣсни русскаго народа. Собранны въ губ. Архангельской и

Олонцкой въ 1886 году. Записали: слова—Ө. М. Истоминъ; напѣвы—Г. О. Дютшъ. Издано И. Р. Георг. Обществомъ на средства Высочайше дарованныя. Спб. 1894.

— Тоже, губ. Вологодская, Вятская и Костромская (въ 1893 году), Ө. М. Истомина и С. М. Ляпунова. Спб. 1899.

— Тоже, губ. Владимірская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская и Ярославская,—Истомина и И. В. Некрасова...

Подробности библиографіи, въ ст. С. Рыбакова „Русская пѣсня“, въ Энцикл. Словарѣ, Брокгауза и Ефрона. Тамъ же музыкально-теоретическія объясненія напѣвовъ русской народной пѣсни. О книгѣ Сокальскаго упомянуто выше.

Рядомъ съ изслѣдованіемъ народной музыки предприняты, какъ раньше сказано, изслѣдованія о стихосложеніи народной пѣсни. Обзоръ ихъ въ книгѣ Н. Иванова, „Объ основаніяхъ русскаго народнаго и литературнаго стихосложенія. (На память объ А. Аө. Потебнѣ)“. Воронежъ, 1893, изъ „Филолог. Записокъ“,—изложеніе взглядовъ на этотъ предметъ, начиная съ XVIII вѣка и кончая трудами Потебни, Мельгунова, Шафранова, Вестфаля, Узенера, Сокальскаго.

Къ иностраннымъ пересказамъ и переводамъ.

— Isabel Florence Hapgood. The Epic Songs of Russia With an introd. note by Prof. Francis J. Child. New-York, 1886—перев. въ прозѣ.

Облчій обзоръ былинной поэзіи по новымъ изслѣдованіямъ:

— Былины, Е. Ляцкого, въ „Большой Энциклопедіи“ т. IV.

Наконецъ, множество изданій мѣстныхъ, отдѣльными сборниками и въ изданіяхъ спеціальныхъ—Географ. Общества, въ „Этнограф. Обзорѣни“, въ изданіяхъ провинціальныхъ: пѣсни московскія, петербургскія, архангельскія, новгородскія, ярославскія, казанскія, вологодскія, саратовскія и пр.

— Сборники бѣлорусскіе: Чечота (1837—45), Безсонова (1871), Шейна (Матеріалы для изученія быта и языка русскаго населенія сѣверо-западнаго края, два тома, въ трехъ книгахъ, 1887—93), Е. Романова (Бѣлорусскій сборникъ, 5 вып., 1885—91), Никифоровскаго, Довнара-Запольскаго, Зинаиды Радченко (сборникъ малор. и бѣлор. нар. пѣсенъ Гомельскаго уѣзда, 1881; записи бѣлор. пѣсенной музыки).

— Сборники малорусскіе: Максимовича, Метлинскаго, Рудченка, Антоновича и Драгоманова, экспедиціи Чубинскаго, Гринченка и др. Записи напѣвовъ: Праца, Алябьева (1834, 1849), А. Едлички; Н. В. Лисенка; Рубца; М. Вовчка и Мертке.

Другія подробности въ „Ист. р. Этнографіи“, и относительно Малороссіи дополненія въ книгѣ Н. Сумцова, „Современная малорусская Этнографія“. Кіевъ, 1893.

Распредѣленіе цѣлой массы пѣсенъ въ отдѣльныя группы по ихъ содержанію или формѣ до сихъ поръ не установлено. Выше приведено мнѣніе Потебни о необходимости распредѣленія и изученія пѣсенъ по ихъ поэтической основѣ, мотиву и размѣру; но въ этомъ направленіи пока еще почти ничего не сдѣлано. Въ изданіи малорус-

скихъ пѣсенъ собранія Чубинскаго (т. V. подъ редакціей Костомарова) принята была группировка бытовыхъ пѣсенъ по ихъ „идеѣ“, т.-е. по ихъ содержанію; она была совершенно осуждена Ягичемъ (Archiv I, стр. 320—321), потому что она вырываетъ пѣсню изъ ея естественныхъ условий: вообще такъ-называемыя, бытовые, семейныя, любовныя пѣсни могутъ быть изъ этого общаго обозначенія выдѣлены въ болѣе опредѣленныя группы по ихъ поэтической основѣ. Съ другой стороны, для болѣе детальнаго обзорѣнія пѣсенъ,—и пока еще не сдѣлано группировки по значенію мотива и разиѣра—можетъ служить распредѣленіе пѣсенъ по ихъ бытовому, обрядовому значенію, въ связи съ календаремъ народной жизни трудовой и обрядовой.

О народномъ календарѣ:

— Снегиревъ. Русскіе простонародные праздники и суевѣрные обряды. Вып. 1. М. 1837; 2—3 вып. 1838; 4-й 1839.

— Терещенко, Бытъ русскаго народа. Семь частей. Спб. 1848.

— Сахаровъ, Сказанія русскаго народа, 1836; третье изданіе, 1841; 1849.

— Максимовичъ, Дни и мѣсяцы украинскаго селянина; „Собраніе сочиненій“. Кіевъ, 1877, т. II.

— И. Калининскій, Церковно-народный Мѣсяцесловъ, 1877 (Записки по Отдѣленію этнографіи).

— Селивановъ, Годъ русскаго земледѣльца, въ „Р. Бесѣдѣ“ 1856, кн. II, IV; 1857, кн. III—IV.

— Календаръ съ пословицами на 1887 годъ. Спб. 1887 (крестьянскія работы въ каждомъ мѣсяцѣ), изд. „Посредника“, и др.

Какъ было замѣчено въ текстѣ, образованіе нынѣшняго состава народнаго календаря пока неясно. Полагаютъ, что христіанскія вліянія проникали здѣсь еще до установленія христіанства путемъ, мало изслѣдованныхъ доннынѣ отношеній южнаго, западнаго и русскаго славянства съ Византіей и романо-германскимъ міромъ,—какъ еще до перевода священнаго писанія была до извѣстной степени знакома христіанская терминологія. Историческія извѣстія застаютъ народную обрядовую поэзію уже въ этомъ кругѣ христіанскаго календаря и двоевѣрнаго обычая: съ теченіемъ времени въ приуроченіи и мотивахъ обрядовой пѣсни произошли конечно перемѣны и смѣшенія, но въ общемъ этотъ обрядовый кругъ сохранился доннынѣ (о происхожденіи древняго арійскаго календаря и дальнѣйшей календарной традиціи см. Востока см. любопытныя соображенія въ книгѣ: „Турецкій вѣчный календаръ Дарендэви, переводъ съ турецкаго“ съ примѣчаніями и объясненіями М. Гамазова и П. Букрѣва. Спб. 1883). Вслѣдствіе общаго христіанскаго вліянія доннынѣ наблюдается совпаденіе и сходство обрядовыхъ календарныхъ празднествъ—общеевропейское или обще-христіанское: Рождество, святки, масленица или карнавалъ, день Іоанна Крестителя или Иванъ Купала, праздники осеніе и т. д., въ общей такъже связи съ остатками древняго языческаго преданія. Въ нашемъ народномъ преданіи многія подробности совсѣмъ забылись; старыя слова, между прочимъ характерныя для самаго празднества, становились непонятны, обращаясь въ условную черту,—припѣвъ, наконецъ олицетвореніе,—какъ напримѣръ: Коляда,

Купала, Овсень, Таусень, лелю, Дунай и пр. Затѣмъ далеко не всѣ обрядовыя пѣсни сохранили свое календарное приуроченіе: самый годъ въ наше историческое время три раза мѣнялъ свое начало (1-е марта, сентября, января), и пожеланія здоровья, урожая, веселья переносились на разные сроки; пѣсни, связанныя съ обрядомъ (какъ пѣсни колядскія, масляничныя, свадебныя), отдѣлились отъ обряда и пѣлись также въ другое время.

— Пѣсни святочные, въ „Коляду“, святки, Васильевъ вечеръ. Название коляды, которому нѣкогда желали дать русскую этимологію, происходитъ несомнѣнно отъ греко-римскихъ каландъ или календъ. Название праздника перешло на пѣсни („кликать коледу“, „колядки“, въ грамотѣ 1649), на исполненіе пѣсни („колядовать“), наконецъ, на подарки пѣвцамъ и поздравителямъ. Первые изслѣдователи предполагали въ каландныхъ пѣсняхъ особенную древность (часто цитировалась карпатская колядка, будто бы заключающая первобытное славянское представленіе о твореніи міра двумя началами; потомъ здѣсь оказалось простое повтореніе христіанскихъ апокрифическихъ сказаній); позднѣе большую древность колядокъ предполагала мифологическая школа и также изслѣдованія Потебни. Веселовскій, напротивъ, отмѣчалъ обиліе мотивовъ христіанскихъ, т.-е. болѣе позднихъ. На примѣрѣ романо-германскихъ сказаній (Опыты по исторіи развитія христіанской легенды: Берта и пр., стр. 272—275) онъ указывалъ, какъ церковное празднество и обрядъ дѣйствовали на народную фантазію, воспитанную старымъ преданіемъ, и становились сами источникомъ мифа и поэзіи. Кромѣ колядокъ поются пѣсни подблюдныя при святочныхъ гаданьяхъ, пѣсни при „игрищахъ“, „волочebныя“; кромѣ личной судьбы совершаются гаданія о будущемъ урожаѣ и т. д.

— Масляница, съ народнымъ весельемъ („широкая масляница“), играми, гуляньями, кулачными боями, упомянутыми еще въ правилѣ митр. Кирилла XIII в., имѣла свои пѣсни.

— Весна представляла цѣлый рядъ обрядовыхъ празднествъ и пѣсенъ — на окликанье или встрѣчу весны, на Великъ день, Красную горку, Радуницу, Егорьевъ день. Встрѣча весны и весенніе обряды въ разныхъ мѣстахъ совершаются не всегда въ одно время, но вообще отъ марта до іюня: на Пасхѣ бываютъ опять пѣсни колядныя, волочebныя. Радуница и „навій день“ (день мертвыхъ) на Ѳоминой недѣлѣ посвящены окликанью мертвыхъ, вѣроятно продолжающему древнюю тризну: поминки сопровождаются обыкновенно необузданнымъ весельемъ и пиршествомъ, — древніе обличители съ негодованіемъ отмѣчали, что вслѣдъ за плачемъ по умершимъ на жальникахъ являлись скоморохи съ бѣсовскими играми. Далѣе, весна есть начало хороводовъ, которые приурочиваются къ большимъ весеннимъ (церковнымъ) праздникамъ, и хороводная игра сопровождается обильными пѣснями: пѣсни наборныя — призывъ къ хороводу; игровыя — самое исполненіе игрища; разборныя или разводныя — конецъ и разставанье.

— Наступленіе лѣта ведетъ новые праздники. обряды и пѣсни: Русалная недѣля, Семикъ, Троицынъ день — опять поминаніе предковъ, игрища и особыя пѣсни. Упомянутія о „русальяхъ“ восходятъ

къ XI в., и названіе есть опять всего вѣроятнѣе повтореніе греко-римскихъ русалій (*rosaria, rosalia*, какъ давно объяснялъ Миклошичъ). Остается спорнымъ, какъ относится къ этому представленію о „русалкахъ“, подѣ которыми разумѣли души умершихъ некрещеными младенцевъ и утопленницъ. Стоглавъ объединяетъ „русалки“ объ Ивановѣ днѣ и въ навечеріе Рождества и Крещенія“. Наиболѣе распространеннымъ и популярнымъ лѣтнимъ праздникомъ былъ Ивановъ день или Иванъ Купала (мѣстами замѣняла его Аграфена Купальница): бурное веселье начиналось въ ночь на рождество Предтечи, и древнія поученія обличали сатанинскія игры, а также исканіе чаровниками волшебныхъ травъ и корней въ эту ночь, на „потвореніе“ людямъ, съ приговоры сатанинскими. Къ купальской обрядности принадлежитъ зажиганье костровъ, прыганье черезъ нихъ и перегонъ скота, заключеніе кумовства и побратимства; въ то же время совершаются съ извѣстными обрядами похороны олицетвореній празднествъ—Ярилы, Костромы и т. д.

— Въ разрядъ обрядовой поэзіи входятъ пѣсни, принадлежащія въ частности земледѣльческому быту и труду: какъ собираніе хлѣба обставляется обрядами, опять иногда туманно напоминающими далекую древность (напр. завиваніе бороды Волосу), такъ сопровождали его особая пѣсни, толочныя, жнивныя—воспѣваніе хлѣба, хлѣбнаго поля, добрыя пожеланія хозяину. Конецъ лѣта и осень имѣютъ свои праздники: варятъ пиво, брагу; происходятъ братчины и ссычины со своими пѣснями; начинаются посидѣлки, бесѣды, гдѣ собирается только молодежь, съ пѣньемъ пѣсенъ, играми, пляской и плясовыми пѣснями.

— Кромѣ этого цикла, представляющаго годовой ходъ народной жизни, гдѣ продолжалось старое преданіе, хранилась извѣстная народная мифологія и шло народное веселье, другой циклъ, опять обрядовый, относился къ жизни родовой и личной: обряды и пѣсни свадебныя и похоронныя. Тѣ и другія существуютъ донынѣ въ великомъ обиліи. Относительно первыхъ сказано въ текстѣ, какъ онѣ сложились къ нашему времени изъ древнѣйшаго брачнаго обычая, потерявъ его сущность и сохранивъ отголоски формъ въ видѣ условнаго обряда и поэтического сравненія. Это—одна изъ наиболѣе распространенныхъ, постоянно живыхъ областей поэзіи: она могла особливо варьироваться по отгѣнкамъ племеннымъ, по мѣстнымъ формамъ труда и обычая, наконецъ, по разнымъ ступенямъ сословій и зажиточности, при чрезвычайной разбросанности населенія: отсюда великое разнообразіе въ обычаяхъ и самыхъ пѣсняхъ. Древнѣйшее свидѣтельство о свадебныхъ пѣсняхъ мы видѣли въ посланіи Владимира Мономаха; отъ XVI—XVII в. сохранились описанія великокняжескихъ и царскихъ свадебъ, конечно, повторявшихъ въ основѣ народный обычай. Пѣсни обнимаютъ весь ходъ свадебнаго дѣла, сопровождаютъ всѣ подробности обряда и даютъ богатый лирическій матеріалъ въ свадебныхъ причетахъ. (Кромѣ упомянутаго въ текстѣ, см. множество указаній о свадебныхъ пѣсняхъ и обрядахъ у Кушкина, „Обычное право“). Этотъ порядокъ личной жизни и календарный порядокъ жизни бытовой и трудовой положенъ въ основу расположенія пѣсенъ въ сборникахъ Шейна.

— Въ послѣднее время собрана большая масса причитаній, погребальныхъ и иныхъ: плачи похоронные, надгробные и надмогильные (напр., вдовы по мужѣ, дочери по матери, плачи по сынѣ, дочери, братѣ, дядѣ, сватѣ и т. д.), плачи завоенные, рекрутскіе, солдатскіе (по рекрутѣ холостомъ или женатомъ, при проводахъ солдата съ побывки) и т. д. Олонецкія причитанія составляютъ нерѣдко цѣлыя элегическія поэмы, по нѣскольку сотъ стиховъ. Въ высокой степени любопытно обширное собраніе причитаній, Е. В. Барсова, — къ которымъ см. объясненія Веселовскаго, *die russ. Totdenklagen*, 1873, и въ изслѣдованіяхъ о Судьбѣ-долѣ, 1891.

— Обрядовая поэзія передавала мѣстныя представленія, движенія чувства, дѣятельность поэтической фантазіи въ установившихся формахъ народнаго быта. Но въ этотъ бытъ вмѣшивалась исторія, героическіе и народныя подвиги, торжества и бѣдствія, и возникала область эпического сказанія. Выше указанъ матеріалъ нашего народнаго эпоса, въ краткихъ намекахъ древней лѣтописи, въ Словѣ о полку Игоревѣ, болѣе позднихъ историческихъ повѣстьяхъ, въ первыхъ записяхъ богатырскаго сказанія съ XVII столѣтія. наконецъ, въ тѣхъ новѣйшихъ пѣсняхъ, которыя перешли въ литературу въ сборникѣ Кирши Данилова и которыхъ удивительное богатство открыто было трудами Рыбникова и Гильфердинга и еще въ самое недавнее время трудами Маркова и Григорьева. Содержание нашего эпоса, какъ онъ извѣстенъ теперь въ своей послѣдней формациі, составляетъ старое богатство, въ своемъ источникѣ несомнѣнно древнее и еще окрашенное отголосками историческаго факта и старыхъ преданій мѣлологіи (Волхъ Всеславьевичъ, змѣеборство, чарованья и т. п.); давніе общеевропейскіе мотивы героическаго стиля и чудесныхъ похожденій (бой отца съ сыномъ, Садко и пр.); отраженія иноземныхъ византийскихъ и романо-германскихъ сказаній (переработка преданій о Соломонѣ и др.). Первоначальныя формы этого эпоса неизвѣстны за отсутствіемъ записей; по формамъ нынѣ существующимъ можно думать, что богатырскій эпосъ завершился къ XVI—XVII вѣку. — когда появляются первые записи. Новою формацией была историческая пѣсня. Она слагается къ XVI вѣку, а можетъ быть и ранѣе: она, по крайней мѣрѣ въ началѣ, опредѣленно относится къ историческому лицу, но соприкасается съ легендой (какъ въ сопоставленіи Ермака съ Ильей Муромцемъ). Историческая пѣсня проходитъ потомъ черезъ XVII и XVIII вѣкъ и достигаетъ XIX-го. Болѣе поздняя историческая пѣсня развѣтвлялась на разные слои и явленія народной жизни и переходитъ въ бытовые изображенія: таковы пѣсни разбойничьи, казацкія, солдатскія и т. д.

— Наконецъ, обширный разрядъ пѣсеннаго творчества составляютъ такъ называемыя, низшія эпическія пѣсни: по ихъ происхожденію, нелегко приурочивать ихъ къ какому-либо отдѣлу обрядовой поэзіи, но нерѣдко онѣ примыкаютъ и къ богатырскому эпосу, и къ исторической пѣснѣ, и къ обрядовой лирикѣ. Наиболѣе обширное собраніе ихъ въ сборникѣ А. И. Соболевскаго.

— Повднимъ явленіемъ народной поэзіи былъ духовный стихъ. Христіанская легенда, которая его вызвала, должна была образоваться при самомъ установленіи христіанства и двоевѣрія, и первые изслѣ-

дователи думали найти въ стихѣ (именно, въ стихѣ о Голубиной Книгѣ) отголоски древнѣйшаго языческаго міѳа; новыя изслѣдованія находятъ, напротивъ, обиліе обще-христіанскаго преданія. Въ первый разъ духовные стихи явились въ упомянутомъ выше изданіи Кирѣвскаго, 1848; далѣе:

— Безсоновъ, Калѣки перекожіе. М. 1861—1864.

— Варенцовъ, Сборникъ р. духовныхъ стиховъ. Спб. 1860.

Первое изслѣдованіе ихъ сдѣлано было Буслаевымъ (1861; повторено въ „Русской народной поэзіи“); съ точки зрѣнія сравнительно-исторической, ихъ мотивы были опредѣлены въ „Разысканіяхъ въ области русскаго духовнаго стиха“ А. Веселовскаго, далѣе въ частныхъ изслѣдованіяхъ Жданова, Кирпичникова, Мочульскаго, Батюшкова, названныхъ прежде; старый очеркъ Буслаева сохраняетъ интересъ, какъ разъясненіе художественнаго характера и нравственнаго настроенія этой поэзіи, и какъ бытовая картина: между прочимъ Буслаевъ коснулся и духовнаго стиха сектантовъ.

Фантастическій эпосъ сказокъ собранъ, а также и изслѣдованъ далеко не вполне. Происхожденіе и сущность сказки еще остаются вопросомъ. Она не была остаткомъ древнѣйшей арійской міѳологіи, — какъ думали братья Гриммы, Максъ Мюллеръ и др. и наши изслѣдователи міѳологической школы, — потому что однородное встрѣчается и внѣ арійскаго племени. Она не была также остаткомъ дикаго состоянія человѣчества, какъ утверждала теорія Ланга. Преобладаетъ мнѣніе, что источникъ сказки есть древне-арійское, въ частности индійское поэтическое творчество, произведенія котораго распространялись расселеніемъ племенъ или устной передачей или также путемъ письменныхъ памятниковъ, какъ и въ болѣе позднюю пору наблюдается необычайное распространеніе такъ называемыхъ переходныхъ сказаній. Вообще сказки отличаются замѣчательнымъ сходствомъ у разныхъ народовъ не только по основнымъ темамъ, но и по частнымъ подробностямъ; и новѣйшіе изслѣдователи сказокъ, отмѣчая удивительный фактъ чрезвычайнаго распространенія этого фантастическаго эпоса, отказываются видѣть въ нихъ отраженіе народнаго характера. (Chercher, dans les contes populaires des différents peuples, des renseignements sur le caractère de ces peuples, paraît tout naturel à quiconque est étranger à ces matières, et pourtant rien n'est plus trompeur. — Cosquin, I, XXXIX). Это конечно не исключаетъ факта, что національность налагаетъ свои краски на самое изложеніе: сказка вступала въ извѣстное взаимодействіе съ эпосомъ міѳическимъ и героическимъ; сказочныя существа размножали, такъ называемую, низшую міѳологію. Наконецъ, даже въ высокоразвитыхъ литературахъ сказка могла вновь приобрѣтать свою роль: напоминаніе о забытой поэзіи народа, которая даже при могущественномъ развитіи новой литературы, заслонявшей собою старое преданіе, сбегалась въ поэзіи нянекъ и дѣтей, — это напоминаніе освѣжало фантазію и пробуждало интересъ къ самимъ народнымъ массамъ. Востокъ, издавна создавшій богатые собранія сказочнаго матеріала (индійскіи,

арабскія, тюрко-монгольскія и т. д.), считался въ особенности очагомъ сказочнаго творчества, и дѣйствительно здѣсь съ особенною силой проявлялась эта Lust zum Fabuliren, что какъ будто подтверждается и новѣйшими сборниками: тамъ, гдѣ европейскіе пересказы. въ томъ числѣ наши, бывають отрывочны, какъ будто торопливы, восточные пересказы идутъ спокойно, обстоятельно, отчетливо указывая всѣ подробности. Причина этого различія между прочимъ, вѣроятно, въ томъ, что восточный бытъ вѣками и тысячелѣтіями пребывалъ въ умственной неподвижности и бытовомъ консерватизмѣ, который составляетъ наилучшую почву для сохраненія преданія, и вслѣдствіе того восточная сказка, записываемая теперь, еще сохраняется въ первоначальномъ настроеніи народной фантазіи и обильный досугъ наполняется сказкой, какъ серьезнымъ поэтическимъ дѣломъ, когда въ нашей жизни она давно устранена болѣе сложными умственными и поэтическими интересами и доживаетъ свой вѣкъ только въ кругу старыхъ сказочницъ (знаменитая Арина Родіоновна и подобныя). Въ новѣйшей литературѣ первымъ значительнымъ обращеніемъ къ народному сказочному міру были сказки Шарля Перро (1697); почти съ того же времени появляются европейскіе переводы восточныхъ сказокъ (Тысяча и одна ночь, Бидпай и пр.), и къ концу XVIII вѣка популярныя сборники старыхъ рыцарскихъ романовъ и волшебныхъ сказокъ; но гораздо болѣе сильное возбужденіе этого интереса принадлежитъ эпохѣ романтизма, съ которымъ начинается какъ идеализація первобытной и средневѣковой старины, такъ и ихъ научная реставрація.

Въ нашей литературѣ правильное изслѣдованіе народной сказки открывается лишь въ недавнее время.

— Афанасьевъ, А. Н. Народныя русскія сказки, М. 1855 и далѣе, восемь выпусковъ: третье изданіе въ двухъ томахъ, М. 1897, пригласенное А. Е. Грузинскимъ.

— Худяковъ, И. А. Великорусскія сказки. Спб. 1860—1863; Матеріалы для изученія народной словесности. Спб. 1863.

— Эрленвейнъ, Народныя сказки. М. 1863.

— Чудинскій, Р. народныя сказки, прибаутки и побасенки. М. 1864.

— Д. А. Ровинскій, Русскія народныя картинки. Спб. 1881, пять томовъ и атласъ картинокъ, — такъ называемыя, лубочныя сказки.

— Сказки бѣлорусскія въ сборникахъ Романова, Шейна, Добровольскаго; малорусскія въ сборникахъ Рудченка, Драгоманова, Манжуры, экспедиціи Чубинскаго, Гринченка; Ив. Франка и Гнатюка (въ Галиціи) и др.

Множество отдѣльныхъ небольшихъ сборниковъ въ этнографическихъ изданіяхъ и провинціальной печати, также въ специальныхъ мѣстныхъ собраніяхъ, какъ „Сказки и преданія Самарскаго края“ Д. Садовникова. Спб. 1884, и др. Наполеонъ, сборники иностранные:

— A. Dietrich, Russische Volksmärchen, mit einem Vorwort v. J. Grimm. Leipzig, 1831.

— W. Goldschmidt, Russische Märchen. Leipzig, 1883.

— Naake, Slavonic Fairy Tales collected and translated from the Russian, Polish, Servian and Bohemian. London, 1874.

— W. R. S. Ralston, Russian Folk-tales. London, 1873.

Общій вопросъ о происхожденіи сказокъ донынѣ остается спорнымъ. Здѣсь повторилось разнорѣчіе, какое возбуждалъ вопросъ о происхожденіи мифа и эпоса: сказка считалась несомнѣнно древней, наблюдалось ея сходство у европейскихъ народовъ, и за ней, по ученію Гримма, признавалось исконное арійское происхождение—народы сберегли и развили ее изъ общей древности; сказка являлась популярнымъ продолженіемъ мифа; противъ этого была выставлена теорія заимствованія, въ ученіи Бенфея (знаменитый оріенталистъ, 1809—1881; здѣсь были особенно важны переводъ и комментаріи къ *Панчатантрѣ*)—сказки переходили отъ одного народа къ другому, и главнымъ источникомъ былъ богатый фантазіей востокъ, особливо Индія—послѣ надо было прибавить древній Египетъ и Туранъ; но въ дальнѣйшихъ поискахъ оказалось, что тѣ же сказочные сюжеты повторяются въ странахъ, которые, во-первыхъ, были совсѣмъ чужды арійскому племени, и во-вторыхъ, чужды самой Азіи и Египту и не представляли никакой возможности или вѣроятности заимствованія, напр. у дикарей Африки, Америки, Австраліи и Полинезіи. Въ объясненіе этого послѣдняго факта была принята антропологическая теорія самозарожденія сказки, какъ самозарожденія мифа, представлявшаго—въ психологической аналогіи—произведеніе первобытной ступени культуры. О нашихъ послѣдователяхъ Гримма сказано выше (Вуслаевъ въ своихъ позднѣйшихъ трудахъ оставилъ прежнюю исключительность; см. „Переходящія повѣсти и рассказы“, въ „Моихъ Докладахъ“. М. 1886, ч. II). Теорія заимствованій имѣла главными представителями Бенфея, Ф. Либрехта, Рейнгольда Кёлера (библіотекаръ въ Веймарѣ; былъ однимъ изъ великихъ знатоковъ литературы народныхъ сказаній), Коскэна (*Emm. Cosquin, Contes populaires de Lorraine, précédés d'un essai sur l'origine et propagation des contes populaires européens. Paris, 1886*), Клоустона (введеніе къ „*Popular tales*“, переведенное на малорусскій А. Крымскимъ: В. А. Клоустон, Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни. Львів, 1896), Бедье (*Bedier, Les Fabliaux, 1895*). Главнымъ сочиненіемъ Эндрыю Ланга, автора упомянутой нынѣ „Мифологіи“, было „*Myth, ritual and religion*“, 1887. Новѣйшій обзоръ исторіи вопроса далъ чешскій ученый Ю. Поливка въ „*Narodopisný Sborník česko-slovanský*“, 1898.

Въ нашей литературѣ, кромѣ значительной массы русскихъ, белорусскихъ, малорусскихъ сказокъ, собрано также не мало сказокъ инородческихъ племенъ, трудами В. Радлова (тюркскіе тексты), Г. Н. Потанина (монгольскія), Всева Миллера (осетинскіе тексты), Н. П. Остроумова (сартскія; Ташкентъ, 1893, 2-й вып. „Этнограф. матеріаловъ“). Не говоря о сходствѣ сюжетовъ, эти послѣдніе, напр., даютъ любопытный образецъ обстоятельности разсказа, свидѣтельствующій о сохраненіи стараго преданія и манеры повѣствованія.

Въ своемъ историко-литературномъ значеніи сказка тѣсно связана съ общимъ составомъ народнаго творчества, именно эпического; мотивы ея сплетаются съ повѣстью, и своей, и заимствованной, повторяются даже въ былинѣ; ея фантастика связана съ народной мифологіей; ея стиль имѣетъ свои установленныя эпическія формулы. Въ средніе вѣка и даже на переходѣ къ новому времени, элементъ сказки былъ очень распространенъ въ видѣ такъ называемыхъ перекожихъ

сказаній, которыя, часто имѣя источникъ на далекомъ востокѣ, обходили всѣ европейскія литературы и проникали наконецъ въ старую русскую письменность; общая почва сказочной фантастики дѣлала то, что эти переходящія, заимствованныя сказанія получали и у насъ большую популярность и становились настоящими сказками, какъ „Бова Королевичъ“ и „Петръ Златые Ключи“ или съ другой стороны „Ерусланъ Лазаревичъ“: они вошли въ такъ называемыя „лубочныя“ изданія, чисто народнаго, даже деревенскаго издѣлія, наравнѣ съ Ильей Муромцемъ, Добрыней Никитичемъ, Мамаевымъ побоищемъ и т. п.

Для сказки, какъ вообще для народной поэзіи, требуется извѣстная патріархальная устойчивость быта, нравовъ и понятій, и когда эта устойчивость ослабѣваетъ съ распространеніемъ болѣе сложной культуры, а также школы, старая сказка обыкновенно забывается. Она забылась на западѣ, какъ стала падать и у насъ. Въ XVIII вѣкѣ нужно было напомнить о ней, и наплывъ восточной сказки, въ видѣ „Тысячи и одной ночи“ и др., обновилъ литературный интересъ къ первобытной поэзіи сказки: она стала опитъ, въ новыхъ литературахъ, любимой формой—съ новымъ содержаніемъ отъ популярной, „волшебной“ или сказки съ романтическими и рыцарскими приключеніями, съ нравоописательной сатирой, до сказокъ „философскихъ“, какъ у Вольтера или Гофмана. Этотъ интересъ проникъ въ концѣ XVIII вѣка въ русскую литературу, гдѣ „волшебныя“ сказки Чулкова или Бахариана Хераскова и т. п. пытались вводить и подробности русскій народной сказки. Въ XIX вѣкѣ величайшіе русскіе поэты находили интересъ въ художественной реставраціи народной сказки, какъ Пушкинъ и Жуковский, или Лермонтовъ въ сказочной пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ.

Библиографическія подробности—у Н. Сумцова, въ статьѣ „Сказка“, въ Энцикл. Словарѣ, Брокгауза и Ефрона.

Къ самой отдаленной древности относится начало заговоровъ и заклинаній. По опредѣленію Крушевскаго, заговоръ есть „выраженное словами пожеланіе, соединенное съ извѣстнымъ обрядомъ или безъ него, — пожеланіе, которое должно непременно исполниться“; по опредѣленію Потебни—„словесное изображеніе сравненія даннаго или нарочно произведеннаго явленія съ желаннымъ, имѣющее цѣлью произвести это послѣднее“. Къ этому общему объясненію надо прибавить первобытную вѣру въ силу слова со стороны тѣхъ, кто изрекалъ заговоръ и къ кому онъ долженъ былъ относиться такъ или иначе. Первоначально заговоръ, какъ полагають, могъ быть совершаемъ каждымъ желающимъ и только впослѣдствіи онъ сложился въ извѣстныя обязательныя формулы и обрядности и былъ въ рукахъ только знающихъ людей, специалистовъ вѣдства. Въ христіанскія времена заговоръ получилъ новую окраску: въ него вошли христіанскія имена, молитвенныя обращенія и своя христіанская міеологія. Своего рода заговоромъ стали христіанскіе апокрифы, какъ извѣстная упавшая съ неба „Епистолія“, „Сонъ Богородицы“, „Лживыя молитвы“ и т. п., наконецъ, самая спеціализація святыхъ, къ какимъ надо было обращаться въ тѣхъ или другихъ бѣдахъ или болѣзняхъ.

— Самое обширное собраніе заговоровъ составлено Л. Майковымъ: Сборникъ великорусскихъ заклинаній, въ „Запискахъ Геогр. Общ. по отдѣленію этнографіи“, т. II. 1869.

— Ефименко, Малорусскія заклинанія, въ Чтен. М. Общ. 1874.

— Н. Крушевскій, Заговоры какъ видъ русской народной поэзіи, въ Варш. Унив. Извѣстіяхъ, 1876, т. III.

— Н. Сумцовъ, Заговоры, библиографическій указатель, въ Сборникѣ Харьковскаго Историко-филол. Общ., т. IV, 1892, стр. 258—273 (въ томъ же томѣ еще нѣсколько заговоровъ), и дополненія къ указателю. въ т. V; Личные обереги отъ сглаза; Пожеланія и проклятія, въ томъ же Сборникѣ т. IX, 1897, стр. 93—112, 183—208; Колдуны, вѣдьмы и упыри, тамъ же, т. III, 1891, стр. 229—278.

— О. Ю. Зелинскій, О заговорахъ. Исторія развитія заговора и главныя его формальныя черты. Харьковъ, 1897 (изъ того же Сборника).

— Миеологическія объясненія сдѣланы были ранѣе въ трудахъ Буслаева, Афанасьева (Поэт. воззрѣнія славянъ на природу), Ор. Миллера (Опыт. историч. обзорѣнія русской словесности), Потебни („Мысль и языкъ“, „О нѣкоторыхъ символахъ, въ слав. народной поэзіи“, „Малорусская пѣсня XVI вѣка“).

Если въ древней книгѣ не находилъ мѣста старый народный заговоръ, какъ вещь языческая, то съ самыхъ первыхъ памятниковъ лѣтописи, поученія, повѣсти, мы въ значительномъ обиліи находимъ пословицу, какъ всѣмъ знакомое изреченіе народной мудрости, мѣткій оборотъ рѣчи. Таковы пословицы въ лѣтописи, въ словѣ Даниила Заточника, въ Словѣ о полку Игоревѣ, въ повѣстяхъ, какъ сказаніе о премудромъ Акирѣ и пр.; не однажды пословицы приводятся именно какъ извѣстное изреченіе. Многія изъ этихъ изреченій сохранились до пословицы современной, и многія изъ современныхъ пословицъ сохранили черты стараго исчезнуваго быта.

— Первые опыты собранія пословицъ восходятъ еще къ XVII вѣку; еще болѣе подобныхъ опытовъ было въ XVIII столѣтіи, хотя въ это время ихъ иногда прикрашивали въ тогдашнемъ фальшивомъ литературномъ стилѣ. Настоящее разумѣніе ихъ историческаго и народно-поэтическаго значенія начинается только съ тѣхъ поръ, какъ вообще развивается болѣе серьезный интересъ къ народности и старинѣ. Первымъ замѣчательнымъ по своему времени опытомъ объясненія пословицъ была книга И. М. Снегирева: „Русскіе въ своихъ пословицахъ Разсужденія и изслѣдованія объ общественныхъ пословицахъ и поговоркахъ“. Четыре части. М. 1831—1832. Буслаевъ (въ „Архивѣ“ Калачова) взглянулъ на пословицы съ болѣе широкой точки зрѣнія и между прочимъ объяснялъ миеол. гическую сторону ихъ содержанія; та же точка зрѣнія со многими преувеличеніями повторяется у Ор. Миллера, Афанасьева и др. Наиболѣе обширное собраніе пословицъ составлено В. И. Далемъ: „Пословицы русскаго народа. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, реченій, присловій, чистоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, повѣрій и проч.“ М. 1862. Отдѣльный оттискъ изъ „Чтеній“ моск. Общ. исторіи и древностей, 1861 и 1862 годовъ. Новое изданіе, Спб. 1879, два тома.

Со времени Снегирева, пословицы вызвали не мало изслѣдованій

съ разныхъ точекъ зрѣнія: древне-бытовой и мифологической (у Бу-слаева, въ „Архивѣ“ Калачова, 1854; въ „Историч. Очеркахъ“, 1861); филологической (Дергачевъ, о синтаксисѣ пословицъ, въ „Учителѣ“, 1869; Глагольскій, Синтаксисъ языка р. посл. Спб. 1874); исторической (Бѣловъ, Русская исторія въ нар. поговоркахъ, въ „Историч. Вѣстникѣ“, 1884, кн. 3; Народный умъ въ пословицахъ и поговоркахъ, тамъ же, 1885, кн. 2; Сергѣевъ, Поговорки о русскихъ городахъ и ихъ жителей, въ „Др. и Новой Россіи“, 1879, кн. 1): съ точки зрѣнія юридическаго быта и общежитія (Иллюстровъ, Юридическія пословицы и поговорки русскаго народа. М. 1885); съ точки зрѣнія художественнаго творчества (Потебня, Изъ лекцій по теоріи словесности. Басня. Пословица. Поговорка. Харьковъ, 1894; Водовозъ, Поэтическіе образы въ русскихъ нар. пѣсняхъ и пословицахъ, въ „Учителѣ“, 1867). По исторіи пословицъ: И. Тимошенко, Литературные первоисточники и прототипы трехъ-сотъ русскихъ пословицъ и поговорокъ. Кіевъ, 1897; Е. Ляцкій, Нѣсколько замѣчаній по вопросу о пословицахъ и поговоркахъ, въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. Н. 1897; В. Перетцъ, Изъ исторіи пословицъ, въ Журн. мин. просв. 1898, май. Важный трудъ представляетъ начатое изданіе П. К. Симони: „Старинные сборники русскихъ пословицъ, поговорокъ, загадокъ и проч. XVII—XIX столѣтій“. Вып. первый. Спб. 1899. Въ предисловіи указаны матеріалы: сборники рукописные; печатные; неизданные обработанные сборники. Далѣе, изданы тексты двухъ рукописныхъ сборниковъ XVII—XVIII вѣка.

Общіе библиографическіе обзоры: П. Владиміровъ, Введеніе въ исторію русской словесности. Кіевъ, 1896, стр. 128—137; ст. „Пословица“, Ар. Г., въ Энциклопед. Словарѣ Брокгауза и Ефрона.

— Подобнымъ образомъ далекой древности принадлежит загадка. Нѣкогда это былъ весьма распространенный эпическій мотивъ: на загадкѣ происходило какъ бы состязаніе въ хитрости и мудрости, иногда сопровождавшееся фатальнымъ концомъ, какъ въ загадкахъ греческаго сфинкса. Загадками препираются боги и герои въ Эддѣ; загадки занимаютъ важное мѣсто въ сказаніяхъ о Соломонѣ, о премудромъ Акирѣ, извѣстныхъ въ нашей древней письменности, въ повѣсти о Басаргѣ и пр. Своего рода загадка приведена лѣтописью въ рассказѣ о битвѣ Ярослава съ Святополкомъ (Новгор. I, подъ 1016 годомъ); загадка выдаетъ мудрую дѣву въ житіи князя Петра и Ѳевроніи. Прежніе изслѣдователи отыскивали въ загадкахъ о солнцѣ, мѣсяцѣ и т. п. отраженіе мѣся; но въ огромномъ большинствѣ загадки, какъ и тѣ мудренныя дѣла, какія задаются сказочнымъ героямъ, бывали только игрой фантазіи и архаическаго остроумія. Самое обширное собраніе: „Загадки русскаго народа. Сборникъ загадокъ, вопросовъ, притчъ и задачъ“, Д. Садовникова. Спб. 1876, гдѣ указанъ и собранъ также ранѣе изданный матеріалъ.

Множество параллелей и важныхъ указаній о сказкахъ, заговорахъ, заклинаніяхъ, з гадкахъ въ трудахъ Веселовскаго (см. „Указатель“, 1896).

Мы видѣли раньше, что почти всѣ эти разнообразныя произведенія народной поэзіи бывали отмѣчены и осуждены церковными поученіями и правительственными указами: съ XI вѣка и до конца XVII-го

до царя Алексѣя Михайловича и патріарха Іоакима идутъ запрещенія бѣсовскихъ игръ и пѣсенъ; иногда, какъ въ указанной раньше царской грамотѣ воеводѣ Рафу Всеволожскому, перечисляется почти сполна народно-поэтический календарь. Мы скажемъ въ другомъ мѣстѣ, какъ это отношеніе къ народной поэзіи начинается все сильнѣе измѣняться въ теченіе XVIII вѣка, пока, наконецъ, въ XIX мѣ развилась идеализація старины и вскорѣ научное изслѣдованіе. Нѣкоторыя начала послѣдняго положены были еще историками XVIII вѣка, какъ Татищевъ, кн. Щербатовъ, Болтинъ. Новѣйшіе историки, Карамзинъ, Погодинъ, Полевой; археологи, какъ Снегиревъ, стараются отмѣтить черты древняго быта и поэзіи. Костомаровъ предпринималъ объясненіе народной поэзіи въ книгѣ: „Объ историческомъ значеніи русской нар. поэзіи“. Харьковъ, 1843 (дальнѣйшіе труды въ „Мовографіяхъ“ и въ „Литер. наслѣдіи“). Цѣлая система объясненія народно-поэтической древности установлена была Буслаевымъ и его школой. Наконецъ, въ новѣйшее время сравнительно-историческій методъ и болѣе реальное изученіе старой поэзіи, обряда и обычая, достигаютъ болѣе осязательной реставраціи и истолкованія древности. Краткій обзоръ новыхъ изслѣдованій въ этой области сдѣланъ во „Введеніи“ П. В. Владимірова.

Заканчивая эти главы, я долженъ возвратиться къ тому, что сказано было въ предисловіи объ этой части плана моей книги. Въ подробномъ разборѣ ея (Archiv für slav. Philologie, т. XX, стр. 469 и д.; т. XXIII, стр. 277 и д.) г Ягичъ, признавая, что было неудобно ставить во главѣ изложеніе народной поэзіи, какъ прежде обыкновенно дѣлалось, не соглашается однако, чтобы мѣсто для нея могло быть выбрано на границѣ стараго и новаго періода. „Можно стать на другую точку зрѣнія. Я далъ бы больше вѣса тому факту, что и въ Россіи интересъ къ народному возникъ только въ концѣ XVIII вѣка и началъ XIX-го. Поэтому, моему взгляду лучше отвѣчало бы то, если бы не вводная, а скорѣе заключительная глава XVIII вѣка излагала русскую народную поэзію какъ переходъ въ эпоху національной романтики“. Автору представляется страннымъ анахронизмомъ говорить о Буслаевѣ, Безсоновѣ, Ор. Миллерѣ раньше Петра Великаго... (XXIII, стр. 283). Но было бы такимъ же анахронизмомъ говорить о нихъ въ концѣ XVIII вѣка. Дѣло однако не въ именахъ критическихъ изслѣдователей и историковъ—они являются во всемъ изложеніи древности: таково положеніе самой науки,—а въ постановкѣ цѣлаго явленія. Я продолжаю думать, что для судебъ народной поэзіи былъ характернымъ пунктомъ историческій переломъ въ эпоху Петровской реформы: старина отживала, новая литература становилась по преимуществу, наконецъ, исключительно свѣтской, впервые воспринимала европейскую науку,—но вмѣстѣ съ тѣмъ впервые свободно и съ интересомъ обращалась къ народно-поэтической старинѣ, когда еще въ первой половинѣ вѣка создавала новый литературный языкъ, въ народной пѣснѣ искала начала русскаго стихосложенія, когда еще у первыхъ писателей новой литературы

являлось тяготѣніе къ содержанію и стилю народной пѣсни, а первый историкъ обращался къ народнымъ преданіямъ... То, что хотятъ отнести къ концу XVIII вѣка, въ принципѣ сказалось еще въ его первой половинѣ.

ГЛАВА IV.

ВРЕМЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Взглядъ на дѣятельность Петра, какъ на переворотъ.— Два теченія, явившіяся въ русской жизни.— Восхваленія и осужденія реформы.— Историческая критика.— Реформа, какъ завершеніе давнихъ стремленій самой исторической жизни.

Связь литературы Петровскаго времени съ „письменностью“ XVII вѣка: литературное междоусобице.

Время царевны Софьи.— Первые обращенія къ иностранцамъ.— Помощники Петра изъ Кіевской школы.— Стефанъ Яворскій.— Столкновенія съ Петромъ.— Дѣло Тверитинова.— „Камень вѣры“.— Феофанъ Прокоповичъ.— Его школа.— Быстрое возвышеніе.— Сочувствіе къ свѣтской наукѣ.— Вызовъ въ Петербургъ.— Дѣятельность ученая, проповѣдническая и административная.— Посомшкы.

Время Петра Великаго осталось въ исторіи какъ время могущественнаго переворота. Такъ стали понимать его съ той первой поры, когда сказала еще юношеская, но уже самостоятельная дѣятельность Петра: такъ поняли эту дѣятельность сами русскіе люди, которыхъ поражала противоположность новаго порядка со старымъ преданіемъ, и наблюдатели иностранцы, которые или бывали очевидцами „измѣненной Россіи“, или хотѣли объяснить новое политическое значеніе Россіи, на которое обращалось всеобщее вниманіе. Что это былъ переворотъ, можно было видѣть изъ того, что въ русской внутренней жизни дѣятельность Петра разбила и общество и народъ на два противоположные и враждебные лагеря. Съ той поры и донныѣ преобразованія Петра вызывали самыя противоположныя взгляды и чувства: съ одной стороны были правительскіе приверженцы поставленныхъ имъ задачъ и восторженные панегиристы, съ другой — ожесточенные враги, и на дѣлѣ, гдѣ можно было чѣмъ-нибудь заявить свое противорѣчіе, и въ литературѣ. Что это былъ переворотъ, можно было судить и по вѣншему политическому положенію Россіи: никогда прежде Россія не вмѣшивалась такою властною рукою въ европейскую политическую

жизнь; приобретённое прочное положение на Балтийскомъ морѣ, стремленіе занять такое же положеніе на Черномъ морѣ (впоследствии исполненное), побѣда надъ Швеціей и ея знаменитымъ полководцемъ, явное преобладаніе надъ Польшей, борьба съ Турціей—указывали широкое развитіе политическаго вліянія Россіи, и съ тѣхъ поръ необходимо было считаться съ могущественной имперіей восточной Европы; уже вскорѣ было на Западѣ замѣчено стремленіе усвоивать западно-европейскую образованность, о чемъ говорили путешествія Петра, его личныя сношенія съ западно-европейскими учеными, и многочисленные вызовы иностранцевъ, которые, поселившись въ Россіи, между прочимъ свѣдѣтельствовали такъ или иначе о новой жизни русскаго государства и общества. „Преобразование“ Россіи, — хотя только начатое, но веденное со страшной энергіей и вскорѣ давшее видимые всѣмъ результаты (на первый разъ во вѣдѣнномъ политическомъ положеніи государства),—это преобразование принято было, какъ совершившійся несомнѣнный фактъ.

Внутри самой Россіи дѣятельность Петра, какъ сказано, произвела два совершенно противоположныя теченія. Одни, непосредственные сотрудники, исполнители и ученики, наглядно видѣвшіе поразительный успѣхъ и вмѣстѣ чувствовавшіе низкій уровень старины и невыгоду прежняго застоя, становились восторженными приверженцами новаго порядка, который отождествлялся для нихъ съ его гениальнымъ начинателемъ; они стали въ литературѣ горячими панегиристами новаго порядка, — Петръ являлся создателемъ новой Россіи и, по старому преклоненію передъ личностью царя, прославленіе Петра нерѣдко превышало всякую мѣру. Другіе думали какъ разъ противное: они не хотѣли видѣть успѣховъ государственнаго могущества Россіи и были только возмущены нарушеніемъ старины, цѣною котораго приобретались эти успѣхи. Новая Россія, „созданная“, „обновленная“, „преобразованная“ Петромъ, была для нихъ предметомъ ужаса; люди стараго вѣка, привыкшіе къ прежнему складу московской жизни, негодовали на неуваженіе къ старому обычаю, на прямое оскорбленіе его, и не видѣли добра въ новыхъ затѣяхъ; тѣмъ болѣе приходили въ негодованіе и ужасъ тѣ приверженцы старины, которые оплакивали „последнюю Русь“ еще во время царя Алексѣя: для нихъ царствованіе Петра было пришествіемъ Антихриста.

Это двоякое отношеніе ко временамъ и къ дѣятельности Петра можно, въ различной степени и съ разными отгѣнками, прослѣдить въ нашей литературѣ съ тѣхъ поръ и донинѣ. Восхвале-

нія современныхъ Петру панегиристовъ стали послѣ officialнымъ правительственнымъ взглядомъ. Преемники Петра въ первые десятилѣтія были слишкомъ незначительны, чтобы съ достоинствомъ продолжать это дѣло, но они чувствовали, что ихъ, какое бы ни было, значеніе всецѣло основано на его подвигѣ; императрица Елизавета была дочь Петра Великаго; Екатерина II понимала все значеніе его преобразованій и сама въ полной мѣрѣ продолжала ихъ во внѣшней политикѣ и до извѣстной степени въ распространеніи просвѣщенія; въ литературѣ продолжались похвальные слова, оды и поэмы. Въ концѣ столѣтія предпринятъ былъ громадный трудъ Голикова, посвященный прославленію Петра, и эта традиція перешла въ XIX столѣтіе. Новѣйшіе историки — Устряловъ, Соловьевъ, даже Погодинъ — примѣняли уже болѣе или менѣе строгую критику къ дѣяніямъ и личности Петра, но высоко цѣнили историческое значеніе преобразованія. Съ другой стороны, въ литературѣ печатной или письменной, явной или тайной, продолжалось и противоположное воззрѣніе. Это были не только люди старой вѣры и послѣдователи протопопа Аввакума, но вообще приверженцы старины, оскорбленные въ своихъ глубочайшихъ убѣжденіяхъ: такъ какъ всѣ понятія стараго вѣка вращались въ области религіозной и такъ какъ московская старина представлялась въ этихъ понятіяхъ самымъ подлиннымъ хранилищемъ истинной вѣры, то нарушитель ея могъ быть понятъ только въ образѣ Антихриста.

Не всѣ доходили до этой крайности, но во времена Петра и долго послѣ было много людей, которые осуждали новые порядки, а впослѣдствіи, неизбежно подчиняясь имъ въ практической жизни, чуждались сознательно и бессознательно новыхъ понятій и обычаевъ — между прочимъ потому, что преобразование, по условіямъ „службы“ и по ограниченнымъ размѣрамъ школы, захватило въ кругъ своего непосредственнаго вліянія только высшій классъ. Цѣлыя сословія, какъ духовенство (оставшееся при схоластической школѣ XVII — XVIII вѣка), купечество крупное и мелкое (долго державшееся только старинной грамоты), наконецъ, громадная народная масса были чужды основному содержанию преобразованія: оно касалось ихъ только новыми бытовыми формами, усиленнымъ требованіемъ работы и лишь скудными отголосками новой школы и литературы. Но и въ средѣ образованнаго круга рядомъ съ панегиристами реформы были люди, осуждавшіе ее какъ слишкомъ крутой переворотъ, испортившій нравы добраго стараго времени: таковъ былъ князь М. М. Щербатовъ, а позднѣе, уже во времена Александра I, Карам-

зинъ. осуждавшій реформу болѣе опредѣленно и сурово, какъ противонаціональное дѣло. Еще позднѣе, къ полному принципиальному осужденію реформы приходили славянофилы: вся дѣятельность Петра являлась глубокой ошибкой, настоящимъ преступленіемъ противъ русской народности, въ которой реформа нарушила цѣльное истинно-народное развитіе, и которую она заразила „ложною“ цивилизаціею Запада. Позднѣе отголосокъ этихъ отрицаній Петровской реформы множество разъ повторялся въ различныхъ отпрыскахъ литературнаго направленія, которое заявляло притязанія быть спеціально и исключительно патріотическимъ и „русскимъ“: самъ Петръ являлся не совсѣмъ русскимъ или даже вовсе не русскимъ, и гораздо лучше была та старина, которую онъ отвергалъ; къ Петру относятся или съ суровыми осужденіями, или съ пренебрежительнымъ сожалѣніемъ ¹⁾. Историки этого рода сознательно или бессознательно прикрашивали московскую старину, забывали условія, въ которыхъ дѣйствовалъ Петръ, и за частностями не видѣли громаднаго общаго явленія.

Новѣйшее изслѣдованіе уже не обманывается безусловными панегириками прошлаго вѣва, и точно также не должно обманываться ожесточенными нападеніями современныхъ враговъ Петра и новѣйшими обличеніями реформъ съ „чисто русской“ точки зрѣнія. Петръ есть созданіе всей предыдущей исторіи русскаго государства, общества и народа. Его личная геніальность есть исключительное явленіе, недоступное историческому вычисленію; но исторія множество разъ объясняла, что появленіе геніальныхъ дѣятелей какъ будто не случайно совпадаетъ съ извѣстными эпохами, когда такой дѣятель совмѣщаетъ въ себѣ все предъидущее содержаніе развитія и открываетъ ему новые пути: это самое было бы совершено и безъ участія геніальной личности, но лишь

¹⁾ Примѣровъ очень много. Укажемъ два-три, у историковъ книжности того времени. Авторъ статьи, раньше нами цитированной, о „Кіевскихъ ученыхъ въ Велико-росіи“, Образцовъ, пишетъ напр.: „Грустно, но совершенно справедливо, что до сихъ поръ мы не обращали еще серьезнаго вниманія на свой чисто русскій элементъ; сначала руководили нами греки, за ними—латиняне черезъ Кіевъ, и потомъ нѣмцы черезъ Петербургъ, и выходилъ изъ всего этого великій сумбуръ... Не пора ли намъ остановиться на время и пересмотрѣть, что навлечено у насъ въ чужеземствѣ?“ Патріархъ Іоакимъ былъ „ученый народный (!), понимающій, что нужно собственно для его страны“, Петръ Великій вводилъ у насъ нѣмецкое или, точнѣе, голландское образованіе, „вводилъ голландскую (?) образованность въ цѣлую массу русскаго народа, силится привить ее миллионамъ людей (?) и притомъ такихъ, которые не привыкли къ образованности чужой, несогласной съ ихъ чисто-національными понятіями, не выработанной изъ этихъ же самыхъ понятій“. Петровскіе болре были люди не русскіе и т. п. Не чуждъ такимъ приемамъ и новѣйшій біографъ Дмитрія Ростовскаго: окончательное развитіе западнаго вліянія въ старой Россіи „пророзомло въ московской Нѣмецкой слободѣ, въ грязную улицу которой повернулъ великій Петръ“ (Св. Дмитрій Ростовскій. Спб. 1891, стр. 50); но въ самой Москвѣ улицы были не менѣе грязны.

обычнымъ путемъ медленнаго труда, и внимательство гениальнаго дѣятеля только ускоряетъ этотъ процессъ, даетъ ему яркую рельефность, становится для послѣдующаго времени энергическимъ руководствомъ. Процессъ, послѣднимъ выраженіемъ котораго явился Петръ Великій, былъ давнимъ явленіемъ русской жизни: это было стремленіе выбиться изъ заколдованнаго круга стараго содержанія національной жизни. Это содержаніе сложилось среди самаго глухого періода народной судьбы, въ тяжелой борьбѣ за національное существованіе противъ наплыва азіатскаго варварства, и въ тѣхъ условіяхъ это содержаніе сослужило свою службу: оно поддержало русскій народъ религіознымъ энтузіазмомъ, сообщило ему чувство превосходства надъ этимъ варварствомъ, укрѣпило національную силу, наконецъ содѣйствовало самому политическому объединенію и освобожденію. Но это содержаніе было односторонне: національная мысль была ограничена тѣснымъ горизонтомъ средневѣковаго круга понятій; отсутствіе какой-либо швыли, бѣдность образованія грозили тѣми печальными слѣдствіями, какія влечетъ за собою умственный застой,—когда однако въ народѣ жили и сказывались энергія и дарованія, способныя къ широкому развитію. Въ концѣ концовъ это противорѣчіе не могло не сказаться. И дѣйствительно, съ той самой поры, когда достигнуто было первое освобожденіе отъ азіатскаго ига, въ Москвѣ обнаруживается стремленіе познакомиться съ тѣмъ знаніемъ, которымъ въ то время западная Европа далеко ее превосходила и которое оказывалось необходимымъ. На первый разъ это знакомство совершалось очень издали, служило только для практическихъ нуждъ государства или только для личныхъ надобностей царя (какъ иноземные доктора, „арганные игроки“, и т. п.); для ближайшаго знакомства съ Западомъ съ самаго начала и до конца XVII вѣка (даже послѣ) вставало едва одолимое препятствіе въ издавна вкорененномъ церковномъ представленіи о поганствѣ всѣхъ иноувѣрцевъ, не исключая и христіанъ другихъ исповѣданій,—но въ концѣ концовъ явная необходимость, неизбежное признаніе собственнаго невѣжества, котораго нельзя было скрыть, вынудили дать иноземцамъ доступъ въ московское царство, и они стали все болѣе и болѣе необходимы. Невѣжество не ограничивалось только областью промысла, ремесла, войны, научнаго знанія (напр., „доктурская наука“), но оказалось и въ той самой области, которая одна въ московской Россіи пользовалась почетомъ и въ которой московскіе люди считали однихъ себя владѣющими истиной—въ области „книжнаго почитанія“. Книги священнаго писанія и книги богослужебныя были, наконецъ,

перепорчены вѣками невѣжества: для ихъ исправленія начались усиленные хлопоты—и опять нельзя было обойтись безъ чужой помощи. Какъ для разныхъ реальныхъ знаній потребовались западные люди, и неизбѣжно пришлось пустить въ Москву „латину“, „калвиновъ“ и „люторовъ“, такъ для исправленія книгъ призывались въ Москву греки, „литовскіе люди“ и „черкасы“ (бѣлоруссы и малоруссы до присоединенія Малороссіи). Мы видѣли, до какихъ странныхъ, печальныхъ и жалкихъ вещей доходило дѣло: въ своемъ самомнѣвіи московскіе люди считали Москву третьимъ Римомъ и однако не въ состояніи были устроить даже правильнаго текста своихъ книгъ; они стали сомнѣваться въ правильности греческаго и южно-русскаго православія, но не знали даже грамматики и должны были обращаться къ помощи тѣхъ же грековъ и кіевлянъ; исправленіе ошибокъ въ книгахъ произвело расколъ, потому что оно было принято за покушеніе на самую вѣру; въ понятіяхъ обѣихъ сторонъ самое христіанское ученіе упало до отождествленія съ буквою и обрядомъ... Въ концѣ XVII вѣка Москва была переполнена иноземцами: это были греки, „литовскіе люди“ и „черкасы“, какъ помощники въ исправленіи и печатаніи книгъ, какъ учителя въ устроенной, наконецъ, кое-какъ школѣ, какъ совѣтники патріарха, какъ учителя царскихъ дѣтей и придворные стихотворцы (Симеонъ Полоцкій); далѣе, нѣмцы „разныхъ земель и вѣръ“, французы, итальянцы, англичане, голландцы и т. д. въ качествѣ военныхъ людей, купцовъ, промышленниковъ, ремесленниковъ, врачей и т. д.; наконецъ, было много поляковъ. Кіевская наука, въ сущности схоластическая и отсталая, была все-таки нѣкоторою ступенью къ новѣйшей западной наукѣ; потребность въ новыхъ культурныхъ знаніяхъ и общественныхъ обычаяхъ открыла широкій доступъ польскому влиянію, которое опять было ступенью къ влияніямъ западно-европейскимъ. Патріархъ Іоакимъ заклиналъ не допускать иноземцевъ, которыхъ не любилъ столько же, какъ протопопъ Аввакумъ,—но было уже поздно: иноземное знаніе, искусство, обычай получали неодолимую прелесть для болѣе просвѣщенныхъ людей, и въ правленіе царевны Софьи иностранцы восхваляли князя В. В. Голицына, какъ человѣка широко образованнаго и по-европейски общительнаго; въ средѣ высокихъ и уважаемыхъ духовныхъ лицъ кіевского образованія было уже глубокое уваженіе къ западной учености (какъ у Дмитрія Ростовскаго), и ясное пониманіе пользы путешествій въ чужія страны; ученые люди привыкали пользоваться латынью, какъ языкомъ науки и дружеской ученой переписки,—напримѣръ, въ письмахъ

Димитрія Ростовскаго (къ людямъ равнаго съ нимъ образованія) поражаютъ, рядомъ съ цитатами изъ священнаго писанія, цитаты изъ Виргилія, Ювенала, Марціала, Авзонія и пр.; въ его библіотекѣ былъ Бэконъ Веруламскій. Наконецъ, въ русскую „письменность“ (потому что эти книги еще не доходили до нашей печати) изъ латинскаго, польскаго, наконецъ, нѣмецкаго источника достигаютъ произведенія тогдашней европейской литературы, частію научныя, частію всякаго рода повѣсти, героическія или нравоучительныя, шуточные рассказы и т. п., и вѣроятно не безъ связи съ этими возбужденіями являются опыты русской повѣсти реально-бытового, шутливаго характера (какъ исторія о Фролѣ Скобѣевѣ), которая своимъ тономъ впервые нарушаетъ церковную чинность стариннаго книжничества. Заѣзжій славянинъ Крижаничъ напоминаетъ въ Москвѣ о славянскомъ вопросѣ—уже не съ церковной, а съ національной, племенной точки зрѣнія, указывая не только въ православныхъ сербахъ и болгарахъ, но и въ западно-славянскихъ католикахъ братьевъ по происхожденію, во главѣ которыхъ, независимо отъ исповѣданія, должна стать свободная и могущественная Россія; Крижаничъ со своей родины принесъ ненависть къ иноземцамъ и внушалъ ее въ Москвѣ,—но такъ какъ обойтись безъ иноземцевъ можно было лишь при собственномъ просвѣщеніи, онъ настаивалъ на необходимости ученія. Въ это же время русскій эмигрантъ, Котошихинъ, живя за границей, писалъ книгу о Россіи, и въ его изображеніи русская жизнь, при громадномъ объемѣ матеріальныхъ силъ, является съ чертами внутренней порчи, приносимой невѣжествомъ, и въ этомъ изображеніи уже очевидна необходимость преобразованія.

Итакъ, еще съ конца XV вѣка собираются признаки того, что содержаніе русской жизни нуждалось въ притокъ образовательныхъ элементовъ, и соответственно этому возрастаетъ волна ихъ, приносимая всевозможными иноземцами Юга и Запада. Къ потребностямъ государства присоединяются, наконецъ, запросы личной любознательности и критики. Петръ Великій былъ только завершеніемъ давнихъ стремленій: его планы и самые пути ихъ исполненія по существу не были новы; новой была только прямая постановка вопроса и та энергія, которую онъ вложилъ въ свое дѣло: когда наиболѣе просвѣщенные люди еще недоумѣвали передъ задачей, стояли въ нерѣшительности на перепутьѣ, не зная, какъ помирить старое съ необходимымъ новымъ, онъ разрубилъ мечомъ запутанный вопросъ, какъ Гордіевъ узелъ... Его рѣшеніе произвело страшный переполохъ: историки до сихъ поръ

не могутъ разобраться въ оцѣнкѣ фактовъ... Его винили въ жестокомъ деспотизмѣ, но этотъ деспотизмъ былъ унаслѣдованъ отъ предковъ; винили въ неуваженіи къ преданію, но въ представителяхъ этого преданія онъ находилъ только противодѣйствіе тѣмъ планамъ, какіе, по его глубокому убѣжденію (въ большей мѣрѣ оправданному послѣдствіями), были необходимы для самаго политическаго бытія Россіи; винили въ необузданности его нравовъ, но она только выдала наружу результатъ предъидущей ихъ грубости и онъ насмѣхался надъ старыми формами быта потому, что въ нихъ не было живого содержанія, что онѣ переставали служить истинному интересу народа... Весь смыслъ дѣла, рѣшеннаго Петромъ Великимъ, состоялъ въ томъ, что русская жизнь въ послѣднее время передъ нимъ стремилась выйти изъ своего прежняго тѣснаго круга на широкое поприще общечеловѣческаго просвѣщенія, изъ исключительныхъ понятій средневѣковаго міровоззрѣнія на просторъ научнаго знанія: споръ двухъ направленій шелъ давно, въ неясныхъ стремленіяхъ къ чему-то новому и въ упорной защитѣ неподвижнаго преданія, и Петръ рѣшилъ этотъ споръ авторитетомъ гениальной личности, необычайной энергіи, безуставнаго личнаго труда, страшной борьбы. Съ нимъ кончаются наши средніе вѣка.

Это окончаніе среднихъ вѣковъ было нѣсколько запоздавшее, и вмѣстѣ весьма несходное съ окончаніемъ среднихъ вѣковъ на Западѣ. Говоря вообще, конецъ нашего семнадцатаго вѣка и начало восемнадцатаго могли бы отвѣчать концу XIV и началу XV вѣка въ западной Европѣ—эпохѣ Возрожденія, означавшей первую борьбу противъ средневѣковаго мрака и возникновеніе свободной науки: характерно было при этомъ, что въ этой борьбѣ европейская мысль обратилась именно къ старому содержанію античной литературы, философіи и поэзіи. Была, однако, великая разница въ этомъ русскомъ Возрожденіи противъ западнаго. Средніе вѣка на Западѣ видѣли богатое развитіе національных литературъ, гдѣ содержаніе средневѣковой жизни нашло себѣ выраженіе въ оригинальной поэзіи съ національными мотивами и красками, гдѣ религіозное чувство было передано въ грандіозной поэтической легендѣ, а содержаніе теологическое было совмѣщено въ обширной схоластической литературѣ. При первомъ введеніи христіанства церковная власть также строго преслѣдовала языческій обычай; но когда церковная литература шла на латинскомъ языкѣ, языки народные остались орудіемъ поэзіи; самая латынь церкви была вмѣстѣ языкомъ античной римской литературы, и преданія послѣдней никогда окончательно не пре-

рывались на средневѣковомъ Западѣ, и въ концѣ концовъ издавна были палицо элементы позднѣйшаго Возрожденія. Интересъ къ античному міру былъ таковъ, что въ эпоху упадка Византіи, уже съ конца XIV вѣка, классическое наслѣдіе Византіи перешло исключительно на Западъ. У насъ было нѣчто совсѣмъ иное. Первая письменность явилась на церковно-славянскомъ языкѣ уже готовая, изъ южно-славянскихъ книгъ. Раньше никакой письменности не было; новый письменный языкъ былъ языкомъ церкви, и внѣ церковнаго содержанія, но въ его тонѣ, въ книгѣ могли находить мѣсто только исторія и поученіе (не говоря о письменности чисто дѣловой). Полное отсутствіе пиколы выше элементарной, строгое запрещеніе народной пѣсни, объявленной „бѣсовскою“, сдѣлали то, что письменность осталась почти исключительно въ рукахъ церковныхъ людей, и только къ концу нашихъ среднихъ вѣковъ являются попытки записать свою народную пѣсню: характерно, что одна изъ старѣйшихъ записей, если не самая старая, сдѣлана была иноземцемъ, Ричардомъ Джемсомъ, въ началѣ XVII вѣка. Потребность въ какомъ-либо поэтическомъ содержаніи находила удовлетвореніе въ заимствованной повѣсти и церковной легендѣ: первая была переводная, вторая подражательная. То, что создавала народная поэзія въ былинѣ, пѣснѣ, духовномъ стихѣ, не успѣло развиваться въ широкое явленіе, создать литературную школу. Такимъ образомъ новая литература, которой предстояло возникнуть послѣ нашего возрожденія, не могла опереться ни на какое установившееся поэтическое преданіе и впоследствии тѣмъ болѣе открыта была влияніямъ западно-европейской литературы. Съ другой стороны была разница и въ томъ, что западные средніе вѣка при всемъ господствѣ клерикальнаго міровоззрѣнія представляли всегда оживленную работу мысли, въ результатъ которой обращеніе къ античному міру въ эпоху Возрожденія могло быстро подняться во всеоружіи классической учености, и наука уже вскорѣ могла создать великія открытія XV и XVI вѣка: къ намъ достигали только скудные и притомъ давно устарѣвшіе отрывки этой науки, а западная поэтическая литература, въ которой былъ уже Шекспиръ, была совершенно неизвѣстна. Такимъ образомъ и съ этой стороны, когда со временъ Петра стали проникать къ намъ произведенія европейскаго знанія, они являлись съ великимъ авторитетомъ: старая письменность не представляла ничего подобнаго, и если новая наука въ томъ или другомъ противорѣчила старому воззрѣнію, ей могъ быть противопоставленъ отъ имени старины только обскурантизмъ,—такъ послѣ и дѣлалось.

Знаніе, которое Петръ стремился ввести въ русскую жизнь, было, во-первыхъ, то самое, недостатокъ котораго стали чувствовать со временъ Ивана III: это было реальное научное знаніе, недостатокъ котораго у насъ въ прежнее время старались восполнить не основаніемъ школы, а брали съ Запада, такъ сказать, натурой, призывая иноземцевъ и сами оставаясь невѣждами. Извѣстныя образовательныя понятія, нѣкоторый интересъ къ наукѣ, стремленіе къ новымъ обычаямъ общественности, начатки вѣро-терпимости и т. д., были опять въ той или другой степени знакомы раньше и накануне реформы почерпались, напримѣръ, изъ польскихъ образцовъ, книжныхъ и бытовыхъ. Всѣ эти элементы образованія заимствовались теперь изъ европейскихъ источниковъ; и эта наука, реальныя знанія, правы были уже созданіемъ новой Европы, давно отвергнувшей средніе вѣка, какъ эпоху варварства. Въ этой Европѣ отжила свое время старая схоластика; наука перешла изъ монастырей въ академіи и университеты; характеръ ея былъ свѣтскій, нерѣдко прямо враждебный клерикальному міровоззрѣнію въ самой жизни. И вслѣдствіе вліянія этихъ европейскихъ началъ, съ которыми Петръ встрѣчался дома въ сношеніяхъ съ иноземцами, и въ путешествіяхъ по Европѣ, и вслѣдствіе домашнихъ опытовъ, тотъ же характеръ получали образовательныя стремленія Петра: образованіе и литература, возникавшія послѣ реформы, носили съ тѣхъ поръ именно этотъ свѣтскій характеръ, въ противоположность церковному характеру старой русской школы и письменности.

Историки, осуждающіе Петра съ упомянутой „чисто русской“ точки зрѣнія, ставятъ ему въ вину это устраненіе старины; славянофильство прямо обвиняло его въ измѣнѣ народности. Но если русская жизнь не должна была быть вообще обречена на невѣжество, то другой науки въ то время не было, и не было другого источника, откуда могло бы быть взято научное знаніе, кромѣ источника европейскаго. Ядовитыя замѣчанія, что Петръ вводилъ „голландскую“ образованность, что онъ направлялся въ „грязную улицу“ Нѣмецкой слободы и т. п., не попадаютъ въ цѣль потому уже, что фальшиво передаютъ фактъ. Петръ обращался къ Голландіи потому, что, по его мнѣнію, тамъ всего лучше можно было научиться кораблестроенію; но своихъ знаній онъ набирался отовсюду, гдѣ надѣялся найти ихъ: онъ вступалъ въ сношенія и съ французской академіей, и съ Лейбницемъ; своихъ молодыхъ питомцевъ онъ посылалъ учиться и въ Германію, и въ Англію, и въ Венецію, даже въ Испанію; надѣялся найти нужныхъ ему „шрейберовъ“ въ Богеміи; въ своемъ законо-

дательствѣ брался за шведскіе образцы; въ своихъ политическихъ идеяхъ думалъ, наконецъ, о славянствѣ. Очевидно, что образованіе, которое онъ считалъ полезнымъ для Россіи, принадлежало и по его понятіямъ не какой-нибудь одной странѣ, а всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ, какихъ онъ видѣлъ, и только могъ видѣть, въ Европѣ. Неправильно и довольно распространенное представленіе о наклонности Петра къ протестантству, или о томъ, что у него былъ „утилитарный“ взглядъ на церковь. Дѣло только въ томъ, что у Петра, вслѣдствіе всего его воспитанія и опыта, не развилась исключительная церковность, которая отличала старыхъ русскихъ людей: у него было личное благочестіе, но не было фанатизма; онъ не могъ считать лишенными религіи тѣхъ еноувѣрцевъ, которыхъ видѣлъ такъ близко; онъ оказывалъ терпимость даже къ расколу, который іерархія предавала проклятіямъ, — онъ только бралъ съ раскольниковъ двойной окладъ...

Чѣмъ больше историческія изслѣдованія раскрываютъ личность и дѣятельность Петра, тѣмъ больше онъ является чисто русскимъ человѣкомъ. Это — не предатель русской народности, а именно великій ея представитель, его реформа — не произведеніе личнаго произвола деспота, хотя укрѣплявшаго государство, но попиравшаго нравственное достоинство народности; напротивъ, это — созданіе самой народности, искавшей выхода къ просвѣщенію и къ широкому поприщу исторіи. Его личная дѣятельность только увеличила энергію исполненія оставленныхъ задачъ, но не создала самыхъ цѣлей его стремленій: эти цѣли были раньше намѣчены исторіей. Дѣйствительно, если Петръ завершалъ предшествующія, еще неясныя стремленія къ западному просвѣщенію, и послѣдующія событія подтвердили жизненность внесенныхъ имъ началъ, государственныхъ и образовательныхъ, дальнѣйшимъ ихъ развитіемъ, то подобное явленіе можно наблюдать и на литературѣ его времени. X

(Обыкновенное представленіе, что съ Петра начинается новый періодъ русской литературы, гдѣ она старательно или даже „рабски“ перенимала формы литературы западно-европейской, можно принять только съ значительной оговоркой. То воздѣйствіе западно-литературныхъ образцовъ, которое выразилось извѣстными вліаніями преимущественно французскаго псевдо-классицизма, въ дѣйствительности обнаружилось болѣе замѣтно уже только во второй половинѣ XVIII вѣка — новое доказательство того, что Петровская реформа дѣйствовала не какъ внезапный переворотъ,

а какъ явленіе органическое: прошло нѣсколько десятковъ лѣтъ, прежде чѣмъ въ русскомъ обществѣ укрѣпились интересы, создавшіе эту литературу. Съ другой стороны литература первой четверти XVIII вѣка, при всей своеобразности многихъ ея явленій, самымъ тѣснымъ образомъ примыкаетъ къ „письменности“ XVII столѣтія: является не мало новыхъ понятій, стоявшихъ даже въ рѣзкомъ противорѣчій къ недавней старинѣ, тѣмъ не менѣе эта новая литература составляетъ очевидное продолженіе прежней. Въ своихъ основныхъ явленіяхъ она возвращается на тѣхъ же церковныхъ интересахъ: какъ во второй половинѣ XVII вѣка борьба новыхъ стремленій и стараго преданія сводилась къ церковнымъ вопросамъ, даже къ прямой догматикѣ, такъ было и теперь: вернулся даже старый споръ о пресуществленіи, и перенесеніе церковныхъ вопросовъ на политическую почву. Единственными литературными силами были пока все тѣ же кіевскіе ученые, а на другой сторонѣ книжники стараго вѣка; у первыхъ тотъ же былъ источникъ ученаго знанія, только онъ естественно расширялся и схоластика подходила, наконецъ, къ самой жизни; вторые прямо соприкасались съ расколомъ. Наконецъ, — и это чрезвычайно существенно, — тѣ кіевскіе ученые, которые дѣйствовали въ эпоху реформы и въ союзѣ съ нею, не были, однако, ея питомцами: это были или старые люди, какъ Стефанъ Яворскій, при реформѣ доживавшій свой вѣкъ, или люди болѣе молодого поколѣнія, какъ Теофанъ Прокоповичъ, которые воспитались внѣ реформы, но подъ тѣми же вліяніями европейскаго просвѣщенія, и ставшіе партизанами реформы именно потому, что своими основными чертами она вполне отвѣчала ихъ образу мыслей. Съ другой стороны, столь же независимо появился такой оригинальный писатель, какъ Посошковъ, чисто московскій человекъ, не имѣвшій никакой правильной школы, многими своими понятіями принадлежавшій московской старинѣ, но зато другими тѣсно связанный съ государственными и образовательными интересами реформы. Посошковъ былъ уже старый человекъ, когда шелъ разгаръ преобразованій, и его идеи, пріобрѣтенныя изъ отрывочныхъ знаній самоучки, какими онъ былъ, и изъ большого практическаго опыта, служатъ опять яркимъ доказательствомъ того, что еще раньше, чѣмъ сказались вліянія самого Петра, зародыши преобразованія были въ духѣ времени: Петръ находилъ готовыхъ послѣдователей въ людяхъ, воспитавшихся внѣ его вліянія, какъ кіевляне Яворскій и Теофанъ и москвичъ Посошковъ. Далѣе, оригинальную черту литературы временъ Петра составляетъ обиліе переводныхъ сочиненій по разнымъ отраслямъ

науки и практическаго знанія—по математикѣ, навигаціи, географіи, исторіи, политикѣ и пр., но и здѣсь начало положено раньше: въ концѣ XVII вѣка въ старой „письменности“ уже пробуждается интересъ любознательныхъ людей въ этомъ направленіи и появляются изрѣдка переводы подобныхъ книгъ; въ бібліотекахъ ученыхъ людей бывали книги, которыя потомъ были переведены при Петрѣ, — и Петръ печаталъ эти переводы, когда раньше печатались только книги церковныя. Собственно поэтической литературы эпоха реформы не произвела, какъ не произвелъ ея конецъ XVII вѣка: чтобы могли появиться произведенія того рода, съ какими выступили потомъ Ломоносовъ и Сумароковъ, была нужна другая школа литературная и общественная, какой во времена Петра еще не было.

Такимъ образомъ литература временъ Петра представляетъ нѣчто въ родѣ междуцарствія: пестрое смѣшеніе стараго и новаго, какъ подобное господствовало и въ самой жизни. Характернымъ явленіемъ было то, что образованіе приобрѣло свѣтскій характеръ: новая наука была свѣтская; стали заимствоваться литературныя формы новѣйшаго Запада; кромѣ духовенства, прежде почти единственныхъ книжниковъ, начало усиленно возрастать число образованныхъ людей изъ различныхъ слоевъ свѣтскаго класса;—но элементы этого свѣтскаго образованія шли не только изъ техническихъ школъ, основанныхъ Петромъ, не только изъ школъ иностранныхъ, гдѣ обучалось тогда не мало русскихъ молодыхъ людей, но также изъ среды самого образованнаго духовенства

× Когда Петръ былъ еще юношей, занятъ былъ своимъ элементарнымъ ученіемъ, военными „потѣхами“, и задумывалъ потѣхи морскія, шла та борьба „греческаго ученія“ и „латинской части“, жертвою которой сталъ несчастный Сильвестръ Медвѣдевъ. Когда онъ былъ „главоотсѣченъ“, врагамъ его казалось, что „латинская часть“ была совершенно истреблена, но они ошиблись; дѣло было не въ этомъ одномъ врагѣ. „Латинская часть“ представляла собой выраженіе тогдашней потребности образованія, и этой потребности патріархъ Іоакимъ истребить не могъ: прошло немного времени и представители „латинской части“ становятся во главѣ іерархіи. Вмѣшательство Петра только помогло этому: онъ давно предпочиталъ ученое кіевское духовенство неученому московскому. Преемникъ Іоакима, Адріанъ, мало сочувствовалъ нововведеніямъ Петра и, миновавши его, Петръ обратился къ духовнымъ лицамъ кіевской школы. По

смерти Адріана, Петръ отклонилъ избраніе новаго патріарха и „мѣстоблюстителемъ“ патріаршаго престола назначилъ кіевлянина Стефана Яворскаго; затѣмъ, правой рукой Петра въ дѣлахъ церковныхъ и въ дѣлахъ образованія сталъ другой кіевлянинъ — Теофанъ Прокоповичъ.

И тотъ, и другой по учености и литературнымъ вкусамъ были совсѣмъ непохожи на старое московское духовенство, и если Стефанъ сохранялъ прежнія понятія о правахъ церковной власти, то Теофанъ и въ этомъ отношеніи не сходилъ съ людьми стараго вѣка. Во всякомъ случаѣ одно то, что Стефанъ Яворскій могъ стать мѣстоблюстителемъ и представлялъ собою фикцію патріарха, было вопіющимъ нарушеніемъ старины, за которую такъ ратовали послѣдніе патріархи: во главѣ русской церкви сталъ чуть не еретикъ, „ляшенокъ“, бывавшій въ латинствѣ, несомнѣнно „обливанецъ“, и притомъ имѣвшій тѣ же взгляды на пресуществленіе, изъ-за которыхъ недавно погибъ Медвѣдевъ. Не менѣе вопіющимъ дѣломъ было полное уничтоженіе патріаршества, того учрежденія, которымъ была заявлена нѣкогда самостоятельность русской церкви въ средѣ другихъ православныхъ церквей, которое отвѣчало политическому значенію государства, въ которомъ и для народной массы указывалось значеніе церковной власти. Для Петра это учрежденіе было только помѣхой; если онъ позволялъ себѣ, хотя бы только въ своемъ ближайшемъ кругу, самыя необузданныя издѣательства надъ нимъ, это показывало уже, какъ мало онъ признавалъ за нимъ внутреннего значенія: и дѣйствительно, уничтоженіе патріаршества обошлось безъ какого-либо серьезнаго протеста. Если Стефанъ желалъ прежняго значенія іерархіи, то Теофанъ былъ къ этому совсѣмъ равнодушенъ. Прибавимъ, что если обвиняють Петра за уничтоженіе патріаршества и униженіе власти „церкви“, то онъ имѣлъ предшественника въ Иванѣ Грозномъ, который среди XVI вѣка говорилъ о власти церковныхъ людей, какъ гибельной для царствъ.

Кромѣ специальныхъ условій задуманнаго преобразованія, самая личная судьба Петра какъ бы указывала разложеніе стараго порядка. Его воспитаніе было заброшено: обученіе, какое могли дать ему по старымъ обычаямъ, было весьма жалкое, и онъ, почти еще мальчикъ, самъ долженъ былъ искать способовъ удовлетворить своей горячей и беспокойной любознательности. По смерти Федора Алексѣевича произошло столкновеніе въ семьѣ; одинъ изъ братьевъ покойнаго царя былъ мало способный, другой былъ въ малолѣтствѣ; царица-вдова, по позднѣйшему указа-

нію приверженца Петра, князя Бориса Куракина, „была править не капабель (сарable), ума малаго“; это положеніе вещей естественно дало пищу властолюбію царевны Софьи. Это исканіе власти не было лишено серьезнаго основанія: на дѣлѣ, Софья была въ ту минуту единственнымъ компетентнымъ лицомъ царской семьи, чтобы стать во главѣ правленія; это подтверждаетъ въ своихъ позднѣйшихъ запискахъ тотъ же приверженецъ Петра. „Правленіе царевны Софьи Алексѣевны, — пишетъ князь Куракинъ, — началось со всякою прилежностію и правосудіемъ всѣмъ и ко удовольствію народному, такъ что никогда такого мудраго правленія въ Россійскомъ государствѣ не было. И все государство пришло во время ея правленія, черезъ семь лѣтъ, въ цвѣтъ великаго богатства. Также умножилась коммерція и всякія ремесла; и науки почали быть возставлятъ латинскаго и греческаго языку; также и политеся возставлена была въ великомъ шляхетствѣ и другихъ придворныхъ съ манеру польскаго — и въ экипажахъ, и въ домовномъ строеніи, и уборахъ, и въ столахъ. И торжествовала тогда довольность народная“. Въ другомъ мѣстѣ онъ замѣчаетъ, что царевна Софья „была великаго ума и великой политикѣ“, а любимецъ ея, князь В. В. Голицынъ, вошедшій въ милость „по ея особливой инклинаціи и амуру“, „почалъ быть фаворитомъ и первымъ министромъ, былъ своею персоною изрядной и ума великаго и любимъ отъ всѣхъ“ ¹⁾. Старый „Домострой“ не помогъ согласію царской семьи; съ другой стороны обычай дѣлалъ положеніе царевны безвыходнымъ. Этотъ обычай осуждалъ царевенъ на безбрачіе, на монастырскую жизнь въ царскихъ палатахъ; женщинѣ сильнаго ума и характера, какова была Софья, оставалось устроить свою судьбу только нарушая обычай и вырываясь на свободу изъ дворцоваго монастыря ²⁾. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ царевна привыкла къ власти, хотѣла обезпечить ее за собой, и отсюда страшное столкновеніе, въ которомъ

¹⁾ Архивъ князя О. А. Куракина. Сиб. 1890. I, стр. 48—53.

²⁾ Задолго до этихъ событій Котошихинъ пишетъ: „Сестры жъ царскіе, или и дщери, царевны, имѣли свои особые жъ покои разные, живуще яко пустынницы, мало зряху людей, и ихъ люди; но всегда въ молитвѣ и въ постѣ пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольствие имѣли царственное, не имѣли бо себѣ удовольствия такого, какъ отъ Всемогущаго Бога вдово челоуѣкомъ совокуплятися и плодъ творити. А государства своего за князей и за бояръ замужъ выдавати ихъ не повелось, потому что князи и бояре ихъ естъ холопи и въ челоубитѣ своемъ ищутся холопыи, и то поставлено въ вѣчной позоръ, ежели за раба выдать госпожу; а нинихъ государствъ за королевичей и за князей давати не повелось, для того что не одной вѣри и вѣри своей отгнѣнати не учинять, ставати своей вѣрѣ въ поруганіе, да и для того, что нинихъ государствъ языка и политики не знаютъ, и отъ того бѣ имъ было въ стыдъ“ (гл. I, 25). По сообщенію того же Куракина, и другія дочери царя Алексѣя уже привыкли этому обычаю: у нихъ были доморожденные „голанты“ — изъ пѣвчихъ („Архивъ“, I, стр. 55).

она погибла. Но это правленіе вводило уже въ значительной степени тѣ новые порядки, которые возмущали приверженцевъ старины: иноземцы не были гонимы, напротивъ, съ ними охотно сближались и привлекали ихъ на службу, и зато патріархъ Іоакимъ даже лишилъ причастія царевну Софью. Если бы и не пришелъ Петръ, русская жизнь во всякомъ случаѣ вступила бы на новую дорогу. Обыкновенно говорятъ, что правленіе царевны Софьи было наклонно къ католической реформѣ, а преобразованія Петра приняли направленіе протестантское. Патріархъ Іоакимъ изъ вражды къ Софьѣ сближился съ дворомъ царицы Натальи Кирилловны и Петра—онъ не подозрѣвалъ, что въ царственномъ юношѣ крылось, съ его точки зрѣнія, еще горшее бѣдствіе для обороняемой имъ старины. „Іоакимъ, — говоритъ одинъ историкъ, — требуя гробового молчанія, испугался жизни, которая пробивалась черезъ религіозную сферу; но жизнь нашла другіе пути“. Въмѣсто католиковъ Петръ обратился къ протестантамъ; когда онъ по собственному побужденію отправился за границу, „его повлекло въ протестантскія страны, въ Голландію и Англію. Не дали Медвѣдеву и его сторонѣ провести науку изъ Рима, Петръ привелъ ее въ Россію изъ протестантскихъ странъ... Побѣди сторона Софьи—учителей кораблестроенія вызвали бы изъ Венеціи, тогдашней союзницы Россіи. Петръ взялъ просвѣтительныя зерна изъ лучшей почвы, и за это ему честь и слава“¹⁾. На самомъ дѣлѣ, у Петра вовсе не было такихъ вѣроисповѣдныхъ соображеній: онъ просто искалъ реального знанія и учившись самъ корабельному строенію въ Голландіи посылалъ молодыхъ бояръ въ ученіе и въ эту самую Венецію. Его сотрудники въ церковныхъ дѣлахъ были воспитанники католической школы, и не отъ него зависѣло, что одинъ изъ этихъ воспитанниковъ, Теофанъ, вынесъ изъ своей школы тотъ же образъ мыслей, какой былъ у самого Петра.

Дѣйствительное положеніе вещей было проще. Ни мнимая католическая партія, ни мнимая протестантская, хотя и стремились къ усвоенію европейской образованности, не имѣли общаго достаточно яснаго представленія объ Европѣ. За сто лѣтъ передъ тѣмъ Иванъ Грозный чувствовалъ также нѣчто въ родѣ подобнаго стремленія; онъ понималъ, что была какая-то сила, представляемая европейскимъ просвѣщеніемъ; онъ пренебрежительно говорилъ о русскихъ; ему хотѣлось самого себя производить отъ западно-европейскаго корня; онъ собирался жениться на англій-

¹⁾ Бѣловъ, „Московскія смуты въ концѣ XVII вѣка“, въ Журн. мин. просв. 1887, февраль, стр. 98—94.

ской королевѣ, но, по вѣрному замѣчанію Жданова, его представление объ Европѣ было совершенно „сумбурное“. Такимъ же сумбурнымъ оставалось представление объ Европѣ и при московскомъ дворѣ XVII вѣка; косвеннымъ образомъ свидѣлствуютъ объ этомъ отчеты русскихъ людей, бывавшихъ тогда въ заграничныхъ посольствахъ: все имъ было въ диковину, многихъ вещей они видимо совсѣмъ не понимали. Теперь подлѣ Москвы было цѣлое поселеніе иноземцевъ,—это могъ быть новый источникъ свѣдѣній объ европейскихъ нравахъ и просвѣщеніи, которымъ воспользовался, между прочимъ, юный Петръ: тотъ же князь Куракинъ даетъ любопытное извѣстіе, что и здѣсь была инициатива людей старшаго поколѣнія, а именно князя Бориса Голицына, который былъ однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ партизановъ Петра во время раздора съ царевной Софьей и „былъ въ кредитъ“ при царикѣ Натальѣ Кирилловнѣ и ея сынѣ. „Былъ человекъ ума великаго,—пишетъ князь Куракинъ,—а особливо остроты, но къ дѣламъ неприлежной, понеже любилъ забавы, а особливо склоненъ былъ къ питію. И оной есть первымъ, которой началъ съ офицерами и купцами иноземцами обходиться. И по той своей склонности къ иноземцамъ оныхъ привелъ въ откровенность ко двору и царское величество склонилъ къ нимъ въ милость“ ¹⁾. Такимъ образомъ первое сближеніе съ иноземцами привели опять люди старшаго поколѣнія, Петръ рѣшилъ, наконецъ, вопросъ, самъ отправившись за границу: „окно въ Европу“ было намѣчено.

В. И. Успенскій Петръ впервые узналъ Стефана Яворскаго случайно. Въ февралѣ 1700 года умеръ въ Москвѣ знатный бояринъ Шеинъ. Распорядители похоронъ, зная, что Петръ любилъ въ такихъ случаяхъ проповѣдь, и затрудняясь найти проповѣдника въ московскомъ духовенствѣ, пригласили кіевскаго игумена Яворскаго, который славился какъ искусный ораторъ. Стефанъ Яворскій лишь незадолго передъ тѣмъ прибылъ въ Москву вмѣстѣ съ другимъ игуменомъ, Корниловичемъ; кіевскій митрополитъ прислалъ ихъ въ Москву, какъ „добрѣ церкви святѣй благоразуміемъ и благоугожденіемъ служащихъ“. Проповѣдь Стефана очень понравилась Петру, который послѣ этого поручилъ патріарху вызвать изъ Кіева еще шесть архимандритовъ или игуменовъ, „въ наукахъ благоискусныхъ, къ проповѣданію слова Божія способныхъ“

¹⁾ Архивъ князя О. А. Куракина, I, стр. 63. Онъ замѣчаетъ, что тотъ же князь Голицынъ, во время пребыванія Петра въ Троицкой Лаврѣ, „привелъ въ милость“ генерала Гордона, полковника Лефорта и многихъ другихъ.

и архіерейскаго сана достойныхъ“, а Стефана онъ предложилъ патріарху тогда же посвятить въ архіереи—не въ дальнемъ разстояніи отъ Москвы. Вскорѣ оказалась свободной митрополичья кathedra въ Рязани, и въ мартѣ рѣшено было поставить игумена Стефана рязанскимъ митрополитомъ. Въ октябрѣ того же года умеръ патріархъ Адріанъ, и Стефанъ назначенъ былъ мѣстоблюстителемъ патріаршаго престола. Выборъ сдѣланъ былъ самимъ Петромъ, который, одобряя „зѣло изрядныя предики господина Яворскаго“, очевидно, надѣялся найти въ его учености помощь для своихъ предпріятій и во всякомъ случаѣ былъ увѣренъ, что не встрѣтитъ съ его стороны тѣхъ затрудненій, какія дѣлало ему старое патріаршество.

Самое вступленіе Яворскаго на первое мѣсто въ русской іерархіи съ прежней точки зрѣнія представило бы великій соблазнъ: его ученость была латинская и прошедшее сомнительно. Стефанъ (въ мірѣ Симеонъ) Яворскій былъ шляхтичъ изъ польскаго мѣстечка Яворова; еще въ малолѣтствѣ его, семья переселилась въ Украину (близъ Нѣжина); онъ учился въ кіевской коллегіи, а потомъ въ іезуитскихъ училищахъ во Львовѣ, Люблинѣ, Вильнѣ и Познани, гдѣ принялъ католичество (съ именемъ Станислава), потомъ, вернувшись въ Кіевъ, принялъ православное монашество съ именемъ Стефана, былъ учителемъ и префектомъ въ Кіевской коллегіи, наконецъ игуменомъ Пустынно-нікольскаго монастыря. Отсюда онъ былъ отправленъ въ Москву съ упомянутой рекомендаціей кіевского митрополита. Такимъ образомъ Стефанъ былъ одно время ренегатомъ; кромѣ того былъ обливанецъ, т.-е. по старому московскому представленію просто некрещенный человѣкъ, какихъ въ Москвѣ бывало перекрещивали, пока восточные патріархи не вразумили, что обливанцевъ перекрещивать не слѣдуетъ. Стефанъ былъ весьма ученый человѣкъ въ томъ схоластическомъ родѣ, какъ могла воспитать его сначала кіевская коллегія, а потомъ въ особенности іезуитскія училища, гдѣ схоластика процвѣтала, конечно, еще сильнѣе. Отсюда былъ сполна заимствованъ и характеръ его проповѣдничества, которое такъ понравилось Петру, конечно, по его новостямъ и внѣшней эффектности. Впослѣдствіи, писатель, враждебный Стефану Яворскому, говорилъ: „Что до витійства касается, правда, что имѣлъ Стефанъ удивительный даръ и едва подобные ему въ учителяхъ російскихъ обрѣстись могли. Мнѣ довольно приходилось видѣть, что онъ своими поученіями могъ возбуждать въ слушателяхъ смѣхъ или слезы, чему много способствовали движе-

нія тѣла, рукъ, помаваніе очей и лица премѣненіе, что природа ему дала“ X.

Проповѣдь Яворскаго можетъ служить образцомъ схоластическаго стиля, доведеннаго до крайности. Это былъ тотъ же стиль, какому нѣкогда обучалъ Галатовскій въ „Ключѣ разумѣнія“, но еще усовершенствованный Яворскимъ въ іезуитской школѣ. Проповѣдь составлялась по всѣмъ правиламъ схоластической реторики, развивая тему внѣшнимъ образомъ, съ искусственной символикой и аллегоріей, съ игрою словъ, иногда даже оставляя совсѣмъ нетронутымъ само нравственное ученіе. Съ внѣшней точки зрѣнія эти проповѣди нерѣдко могутъ поразить крайнимъ безвкусіемъ, даже прямой нелѣпостью схоластическихъ прикрасъ и словонизвитій, но въ свое время для слушателей, не избалованныхъ въ литературномъ отношеніи, онѣ должны были производить большое впечатлѣніе. Болѣе выгодно выдѣлялись въ этомъ отношеніи тѣ проповѣди, которыя прямо относились къ современнымъ событіямъ. Въ первые годы своего мѣстоблюстителства Стефанъ былъ ревностнымъ панегиристомъ Петра—вѣроятно, искреннимъ, потому что могъ дѣйствительно понимать великое значеніе его политической и военной дѣятельности и заботъ о просвѣщеніи, недостатокъ котораго въ Россіи Стефанъ могъ осуждать такъ же, какъ и другіе кіевляне. Петръ съ своей стороны относился къ нему милостиво, дѣлалъ ему богатые подарки. Но съ теченіемъ времени, отношенія начали измѣняться и, наконецъ, стали весьма враждебными. Дѣло въ томъ, что по всему складу своего образованія и своихъ представленій о церковномъ авторитетѣ, Стефанъ былъ именно приверженцемъ сильной церковной власти въ томъ родѣ, какая нѣкогда принадлежала патріаршеству; его мечтой было, повидимому, стать нѣкогда самому патріархомъ, и не только по имени. Время, однако, шло; Петръ не дѣлалъ его патріархомъ, и, напротивъ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше выяснялись для Стефана правительственные взгляды Петра, въ которыхъ церковной власти отводилось только второстепенное положеніе. Должно сказать, что Стефанъ пытался не однажды мирно уклониться отъ грозившей борьбы: съ самаго начала онъ не хотѣлъ принимать рязанской митрополіи; въ 1706 г. онъ просилъ разрѣшенія поселиться въ Кіевѣ,—гдѣ надѣялся отдохнуть отъ тревогъ московскаго „Вавилона“,—но Петръ потребовалъ его назадъ. Въ концѣ концовъ Яворскій сталъ все болѣе непріязненно относиться къ мѣрамъ Петра, стѣснявшимъ церковную власть, налагавшимъ небывалыя прежде тягости на само духовное сословіе. Мы видѣли раньше, что такихъ мѣръ не

одобрилъ и мирный Димитрій Ростовскій; Стефанъ не одобрялъ ихъ еще болѣе. Мало-по-малу оказалась для него общая почва съ тою старою русскою партіею, которая относилась враждебно къ подобнымъ мѣрамъ Петра съ самаго начала; эта партія забыла „латинство“ Стефана, хвалила его благочестіе и должна была сочувствовать его консерватизму. Изъ прежняго панегириста Стефанъ становится обличителемъ; схоластическая риторика своими аллегоріями давала ему возможность дѣлать болѣе или менѣе прозрачныя намеки на неодобрительныя дѣянія Петра, а наконецъ онъ рѣшился на такія указанія, гдѣ намекъ былъ уже совершенно ясенъ. Царь, трудящійся и полагающій душу за Россію, покровитель просвѣщенія, смѣняется въ проповѣдяхъ Яворскаго царемъ—похитителемъ церковныхъ правъ, другомъ лютеранъ, нарушителемъ брачнаго союза. На первое время эти обличенія оставались только на бумагѣ: Стефанъ пишетъ проповѣдь, но въ рукописи дѣлаетъ отмѣтку: „non dictum“ (не было сказано). Таково, напримѣръ, было обличеніе Петровскихъ ассамблей въ видѣ изображенія пиршества Валтасара, гдѣ царь и вельможи пили изъ церковныхъ сосудовъ ¹⁾. Но затѣмъ Стефанъ рѣшился говорить открыто. Такова была проповѣдь, сказанная въ мартѣ 1712 года въ Москвѣ. Сенаторы, слышавшіе проповѣдь, пришли въ негодованіе и послали проповѣдь Петру; Стефанъ испугался, послалъ оправдательное письмо, гдѣ объяснял доносъ завистью. Петръ понялъ всѣ намеки, отмѣтилъ на поляхъ: „о фискалѣхъ“, „объ Алексѣѣ“, а тамъ, гдѣ говорилось о мужѣ, бросающемъ жену и живущемъ развратно, написалъ; „первѣ одному, потомъ же со свидѣтели“, желая сказать, что по церковной заповѣди слѣдуетъ обличать грѣшника сначала наединѣ, а потомъ при свидѣтеляхъ, между тѣмъ какъ Стефанъ дѣлалъ прямо публичное обвиненіе. Петръ, однако, не хотѣлъ придать значенія этому дѣлу; но съ тѣхъ поръ Стефанъ остался „въ подозрѣніи“ и не пользовался уже царскою милостью. Несмотря на этотъ урокъ, Стефанъ не успокоился. Онъ не рѣшался на открытый разрывъ, который былъ бы слишкомъ опасенъ, но, гдѣ было можно, упорно

¹⁾ Это была проповѣдь, приготовленная на день Іоанна Златоуста, въ ноябрѣ 1708: „Ей, царю Валтасаре,--писалъ Яворскій,--что творишь? Сосуди то церковныя, а ты ихъ на пьянство употребляешь. Памятуй же, что тебѣ тое не минется: выпьешь изъ тѣхъ сосудовъ горькій пельнь ярости Божіа. Гнѣвается на то Богъ, егда кто добра церковныя, Ему данныя, похищаетъ, а еще на зло употребляетъ. Забылся я, что такъ дерзновенно глаголю истину, гдѣ истину не любятъ. Однакожъ, не слушаешь того царь Валтасаръ; пьютъ нещадно сивачъ; кто не выпьетъ, штрафъ про здравіе изъ сосудовъ церковныхъ; всѣ доброй мысли, всѣ шумны (пьяны), всѣ веселы. А ты печально явится рука иѣкая, пишущая приговоръ на смерть царевы. Отъ (вотъ) тебѣ церковное добро куда пошло!“ (Non dictum).

боролся противъ духа времени косвенными путями. Этотъ духъ времени глубочайшимъ образомъ оскорблялъ его въ разныхъ отношеніяхъ: униженіе церковнаго авторитета обнаруживалось повсюду; надежда на возстановленіе патріаршества исчезала; ненавистные ему иноземцы-протестанты пользовались почетомъ; казалось даже, что протестантство грозитъ самой русской церкви. Стефанъ не рѣшился выступить открыто со своими обвиненіями, но воспользовался случаемъ поднять чужими руками дѣло, гдѣ онъ могъ благовидно высказать накопившееся раздраженіе и задѣть самого любимшаго иноземцевъ Петра. Это было рассказанное не однажды дѣло еретика Тверитинова (въ 1713—1714 годахъ). Это былъ давно жившій въ Москвѣ лекарь, водившійся съ иноземцами Нѣмецкой слободы и набравшійся у нихъ протестантскаго религіознаго вольнодумства. Тверитиновъ былъ этимъ давно извѣстенъ, а если дѣло о немъ было поднято только теперь, то это уже указывало на затаенную цѣль: вольнодумство Тверитинова было именно близко къ тому, чтѣ терпѣлъ или даже одобрялъ самъ Петръ; если бы еретики (ихъ было нѣсколько) были осуждены, осужденіе падало бы и на самаго царя; если бы онъ хотѣлъ смягчить ихъ участь, онъ долженъ былъ бы идти на соглашеніе съ церковной властью. Дѣло было начато издалика. Въ славяно-латинскихъ школахъ оказался школьникъ, который научился „не зная отъ кого“ еретичеству; объ этомъ донесено было Стефану, и дѣло началось. На пыткѣ школьникъ оговорилъ лекаря Тверитинова, цирюльника Оому и нѣкоторыхъ другихъ вольнодумцевъ. Не ожидая добра отъ московскихъ судей, Тверитиновъ сбѣжалъ въ Петербургъ съ жалобою, что митрополитъ гонить его напрасно, по ложному извѣсту. Петръ велѣлъ разбирать дѣло въ синодѣ; Стефанъ доносилъ, что въ Москвѣ уже многіе прельщены на „богомерзкое раскольниковство“, но въ синодѣ Тверитиновъ заявилъ свое православіе, былъ приобщенъ невскимъ архимандритомъ Теодосіемъ Яновскимъ (вѣрнымъ церковнымъ слугою Петра), и царь, отсылая подсудимыхъ въ Москву, поручалъ самому Стефану объявить ихъ публичное оправданіе... Но у Стефана нашлась еще новая улика противъ еретиковъ: въ его руки попали бумаги Тверитинова, и Стефанъ разыскалъ въ нихъ еретическія мысли. Онъ воспользовался этимъ случаемъ и съ бывшими въ Москвѣ архіереями издалъ „Увѣщаніе къ православнымъ“, гдѣ вызывалъ показанія отъ людей, знавшихъ о еретичествѣ Тверитинова, грозя укрывателямъ клятвою собственною и семи вселенскихъ соборовъ. Показанія нашлись, а къ тому же одинъ еретикъ самъ далъ оружіе противъ себя и своихъ това-

рищей. А именно, цирюльникъ Оома, котораго держали въ оковахъ въ Чудовомъ монастырѣ и насильно водили въ церковь, въ раздраженіи изрубилъ косаремъ образъ св. Алексѣя митрополита. „Потрясая весь градъ“, — писалъ потомъ Стефанъ Петру объ этомъ фактѣ иконоборства, подтвердившемъ его прежнія предостереженія. Вскорѣ соборъ московскихъ іерарховъ предалъ еретиковъ анаемѣ и отдалъ лекаря Тверитинова и цирюльника Оому на казнь гражданской власти. Дѣло перешло въ петербургскій сенатъ, куда былъ вызванъ и Стефанъ, но здѣсь опять произошла подробность, для него непріятная: Тверитиновъ на сенаторскомъ судѣ показалъ, что самъ митрополитъ распространялъ книги съ лютеранскими догматами. Дѣйствительно, Стефанъ раздавалъ книгу „Богомыслие“, изданную въ Черниговѣ архіепископомъ Іоанномъ Максимовичемъ, посвященную Стефану и представляющую переводъ книги лютеранскаго піетиста Гергарда: „Meditationes sacrae“. Стефану пришлось оправдываться, весьма неловко, что онъ раздавалъ книгу, не читавши ея, и письменно виниться передъ Петромъ въ „неопасствѣ“ и дерзновеніи. Чтобы покарать ересь, пожертвовали цирюльникомъ Оомой, который былъ сожженъ: но значеніе Стефана съ тѣхъ поръ совсѣмъ упало, и чтобы сдѣлать его совершенно безвреднымъ, Петръ въ 1718 году велѣлъ ему жить въ Петербургѣ.

Около того времени, когда шелъ этотъ судъ надъ еретиками, Стефанъ окончилъ свой громаднй трудъ, представлявшій изложеніе православной догматики и направленный противъ протестантства. Это былъ знаменитый „Камень Вѣры“; приверженцы Стефана говорили, что „Камень“ такъ же нуженъ для пастыря церкви, какъ ружье для солдата. Этотъ огромный трудъ, мало, впрочемъ, самостоятельный, — потому что Яворскій обильно воспользовался католической полемикой противъ протестанства, — опять не былъ лишенъ намековъ на современность и, представляя обширное собраніе богословской учености, которая должна была подтверждать заботы митрополита о древнемъ русскомъ благочестіи, былъ вмѣстѣ и довольно яснымъ протестомъ противъ реформъ. Стефанъ желалъ напечатать свое сочиненіе, и Петръ даже разрѣшилъ это, съ тѣмъ только, чтобы смягчена была рѣзкость полемическихъ выходовъ, но изданіе почему-то задержалось; въ послѣдствіи оно считалось неудобнымъ, такъ что книга вышла въ свѣтъ уже только по смерти Стефана ¹⁾.

¹⁾ „Камень вѣры, православнымъ церкви святымъ сынамъ, на утвержденіе и духовное созиданіе; претикающимъ же о камень, претиканія и соблазна, на возстаніе и исправленіе“. М. 1728. Кіевское изданіе, 1780; при Аннѣ Ивановнѣ и Биронѣ книга была запрещена и разрѣшена вновь при Елизаветѣ и издана, М. 1749.

Ожиданія его были разбиты и въ другомъ отношеніи Сближаясь, изъ вражды къ Петру, со старою русскою партіей, Стефанъ принималъ сторону царевича Алексѣя, говорилъ о немъ въ своихъ проповѣдяхъ съ великимъ сочувствіемъ, какъ о „надеждѣ нашей“; но ему пришлось быть свидѣтелемъ гибели царевича. Онъ безуспѣшно старался оправдать царевича передъ Петромъ; когда царь спросилъ мнѣніе духовенства по его дѣлу, Стефанъ далъ отзывъ о помилованіи царевича, но ему пришлось самому отпѣвать его. Впослѣдствіи онъ такъ упалъ духомъ, что въ проповѣдяхъ говорилъ панегирики Екаторинѣ, о которой прежде думалъ и говорилъ иначе. Совершенно наперекоръ всѣмъ его понятіямъ принятъ былъ „Духовный Регламентъ“ и учрежденъ святѣйшій синодъ, въ которомъ ему надо было быть первенствующимъ членомъ.

„Постоянныя неудачи и огорченія, — говоритъ его біографъ, Ф. Терновскій, — раздражали митр. Стефана и сдѣлали его меланхоликомъ. Кажется, его имѣлъ въ виду Теофанъ Прокоповичъ, когда въ одной изъ своихъ проповѣдей обличалъ мизантроповъ, которые любятъ болѣе дождь, чѣмъ хорошую погоду, печальныя извѣстія предпочитаютъ радостнымъ и желали бы всѣхъ людей видѣть хромыми, слѣпыми, горбатыми и т. д. Эта карикатурная характеристика дѣйствительно нѣсколько напоминаетъ печальный образъ унылаго и желчнаго мѣстоблюстителя“.

„Стефанъ Яворскій, — говоритъ тотъ же біографъ, — оставилъ потомству свои проповѣди и „Камень Вѣры“, какъ памятникъ своихъ убѣжденій и своего ораторскаго таланта“. Какъ дѣятель общественный, онъ могъ бы оставить и другое историческое наслѣдіе, но — „не вдругъ можно отыскать такое наслѣдіе. Для русскаго церковнаго законодательства Яворскій прошелъ совершенно безслѣдно, если не считать нѣсколькихъ бесплодныхъ и неудачныхъ протестовъ противъ церковныхъ преобразованій. Для распространенія христіанскаго просвѣщенія и духовной науки въ частности Яворскій также сдѣлалъ очень мало. Авторъ „Молотка на Камень вѣры“ не безъ основанія упрекаетъ Яворскаго за то, что онъ не обратилъ вниманія на волю государя, который просилъ его позаботиться о распространеніи христіанства между инородцами и объ умноженіи духовныхъ школъ. Спасскія школы въ Москвѣ при Яворскомъ находились въ жалкомъ положеніи, но, быть можетъ, мѣстоблюститель не заботился объ ихъ матеріальномъ благосостояніи собственно потому, что это было дѣло монастырскаго приказа, — учрежденія, Стефану антипатичнаго. Дѣятельность Яворскаго въ борьбѣ съ раскольниками также не

заслуживаетъ памяти въ потомствѣ; изъ его литературныхъ трудовъ въ этой области, „Знаменія пришествія Антихристова“ по своему значенію равны нулю, а „Соборное дѣяніе на Мартина Армянина“ представляетъ величину отрицательную¹⁾. Какъ епархіальный начальникъ, Яворскій также не оставилъ доброй памяти; онъ не былъ другомъ бѣлаго духовенства²⁾.

Ученость Стефана Яворскаго была чисто схоластическая. Онъ былъ отличный латинистъ, въ Киевской академіи былъ не только магистромъ философіи и совершеннымъ богословомъ (*artium liberalium et philosophiae magister, consummatus theologus*), но за искусное латинское стихотворство получилъ и титулъ „поэта лавреата“. Онъ хорошо зналъ классиковъ, но гораздо больше влекло его въ средневѣковую и новѣйшую іезуитскую схоластику, откуда онъ заимствовалъ манеру своей проповѣди съ ея риторическими эффектами, историческими анекдотами и фантастическими ссылками на естественную исторію. Вотъ, напр., образчикъ его понятій астрономическихъ: „Седьмъ тысячъ уже лѣтъ 228 исчисляемъ отъ созданія міра, а чрезъ все тое время вои небесныи: солнце, луна, звѣзды въ непрестанной пребываютъ службѣ, въ неусыпной стражбѣ, въ незаплатномъ теченіи, въ неударжимомъ движеніи, служатъ, работаютъ, не себѣ на пользу, но человѣкомъ, вселенную просвѣщаютъ, согрѣваютъ, землю плодотворную творятъ и въ самыхъ внутренностяхъ земныхъ злато, серебро, каменіе многоцѣнное и руды различныя дѣйствіемъ своимъ и инфлюенціями содѣлываютъ. Одному только нѣкоему астроному Копернику приснилось, будто солнце, луна (?), звѣзды стоятъ, а земля оборачается противъ священнымъ писаніямъ. Смѣются съ него богослови“.

Такимъ образомъ въ общемъ счетѣ дѣятельность Яворскаго представляетъ двойственность, въ историко-литературномъ отношеніи очень оригинальную и любопытную. По источникамъ своего образованія онъ принадлежалъ цѣликомъ къ „латинской

¹⁾ „Знаменія пришествія Антихристова“ написаны были по тому поводу, что въ 1700 году книгописецъ Григорій Талицкій, изъ людей стараго вѣка и слѣдовательно противникъ реформы, утверждалъ, что пришли послѣднія времена, и въ своихъ „тетрадахъ“, распространенныхъ въ народѣ, объяснялъ, что народился Антихристъ въ лицѣ Петра. Талицкій былъ сожженъ медленнымъ огнемъ, а Стефанъ въ обличеніе подобныхъ толковъ написалъ эту книжку, изданную въ 1703. Книжка заимствована изъ сочиненія испанскаго богослова Мальвенды объ Антихристѣ и была не весьма удачна. Что касается до „Соборнаго дѣянія на Мартина Армянина“, это была грубая поддѣлка, долженствовавшая представлять памятникъ XII вѣка и направленная противъ раскола. См. о ней въ „Разсужденіи о ересяхъ и расколахъ“ Руднева, М. 1838, стр. 60—67, и примѣчанія, стр. 20—21. Карамзинъ (т. II, прим. 415) подвергалъ уже сомнѣнію это мнимое „Соборное дѣяніе“. При Петрѣ оно было не однажды издано, но позднѣйшіе историки церкви и обличители раскола предпочитали о немъ умалчивать.

части“, которая подверглась столь непримиримому гоненію при патріархѣ Іоакимѣ: если бы ему случилось высказаться раньше и розыски патріарха достаточно проникали бы въ Кіевъ, Стефанъ, безъ сомнѣнія, подвергся бы такой же анаемѣ, какъ Сильвестръ Медвѣдевъ и его защитникъ, Иннокентій Монастырскій; впоследствии іерусалимскій патріархъ Досіеѣй укорялъ Стефана за латинское мнѣніе о пресуществленіи. Но едва проходитъ десять лѣтъ, и этотъ самый Яворскій становится во главѣ русской церкви. Онъ оказываетъ Петру важныя услуги, въ проповѣдяхъ восхваляетъ реформы и титуломъ мѣстоблюстителя помогаетъ забыть о патріархѣ. Между тѣмъ, чѣмъ дальше шли реформы, тѣмъ больше Стефанъ чувствуетъ ихъ противорѣчіе со всѣми привычными и дорогими ему понятіями о церковномъ авторитетѣ; на этомъ послѣднемъ онъ вполне сходится со старою русскою партіей и вмѣстѣ съ нею возлагаетъ надежды на царевича Алексѣя, т.-е. на ожидаемое разрушеніе реформы. Послѣ всѣхъ вѣковыхъ пререканій старая Москва и старый Кіевъ оказались солидарными при Стефанѣ. Но сколько Кіевъ въ прежнее время ни опережалъ Москву, клерикальная схоластика, на которой они сошлись, явно отживала свое время: Петръ и съ нимъ болѣе просвѣщенные люди или тѣ, которые инстинктивно сочувствовали его руководству, не могли довольствоваться этою схоластикой и искали новой, реальной и жизненной науки, которой она не давала. Петръ отказался отъ Яворскаго; въ вопросахъ образованія и церковнаго правленія ему нашлись союзники въ томъ же церковномъ кругу, но совершенно иного направленія.

Таковъ именно былъ Оеофанъ Прокоповичъ. Оеофанъ (по мірскому имени Елеазаръ) родился въ Кіевѣ въ 1681, былъ сыномъ мелкаго торговца и рано осиротѣлъ; его взялъ на свое попеченіе родной дядя, Оеофанъ Прокоповичъ, который былъ намѣстникомъ Кіево-братскаго монастыря и ректоромъ академіи, но и этотъ дядя вскорѣ умеръ, и Елеазаръ нашелъ покровителя въ одномъ кіевскомъ гражданинѣ, при помощи котораго могъ продолжать ученіе. Онъ блестящимъ образомъ прошелъ кіевскую школу и послѣ того перешелъ въ какую-то (біографическія свѣдѣнія неясны) изъ уніатскихъ школъ въ Польшѣ, вступивъ, какъ это бывало необходимо, въ унію, сдѣлался учителемъ, принялъ монашество и посланъ былъ провинціаломъ базиліанскаго ордена въ Римъ, гдѣ учился опять въ коллегіи св. Аѳанасія, которая основана была, въ концѣ XVI вѣка, папою Григоріемъ XIII

для грековъ и славянъ съ цѣлью католической пропаганды. Его рѣдкія дарованія и здѣсь обратили на себя вниманіе; начальникъ коллегіи особенно полюбилъ его, приватно съ нимъ занимался, открылъ ему доступъ въ Ватиканскую и другія библіотеки и старался, но безуспѣшно, завлечь его въ іезуитскій орденъ. Елеазаръ (его уніатское монашеское имя было теперь Елисей) ревностно изучалъ отцовъ церкви, а также и классиковъ, внимательно осматривалъ древній и новый Римъ, его священные и свѣтскіе памятники. На возвратномъ пути изъ Рима онъ вслѣдствіе военныхъ тревогъ (велась война за испанское наслѣдство) долженъ былъ идти окольными дорогами, познакомился съ многими учеными людьми и былъ дома въ 1702 г. Не ясно опять, гдѣ и какимъ путемъ онъ возвратился къ православію; вѣрно только то, что въ Кіевѣ онъ принятъ былъ въ академію учителемъ поэзіи и постриженъ въ монашество съ именемъ Теофана.

Въ 1706 онъ перешелъ на классъ реторики и въ томъ же году въ первый разъ встрѣтился Петру: царь пріѣхалъ въ Кіевъ для основанія Печерской крѣпости, и Теофанъ на другой день говорилъ пріѣздившую проповѣдь, которая понравилась Петру и была едва ли не первымъ образчикомъ живой и блестящей рѣчи, свободной отъ книжной схоластики. Въ 1707 Теофанъ былъ назначенъ профектомъ академіи и преподавателемъ философіи, а кромѣ того преподавалъ ариметикѣ, геометрію и физику, которыхъ до того времени не было въ академической программѣ; но онъ принималъ также живое участіе въ современныхъ событіяхъ и имѣлъ случай оказать услуги правительству, на которыя послѣ ссылался. Послѣ Полтавскаго сраженія, когда царь возвращался черезъ Кіевъ, Теофанъ опять сказалъ въ его присутствіи панегирикъ, тогда же напечатанный въ Кіевѣ на рускомъ и латинскомъ языкахъ. Въ концѣ того же года онъ говорилъ въ церкви Кіево-братскаго монастыря похвальное слово Меньшикову и просилъ его покровительства для академіи. Во время турецкаго похода Петръ вызвалъ Теофана къ себѣ, а затѣмъ, по возвращеніи въ Кіевъ, Теофанъ по царскому желанію назначенъ былъ игуменомъ Кіево-братскаго монастыря, ректоромъ академіи и профессоромъ богословія. Въ 1712 Теофанъ написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ „Распря Павла и Петра о игѣ неудобноносимомъ“, которое послужило, кажется, первымъ поводомъ къ столкновенію его съ богословами школы Яворскаго. Ректоръ московской академіи Теофилактъ Лопатинскій, впоследствии архіепископъ тверской, написалъ опроверженіе подъ заглавіемъ: „Иго Господне благо и бремя Его легко“ и пр., гдѣ мнѣнія Теофана

изображаются какъ „мудрованія реформатскія, доселѣ въ церкви православной неслыханныя“; — впоследствии Теофанъ жестоко отомстилъ своему богословскому противнику. Въ практической жизни Теофанъ былъ человѣкъ очень ловкій, умѣлъ льстить вліятельнымъ людямъ и завязывать полезныя связи. Въ Кіевѣ онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ губернаторомъ, извѣстнымъ княземъ Д. М. Голицынымъ: это былъ одинъ изъ очень образованныхъ людей своего времени; онъ собралъ богатую по тогдашнему библіотеку, и Теофанъ, по его совѣту, перевелъ на русскій языкъ нѣсколько полезныхъ книгъ ¹⁾. Еще въ Кіевѣ Теофанъ сблизился также съ извѣстнымъ малороссійскимъ семействомъ Марковичей; одинъ изъ нихъ, Яковъ, былъ особенно близокъ съ Теофаномъ: вмѣстѣ они много читали, напримѣръ, Бэкона, Декарта, одного изъ знаменитѣйшихъ тогда протестантскихъ богослововъ Буддея и пр. Въ 1715 Петръ вызвалъ Теофана въ Петербургъ, — что могло обѣщать ему епископскій санъ; въ письмахъ къ Марковичу онъ говорилъ, вѣроятно, искренно: „Эта почестъ меня такъ же привлекаетъ и прельщаетъ, какъ если бы меня приговорили бросить на съѣденіе дикимъ звѣрямъ... Я люблю дѣло епископства и хотѣлъ бы быть епископомъ, если бы, вмѣсто того, не пришлось разыгрывать комедіи: ибо таково это испорченнѣйшее состояніе, если не исправить его божественная премудрость“. Но вслѣдствіе болѣзни Теофанъ могъ прибыть въ Петербургъ только осенью 1716 года: царя въ столицѣ не было, и Теофанъ занимался проповѣдничествомъ — его проповѣди печатались и посылались Петру; вмѣстѣ съ тѣмъ Теофану поручались духовныя дѣла во Псковѣ, Нарвѣ и пр. Петръ возвратился въ Петербургъ только въ октябрѣ 1717 года. Теофанъ неоднократно говорилъ при немъ похвальные слова и проповѣди, и когда около этого времени умеръ митрополитъ псковскій, Петръ въ началѣ 1718 г. назначилъ на его мѣсто Теофана. Въ немъ царь увидѣлъ наконецъ человѣка, который могъ быть вѣрнымъ исполнителемъ его плановъ въ духовныхъ и другихъ дѣлахъ. Проповѣди Теофана въ Петербургѣ еще больше, чѣмъ прежде, были настоящей публицистикой, восхваленіемъ и разъясненіемъ дѣлъ Петра, но уже въ другомъ родѣ, чѣмъ бывали

¹⁾ О князѣ Голицынѣ, кромѣ общихъ историческихъ сочиненій, см. Корсакова: „Восцареніе императрицы Анны Іоанновны“. Казань, 1880, и его же: „Изъ жизни русскихъ дѣятелей XVIII вѣка“. Каз. 1891. Его замѣчательная рукописная библіотека („Архангельская“), въ составѣ собранія гр. О. А. Толстого, находится въ Публичной Библіотекѣ. См. еще Педарскаго, Наука и литер. I, стр. 257—263, и любопытную статью кн. Н. В. Голицына: „Новыя данныя о библіотекѣ кн. Д. М. Голицына (верховника)“, въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ. ист. и др., 1900, кн. IV, смѣсь, стр. 1—16.

прежде риторическіе панегирики Яворскаго, обыкновенно искусственные и натянутые: Теофанъ, самъ несомнѣнно сочувствовавшій реформѣ, былъ и болѣе искусный ораторъ, и гораздо болѣе образованный, проникательный, нерѣдко ядовитый къ своимъ противникамъ защитникъ Петровскихъ преобразованій. Между назначеніемъ и посвященіемъ на псковскую кафедру Теофанъ произнесъ одну изъ его знаменитѣйшихъ проповѣдей „о власти и чести царской“: какъ дальше скажемъ, это была цѣлая программа, и изъ проповѣди можно видѣть, что уже въ то время Петръ сообщилъ ему свои планы объ устройствѣ духовнаго правленія. Съ этой поры начинается неутомимая и страстная дѣятельность Теофана, съ которою соединяется рѣшительное измѣненіе въ порядкѣ церковнаго управленія и быта, выраженное „Духовнымъ Регламентомъ“, окончательной отмѣной патріаршества и учрежденіемъ святѣйшаго синода.

Но какъ ни тѣсно примыкаетъ его дѣятельность къ реформѣ, Теофанъ, какъ замѣчено раньше, самъ не былъ созданіемъ этой реформы. не былъ только слѣпымъ исполнителемъ чужой авторитетной мысли. Въ первые годы его дѣятельности въ Кіевѣ, мы уже найдемъ въ Теофанѣ человека новой эпохи, хотя питомца схоластической школы, но совсѣмъ не похожаго на своихъ учителей, въ которомъ подъ вліяніемъ сильнаго ума и гораздо болѣе широкаго знанія совершилась рѣшительная реакція противъ этой схоластики и возникло стремленіе къ болѣе широкому простору для мысли, а затѣмъ для цѣлой церковной жизни и просвѣщенія. Іезуитская школа въ Римѣ и собственное наблюденіе дали ему богатый опытъ: старый біографъ его рассказываетъ, что въ этой враждебной средѣ онъ нимало не поколебался и нашелъ только новое оружіе противъ враговъ своей церкви и враговъ науки. Онъ вернулся изъ Рима въ Кіевъ юношею 22—23 лѣтъ, но съ первыхъ шаговъ на поприщѣ академическаго преподаванія онъ старается отрѣшиться отъ безплодной рутины и замѣнить ее живымъ отношеніемъ къ дѣйствительности и призывами къ истинной наукѣ. Въ лекціяхъ пѣтики и риторики Теофанъ рѣзко возстаетъ противъ школьныхъ авторитетовъ, передъ которыми преклонялись тогда ученые люди въ Кіевѣ; тѣ польскія школы, которыя казались хранилищемъ самаго высокаго ораторства, были для Теофана только „фабриками испорченнаго краснорѣчія“; теперь и послѣ онъ глумился надъ католическою ученостью и іезуитскимъ благочестіемъ; онъ осмѣивалъ вычурныя украшенія, натянутыя аллегоріи, вялыя умствованія, придуманные эффекты, какими отли-

чалась тогдашняя схоластическая проповѣдь (и напр., проповѣдь Яворскаго), и находилъ, наконецъ, что эти учителя проповѣдуютъ вовсе не ученіе Христово ¹⁾.

На обязанности преподавателя пѣтики лежало, между прочимъ, сочиненіе драматическихъ пьесъ и діалоговъ, которые исполнялись учениками. Поэтому въ 1705 году Прокоповичъ сочинилъ трагедокомедію подъ названіемъ: „Владиміръ славенороссійскихъ странъ князь и повелитель, отъ невѣрія тьмы въ свѣтъ евангельскій приведенный Духомъ Святымъ“. Изображенная здѣсь борьба тьмы невѣрія и евангельскаго свѣта имѣла, однако, ближайшее отношеніе къ современности. Языческіе жрецы временъ Владимира, обманывающіе народъ, отличаются грубымъ невѣжествомъ, пьянствомъ и обжорствомъ, что указывается и данными имъ именами. Тихонравовъ, подробно разбиравшій эту пьесу, не сомнѣвался, что „нѣкоторыя черты жрецовъ списаны съ натуры, выхвачены изъ быта современнаго Прокоповичу православнаго духовенства; этого не отрицалъ и самъ Оеофанъ; мало того — онъ старался даже прямо намекнуть на то въ своей трагедокомедіи“. И въ послѣдствіи Оеофанъ говорилъ, что „великая часть нашего священства непотребны суть и таковыхъ именъ или подобій достойны — не по званію своему, но по нраву и негодности“. Новѣйшій біографъ Оеофана указываетъ, что подъ далекимъ повидимому сюжетомъ пьесы скрывается идея, непосредственно принадлежавшая тогдашней современности. „Это — общая идея, которой Оеофанъ остался вѣренъ во все продолженіе своей литературно общественной дѣятельности и которую онъ передалъ своимъ послѣдователямъ, — идея борьбы новаго порядка съ старымъ, прогресса — съ застоємъ и обскурантизмомъ, при чемъ прогрессивною силой, на сторонѣ которой лежатъ всѣ симпатіи автора, является правительство, власть свѣтская, а силой, задерживающей развитіе — духовенство. Другими словами, это — идея борьбы между свѣтскою и духовною властью за просвѣщеніе“ ²⁾.

¹⁾ Онъ говорилъ, напр., въ своемъ кievскомъ курсѣ богословія: „Они проповѣдуютъ ученіе не Христово, но свое собственное, и благодаря этому, только люди простые и незнающіе могутъ удивляться ихъ краснорѣчію. Они не заботятся о томъ, что значить въ писаніи то или другое выраженіе, а стараются только какъ-нибудь приладить его къ предмету своей рѣчи. Для того, чтобы начинать свои проповѣди текстами, у нихъ придуманъ особенный приемъ: берется Писаніе, и рядомъ съ нимъ — огромный указатель, извѣстный подъ названіемъ библейскихъ конкорданцій; ученикъ проповѣдникъ скоро находитъ въ этомъ указателѣ нужное ему слово, и не считывая длинный рядъ текстовъ, въ которыхъ это слово находится, замѣчалъ, какой текстъ подходитъ къ предмету его рѣчи, и выбиралъ подходящій... При этомъ главное вниманіе обращается не на смыслъ текста, а на то, можно ли и какими образомъ извлечь изъ него какое-нибудь удивительное и неожиданное заключеніе, находя таинственный смыслъ въ словахъ и выраженіяхъ самыхъ простыхъ и понятныхъ“.

²⁾ Морозовъ, „Оеофанъ Прокоповичъ“, стр. 100.

Такъ рано въ академическомъ преподаваніи Теофана, и въ самой его трагедокомедіи, сказалося рѣзкое отрицаніе схоластической рутини, отрицаніе стараго невѣжества и ожиданіе найти исходъ изъ этого невѣжества только въ авторитетѣ свѣтской власти, которая казалась тогда, и дѣйствительно была, единственнымъ ручательствомъ новаго движенія. Другіе питомцы кievской школы, напр. Яворскій, были убѣждены, что владѣють уже всѣмъ существующимъ просвѣщеніемъ, дальше котораго ничего не нужно: мы видѣли, что въ концѣ концовъ Стефанъ сошелся съ тою партією, которая мечтала именно о возвращеніи къ старинѣ. Новый питомецъ кievской академіи, узнавшій ея науку въ самыхъ источникахъ, а кромѣ того узнавшій многое другое, напротивъ, съ самаго начала отвергъ устарѣлую и безплодную схоластику и смѣялся надъ нею: самъ одаренный критическимъ умомъ, онъ развилъ его знакомствомъ съ современной научной литературой, между прочимъ, протестантской теологіей. Его мнѣнія часто рѣшительно расходились съ привычными понятіями его кievскихъ современниковъ и безъ сомнѣнія возбуждали ихъ недовѣріе. Его проповѣдническая манера точно такъ же была совершенно непохожа на искусственный, натянутый стиль его современниковъ. Его панегирики не были наборомъ риторическихъ фразъ, а реальнымъ изображеніемъ фактовъ, подборъ которыхъ именно и производилъ впечатлѣніе. Его литературныя сужденія въ курсахъ реторики и богословія, въ письмахъ, чрезвычайно любопытны, какъ первый и сильный опытъ критики, до тѣхъ поръ положительно небывалой. Насколько Теофанъ опережалъ свое время, можно судить наглядно по тому, что послѣ него преподаваніе въ Кievской академіи опять вернулось на старую колею, и въ церковно-учебной литературѣ труды его снова явились на свѣтъ уже только въ 70-хъ годахъ XVIII вѣка. X V

Въ богословіи, какъ въ реторикѣ, пiитикѣ и философіи, Теофанъ точно также выходилъ на новый путь. Онъ изучалъ новѣйшіе теологическіе труды, и собственное критическое направленіе сблизило его съ тогдашнею протестантскою теологією: вмѣсто католическихъ и особливо іезуитскихъ схоластическихъ теологовъ, какъ извѣстный нѣкогда и у насъ іезуитъ Белларминъ и подобные, онъ ссылагся въ своемъ богословіи на авторитетныхъ протестантовъ: Квенштедта, Пфейфера, Гергарда; съ знаменитымъ Буддеемъ Теофанъ вступилъ въ переписку. Въ изложеніи богословія онъ старается избѣгать обычныхъ схоластическихъ пріемовъ, изысканной терминологіи; его латинскій

языкъ отличается замѣчательною простотою и изяществомъ. Для правильнаго пониманія Писанія онъ считаетъ необходимымъ филологическое изученіе подлинныхъ текстовъ, слѣдовательно знаніе еврейскаго и греческаго языковъ; онъ рѣшительно отвергаетъ, какъ безплодные и нелѣпыя, тѣ ухищренныя богословскіе вопросы, какими между прочимъ занимались и у насъ, слѣдую авторитету Тома Аквината ¹⁾; онъ не рѣшался признавать сполна космогоническихъ теорій знаменитаго тогда англійскаго епископа Бёрнета (Burnet, *Sacra telluris theoria*), но не усомнился нисколько признать ученіе Коперника. „Если, — говорилъ онъ въ своемъ богословіи, — ученики Коперника и другіе ученые, защищающіе движеніе земли, могутъ привести въ доказательство своего мнѣнія достовѣрные физическіе и математическіе доводы, то тексты Св. Писанія, въ которыхъ говорится о движеніи солнца, не могутъ служить для нихъ препятствіемъ, ибо эти тексты слѣдуетъ понимать не въ буквальномъ, а въ аллегорическомъ смыслѣ“. И здѣсь впервые Теофаномъ признано положеніе науки, которое въ тѣ времена считалось великой ересью (мы видѣли выше мнѣніе Яворскаго), да и долго послѣ бывало или отвергаемо на томъ же основаніи, или оставалось полупризнаннымъ.

Въ томъ же богословіи Теофанъ далъ примѣры другого рода критики. Оспаривая разныя іезуитскія ученія, онъ между прочимъ опровергалъ ихъ указанія на то, что святость католической церкви доказывается большимъ числомъ святыхъ и реликвій. „Это правда, — говоритъ онъ, — реликвій у нихъ даже слишкомъ много; но въ дѣйствительность ихъ пусть вѣрятъ кто угодно, только не я... Тѣло первомученика Стефана находится въ Венеціи; но то же самое тѣло есть и въ Римѣ, тѣло Діонисія Ареопагита съ головою — въ Регенсбургѣ, а одна голова — въ Галліи. Голова св. Іоанна Златоуста показывается въ Римѣ въ Ватиканской базиликѣ; но голову того же святого нѣсколько лѣтъ тому назадъ монахи афонскаго Ватопедскаго монастыря принесли въ Москву, за что и получаютъ донныя опредѣленное подаваніе“ и пр. Разбирая знаменитую книгу Діонисія Ареопагита о небесной іерар-

¹⁾ Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ „*Summa totius theologiae*“: Есть ли Богъ причина грѣха? нуждался ли человекъ, будучи въ невинномъ состояніи, въ пищу? рождались ли въ то время дѣти только мужского пола? *utrum esset generatio per coitum?* что дѣлалъ Богъ до сотворенія міра? можетъ ли Онъ произвести слѣдствіе безъ основанія или дѣйствіе безъ причины; наконецъ — даже и такіе вопросы, какъ напр.; *utrum Filius Dei naturam asini, serpentis, columbae debuit ac potuit assumere? utrum Deus loco Christi potuerit suppositare mulierem? si Deus loco Christi suppositasset cucurbitam* (тыкву), *quomodo illa fuisset concionatura, quomodo miracula editura, quomodo crucifigenda?* и т. п. (Морозовъ, стр. 127—128).

хін, Теофанъ находилъ, что эта книга вовсе не принадлежитъ Діонисію, а излагаемое въ ней ученіе совершенно баснословно. Впослѣдствіи это служило однимъ изъ обвиненій противъ него.

Отмѣтимъ еще одну черту. Одна глава его богословія посвящена разсмотрѣнію вопроса: должно ли излагать Священное Писаніе на простонародномъ языкѣ и имѣютъ ли право міряне читать священныя книги? Всего больше этотъ вопросъ относился къ католицизму, и Теофанъ возстаетъ противъ католическихъ богослововъ, въ особенности противъ упомянутаго Беллармина, такъ какъ, по словамъ Теофана, „этотъ іезуитъ, какъ Голіаѳъ, возвышается надъ всѣми западными обскурантами“. „Белларминъ увѣряетъ, — говоритъ Теофанъ, — что величіе богослуженія несомнѣннѣе съ простонароднымъ языкомъ. Спрашивается: какое же это величіе — читать Св. Писаніе такъ, что его никто не понимаетъ? какое величіе — говорить о священныхъ предметахъ такъ, что простой человѣкъ можетъ подумать, что мы бранимся? Величіе, скорѣе, требуетъ полного молчанія; потому-то, вѣроятно, католическіе священнослужители (*sacrificuli*) и перешептываются другъ съ другомъ, а къ народу обращаются съ одними только жестами. Затѣмъ — почему же латинскій языкъ имѣетъ въ себѣ болѣе величія, чѣмъ другіе? развѣ потому, что народъ его не понимаетъ? тогда еще величественнѣе будетъ языкъ турецкій“, — и т. д.

Къ тому же кievскому времени относятъ одно сочиненіе Теофана, гдѣ онъ хотѣлъ изложить нѣкоторые основные пункты православнаго ученія въ популярной формѣ разговоровъ. Кромѣ того, что любопытна здѣсь самая мысль говорить о подобныхъ вопросахъ внѣ школы и не школьнымъ, латинскимъ или церковно-славянскимъ, языкомъ, эти разговоры возвращаются опять къ предмету, съ самаго начала и до конца возбуждавшему негодованіе Теофана; если ему было ненавистно схоластическое изувѣрство католическое, то онъ не выносилъ также и невѣжества у православныхъ. „Разговоръ гражданина съ селяниномъ да пѣвцомъ или дьячкомъ церковнымъ“ имѣетъ цѣлью показать преимущество знанія надъ невѣжествомъ и представляетъ многія черты, взятая прямо изъ жизни. Человѣкъ, убѣжденный въ пользѣ знанія, есть гражданинъ; дьячокъ въ этой пользѣ не совсѣмъ увѣренъ, но подъ конецъ соглашается съ гражданиномъ, а селянинъ упорно убѣжденъ въ бесполезности знанія: „отцы-де наши не умѣли письма, но хлѣбъ довольный ѣли, и хлѣбъ тогда лучше родилъ Богъ, нежели нынѣ, когда письменныхъ и латын-

никовъ помножилось“¹⁾. Дьячокъ спрашиваетъ наконецъ: неужели же всѣмъ надо быть грамотнымъ? „Чуть ли не всѣмъ,—отвѣчаетъ гражданинъ:—что возбраняетъ всѣмъ грамотѣ учиться или всѣмъ писанія вѣдать?“ Дьячокъ возражалъ, что, по его мнѣнію, писаніемъ учиться нужно только людямъ священнаго и монашескаго чина, и гражданинъ опять опровергаетъ это мнѣніе, которое было ходячимъ въ московской Россіи, было еще крѣпко и въ Петровскія времена, и, нѣсколько видоизмѣнившись, продолжаетъ существовать до сихъ поръ между людьми, которые находятъ, что для народа и теперь достаточно одной дьячковской школы. Любопытно наконецъ въ другомъ разговорѣ — „тектона, сирѣчь древодѣля, съ купцомъ“, — что когда древодѣль, удивленный познаніями купца (они разсуждали о значеніи храма), спросилъ его, откуда набрался онъ такихъ знаній, купецъ объяснилъ, что онъ долго жилъ за болѣзнію въ нѣмецкихъ городахъ и что тамъ имѣлъ такого мудраго ученаго врача, который кромѣ тѣлесныхъ болѣзней могъ исцѣлять и душевные недуги, и который училъ его божественному писанію. Древодѣль, на своемъ вѣку также выдавшій ученыхъ людей, „которые въ Польшѣ учились“, замѣтилъ, что вѣдь нѣмцы, однако, еретики, купецъ отвѣтилъ на это, что они не еретики, а только иновѣрцы, объясняетъ различіе протестантскаго ученія отъ православнаго и доказываетъ, что настоящіе еретики—именно тѣ, которые „учились въ Польшѣ“²⁾.

Въ то же кievское время Феофанъ писалъ латинскія стихотворенія. Чрезвычайно любопытно, что одно изъ нихъ относится къ извѣстному суду римской инквизиціи надъ Галилеемъ: здѣсь опять впервые высказано было у насъ пониманіе великихъ открытій Галилея и высокое уваженіе къ ихъ научному значенію³⁾.

¹⁾ Г. Морозовъ въ параллель этому приводитъ стихи изъ первой сатиры Кантемира, который, какъ скажемъ дальше, не однажды повторялъ мысли Феофана Прокоповича. У Кантемира Сильванъ (въ которомъ онъ именно хотѣлъ представить грубаго деревенскаго жителя) говоритъ:

Живали мы прежь сего, не зная латини,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ мы живемъ нынѣ;
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
Перенявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли“.

²⁾ Изъ рукописи Публичной Библиотеки, у Морозова, стр. 152—157.

³⁾ Содержаніе стихотворенія слѣдующее:

„Зачѣмъ, о нечестивый папа, мучишь ты дѣлательнаго служителя природы? О, жестокий тиранъ! чѣмъ заслужилъ этотъ старецъ такое гоненіе? Папа, ты сумасшедшій! Вѣдь онъ не трогаетъ твоихъ міровъ и не вторгается съ злымъ умысломъ въ твои священные предѣлы, гдѣ пламенный Стиксъ очищаетъ души усопшихъ, и гдѣ находятся боги и богини твоего изобрѣтенія. Его (Галилея) земля—истинная, а твоя—ложная; его звѣзды создалъ Богъ, а твои—обманъ. „Но—говоритъ папа,—нашъ долгъ повелѣваетъ заботиться, чтобъ одинаковыя названія (яри противополож-

Таковъ былъ Теофанъ, когда онъ былъ очень далеко отъ мысли о какомъ-либо широкомъ вліяніи въ церковныхъ дѣлахъ, которое, однако, скоро его ожидало. Его назначеніе замедлилось по отсутствію Петра, но потомъ наконецъ состоялось. Съ этихъ поръ дѣятельность Теофана стала дѣйствительно постоянной борьбой и ревностнымъ трудомъ на пользу реформы, которая была ему въ высокой степени сочувственна, задолго до его возвышенія. Возвратившись въ Кіевъ послѣ пребыванія за границей еще юношей, Теофанъ явился уже съ твердо установившимися убѣжденіями. Это былъ рѣшительный врагъ схоластической школы—той самой, въ которой воспитывали его самого и изъ которой вышли представители высшей ученой іерархіи и самъ мѣстооблюстителъ патріаршаго престола; онъ былъ врагъ католическаго обскурантизма, который такъ тѣсно связанъ былъ съ этой схоластикой и подъ ея крыломъ распространялся въ Россіи, присоединяясь къ старому невѣжеству; онъ былъ напротивъ, исполненъ великаго уваженія къ той новой европейской наукѣ, которая низвергла мрачную схоластику среднихъ вѣковъ, открывала широкій просторъ для человѣческой мысли и стремилась освѣтить само религіозное сознаніе: такъ онъ защищаетъ Коперника, превозноситъ Галилея, видимо сочувствуетъ протестантской теологіи, — когда послѣдняя была предметомъ ужаса для ученыхъ старой школы, во главѣ которой стоялъ Стефанъ Яворскій („Камень Вѣры“ былъ написанъ, когда Теофанъ былъ еще въ Кіевѣ). Понятно, что онъ не могъ оставаться равнодушнымъ къ невѣжеству домашнему, окруженному глубокимъ мракомъ суевѣрія, и настаивалъ на необходимости сколько можно широкой школы. Это именно совпадало съ тѣмъ, чего искалъ Петръ Великій и чего не нашелъ у Стефана Яворскаго ¹⁾. На этотъ разъ Петръ не ошибся. Кромѣ одинакихъ понятій о необходимости просвѣщенія, они сходились и въ самомъ складѣ ума и характера. У Теофана общая мысль стре-

номъ значенія) не произвели соблазна въ простомъ народѣ“. О варварская тупость, глубочайшіе подонки слѣплого міра! Тебѣ ли судить о свѣтлыхъ мысляхъ Галилея? Тебѣ ли обвинять въ преступленіяхъ проникательность ума, зоркаго, какъ рысь? Должно быть, дрянной крогъ видать лучше рыси“.

¹⁾ Вину этого послѣдняго Терновскій какъ будто приписывалъ самому Петру. Царь думалъ встрѣтить въ Яворскомъ именно такого человѣка, какого ему было нужно, но—„не осмотрѣвшись какъ слѣдуетъ въ средѣ западно-европейской образованности, Петръ не могъ опредѣлить ни того, сколько въ блестящемъ проповѣдникѣ было чужого и заимствованнаго, ни того, къ какому лагерю западно-европейской мысли принадлежитъ Стефанъ по своимъ убѣжденіямъ“ (Др. и Новая Россія, 1879, № 8, стр. 307). „Какъ слѣдуетъ“, у насъ и до сихъ поръ не могутъ осмотрѣться въ вопросахъ европейской образованности, а предъявлять такое требованіе Петру тѣмъ болѣе странно; Петру по необходимости во многомъ приходилось идти ощупью и наугадъ; въ концѣ концовъ онъ понялъ и отвергъ Яворскаго.

милась тотчасъ къ наглядному выраженію и примѣненію; онъ высказывался реально и рѣзко; въ самыхъ первыхъ опытахъ своей публицистики, какіе можно видѣть въ его трагедокомедіи, „Разговорахъ“ и въ самыхъ лекціяхъ по піитикѣ или богословію, онъ опровергаетъ своихъ противниковъ не только логическими доказательствами, но и насмѣшкой, доходящей до ѣдкаго сарказма. Таковъ онъ остался и послѣ.

Мѣстоблюститель и его партизаны должны были хорошо знать Оеофана и видимо встревожились, когда узнали о готовящемся его возвышеніи. Еще раньше, когда Оеофанъ написалъ упомянутое сочиненіе объ „Игѣ неудобоносимомъ“, противъ него возсталъ съ обширнымъ опроверженіемъ Оеофилактъ Лопатинскій, одинъ изъ ревностѣйшихъ приверженцевъ Яворскаго и тогда ректоръ московской академіи. Это было какъ бы продолженіе старинной московской полемики. Оеофилактъ напалъ на своего противника съ величайшей нетерпимостью: изложенныя имъ ученія „суть его изобрѣтенія, или паче прежде его отъ Лютера и Кальвина изобрѣтены“; онъ „коварно“ искажаетъ тексты Св. Писанія, покрываетъ божественныя писанія „измышленными толкованіями и хитрыми подводами“, „пестрыми бесѣдами“, и, конечно, имѣетъ въ виду распространеніе въ Россіи ереси: „и отсюда явно показуется, яко истое намѣреніе его было въ письмѣ ономъ показати православнымъ читателемъ путь къ лютерству и калвинству и ко всему реформатству“. Новѣйшій біографъ Оеофана замѣчаетъ, что враги вѣрно угадали сущность новаго направленія; но только оно было лютерскимъ и калвинскимъ не въ смыслѣ вѣроученія, а въ смыслѣ научномъ и политическо-общественномъ. Прежніе московскіе начетчики, а также ученые кіевляне были одинаково защитниками духовнаго авторитета, съ тою разницей, что одни стояли за старинную „простѣню ума“, а другіе за схоластическую ученость; новое направленіе увѣрилось въ безсиліи и непригодности этихъ „учительныхъ людей“ даже для истиннаго церковнаго образованія, а тѣмъ болѣе для дѣла той свѣтской науки, необходимость которой все болѣе и болѣе чувствовалась. Новое направленіе „выступило съ рѣзкимъ принципіальнымъ отрицаніемъ всякаго авторитета духовенства, какъ исключительно книжнаго и учительнаго сословія, съ проповѣдью свободнаго критическаго отношенія къ наукѣ и къ жизни; на практикѣ это значило совершенно отрицать старую теорію о первенствѣ духовной власти надъ свѣтскою и вообще о первенствѣ духовенства надъ всѣми другими общественными классами. Никакое соглашеніе, никакой компро-

миссъ между обѣими сторонами не были возможны по самой сущности дѣла“¹⁾).

Таковъ былъ смыслъ борьбы. Петръ уже на практикѣ отвергъ этотъ авторитетъ стараго „учительнаго сословія“, устранивъ его прежній могущественный органъ—патріаршество, обходился безъ учительнаго сословія въ своихъ заботахъ о новой школѣ и новыхъ книгахъ, допустилъ тамъ и здѣсь Коперника и „Гуенса“ (Гюйгенса), которые въ ту минуту и еще послѣ приводили въ озлобленіе и отчаяніе людей учительнаго сословія... Когда теперь, въ поддержку этому практическому отрицанію учительной старины въ рукахъ самого царя, грозила явиться еще другая сила въ лицѣ ученаго челоуѣка изъ среды самого учительнаго сословія, приверженцы старины рѣшили употребить всѣ средства помѣшать іерархическому возвышенію Теофана. Ждали только случая. ~~XX~~

Въ маѣ 1718, Петръ поручилъ графу Мусину-Пушкину (доброежелателю Теофана) вызвать въ Петербургъ мѣстоблюстителя для поставленія новыхъ архіереевъ, причемъ имѣлось въ виду и поставленіе Теофана. Яворскій не пріѣхалъ самъ, извиняясь болѣзнію, и послалъ вмѣсто себя двухъ архіереевъ, тверского и сарскаго, поручивъ имъ, въ случаѣ предложенія о Теофанѣ, „донести благочестивѣйшему государю, что пречестный отецъ іеромонахъ Ѡ. Прокоповичъ имать препятіе, еже самъ на себя наложилъ, къ святому великому архіерейскому сану: зараженъ ересью кальвинскою“... Еще заранѣе добыли богословскія лекціи Теофана, извлекли изъ нихъ обвинительные пункты и даже приготовили форму отреченія, по которой Теофанъ, признавъ свои заблужденія, долженъ былъ предать ихъ анаѣмѣ. Но расчеты оказались невѣрны: царь не придавалъ особаго значенія богословскимъ тонкостямъ, Яворскаго уже не любилъ и не терпѣлъ „папешскаго духа“; да и Теофана одолѣть было не легко. Онъ написалъ возраженіе на обвинительные пункты, „худо противъ грамматики и злобно противъ любви приведенные“, доказалъ, что нѣкоторые изъ обвиненныхъ „артикуловъ“ ложно выдуманы, а другіе составляютъ ученіе православное, и прибавилъ о самомъ Яворскомъ, что Яворскій зналъ и видѣлъ, что въ Черниговѣ, „кромѣ безчисленныхъ бездѣлицъ, православію противныхъ“, печаталось въ служебникахъ „мудрованіе латинское о пресуществленіи“, и однако не запрещалъ ихъ: „изъ чего ясно видѣть можно, что не по ревности преосвященный на меня повсталъ, но по

¹⁾ Морозовъ, стр. 168.

злѣбъ“. Черезъ два дня Теофанъ былъ псковскимъ епископомъ. Стефанъ былъ опять униженъ, какъ на судѣ надъ Тверитиновымъ: ему пришлось оправдываться передъ царемъ и Теофаномъ, что богословскихъ сочиненій Теофана онъ „не видалъ“, обвинительные пункты подписалъ „не читая“, сваливалъ вину на другихъ (Лопатинскаго и Гедсона Вишневецкаго), которые ввели его въ заблужденіе, наконецъ просилъ у Теофана прощенія и получилъ его „при взаимномъ лобызаніи“. Въ дѣйствительности, Яворскій самъ пересматривалъ лекціи Теофана, дѣлалъ на нихъ отмѣтки и послѣ очень заботился, чтобы это не обнаружилось.

Съ этихъ поръ начался новый періодъ дѣятельности Теофана. Уже въ первое время послѣ переѣзда въ Петербургъ, Теофанъ говорилъ проповѣди, въ которыхъ являлся ревностнымъ панегиристомъ и объяснителемъ реформы, и уже не въ тонѣ напыщенной схоластики, а съ положительнымъ объясненіемъ реальныхъ фактовъ и самыхъ основаній реформы. Старое „учительное“ сословіе, приписывавшее себѣ исключительный авторитетъ въ руководствѣ цѣлаго народа, оказалось несостоятельнымъ въ этомъ руководствѣ,—на практикѣ Петръ уже обходился безъ этого авторитета: нужно было установить самый принципъ, который бы оправдывалъ это устраненіе. Въ самомъ дѣлѣ, отношенія были все еще неясны. Въ прежнее время духовное сословіе было какъ бы государствомъ въ государствѣ или, другими словами, въ государствѣ были двѣ верховныя власти: все существенное, основное рѣшалось вмѣстѣ царскою волею и благословеніемъ патріарха, и вся умственная и нравственная жизнь общества въ особенности подлежала усмотрѣнію и власти патріарха. Это положеніе вещей не представляло особенныхъ неудобствъ, когда все міровоззрѣніе, все содержаніе понятій и интересовъ покрывалось церковной точкой зрѣнія для всѣхъ одинаково; бывали и особыя личныя отношенія: однажды случилось, что царь былъ сыномъ патріарха; въ другой разъ патріархъ Никонъ былъ „собиннымъ“ другомъ царя Алексѣя; но уже въ московской Россіи, среди полнаго господства церковныхъ идей, это двоевластіе оказалось невозможнымъ. Границы властей не были опредѣлены и при тогдашнемъ складѣ понятій едва ли могли быть опредѣлены; въ результатъ произошелъ къ великому соблазну всего православнаго міра разрывъ между двумя властями, для разрѣшенія котораго потребовалось вмѣшательство вселенскихъ патріарховъ. Виноватъ былъ, конечно, не одинъ необузданный нравъ Никона: патріархъ былъ глубоко убѣжденъ въ первенствѣ своего авторитета, какъ священное должно въ глазахъ cadaго

вѣрующаго имѣть первенство надъ мірскимъ. Патріархъ былъ низложенъ, и съ этой минуты вопросъ объ относительномъ значеніи двухъ властей былъ рѣшенъ. Послѣ Никона значеніе патріарха было въ существѣ подорвано; Іоакимъ въ послѣдній разъ пытался съ церковной ревностью прежнихъ временъ поддерживать старый авторитетъ, но было поздно. Въ самомъ обществѣ поднимались протесты: заявлялось о малой учености этого патріарха, слѣдовательно о непригодности его для рѣшенія явившихся вопросовъ; его побѣда надъ „латинской частью“ была мнимая, потому что только примкнула къ политической побѣдѣ Петра надъ царевной Софьей; его преемникъ былъ только тѣнью патріарха. Но была цѣлая масса приверженцевъ стараго порядка, въ понятіяхъ которыхъ было живо представленіе о первенствѣ церковной власти, объ авторитетѣ учительнаго сословія, и изъ этой среды уже не разъ поднимались фанатическіе протесты противъ всякаго рода мѣропріятій Петра, такъ или иначе умалявшихъ значеніе духовенства, котораго, наконецъ, Петръ вовсе не думалъ спрашивать... Въ концѣ концовъ вопросъ, однако, былъ очень серьезенъ: для успокоенія умовъ, для опроверженія протестующихъ фанатиковъ, для вразумленія недоумѣвающихъ нужна была открытая постановка цѣлаго вопроса. Это и сдѣлалъ Теофанъ, всего сильнѣе въ проповѣди 1718 года „о власти и чести царской, яко отъ самого Бога въ мірѣ учинена есть, и како почитати царей и онымъ повиноватися людіе должныствуютъ; кто же суть, и великій имѣютъ грѣхъ противляющіися имъ“.

Эта знаменитая проповѣдь была и богословскимъ объясненіемъ значенія царской власти, и обличеніемъ невѣжественныхъ людей, которые не знаютъ „христіанскаго ученія о властяхъ предержащихъ“, не знаютъ, что высочайшая держава „отъ Бога устроена и мечемъ вооружена есть, и противитися оной есть грѣхъ на самого Бога“; она была опроверженіемъ тѣхъ „буесловцевъ“, которые покушаются богословствовать, не зная писанія, и въ примѣръ буесловія приводится папа, исключавшій себя и свой клиръ отъ государственной власти и даже мечтающій, что можетъ отнимать царскіе скипетры. Наконецъ, проповѣдь не обошлась безъ нападеній на ближайшихъ недруговъ и реформы, и самого Теофана. Говоря о папѣ, проповѣдникъ нашелъ нужнымъ „вспомануть нѣчто о нашихъ нѣкѣихъ мудрецахъ“, и въ ядовитыхъ намекахъ нельзя не узнать Стефана Яворскаго, который въ послѣдніе годы своей жизни былъ настроенъ очень мрачно, когда все больше и больше падали надежды его партіи. „Суть

нѣщны (и далъ бы Богъ, дабы не были многіи),—говорилъ Теофанъ,—или тайнымъ бѣсомъ лѣстиміи, или меланхоліею помрачаеми, которые такового нѣкогого въ мысли своей имѣютъ уродъ, что все имъ грѣшно и скверно мнится быти, что либо увидятъ чудно, весело, велико и славно, аще и праведно, и правильно и не богопротивно; напримѣръ: лучше любятъ день ненастливый, нежели ведро, лучше радуются вѣдомостями скорбными, нежели добрыми; самого счастья не любятъ, и не вѣмъ, какъ то о самихъ себѣ думаютъ, а о прочіихъ такъ: аще кого видятъ здрава и въ добромъ поведеніи, то конечно не святъ; хотѣли бы всѣмъ человѣкомъ быти злообразнымъ, горбатымъ, темнымъ, неблагополучнымъ, и развѣ въ такомъ состояніи любили бы ихъ. Таковыхъ еллини древніи нарицали мисантропи, сіестъ человѣконенавидцы“. Разсказавъ извѣстную исторію о Тимонѣ, Теофанъ спрашивалъ: „Не обрѣтаются ли и нынѣ таковыя?—Аще и не въ таковой мѣрѣ, обаче суть тако злобны и понуры“.

Власть есть законъ природы, установленный самимъ Богомъ, и потому всѣ обязаны царской власти одинаковымъ повиновеніемъ. Но есть у многихъ одно „сумнительство“, которое должно исторгнуть; это—мнѣніе, что „не вси весьма людие симъ должествомъ (повиновеніемъ царской власти) обязаны суть, но нѣкіи исключаются, именно же священство и монашество“. Проповѣдникъ прямо говоритъ, что такое исключеніе есть папешскій духъ, какимъ-то образомъ достигающій до насъ; на самомъ дѣлѣ духовенство есть не болѣе какъ одно изъ сословій: „священство бо иное дѣло (особый родъ труда), инъ чинъ есть въ народѣ, а не иное государство“.

Это было категорическое рѣшеніе, оканчивавшее споръ о двоевластіи, но связавшее затѣмъ и самого Теофана; ему приходилось или, оставаясь вѣрнымъ своему убѣжденію, рисковать потерей своего положенія и попасть въ дальнемъ монастырѣ подъ началъ у кого-нибудь изъ своихъ непріятелей, или же, для сохраненія своего положенія, сдѣлаться „угодливымъ царедворцемъ“, безусловно одобрять и защищать всѣ распоряженія власти, даже и такія, которыхъ нельзя было бы защищать чело-вѣку строгихъ убѣжденій ¹⁾. Должно сказать, однако, что во времена Петра Теофану, кажется, несравненно менѣе приходилось быть угодливымъ царедворцемъ, чѣмъ именно получить возможность свободно высказать свои собственные взгляды и дать имъ практическую силу. То, что было у него въ мысляхъ еще;

¹⁾ Морозовъ, стр. 203—204.

въ Кіевѣ и что онъ могъ высказывать лишь намеками, онъ могъ теперь сказать открыто — въ прямомъ поученіи и, наконецъ, въ законодательномъ актѣ, потому что въ основѣ его мысли совершенно сходились съ понятіями и желаніями Петра. Онъ сталъ правой рукой царя по церковнымъ дѣламъ, по вопросамъ образованія и распространенія полезныхъ книгъ.

Его дѣятельность въ эти послѣдніе годы правленія Петра Великаго касается самыхъ разнообразныхъ предметовъ, и по его личной инициативѣ, и по порученіямъ Петра. Онъ принимаетъ первостепенное участіе въ церковномъ законодательствѣ составленіемъ знаменитаго „Духовнаго Регламента“; пишетъ отвѣтъ на предложеніе Сорбонны о соединеніи церквей; пишетъ богословскіе трактаты; составляетъ важный политическій документъ — „Уставъ“, опубликованный въ февралѣ 1722 года въ оправданіе суда надъ наслѣдникомъ престола, а затѣмъ „Правду воли монаршей въ опредѣленіи наслѣдника державы своей“; онъ составляетъ предисловіе даже къ морскому уставу, а также предисловія къ различнымъ книгамъ, переведеннымъ съ иностранныхъ языковъ; занимается изслѣдованіями по русской исторіи, какова, напр., его „Родословная роспись“, изданная въ 1717 году; составляетъ первоначальную учебную книгу („Первое ученіе отрокомъ“); пишетъ изслѣдованіе о патріаршей власти (до насъ не дошедшее или не оконченное), „Апостольскую географію“ (географическое указаніе странствованій апостоловъ для проповѣди) и т. д. Любопытно отмѣтить, что въ предисловіи къ морскому уставу, гдѣ онъ изложилъ историческія свѣдѣнія о русскомъ флотѣ, Теофанъ высказалъ своеобразный взглядъ, что времена удѣловъ, татарское нашествіе, царствованіе Ивана III, Смутное время были вообще только продолжительнымъ періодомъ тяжелой болѣзни русскаго государства, исцѣленіе отъ которой началось во времена царей Михаила и Алексѣя и докончено Петромъ. Наконецъ, Теофанъ продолжалъ говорить проповѣди, гдѣ нерѣдко касался самыхъ жгучихъ вопросовъ времени, и эти проповѣди становились такимъ образомъ больше похожи на публицистическій трактатъ, чѣмъ на церковное поученіе. Во всю эту дѣятельность Теофанъ вложилъ не только свою ученость, свои заботы о просвѣщеніи, но и всю живость и энергію своего характера: если и въ Кіевѣ, опровергая своихъ противниковъ, онъ не могъ обойтись безъ насмѣшки, то теперь развилась еще сильнѣе и эта сторона его писательства. Не только проповѣдь, но даже законодательный актъ, какъ „Духовный Регламентъ“, нерѣдко впадаютъ въ настоящую сатиру. Этой своей стороною не

только церковное поученіе, но даже законодательный актъ становятся достояніемъ исторіи литературы. X V

Съ этой дѣятельностью Теофана мы еще встрѣтимся далѣе.

Наконецъ, третій чрезвычайно оригинальный писатель Петровскаго времени, труды котораго опять бросаютъ характерный свѣтъ на историческое значеніе реформы, какъ органическаго явленія русской жизни, былъ извѣстный крестьянинъ Иванъ Тихоновичъ Посошковъ. Не будемъ останавливаться на подробностяхъ его біографіи и самыхъ сочиненій, — то и другое было не однажды подробно изложено — и отмѣтимъ основные факты его историческаго положенія.

Три названные нами писателя, которые являются въ особенности характерными представителями Петровскаго времени и такъ или иначе тѣсно связаны съ реформой, въ сущности не имѣютъ между собою ничего общаго: они принадлежатъ различнымъ поколѣніямъ, совершенно различной школѣ, и хотя каждый въ той или другой степени примыкалъ къ реформѣ, но всѣ образовались независимо отъ нея. Стефанъ Яворскій былъ схоластикъ, „черкасъ“, „латинянинъ“ стараго поколѣнія: Петръ обратился къ нему по прежней памяти о кievской школѣ, столько превышавшей московскую, нѣкоторое время пользовался его содѣйствіемъ, но подъ конецъ они совсѣмъ разошлись, потому что оказалась слишкомъ большая разность, даже противоположность въ ихъ стремленіяхъ. Но идеи Петра въ полной мѣрѣ рѣдѣяла Теофанъ. Это былъ человѣкъ молодого поколѣнія, гораздо моложе самого Петра, но прошелъ школу, совершенно независимую отъ воздѣйствій реформы, и въ этой школѣ, въ Кіевѣ и за границей, его сильный умъ выработалъ теоретическое міровоззрѣніе и пониманіе дѣйствительной жизни, которыя шли въ разрѣзъ съ преданіемъ схоластической школы въ церковной іерархіи и, напротивъ, совпадали съ духомъ реформы. Теофанъ оставался самъ собой, высказывалъ давнія убѣжденія, сохранялъ даже свою манеру и любовь къ „книгѣ критикѣ“, когда писалъ „Духовный Регламентъ“, и, конечно, не было другого человѣка, который въ то время могъ бы примѣнить идеи Петра въ этой области: доля созиданія реформы принадлежитъ несомнѣнно и Теофану. Наконецъ, совсѣмъ иную среду, иной складъ мысли и почти полное отсутствіе школы представляетъ Посошковъ: человѣкъ стараго воспитанія, одною стороною характера и содержанія онъ сполна принадлежитъ старой Москвѣ, даже идеямъ „Домостроя“, но имъ расширеннаго и облагороженнаго, а другою — этотъ человѣкъ, не молодой во время разгара реформы, вполне примы-

каеть къ ея порывистымъ стремленіямъ къ просвѣщенію, къ реальному развитію національныхъ силъ.

Среда, изъ которой произошелъ Посошковъ, была вполне народная. Онъ родился крестьяниномъ подмосковнаго дворцоваго села, въ благочестивой семьѣ стараго вѣка и даже державшейся стараго обряда. Понятно, что онъ остался „ученію школьному не искусенъ“, но издавна онъ отличался сильной любознательностью, по старинному начитался сначала божественныхъ книгъ, а наконецъ самъ, повидимому, съ немалымъ трудомъ, выучился грамматикѣ и важность ея оцѣнилъ: „безъ грамматическаго обученія, — писалъ онъ впоследствии, — не токмо пресвитеру, но и простолудину велики трудно. И раскольниковъ отъ чего умножилось? Точію отъ недознанія въ писаніи; аще бы правописаніе они знали, то не стали бѣ новонаправныхъ книгъ хулити“; онъ хорошо выучился и ариѳметикѣ, хотя по благочестивому преданію не одобрялъ астрономіи. Въ то же время это былъ практическій умъ въ широкомъ смыслѣ слова: онъ рано набрался практическихъ знаній, затѣвалъ и съ успѣхомъ исполнялъ различные промышленные планы, много странствовалъ по Россіи, много наблюдалъ, сталъ довольно богатымъ человекомъ, владелъ заводами и приписанными къ нимъ крестьянами, имѣлъ дѣла и бывалъ знакомъ съ разными сильными людьми. Изъ всего этого сложилась чрезвычайно оригинальная личность: умный самоучка, богатый дѣловымъ опытомъ настолько, что ему доступны были самые вопросы государственные; большой начетчикъ въ церковныхъ книгахъ съ чисто московскимъ стариннымъ міровоззрѣніемъ въ вопросахъ благочестія и нравственности, не терпѣвшій иноземцевъ и иновѣрцевъ, и въ то же время строгій судья всѣхъ жизненныхъ и государственныхъ неурядковъ (унаслѣдованныхъ отъ стараго быта), и ревнитель просвѣщенія (какого этотъ старый бытъ не зналъ и не допускалъ). Главными сочиненіями его были: „Завѣщаніе отеческое къ сыну своему, со правоученіемъ, за подтвержденіемъ божественныхъ писаній“; „Зеркало сирѣчь изъясненіе очевидное и извѣстное, на суетумудріа раскольника“; наконецъ, „Книга о скудости и о богатствѣ, сіе есть изъясненіе, отъ чего приключается напрасная скудость, и отъ чего гобзовитое (обильное) богатство умножается“. Первые два сочиненія до того проникнуты стариной по своей основной мысли и складу изложенія, что „Завѣщаніе“ не однажды сравнивали съ „Домостроемъ“, какъ его развитіе и новую формацію, а „Зеркало“, какъ мы видѣли раньше, такъ правилось Дмитрію Ростовскому, что, по словамъ его, онъ не писалъ бы своего

„Розыска“, если бы раньше зналъ „Зеркало“. Такова же и религиозно-нравственная основа „Книги о скудости и богатствѣ“, въ которую, дѣйствительно, отдѣльныя мѣста „Завѣщанія“ вошли цѣликомъ. По замѣчанію новѣйшаго біографа Посошкова, двѣ первыя книги даютъ ему право быть причисленнымъ къ „лучшимъ представителямъ старинной русской образованности“. Однако, въ этихъ книгахъ было многое, чего старинная образованность не думала и въ чемъ Посошковъ являлся человекомъ новаго историческаго періода. Его любознательность направлялась не только на божественные предметы, которые у старыхъ книжниковъ одни считались достойнымъ предметомъ изученія, но и на „гражданскія и бытскія книги“ (т. е. политическія и историческія), „чтобы обо всемъ знать, что доселѣ бывало“; свои техническія знанія онъ старался обобщить и найти имъ примѣненіе для государственнаго хозяйства, и сознавалъ, что у насъ обыкновенно не знаютъ всей важности такихъ предметовъ потому, что „за моремъ не бывали“; этого послѣдняго старая Русь, какъ извѣстно, боялась какъ огня. Ново было въ Посошковѣ и другое—его „презлѣлая горячность“ въ общественной правдѣ и пользѣ, побудившая его и къ писаніямъ, которыя однако самъ считалъ дѣломъ для него небезопаснымъ, потому что, говоря правду, онъ могъ возбудить противъ себя злобу многихъ сильныхъ людей,—какъ послѣ и случилось. Во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ Посошковъ такъ или иначе касается различныхъ жгучихъ вопросовъ того времени, и его „горячность“ была поддержана только тѣмъ могущественнымъ движеніемъ, какое давала русской жизни реформа,—свои проекты, практическіе совѣты, свой собственный опытъ онъ предлагаетъ на усмотрѣніе и службу „великому государю“, увѣренный, что именно у него онъ можетъ найти вниманіе къ своимъ мыслямъ. Не входя въ подробности его совѣтовъ, довольно отмѣтить нѣсколько предметовъ, на которыхъ онъ останавливается съ особой заботливостью. Главная мысль, на которой основана книга о скудости и богатствѣ, состоитъ въ томъ, что царственное (государственное) богатство состоитъ не въ царской казнѣ, не въ богатствѣ царскаго „синклита“, который ходитъ въ златотканыхъ одеждахъ, но въ богатствѣ самого народа: „паче же вещественнаго богатства надлежитъ всѣмъ намъ обще пещися о невещественномъ богатствѣ, то-есть, о истинной правдѣ; правдѣ отецъ—Богъ, и правда вельми богатство и славу умножаетъ, и отъ смерти избавляетъ; а неправдѣ отецъ—дьяволъ, и неправда не токмо вновь (не) богатитъ, но и древнее богатство отончеваетъ,

и въ нищету приводить, и смерть наводить“. Но, исходя изъ этой по старинному поучительной мысли, Посошковъ рисуетъ самую реальную картину той неправды, которая распространена была въ русской жизни и искорененіе которой онъ считаетъ и Божьимъ дѣломъ, и государственною необходимостью. При всемъ благочестіи и, повидимому, церковномъ настроеніи, при всей его враждѣ къ „люторству“ и другимъ иноземнымъ ересамъ, у него нѣтъ тѣни стариннаго московскаго національнаго и религіознаго самомнѣнія. Представитель стараго вѣка, онъ далекъ отъ мысли о совершенствахъ этой старины; онъ объ ней не заблуждается: „ни вѣры своея, какова она есть, ни благочинія духовнаго, ниже естественнаго добронравія, ни гражданства добраго, какъ надлежитъ жить, не разумѣемъ, но живемъ чуть не подобны безсловеснымъ“, писалъ онъ въ одномъ изъ своихъ доношеній Яворскому; онъ скорбитъ о невѣжествѣ „учительнаго сословія“ и безграмотствѣ народа и настаиваетъ на необходимости самаго широкаго распространенія школы. Эти рѣчи его о духовномъ сословіи, о монашествѣ, о необходимости обученія нерѣдко вполне совпадаютъ съ мыслями Оеофана и съ „Духовнымъ Регламентомъ“. Его стремленіе служить правдѣ и народной пользѣ шло, очевидно, изъ того же глубоко народнаго историческаго инстинкта, который возбуждалъ преобразованія самого Петра, и, быть можетъ, никто изъ современниковъ не понималъ такъ хорошо и такъ сердечно трудности его дѣла, какъ этотъ разумный крестьянинъ. Онъ понималъ „правдолюбивое сердце“ царя, скорбѣлъ, что „пособниковъ по его желанію немного“, что „великій монархъ трудить себя“ почти въ одиночествѣ, что русскіе люди не хотятъ служить общей пользѣ: „онъ на гору еще и самъ-десять тянетъ, и подъ гору миллионы тянутъ, то какое дѣло его споро будетъ?“ „Се нынѣ,—писалъ Посошковъ въ послѣдніе годы жизни Петра и своей собственной жизни,—колько новыхъ статей (т. е. законовъ) издано, а не много въ нихъ дѣйства, ибо всѣхъ ихъ древностная неправда одолеваетъ“... Потому онъ задумалъ свой послѣдній трудъ, „Книгу о скудости и богатствѣ“, возгорѣвши желаніемъ сказать царю откровенное слово о той неправдѣ, какая препятствуетъ успѣху его начинаній, какъ люди, называющіе себя слугами царскаго величества, поступаютъ „вопреки прямому радѣтелю“,—и представить „на разсужденіе единого явнаго правдолюбца“ свои мысли о томъ, что сдѣлать, „дабы вся наша Россія обновилась какъ въ духовности, такъ и въ гражданствѣ“.

Книга Посошкова была именно знаменательна какъ сочув-

ственный откликъ разумаго, истинно народнаго челоѣка старой Россіи на предпринятое обновленіе.

Важнѣйшіе историки Петра:

— Голиковъ, И. И. (1735—1801), Дѣянія П. В., мудраго преобразователя Россіи, собранныя изъ достовѣрныхъ источниковъ и расположенныя по годамъ. 12 ч. М. 1788—89, и Дополненія, 18 ч., М. 1790—97. Второе компактное изданіе, 15 томовъ, М. 1837—43.

— Н. Устряловъ, Исторія царствованія П. В. Т. I—III. Спб. 1858; т. VI, 1858; т. IV, въ двухъ частяхъ, 1863.

— С. Соловьевъ, Исторія Россіи, томы XIV—XVIII.

— Н. Костомаровъ, Петръ В. (Русская исторія въ жизнеописаніяхъ).

— А. Брикверъ, Исторія П. В. (иллюстрированная). 2 тома. Спб. 1892.

— K. Waliszewski, Pierre le Grand. L'éducation — l'homme — l'oeuvre. D'après des documents nouveaux. Paris, 1897.

— Въ массѣ современныхъ источниковъ первое мѣсто занимаютъ „Письма и бумаги имп. П. В.“ (подъ редакціей А. Ѳ. Бычкова). Четыре тома (4-й въ двухъ книгахъ), 1688—1706. Спб. 1887—1900.

— Обзоръ книжной дѣятельности времени Петра въ книгѣ Пекарскаго: „Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ“, 2 тома. Спб. 1862.

— Обзоръ исторической литературы въ сочиненіи Е. Шмурло: „П. В. въ русской литературѣ“. Спб. 1888, отъ современниковъ Петра до книги Брикнера и американца Скайлера (Schuyler).

— Алексѣй Веселовскій, Западное вліяніе въ новой русской литературѣ. 2-е изд. М. 1896.

Отношеніе общества и литературы къ личности Петра, съ XVIII вѣка, шло параллельно съ ихъ отношеніемъ къ реформѣ. Для крайнихъ защитниковъ старины Петръ былъ Антихристъ (въ расколѣ), или у любителей старины въ образованномъ кругу XVIII вѣка — по крайней мѣрѣ слишкомъ поспѣшный преобразователь (кн. Щербатовъ и др.); у историковъ, отъ Голикова до Устрялова, онъ былъ предметомъ панегирика; въ новѣйшемъ спорѣ „западниковъ“ и „славянофиловъ“, онъ былъ или первый основатель сознательной національной жизни, съ политическимъ могуществомъ, развитіемъ науки и литературы художественной, или измѣнникъ русской народности, противонаціональный основатель „петербургскаго періода“, оторвавшій общество отъ народа. Валишевскій, въ своей очень талантливо написанной книгѣ, — отчасти съ польскимъ недружелюбіемъ, — видитъ въ Петрѣ умнаго варвара, но не однажды преклоняется предъ необычайной личностью преобразователя. Въ новѣйшихъ трудахъ П. Н. Милюкова, отчасти съ точки зрѣнія экономическаго, если не матеріализма, то реализма, высказывается отрицательное отношеніе къ реформѣ, какъ лишенной „плана“, или сознательно обдуманной и исполняемой программы; но эта точка зрѣнія даетъ слишкомъ мало мѣста историческимъ условіямъ и обстановкѣ, — когда „задачи“ являлись прямо на дѣлѣ и

исполнялись, не ожидая „программы“; планъ былъ въ живомъ чувствѣ дѣйствительности, въ чувствѣ необходимости иного порядка, и поспѣшность исполненія, кромѣ личной гениальной энергіи, вызывалась стремленіемъ скорѣе установить реформы, чтобы обезпечить ихъ будущее. Исторія едва ли не оправдаетъ вполне этой поспѣшности—дальнѣйшею судьбой преобразованій. („Очерки по исторіи русской культуры“, Ч. третья, вып. 1. Спб. 1901).

Сочиненія Яворскаго, кромѣ названныхъ выше „Знаменій“ и „Камня Вѣры“, изданы были уже въ нынѣшнемъ столѣтіи, а именно: „Проповѣди блаженныя памяти Стефана Яворскаго, преосвященнаго митрополита рязанскаго и муромскаго, бывшаго мѣстоблюстителя престола патріаршаго, высокимъ ученіемъ знаменитаго, и ревностію во благочестіи преславнаго“, 3 части. М. 1804—1805 (при первой части его жизнеописаніе). См. также, И. А. Чистовича, „Неизданныя проповѣди Стефана Яворскаго“, въ Христіанскомъ Читеніи, и отдѣльно, Спб. 1867. Черновыя рукописи проповѣдей съ 1691 по 1721 хранятся въ бібліотекѣ святѣйшаго синода, гдѣ между прочимъ пользовался ими г. Морозовъ. Далѣе: „Риторическая рука. Сочиненіе Стефана Яворскаго, переводъ съ латинскаго Ѳеодора Поликарпова“. Изд. Общ. любителей древней письменности. Спб. 1878.

— Біографическія свѣдѣнія: въ „Опытѣ историческаго словаря о руссійскихъ писателяхъ“, Новикова, Спб. 1872; въ Словарѣ духовныхъ писателей, митрополита Евгенія; въ „Исторіи“ Соловьева (т. XV—XIX), и пр.

— Ю. Самаринъ, „Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ, какъ проповѣдники“. М. 1844, — магистерская диссертация, въ которой, по цензурнымъ соображеніямъ того времени („которые, конечно, мало могутъ быть понятны для временъ послѣдующихъ“, по замѣчанію прот. Иванцова-Платонова), помѣщена была только третья, послѣдняя часть цѣлаго сочиненія; въ первыхъ двухъ частяхъ (тогда недозволенныхъ) оба историческія лица были представлены какъ богословы и какъ сановники церкви. Въ цѣломъ составѣ трудъ Самарина явился уже только по смерти автора, въ V томѣ его „Сочиненій“. М. 1880. съ объяснительнымъ введеніемъ прот. Иванцова-Платонова и біографическими подробностями о Самаринѣ за то время.

— Сергѣй Смирновъ, Исторія московской славяно-греко-латинской Академіи. М. 1855.

— Пекарскій, Наука и литература и пр. (между прочимъ о Соборномъ дѣяніи на Мартина еретика, II, стр. 400—402).

— Ф. Терновскій, статьи о Стефанѣ Яворскомъ, въ Трудахъ Кіевской академіи, 1864, и въ „Древней и Новой Россіи“, 1879, № 8.

— И. Чистовичъ, „Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время“. Спб. 1868 (въ Сборникѣ II отд. академіи, т. IV), обширный трудъ со множествомъ архивныхъ данныхъ (здѣсь объ отношеніяхъ къ Стефану Яворскому, о полемикѣ противъ „Камня Вѣры“, о процессахъ противъ приверженцевъ Стефана).

— Тихонравовъ, Московскіе вольнодумцы начала XVIII вѣка и

Стефанъ Яворскій въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, 1870—1871 (подробное изложеніе дѣла Тверитинова); Сочиненія, М. 1898, т. II.

— П. Морозовъ, „Оеофанъ Прокоповичъ какъ писатель“. Спб. 1880 (отношенія Яворскаго къ Оеофану, и пр.).

Курсъ піитики Оеофана Прокоповича изданъ былъ уже долго спустя Георгіемъ Конисскимъ, въ 1786, подъ заглавіемъ: „De Arte poëtica libri tres, ad usum et institutionem juventutis Roxolanae dictati Kioviae in orthodoxa Academia Mohyleana anno Domini 1705“. Источники ея указаны были Тихонравовымъ въ разборѣ трагедіокомедіи „Владиміръ“, 1879, въ „Сочиненіяхъ“, т. II.

Реторика Оеофана осталась въ рукописяхъ. Отрывки изъ нея у Н. Петрова: „Выдержки изъ рукописной реторики Оеофана Пр.“, въ „Трудахъ“ Кіевской академіи, 1865, т. I, № 4, и: „Изъ исторіи гомиетики въ старой Кіевской академіи“, тамъ же, 1866, № 4.

Весьма характернымъ фактомъ въ литературной судьбѣ Оеофана было то, что кромѣ нѣсколькихъ, частію исполнѣ официальныхъ трудовъ, напечатанныхъ въ царствованіе Петра, главная масса сочиненій Оеофана издана была уже гораздо позднѣе, особенно въ царствованіе Екатерины II, отчасти въ Россіи, отчасти въ Германіи. Полный обзоръ ихъ читатель найдетъ въ главныхъ трудахъ, посвященныхъ Оеофану, какъ диссертация Самарина, 1844 („Сочиненія“, т. V, 1880); Чистовича, „Оеофанъ Прокоповичъ и его время“; Морозова, „Оеофанъ Прокоповичъ“, — здѣсь читатель найдетъ также указанія относительно литературы о Прокоповичѣ.

Литература о Посошкѣ довольно значительна. Одинъ изъ первыхъ обратилъ на него вниманіе Ломоносовъ, около 1752 года; въ печати имя его впервые названо въ „Опытѣ“ Новикова, 1772; въ 1793 издано было сочиненіе Посошкова „о ратномъ поведеніи“; въ 1815—первая записка Посошкова къ Стефану Яворскому. Затѣмъ въ 1842—1863 „Сочиненія“ его („Книга о скудости и о богатствѣ“, „Зеркало“) изданы Погодинымъ. Въ 1873 издано Андреемъ Поповымъ „Завѣщаніе Отеческое“ (по неполному списку, только первая половина). Рядъ изслѣдованій о біографіи и значеніи трудовъ Посошкова принадлежитъ А. Г. Брикнеру (по-русски 1874—1879, въ Журн. мин. просв., и по-нѣмецки: „Iwan Possoschkow. Ideen und Zustände in Russland zur Zeit Peters des Grossen“. Leipzig, 1878), Есипову (1861), Царевскому (1883), Ремезову (подробное указаніе литературы о Посошкѣ въ книжкѣ: „Матеріалы для исторіи нар. просвѣщенія въ Россіи. Самоучки“. Спб. 1886). Въ полномъ составѣ „Завѣщаніе Отеческое“ издано было Е. М. Прилежаевымъ, Спб. 1893, съ обстоятельнымъ изслѣдованіемъ, гдѣ между прочимъ сообщены новыя важныя указанія для біографіи Посошкова.

Наконецъ, см. характеристику Посошкова въ ряду другихъ людей того времени, составлявшихъ проекты о государственныхъ пользахъ, въ книгѣ Н. Павлова-Сильванскаго: „Проекты реформъ въ запискахъ современниковъ Петра Великаго. Опытъ изученія русскихъ проектов и неизданные ихъ тексты“. Спб. 1897.

ГЛАВА V.

ПУТЕШЕСТВІЯ ЗА ГРАНИЦУ.

Путешествія Петра Великаго.—Стольникъ Петръ Толстой.—Бояринъ Бор. Петр. Шереметевъ.—„Записная книжка замѣчаній великой особы“.—Еще дневникъ неизвѣстнаго.—Путешествія и дневники кн. Бор. Ив. Кураккина.—Статейный списокъ гр. А. А. Матвѣева. Записки Ив. Ив. Неплюева.

Въ жизни народа и общества, какъ и въ жизни отдѣльнаго лица, совершаются извѣстные психологическіе процессы, гдѣ кромѣ родовыхъ основаній развитія играютъ роль внѣшнія отношенія, впечатлѣнія которыхъ даютъ начало новымъ явленіямъ быта, а также и новымъ настроеніямъ, въ свою очередь направляющимъ дальнѣйшіе факты внутренней жизни. Времена Петра Великаго принесли массу такихъ психологическихъ возбужденій. Если сама дѣятельность Петра была органическимъ созданіемъ предшествующей исторіи, то его личность и воля въ свою очередь составили новый источникъ могущественныхъ воздѣйствій въ развитіи общества. Въ ряду ихъ не малое значеніе возымѣли путешествія русскихъ людей, именно людей высшаго круга, на европейскій Западъ.

Въ старой московской Россіи это было дѣло совершенно небывалое. Съ тѣхъ поръ какъ образовалось Московское царство, оно старательно оберегало себя отъ какого-либо сближенія съ этимъ Западомъ, къ которому ставило себя въ рѣзкую противоположность. Москва, „третій Римъ“, хотѣла быть строгой хранительницей православія и потому уже удалялась Запада, который, католическій или протестантскій, былъ одинаково еретическій. Религіозная точка зрѣнія господствовала одинаково и въ средѣ власти, и въ народѣ; ея внѣшній обрядовый характеръ и крайнюю исключительность мы можемъ до сихъ поръ наблюдать въ расколѣ, но въ прежнія времена это составляло общую

черту московскаго благочестія. Изъ-за обрядовыхъ отличій московскіе люди относились недоовѣрчиво даже къ народамъ православной церкви; считали плохими православными самихъ грековъ, не одобряли грузинъ, обличали въ ересяхъ малороссовъ и т. д. Иноземецъ, который былъ и иновѣрецъ, былъ уже формальный еретикъ, и надо было всячески остерегаться, дабы не оскверниться въ общеніи съ нимъ, какъ понинѣ раскольникъ боится „обмірщиться“ въ сношеніяхъ съ никоніанцемъ.

Такимъ образомъ московское государство было окружено китайской стѣной чрезвычайнаго самомиѣнія и вмѣстѣ суевѣрія относительно иноземцевъ: на нихъ смотрѣли высокомѣрно, но и со страхомъ, потому что въ ихъ непонятномъ знаніи (какъ видно, напримѣръ, изъ разсказовъ Олеарія) подозрѣвали нечистую силу. Въ концѣ концовъ правительство, — впрочемъ въ согласіи съ общимъ убѣжденіемъ, — закрывало всякую возможность сближенія съ этимъ подозрительнымъ иноземнымъ міромъ, — какъ о томъ повѣствуетъ Котошихинъ. Правительство обставляло великими трудностями всякую поѣздку за границу, опасаясь кромѣ того и какихъ-нибудь политическихъ умысловъ. Даже отправляя пословъ, оно съ точностію опредѣляло ихъ обязанности и запрещало всякіе посторонніе разговоры; имъ повелѣвалось: „государево дѣло дѣлать во всемъ по государеву наказу и государевой чести во всякихъ мѣрахъ остерегать, и о иныхъ дѣлахъ держати отвѣтъ учтиво, а лишніхъ и ненадобныхъ рѣчей ни съ кѣмъ не говорить и собою ничего не всчинать“.

Но, какъ ни велика была боязнь общенія съ иновѣрнымъ Западомъ, находились люди, въ которыхъ любознательность, по видимому превозмогла эту боязнь. Сохранилось мало извѣстій о русскихъ людяхъ, бывавшихъ тогда за границей независимо отъ официальныхъ посольствъ, въ интересахъ знанія, и эта скудость извѣстій указываетъ, что самые факты были только рѣдкими исключеніями. Немногому можно было научиться въ самой Москвѣ, — напримѣръ, греческому языку отъ заѣзжихъ грековъ, — и въ посольскомъ приказѣ бывали лишь немногіе люди, знакомые съ иностранными языками и служившіе переводчиками, хотя и въ этомъ качествѣ бывали опять иностранцы. Князь Курбскій упоминаетъ, что въ числѣ казненныхъ Иваномъ Грознымъ былъ одинъ „юноша зѣло прекрасный, ближній сродникъ Мих. Матв. Лыкова, иже посланъ былъ на науку за море, во Ерманію, и тамъ навѣкъ добрѣ аллеманскому языку и писанію: бо тамъ пребывавъ учась не мало лѣтъ, и объѣздилъ всю землю нѣмецкую, и возвратился былъ во отечество, и по коликихъ лѣтѣхъ смерти вкусилъ отъ

мучителя неповиннѣ“. Иванъ Грозный посылалъ въ Царьградъ „паробка“ Обрюту учиться греческой грамотѣ, и еще двухъ „ребятъ“. Годуновъ отправилъ за границу нѣсколько молодыхъ людей для науки; ганзейскіе послы ваяли съ собой нѣсколько человѣкъ, которыхъ обязались обучить разнымъ языкамъ, но при этомъ должны были общать накрѣпко заботиться, чтобы эти люди не оставили своей вѣры и обычаевъ. Нѣсколько человѣкъ, отпущенные Годуновымъ въ Лондонъ съ англійскимъ купцомъ Джономъ Меривомъ (Иваномъ Ульяновымъ) „для науки разныхъ языковъ и грамотамъ“, какъ говорятъ, не вернулись въ отечество... Въ XVII вѣкѣ находимъ единичные примѣры людей, увлекшихся западнымъ образованіемъ, особливо черезъ посредство Польши, но все это были исключенія, которыя не измѣняли привычныхъ понятій. Мало измѣнялъ ихъ и возраставшій притокъ школьной учености изъ Кіева и западной Руси, потому что эта ученость ограничивалась схоластической и оставалась чужда новымъ движеніямъ европейской науки; притомъ питомцы схоластической школы были опять немногочисленны.

Когда Петръ въ 1697 задумалъ послать для науки за границу молодыхъ людей изъ лучшихъ боярскихъ и дворянскихъ родовъ, а затѣмъ отправился за границу самъ при извѣстномъ посольствѣ; — двухсотлѣтіе котораго праздновалось недавно въ Саардамѣ, — это былъ цѣлый переворотъ: русскіе молодые люди отправляемы были цѣлыми десятками за море, предоставленные самимъ себѣ, набираться той иноземной науки; къ которой столько вѣковъ русскіе люди относились съ великимъ недовѣріемъ и страхомъ.

Первымъ побужденіемъ къ посылкѣ за границу русскихъ молодыхъ людей, была забота Петра о русскомъ мореходствѣ. Въ 1697 посланы были царскіе стольники и спальники, которые въ этомъ качествѣ были Петру ненужны, 29 человѣкъ въ Италію и 22 въ Англію и Голландію. Впослѣдствіи отправлены были другія партіи молодыхъ князей и дворянъ за границу для той же „навигацкой науки“.

„Не безъ горя и не безъ слезъ, — замѣчаетъ Устряловъ, — отправлялись наши царедворцы въ дальніе края, гдѣ не бывали ни отцы, ни дѣды ихъ, для дѣла мудренаго, тягостнаго, несообразнаго ни съ званіемъ ихъ, ни съ наклонностями, и тѣмъ болѣе труднаго, что едва ли кто изъ нихъ понималъ какой-либо языкъ иностраннѣй. Большею частію они были женаты, имѣли дѣтей, и легко вообразить, сколько плачущихъ оставалось въ Москвѣ. Конечно не было ни одного знатнаго дома, гдѣ бы не

тужили и не сѣтовали о долговременной разлукѣ съ родными и ближними, обреченными учиться ремеслу матросскому. Многие сверхъ того роптали на посылку молодыхъ царедворцевъ въ еретическія земли и не знали, наконецъ, что уже и думать, когда разнеслась вѣсть о поѣздѣ за море самого царя¹⁾.

О томъ, какъ трудно было такое разставанье, можно читать, напр., на первыхъ строкахъ описанія путешествія ближняго боярина Бориса Петровича Шереметева. „Изъ царствующаго града Москвы въ надлежащій нашъ путь пошли вышеописаннаго іюня 22 числа, и первый станъ былъ въ селѣ Коломенскомъ, отъ Москвы въ семи верстахъ, и стояли въ томъ селѣ три дня, для провожанія родственниковъ и благодѣтелей“. Петръ Андреевичъ Толстой выѣхалъ изъ Москвы февраля въ 26 день, „и стоялъ въ Дорогомиловѣ слободѣ февраля въ 28 день“... По нынѣшнему Дорогомилова слобода находится въ самой Москвѣ: три дня были заняты опять проводами.

Устряловъ перечисляетъ этихъ стольниковъ и спальниковъ, посланныхъ за границу въ 1697, и замѣчаетъ, что изъ этихъ первыхъ пятидесяти царедворцевъ, посланныхъ учиться навигаціи, не вышло ни одного моряка, но многіе заняли потомъ важныя мѣста въ управленіи, на дипломатической службѣ и т. д. Здѣсь были между прочимъ представители старыхъ княжескихъ и боярскихъ родовъ, напр.: кн. Куракинъ, Гр. Ѳед. Долгорукій, Голицыны; Петръ Андреевичъ Толстой, о которомъ подробно скажемъ далѣе; кн. Андрей Яв. Хилковъ; Авраамъ Ѳедор. Лопухинъ, братъ царицы; Владимиръ и Василій Петр. Шереметевы, братья фельдмаршала, и сынъ его Борисъ; князя Трубецкой, Велико-Гагинъ, Прозоровскій, Мих. Оболенскій, Шаховской, Волконскій, Черкасскій и пр.

Только немногіе оставили записки о своихъ путешествіяхъ, по крайней мѣрѣ, насколько до сихъ поръ извѣстно. Таковы: „Путешествіе стольника Петра Толстого по Европѣ“; дневникъ неизвѣстнаго, который былъ въ Голландіи, Германіи и Италіи въ 1697—1698 годахъ; путешествіе Бор. Петр. Шереметева, который въ тѣ же годы былъ въ Польшѣ, Австріи, Италіи и Мальтѣ; еще неизвѣстнаго, который съ братомъ и учителемъ ѣздилъ въ 1714—1717 годахъ въ Голландіи, Испаніи, Италіи и Франціи; записки графа А. А. Матвѣева, который ѣздилъ въ посольство во Францію въ 1705 году; наконецъ, записки князя Б. А. Куракина, изданныя въ недавнее время.

¹⁾ Исторія Петра Великаго, II, стр. 316.

Эти первые путешествія очень любопытны въ смыслѣ общественной психологіи. Путешественники были на самомъ перепутьѣ отъ старой Россіи къ новой. Дѣла, реформа Петра еще только начиналась и не успѣла подѣйствовать настолько, чтобы путешественники могли быть приготовлены къ тому зрѣлищу, которое ожидало ихъ въ Европѣ. Они являлись туда во многихъ отношеніяхъ людьми стараго вѣка: все ихъ поражало; но, долго живши въ новой средѣ, они должны были присмотрѣться и привыкнуть къ чужимъ обычаямъ: при этомъ сами собою ослабѣвали старыя предубѣжденія, и имъ постоянно приходилось дивиться высокому знанію и искусству, произведенія которыхъ они впервые видѣли здѣсь, и въ такомъ изобиліи. Наконецъ имъ, хотя бы поневолѣ, надо было учиться, и они должны были убѣждаться, что наука есть дѣло человѣческаго знанія и соображенія, а не дѣло нечистой силы, какъ полагали ихъ дѣды и даже отцы. Излагая одно изъ этихъ путешествій, Н. А. Поповъ говорилъ: „Въ простыхъ, безыскусственныхъ разказахъ этихъ путешественниковъ о видѣнномъ и слышанномъ, не имѣющихъ ни малѣйшей претензіи на литературныя достоинства, не трудно подмѣтить сужденія и характеръ людей, которые, болѣе или менѣе одушевляясь мыслию о будущихъ успѣхахъ своихъ, не перестаютъ однакожъ обращаться къ прошедшему. Какъ въ письмахъ изъ-за границы самъ Петръ является не только законнымъ отцомъ новой Россіи, но и вѣрнымъ сыномъ старой, такъ и его спутники напоминаютъ рѣчами и дѣломъ двуликаго Януса. На ихъ разказахъ лежитъ оригинальная печать еще неустановившейся жизни“. Съ другой стороны нельзя было ожидать особеннаго вліянія этого перваго знакомства съ европейской образованностью на самые нравы. Во-первыхъ, знакомство было слишкомъ случайное; наука, которую изучали наши путешественники, была техническая, и, возвращаясь домой, они снова окружены были старыми условіями, которыя возвращали въ прежнюю колею. Нѣсколько болѣе глубокое вліяніе новаго образованія стало сказываться только позднѣе. Еще одинъ изъ первыхъ иностранныхъ наблюдателей преобразованной Россіи, Веберъ (авторъ книги: „Das veränderte Russland“), замѣчалъ, что большая часть нашихъ путешественниковъ дѣла „отбросили пріобрѣтенные въ чужихъ краяхъ обычаи, и показывали только неспособное чванство, потому что усвоили внѣшній лоскъ (а душевныя ихъ способности остались невоздѣланными), живутъ такъ, какъ жили въ старину“¹⁾. Но во всякомъ случаѣ

¹⁾ Приведено у Пекарскаго, Наука и литература и пр., Спб. 1862; I, стр. 139.

путешествія уже вскорѣ дали результатъ, который въ послѣдствіи все возрасталъ и сдѣлался основой дальнѣйшаго русскаго образованія и литературы: это было, хотя на первый разъ не очень близкое, но непосредственное знакомство съ европейской наукой и литературой, примѣненіе сначала техническихъ, а потомъ и научныхъ понятій къ содержанію русской жизни.

Нѣсколько примѣровъ изъ небольшой литературы путешествій временъ Петра могутъ дать любопытную картину этого столкновенія понятій двухъ различныхъ категорій, двухъ міровъ: восточнаго и западнаго, и въ сущности столкновенія двухъ теченій въ самой русской жизни. Старое преданіе, съ его боязнью и незнаніемъ науки, долго поощряло умственную лѣнь и притупляло самую воспримчивость; но русское общество все-таки не было восточное, и въ немъ издавна можно наблюдать инстинкты просвѣщенія и потребность сблизиться съ тѣми народами, которые опередили насъ въ наукахъ и искусствахъ. Петръ Великій былъ именно олицетвореніемъ этихъ стремленій общества: потому онъ и могъ найти людей, слѣдовавшихъ за нимъ не только по приказу, но и по собственному убѣжденію. Его упрекали въ тѣсномъ пониманіи науки, отъ которой онъ хотѣлъ только технической пользы для государства: безъ сомнѣнія, онъ не былъ ученый теоретикъ, но обращеніе его къ Лейбницу и основаніе Академіи составляютъ глубоко знаменательный фактъ въ русской жизни на рубежѣ XVII и XVIII вѣка. Уже вскорѣ одинъ изъ его питомцевъ, опять человекъ безъ правильной школы, но съ здравымъ умомъ и чисто-русская натура—Татищевъ, не удовлетворяется Лейбницомъ и ищетъ поученія у „Баиля“ (Baile)... Наши первые путешественники, выѣхавшіе въ Европу въ послѣдніе годы XVII вѣка, были въ этомъ отношеніи люди вполне непосредственные: Петръ взялъ ихъ прямо изъ стараго насиженаго гнѣзда и послалъ учиться, безъ всякихъ приготовленій, какъ сами они сьумѣютъ. Сохранились оригинальныя извѣстія о томъ мудреномъ положеніи, въ какомъ находились—безъ сомнѣнія нерѣдко—эти князья и бояре, отосланные за границу. Князь Михаилъ Голицынъ писалъ домой въ 1711 году: „о житіи моемъ возвѣщаю, житіе мнѣ пришло самое бѣдственное и трудное... Наука опредѣлена самая премудрая: хотя мнѣ всѣ дни живота своего на той наукѣ себя трудить, а не принять будетъ, для того—не знамо учитьца языка, не знамо науки... А про меня вы сами можете знать, что кромѣ природнаго языка, никакого не могу знать; да и лѣта уже мои ушли отъ науки, а паче всего въ томъ моя тягость, что на морѣ некоторыми мѣрами мнѣ быть

не возможно, того ради, что весьма боленъ "... А кромѣ того была еще гроза: царь подѣ „престрашнымъ гнѣвомъ“ велѣлъ непремѣнно зимой обучаться чертежамъ, а восемь мѣсяцевъ быть непрестанно на кораблѣ...—не знаю какъ и быть“ ¹⁾. Извѣстный Неплюевъ (род. 1693 г.) уже семейнымъ человѣкомъ взятъ былъ въ 1715 на службу, а въ слѣдующемъ году отправленъ въ Венецію на галерный флотъ, а потомъ въ Испанію, гдѣ въ морской академіи учились „солдатскому артикулу, на шпагахъ биться, танцевать... а къ математикѣ,—говоритъ Неплюевъ,—приходили—только безъ дѣла сидѣли, понеже учиться не возможно, для того, что языку мы не знали“. Бѣдныя писали въ Россію объ опредѣленіи ихъ на службу: „понеже шпажное и танцевальныя ученія къ нуждѣ его величества въ насъ годно быть не можетъ“. Они въ своей крайней нуждѣ и по дальности отечества, обращались съ просьбой даже къ испанскому королю, но тотъ велѣлъ сказать, чтобы имъ „быть въ академіи и учиться языку и прочаго“. А, наконецъ, и въ Петербургѣ предстоялъ еще экзаменъ, на который приходилъ самъ царь: Неплюевъ „готовился какъ на страшный судъ“. Для него экзаменъ сошелъ очень благополучно. Василій Васильевичъ Головинъ (род. 1696) въ 1712 г. былъ съ другими молодыми дворянами вызванъ въ Петербургъ, гдѣ ихъ смотрѣлъ самъ царь и назначалъ имъ службу; лѣтами постарше въ солдаты, среднихъ—за море въ Голландію „для морской навигацкой науки“, а малолѣтнихъ въ Ревель; въ числѣ среднихъ,—пишетъ онъ,—„и я грѣшникъ въ первое несчастіе опредѣленъ“.

Одно изъ самыхъ любопытныхъ путешествій временъ Петра представляетъ дневникъ Петра Андр. Толстого, веденный имъ съ 26 февраля 1697 года по 27-е января 1699. Посланный вмѣстѣ съ другими „въ европейскіе христіанскіе государства для науки воинскихъ дѣлъ“, онъ получилъ „статьи послѣдующіе ученію“ т.-е. программу: онъ долженъ былъ узнать чертежи, карты, компасы и „протчіе признаки морскіе“, выучиться владѣть судномъ въ бою и въ простомъ шествіи, искать случая быть на морѣ во время боя; особую милость получить тотъ, кто выучится строить самыя суда и т. д. Изъ посольскаго приказа была выдана Толстому проѣзжая грамота ко всѣмъ владѣтелямъ и начальникамъ, съ которыми могъ встрѣтиться въ путешествіи, ко всѣмъ мелкимъ властямъ по дорогѣ и, наконецъ, къ „вольнымъ добытчикамъ мор-

¹⁾ Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, Калачова, II, пол. 2, отд. VI, стр. 62.

скимъ“ для безопаснаго проѣзда и житія. Въ грамотахъ посланные были писаны дворянами „безъ прозванія“ для того, чтобъ „въ иноземскихъ краяхъ подлинно не вѣдали, какого чина и какихъ породъ для тое вышеописанныя науки въ ихъ государства посланы“.

Путешествіе разсказывается день за день, съ указаніемъ остановокъ и ночлеговъ, числа верстъ, съ описаніемъ всякихъ видѣнныхъ по дорогѣ достопримѣчательностей. Путешествіе велось очень медленно. Выѣхавъ изъ Москвы въ концѣ февраля, Толстой только къ 23 марта добрался до польскаго рубежа. И дальше онъ ѣхалъ опять такъ же медленно, описывая по дорогѣ города и селенія, крѣпости, монастыри, церкви, мосты, ворота и т. д., справляясь о томъ, какихъ вѣръ были жители, благочестивые ли греческаго закона, или уніаты, или католики, или жида? За Могилевомъ онъ проѣхалъ много мѣстностей большихъ литовскихъ пановъ—короннаго гетмана, польнаго гетмана, литовскаго канцлера, литовскаго подкоморія, подскарбія и пр. Въ Борисовѣ ему показали одну икону, будто бы взятую въ плѣнъ войсками царя Алексѣя Михайловича, переданную въ православный монастырь, а по заключеніи мира унесенную оттуда въ католическій костелъ: „и какъ-де тое икону въ римской костелъ внесли, и отъ того-де часа явилось на той иконѣ самое малое черное пятно, величествомъ съ московскую копѣйку, и начало отъ того времени прибывать, даже и до нынѣ по вся дни того пятна прибываетъ, и много-де того пятна покушались, чтобъ краскою то пятно закрыть и многіе-де мастера иконники и живописцы, прикоснувшіеся той святой иконѣ для записанія того пятна, пострадали ручною болѣзнію, и паки отъ той же святой иконы исцѣленіе получили, и нынѣ-де уже о томъ и покушались не смѣютъ, чтобы то пятно исправить“.

Особенное вниманіе его привлекаютъ католическія церкви и монахи разныхъ орденовъ, которыхъ онъ называетъ „законниками“; въ Бернардинскомъ монастырѣ, въ Минскѣ, законники носятъ на голомъ тѣлѣ власницы безъ рубашекъ и ходятъ босые на колодахъ; францисканцы „жизне имѣютъ безъимянное, ничего своего не имѣютъ, питаются милостынею, всегда ходятъ по улицамъ и просятъ милостыни“; объ іезуитахъ онъ говоритъ, что они „живутъ свободнѣе всѣхъ римскихъ законниковъ, только простираются излиха на проповѣдь Христову“. Въ Варшавѣ онъ осмотрѣлъ нѣсколько дворцовъ польскихъ вельможъ, загородный королевскій дворецъ, и вездѣ видѣлъ великое украшеніе, рѣзныя стѣны, великія зеркала, столы изрядные, картины узорочныя, фон-

таны преудивительные, все безмѣрно хорошо. Но дивясь этой роскоши, нашъ путешественникъ говоритъ весьма пренебрежительно о польскихъ порядкахъ: „во время алекціи ¹⁾ между поляковъ бываютъ многія ссоры, также и у Литвы между собою и поляковъ съ Литвою бываютъ многія драки и смертное убивство, а больше на мосту дерутся за ссоры и за пьянство, и всегда у нихъ между собою мало бываетъ согласія, въ чемъ они много государства своего растеряли“. Въ польскихъ обычаяхъ ему бросилось въ глаза, что „по городу и въ маестности ѣздятъ сенаторы и жены ихъ и дочери дѣвицы въ каретахъ и въ заворъ себѣ того не ставятъ“, и что въ лавкахъ мѣщане богатые сидятъ сами, и жены и дочери ихъ въ богатыхъ уборахъ, и тоже не ставятъ себѣ этого въ заворъ,—въ Москвѣ ни того, ни другого не было видано. Папскій нунцій, у котораго онъ просилъ листа „о свободномъ проѣздѣ и о приѣмности въ итальянскихъ краяхъ“ и съ которымъ говорилъ черезъ переводчика, принялъ его „зѣло любительно“ и оказалъ великую вѣжливость, а путешественникъ не забылъ высмотрѣть не только одежду нунція, но даже цвѣтъ и рисунокъ обоевъ въ его комнатахъ.

За Варшавой онъ опять проѣзжаетъ маестности важныхъ пановъ и духовныхъ лицъ, бискуповъ и архибискуповъ, наконецъ Ченстохово съ знаменитой иконой Богородицы и монастыремъ: опять подробное описаніе монастыря, украшенія церквей, богатства ризницы и т. д. Здѣшніе законники „крѣпкаго житія“, а Ченстоховская икона „мѣрою подобна той, что на Москвѣ стоитъ въ Соборной церкви письма Луки же евангелиста, которая называется Владимірская“. „Въ томъ кляшторѣ аптека изрядная великая, въ которой я видѣлъ много всякихъ лѣкарствъ и уборъ всюду въ той аптекѣ изрядной... Въ томъ кляшторѣ есть академія: учатся высокимъ наукамъ даже и до философіи; а гдѣ у нихъ бываютъ диспуты, и для того особая сдѣлана палата великая длинная... Въ слободѣ въ лавкахъ есть товаровъ не мало, а паче всего много книгъ латинскихъ и польскихъ всякихъ печатныхъ“.

На границѣ между Польшей и цесарскимъ государствомъ путешественникъ не нашелъ „никакихъ признаковъ“, одно болото. Въ Шленской землѣ онъ отпустилъ своего человѣка съ лошадьми, сдѣлавшими по его исчисленію 1412 верстъ отъ Москвы, и съ тѣхъ поръ нанималъ фурмановъ; по дорогѣ онъ видѣлъ уже „великіе венгерскіе горы и зѣло высокіе, которые высотою рав-

¹⁾ Т.-е. алекціи, избранія короля.

няются облакамъ". Изъ Силезіи онъ переѣхалъ въ Моравію. Здѣсь опять ему нравятся благоустроенные города, съ фонтанами, садами, каменными лавками. Въ Ольмюцѣ онъ видѣлъ слѣдующее: „На воротахъ ратуши, т.-е. таможни, сдѣланы часы великіе удивительнаго строенія: тѣ часы бьютъ перечестье мусикійскимъ согласіемъ и какъ тѣ часы стануть бить перечестье, въ то время видимо, что люди, вырѣзанные изъ дерева, бьютъ въ колокола руками; ниже того сдѣланы два человѣка рѣзные изъ дерева и учнутъ въ то жъ время трубить на трубахъ“, и пр. Здѣсь же, въ іезуитскомъ монастырѣ, онъ видалъ „академію изрядныхъ высокихъ наукъ и студентовъ зѣло много, которые учатся разнымъ наукамъ, изъ тѣхъ студентовъ много честныхъ высокихъ породъ людей изъ разныхъ государствъ“.

Затѣмъ онъ переѣхалъ границу ракотцкую, т.-е. австрійскую, и прибылъ въ Вѣну. Здѣсь онъ насмотрѣлся всякихъ удивительныхъ вещей: монастырей и церквей, высокихъ домовъ, только „греческой вѣры монастырей и церквей ни единой“. Московскій посланникъ свезъ его за городъ въ императорскіе сады: „многіе травы и цвѣты изрядные, посаженные разными штуками, по пропорціи, и множество плодовыхъ деревьевъ съ обрѣзанными вѣтвями, ставленныхъ архитектурально, и не малое число подобій человѣческихъ мужеска и женска полу изъ мѣди... и одна великая палата, что называютъ театрумъ, въ которой бывають для увеселенія цесарскаго комедіи“. Его удивилъ также большой госпиталь, гдѣ онъ отмѣтилъ не только церковь, аптеку и садъ, но и постели съ „зелеными стамедовыми завѣсами“: „принимають въ тотъ шпиталь болящихъ и покоять ихъ и лечатъ съ прилежаніемъ, и держатъ въ томъ шпиталѣ болящихъ... безъ за платы... только то дѣлають для вѣры христіанской и для спасенія души“. Въ церкви св. Стефана онъ видѣлъ церковную процессію, при которой былъ самъ цесарь съ сыновьями: подробно описывая процессію, замѣчаетъ, что „подъ руки цесаря никто не вель“, что сенаторскія кареты не были особенно богаты, а дочери и жены сенаторскія „всякая сама надъ собою несла балдахины круглые изрядные“, вѣроятно зонтики; церковная музыка на органахъ и различныхъ инструментахъ (которые перечислены) показалась ему чрезвычайнымъ шумомъ.

Наконецъ онъ добрался до Венеціи послѣ странствія, продолжавшагося патнадцатъ недѣль. Можно себѣ представить, сколько онъ нашелъ здѣсь удивительнаго: улицы были водяныя, не было ни лошадей, ни каретъ, ни телѣгъ, „а саней и вовсе не знали“. Во дворцѣ дождей онъ осмотрѣлъ всякія палаты, по-

сольскую, палату тайной думы, судебную, оружейныя, комнаты самого дожа, „не зѣло богатя“, при чемъ описалъ и венеціанское судопроизводство. Его поразила свобода, съ которой люди всякаго чина входили въ палаты дожа: въ сѣняхъ торговые люди продають калачи и коврижки, и желающіе покупають и ѣдятъ „безъ стыда“; къ дожу имѣють всѣ свободный доступъ. У воротъ къ площади св. Марка онъ увидалъ и нѣчто знакомое: „сидятъ многіе писари, подобныя московскимъ площаднымъ подъячимъ, которые пишутъ челобитныя и иныя всякія нужды, что кому будетъ потребно“. Въ Венеціи онъ часто посѣщалъ греческую церковь, гдѣ всѣ греки были ему рады, и старательно отмѣчалъ различіе церковныхъ обрядовъ итальянскихъ грековъ отъ московскаго чина—въ одеждѣ, отправленіи богослуженія, звонѣ колоколовъ и т. д.; онъ отмѣчаетъ, что „священники греческіе бѣлые не женаты и бороды и усы брѣютъ; борода у митрополитовъ не стрижена, а усы подстрижены, и многіе греки во святой литургіи сидятъ въ шапкахъ и въ тафьяхъ и стоятъ во всю обѣдню въ тафьяхъ“.

Въ Венеціи и другихъ главныхъ городахъ Италіи онъ видѣлъ множество достопримѣчательностей. Вездѣ онъ особенно осматривалъ церкви съ ихъ святынями, украшеніями и иными рѣдкостями, которыя обыкновенно старается сосчитывать: въ Падудѣ сосчиталъ лампады, висѣвшія кругомъ гробницы св. Антонія Падуанскаго: ихъ было 130, „а иныхъ, которыя есть по всей церкви, не могъ за величествомъ церкви исчислить“. Въ другой церкви показали ему такіе органы, что подобныхъ нигдѣ не обрѣталось, и для него нарочно на нихъ съиграли. Музыкальное впечатлѣніе было слѣдующее: „Удивительно, что пребезмѣрно громогласны и кажется такъ отъ голосовъ тѣхъ органовъ, якобы всей церкви потрясатися; на тѣхъ органахъ слышана звѣзда золоченая, которая во время игранія на тѣхъ органахъ блескаетъ, преходя по трубамъ тѣхъ органовъ (?); потомъ въ тѣхъ органахъ свищеть, подобно птицѣ кинарейкѣ или соловью; потомъ въ тѣхъ органахъ, когда отопруть всѣ голоса и трубы, тогда не останется ни одинъ инструментъ ото всей музыки, который бы въ тѣхъ органахъ не отзывался играніемъ: въ началѣ органъ, цымбалъ, скрипицы, басы, штортъ, арон, флейтъ, вольногамбы, цытры, трубы, литавры и иныя всякіе мусикійскіе инструменты: когда закроютъ многіе голоса, тогда на тѣхъ органахъ будутъ отзываться трубы, власно какъ трубать трубачи на двойныхъ на переключкахъ, якобы одни издалека, а другіе изблизка, и иныя многія штуки въ тѣхъ органахъ, которыя нынѣ

для умедленія описывать подробно оставляю“. Невиданною вещью была докторская академія, гдѣ считалось до тысячи студентовъ. Онъ описываетъ самый обрядъ утвержденія въ докторскомъ званіи. Въ Италіи онъ вообще хвалилъ остаріи (остеріи), гдѣ всегда найдешь хорошія комнаты съ изрядными постелями; для охотниковъ держать тамъ карты и тавлеи, а также продаютъ табакъ „дымовой и носовой и трубки, чѣмъ табакъ пить“.

Наконецъ, въ сентябрѣ Толстой принялся за изученіе мореходства. Онъ взялъ себѣ мѣсто на кораблѣ и плавалъ по Адриатическому морю до Зары на далматинскомъ берегу и до Бара на итальянскомъ. Плаваніе было довольно безповойно отъ частой „фортуны“, т.-е. бури, и „преестественно великаго вѣтра“. Разъ они встрѣтились и съ турецкими разбойничьими кораблями, отъ которыхъ пришлось укрыться. Въ одну бурю были „въ такомъ смертномъ страхѣ, что совершенно отчаялись всѣ живота, только призывали себѣ въ помощь Бога и Пресвятую Богородицу; и какъ я началъ говорить канунъ (т.-е. канонъ) чудотворцу Николаю, съ того часа начала та фортуна малиться и страху начало убавляться“. Далѣе, онъ дивился Веронѣ, „математическимъ разумомъ уфортикованной“; въ Миланѣ насмотрѣлся великихъ чудесъ: въ соборѣ св. Амвросія онъ видѣлъ подобіе змія, сдѣланное Моисеемъ во время странствія евреевъ въ аравійскихъ пустыняхъ; въ другомъ костелѣ—„гробъ трехъ царей персидскихъ, которые къ новорожденному Спасителю принесли дары“, и изъ этихъ даровъ ему показали золото „подобіемъ ефимку“, и т. п. Знаменитый соборъ—весь изъ бѣлаго мрамора, „какого костела во всемъ свѣтѣ нѣтъ, кромѣ римскаго соборнаго, а богатства въ немъ пречуднаго неудобъ сказано множество“. И здѣсь былъ большой госпиталь на тысячу человекъ со многими лѣкарями, изъ чего „познавается человѣколюбіе римлянъ, такого во всемъ свѣтѣ мало гдѣ обрѣтается“.

Въ Венеціи ему пришлось провести всю зиму, и онъ успѣлъ хорошо присмотрѣться къ венеціанскимъ нравамъ и по своему подробно описать ихъ. Онъ рассказываетъ о всякихъ церковныхъ и иныхъ празднествахъ и процессіяхъ, о народныхъ увеселеніяхъ на площади св. Марка, о карнавалѣ, объ уличныхъ проповѣдяхъ, объ ученыхъ диспутахъ, о маскарадахъ, театрѣ, игорныхъ домахъ и т. д.; о торговлѣ и промыслахъ, о госпиталяхъ и школахъ и пр. Населеніе Венеціи очень разнообразно: здѣсь можно встрѣтить людей всякихъ націй. „Венеціане люди умные, политичные и ученыхъ людей зѣло много; однакожъ нравы имѣютъ видомъ неласковые, а къ пріѣзжимъ иноземцамъ зѣло пріемны“;

вина они пьютъ мало, „а больше употребляютъ въ питьяхъ лимонатовъ, симады, каеы, чекулаты и иныхъ тому жь подобныхъ, съ которыхъ быть человѣку пьяну быть невозможно“. „И народъ женскій въ Венеціи зѣло благообразенъ, и строенъ, и политиченъ, высокъ, тонокъ и во всемъ изряденъ; а къ ручному дѣлу не очень охочъ, больше заживаютъ въ прохладахъ;—всегда любить гулять и быть въ забавахъ и ко грѣху тѣлесному зѣло слабы“.

Особенно поразилъ его театръ: „на всемъ свѣтѣ такихъ предивныхъ оперовъ и комедій нѣтъ и не бываетъ“. Эти оперы и комедіи давались „въ палатахъ великихъ округлыхъ, которыя итальяне зовутъ театрумъ“. „Въ тѣхъ палатахъ подѣланы чуланы многіе (ложи) въ пять рядовъ вверхъ и бываетъ въ одномъ театрумѣ чулановъ двѣсти, а въ иномъ триста и больше; а всѣ чуланы подѣланы изнутри того театрума предивными работами золочеными“, и т. д. „И съ одной стороны къ тому театруму придѣлана бываетъ великая и зѣло длинная палата, въ которой чинится опера: въ той палатѣ бывають перемѣнныя перспективы дивныя и людей бываетъ въ одномъ оперѣ въ нарядѣ мужеска и женска полу человѣкъ по 100 и по 150, и больше. Наряды на нихъ бывають изрядныя золотныя и серебряныя, и каменья въ тѣхъ уборахъ бывають много хрусталей и варениковъ, а на иныхъ бывають и алмазы, и зерны бурмицкія. Играють въ тѣхъ операхъ во образъ древнихъ исторій“ и т. д. Венеціане вообще живутъ весело и „ни въ чемъ другъ друга не зазирають, и ни отъ кого ни въ чемъ никакого страху никто не имѣетъ, всякой дѣлаетъ по своей волѣ, кто что хочетъ: та вольность въ Венеціи и всегда бываетъ. И живутъ венеціане всегда во всякомъ покоѣ, безъ страха и безъ обиды и безъ тягостныхъ податей“... Очевидно, что послѣднія строки написаны не безъ воспоминанія о домашнихъ московскихъ обычаяхъ.

Въ половинѣ слѣдующаго года Толстой предпринялъ второе морское путешествіе. По далматинскому берегу онъ доплылъ до Рагузскаго княжества: здѣсь „по городамъ живутъ рагузяне, капитаны морскіе и астрономы и маринары“; у нихъ много всякихъ плодовъ, „а говорятъ всѣ славянскимъ языкомъ, и итальянскій языкъ всѣ знаютъ и называются герваты (хорваты), вѣру держатъ римскую“. Рагузу или Дубровникъ онъ описываетъ подробно: между прочимъ пошелъ къ рагузскому князю, который говорилъ съ нимъ славянскимъ языкомъ. Онъ смотрѣлъ здѣсь францисканскій и доминиканскій монастыри, гдѣ показали ему разныя удивительныя святыни, въ подлинности которыхъ онъ видимо, не сомнѣвался. Напримѣръ, въ одномъ: гвоздь терноваго вѣнца Спаси-

тели нашего Христа; крестъ сдѣланъ изъ самаго древа креста Христова; сребреникъ, который взялъ Иуда у архіереевъ еврейскихъ за Христа, видомъ чернъ, величествомъ съ черкасскій чехъ и тѣмъ подобіемъ сдѣланъ, а изображенія на немъ не можно знать за многими лѣты; часть кости отъ руки Іоанна Крестителя. Въ другомъ: крестъ немалый, въ которомъ немалая часть древа самаго креста Христова; двѣ кости отъ главъ и двѣ ноги святыхъ младенцевъ, избѣненныхъ отъ Ирода за Христа, на тѣхъ ихъ ногахъ плоть и кожа и жилы цѣлы; пелена Христова, въ которую по рождествѣ своемъ былъ Спаситель нашъ принять Пречистою Матерью Своею Марією, — „та зѣло толста, а изъ какой матеріи истлана, подлинно о томъ познать не можно, однакожь подобится толстой посковной холстинѣ“; два гвоздя отъ терноваго Христова вѣнца, и т. д. Но нѣкоторые римскихъ легенды онъ не одобрилъ: на одномъ изъ далматинскихъ острововъ жилъ тогда одинъ человѣкъ, котораго римляне почитаютъ за святого, „а сказываютъ о немъ гисторіи, которымъ вѣрить не можно и слушать ихъ непотребно“.

Въ маленькомъ городѣ Каствельново онъ встрѣтилъ русскихъ навигаторовъ: „наѣхалъ я на своихъ москвичъ на корабль — князь Димитрія и князь Ѳедора Голицыныхъ, князь Андрея Решнина, князь Ивана Гагина, князь Юрія Хилкова, князь Бориса Куракина и иныхъ“.

На далматинскомъ берегу онъ постоянно встрѣчалъ славянское населеніе. Между прочимъ, много сербовъ греческой вѣры, „а тѣ сербы подъ державою венецкою, недавно избѣжали отъ рукъ проклятыхъ босурманъ, отъ державы турецкаго султана, и живутъ смежно съ турецкими городами и съ деревнями. Тѣ сербы люди военные, подобятся во всемъ донскимъ казакамъ, говорятъ всѣ славянскимъ языкомъ, платье носятъ герватское. Жены ихъ и дочери во всемъ подобны герватскимъ женамъ въ платьѣ и въ обыкностяхъ, и зазоръ отъ мужеска полу имѣютъ и скрываются“. Сербы „къ московскому народу зѣло привѣтны и почитательны“. Въ селѣ Ризѣ, гдѣ живутъ сербы греческаго закона, онъ слушалъ святую литургію на славянскомъ языкѣ. „Того помяннаго села Ризы жители приняли меня съ любовью и съ великимъ почтеніемъ и, какъ изъ того села поѣхалъ, проводили меня до моей лодки великимъ многолюдствомъ. Въ той помянутой греческой церкви имѣютъ нѣкоторыя церковныя книги и московской печати, также есть и святія иконы московскихъ писемъ пшялистовыхъ, а завозятъ туда иконы и книги съ Москвы греки“. Около Каттаро „живутъ вольные люди, которые называются чер-

ногорцы. Тѣ люди суть вѣры христіанской, языка славянскаго, и есть ихъ немалое число, никому не служатъ, временемъ войну точать съ турками, а временемъ воюются съ венетами“. Въ Барѣ онъ описалъ съ обычной обстоятельностью храмъ Николая Чудотворца, и здѣсь опять были ему показаны многія рѣдкія святыни: крестъ, сдѣланъ изъ самаго древа креста Христова; потомъ одинъ гвоздь отъ терноваго Христова вѣнца, обогранный спасительною пречистою Его кровію; часть губы, которою наполни оцтомъ проклятые іудеи Господа славы во время спасительной Его страсти на крестѣ; власы Пресвятыя Богородицы; часть одежды Пречистыя Дѣвы Маріи Богородицы, которую носила на пречистомъ своемъ тѣлѣ. Наконецъ, онъ рассказываетъ, что мощи Николая Чудотворца въ изобилии источаютъ святое миро, и „шедъ я къ той церкви, купилъ себѣ два погребца со склянницами на святое миро, истекающее отъ мощей іерарха чуднаго Николы, которые погребцы канонники той церкви немедленно мнѣ наполни святымъ чудотворнымъ миромъ, и съ тѣмъ великимъ даромъ, прочитавъ у чудотворцевыхъ мощей акаѣистъ, паки пошелъ во оstarію, въ которой стоялъ“.

Изъ Бара онъ отправился въ Неаполь, нанявши фурмана. Опять подробное описаніе храмовъ, чудесныхъ святынь, гошпиталей, богатаго убранства. Около города „есть гора зѣло высока, которая непрестанно отъ сотворенія свѣта горитъ, и въ день отъ горы курится дымъ, а ночью бываетъ видѣть и огонь; и такъ, сказываютъ, всегда безпрестанно горитъ и не угасаетъ никогда ни на малое время“. Здѣсь ему встрѣтились также памятники классической древности, которые онъ описываетъ по-своему. Онъ видѣлъ, напр., Байи. „Тотъ городъ былъ области Нерона мучителя, и великъ былъ гораздо, около его было мѣрою 10 миль итальянскихъ, стоялъ при самомъ морѣ... Тотъ городъ весь развалился, и мѣсто то, гдѣ былъ, поросло лѣсомъ, однакоже и нынѣ видимы суть остатки того города: палаты и божицы поганскихъ боговъ, которые были въ томъ городѣ, построены при проклятомъ помяненномъ мучителѣ Неронѣ... Божица была во имя поганскаго бога Венуса, сдѣлана изъ плинеевъ, какихъ нынѣ нигдѣ не обрѣтается... Также и инныя знатно божицы боговъ поганскихъ, Меркуріева и иныхъ, которымъ приносилъ жертвы проклятый Неронъ, и за ту свою къ нимъ любовь купно съ ними есть въ пеклѣ“.

Итальянское искусство произвело на него сильное впечатлѣніе. Въ монастырѣ оливетанскомъ у мозаичнаго изображенія тѣла Христова въ гробницѣ „сдѣланы два подобія римскихъ филосо-

фовъ, стоящихъ на колѣняхъ. Тѣ всѣ образы зѣло преизряднымъ мастерствомъ сдѣланы; не можно познать, чтобъ не живые“. И далѣе: „въ томъ монастырѣ въ придѣлѣ видѣлъ я образъ Рождества Христова вырѣзанъ на алебастрѣ величествомъ въ высоту и въ ширину аршина по два, такою работою сдѣланъ, какой работы во всемъ свѣтѣ мало гдѣ обрѣтается, и описать о томъ по-длинно невозможно, и уму человѣческому непостижимо, какая та работа“. Раза два онъ упоминаетъ „видѣ на море и на весь городъ Неаполь“, но безъ дальнѣйшаго объясненія своихъ впечатлѣній; иногда упоминаетъ, что такой-то домъ построенъ на „веселоватомъ“ или на „красовитомъ“ мѣстѣ.

Далѣе, онъ смотрѣлъ домъ „вицеря“, т.-е. неаполитанскаго вице-короля, и описываетъ неаполитанскую академію. „Та академія построена казною публичною, т.-е. королевскою, зѣло велика, въ которой 120 палатъ великихъ нижнихъ и верхнихъ; сдѣланы тѣ палаты вверхъ въ пять житей. Въ тѣхъ палатахъ учатся до философіи и до богословіи и иныхъ высокихъ наукъ и анатоміи. Въ той академіи бываетъ студентовъ 4.000 человѣкъ и больше, учатся всѣ безъ платы, кто ни придетъ, вся плата мастерамъ королевская. Въ той же академіи сдѣлана особая палата на диспуты и на свидѣтельства учениковъ“ и т. д.

Онъ осмотрѣлъ далѣе приказы неаполитанскаго королевства, большой госпиталь на четыреста человѣкъ, и при немъ „сады изрядные для травъ и коренію въ аптеку и для забавы и гулянья болящимъ“, и чтѣ производило на него большое впечатлѣніе, здѣсь „неаполитанскіе честные (т.-е. знатные и богатые) люди для спасенія своихъ душъ служатъ больнымъ, кто изволитъ“. Неаполитанскіе знакомые повезли его смотрѣть „разныхъ наукъ, которымъ наукамъ учатся неаполитанскихъ жителей честныхъ людей дѣти“. Они пріѣхали „на одинъ дворъ, который построа держать изъ платы езуиты“. „Самый городъ Неаполь каменный, изряднымъ мастерствомъ построенъ, ворота проѣзжія предивною пропорціею устроены, и дома всѣ въ Неаполѣ каменнаго строенія, а деревяннаго ничего нѣтъ. Палаты неаполитанскихъ жителей модою особою, не такъ какъ въ Италіи, въ иныхъ мѣстахъ подобятся много московскому палатному строенію (?). Украшеніе въ палатахъ имѣютъ изрядное“, и пр.

„Неаполитанцы мужеска полу къ форестирамъ, т.-е. къ иноземцамъ, ласковы и привѣтны, а женскій полъ и дѣвицы имѣютъ нравы зазорные и скрываются подобно московскимъ обычаямъ“ (слово „зазорные“ значитъ здѣсь: имѣющіе зазоръ, т.-е. стыдливые; теперь это слово имѣетъ противоположный смыслъ).

„Всѣ неаполитанскіе жители, честные люди, живутъ не безлюдно, и за каретами ихъ, когда сами и жены ихъ ѣздятъ, ходитъ пѣшихъ людей довольно, подобно московскому обыкновенію“.

Онъ подробно описалъ увеселенія неаполитанскихъ „честныхъ людей“, прогулки на морѣ, съ пушечной пальбой, иллюминаціями и фейерверкомъ,—„а галіоты, т. е. работники или гребцы на тѣхъ галерахъ на всѣхъ наги“.

Наконецъ, онъ замѣчаетъ, что въ Неаполѣ всегда теплота, „для того, что Неаполь подъ зодіей темперамента (?) и близокъ ко экватору, всего высоты на сорокъ трехъ градусовъ, а въ лѣтѣ жары отъ солнца бываютъ въ Неаполѣ непомѣрные“.

Изъ Неаполя Толстой сдѣлалъ путешествіе на Мальту, которая была столицей мальтійскаго рыцарства и представляла школу морской войны—Мальта воевала тогда съ турками. По дорогѣ Толстой видѣлъ „Цицилійскій островъ“, упоминаетъ здѣсь Мессину, Катанію, Сиракузы. На Мальтѣ онъ былъ любезно принятъ рыцарями; опять насмотрѣлся разныхъ священныхъ рѣдкостей и получилъ свидѣтельство о пребываніи на островѣ и о встрѣчахъ съ кораблями невѣрныхъ турковъ. Вернувшись въ Неаполь, онъ отправился назадъ въ Венецію, съ небольшими остановками въ Римѣ и Флоренціи, чтобы „видѣть всякія вещи, которыя потребно форестирамъ смотрѣть“. Въ Римѣ онъ пробылъ всего пять дней (13—18 августа), но при помощи „дворянина“, назначеннаго къ нему отъ „римскаго воеводы“, онъ успѣлъ видѣть множество достопримѣчательностей.

Храмъ св. Петра поразилъ его своимъ великолѣпіемъ. Толстой подробно описалъ площадь—изрядную, ровную и великую, сосчиталъ столбы, округло построенные около той площади (576), столбъ каменный по срединѣ площади, зѣло высокій и сдѣланный изряднымъ мастерствомъ, два фонтана великіе и изрядные и т. д. „Церковь св. апостола Петра зѣло велика, какой другой величиною на всемъ свѣтѣ нигдѣ не обрѣтается и предивнымъ мастерствомъ сдѣлана. Передъ тою церковью сдѣланъ рундукъ превеликій, и такимъ предивнымъ мастерствомъ и препорціею тотъ рундукъ построенъ, что подробно его описать трудно. Съ того рундука входъ въ паперть, которая сдѣлана передъ той церковью зѣло велика и предивнымъ мастерствомъ устроена. Изъ той паперти въ ту церковь сдѣланы зѣло превеликія пятеры двери рядомъ, у которыхъ изрядные мѣдныя литые затворы предивнымъ мастерствомъ сдѣланы. Въ той церкви превеликіе столбы, на которыхъ утверждены церковные своды.

„Между тѣхъ столбовъ подѣланы престолы по римскому обыновенію предивнымъ мастерствомъ, и украшеніе въ той церкви изрядное. Посреди той великой церкви сдѣланъ алтарь римскій, надъ которымъ сдѣлана сѣнь на четырехъ столбахъ, зѣло высокихъ. Та сѣнь и столбы устроены преудивительнымъ рѣзнымъ мастерствомъ, и на тѣхъ столбахъ поставлены по угламъ ангелы рѣзные дивною работою сдѣланы, и та сѣнь и столбы и ангелы всѣ вызолочены изрядно“. За алтаремъ у стѣны церковной поставлена „та каедрa, на которой сидѣлъ св. апостолъ Петръ, проповѣдую святую во Христа вѣру и поучалъ народы“, и пр. „Та великая церковь изнутри вся сдѣлана изъ бѣлаго мрамору изряднымъ мастерствомъ... Мостъ въ той церкви весь мраморовый изъ розныхъ мраморовъ собранъ предивной работою. Письма въ той церкви по стѣнамъ и сводамъ зѣло преудивительныя преславной италянскон живописной работы“...

Въ Ватиканскихъ садахъ, онъ, кромѣ изряднаго огорода, деревъ и цвѣтовъ, посаженныхъ предивною препорціею, насмотрѣлся также множества преславныхъ фонтанъ. Онъ осматрѣлъ знаменитыя палаццы и виллы Бургезо (Боргезе) и Памфили, и его поразили изрядныя гульбища, „штуковатые“ и предивныя фонтаны (съ сюрпризами), предивныя картины, небесныя глобусы, предивная рѣзба, преузорочная живопись, дѣвицы и „мужики“, сдѣланныя изъ камня, водяная музыка, удивительныя вещи изъ естественной исторіи, изрядныя уборы, завѣсы, зеркала въ палатахъ и т. д. Въ римскихъ храмахъ онъ наглядѣлся великихъ чудесъ. Въ храмѣ „Санъ-Янъ-Латеранъ“, церкви „Санта Марія Маіоръ“ и другихъ, онъ видѣлъ подлинный нерукотворенный образъ, посланный Христомъ къ Авгарю; видѣлъ главу св. Іоанна Крестителя съ растворенными очами, потомъ видѣлъ другой нерукотворенный образъ, данный Христомъ св. Вероникѣ, копье, которымъ прободенъ былъ Христосъ на крестѣ, доску того стола, на которомъ Іисусъ Христосъ учинилъ Тайную вечерю, и т. п.; въ одной церкви подъ алтаремъ наглухо задѣланы тѣ ясли, которыя были въ вертепѣ при Рождествѣ Христовѣ, и много иныхъ чудесъ. Осматривая во второй разъ церковь св. Петра, онъ поражался, кромѣ рѣдкихъ святынь, и всякими ея богатствами. „Богатства въ той великой церкви, каменью узорочнаго, алмазовъ, яхонтовъ, и изумрудовъ, лаловъ въ всякомъ церковномъ строеніи, также жемчугу, золота, серебра и иныхъ всякихъ дорогихъ узорочныхъ вещей неудобъсказанное множество, собрано отъ древнихъ лѣтъ напежами и самими кесарями римскими древними. Иконъ святыхъ предивныхъ греческихъ древнихъ пи-

семь множество, также и по стѣнамъ есть во многихъ мѣстахъ древнія греческія письма святыхъ иконъ“.

Наконецъ, видѣлъ онъ разные памятники классической древности. Подъ великою церковью, какъ называется онъ храмъ св. Петра, видѣлъ онъ „ретрату, т.-е. персону, высѣченную изъ бѣлаго камня, проклятаго мучителя Нерона, которая не токмо дѣломъ, и видѣніемъ подобится самому дьяволу“. Въ домѣ одного римскаго князя „видѣлъ высѣчаннаго изъ одного камня превеликаго быка предивною работою сдѣланнаго; также видѣлъ изъ камня высѣчены подобія древнія Геркулесу, Меркурію, Ахиллеса и иныхъ изрядною работою сдѣланы, а сказываютъ, что тѣ подобія древнихъ лѣтъ найдены въ землѣ“. Между прочимъ любопытно замѣчаніе: „Въ Римѣ говорятъ итальянскимъ языкомъ изрядно, чисто, многихъ итальянскихъ мѣстъ лучше“.

Во Флоренціи онъ пробылъ только одинъ день, но все-таки успѣлъ пересмотрѣть немало достопримѣчательностей, и присоединилъ отдѣльное описаніе Флоренціи. „Во Флоренціи народъ чистый и зѣло пріемный къ форестирамъ“; „подлый народъ во Флоренціи побоженъ, политиченъ и зѣло почитателенъ и правдивъ“; „во Флоренціи много мастеровъ изрядныхъ, живописцевъ изряднаго итальянскаго мастерства, которые изрядно пишутъ“. Изъ Венеціи онъ выѣхалъ 30 октября, въ Вѣну прибылъ 18 ноября и выѣхалъ въ дальнѣйшій путь 30-го; 15 января 1699 года прибылъ въ Борисовъ. Здѣсь „былъ у образа Пресвятыя Богородицы, о которомъ я въ сей книгѣ писалъ выше сего, и на томъ образѣ чернаго мѣста прибыло много предъ тѣмъ, какъ я видѣлъ тотъ самый образъ, ѣхавъ съ Москвы“. Наконецъ 27 января „пріѣхалъ въ 3-му часу ночи въ царствующій градъ Москву въ домъ свой въ добромъ здоровьѣ, за что благодарилъ Всемилостиваго Господа Бога и Пресвятую Богородицу и угольниковъ Божіихъ, что изъ такъ далекихъ краевъ и изъ нужнаго странствія волею Божескою возвратился во отечество въ добромъ здоровьѣ“.

Мы остановились подробно на путешествіи Толстого, потому что, написанное болѣе обстоятельно, чѣмъ другія, оно служитъ въ особенности типическимъ образчикомъ впечатлѣній русскихъ людей при первомъ знакомствѣ съ Западомъ. Любопытно наблюдать эту двойственность взглядовъ, когда старое еще болѣе или менѣе крѣпко держалось въ умахъ, а новое противъ воли захватывало своими поражающими впечатлѣніями. Петръ ничего не говорилъ о томъ, какъ слѣдовало русскимъ относиться къ ино-

земнымъ обычаемъ, а просто указывалъ практическое дѣло, — они могли вѣдаться съ иноземными обычаями, какъ знали; но во всякомъ случаѣ онъ рѣшительно отвергъ всякій страхъ, какимъ прежде одержимы были московскіе люди къ латинству, люторству и пр. и къ западному обычаю. Долженъ былъ начаться собственный опытъ.

Эти десятки и сотни русскихъ людей, особливо изъ самаго высшаго круга, отправляясь на цѣлые годы за границу, и должны были переживать упомянутый психологическій процессъ. Если въ старомъ обиходѣ ихъ понятій стала происходить какая-нибудь перемѣна, если кромѣ техническихъ знаній они усваивали еще другія знанія, обычаи и т. п., это было уже ихъ доброю волей, результатомъ того, что расширялся опытъ, дѣлалось сравненіе, являлось желаніе усвоить то, что казалось полезнымъ или завлекательнымъ. Если потомъ это сопровождалось „рабской“ подражательностью, здѣсь не была только измѣна старому обычаю, но обнаруживалась и слабость этого обычая, который не выдерживалъ сравненія: съ бытовой новизной соединялись новыя понятія и впечатлѣнія, которыя старинѣ были совсѣмъ невѣдомы и дѣйствіе которыхъ было неотразимо.

Путешествіе Толстого по формѣ и содержанію является типическимъ выраженіемъ этого перелома. Новый міръ западной жизни раскрывался передъ нимъ постепенно, и естественной формой впечатлѣнія былъ дневникъ: авторъ не пытался и послѣ собрать свои наблюденія въ цѣлое; вѣроятно и въ дѣйствительности они не были сведены у него въ какое-нибудь общее сравненіе западной жизни и московской старины. Форма дневника была традиціонная: такъ писались издавна старинныя путешествія, начиная съ хожденій паломниковъ и кончая статейными списками пословъ и дѣловыхъ людей. Такъ нѣкогда писалъ свое путешествіе во Флоренцію на соборъ суздальецъ Симеонъ: и онъ подобнымъ образомъ записывалъ день за день свои впечатлѣнія и также дивился нѣмецкимъ городамъ, — отмѣчая каждый разъ неизмѣнно: „городъ камень“ (потому что дома привыкъ только къ деревяннымъ) и поражаясь достопримѣчательностями (какихъ дома не видывалъ). Путешествіе Толстого примыкаетъ прямо къ сказанію Симеона суздальца и статейнымъ спискамъ. Полная старина видна и въ томъ постоянномъ вниманіи, какое этотъ путешественникъ постоянно обращаетъ на вопросы вѣроисповѣданія. Проѣзжая западный край, онъ постоянно сосчитываетъ, сколько есть церквей католическихъ, сколько людей прямой греческой вѣры или уніатовъ. Въ большихъ итальянскихъ городахъ, какъ

Венеція и Римъ, въ славянскихъ городахъ Далмаціи, онъ отыщеть греческія церкви, прослушаетъ обѣдню, опять замѣтитъ, какъ держатъ себя въ церкви греки или славянскіе единовѣрцы, освѣдомится и укажетъ, откуда у послѣднихъ берутся церковныя книги, и т. д. Путешествіе Толстого было первымъ памятникомъ нашей литературы, гдѣ были въ изобиліи описаны священныя достопримѣчательности римской церкви, и при этомъ мы не замѣчаемъ у него какой-либо вражды или недовѣрія: его вѣра была полная и благочестіе удовлетворялось, хотя бы въ латинскомъ храмѣ; за невозможностью православнаго молебна, онъ самъ прочитываетъ акаенствъ; въ Барѣ онъ принимаетъ отъ римскихъ монаховъ святое миро, исходящее отъ мощей Николая Чудотворца; въ Римѣ находитъ и почитаемую православными святыню—мощи св. Алексѣя человека божія, видѣлъ колодезь, изъ котораго Алексѣй пилъ воду въ своей нищетѣ: „изъ того колодезя и я сподобился пить воду“. Онъ былъ благочестивый московскій человекъ,—но, повидимому, уже это обиліе святыни, находящейся въ католическихъ рукахъ, сглаживало обычную нетерпимость къ латинству: при этомъ богатствѣ святынь, при величій храмовъ, гдѣ благочестіе собрало безчисленныя украшенія изъ золота, серебра, драгоценныхъ камней „предивнымъ мастерствомъ“,—что даже „невозможно описать“,—ему не приходила мысль считать и называть это латинство „поганымъ“. Кромѣ того, въ этомъ латинствѣ онъ видѣлъ такія вещи, какихъ въ московскомъ государствѣ не бывало: при монастыряхъ бывали нерѣдко громадныя госпитали, гдѣ всякихъ больныхъ лечили и покоили даромъ „ради Христа“, и за больными ухаживали „честные люди“, т.-е. богатые и знатные, для исполненія христіанскаго долга. Въ мальтійскомъ орденѣ онъ видѣлъ необычайный примѣръ, опять католическаго, полу-монашескаго рыцарства, посвятившаго себя борьбѣ съ невѣрными, тѣми самыми врагами Христа, противъ которыхъ вѣками боролся и русскій народъ.

Путешественникъ наблюдалъ потомъ иноземныя нравы, и здѣсь на каждомъ шагѣ видѣлъ обычаи, несходные съ московскими. Онъ записалъ много такихъ особенностей. Московскій человекъ сказался въ его пренебрежительномъ отношеніи къ польскимъ политическимъ обычаямъ и, говоря объ нихъ, онъ измѣнилъ даже своему обычному хладнокровію. Въ описаніи западныхъ обычаевъ онъ отмѣчаетъ фактъ, не сопровождаая его своимъ мнѣніемъ, но иногда хвалить чужіе обычаи, считая ихъ разумными, а когда онъ описываетъ свободу общественной жизни въ Венеціи, едва ли ему не представлялись, какъ противоположность, тяжелые

обычай московскіе: въ итальянскомъ судѣ „говорятъ чинно, съ великою учтивостью, а не крикомъ“; итальянцы, даже подлый народъ, люди добрые, политичные и привѣтные, и женскій народъ также политичны и изрядны и т. д.

Выѣзжая культура западной жизни его поражала. Онъ подробно описываетъ великолѣпные храмы, дома, общественныя учрежденія, крѣпости, сады, фонтаны; удивляется „предивному мастерству“, замѣчаетъ „препорцію“, „архитектуральность“. Онъ видалъ университеты и академіи, гдѣ учатъ „до философіи и геологіи“ или дохтурскому искусству. Къ этимъ наукамъ онъ, безъ сомнѣнія, относился съ уваженіемъ и счелъ нужнымъ разсказать объ ученыхъ обычаяхъ высшихъ итальянскихъ школъ.

Характерно, наконецъ, его отношеніе къ искусствамъ. Его не однажды поражали „письма“ итальянскихъ мастеровъ; нѣкоторыя изображенія казались ему точно живыми: онъ не находилъ словъ для восхваленія картинъ и скульптуры, разнаго „преузорочнаго мастерства“, которое „уму человѣческому не постижимо“, котораго „подлинно описать невозможно“. Но древнія скульптуры приводили его въ недоумѣніе: изображенія изъ античной мифологіи кажутся ему только поганскими идолами. Для нихъ вмѣстѣ съ Нерономъ онъ находитъ мѣсто только въ пеклѣ. Отзвѣы о памятникахъ искусства, когда они ему нравились, состоятъ только въ одобрительныхъ эпитетахъ, и слово „изрядный“ въ такихъ случаяхъ находится почти на каждой строкѣ.

Такимъ образомъ на первый разъ западная культура, наука, искусство поражали нашего путешественника своимъ богатствомъ и мастерствомъ: онъ поддается впечатлѣніямъ невиданнаго блеска или практической пользы; онъ пока не сравниваетъ, не указываетъ необходимости этихъ знаній и искусствъ для своего отечества,—приходилось еще только изумляться. Но одинъ важный результатъ былъ уже пріобрѣтенъ. Старая нетерпимость къ латинскому, или все равно люторскому, Западу была подорвана однимъ первымъ знакомствомъ съ его жизнью; съ другой стороны, пріобрѣтено было великое уваженіе къ западному знанію и искусству, которыя были не подозрительною „хитростью“, а плодомъ ума, ученія и трудолюбія.

По преданію, Петръ Андреевичъ Толстой былъ замѣшанъ въ стрѣльцкихъ бунтахъ, и былъ уже не первой молодости, былъ женатъ и имѣлъ дѣтей, когда самъ вызвался на путешествіе, какъ думаютъ, желая выслужиться передъ царемъ. Петръ умѣлъ оцѣнить его, хотя помнилъ его прошедшее: однажды, на пиру, Петръ сказалъ ему: „Голова! голова! кабы не такъ умна ты

была, давнѣе я отрубить тебя велѣлъ“. Уже вскорѣ по возвращеніи изъ путешествія, въ 1702, Петръ отправилъ Толстого посломъ въ Константинополь, гдѣ во время дипломатическихъ разрывовъ и войнъ съ Россіею онъ два раза сидѣлъ въ Семибашенномъ замкѣ; онъ вернулся въ Россію въ 1714. Черезъ два года онъ поѣхалъ съ Петромъ въ Голландію; въ слѣдующемъ году Петръ послалъ его и Румянцова въ Вѣну съ требованіемъ выдачи царевича Алексѣя Петровича; въ началѣ 1718 года онъ и Румянцовъ вывели царевича въ Москву, затѣмъ Толстой участвовалъ въ допросахъ; подпись его стоитъ на смертномъ приговорѣ. Въ день коронованія Екатерины, 1724, онъ былъ сдѣланъ графомъ, а по смерти Петра былъ однимъ изъ немногихъ членовъ верховнаго тайнаго совѣта. Опасаясь усиленія Меншикова, онъ думалъ подорвать его значеніе при Екатеринѣ, но замыселъ открылся, и Толстой былъ лишенъ чиновъ и имѣнія и сосланъ въ Соловецкій монастырь: Екатерина только за нѣсколько часовъ до своей смерти подписала этотъ приговоръ, и Толстой умеръ въ ссылке.

Путешествіе Бориса Петровича Шереметева было непохоже на путешествіе Толстого уже тѣмъ, что Шереметевъ былъ формальнымъ посланникомъ, хотя въ его путевой грамотѣ написано было, что ѣдетъ онъ „по его охотѣ въ Италію, въ Римъ и въ Венецію, для видѣнія тамошнихъ странъ и государствъ“: но было много общаго съ Толстымъ въ самомъ отношеніи къ западному міру и его обычаямъ.

Статейный списокъ Шереметева носитъ всѣ черты XVII вѣка. Всякое дѣло начиналось тогда съ молитвой и каждому официальному документу предшествовало „богословіе“, молитвенное призываніе божіей милости и прославленіе всемогущества божія, правящаго человѣческими дѣлами. Сказавъ о цѣли путешествія по царскому указу, назвавъ спутниковъ боярина („А въ свитѣ моей обрѣтается духовнаго чина малороссійскаго края іерей Іосифъ Прокопьевъ сынъ Пишковскій. Царедворецъ Герасимъ Головцынъ. Маршалокъ Алексѣй Курбатовъ и прочіе“), статейный списокъ начинается:

„И въ томъ моемъ надлежащемъ пути возлагаю несумнѣнное мое и твердое упованіе на милость всецѣдраго во Троицѣ славимаго Бога, да Тоя управитъ путь нашъ въ своей божеской волѣ: по Бозѣ же ввергаю себя и всѣхъ присутствующихъ мнѣ въ крѣпконадежную помощь и заступленіе ходатайственное непостыдныхъ всего рода христіанскаго надежды, пресвятыя Бого-

матери и въ молитвы всѣхъ святыхъ, изъ нихъ же избрахъ мнѣ, и всѣмъ въ пути моемъ присутствующимъ, за особливаго патрона и опекуна и предводителя великаго божія пророка и Предтечу и Крестителя Господня Іоанна, о которомъ самъ Господь засвидѣтельствова пречистыми своими усты, яко не воста въ рожденныхъ женами болій Іоанна Крестителя, и о которомъ речено пророкомъ отъ лица Бога Отца ко Богу Сыну: Се азъ посылаю Ангела моего предъ лицемъ Твоимъ, иже уготовитъ путь твой предъ тобою. Да той плотный Ангель, великій Божій Предтеча, аще мы и недостойны есмы, обаче не оставитъ насъ во претрудномъ семъ пути нашемъ, но уготовитъ намъ той путь нашъ миренъ, безмятеженъ и во всемъ благополученъ; и якоже древле Моисея, съ нимъ же и весь родъ еврейскій изъ Египта въ землю обѣтованную, предводительствуя первый въ ангелѣхъ великій Божій Архистратигъ Михаилъ, во дни утѣшаше отъ зноя облакомъ прохлажденія, въ нощи же показоваше и просвѣщаше имъ путь столпомъ огненнымъ: тако да и намъ патронъ и предводитель, первый честію во святыхъ, въ семъ претрудномъ и скорбномъ пути нашемъ, прохладитъ насъ отъ зноя всякихъ печалей и болѣзней прохладженіемъ утѣшенія и исцѣленія, и будетъ намъ столпомъ крѣпости отъ лица вражія, и во здравіи всецѣлыхъ возвратитъ насъ во всякомъ благоденствіи въ дома наши“, и т. д. Но журналъ писанъ не самимъ Шереметевымъ, а кѣмъ-либо изъ его свиты, и о немъ говорится въ третьемъ лицѣ: бояринъ.

Выѣхавъ изъ Москвы 22 іюня, Шереметевъ подвигался медленно; по дорогѣ встрѣчались собственныя вотчины, въ которыхъ Шереметевъ останавливался иногда по нѣскольку дней „за великими нуждами и управленіями“. Уже во второй половинѣ августа, Шереметевъ былъ въ Черниговѣ, „а оттуда по обѣту ѣздилъ бояринъ въ Кіевъ, въ Печерскій монастырь, и паки пріѣхалъ въ Черниговъ“.

Въ польскихъ предѣлахъ „бояринъ увѣдомился подлинно отъ жителей тамошнихъ, что-де въ коронѣ польской и въ княжествѣ Литовскомъ содержится великая конфедерація и рокошъ между сенаторовъ и шляхтъ, которые со стороны королевскаго величества, и которые имѣли совѣтъ со стороны де-Бонти, принца французскаго, желая ему быть королемъ польскимъ, и многіе-де между ними чинятся мятежи и убійства, только-де имѣютъ тѣ рокошане страхъ и опасеніе отъ войскъ его царскаго пресвѣтлаго величества; и говорили боярину тутешніе духовнаго чина жители, чтобы бояринъ всячески старался ѣхать чрезъ страну польскаго

владѣнія съ великимъ опасеніемъ, утапвая достоинство свое и имя, чтобъ отъ тѣхъ рокошанъ не пострадать чего зла.

„И бояринъ тутъ совѣтовавъ, постановилъ звати себя Романомъ ротмистромъ его царскаго пресвѣтлаго величества; а прочимъ при немъ будущимъ, которые царедворцы и дому его слуги взяты были для провожанія до Кракова, приказалъ называться равными товарищами, и ѣсть за однимъ столомъ“.

Дѣйствительно, во владѣніи князя Радзивилла, губернаторъ, жители и шляхта задержали путешественниковъ; они прослышали, что ѣдетъ не „равное товарищество“, а бояринъ, и что между ними есть именно Шереметевъ, гетманъ войскъ царскаго величества, а царское войско стоитъ на границѣ, чтобы дѣйствовать противъ тѣхъ, которые держатъ сторону де-Конти. Шереметевъ разувѣрялъ ихъ, показывалъ другой пасъ и едва добился пропуска.

Другой приѣмъ былъ путешественникамъ въ Замостьѣ, принадлежавшемъ вдовѣ подскарбія короннаго Мартына Замойскаго (между прочимъ, здѣсь была „церковь благочестивая чудотворца Николая“); здѣсь жила и сама панья подскарбина. Шереметевъ, сохраняя свое инкогнито, сдѣлалъ ей визитъ со всей свитой.

Ихъ просили и къ другому пану, который принималъ ихъ „зѣло любовно“; тамъ они „банкетовали“ и съ дочерью его и съ иными паньями, которыя пришли изъ замка отъ паньи подскарбиной, танцовали „часу до девятаго ночи“. Затѣмъ въ статейномъ спискѣ цѣлое описаніе банкета у Замойской.

Въ Краковѣ, въ дружественномъ мѣстѣ, инкогнито было не нужно: Шереметевъ со всѣмъ церемоніаломъ представлялся королю Августу и въ торжественной рѣчи сказалъ, что зная непоколебимую дружбу между великими государями, возжелалъ видѣть „преславную и мудрохрабую особу его величества“ и „предложить свое поклоненіе“.

Въ концѣ ноября Шереметевъ выѣхалъ изъ Кракова на Вѣну, куда приѣхалъ 10 декабря. Здѣсь опять церемоніальное представленіе римскому императору, говорилась рѣчь, причемъ бояринъ поклонился цесарю „обыкновенно въ поясъ“. Императоръ подозвалъ римскаго государства подканцлера графа Цейля и „говорилъ ему тихо“, а подканцлеръ „стоялъ предъ цесарскимъ величествомъ, слушая той рѣчи на колѣняхъ, и выслушавъ всталъ, и отошедъ отъ трону цесарскаго сажени на двѣ, говорилъ боярину рѣчь“, и т. д. Потомъ была подобнымъ образомъ аудіенція у сына цесаря, римскаго и венгерскаго государствъ короля. Черезъ нѣсколько дней боярину велѣно было присутствовать при

публичномъ столѣ императора съ семействомъ, куда Шереметевъ ѣздилъ, „убравшись въ нѣмецкое платье“, и „стоялъ на особливомъ мѣстѣ при столѣ“. Кушанье и питье подавали фрейлины и придворныя дамы и при этомъ „цесарева (т.-е. императрица) изволила присылать къ боярину фрейлинъ своихъ двухъ, которыя умѣютъ говорить по чехскому, чтобы онѣ съ бояриномъ разговаривали, и онѣ, пришедъ къ боярину, уклоняся говорили, что показался ли-дѣ тебѣ сей цесарскаго величества чинъ? И бояринъ того цесарскаго величества чинъ зѣло хвалилъ“ и пр.

Послѣ труднаго зимняго пути черезъ горы Штиріи и Каринтіи Шереметевъ пріѣхалъ 5 февраля въ Венецію, гдѣ опять происходили официальные визиты, обмѣня грамотъ и подарковъ, а именно: „Февраля 27 дня отъ князя венеціанскаго и отъ всего сената привезли къ боярину, отдавая почестъ, сосудовъ дорогихъ хрустальныхъ и сахаровъ ряженныхъ всякихъ и конфектовъ на стѣ осьмидесяти блюдахъ большихъ серебряныхъ, да винъ всякихъ разныхъ шестьдесятъ фляшъ скляночныхъ и свѣчъ восковыхъ всякихъ множество, а привозилъ то магистеръ ди камора республики: и бояринъ его дарилъ пару соболей, мѣхъ горностаевой, два мѣха бѣлыхъ, да пятьдесятъ червонныхъ: да которые приносили, тѣмъ всѣмъ сто червонныхъ“.

Въ мартѣ Шереметевъ выѣхалъ въ Римъ, взявши съ собой двухъ своихъ братьевъ, жившихъ раньше въ Венеціи. Они ѣхали черезъ Падую („городъ великій и строеніе въ немъ старинное, и тутъ въ церкви лежатъ мощи римскаго святого Антонія де Падуга, также имѣются въ семъ городѣ и академіи докторскія преславныя“); потомъ Ровиго, Феррару („городъ есть великій“), Болонью („городъ зѣло великъ и церкви въ немъ и палаты президенты, и школы учительныя великія“), Имолу, Фаэнзу, Римини, Пезаро, Синигалью и Лоретто, гдѣ остановились. Въ этомъ городѣ „имѣется домъ Пресвятыя Богородицы, пренесенный ангелы; глаголютъ тотъ домъ быти тотъ, который былъ въ Назаретѣ, въ которомъ Пресвятѣй Богородицѣ отъ Архангела Гавріила было благовѣщеніе, и въ которомъ воспитала сына своего Господа нашего Иисуса Христа, въ которомъ же дому пренесенъ и образъ Пресвятыя Богородицы съ предвѣчнымъ Младенцемъ, вырѣзанъ изъ дерева, и сосуды, чашечка и блюдечко, изъ которыхъ сама Пресвятая Богородица и Сынъ и Богъ ея питался, глиняные; въ томъ дому окно, гдѣ было благовѣщеніе, и комель или труба, гдѣ Пресвятая Богородица огонь вала и варила ястіе: тотъ домъ палата каменная, стоитъ безъ фундамента чотыреста лѣтъ, а стоитъ нынѣ въ великой церкви, и кругъ того дому об-

дѣлано вновь палатою изъ мрамора и по всему вырѣзаны притчи евангельскія и инныя весьма богато и искусно, и скарбъ въ той церквѣ Ея пресвятыя Богородицы для дому Ея присланный отъ всѣхъ монаховъ и отъ великихъ знатнѣйшихъ особъ отъ каменьева алмазовъ, яхонтовъ, изумрудовъ и иныхъ, также отъ золота, серебра и жемчугу превеликій и неисчетный; чаю будетъ на нѣсколько миллионъ“.

Въ Римъ пріѣхали 21 марта. Статейный списокъ подробно излагаетъ торжественныя приемы и визиты. Шереметевъ, конечно, насмотрѣлся и всякихъ рѣдкостей. Въ церкви апостоловъ Петра и Павла, гдѣ ихъ мощи почиваютъ, онъ слушалъ обѣдню; „по совершеніи же той обѣдни казали боярину копіе, которымъ на крестѣ прободенъ бысть Господь и Богъ нашъ; потомъ казали образъ Спасителя, который самъ Господь Богъ вообразилъ на полотнѣ или платѣ, который платъ поднесла ему утертиса святая мученица Вероника подъ часъ вольнаго Его страданія в несенія Креста на Голгоѣ; напоследѣи же казали великую часть древа Животворящаго Креста, и вся сія у нихъ зѣло въ великомъ благоговѣніи и почитаніи“.

Въ церкви св. Іоанна Предтечи „сподобился видѣть кровь Спасителя нашего Бога въ сосудѣ весьма украшенномъ: сударь, иже бѣ на главѣ Христовѣ во гробѣ; лентіонъ, имъ же бѣ препоясанъ во время умовенія ногъ святымъ своимъ ученикомъ и апостоломъ; ризы часть Пресвятыя Богородицы; платъ, который Пресвятая Богородица носила на главѣ своей; главы святыхъ апостолъ Петра и Павла“ и т. д. Въ другой церкви онъ видѣлъ „...одежды святыхъ апостолъ Петра и Павла и Стефана архидіакона: тамъ же ризы, сдѣланы отъ ангеловъ святому Петру апостолу; также въ крестѣ устроено и положено часть пупа Христова и часть обрѣзанія: еще часть башмаковъ Христовыхъ“, и пр.

На аудіенціи у папы Шереметевъ опять говорилъ рѣчь и представилъ царскія грамоты папѣ. Выслушавъ отвѣтную рѣчь папы, бояринъ „цѣловалъ папину руку, а папа объемъ его поцѣловалъ въ голову, и зѣло принялъ любезно и весело“.

Слѣдовали далѣе взаимныя подарки и визиты, и папа прислалъ Шереметеву съ однимъ изъ своихъ епископовъ золотой крестъ съ рѣзбой и финифтью, заключавшій въ себѣ частицу древа Креста Христова и въ свидѣтельство этого епископъ приложилъ свое письмо. „И бояринъ, принявъ той предрагій и неоцѣненный клейнотъ животворящій Крестъ Господень всерадостнымъ сердцемъ и душою, во многомъ веселіи и слезахъ, зѣло

благодарствовалъ за толикую папина архипастырства неудобоплатимую милость, и вмѣнялъ себя пріятіемъ такова Божія превеликаго дара быти недостойна“.

Въ апрѣлѣ Шереметевъ былъ въ Неаполѣ и оттуда поѣхалъ до Мальты моремъ. Въ Неаполѣ предупреждали, что ѣхать надо съ великимъ береженіемъ отъ непріятельскихъ турецкихъ людей. Въ Амальфі лежатъ мощи св. Андрея Первозваннаго, привезенныя изъ Константинополя нѣкоторымъ кардиналомъ тому лѣтъ четыреста, и изъ гроба того выходитъ муро каплями, — „каноники той церкви дали боярину малый сосудъ, наполненный тѣмъ святымъ муромъ“. Въ сторонѣ отъ дороги находился извѣстный вулканъ Стромболи. „Миль за 50 стоитъ гора, которая зовется Стромболий: кругъ ея 15 миль, а на верьху той горы непрестанно горитъ мили на двѣ кругомъ, и говорятъ, что тутъ жилище діаволомъ, и такъ они въ томъ увѣрены, что и намъ такъ сказывали, и многіе-де были такія причины (случаи), что многія фелюги съ людьми діаволами утаскиваемы бывали къ той горѣ, и потопляемы въ море“.

На пути къ Мальтѣ Шереметевъ встрѣтилъ мальтійскій караванъ изъ семи галеръ, находившійся въ морѣ „ради военнаго промысла“. Когда на караванъ узнали о бояринѣ, мальтійскій генералъ Спинола оказалъ ему великую любезность, выслалъ къ нему капитана въ своей баркѣ, украшенной рѣзьбой и золотомъ, и когда Шереметевъ пересѣлъ на эту барку съ своими братьями, то караванъ, всѣ семь галеръ, пошли навстрѣчу боярину, устроившись по-воински, и когда бояринъ вступилъ на лѣстницу, спущенную съ генеральской галеры, то въ честь его выстрѣлили на галерѣ изъ пяти большихъ пушекъ. Привѣтствуя генерала, Шереметевъ объяснилъ ему цѣль путешествія, и что Богъ исполнилъ его желаніе „видѣти въ военномъ ополченіи его господина генерала и кавалеровъ мальтійскаго каравана, и въ особенное ставилъ себѣ въ томъ божеское милосердіе, что въ такой часъ къ нимъ благоволилъ Богъ ему пріѣхать, и быть подъ его генеральскою командою“. Мальтійскій генералъ отвѣтилъ, что они считаютъ за счастье видѣть на своемъ убогомъ караванѣ знатную особу изъ далекой превеликой страны и отъ славнаго мудрохрабраго государя, видѣть его славнаго генералиссимуса, и отдалъ себя и свою эскадру подъ его команду. Шереметевъ никакъ не могъ отговориться отъ этой любезности и „мальтійскій генералъ господинъ Спинола весь свой урядъ отдалъ ему, боярину. И божіею непобѣдимую помощію... тотъ военный караванъ

управленъ къ лучшей чести и къ славѣ преславнаго имени великаго и премилостивѣйшаго нашего государя“.

Дѣло въ томъ, что вскорѣ послѣ этого на галерахъ увидѣли четыре турецкихъ корабля; мальтійскія галеры погнались за ними, но тѣ успѣли убѣжать. На Мальтѣ Шереметеву сдѣлана была самая торжественная встрѣча. Статейный списокъ записываетъ всѣ мельчайшія подробности. Шереметевъ осматривалъ мальтійскія крѣпости — и въ это время въ честь его производилась пальба изъ пушекъ и мелкаго ружья, — участвовалъ 8 мая на большомъ праздникѣ мальтійскаго ордена, въ память Іоанна Предтечи ему давали торжественный банкетъ; онъ осматрѣлъ, конечно, и мальтійскія святыни.

По обычаю, бояринъ послалъ подарки и въ концѣ концовъ грандъ-магистеръ, пригласивъ боярина на банкетъ, сдѣлалъ ему торжественную встрѣчу, возложилъ на него драгоценный мальтійскій кавалерскій крестъ, золотой съ алмазами; произнесъ соотвѣтственную рѣчь и вручилъ грамоты въ русскому царю и римскому императору. Простились „зѣло любовно“.

По возвращеніи изъ Мальты, въ Неаполѣ, архиепискупъ пригласилъ боярина въ дѣвичій монастырь видѣть чудо съ кипѣніемъ крови св. Януарія во время литургіи. Чудо начало совершаться по прочтеніи евангелія и, видя его, „всѣ люди, находившіеся въ той церквѣ, въ великомъ были радованіи, и по обыкновенію латинскому били въ свои перси, премногіе же плакали“... „Бояринъ и съ нимъ бывшіе самовидцы онаго преславнаго чудеса“.

Изъ Неаполя Шереметевъ сдѣлалъ поѣздку въ городъ Баръ, для поклоненія мощамъ чудотворца Николая; на этотъ разъ статейный списокъ вошелъ въ подробности объ этомъ посѣщеніи — приблизительно тѣ же, какія сообщаетъ Толстой. По возвращеніи, Шереметеву показали картезіанскій монастырь на превысокой горѣ надъ самымъ Неаполемъ: въ статейномъ спискѣ записано великолѣпіе постройки этого монастыря и строгость монашеской жизни картезіанцевъ. Въ тотъ же день „звали боярина езуиты смотрѣть ихъ академію, въ которой учатъ письменнымъ всякимъ наукамъ и инымъ многимъ художествамъ“ — эту академію видѣлъ и Толстой. Между прочимъ „казали, какъ бывалися прежніе богатыри копьями и саблями, убравъ шесть человекъ въ латы: потомъ многіе знатныхъ отцовъ дѣти билися на рапирахъ, и выходили со знамены строемъ, и строй оказывали пѣхотною“, и пр.

Въ послѣдніе дни пребыванія въ Неаполѣ Шереметевъ былъ

свидѣтелемъ сянлаго изверженія Везувія, которое привело жителей въ великій ужасъ. Въ Римѣ онъ опять имѣлъ аудіенцію у папы, отъ котораго получилъ „благопріятственное снисхожденіе и милость“, а также грамоты къ римскому императору и къ русскому царю. Во Флоренціи онъ, хотя не заявлялъ о себѣ официально, былъ чрезвычайно любезно принятъ великимъ герцогомъ Козьмой III Медичисомъ. Въ Венеціи онъ прожилъ шесть недѣль, ожидая отвѣтовъ на свои письма къ посламъ, и отпустилъ въ Москву своего „маршалка“ Курбатова, съ которымъ послалъ двухъ араповъ, трехъ невольниковъ малороссійскихъ городовъ, выкупленныхъ въ Мальтѣ и въ Неаполѣ, и часть своего багажа, и наконецъ направился домой. Въ Вѣнѣ имѣлъ аудіенцію и былъ у руки императора и его сына, короля римскаго и венгерскаго, отъ котораго получилъ драгоцѣнную шпагу за его подвиги противъ враговъ св. креста. Въ Польшѣ былъ снова въ Замостьѣ, гдѣ старая знакомая, для которой вѣроятно раскрылось прежнее инкогнито, опять „приняла боярина весьма любовно съ великою честію и почтеніемъ“. Далѣе, бояринъ былъ по обѣщанію своему въ Печерскомъ монастырѣ въ Кіевѣ и 10 февраля 1699 пріѣхалъ въ Москву. Февраля 12-го онъ представился царю на банкетѣ у Лефорта, убравшись въ нѣмецкое платье и имѣя на себѣ мальтійскій крестъ. Отъ царя онъ получилъ „милость превысокую“, царь поздравилъ его съ мальтійской кавалеріей, позволилъ ему всегда носить на себѣ этотъ крестъ, и затѣмъ состоялся указъ, чтобы Шереметевъ писался въ своихъ титулахъ „мальтійскимъ свидѣтельствомъ кавалеромъ“.

Статейный списокъ оканчивается такъ: „Будучи онъ бояринъ Борисъ Петровичъ по волѣ великаго государя его царскаго пресвѣтлаго величества въ семь вышеписанномъ пути, истратилъ кошту своего во всякія харчевныя и инныя нужныя потребности, въ наемъ постоялыхъ дворовъ и фурманскихъ подводъ и съ вышеозначенными дарами монархамъ, папѣ и прочимъ, всего по пріѣздѣ свой въ Москвѣ двадцать тысячъ пять сотъ пятьдесятъ рублей: чиня то для высочайшей чести и прославленія преславнѣйшаго имени великаго государя, его царскаго пресвѣтлаго величества, и всего его самодержавнѣйшаго государства отъ окрестныхъ странъ и государствъ, въ преумноженіе же большія славы, и въ память своей Шереметевыхъ фамиліи“.

Должно припомнить, что тогдашній рубль стоилъ около десяти нынѣшнихъ рублей.

Описаніе путешествія Шереметева совсѣмъ похоже на статейные списки XVII вѣка. Это—дѣловая запись пути, со сче-

томъ дней, станцій и верстъ и, главное, съ подробнымъ описаніемъ того, что относилось къ самому дипломатическому порученію: обстоятельно приведены всѣ его официальные сношенія, аудиенціи, рѣчи, грамоты, записаны дары монархамъ, вельможамъ и людямъ служащимъ. Только изрѣдка упоминается о достопримѣчательностяхъ видѣнныхъ странъ и говоровъ. Описание составлялось кѣмъ-то изъ находившихся при немъ лицъ — маршалкомъ или „царедворцемъ“, іереемъ; самъ Шереметевъ былъ для этого слишкомъ важное лицо. Несмотря на этотъ характеръ описанія, можно и здѣсь встрѣтить тѣ черты, какія представляетъ путешествіе Толстого. Бояринъ былъ совершенно русскій человекъ: во время путешествія ему было около сорока пяти лѣтъ (род. 1652), воспитался онъ еще въ старой школѣ, и хотя былъ приверженцемъ Петра и однимъ изъ славнѣйшихъ его сподвижниковъ, оставался стариннымъ благочестивымъ человекомъ, — тѣмъ не менѣе онъ, какъ и Толстой, не питаетъ къ латинству старой московской ненависти. На него также производили впечатлѣніе богатство католическихъ храмовъ, которое свидѣтельствовало о благочестіи, и религіозная ревность въ монашескихъ орденахъ и филантропическихъ учрежденіяхъ; онъ не усумнился принять крестъ отъ папы, и кавалерскій крестъ мальтійскаго ордена, который былъ католическій; напротивъ, то и другое онъ считалъ за великую святыню и честь. Шереметевъ гораздо меньше Толстого интересовался „академіями“, и это понятно: онъ былъ уже человекъ немолодой и слишкомъ былъ занятъ военными и придворными дѣлами.

Гораздо разнообразнѣе записи, какія сохранились отъ многочисленныхъ путешествій кн. Бориса Ивановича Куракина. Это былъ человекъ молодого поколѣнія (на четыре года моложе Петра), и двадцатилѣтнимъ юношей онъ отправленъ былъ за границу, въ Италію, въ той первой партіи стольниковъ и спальниковъ, которыхъ Петръ послалъ въ 1697 учиться навигацкимъ наукамъ. Куракинъ, кажется, не оставилъ описанія своего перваго путешествія; записки о послѣдующихъ путешествіяхъ довольно отрывочны, — но изъ совокупности оставшихся отъ него замѣтокъ, писемъ, историческихъ статей, административныхъ соображеній, собирается не только значительный матеріалъ для его будущаго біографа, но и любопытныя черты, рисующія положеніе русскаго образованнаго, или, вѣрнѣе, начинавшаго свое образованіе человека въ разгаръ Петровскихъ реформъ.

Записки Куракина написаны были гораздо позднѣе его перваго путешествія, и языкъ ихъ довольно странный. Живя долго за границей, узнавши много вещей и понятій, для которыхъ не существовало выраженія въ русскомъ языкѣ, онъ набрался множества иностранныхъ словъ, которые безъ всякой церемоніи вставляетъ въ свою русскую рѣчь: а иногда, когда хотѣлъ скрыть свою мысль отъ нежелательнаго посторонняго читателя, онъ писалъ цѣлыя фразы по-итальянски. Такимъ образомъ его изложеніе пересыпано словами польскими, латинскими, французскими и особенно итальянскими: къ этому послѣднему языку онъ, кажется, особенно привыкъ въ свое первое путешествіе. Такъ, задумавши въ 1705 году свою автобіографію, онъ дѣлаетъ на ней заглавіе „Vita del principe Boris Kougakin“. Но вообще и его русскій и итальянскій языкъ очень небреженъ.

Въ любопытной автобіографіи Куракина, доведенной до 1710, можно наглядно видѣть, какъ оригинально складывалась въ тѣ времена жизнь русскаго человѣка, захваченнаго процессомъ реформы.

Кн. Куракинъ принадлежалъ къ самому высшему кругу русскаго боярства (род. въ 1676). Его родители были еще вполне люди стараго вѣка, и годы дѣтства и отрочества Бориса Куракина проходили по стародавнему порядку. Крестнымъ отцомъ и матерью его были царь Федоръ Алексѣевичъ и сестра его, царевна Екатерина Алексѣевна. „При томъ случаѣ,—пишетъ Куракинъ,—по крещеніи имѣлъ счастье не малое, какъ бы сподѣвались (надѣялись) быть фаворитомъ, токмо не допустила его смерть, понеже царя Федора Алексѣевича до году не стало. И отъ того времени въ возрастѣ младенчества всегда имѣлъ счастье отъ всѣхъ людей, сподѣваючись во мнѣ нѣкотораго впредь состоянія добраго, токмо всегда заставлялъ въ болѣзняхъ“. И въ послѣдствіи онъ бывалъ очень болѣзненъ: страдалъ лихорадками, „меланхоліей“, какой-то болѣзнію, которую называетъ цынготной; отъ послѣдней лечился въ „Карзбатѣ“. Мать его давно умерла; ему шелъ восьмой годъ, когда умеръ и отецъ, и онъ остался на попеченіи мачихи (которая вскорѣ также умерла) и наконецъ родной бабушки, княгини Одоевской. Когда ему было восемь лѣтъ, началась его придворная служба: „того жъ года,—пишетъ Куракинъ,—пожалованъ я въ спальники къ царю Петру Алексѣевичу, и началъ того года учиться грамотѣ по-славянски“. Въ слѣдующемъ году, когда ему шелъ девятый годъ, онъ „окопчилъ грамотѣ учиться“, и съ тѣхъ поръ въ запискахъ не говорится больше ни о какомъ ученіи. Онъ записы-

ваетъ потомъ женитьбу Петра на Лопухиной, первый и второй крымскій походъ, стрѣлецкій бунтъ, рожденіе царевича Алексѣя Петровича и т. д. Пятнадцати лѣтъ онъ уже „сговорилъ жениться на дочери Ѳедора Абрамовича Лопухина“, и лѣтомъ была свадьба въ Преображенскомъ: его жена, Ксенія Ѳедоровна, была сестра царицы Евдокіи. Въ томъ же году была потѣха подъ Семеновскимъ, „а я былъ въ ту пору въ рейтарахъ въ ротѣ генерала Гордона“. На своемъ восемнадцатомъ году онъ упоминаетъ о вторичной поѣздкѣ Петра въ Архангельску: „а я въ ту пору былъ въ градусахъ со спальниками, а не съ начальными людьми“ (т.-е. вѣроятно, не съ начальными военными людьми, офицерами). На девятнадцатомъ году была объявлена „публично“ война съ туркомъ. Весною войска двинулись въ походъ водою по Москвѣ рѣкѣ, Ока и Волга до Царицына: „и въ тотъ походъ я пошелъ въ Семеновскомъ полку, въ первой ротѣ, прапорщикомъ, а написанъ прежде того только за два мѣсяца“. Походъ былъ трудный, осада тягостная, самъ Куракинъ бывалъ въ бою въ большой опасности. Азовъ не былъ взятъ; по дорогѣ въ Москву умеръ его старшій братъ, который былъ поручикомъ; самъ кн. Борисъ вынесъ на пути горячку. Въ слѣдующемъ году былъ второй Азовскій походъ, и Куракинъ былъ поручикомъ. Азовъ былъ взятъ „на окорть“ (аккордъ), на капитуляцію.

Затѣмъ, въ январѣ 1697, „обѣ комнаты спальники выбраны на двѣ партіи: одна въ Голландію, а другая въ Италію. Сказано ѣхать для науекъ навигаціи, въ тѣхъ же и мнѣ. И ту зиму собирались“... Въ мартѣ онъ выѣхалъ въ Италію.

Путешественнику, который былъ уже давно женатъ, сдѣлалъ два азовскіе похода, и у котораго во время пребыванія въ Венеціи родился въ Москвѣ сынъ, было только двадцать одинъ годъ.

О своемъ пребываніи въ Италіи онъ рассказываетъ немного.

„И сентября въ послѣднихъ числахъ, поѣхали на кораблѣ по морю, и были въ Далмаціи и доѣхали до Рагужи. Изъ Рагужи въ филюгѣ поѣхали презъ ¹⁾ гольфу венецкую въ Баръградъ, гдѣ мощи чудотворца Николая, и имѣли въ томъ проѣздѣ великій страхъ, и такъ были въ страхѣ, ажъ не потонули. И за противностію вѣтровъ, отъѣхавъ отъ Рагужи съ тридцать верстъ, стояли 12 дней, и такъ пришли до такой трудности что чуть было что стало ѣсть. И бывъ въ Барѣ у чудотворцовыхъ мощей, потомъ были въ Неаполѣ и въ Римѣ, и возвратившись

¹⁾ Чрезъ; польское przez.

въ Венецію, жили до другого лѣта. И на лѣто опять были на морѣ. И возвратясь въ осень, мѣсяца октября, изъ Венеціи, поѣхали къ Москвѣ чрезъ Вѣну и на Краковъ, а съ Кракова на Кіевъ, и въ Кіевѣ сподобились видѣть мощи чудотворцевъ печерскихъ.

„И въ бытность свою тамъ учился наукъ математическихъ, и выучился: ариѳметики, гіометріи теоріи—5 книгъ Евклидеса, гіометріи практики, тригонометріи, пляны, астрономіи часть до навтики, навтики, механики, фортификаціи офенсивы и дифенсивы. И во свидѣтельство всѣхъ тѣхъ моихъ наукъ, отъ мастера и за венецкаго князя рукою и печатью, (получилъ) свидѣтельствоваанный листъ. И также нѣкоторую часть въ разговорѣ, и читать и писать италинскаго языку научася, доволенъ“.

По возвращеніи его въ Москву, на третій день умерла его жена. Проживъ въ Москвѣ четыре недѣли, онъ долженъ былъ ѣхать въ Воронежъ на экзаменъ. „И пріѣхавъ на Воронежъ, свидѣтельствовали въ наукахъ навтичныхъ, и при томъ свидѣтельствѣ нѣкоторое счастье я себѣ видѣлъ отъ его величества... И изъ Воронежа всѣхъ по свидѣтельству отпустили; а мнѣ и Василью Толочанову велѣно ѣхать подъ Азовъ въ керченскій походъ“.

Этотъ керченскій походъ, моремъ изъ Азова, имѣлъ цѣлью сопровождать нашего посла Украинцева, который отправлялся въ Царьградъ, „а въ томъ морскомъ походѣ былъ я за валентира (волонтера) на галерѣ шаутбейнагта“.

Вслѣдъ затѣмъ Куракинъ женился во второй разъ на княжнѣ Урусовой; въ Семеновскомъ полку записанъ сначала поручикомъ, потомъ вскорѣ капитаномъ, и пошелъ въ походъ подъ Нарву. Послѣ нарвскаго пораженія вернулся въ Москву.

Среди автобіографическихъ замѣтокъ кн. Куракинъ помѣщаетъ извѣстія о разныхъ мѣрахъ правительства, мало впрочемъ входя въ подробности о томъ, какъ петровскія нововведенія были принимаемы въ обществѣ.

Наконецъ кн. Куракинъ еще разъ отправился въ походъ. Въ чинѣ майора онъ участвовалъ во взятіи Шлюссельбурга; потомъ жилъ въ Москвѣ, болѣлъ меланхоліей, весной участвовалъ во взятіи Нотебурга: „и по взятіи того города на окорть, начали дѣлать Санктъ-Петербургъ, и того же лѣта, къ осени, сдѣлали, и сдѣлавъ, тутъ оставя гарнизонъ, а сами всѣ пошли къ Москвѣ“ (1703).

Въ 1704 онъ участвовалъ въ приступѣ подъ Нарву: „и въ ту пору былъ приступъ, въ самой полдень, и взяли городъ од-

нѣми шпагами въ три четверти часа... И въ ту пору видѣлъ нѣ-
которое не малое себѣ счастье, хотя и при смертномъ часу былъ,
и отъ его величества нѣкоторую аморъ видѣлъ, также и отъ
губернатора“.

Въ 1704 онъ опять отмѣчаетъ разныя нововведенія, напр.:

„Того года начались школы математическія и другихъ наукъ
и артей ¹⁾, какъ шляпы дѣлать, сукна, кожи на лосинную стать,
штукаторныя фигуры изъ гипса, архитектурою палаты строить.

„Того года начата играть комедія нѣмецкая, и комедіанты
были привезены изъ Гамбурха.

„Того года въ канцеляріи посольской какъ въ титулахъ госу-
даревыхъ, такъ и въ другихъ премѣнность учинилась, также и
арма ²⁾ съ прибавкою учинена, при которой начали крестъ свя-
таго Андрея ставить.

„Того года матросы посланы въ Голандію учиться, гдѣ от-
туль ѣздили въ Индію, въ Турки, въ Остъ-Индію и въ другія
государства по всему свѣту разсѣяны были.

„Того года заведены школы разныхъ языковъ учиться, и про-
сто назвать академія, и кавалерійскихъ наукъ на лошадяхъ, и
на шпагахъ, и бандирѣ ³⁾, и музыкѣ, инженерству“.

Въ тѣ же годы онъ записывалъ, что велѣно табакъ публично
продавать; что „отданы на откупъ: карты, тавлен, шахматы,
юла, кости и всякія игры денежныя, чтобъ не явя тѣхъ инстру-
ментовъ, и не заклея, и не запламя пошлину, не играли; а
запламя пошлину, вольно играть“ и т. д.

Въ 1705 году онъ отправился въ польскій походъ, но по
болѣзни былъ отпущенъ за границу для леченія или, какъ онъ
пишетъ, „получилъ указъ ѣхать за море“, хотя ѣхалъ изъ Вильны
въ Карлсбадъ; впрочемъ по военному времени онъ проѣхалъ на
Кѣнигсбергъ и оттуда моремъ на Кольбергъ и затѣмъ на Бер-
линъ. Описаніе этого путешествія по обычаю обстоятельно: пере-
считываются версты или миля, указывается „пропорція съ день-
гами“ (талеръ—8 гривенъ и т. д.), цѣна харча, есть ли въ го-
родѣ фортеца, какая марканція (торговля), какое строеніе, „обы-
чай почты отходить“, и т. д. Заѣхавши въ Берлинъ, онъ пере-
считываетъ всю королевскую фамилію („король прусской при
дворѣ обходится во всемъ какъ французской“). Въ Дрезденѣ за-
писываетъ имена саксонскихъ министровъ. Въ половинѣ сентября
попалъ онъ наконецъ въ Карлсбадъ. „Карзбать называется де-

¹⁾ Итальянское arti, искусства.

²⁾ Гербъ.

³⁾ Итальянское bandiera, знамя.

ревня, а не городъ, въ которомъ уживаютъ ¹⁾ теплицы, водъ горячихъ сидѣть и пить и лѣчиться отъ разныхъ болѣзней“, и онъ описываетъ карлсбадскія воды и способы леченія.

Далѣе: „Городъ Лейпцихъ короля польскаго ²⁾, въ которомъ обрѣтается славная академія въ Германіи или, больше молвить, между лютеры. И бываетъ тысячъ по три и больше студентовъ. Тутъ же великая марканція и бываетъ въ годъ 3 феры или три ярманки, на которыхъ купечество славное живетъ со всей части Европы, какъ на прикладъ: изъ Франціи, изъ Голландіи, изъ Италіи и изъ другихъ, и также бываетъ съѣздъ великой кавалерамъ... И на той ярманкѣ бывають великіе векселя во всю Европу и въ Индію, кому нужда брать куды денегъ; и другая ярманка ей подобная во всей Германіи—Франкфуртъ... А кромѣ тѣхъ бытностей, городъ на кавалеровъ жить—скушной гораздо, только жъ знатныхъ персонъ учатся гораздо много, не такъ чтобъ князьскихъ или другихъ подобныхъ, только персонъ шляхетныхъ; также и книгъ нѣмецкаго языка иныхъ нѣтъ такихъ нигдѣ, какъ тутъ, и такъ по-нѣмцекки нигдѣ не говорятъ хорошо и справедливо (!), какъ въ Лейпцихѣ. А людьми наполненъ купеческими чужоземцами“...

„А наилучшія академіи въ имперіи или просто въ Германіи—въ Прагѣ, и наукъ всѣхъ больше, и сираведливѣе“.

Дальше онъ ѣхалъ въ Голландію, черезъ среднюю Германію и рейнскія провинціи.

Онъ довольно подробно описываетъ Амстердамъ, хотя въ самомъ началѣ дѣлаетъ такое замѣчаніе: „...Однако жъ много писать не буду, что многихъ бытность здѣсь была ³⁾ и нынѣ есть, и сами видѣли, а и напередъ сами будутъ видѣть, а не видимые (не видѣвшіе) отъ тѣхъ слышать: для того, нынѣшнихъ временъ обычай имѣють, каждой желаетъ свѣту видѣть, то пишу не всѣмъ посполито персонамъ,—тѣмъ, которымъ принадлежитъ, какъ принцамъ, графамъ и каждому шляхетству“.

Онъ описываетъ, между прочимъ, политическіе и торговые порядки Голландіи. Въ Амстердамѣ „купечество великое, которое въ Европѣ больше всѣхъ считается, и народъ все живетъ торговый и вельми богатый“. Но „лучшей плезиръ фористерамъ въ Голландіи—въ Гагѣ, неже въ Амстрадамѣ“. А въ Гагѣ „видѣлъ множественно каретъ кавалеровъ и всякихъ персонъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ—выѣзжаютъ въ каретахъ на окуръ, по

¹⁾ Польское *używać*: употреблять, пользоваться.

²⁾ Когда король польскій былъ король саксонскій.

³⁾ Т.-е. что многіе изъ русскихъ людей здѣсь бывали.

вся дни, до обѣда, и послѣ обѣда, и ѣздить до сумерокъ, а потомъ разѣвзаются на осамлеи или на балъ, или кому куда угодно“.

Онъ даетъ особое исчисленіе плезировъ въ Гагѣ.

„Плезиръ гажской:

„Первое: какъ перемѣняются пополудне 3 часа квардія конная и пѣхота карауловъ. Другое: въ каретахъ ѣздить... На вечеръ на осамлеи кумпаніями, такъ что съ кѣмъ согласенъ, тѣ съ тѣми и осамлеи дѣлаютъ во всю недѣлю“. Поѣздки на морской берегъ и загородныя прогулки. „Схотбище поутру и ввечеру въ кофейные дома, въ которыхъ и (въ) карты играютъ. Друзьямъ своимъ визиту отдавать. Публичная забава: комедія и опера“, и пр.

Но кн. Куракинъ насмотрѣлся здѣсь и другихъ любопытныхъ вещей — торговыхъ и филантропическихъ учреждений, замѣчательныхъ сооружений, какъ амстердамскіе доки и т. п. Подивился онъ ратушѣ: „ратуша гораздо хороша; сподѣваюся ¹⁾, что нигдѣ такой нѣтъ, и внутри вся нарѣзана алебастромъ“. Онъ видѣлъ и амстердамскую биржу. „Биржѣ или такая сдѣлана площадь, гдѣ сходятся торговые люди каждаго дня своей повинности для торговыхъ дѣлъ, договариваться... Не сподѣваюся — нигдѣ такого сходбища торговаго — какъ тутъ, и бывають часа три или два“.

Много замѣчательныхъ вещей видѣлъ онъ въ Роттердамѣ. Между прочимъ: „А та аустерія, гдѣ я стоялъ, при площади той, гдѣ стоитъ, сдѣланъ мужикъ вылитой, мѣдной, съ книгою, на знакъ тому, которой былъ человекъ гораздо ученой, и часто людей училъ, и тому на знакъ то сдѣлано“. Этотъ мѣдный мужикъ съ книгою былъ, вѣроятно, Эразмъ Роттердамскій.

Въ Лейденѣ онъ былъ пораженъ анатомическимъ театромъ. „Дохтуръ въ академіи лейденской, и профессоръ медицины и анатоміи Быдло, дядя нашему дохтуру Быдлѣ ²⁾. Человекъ старъ, лѣтъ съ пятьдесятъ и больше“. Кн. Борисъ присутствовалъ на анатомической лекціи: тотъ дохтуръ, „собравъ всѣхъ студентовъ той науки“, дѣлалъ „анатомію надъ однимъ человекомъ мужскаго полу“, началъ „разнимать“ тѣло и „оказывать жилы отъ рукъ и до ногъ, какъ и вуды дѣйствуютъ... Балъзаматы видѣлъ всѣхъ внутреннихъ членовъ человека, какъ мужскихъ половъ, такъ и женскихъ... такъ вельми дивная вещь, что нигдѣ могъ такой диковинки видѣть, то сподѣваюся, гдѣ-бъ такъ было въ

¹⁾ Надѣюсь, думаю: польское *spodziewać się*.

²⁾ Онъ назывался Быдлоо.

другомъ мѣстѣ того лучше было въ тѣхъ вещѣхъ сдѣлано и собрано, развѣ въ тужъ мѣру“.

Изъ Голландіи онъ хотѣлъ ѣхать въ Англію, размѣнялъ денегъ, взялъ вексель на „гинесъ“ и „пунтъ штерленкъ“, но поѣздка не состоялась. Онъ остался еще долго въ Голландіи; въ 1707 вернулся въ Москву и вскорѣ былъ отправленъ въ Римъ „къ папешскому двору министромъ безъ всякаго характеру, только въ грамотѣ кредитенціальной написано: комнатный господинъ и полуполковникъ отъ гвардіи“. Въ Римъ онъ пріѣхалъ 1 апрѣля 1708.

Это было начало новыхъ путешествій. Онѣ описаны у Куракина отрывочно и неровно. Во Флоренціи „былъ у грандука, отдавалъ визиту, гдѣ былъ принять съ великимъ почтеніемъ отъ него самого... А стоялъ и съ нимъ говорилъ въ шляпахъ; и потомъ имѣлъ великіе ригагы ¹⁾ винъ и цукровъ, какъ обыкновенно всѣмъ князьямъ отъ крови такъ чинять“.

Въ своей автобіографіи онъ говоритъ, что „никогда никто московской націи въ пріемности такого гонору и порядкомъ не былъ принять, гдѣ во всѣхъ церемоніяхъ такъ установилъ, какъ къ чести царскаго величества, такъ и къ своей персонѣ, какъ и другихъ прочихъ министровъ европейскихъ и князей отъ санкви ²⁾ принимаютъ“; но у папы на аудіенціи цѣловалъ ногу. „Истинно похваляюсь, что націи московской никто чести и славы прежде моего бытія не принесъ. Правда, что себѣ разоренье въ иждивеніи томъ понесъ, однако-жъ въ честь и славу государства російскаго и патріи имени своего дому Caributoff Kurakina, князей наслѣдственныхъ литовскихъ. Къ сему жъ объявлю, особливую пріемность и любовь въ чужихъ отъ всѣхъ имѣлъ, нежели въ своихъ краяхъ“.

Въ итальянскомъ „Віажѣ“ всего больше онъ рассказываетъ о дипломатическихъ и свѣтскихъ обычаяхъ, о пріемахъ у папы и кардиналовъ, о визитахъ принцамъ и кавалерамъ, о „жентилломахъ“ ³⁾, какъ надо къ нимъ относиться и какъ они должны себя держать, въ какихъ каретахъ и какимъ порядкомъ ѣздить лица разныхъ сословій, какъ ставить кресла и стулья, и т. д.

Какъ прежде „плезиры гажскіе“ (въ Гагѣ), такъ теперь Куракинъ перечисляетъ „дивертименты“ ⁴⁾ въ Римѣ: Кранаваль... по Курсу ⁵⁾ ѣздить въ машкарахъ и въ розныхъ одеждахъ.

¹⁾ Итальянское rigalare—угощать.

²⁾ Di sangue—принцы крови.

³⁾ Gentiluomo.

⁴⁾ Итальян. divertimento, забава, развлеченіе.

⁵⁾ Улица Корсо.

Лошадей по Курсу пускают скакать...; Конверсеціони каждаго дни; Оестини, или по-французски балы, гдѣ танцуютъ, въ домахъ принцовъ и другихъ персонъ; Серенады, то-есть музыка съ пѣвчими, на подобіе оперы, только-что не въ театрумѣ—въ каморахъ... Весною не имѣютъ никакихъ забавъ, токмо по святой Пасхѣ разѣзжаются по деревнямъ и живутъ ажъ до самаго Петрова дни“ и пр.

„И въ мѣсяцѣ іюлѣ и августѣ есть обычай такой на Римѣ, что сѣзжаются принципы между собою и споруются поэтичными виршами, также и по знатнымъ улицамъ многіе на виршахъ поэтическихъ говорятъ и отвѣтство другъ другу даютъ, на которые споры многіе сѣзжаются и сходятся и слушаютъ, а то всегда бываетъ въ ночи.

„Въ великой постѣ бываютъ ораторіи, которыхъ на свѣтѣ такъ другихъ подобныхъ не можно быть. Ораторіи, то есть, сложеніе что съ виршеми на Страсти Христовы, и то поютъ и съ музыкою, подобіемъ тѣхъ, какъ бы опера, только она духовная и дѣлается въ церквахъ... Такъ можно молвить, такой огромной музыкѣ и кампазиціи и такихъ инструментовъ на свѣтѣ лучше не можно быть, а наипаче какія дикія были выходки на трубахъ, что внезапно многую затменность даютъ человѣку.

„Партикулярныя забавы ѣздить смотрѣть антикита ¹⁾, фабрикъ, * церквей, полацъ, садовъ, какъ наиславной садъ Бургезинъ у самыхъ Попольскихъ воротъ“...

Случилось и то, что онъ сильно „былъ инаморать ²⁾ въ славную хорошествомъ одною читадинку“, которая „коштовала“ ему большихъ денегъ. „Въ ту свою бытность двѣ не малыя причины видѣлъ съ маркеземъ Палавичинимъ и Spioven'iemъ, жентиломомъ венецкимъ, близко было duellio съ мною“...

Замѣтимъ наконецъ, что въ 1707 онъ записываетъ въ своей автобіографіи: „Сего лѣта дѣтей своихъ посадилъ учиться грамотѣ нѣмецкаго языка, которому мастеру плата была со всѣмъ со сто рублей“. А затѣмъ въ 1708 г.: „Сего года сынъ мой, князь Александръ, началъ по-латыни учиться, а дочь—по-французски и танцовать“. Этотъ сынъ его, кн. Александръ Борисовичъ (род. 1697), былъ уже съ 1722 года при русскомъ посольствѣ въ Парижѣ камеръ-юнкеромъ и легационсъ-ратомъ.

Въ разсказахъ кн. Куракина то же развитіе впечатлѣній, какъ въ дневникѣ Толстого. Отправлялся въ Европу молодой человекъ, воспитанный по старинному, приверженный къ своимъ обы-

¹⁾ Antichità, древности.

²⁾ Innamorato, влюбленъ.

чаемъ, благочестивый, и повидимому ничего не знающій относительно того, что долженъ былъ встрѣтить за границей. Прежде всего, приходилось видѣть разныя религіи; особенно въ католицизмѣ, издавна ненавистномъ, надо было признать большую степень благочестія и христіанскаго подвижничества, и между прочимъ признать католическія чудеса. Потомъ раскрывалось разнообразіе политическихъ формъ, и за ними нерѣдко надо было признать разумное практическое значеніе. Далѣе, міръ науки и искусства, ранѣе совсѣмъ невѣдомый: наши путешественники относятся съ большимъ почтеніемъ къ ученымъ „академіямъ“, хотя имѣютъ очень смутное представленіе объ ихъ содержаніи; оно поражаетъ только въ какомъ-либо наглядномъ проявленіи, — какъ кн. Борисъ былъ пораженъ анатомической лекціей дохтура Быдла. Но укрѣплялось соображеніе, что въ европейскихъ академіяхъ хранится высокая наука, пока мало понятная, но несомнѣнно авторитетная. Въ искусствахъ, путешественниковъ неизмѣнно поражаетъ внѣшній эффектъ, какъ, напримѣръ, въ архитектурѣ и орнаментѣ; приводитъ въ изумленіе искусство техническое, какъ, напримѣръ, всѣ изумлялись часамъ съ фигурами, фонтанамъ съ сюрпризами и т. п. Но идейное содержаніе искусства было имъ на первый разъ совершенно непонятно: античная статуя представляется Толстому идоломъ; статуя знаменитаго человѣка въ Роттердамѣ есть для князя Бориса „мѣдный мужикъ“; для Толстого античная красавица есть „мраморная дѣвка“, и т. п. Живопись нѣсколько понятнѣе: Толстой съ одобреніемъ говоритъ о „высокихъ итальянскихъ письмахъ“, удивляется, что на картинахъ люди какъ живые; но у Толстого лишь изрѣдка, а у кн. Куракина совсѣмъ нѣтъ упоминанія о пейзажѣ, — въ Неаполѣ они вѣзжали точно въ Кострому. Музыка почти не вразумительна. Толстой слышитъ только громъ отъ оркестра; у кн. Куракина музыка, когда погромче, производитъ „затменность“. Искусство поэтическое, литература, совсѣмъ не существуетъ. Наконецъ, передъ нашими путешественниками раскрывалась разнообразная картина иностранныхъ обычаевъ. Очевидно, въ этому они относятся съ большимъ интересомъ: многіе обычаи имъ нравятся и особенно съ своей общественной стороны. Толстой съ одобреніемъ отмѣчаетъ, что женскій полъ не ставитъ себѣ „въ зазоръ“ появляться въ обществѣ, на прогулкахъ, или сидѣть за прилавкомъ; съ видимымъ удовольствіемъ онъ рассказываетъ объ удовольствіяхъ высшаго круга въ Неаполѣ; кн. Куракинъ подробно перечисляетъ „плезіры“ въ Гагѣ, „дивертименты“ въ Римѣ; Лейпцигъ — „для кавалеровъ городъ скушной“ и т. п. Кн.

Куракинъ до того вошелъ во вкусъ свѣтско-дипломатическаго церемоніала, что описываетъ его до мельчайшихъ подробностей.

Это первое знакомство съ европейской жизнью, часто наивное, было однако наполнено сильными впечатлѣніями. Понятно, что Петръ, также увлекаясь иностраннымъ знаніемъ и обычаями, сталъ пересаживать ихъ въ Россію — сколько было можно, заводилъ цифирныя и навигацкія школы, академію и кунсткамеру, фейерверкъ и ассамблею. И какъ у Петра подобныя нововведенія являлись прямо подъ ихъ иностранными именами, такъ рассказы нашихъ путешественниковъ пересыпаны иностранными словами, которыя затѣмъ получаютъ видъ постоянного терміна: начиналось прочное усвоеніе иностранныхъ словъ.

Вліяніе путешествій оказалось тотчасъ на обученіи дѣтей кн. Куракина. Съ малыхъ лѣтъ онъ „посадилъ“ ихъ учиться иностраннымъ языкамъ и танцамъ.

Другія, извѣстныя до сихъ поръ, путешествія того времени по существу повторяютъ тѣ же черты, какими отличаются путешествія Толстого, Куракина и Шереметева. Иногда эти черты являются еще въ преувеличенномъ, даже карикатурномъ видѣ.

Таково, напримѣръ, то путешествіе неизвѣстнаго, странствовавшаго въ Голландіи, Германіи и Италіи въ 1697-1698 годахъ, которое издано было еще въ 1788 и принято было за путешествіе самого царя: „Записная книжка любопытныхъ замѣчаній великой особы, странствовавшей подъ именемъ дворянина російскаго посольства въ 1697 и 1698 годахъ“. Что это не было путешествіе царя, явно уже изъ того, что Петръ вовсе не былъ въ Италіи. Записная книжка, или „Журналъ“, была довольно распространена въ рукописяхъ и нѣсколько разъ издана. Это всего чаще только перечисленіе городовъ, какіе проѣхалъ путешественникъ, но при главныхъ городахъ съ отмѣткой о видѣнныхъ достопримѣчательностяхъ. Отмѣтки поражаютъ своею первобытностью. Удивляться приходилось многому, но для путешественника было безразлично, видитъ ли онъ передъ собою явленіе природы, или опытъ научнаго знанія, или церковную святыню, или балаганный фокусъ. Изъ Москвы путешественникъ отправился черезъ Новгородъ въ Нарву и оттуда моремъ въ Любекъ. Здѣсь начинаются предметы удивленія. „Въ Любекѣ видѣлъ въ церкви престолъ изъ мрамора рѣзанъ зѣло изрядно и органы, которыхъ одна труба шестнадцать аршинъ“... „Въ Амстердамѣ былъ въ домѣ, гдѣ собраны златыя и серебряныя

руды и какъ родятся алмазы, изумруды, ахонты, корольки и всякіе камни и морскія всякія вещи"... „Тутъ же видѣлъ слона великаго, на которомъ арапъ, и игралъ на немъ и трубилъ по-пруссески и по-цезарски, и стрѣлялъ изъ пушки... На армареѣ видѣлъ металликовъ, который черезъ трехъ человѣкъ перескоча, на лету обернется головою внизъ и встанетъ на ногахъ. Видѣлъ у доктора анатоміи кости, жилы, мозгъ человѣческій, тѣла младенческія, и какъ начинается во чревѣ и рождается; видѣлъ сердце человѣческое, легкое, почки"... „Во Амстердамѣ жъ видѣлъ мужика безрукаго, который дѣлалъ предивныя вещи: въ карты игралъ, изъ пищали стрѣлялъ и набивалъ, самъ у себя бороду брилъ; ляжетъ на столъ и высочить ногами... Съ шпагами становится танцовать; въ стѣну бросилъ шпагою зѣло прытко; писалъ ногою“.

Въ Гагѣ онъ былъ въ одно время съ русскимъ посольствомъ и участвовалъ въ церемоніяхъ; но впечатлѣнія ограничиваются тѣмъ, сколько было каретъ и лошадей, пажей и лакеевъ, и въ какихъ они были кафтанахъ; какъ иностранные послы были съ визитами въ русское посольствѣ: посолъ бранденбургскій въ четырехъ каретахъ о шести коняхъ, посолъ англійскій въ девяти каретахъ, пять о шести коняхъ, а четыре кареты о четырехъ коняхъ и т. п. Далѣе, описаніе „тріумфа“ въ Амстердамѣ, т.-е. фейерверка по случаю заключенія мира; видѣлъ совершеніе казни и потомъ анатомирование казненнаго; „тутъ же тотъ профессоръ изъ того разрѣзаннаго человѣка сдѣлалъ нѣкоторую часть его тѣла живу“ (?)... „Зажигательное стекло видѣлъ, чрезъ которое можно растопить серебро и желѣзо; ефимокъ растопится какъ можно Отче нашъ проговорить"... „Въ Амстердамѣ же былъ и видѣлъ главу человѣческую, сдѣлану деревянную, которая говорить человѣческимъ голосомъ; заводятъ ее какъ часы и, заведя, молвятъ какое слово, она такожде молвитъ“, и тутъ же рядомъ: „всѣхъ церквей въ Амстердамѣ разныхъ вѣръ пятнадцать“. Далѣе: „Въ Амстердамѣ жъ былъ у человѣка, у котораго собраны разныя деньги древнихъ весарей и тѣ сребренницы тутъ же, на которыхъ Христосъ отъ Іуды проданъ: вѣсомъ будетъ противъ восьми копеекъ русскихъ, а печать на одной сторонѣ персоны человѣческія, а на другой имя и подпись надъ персоною изрядныя. У того жъ человѣка смотрѣлъ комедію: куклы скакали и танцовали зѣло изрядно"... „Во Амстердамѣ жъ видѣлъ бабу, которая ходитъ по улицамъ и играетъ на скрипичѣ; передъ нею ходятъ три собаки; какъ заиграетъ на скрипичѣ, а онѣ передъ нею танцуютъ на заднихъ ногахъ“.

„Въ Роттердамѣ церковь большую смотрѣли и тутъ же видѣли славнаго человѣка ученаго персону, изъ мѣди вылита; подобно человѣку, и книга мѣдная въ рукахъ, и какъ двѣнадцать ударить, то перекинетъ листъ; а имя ему—Эразмусъ“.

Далѣе, въ одномъ и томъ же параграфѣ онъ рассказываетъ: „Въ Амстердамѣ былъ на дворѣ, гдѣ травили быковъ собаками; при мнѣ затравили троихъ, а два устояли и многихъ собакъ побили до смерти“... „Въ Амстердамѣ жъ былъ, гдѣ собираются дважды въ недѣлю ученые люди и диспутуются промежъ собою о разныхъ вещахъ богословскихъ и философскихъ. Въ Амстердамѣ жъ видѣли рыбу, у которой пила на носу, величиною та рыба съ небольшую бѣлугу“...

Изъ Голландіи онъ проѣхалъ въ Италію. Опускаемъ разныя диковины, которыя видѣлъ онъ въ нѣмецкихъ городахъ; отмѣтимъ только, какъ онъ былъ въ іезуитскомъ монастырѣ въ Инсбрукѣ и видѣлъ библіотеку: „зѣло великій монастырь; библіотека сажень пяти вдоль; всѣ стѣны сплошь наполнены книгами разными; всѣмъ подѣланы шкафы безъ дверей; ярлыки висятъ надъ всякою шкафою подписаны, какія въ той шкафѣ книги; посрединѣ стоитъ столъ и инструменты лежатъ зѣло изрядно убраны“.

Тирольскія горы привели путешественника въ ужасъ. Наконецъ, онъ попалъ въ Венецію и начинаетъ прямо: „Въ Венеціи былъ въ церкви, которая сдѣлана вся изъ мрамора бѣлаго... Тутъ былъ въ монастырѣ и слышалъ музыку, какой николиже не слыхалъ во всей Европѣ: пѣли дѣвки, на органахъ и на всѣхъ инструментахъ играли онѣ же“. Потомъ онъ видѣлъ процессію вѣнчанія дожа съ моремъ, которую описалъ обычнымъ дубовымъ образомъ. Потомъ подъ рядъ: „въ то время у нихъ носили машеры лучшіе люди, и жены и дѣвицы всѣ, чтобъ невозможно другъ друга знать. Тутъ же видѣлъ птицу строфокамила, съ небольшую лошадь“...

Въ Венеціи онъ насмотрѣлся, конечно, и церковныхъ святынь: „Въ соборной церкви св. ев. Марка млеко Пресвятыя Богородицы въ селяницѣ, власы Пресвятыя Богородицы русые; тутъ же въ церкви гвоздь, которымъ прибито было тѣло на крестѣ Спасителя Бога нашего; терноваго вѣнца часть; части столпа, у котораго Творца нашего бичевали; риза Пресвятыя Богородицы; евангеліе св. Марка; камень тотъ, изъ котораго въ пустынѣ Моисей воду источилъ“ и т. д. А рядомъ въ слѣдующемъ параграфѣ читаемъ: „Въ Венеціи на площади мужикъ дѣлалъ: два гвоздя желѣзные въ носъ забилъ и на тѣхъ гвоздяхъ на веревкѣ молотовъ поднимаетъ одиннадцать; онъ же камень бѣлъ

и воды выпилъ ушатъ большой; еще привязывалъ къ волосамъ камень пудъ шести и носилъ”.

Изъ Венеціи онъ отправился во Флоренцію и затѣмъ въ Римъ. Здѣсь онъ видалъ въ разныхъ церквахъ великія святыни, напримѣръ: „Въ церкви былъ у Пресвятыя Богородицы, что евангелистъ Лука писалъ; тутъ млеко Пресвятыя Богородицы, риза Спасителя, которая была во время распятія, красная; крестъ животворящаго древа въ четверть аршина; въ церкви Іоанна Предтечи видѣлъ столъ, на которомъ сотворилъ Христосъ со учениками тайную вечерю... Тутъ же ковчегъ Завета Господня; столпъ каменный, у котораго Спасителя бичевали; жезлъ Аароновъ, жезлъ Моисеевъ—оба пестрые; тюрму видѣлъ, въ которой сидѣлъ апостолъ Петръ: земляная, окна вверхъ; желѣза, которыми былъ онъ связанъ, тутъ же”. Былъ въ саду у князя Бургеа, и во Фраскати (Врашкатахъ) былъ у другого князя, Панфилія, и обѣдалъ у него и наглядѣлся удивительныхъ фонтановъ (описанныхъ у Толстого). Между прочимъ, „мужикъ каменный великій лежитъ и въ рукахъ держитъ флейту, и какъ пустять воду, а онъ заиграетъ на флейтахъ безмѣрно хорошо”...

Изъ Рима путешественникъ отправился въ Ливорно и оттуда моремъ въ Геную. Здѣсь былъ въ саду у князя: „построенъ у самаго моря; фонтаны превеликіе: три лошади, на нихъ мужикъ стоитъ, у средней лошади изъ языка вода течетъ, а у тѣхъ изъ ноздрей; кругомъ тѣхъ лошадей ребята маленькіе изъ мрамора высѣчены сидятъ, и воду пьютъ” и т. д. Далѣе, путешественникъ ѣхалъ черезъ Миланъ, гдѣ „въ церкви былъ зѣло великой”, Мантую, Верону, Падую („былъ въ академіи, гдѣ учатся великихъ наукъ”). Затѣмъ вернулся въ Венецію; здѣсь онъ описываетъ несовсѣмъ вразумительно какой-то венеціанскій праздникъ; былъ на церковномъ праздникѣ въ дѣвичьемъ монастырѣ; „музыка играла на всѣхъ инструментахъ разныхъ, а пѣли черницы; тутъ же двѣ дѣвки пѣли похвалу Пресвятыя Богородицы такъ, что вся Венеція удивилась, и мы не слыхали во всей Италіи такого пѣнія”. Былъ на ученомъ торжествѣ: „Въ Венеціи, въ греческой церкви, конклюдія была: ученика одного свидѣтельствовали нашей вѣры греческой, достоинъ ли философа”... У одного сенатора смотрѣлъ „зѣло натуральныхъ много вещей дивныхъ”; въ особомъ параграфѣ замѣчено: „у него жъ видѣлъ змѣю о двухъ головахъ, курицу видѣлъ о четырехъ ногахъ; у него жъ видѣлъ василиска, который умертвить человѣка зрѣніемъ можетъ”. Потомъ, „въ Венеціи смотрѣлъ, какъ травятъ быковъ собаками” и пр.; „въ Венеціи наказаніе было одному человѣку

ва крадежъ "... Слѣдующій параграфъ: „Во градѣ Назаретѣ церковь была Пресвятая Богородицы; въ той церкви домъ Богородицы, гдѣ благовѣстилъ архангелъ Гавріилъ Дѣвѣ о воплощеніи Сына Божія; тотъ домъ принесенъ изъ Назарета и поставленъ въ церкви, и сосуды тѣ, изъ которыхъ питала Сына своего Пресвятая Богородица“.

На обратномъ пути въ Амстердамъ, одна замѣтка посвящена Франкфурту: „Обѣдали во Франкфуртѣ, заплатилъ по ефимку отъ персоны, а есть было: салатъ, гусь жаркой, три курицы въ расолѣ, потрохъ гусинный, оладьи пряженныя, капуста съ масломъ, дровзды жаркіе да фруктовъ блюдо; и ужиналъ и ночевалъ, заплатили по червонному отъ персоны“ ¹⁾.

Еще дневникъ неизвѣстнаго былъ описанъ въ книгѣ Певарскаго и, по его предположенію, принадлежалъ одному изъ Нарышкиныхъ ²⁾. Этотъ дневникъ любопытенъ только въ томъ отношеніи, что писавшій его русскій принадлежитъ уже къ свѣтскимъ людямъ, посѣщалъ въ городахъ театры, бывалъ на балахъ, дѣлалъ визиты знатнымъ и т. д. Онъ говорилъ по-французски, но не совсѣмъ зналъ правила этого языка: на дневникѣ надпись: „Cette livre appartient... comansé à écrire 1714“. Всѣ замѣтки въ родѣ слѣдующихъ: „Въ Генуѣ, 21-го февраля, пошли мы на балъ къ князю Doris ³⁾ и были тамъ до одного часа послѣ полуночи, гдѣ братецъ танцевалъ, а я не танцевалъ за тѣмъ, что братцу неугодно было. 22-го, во вторникъ къ вечеру, въ 7 часовъ пошли мы съ Василиемъ Михайловичемъ на балъ, который сдѣлали нѣкоторые молодые люди, и были тамъ до 12 часовъ, и пошли мы и всѣ, которые ни были на балѣ, ужинать, а послѣ ужина пошли мы на другой балъ, который дѣлали 40 дамъ и, бывши тамъ съ часъ, пошли опять на прежній балъ. Часовъ въ 5 послѣ полуночи всѣ разошлись, и мы также пошли —конецъ карнавалу“. Съ октября 1716 года по январь 1717, записано о пребываніи въ Туринѣ, Ліонѣ, Орлеанѣ и Нантѣ. Въ первомъ изъ этихъ городовъ путешественникъ записываетъ свои приѣзды ко двору, посѣщенія знатныхъ лицъ, посланниковъ: напр., „31-го октября, въ среду по утру приѣхалъ къ намъ S-r Conte Schilenga Ecuie de Majesté royale, потомъ приѣхалъ M-r l'abbé de Marcenas; погода приѣхалъ M-r le marquis de Coral,

¹⁾ Цитируемъ по изданію „Отеч. Записокъ“, 1846.

²⁾ Наука и литература и пр., т. I, стр. 152—154.

³⁾ Вѣроятно: Doris.

и посидя немного Conte Schilenga и abbé Marcenas поѣхали прочь, а мы съ marquis de Coral поѣхали къ princesse de Vic-toire, которая въ роднѣ князю Евгению и князю Carignane. Сія княжна живетъ въ монастырѣ женскомъ La visitation. По-говоря мы съ нею, поѣхали ко двору и говорили симъ утромъ у Majesté royale, потомъ когда les filles d'honneur пошли къ себѣ, поѣхали и мы домой". Записки прерываются въ октябрѣ 1718 г., когда путешественникъ прибылъ въ Парижъ. Потомъ идутъ счеты издержкамъ на домъ, карету и т. д.

Еще одинъ путешественникъ, отъ котораго остались записки, былъ графъ Андрей Матвѣевъ (1666—1728), сынъ знамени-таго Артамона. Существуютъ черновыя записки его о поѣздѣ въ Парижъ, въ 1705, изъ которыхъ до сихъ поръ извѣстны только отрывки. Матвѣевъ былъ непохожъ на тѣхъ путеше-ственниковъ, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили. Еще въ домѣ отца онъ получилъ заботливое воспитаніе: онъ зналъ ино-странные языки, перевелъ съ латинскаго книгу Баронія. Съ 1699, онъ былъ полномочнымъ посломъ при голландскихъ Статахъ и въ 1705 ѣздилъ во Францію для заключенія торговаго договора, который, однако, не состоялся. Такимъ образомъ онъ былъ уже знакомъ съ европейскими обычаями; но Парижъ былъ столицей европейскаго просвѣщенія, отсюда шло законодательство въ при-дворныхъ и свѣтскихъ нравахъ и модахъ. Матвѣевъ очень зналъ, что образецъ наилучшаго вкуса находится именно здѣсь, и Па-рижъ произвелъ на него сильное впечатлѣніе.

Начало его разсказа опять похоже на статейный списокъ и открывается указаніемъ офиціального положенія Матвѣева и даннаго ему порученія, „посольскій домъ“ состоялъ изъ девяти человекъ и пр. Далѣе названы мѣста, черезъ которыя проѣз-жалъ Матвѣевъ, отмѣчаются „достойное почтеніе и учтивости“, какія бывали ему оказаны, перечисляются замѣчательныя церкви, монастыри, въ особенности упоминаются укрѣпленія въ городахъ и т. д. Но, какъ человекъ довольно просвѣщенный, Матвѣевъ умѣетъ уже отчетливо разсказать о тѣхъ достопримѣчательностяхъ, какія онъ видѣлъ, знаетъ имена знаменитыхъ живописцевъ и т. п. Въ Антверпенѣ, въ монастырѣ, ему показали двѣ бібліотеки: „одну генеральную, въ 4-хъ камерахъ, гдѣ находятся многія ты-сячи книгъ разныхъ языковъ, съ раздѣленіемъ—въ одной, книги восточныхъ и западныхъ св. отецъ; въ другой, историческихъ всѣхъ авторовъ латинскихъ; въ третьей, богословія; въ 4 камерѣ всякихъ языковъ книги различныя, всѣ съ подписаніемъ яснымъ

и съ нумерами на всякой изъ тѣхъ книгъ. Другую бібліотеку казали, гдѣ они сходятся повседневно для всегдашняго чтенія книгъ, и того жъ времени восточныхъ и западныхъ св. отецъ житія помѣсячно, наченши съ януарія, счиняли они на латинскомъ языкѣ и уже по май мѣсяцъ тогда на свѣтъ выдали*. Онъ разумѣлъ знаменитыя Acta Sanctorum антверпенскихъ Боландистовъ.

Описаніе городовъ напоминаетъ прежнихъ путешественниковъ, но Матвѣевъ гораздо болѣе отчетливъ и знаетъ, о чемъ говорить. Такъ въ Гентѣ на площади онъ видѣлъ: „на великомъ пирамиду, или столбѣ, довольной величины стоитъ подобіе Карла V, цесаря римскаго, въ коронѣ и съ скипетромъ, съ его прямого изваяно лица (какъ слышится), мѣдное, вызолочено на красно“, — но онъ знаетъ историческія свѣдѣнія о Карлѣ V. Здѣсь онъ былъ также въ одномъ женскомъ монастырѣ: „Во время вечерни монахини съ органами пѣли, и сладости голосовъ ихъ описать невозможно“.

Въѣзжая во Францію, Матвѣевъ замѣтилъ бѣдность крестьянскаго населенія: „поселянство отъ поборовъ королевскихъ изнуренное“; тѣмъ не менѣе Франція произвела на него чрезвычайное впечатлѣніе. Описывая свое представленіе Людовику XIV, Матвѣевъ излагаетъ вкратцѣ его жизнеописаніе, исчисляетъ лицъ королевской фамиліи, знатнѣйшихъ лицъ двора и аристократіи и т. д. Въ главѣ „о шляхетствѣ или благородіи королевства французскаго“ указываетъ разные классы французскаго дворянства и между прочимъ замѣчаетъ, что вслѣдствіе обычая майората „все шляхетство николи ни мірскаго, ни духовнаго правленія не отпадаетъ“. Быть и нравы французской аристократіи видимо ему чрезвычайно нравились, — напр., что у каждаго знатнаго дома прислуга имѣетъ свою ливрею; „по тѣмъ либерелямъ, или людскому платью, всегда знатно есть раздѣленіе фамилій и до кого тѣ цвѣты людямъ принадлежать“.

„Принцы и дюки Франція высокихъ фамилій имѣютъ въ домѣхъ своихъ балдахины и, кромѣ ихъ, того употреблять никто не можетъ. Уборства вельможность въ домѣхъ великихъ и посредственныхъ высокошляхетскихъ особъ и у самаго парижскаго купечества—многоцѣнные тапеты (tapis) или живописныя подобія тканыхъ ковровъ, великихъ мѣръ въ три аршина зеркала многоцѣнныя, живописныя картины дивныхъ художниковъ, шкафы, шкатулы, часы и паникадилы изъ самаго точенаго свѣтлаго хрусталя... превосходятъ всѣ страны европейскія... изваянныя мѣдныя подобія человѣческія, какъ бы живыя видятся...“

„Чистота столовъ и уборства порядоки въ ѣствахъ, вкусъ сладостей ихъ и богатство сервизовъ, или посуды серебряной... не примѣнна ни которымъ народамъ“...

Матвѣевъ слѣдующимъ образомъ понимаетъ отношенія королевской власти къ вельможамъ и къ самому управленію. „Въ томъ государствѣ лучше всѣхъ основаніе есть, что не властвуетъ тамъ зависть: къ тому жъ король самъ веселится о томъ состояніи честныхъ своихъ подданныхъ, и никто изъ вельможъ ни малѣйшей причины, ни способа не имѣетъ даже послѣдному въ томъ королевствѣ учинить какова озлобленія или нанести обиду... Ни король, кромѣ общихъ податей, хотя самодержавный государь, никакихъ насилуваній не можетъ, особливо же ни съ кого взять ничего, развѣ по самой винѣ свидѣтельствованной противъ его особы въ погрѣшеніи смертномъ, по-истинѣ разсужденной отъ парламента; тогда уже по праву народному, не указомъ королевскимъ, конфискаціи, или описи, пожитки его подлежатъ будутъ. Принцы же и вельможи ни малой причины до народа не имѣютъ и въ народныя дѣла не вмѣшиваются и отъ того никакую тѣсноту собою чинить николи никому не могутъ“.

Но въ особенности поразили Матвѣева формы французскаго общежитія, тѣ свѣтскіе нравы, которые, — въ извѣстной грубоватой формѣ, — стали потомъ прививаться и у насъ, и которые еще раньше распространялись изъ Франціи въ другихъ странахъ западной Европы.

„О обученіи вельможескихъ дѣтей. Всей Франціи высокихъ фамилій дѣти, отъ самыхъ юностныхъ ногтей имѣютъ воспитаніе зѣло изрядное, поученіе въ разныхъ языкахъ и во всѣхъ свободныхъ наукахъ, особливо же въ математикѣ, географіи, геометріи, ариметикѣ, въ воинскихъ обученіяхъ и конной ѣздѣ, на что имѣютъ учрежденныя въ Парижѣ великія академіи, и потомъ въ танцахъ и пѣніи и разныхъ музыкахъ.“

„Особливо же женской полъ высокородныхъ фамилій — изрядствомъ голосовъ и игрою музыкъ на всякихъ разныхъ инструментахъ, и открытостью любительскихъ своихъ и добронравныхъ поступковъ, особливо же къ иностраннымъ, — превосходитъ всѣ европейскіе народы.“

„По истинѣ съ несказаннымъ удивленіемъ достойно упоминать, что ни единая особа и мужеска и женска пола изъ благородныхъ фамилій французскихъ найтися не можетъ, которая бы вышеобъявленныхъ обученій по своему честному воспитанію не обучена была. Больше же всего тотъ порядоки въ семъ народѣ хваленъ есть, что дѣти ихъ никакой косности, ни ожесточенія

отъ своихъ родителей, ни отъ учителей не имѣютъ, но отъ добраго и остраго наказанія словеснаго, паче, нежели отъ побоевъ, въ прямой волѣ и смѣлости воспитываются, и безъ всякой трудности вышеобъявленнымъ своимъ обучаются наукамъ.

„Ни самый женскій полъ во Франціи никакого вазору отнюдь не имѣетъ во всѣхъ честныхъ обращать поведеніяхъ съ мужескимъ поломъ, какъ бы самые мужи, со всякимъ сладкимъ и челоуѣколюбнымъ приѣмствомъ и учтивостію...

„У всѣхъ принцессъ крови королевской, а именно: у мадамъ де-Конде, де-Конти, дю-Мейнъ дюшессы, и потомъ у иныхъ принцессъ и дюшессъ: де-Бульонъ, де-Люксенбургъ, де-Шатильонъ и у прочихъ мадамъ маршалъ Франціи бывають собранія (какъ по-французски называются ассанбле), въ которыя честнымъ изъ значительныхъ, какъ изъ французовъ, такъ и изъ иностранныхъ, особамъ входить не возбранено, безъ всякаго расположенія въ мѣстѣхъ¹⁾, гдѣ и самые послы („и принцы“, приписано съ боку) и прочіе министры чужестранные николи не остерегаются мѣстъ и всѣ въ одномъ обществѣ обращаются: ни встрѣчь, ни проводовъ тамъ никому не бываетъ.

„Въ тѣ собранія бываетъ музыка и танцы и игры въ карты, которыя у дамъ французскихъ зѣло любятся и въ обычай вошли непрерывно“... Онъ подробно описываетъ препровожденіе времени на балахъ. Это, вѣроятно, первое описаніе бала на русскомъ языкѣ, и довольно отчетливое.

Такъ на первыхъ путешественникахъ отразился историческій процессъ, который переживало тогда русское общество. Всѣ они еще стоятъ одной ногой въ московской старинѣ: они говорятъ языкомъ этой старины, у нихъ невольно сказываются ея привычки и понятія; европейская жизнь часто имъ непонятна, но поражаетъ ихъ богатствомъ своей культуры. Незвѣстный путешественникъ, который странствовалъ изъ Амстердама въ Италію, высказываетъ это отношеніе къ европейской жизни наиболѣе первобытнымъ образомъ: онъ одинаково поражается и замѣчательнымъ произведеніемъ художества или техники и балаганнымъ фокусомъ, рѣдкостью или уродствомъ изъ кунстъ-камеры, — все это только невиданный курьезъ. До уразумѣнія науки было еще далеко; но путешественники уже начинаютъ относиться ко многому болѣе или менѣе сознательно, на примѣръ, къ политическимъ

¹⁾ Мѣстничество.

формамъ иноземныхъ государствъ и особливо къ формамъ общественной жизни: не однажды припоминаются московскіе обычаи и предпочтеніе оказывается не въ ихъ пользу. Иные, долго оставаясь за границей, входили, наконецъ, во вкусъ европейскаго общежитія, какъ кн. Куракинъ и Матвѣевъ; послѣдній понимаетъ ученый трудъ и умѣлъ оцѣнить антверпенскихъ іезуитовъ.

Не обходилось безъ странностей. Путешественники часто не находили русскихъ словъ для обозначенія видѣннаго и въ ихъ писаніяхъ возникалъ самъ собой тотъ странный макароническій языкъ, какимъ отличается особливо кн. Куракинъ и который вообще былъ распространенъ въ Петровское время.

Но все это были зачатки; въ слѣдующемъ поколѣніи, которое выросло подъ вліяніемъ новыхъ настроеній, возникаетъ уже сознательное уваженіе къ европейской наукѣ.

Путешествія самого Петра были много разъ рассказаны и достаточно извѣстны. Они передавались въ статейныхъ спискахъ или журналахъ. Первая повѣдка въ Голландію подробно изложена въ книгѣ М. А. Веневитинова: „Русскіе въ Голландіи. Великое посольство 1697—1698 г.“ М. 1897.—Другимъ юбилейнымъ изданіемъ была книга А. В. Половцова: „Питръ Михайловъ, историко-бытовыя картины голландской жизни XVII вѣка... Геррита Яна Гонига (съ голландскаго). Приложение: Петровский Юбилей въ 1897 г. въ Заандамѣ. Съ 19 рисунками“. Спб. 1898. 4^о.

— „Путешествіе стольника Петра Толстого по Европѣ въ силу царскаго указа отъ 7205 г. января 11 дня, то-есть 1697 г. по Р. Хр.“ Описаніе рукописи Казанскаго университета, заключающей это путешествіе, сдѣлано было А. И. Артемьевымъ въ Журн. мин. просв. 1854, № 7. Изложеніе путешествія, съ обширными извлеченіями изъ подлинника, сообщено было въ статьѣ Н. А. Попова: „Путешествіе въ Италію и на о. Мальту стольника П. А. Толстого въ 1697 и 1698 годахъ“, въ „Атенѣ“ 1859, № 7, стр. 300—339; № 8, стр. 421—457. Поповъ сообщилъ также и біографическія свѣдѣнія объ авторѣ путешествія, въ Р. Вѣстникѣ, 1860, іюнь, кн. I, стр. 319—346; Пекарскій, Наука и литер. при Петрѣ В. I, стр. 145—148, 221—223. Анекдотъ о словахъ Петра къ Толстому, въ запискахъ Семена Порошина, стр. 20. Наконецъ, „Путешествіе стольника П. А. Толстого“ было издано сполна въ нѣсколькихъ книжкахъ „Русскаго Архива“, 1888.

— Путешествіе Б. П. Шереметева, или „Статейной списокъ посольства ближняго боярина и намѣстника вятскаго Бориса Петровича Шереметева въ Краковъ, Венецію, Римъ и Мальту въ 7205 (1697) году“, издано было сначала отдѣльной книгой съ гравюрами. М. 1773, и затѣмъ въ Древней Россійской Виблюиѣ, Новикова, изд. 2-е, т. V, М. 1788, стр. 252—432. Въ этомъ путешествіи, при Шереметевѣ былъ „маршалкомъ“ или дворецкимъ А. А. Курбатовъ, уже вскорѣ потомъ извѣстный „первый прибыльщикъ“ Петра В., щедро имъ награжден-

ный и произведенный въ дѣяки оружейной палаты. См. о немъ въ книгѣ Н. Павлова-Сильванскаго: Проекты реформъ въ запискахъ современниковъ Петра Великаго. Спб. 1897, стр. 56—67, и второй пагинаціи стр. 47—57, 75—77.

— Дневникъ неизвѣстнаго, который былъ въ Голландіи, Германіи и Италіи въ тѣхъ же 1697—1698 годахъ, напечатанъ былъ подъ заглавіемъ: „Записная книжка любопытныхъ замѣчаній великой особы, странствовавшей подъ именемъ дворянина російскаго посольства въ 1697 и 1698 годахъ“. Спб. 1788, съ вариантами противъ рукописей. Далѣе, та же записная книжка повторена въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ Погодина. 1830, ч. VI, и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1846, № 8, Наука, стр. 126—156: „Матеріалы для исторіи Петра Великаго“, князя Вл. К—ва (Козлова? ср. Пекарскаго, II, стр. 423, 424), гдѣ самое заглавіе книжки передано уже въ такой формѣ: „Журналъ, како шествіе было его Величества, государя Петра Великаго. Писанъ въ сей книжицѣ 1724 году, на память будущихъ годовъ, отъ нынѣ и до вѣка“. Рукопись Князя Вл. К—ва была неполная и издатель не зналъ о текстѣ „Московского Вѣстника“. Пекарскій (Наука и литература при Петрѣ В. I, стр. 145) замѣчаетъ, что въ этихъ послѣднихъ изданіяхъ записная книжка издана „уже съ пропусками — что всегда дѣлается у насъ при изданіи старинныхъ памятникѣвъ, за исключеніемъ развѣ Дворцовыхъ Разрядовъ, которые допускаютъ печатать вполнѣ“. Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ два цѣлыхъ параграфа, 10 и 23, состоятъ изъ однихъ многоточій! У Пекарскаго приведены нѣкоторые подробности дневника изъ рукописи (I, стр. 148—150).

— Еще дневникъ неизвѣстнаго, который путешествовалъ по Голландіи, Испаніи, Италіи и Франціи въ 1714—1717 годахъ, по предположенію Пекарскаго, принадлежалъ одному изъ Нарышкиныхъ (Наука и литература, I, стр. 145, 152—154).

— Статейный списокъ посольства А. А. Матвѣева во Францію въ 1705 изложенъ былъ Пекарскимъ въ „Современникѣ“, 1856, № 6, стр. 39—66: „Поѣздка графа Матвѣева въ Парижъ въ 1705 году“.

— Любопытные дневники, путевыя замѣтки и другія свѣдѣнія о путешествіяхъ князя Бориса Ивановича Куракина: изданіе ихъ начато было въ „Архивѣ“ кн. Ѳ. А. Куракина. Спб. 1890 и дал., подъ редакцію М. И. Семева и потомъ г. Смольянинова.

— Краткія упоминанія о своемъ путешествіи дѣлаетъ Ив. Ив. Неплюевъ въ своихъ „Запискахъ“ (новѣйшее изданіе. Спб. 1893). Обширное жизнеописаніе его, но преимущественно за послѣдующее время, составилъ В. Витевскій: „И. И. Неплюевъ и Оренбургскій край въ прежнемъ его составѣ до 1758 года“. Пять выпусковъ. Казань, 1889—1897; и краткая біографія: „И. И. Неплюевъ, вѣрный слуга своего отечества“ и пр. Казань. 1891.

— Свѣдѣнія о Постниковѣ, одномъ изъ первыхъ путешественниковъ за границу. докторѣ, учившемся въ Падувѣ и потомъ служившемъ также для дипломатическихъ дѣлъ, въ книгѣ Е. Шмурло: „П. В. Постниковъ. Нѣсколько данныхъ для его біографіи“. Юрьевъ, 1894.

— Относительно молодыхъ людей, посланныхъ за границу Годуновымъ: они посланы были въ 1602, и еще въ 1613 году царь Михаилъ Ѳедоровичъ, отправляя пословъ къ англійскому королю, между

прочимъ поручалъ имъ разыскать и вернуть въ Россію пятерыхъ чело-
вѣкъ, посланныхъ Годуновымъ, на томъ основаніи, что теперь они
„къ посольскому дѣлу надобны“, а кромѣ того „тѣхъ подданныхъ
(царскихъ) отцы и матери безъ престани съ великою доукою объ
нихъ челомъ бьютъ“. Посламъ даны были подробныя наставленія,
какъ добиться выдачи этихъ людей. Напр., „что они (англійскіе дум-
ные люди) говорятъ, будто тѣ робята въ московское государство отъ
нихъ изъ аглинскія земли не хотятъ, и тому нечему вѣрить, да и не
статочное то дѣло, какъ имъ православныя крестьянскія вѣры грече-
скаго закона отбыти и природново государства и государя своего, и
отцовъ своихъ и матерей, и роду своего и племени забыть— о томъ
имъ, разумнымъ людямъ, и честнымъ, говорить непригоже“... Вѣдно
было разыскивать этихъ русскихъ, еслибы даже они выѣхали въ даль-
нія государства, или въ самой Англии „задавнѣли“, — они однако не
нашлись. Въ 1621 г. царю было „подлинно вѣдомо, что тѣ дѣти бояр-
скіе въ англійской землѣ задержаны неволею, а Никифорко Олферьевъ
и вѣры нашея православныя отступилъ и невѣдомо по какой пре-
лести въ попы сталъ“... (См. Пекарскаго, Извѣстіе о молодыхъ лю-
дяхъ, посланныхъ Борисомъ Годуновымъ для обученія наукамъ въ
Англию въ 1602 году, — въ „Сборникѣ“ II Отд. Акад. Наукъ, т. I.
Спб. 1867, стр. LXVI—LXXI).

Подробнѣе у кн. Н. В. Голицына, Научно-образовательныя отно-
шенія Россіи съ Западомъ въ началѣ XVII в.,—въ „Чтеніяхъ“ моск.
Общ. ист. и др. 1898, кн. IV.

ГЛАВА VI.

КНИЖНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕТРѢ В.

Разнообразіе книжныхъ интересовъ Петра.—Забота о распространеніи знаній техническихъ, научныхъ и нравственно-общественныхъ.

Исполнители изъ разнообразныхъ круговъ тогдашняго общества.—Питомцы Кіевской академіи.—Питомцы Славяно-греко-латинской академіи въ Москвѣ.—Переводчики Посольскаго приказа, иностранцы и русскіе.—Плѣнные шведы.—Молодые люди, посланные за границу для навигацкаго дѣла и для „либеральныхъ наукъ“.

Личное участіе Петра въ выборѣ книгъ для перевода, въ просмотрѣ переводовъ, въ ихъ исправленіи и въ корректурѣ.—Книжный языкъ Петра.

Время Петра Великаго не создало своей литературы въ художественномъ направленіи. Исторически это было естественно. Художественное творчество — если не является исключительная сила дарованія — требуетъ трехъ внѣшнихъ условій для своего осуществленія: установившихся формъ жизни, которая служила бы предметомъ художественнаго изображенія; установившихся формъ литературныхъ; наконецъ, установившагося выраженія въ языкѣ. Этихъ условій не было. Жизнь была въ періодѣ органическаго броженія: старина не удовлетворяла тѣхъ умовъ, которые наиболѣе были возбуждены; то новое, къ которому стремились, носило для самихъ дѣятелей только неопредѣленные очертанія, и эта неопредѣленность, при всей рѣшительности практическихъ мѣръ преобразованія, не выяснялась даже къ концу періода реформы, или до послѣднихъ дней жизни Петра. Такую же туманную смѣсь представляли литературныя формы, которыми пользовались или съ которыми знакомились писатели Петровскаго времени. Книжность XVII вѣка, послѣднихъ временъ Московскаго царства, была еще слишкомъ близка и привычна; она давала только старыя формы историческаго разсказа, поученія,

повѣсти чужеземнаго образца, силлабическихъ виршъ и т. п., но рядомъ съ этимъ болѣе образованные люди конца XVII-го, а тѣмъ болѣе начала XVIII вѣка, которые заглядывали въ иностранныя книги, находили тамъ нѣчто, ранѣе совсѣмъ невѣдомое—цѣлую область поэзій, въ разнообразныхъ формахъ эпоса, лирики и драмы, съ широко развитой условностью ложнаго классицизма, но вмѣстѣ и съ возраставшими запросами дѣйствительной жизни. Эти новыя формы на первый разъ должны были казаться совершенно чуждыми и неприложимыми въ русской жизни: онѣ могли быть только предметомъ любопытства; оно должно было усиливаться, когда русскіе читатели и писатели стали осваиваться съ содержаніемъ западной литературы, но на первое время для этихъ иноземныхъ формъ не находилось никакого примѣненія. Наконецъ, языкъ. Во времена Петра устный и книжный языкъ той доли общества, которая была захвачена преобразованіемъ, была привлечена къ дѣлу или даже только пассивно испытывала вліяніе реформы, этотъ языкъ представлялъ нѣчто небывало хаотическое. Бурная лихорадочная поспѣшность преобразованій, принадлежавшая именно личности самого Петра, вдругъ приносила въ дѣловой обиходный и школьный языкъ такую массу новыхъ, ранѣе неслыханныхъ элементовъ, усвоить которые органически не было возможности въ такое короткое время. Раньше мы указывали, что иностранныя слова (въ военной и технической области) стали входить еще задолго, не только при царѣ Алексѣѣ, но даже при Михаилѣ; но теперь они нахлынули въ небываломъ количествѣ. Кипучая натура Петра требовала прямого дѣла: чтобы назвать вещь, выразить мысль, онъ не терялъ времени на пріискиваніе словъ, бралъ первое, русское или иностранное, писалъ всегда кратко и реально, и часто чрезвычайно мѣтко: въ его писаніяхъ найдется много словъ иностранныхъ, но много также яркихъ образчиковъ народной рѣчи.

Итакъ, литература художественная не создавалась; тѣмъ не менѣе создавалась оригинальная книжность, которая служить отраженіемъ періода преобразованія и вмѣстѣ исходною точкой дальнѣйшаго развитія. Прежде всего, какъ въ тогдашней государственной и общественной жизни, такъ и въ этой книжности видимъ рядомъ явленія стараго и новаго порядка. Прежняя „письменность“ шла въ грамотной массѣ въ томъ же видѣ, какъ нѣкогда; то новое, что прибавлялось въ началѣ столѣтія, нерѣдко непосредственно примыкало къ тѣмъ начаткамъ, какіе представлялъ уже конецъ XVII столѣтія. Такова была, напримѣръ, та

значительная масса переводовъ книгъ свѣтскаго содержанія, которая начинаетъ распространяться еще со второй половины XVII столѣтія: книгъ учебныхъ, историческихъ, повѣствовательныхъ и пр. Многіе дѣятели, работавшіе въ духѣ преобразованія, были въ полной мѣрѣ питомцами предшествующаго періода, старые ученики кievской или московской академіи. Церковные вопросы продолжаютъ быть тѣмъ интересомъ, на которомъ сосредоточивается особенное вниманіе, и столкновение партій по старинному сводится на почву богословскаго спора, а потомъ и уголовнаго дѣла, какъ было, напримѣръ, въ борьбѣ Стефана Яворскаго и Теофана Прокоповича. Литературная дѣятельность, направленная на важные вопросы государственнаго и общественнаго быта,—какъ было, напримѣръ, у Посошкова и нѣсколько позднѣе у Татищева,—еще не находитъ себѣ формы, не можетъ стать книгой и является то въ формѣ „доношенія“, то въ формѣ стариннаго „поученія отъ отца къ сыну“, и по прежнему остается чисто личнымъ трудомъ и только слабо распространяется въ видѣ списковъ, ходящихъ по рукамъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, въ эту письменность входятъ все болѣе элементы новаго міровоззрѣнія, для котораго не было въ прошломъ примѣровъ или по существу, или по формѣ ихъ заявленія. И здѣсь опять чувствуется дѣйствіе личности Петра. Образовательные задатки второй половины XVII вѣка становятся въ его рукахъ могущественною силою, которая заслоняетъ прежнія слабыя начинанія и становится новымъ руководствомъ для цѣлой національной жизни, когда напримѣръ школьная ученость Теофана переходитъ въ церковное законодательство Духовнаго Регламента.

Говоря о литературѣ временъ Петра Великаго, Тихонравовъ указывалъ, что полная оцѣнка ея невозможна „безъ того, кто стоялъ въ центрѣ ея, заправлялъ ею, кто самъ поправлялъ вѣдомости, церковныя службы, выбиралъ книги для перевода, писалъ программы для руководствъ, указывалъ идеи, которыя слѣдовало распространить путемъ печатнаго слова, т.-е. самого царя. Взглянемъ хотя на ту литературу, которая развилась въ теченіе великой Сѣверной войны—на проповѣди, школьныя драмы, объясненія триумфальныхъ вратъ, издававшіяся для всенароднаго торжества, на первые опыты публицистики (въ родѣ Разсужденія о законныхъ причинахъ шведской войны), даже эктении на супостатовъ, церковныя службы: какое единство мысли, направленія, даже образовъ! Чувствуешь, что сокровенныя нити всѣхъ этихъ произведеній сходятся въ твердыхъ рукахъ одного чловека, глубоко убѣжденнаго въ правотѣ своего дѣла и не любя-

щаго диссонансовъ“¹⁾. Дѣйствительно, какъ въ жизни государства, такъ и въ книжной дѣятельности того времени мы постоянно встрѣчаемъ личную волю и трудъ самого Петра. То, что до него было предчувствіемъ, неяснымъ стремленіемъ, онъ поставилъ какъ опредѣленный планъ, какъ первостепенную государственную и національную задачу.

Этотъ планъ не былъ какой-нибудь систематически обдуманной программой; напротивъ, строгіе историки обвиняютъ Петра въ отсутствіи такой программы: онъ брался вдругъ за все, не обдумывалъ постепенности, не разсчитывалъ средствъ народа умственныхъ и физическихъ, дѣйствовалъ рѣшительно, но отрывочно, безъ связи, оттого многое изъ его начинаній не бросило корня и въ свое время принималось только по приказу... Иначе это и не могло быть. Его планъ былъ въ его основномъ стремленіи сравнять русскій народъ съ великими народами Европы и политически, и умственно; ему могло не доставать, и не доставало, теоретической мысли, умъ его былъ чисто положительный, реальный,—но въ этомъ направленіи его интересы отличались необычайною, именно гениальною широтою. По всей вѣроятности — и это не разъ можно замѣтить,—онъ сознавалъ себя единственнымъ человѣкомъ своего времени, который принимаетъ эти интересы такъ горячо въ сердцу и такъ стремится къ ихъ осуществленію: его суровыя мѣры были не только традиціонной волей самодержца, но также нервной настойчивостью убѣжденного человѣка, видѣвшаго необходимость преобразованія, въ которомъ онъ и полагалъ свою любовь къ отечеству. Его мѣры представляются отрывочными; но въ его умѣ были тѣсно связаны его разнообразныя интересы, и сами мало дружелюбныя исторіи (напримѣръ, Валишевскій) изумляются тому множеству дѣлъ, не имѣвшихъ между собою ничего общаго, какимъ онъ могъ отдавать свое вниманіе въ одно и то же время.

Довольно остановиться на нѣкоторыхъ чертахъ дѣятельности Петра въ области общественнаго образованія, чтобы увидѣть, какія глубокія основы положены были имъ для дальнѣйшаго развитія умственныхъ интересовъ въ обществѣ и дальнѣйшаго развитія литературы. Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что съ началомъ его дѣятельности завершаются наши средніе вѣка. Традиціонное міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ смѣняется новымъ: на мѣсто стараго „книжнаго почитанія“ и легенды ставится реальное знаніе; старая боязнь передъ иновѣрнымъ Западомъ и его

¹⁾ Сочиненія Тихонравова, т. I.

наукой, подозрѣваемой въ чародѣйскомъ происхожденіи, для самаго Петра не существуетъ уже съ юношескихъ лѣтъ и по неволѣ исчезаетъ у его сотрудниковъ, когда онъ, вырывая ихъ изъ умственной лѣни стараго обычая, посылаетъ ихъ прямо на этотъ иновѣрный Западъ учиться той или другой наукѣ или мастерству. Подъ вліяніемъ его собственнаго примѣра и подъ невольнымъ вліяніемъ новаго опыта и науки, умственная жизнь, а затѣмъ и литература впервые получаютъ характеръ свѣтскій; книжный человѣкъ не есть уже только церковникъ, какъ бывало; книга говоритъ о реальныхъ предметахъ знанія, о современныхъ политическихъ дѣлахъ, обращается ко всѣмъ грамотнымъ людямъ и говоритъ новымъ языкомъ. Люди стараго поколѣнія, напримѣръ, самъ Димитрій Ростовскій, человѣкъ просвѣщенный, жалуются на утѣсненіе церкви,—и это было справедливо: Петръ потерялъ традиціонное почтеніе въ іерархіи, когда она, въ лицѣ патріарха Адріана, ставила помѣхи его заботамъ о школахъ; онъ сочувствовалъ только той іерархіи, которая, напримѣръ, въ лицѣ Теофана, умѣла понять его планы и имъ содѣйствовать: казалось, что онъ утѣсняетъ церковь, когда онъ налагалъ контроль на монастырскія имущества, когда онъ требовалъ на солдатскую службу людей духовнаго званія, которые не готовили себя къ этому званію и ничему не учились,—но онъ хотѣлъ только, чтобы народныя средства были употреблены съ пользою и чтобы живыя силы народа не уклонялись отъ труда на пользу государства. Планы Петра направлены были именно на осязательную народную пользу, не только реальную, но умственную и нравственную.

Обращаясь къ подробностямъ образовательной и книжной дѣятельности этого времени, мы постоянно встрѣчаемся съ тѣми новыми запросами русской жизни, которые Петръ чувствовалъ сильнѣе всѣхъ своихъ современниковъ и которые настойчиво проводилъ въ жизнь.

Первой заботой было воинское ученіе. Начало иноземнаго военнаго строя было положено еще раньше; Петръ установилъ его окончательно, и уничтоженіе стрѣльцовъ положило конецъ старому военному обычаю. Исслѣдованія новѣйшихъ военныхъ историковъ указываютъ, до какихъ мелкихъ частныхъ доходитъ Петръ въ своихъ попеченіяхъ о войскахъ, и между прочимъ, какъ онъ впервые заботился о нравственномъ достоинствѣ и обезпеченіи солдата, въ которомъ хотѣлъ видѣть не одного механическаго исполнителя команды, но сознающаго свой долгъ охранителя отечества, готоваго отдать за него свою жизнь. Какой личный примѣръ онъ подавалъ въ этомъ отношеніи,—извѣстно.

Такъ же рано его великой заботой былъ флотъ. Какъ и войско, это была сначала юношеская „потѣха“; но она быстро разрослась, и какъ потѣшные полки, въ которыхъ самъ онъ проходилъ службу, стали вскорѣ основой русской арміи, такъ онъ всегда хранилъ память о голландскомъ ботикѣ, въ которомъ сдѣлалъ свое первое дѣтское плаваніе.

Для войска и флота потребовалась первая реальная школа. Надо было усвоить прежде всего элементарную науку, которая тотчасъ получила практическое приложеніе. Къ школѣ „цифирной“, гдѣ стали въ первый разъ правильно учиться математикѣ, присоединились школы „навигациа“, которыя устраивались даже тамъ, гдѣ навигациа была совсѣмъ невозможна, какъ, напримѣръ, въ Москвѣ. Навигациа такъ овладѣвала мыслями Петра, что, посылая въ 1697 году за границу первую партію молодыхъ русскихъ князей и бояръ, стольниковъ и спальниковъ, онъ всѣмъ имъ велѣлъ учиться именно навигации, математикѣ, астрономическому наблюденію, чертѣжамъ, судостроенію, практическому плаванію и морскому бою, однимъ въ Голландіи и Англіи, другимъ — въ Венеціи и на Мальтѣ. Скрѣпя сердце подъ царскою грозой, молодые князьки и бояре припались за неслыханную раньше науку. Изъ первой посланки 1697 года не вышло ни одного настоящаго моряка; но путешествіе стало общеобразовательнымъ; цѣлый контингентъ молодого русскаго боярства познакомился со складомъ европейской жизни, увидѣлъ новые нравы, могъ оцѣнить или на первый разъ по крайней мѣрѣ удивиться великимъ произведеніямъ науки и искусства. Пробудилась первая любознательность, которой предстояло развиться въ стремленіе усвоить себѣ тѣ умственные и художественные интересы, какіе стали казаться необходимыми для просвѣщеннаго человѣка. Первые путешественники не стали кораблестроителями и адмиралами, но большинство ихъ заняли потомъ важныя мѣста во внутреннемъ управленіи и въ дипломатіи, и стали болѣе или менѣе опытными и сознательными исполнителями плановъ Петра. Слѣдующее поколѣніе уже дома начало получать образованіе въ новомъ направленіи.

Навигациа вела къ пониманію и составленію картъ, къ топографіи и географіи. До Петра географическія свѣдѣнія были весьма первобытны. Въ шестнадцатомъ и даже семнадцатомъ вѣкѣ читали еще Козьму Индикоплова, который въ благочестивомъ невѣжествѣ VI вѣка отвергалъ систему Птолемея, какъ несогласную съ Библіей. Теперь русскіе путешественники, учившіеся у голландскихъ и англійскихъ моряковъ и адриатическихъ

„маринаровъ“, которымъ самимъ случалось ѣздить вокругъ свѣта, конечно, должны были получить совсѣмъ иное понятіе о формѣ земли. Система Коперника дошла, правда, до старыхъ московскихъ людей, но только въ отрывочномъ видѣ, безъ дальнѣйшихъ выводовъ; въ старыхъ космографіяхъ бывали описанія разныхъ странъ, но теперь эти описанія были отчасти запоздалыя, отчасти странныя и фантастическія. Въ книгахъ Петровскаго времени въ первый разъ являются изложенія географіи, переведенныя изъ иностранныхъ руководствъ съ правильными и точными свѣдѣніями. Вопросы географіи привлекали серьезное вниманіе Петра, и къ его времени относятся первыя заботы о географическихъ описаніяхъ Россіи, о правильныхъ „ландкартахъ“, о научныхъ изслѣдованіяхъ Сибири, объ опредѣленіи конечныхъ пунктовъ Азіи и Америки. При Петрѣ положено было первое начало знаменитыхъ экспедицій, которыя въ теченіе XVIII вѣка дали описаніе Россіи и внесли въ науку богатый запасъ новыхъ фактовъ географіи, этнографіи и естествознанія.

Въ первый разъ при Петрѣ является возбужденіе къ правильному изученію самой русской исторіи. Послѣднимъ словомъ старой русской исторіографіи былъ „Синописисъ“ и Исторія дьяка Грибоѣдова, т.-е. или крайне отрывочное изложеніе русской древней исторіи съ примѣскою баснословія по польскимъ образцамъ, или безжизненная компиляція, подробная родословная князей и царей. Петръ нашелъ нужнымъ собрать лѣтописи, поручалъ писать русскую исторію,—правда, исполнитель былъ еще слишкомъ старинный человѣкъ, чтобы дать что-либо удовлетворительное, но другіе люди того времени возымѣли уже о русской исторіи иное представленіе, чѣмъ ихъ предшественники XVII вѣка. Такова была книга Манкіева, писанная въ шведскомъ плѣну, а нѣсколько позднѣе, прямой питомецъ Петровской школы, Татищевъ, хотя далеко не имѣлъ ученой школы, задумалъ и исполнилъ обширный трудъ, гдѣ были любопытныя зачатки настоящей исторической критики.

Съ исторіей русской была связана и исторія европейская. Если русскому государству предстояло занять подобающее мѣсто среди государствъ европейскихъ, то, какъ думалъ Петръ, не только правителямъ, но и просвѣщеннымъ русскимъ людямъ слѣдовало знать тѣ общія политическія начала, на каковыхъ основывается европейская жизнь, и по приказамъ Петра переводятся книги Пуфендорфа. Это была опять первая забота о сообщеніи русскому обществу систематическихъ понятій о вопросахъ политики и государственнаго устройства.

Рядомъ съ этимъ, Петръ уже съ первыхъ крупныхъ политическихъ дѣйствій желаетъ объяснить ихъ русскому обществу. Таково было изданіе „Вѣдомостей“, которыя постоянно сообщали важнѣйшія политическія новости, печатали реляціи о военныхъ событіяхъ и т. д. Особая книга составлена была по порученію Петра для объясненія того, почему была начата шведская война. Петръ совершалъ торжества съ военными процессіями, иллюминаціей, фейерверкомъ по случаю каждой побѣды, одержанной надъ опаснымъ противникомъ, — и это опять была не только личная охота къ шумному веселью, но и желаніе привлечь народную массу къ національному торжеству. Это была цѣлая задача: строились триумфальныя врата, щиты для иллюминацій и фейерверковъ, по тогдашнему вкусу — съ аллегорическими фигурами и надписями, которыя должны были объяснять значеніе событій; фигуры и надписи придумывались учеными людьми, сначала въ Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ, а въ послѣдующее время въ Академіи наукъ въ Петербургѣ. Такимъ же образомъ, когда предстояло рѣшить первостепенный государственный вопросъ о престолонаслѣдіи, Петръ не довольствуется однимъ указомъ, чтобы сказать свою волю, но опять по его порученію пишется особая книга, гдѣ подробно объясняются аргументы рѣшенія („Правда воли монаршей“). Когда издаются правила и узаконенія, они обыкновенно сопровождаются мотивами, и тамъ, гдѣ эти узаконенія проходили черезъ руки Петра, — а это было во всѣхъ важныхъ предметахъ, — мотивы излагаются всегда ясно и наглядно; таковы Воинскій артикулъ и Духовный регламентъ.

Подъ вліяніемъ того общественнаго интереса, каковой возбужденъ былъ Петромъ къ дѣламъ государства и особливо къ его собственнымъ предпріятіямъ и нововведеніямъ, такимъ же орудіемъ воспитанія общественнаго мнѣнія стала церковная проповѣдь. Съ самаго начала наша проповѣдь была посвящена исключительно церковному поученію. Іерархія не была чужда внутреннимъ политическимъ событіямъ; въ посланіяхъ и въ личныхъ вмѣшательствахъ она различнымъ образомъ вліяла на политическія событія и, въ періодъ установленія московскаго велико-княженія и царства, іерархія принадлежала большая доля политическаго результата; но собственное проповѣдничество никогда не достигало большого вліянія, а въ теченіе нашихъ среднихъ вѣковъ оно и совсѣмъ упало. Новое оживленіе его явилось только съ кievской ученостью, которая перенесла въ Москву реторическую „предіку“, въ общему церковному назиданію стали при-

соединяться и наличные вопросы внутренней политики. Петру нравилась подобная проповѣдь, и тѣ церковные проповѣдники, именно питомцы Кіева, которымъ болѣе, чѣмъ старому московскому духовенству, была понятна и сочувственна реформа, стали горячими панегиристами его дѣяній и защитниками новаго порядка вещей. Мы видѣли, что такъ бывало и независимо отъ какихъ-либо внушеній Петра, напр., у Теофана до его переселенія въ Петербургъ. Бывало, что проповѣдь говорила даже противъ преобразованій или противъ суроваго способа дѣйствій Петра, какъ, напримѣръ, у Стефана Яворскаго; но условія уже не были таковы, чтобы эта оппозиція съ церковной каеѣдры могла получить силу. Тѣмъ болѣе распространялся панегирикъ, который въ концѣ концовъ болѣе отвѣчалъ истинному національному интересу, потому что былъ защитой просвѣщенія противъ враждебной ему старины.

Въ области историческихъ свѣдѣній, которыя тогда стали впервые замѣнять древній хронографъ съ его отрывочнымъ и иногда фантастическимъ содержаніемъ, любопытно встрѣтить первую попытку собрать историческія свѣдѣнія о славянскомъ мірѣ. Извѣстно, что и въ этомъ отношеніи Петръ имѣлъ гораздо болѣе широкіе интересы, чѣмъ было до него. Онъ думалъ привлечь южное славянство къ своимъ политическимъ планамъ, рассчитывалъ воспользоваться западно-славянскими людьми для практической работы въ администраціи (думалъ набрать „шрейберовъ“ изъ чеховъ), призывалъ на службу далматинскихъ моряковъ, завязывалъ сношенія съ Черногоріей. Но надъ западно-славянскимъ міромъ еще тяготѣла летаргія: не легко было найти книжныя свѣдѣнія о славянствѣ, и выбрана была для перевода старая книга Мавро Орбини, весьма мало удовлетворительная, — но и она опять послужила первымъ исходнымъ пунктомъ нашего новѣйшаго славяновѣдѣнія. Вскорѣ потомъ Татищевъ могъ уже собрать довольно много свѣдѣній о славянствѣ изъ старыхъ и новыхъ писателей.

Наконецъ, давно возникла у Петра мысль о цѣломъ обширномъ учрежденіи, которое послужило бы пріютомъ для настоящей науки и вмѣстѣ разсадникомъ образованія въ средѣ русскаго общества. Его первые расчеты на помощь іерархіи не оправдались. Патріархъ Адрианъ не понималъ той школы, какой хотѣлось Петру: это былъ человѣкъ совсѣмъ стараго вѣка; ему казалась пригодной только такая церковническая школа, какъ понимали ее въ половинѣ XVII вѣка — отъ нея требовалось только благочестіе, и наукамъ свѣтскимъ въ ней не было мѣста.

Правда, впоследствии Славяно-греко-латинская Академія въ Москвѣ, при новыхъ руководителяхъ, высказывала сочувствіе къ просвѣтительнымъ нововведеніямъ Петра, но все-таки она держалась своихъ специальныхъ задачъ, и Петръ для осуществленія своихъ плановъ обратился за совѣтомъ къ иностраннымъ авторитетамъ; это были Вольфъ, но особливо Лейбницъ. Задумана была Академія наукъ, которая открыта была уже при Екатеринѣ I. Академія объединяла прежнія начинанія на пользу науки, какъ, напримѣръ, библіотека, которая прежде собиралась подъ управленіемъ „архіатера“; кунсткамера, въ которой еще съ первыхъ путешествій Петра собирались „монстры“ и „раритеты“, первая форма естественно-историческаго музея,—но главное, въ Академію должны были быть призваны авторитетные ученые по разнымъ отраслямъ знанія, и вмѣстѣ должно было начаться преподаваніе для приготовленія русскихъ ученыхъ людей. Исторія Академіи наукъ, имѣвшей свою оригинальную судьбу въ теченіе XVIII вѣка и при всѣхъ превратностяхъ ея существованія не мало послужившей для русскаго просвѣщенія, начинается съ плановъ Петра.

Кто же были исполнители этихъ плановъ? Кто вообще представляетъ собою литературу Петровскаго времени? По всему характеру эпохи должно ожидать самаго разнообразнаго состава людей, работавшихъ тогда на книжномъ поприщѣ. Не было настоящихъ писателей,—это бывали чаще только книжники въ старомъ вкусѣ; но были здѣсь и люди сильнаго ума и несомнѣннаго таланта, которымъ, быть можетъ, недоставало только настоящаго поприща, чтобы могло вполне раскрыться ихъ оригинальное содержаніе. Таковъ былъ, напримѣръ, Теофанъ. Далѣе, были здѣсь люди, не думавшіе о писательствѣ, но которые дѣлались писателями, чтобы высказать свои задушевные мысли о государственномъ и народномъ благѣ,—мысли, созрѣвшія въ большомъ жизненномъ опытѣ и нерѣдко замѣчательныя. Таковъ былъ Посошковъ. Далѣе, были здѣсь питомцы старой школы, оживившейся нѣкоторымъ притокомъ новыхъ знаній въ Славяно-греко-латинской Академіи въ Москвѣ. Были иноземцы или полуиноземцы, какіе давно бывали въ посольскомъ приказѣ. Наконецъ, были писатели разныхъ направленій старообрядства:—это была уже въ полной мѣрѣ старая школа, говорившая стариннымъ-полуславянскимъ языкомъ, отрицавшая всякія новшества, какія нѣкогда вводилъ Никонъ въ церкви, а теперь вводилъ Петръ въ жизни государственной и общественной. Мы упоминали о томъ, что этотъ старообрядческій протестъ доходилъ иногда до послѣд-

ного предѣла: этимъ предѣломъ было—убѣдиться и потомъ проповѣдовать, что Петръ есть Антихристъ. Новѣйшіе историки въ первый разъ начинаютъ спокойно относиться къ этой раскольничьей литературѣ, стараются отыскать въ ней ея живую общественную сторону: къ сожалѣнію, съ одной стороны особня условия ея существованія (она жила только скрытно между единомышленниками), съ другой — полная отчужденность ея отъ новаго движенія, научная сторона котораго была ей совсѣмъ непонятна, отняла у нея возможность литературнаго дѣйствія. Первое время, въ разгарѣ раскола, онъ заявлялъ свои протесты въ видѣ догматическихъ трактатовъ, посланій, „челобитныхъ“, которыя вызывали отвѣты и обличенія со стороны писателей господствующей церкви; но въ послѣдствіи и это прекратилось; полемика превратилась въ одно официальное обвиненіе, расколъ скрылся въ свою скорлупу, а наконецъ, въ первой половинѣ нашего столѣтія до „эпохи великихъ реформъ“, изслѣдованіе раскола было совсѣмъ устраниено изъ исторической науки. Только теперь начинается реставрація и безпристрастное истолкованіе прошедшихъ судебъ народной „старой вѣры“.

Такимъ образомъ, періодъ преобразованія относительно книжной дѣятельности долженъ былъ дѣйствовать тѣми средствами, какія были на лицо. Естественно, что литература или книжная дѣятельность въ этихъ условіяхъ могла представлять собою только нѣчто среднее, смѣшанное, переходное. Не было цѣлаго движенія, не было установленнаго принципа, силы разрознивались, не было ничего похожего на литературный кругъ, — только небольшой кружокъ собирался въ послѣдствіи, напр., у Теофана Прокоповича. Наконецъ, эта литература говорила на нѣсколькихъ языкахъ: были книжники стараго московскаго стиля съ обильнымъ плетеніемъ словесъ; другіе воспитались на кievской латинско-польской схоластикѣ; у нихъ пробивался простой дѣловыи языкъ; были такіе, на которыхъ сильно подѣйствовала новая манера Петровскаго языка и которые любили украшать свою рѣчь иностранными словами, рискованными и уродливыми.

Выше мы останавливались на нѣсколькихъ основныхъ дѣятеляхъ этого времени, какими были Стефанъ Яворскій (1658—1722), Теофанъ Прокоповичъ (1681—1736) и Посошковъ (1670—1726). Первые два прошли одну латинскую схоластическую школу, но общаго между ними ничего не было. Ихъ раздѣляла разница того времени, когда складывалось ихъ ученое воспитаніе. Стефанъ вышелъ такимъ книжникомъ и риторомъ, какимъ былъ передъ тѣмъ, напримѣръ, Симеонъ Полоцкій. Онъ про-

никнуть былъ сполна содержаніемъ своей схоластики, и нему-дрено, что, бывши одно время уніатомъ и, какъ полагаютъ, сохранивши и впослѣдствіи уніатскія наклонности, онъ могъ однако сойтись съ той партіей, которая относилась къ Петру враждебно во имя московской старины. Теофанъ былъ человѣкъ совсѣмъ иного закала и гораздо болѣе сильнаго ума и широкаго образованія. Онъ гораздо дальше Стефана и едва ли не дальше всѣхъ остальныхъ современниковъ былъ знакомъ съ настоящей европейской наукой,—впослѣдствіи въ его ближайшемъ кружкѣ бывали нѣмецкіе академики. Съ самаго начала, еще далекій отъ Петра, онъ былъ горячимъ приверженцемъ его начинаній: ихъ соединяла общая вражда къ старому застою, изъ котораго происходилъ обскурантизмъ... Въ своей литературной дѣятельности Теофанъ пользовался такими формами, какія были на лицо: онъ писалъ богословскіе трактаты, проповѣди, школьныя драмы, латинскіе учебники, латинскіе стихи, наконецъ, по волѣ Петра, составлялъ официальные документы и законы, какъ Духовный Регламентъ; въ сущности онъ былъ публицистъ и даже сатирикъ. Его основнымъ интересомъ была настоящая минута въ жизни русскаго общества: онъ опровергаетъ противниковъ реформы или ихъ осмѣиваетъ. Не даромъ близкія отношенія связывали его съ Кантемиромъ. Это былъ сильный умъ, но жесткій, тяжелый характеръ. Ему принадлежит не малая доля въ той суровости, которая впослѣдствіи отталкивала столь многихъ и давала историкамъ оружіе противъ пріемовъ преобразования.

За Стефаномъ Яворскимъ и Прокоповичемъ слѣдуютъ еще нѣсколько ученыхъ людей кievской школы, которые различнымъ образомъ служили какъ дѣлу преобразования, такъ въ частности книжнымъ предпріятіямъ Петра. Таковъ былъ извѣстный впослѣдствіи тверской архіепископъ Теофилактъ Лопатинскій (1685—1741), въ тѣ годы ректоръ московской Академіи. Онъ былъ исполнителемъ переводовъ, какіе приказывалъ дѣлать Петръ Великій. Сохранились любопытныя письма Ив. Алекс. Мусина-Пушкина, который, завѣдуя монастырскимъ приказомъ по смерти патріарха Адріана, былъ исполнителемъ и передатчикомъ приказаній Петра между прочимъ и въ этихъ книжныхъ дѣлахъ. Въ письмѣ въ Поликарпову въ іюнѣ 1715 передается приказъ царя „дабы трудились не лѣнностно въ переводѣ книгъ съ латинскаго ректоръ Лопатинскій и директоръ (типографіи) Поликарповъ“. Въ сентябрѣ 1718 Мусинъ-Пушкинъ извѣщаетъ, что говорилъ съ царемъ на свадьбѣ у князя Голицына: „Да для чего, придалъ (прибавилъ) государь, по сю пору не переведена

книга Виргилія Урбина о началѣ всѣхъ изобрѣтеній — книга небольшая, а такъ мѣшчаете? Отпиши о семъ Лопатинскому "... Въ другомъ письмѣ: „Отцу Лопатинскому скажи, чтобъ перевелъ книги, которыя къ нему посланы. А великій государь часто изволить напоминать, для чего долго не присылаются, и чтобъ не навелъ гнѣву"... Или: „писалъ я къ тебѣ многажды о переводѣ книгъ и чтобъ говорилъ ты отцу Лопатинскому, дабы скорѣе переводилъ, а нынѣ великій государь приказалъ, ежели не переведутъ книгъ лексикона и прочихъ, до того времени жалованья не выдавать, пока не переведутъ“...

Другой кievлянинъ, ревностно служившій Петру, какъ проповѣдникъ и переводчикъ, былъ епископъ рязанскій Гавріилъ Бужинскій (ум. 1731). Онъ былъ нѣкогда преподавателемъ въ Славяно-греко-латинской Академіи и пріобрѣлъ извѣстность своими проповѣдями. Петръ перевелъ его въ Петербургъ, назначилъ оберъ-іеромонахомъ флота; въ этомъ качествѣ Бужинскій написалъ нѣсколько проповѣдей въ защиту флота и военныхъ дѣяній Петра; былъ потомъ архимандритомъ Александро-Невской лавры и совѣтникомъ въ синодѣ, и еще ранѣе протекторомъ типографій для надзора и цензуры надъ книгами, печатавшимися въ русскихъ типографіяхъ; наконецъ, назначенъ епископомъ рязанскимъ. Проповѣдь Бужинскаго отличается обычными свойствами схоластическаго риторства; онъ вторитъ Теофану въ защитѣ дѣяній Петра, но далеко уступаетъ ему степенью дарованія. Въ Петрѣ онъ восхваляетъ самоотверженную любовь къ Россіи: „Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя. Въ сей любви Петръ, истинный подражатель Христа Господа, не щадяше дражайшія души своея за отечество свое... въ трудахъ и подвижѣхъ, въ мразѣ и зноѣ, въ путешествіи и мореплаваніи, въ бѣдственныхъ на земли странствованіяхъ и въ многмятежнѣйшихъ и бѣдственнѣйшихъ морскихъ обуреваніяхъ; не щадяше души своея въ баталіяхъ, егда въ толикомъ былъ случаѣ, яко на дражайшей главѣ его шляпа пулею бысть пробита; не щадяше жизни своея въ мореплаваніи, яко единою въ толикомъ былъ на Балтійскомъ морѣ обуреваніи, идѣже уже всякая надежда спасенія пресѣчена бысть; вся же сія претерпѣвалъ за отечество, полагалъ душу свою за други своя“. Восхваленія доходили до того, что онъ превозносилъ самое мѣсто новой столицы, какъ не имѣющее себѣ равнаго: „Не только всю Россію расположеніемъ и красотою превосходитъ мѣсто (Петербургъ), но и въ иныхъ европейскихъ странахъ не только равное, но ниже подобное обрѣстися можетъ“. Онъ былъ переводчикомъ

Пуфендорфа и Стратемана. Прежде всего, въ 1718, было издано „Введеніе въ Гисторію европейскую чрезъ Самуила Пуфендорфіа, на нѣмецкомъ языкѣ сложенное, также чрезъ Іоанна Фрідеріка Крамера, на латинскіи переложенное. Нынѣ же повелѣніемъ Великаго государя царя, и великаго князя, Петра перваго, всероссійскаго Императора, на руссійскіи съ латинскаго переведенное“. Въ посвященіи панегирикъ Петру, которому поднесенъ былъ переводъ по возвращеніи его изъ-за границы. Бужинскій говорилъ, что слова: „молчать музы между оружіемъ“ (silent musae inter arma) не идутъ въ Россіи: „царственный орелъ, въ сидевое время (т.-е. въ продолженіе войны) не токмо сохраняетъ и покрываетъ музы, но и самъ въ чтеніи книгъ, паче историческихъ, упражняется... всегда попеченіе имѣя, да историческія иноязычныя книги на славенскомъ языкѣ въ Россію происходятъ“. О самомъ переводѣ замѣчено, что трудныя и темныя мѣста „Введенія“ принадлежатъ не Пуфендорфу, а его переводчику Крамеру, который иногда отступалъ отъ подлинника, „показанія ради ума своего“. Поэтому Бужинскій, при переводѣ такихъ мѣстъ, не зная нѣмецкаго языка, „больше послѣдовалъ исторіи смыслу, нежели словамъ и слогу“. Бужинскій замѣчалъ дальше, что авторъ о восточной церкви говорилъ, какъ лютеранинъ: это могло бы привести въ соблазнъ православнаго читателя, но переводчикъ ничего не измѣнилъ въ подлинникѣ, чтобы не подумали, что онъ отъ себя сочинилъ книгу: „идѣже кое несогласіе обрѣтается, тамо на брезѣ (т.-е. на полѣ) объявлено имать быти“... Затѣмъ, помѣщено „толкованіе нѣкихъ реченій трудныхъ, въ книзѣ сей обрѣтающихся“. Пекарскій предполагалъ уже, что это уваженіе къ неприкосновенности иностранной книги въ русскомъ переводѣ обязано именно вышательству царя, и приводитъ слѣдующій рассказъ: „Въ 1714 г., Гавріиль Бужинскій представилъ Петру свой переводъ и царь тотчасъ же началъ его перелистывать съ явнымъ намѣреніемъ отыскать тамъ какое-то мѣсто. Не находя его, государь съ гнѣвомъ обратился къ переводчику: „Глупецъ, что я тебѣ приказывалъ сдѣлать съ этою книгой?“ — Перевести, — отвѣчалъ тотъ. „Развѣ это переведепо, — возразилъ царь, указывая на статью о Россіи, изъ которой былъ выпущенъ при переводѣ приговоръ Пуфендорфа о русскихъ, не совсѣмъ лестный для національнаго самолюбія. — Тотчасъ поди, — прибавилъ Петръ, — и сдѣлай, что я тебѣ приказалъ, и переведи книгу вездѣ такъ, какъ она въ подлинникѣ есть“.

То мѣсто Пуфендорфа, которое Бужинскій затруднился пе-

ревести, было слѣдующее: „О нравѣхъ и разумѣ народа російскаго ничтоже вспоминати имѣемъ, еже бы съ великою ихъ славою сопряжено было, ниже бо россіане тако суть устроены и политичны, яко же прочіе народы европейскіе. Въ письменахъ же толь неискусны, яко въ писаніи и прочтеніи книгъ совершенство ученія полагають. Паче же и самыя священники толико суть грубы и всякаго ученія не причастны, яко токмо прочитавати едину и вторую божественнаго писанія главу, или толкованіе евангельское умѣють—больше же ничто же знаютъ. Заворны же и невоздержательны суть, свирѣпы и кровежаждущіе челоуѣцы, въ вещѣхъ благополучныхъ безчинно и нестерпимою гордостію возносятся; въ противныхъ же вещѣхъ низложеннаго ума и сокрушеннаго. Обаче сами о себѣ высоко мнящіе, ниже высокоуміе ихъ всякимъ, хотя и великимъ почитаніемъ удоволитися можетъ. Ко прибылѣ и лихвѣ, хитростно собираемой, никій же народъ паче удобенъ есть. Рабскій народъ рабски смиряется, и жестокостію власти воздержатися въ повиновеніи любятъ, и якоже всѣ игры въ бояхъ и ранахъ у нихъ состоятся, тако бичевъ и плетей у нихъ и частое есть употребленіе“...

Впослѣдствіи, „Введеніе въ исторію“, въ переводѣ Бориса Волкова, издано было въ 1767 — 1777: это мѣсто сохранено, но прибавлено примѣчаніе, что нынѣ русскіе уже не тѣ, какими ихъ описывалъ Пуфендорфъ; впрочемъ, это примѣчаніе принадлежало не русскому переводчику, а позднѣйшему нѣмецкому изданію книги Пуфендорфа.

Другимъ, въ свое время очень извѣстнымъ трудомъ Бужинскаго (вмѣстѣ съ помощниками) былъ переводъ „Историческаго Театра“ Стратемана, 1724: „Театровъ или позоръ историческій, изъясляющій повсюдную Исторію священнаго писанія и гражданскую черезъ десять исходовъ и вѣки всѣхъ царей, императоровъ, папъ римскихъ и мужей славныхъ и прочая; отъ начала міра даже до лѣта 1680 вкратцѣ ради удобнаго памятованія чрезъ Вілгелма Стратемана собранный“. Эта книга вмѣстѣ съ Пуфендорфомъ была первымъ образцомъ изложенія всеобщей исторіи, смѣнявшаго старинный хронографъ. Стратеманъ былъ протестантскій епископъ въ Оснабрюкѣ. Книга писана въ протестантскомъ духѣ и переводчикъ, вѣроятно наученный примѣромъ перевода Пуфендорфа, передавалъ книгу сполна, что впослѣдствіи повело къ ея запрещенію. Въ предисловіи и посвященіи Петру и Екаторинѣ, подписанныхъ Бужинскимъ и „потрудившимися съ нимъ“, объясняется, во-первыхъ, причина посвященія: „вся ученія духовная и гражданская, въ нихъ же попе-

ченіємъ тщаливымъ вашего императорскаго всепресвѣтлаго величества обучается младенчество, на историческомъ познаніи основана суть, сего ради основателю и зодчію приличествуетъ, да сія повсюдная исторія восписана будетъ. Ниже всуе рекъ, яко на семъ основаніи вся ученія виждутся, иже бо не вѣсть, что прежде всего содѣяся, сей чрезъ все житіе свое отрокъ есть, глаголетъ Цицеронъ, краснорѣчія римскаго отецъ въ книгѣ о гражданской исторіи. Богословскаго познанія еще кто требуетъ, всю христіанскую богословію въ исторіи обрящетъ. Что бо суть иное Вѣтхаго и Новаго Завѣта скрижали, еще не по вящшей части исторія?“

Изъ предисловія къ доброхотному читателю опять видно, что переводчикъ понималъ значеніе книги, излагавшей невѣдомыя ранѣе историческія представленія. Сначала объясняется польза исторіи, подтверждаемая авторитетомъ славныхъ отцовъ церкви: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, а также Цицерона: „Гражданская исторія изслѣдуетъ о народѣхъ и ихъ началѣхъ, населеніяхъ и преселеніяхъ, о дѣлахъ во время брани и мира, о лицахъ и ихъ добродѣтелѣхъ и порокахъ, о монархіяхъ и ихъ состояніи и паденіи, о царствіяхъ и ихъ началѣ и окончаніи, о обществахъ и ихъ возрастаніи и пресѣченіи, купно же о вѣрѣ и божѣхъ языческихъ, о временахъ и властителейъ во времена оная и о симъ подобномъ“. Далѣе объясняется, почему избрана для перевода книга Стратемана: „Неудобъ преплываемый есть океанъ исторіи, ниже всякъ всѣхъ книгъ изобиліе имѣти можетъ“. Онъ знаетъ огромный трудъ магдебургскихъ центуриатовъ, которые писали исторію по столѣтіямъ отъ Рождества Христова и, такъ какъ совершали свой трудъ по отдѣленіи отъ римской церкви, то открыли во всеобщее свѣдѣніе всѣ „папешскія погрѣшенія, замыслы и высокоумія“. Потомъ „Бароній, паки хотая покрыти, противу ихъ написалъ своя превеличайшія на двѣнадцать вѣковъ книги, яже еще и сокращенныя суть чрезъ Скаргу іезуита, но вездѣ папѣ воинствуютъ, срамъ и безчестіе его покрываютъ, пользу же и господство разширять тщатся. Тѣмъ же воспріяхомъ трудъ надъ сею книжицею, яко хотя имать творца протестантскія вѣры, обаче въ словахъ умѣреннаго, и яко вротшія повсюдныя исторіи доселѣ не видѣхомъ. Намъ же, еще бы и возможно собрати подобную исторію, яже бы ничто же противное содержала, но препятіемъ есть лишеніе вивлюижи, скудость латинскихъ, греческихъ же книгъ и скудость и невѣдѣніе“. Переводчикъ предвидѣлъ и другое, что читателя „подвигнути къ ненавидѣнію книжицы сея

можетъ оное обыкновеніе, еже книгъ иностранныхъ не читати“. Онъ находитъ, что „прехвальный есть сей обычай, но съ разсужденіемъ“: сами святые отцы повелѣваютъ учиться не только изъ христіанскихъ, но и изъ языческихъ книгъ, и въ послѣднихъ должно только отвращать очи отъ злыхъ нравовъ. „Аще убо лѣтъ есть книги языческія чести и отъ нихъ что полезное избирати, кое препятіе есть чести христіанскихъ авторовъ, аще и разномудрствующихъ съ нами, но съ таковымъ же разсужденіемъ, да яже противна суть здравому ученію, сія оставимъ или паче сего ради чтемъ, да на оныя отвѣтствовать обучимся“.

Такимъ образомъ книжники этого времени въ первый разъ сознавали прямо наше „невѣдѣніе“ и необходимость ученія хотя бы отъ разномудрствующихъ авторовъ, чтобы почерпнуть отъ нихъ недостающее намъ знаніе: книжники стараго времени не имѣли даже помысленія о томъ, чтобы имъ чего-нибудь недоставало... Историческая преемственность стараго обскурантизма сдѣлала, однако, то, что книги, изданныя при Петрѣ, вскорѣ по его смерти оказались слишкомъ смѣлыми для обычнаго уровня русскихъ понятій. При имп. Аннѣ Ивановнѣ въ 1738 году велѣно было отбирать у частныхъ лицъ книгу Пуфендорфа, а она была вновь разрѣшена при Елизаветѣ въ 1743; но при той же Елизаветѣ, въ 1749, былъ запрещенъ „Театронъ“ Стратемана, такъ какъ въ немъ были сполна переданы лютеранскія мнѣнія, напримѣръ даже неуважительные отзывы объ отцахъ церкви,—книгу велѣно было отбирать и отсылать въ Александро-Невскій монастырь.

Вѣроятно, питомецъ кіевской академіи былъ іеромонахъ Симонъ Кохановскій, служившій при флотѣ. Отъ него остался въ рукописи переводъ одного сочиненія знаменитаго Юста Липсіа: „Увѣщанія и приклады политическіе“. Любопытно, что въ предисловіи онъ объясняетъ, что въ этой книгѣ „не вездѣ смотрѣлъ на латинскія слова Юста Липсіа, но точію смотрѣлъ на силу исторіи, чтобы исторія русскимъ языкомъ была истинна, ясна и всякому вразумительна. А то для того, что помянутый авторъ нѣкая увѣщанія и приклады латинскимъ языкомъ написалъ кратко да темно и вельми скрытно, а мы ради объясненія разума исторіи, нужда была тую самую вещь пространнѣйшими словами писать и нѣкія нужнѣйшія окрестности изображати. Вопреки, нѣкія онъ исторіи написалъ по широко, да темно же, а мы възмнялося оныя сократити и объяснить“. Полагають, что эта „рукописная книга Юста Липсіа“ впоследствии играла роль въ дѣлѣ Артемія Волынскаго: на него показывали, что одно мѣсто

въ этой книгѣ о королевѣ неаполитанской Іоаннѣ онъ примѣнялъ къ современнымъ событіямъ въ Россіи,—въ обвинительномъ актѣ было сказано, что Волинскій „питалъ на ея величество злобу и уподоблялъ ее описанной въ Юстѣ Линсіи королевѣ“.

Тотъ же Кохановскій былъ извѣстенъ какъ проповѣдникъ. По замѣчанію Пекарскаго, вѣроятно справедливому, Кохановскій былъ именно подражателемъ манеры Теофана. Въ одной изъ его проповѣдей читаемъ слѣдующее обличеніе раскола и вообще суевѣрія, съ тѣмъ же бытовымъ реализмомъ и запятою новыхъ обычаевъ во имя здраваго смысла.

„Откуда бо бываетъ, что мнози отъ насъ съ цѣлыми домами, женами и дѣтьми, оставивше честное гражданское сожителство и общеніе церкви святой, бѣгутъ изъ градовъ въ пустыни и тамо скотское и звѣрское житіе проводятъ? А другіе, покинувъ честную жену и чады, а иные, оставивъ праведную службу государеву, бѣгутъ въ темные лѣса и разбойникамъ сообщаются? А которые, будто лучшіе, бѣгутъ отъ службы государевой въ монастыри и монашествомъ покрываются!... Мнѣть бо бѣдныи и не наученные человѣцы, что въ пустынѣ, ради самой точію пустыни, или въ монастырѣ, ради самого точію монастыря, бѣднѣе и скорбнѣе спасеніе неже въ мірѣ, въ честномъ супружествѣ и въ гражданскомъ сожителствѣ. И того ради, прельщенны прелестью нѣкихъ погибельныхъ человѣковъ, раскольническихъ или паче еретическихъ учителей, мнѣть, что женитба скверна и что со женою невозможно спастися. А другіе, подъ видомъ благоговѣнія, бѣгають отъ праведной и богоугодной службы и отъ тяжкихъ трудовъ, ищутъ себѣ отдышки и прохлады въ скитахъ и въ монастыряхъ, будто—они мнѣть—что бѣднѣе труды въ монастыряхъ, нежели въ солдатствѣ, или на иной службѣ государевой... А того бѣдныи не знаютъ, а другіе и знати не хотятъ, что Богъ не зритъ такъ на клобукъ, какъ на парикъ, или на простую шапку, такъ на раздранное и гнусное рубище, какъ на чистую и честную ризу и на прочіе внѣшніе строи и манеры; но зритъ на дѣла и на помысленія челоувѣческая, что челоувѣкъ дѣлаетъ и что думаетъ“. Весь міръ наполнился бабьими баснями и мужицкими суевѣріями: „уже бо нынѣ не точію священники и прочіе книжные люди, но и неграмотные мужики и бездѣльные деревенскія бабы всю тую діавольскую богословію низустъ имѣють—которая пятница святѣйшая и которая сильнѣйшая, которая избавляетъ отъ огня, которая отъ воды, которая отъ вѣчной муки; что ясти и чего не ясти; что пити и чего не пити, и прочая сямъ подобная без-

дѣля и идолослуженія. А молитву Господню Отче нашъ развѣ сотый или тысящный мужикъ умѣетъ! На сколько просфорахъ обѣдню служить—всѣ о томъ ссорятся, а что есть причастіе Тѣла и Крови Христовой, того и не поминай... Сказки бездѣльныя, скверныя бабьи пѣсни и продолженныя срамотныя пѣсни и малыя дѣти наизусть умѣютъ, а десять заповѣдей божіихъ и старые мужики того не знаютъ!“... Опять полная противоположность съ недавней стариной, которая придавала такое великое значеніе внѣшности, обряду, буквѣ. Этотъ самый тонъ обличенія мы видѣли у Теофана, которому приписываютъ наклонность къ протестантскимъ взглядамъ: онъ дѣйствительно отдавалъ предпочтеніе протестантской теологіи предъ католическою,—но здѣсь Теофанъ, Кохановскій и другіе люди ихъ мнѣній могли просто руководиться антипатіей учившихся людей къ суевѣрію, которое дѣйствительно часто превышало всякую мѣру; а кромѣ того это были малоруссы, которымъ были чужды религіозныя особенности великорусской старины.

Не перечисляя другихъ работниковъ Петра изъ кievской школы, назовемъ еще человѣка, біографія котораго до сихъ поръ не выяснена и который былъ однимъ изъ самыхъ раннихъ тружениковъ въ книжномъ дѣлѣ Петра. Это былъ Ильа Копіевскій или Копіевичъ, работавшій въ Амстердамѣ и печатавшій по приказамъ Петра разныя книги собственнаго сочиненія или перевода. Въ прошеніяхъ Петру онъ называлъ себя „духовнаго чину, вѣры реформатскія, Амстердамскаго собору“; въ привилегіи голландской республики названъ полякомъ, жившимъ въ Амстердамѣ. Сначала онъ печаталъ свои книги въ типографіи Тессинга, получившаго въ Амстердамѣ привилегію отъ русскаго царя, но потомъ завелъ свою типографію; онъ занимался также обученіемъ русскаго юношества; потомъ переѣхалъ въ Россію, но дѣла его шли вообще неудачно. Онъ составилъ нѣсколько книгъ по грамматикѣ, риторикѣ, ариаметикѣ, исторіи, воинскому и морскому дѣлу, перевелъ Езоповы басни, Квинта Курція объ Александрѣ Македонскомъ, составилъ разговоры на трехъ языкахъ, даже переводилъ Горація стихами.

Другой разрядъ книжныхъ дѣятелей происходилъ изъ домашней школы—Славяно-греко-латинской Академіи, изъ ея преподавателей и питомцевъ, и типографскихъ справщиковъ въ Москвѣ. Таковъ былъ Ѳеодоръ Поликарповъ, ученикъ Лихудовъ, переводчикъ ихъ твореній съ греческаго, управлявшій потомъ московскою типографіей, усердный слагатель силлабическихъ виршъ, переводчикъ и компиляторъ. Въ московской школѣ,—говорить

онъ, — „нѣкоторый талантець славно-греко-латинскихъ наукъ, божіею помощію, приобрѣтохъ“. Это былъ книжникъ въ старомъ стилѣ, въ качествѣ ученика Лихудовъ врагъ „латинской части“, и сначала онъ весьма недружелюбно относился къ появлявшимся книжнымъ нововведеніямъ. Въ 1701 году онъ напечаталъ „Букварь“ славянскихъ, греческихъ и латинскихъ писменъ, и въ предисловіи, рассказавъ о сошествіи Святаго Духа на апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ, онъ восхваляетъ Петра, который изданіемъ книгъ московской типографіи прославляетъ имя Божіе, и замѣчаетъ, что въ его букварѣ находятся не рѣчи (язычниковъ) Солона, Ливурга, Цицерона, Виргилія и Овидія, но заповѣди Божіи и отеческія творенія, „не Есопа фригійскаго (изданнаго Копіевскимъ) здѣ смѣхотворныя узрите басни типографско зрими; но обращете себѣ предложенъ стостепенный въ небо восходъ“ (т.-е. Стославецъ патріарха Геннадія, давшаго принадлежность школьнаго обученія) и т. д. По старинному, въ букварѣ восхваляется розга и прибавлены даже картинки, изображающія расправу дидакала со школьниками. Въ 1704, Поликарповъ издалъ „Лексиконъ трязычный, сирѣчь реченій славянскихъ, еллино-греческихъ и латинскихъ сокровище“. Въ „увѣщательномъ извѣщеніи благоразумному читателю“ Поликарповъ предполагаетъ, что многимъ трудъ его покажется ненужнымъ, такъ какъ довольно своего языка, чтобы говорить между собою; но знаніе языковъ одобряетъ самъ Спаситель и оно полезно тѣмъ, что искореняетъ злочестивыя вѣры, и немало иноземцевъ, имѣя руководство для изученія славянскаго языка, приходило бы въ благочестіе. Притомъ иностранцы внесли въ нашъ языкъ множество своихъ рѣчей, отчего „чистота славянская засыпаса отъ чужестранныхъ языковъ въ пепель“. Греческій языкъ для русскихъ необходимъ потому, что съ него переведены книги священнаго писанія; латинскій языкъ употребляется особенно въ гражданскихъ и школьныхъ дѣлахъ, а потому необходимъ воину и художнику. Въ 1721 Поликарповъ издалъ съ нѣкоторыми измѣненіями старую грамматику Мелетія Смотрицкаго, противъ которой сталъ скоро возставать Тредьяковскій. Наконецъ, мудрый книжникъ долженъ былъ исполнять переводы и по царскимъ приказамъ. Ему пришлось употребить свой „талантець“ на переводъ географіи Варенія. Въ предисловіи къ переводу онъ признается въ своей немощи перевести эту многотрудную и премудрую книгу, но по приказу пресвѣтлаго величества „малымъ и худымъ караблемъ смысла моего съ прочими на широкій сей океанъ толкованія пуститися дерзнулъ“. Онъ замѣчаетъ

дальше, что переводилъ не на „самый высокій славенскій діалектъ“,—который онъ самъ бы вѣроятно предпочелъ,—но „множае гражданскаго посредственнаго употреблялъ нарѣчія, охраняя сенсъ и рѣчи оригинала иноязычнаго“.

Съ тѣхъ поръ, какъ московская школа была въ рукахъ наставниковъ Поликарпова, Лихудовъ, характеръ ея очень измѣнился. Ея новые руководители, опять изъ кіевлянъ, питали сочувствіе къ заботамъ Петра о просвѣщеніи. Московская Академія, какъ разные ученые люди въ Петербургѣ, принимала участие въ устройствѣ торжествъ, какія любилъ Петръ, съ аллегоріями и символами, рѣчами и т. п. Полтавская побѣда вызвала цѣлый рядъ торжествъ церковныхъ и народныхъ и отозвалась книгами и брошюрами. Явилась прежде всего „обстоятельная реляція“ о побѣдѣ, которая тогда же вышла въ нѣсколькихъ переводахъ на нѣмецкій и голландскій языкъ. Въ Кіевѣ, „при всенародномъ собраніи въ престольной церкви святыхъ Софіи“ и въ присутствіи самого Петра, произнесенъ былъ „Панегирикъ, или слово похвальное о преславной надѣ войсками свѣйскими побѣдѣ“, тогда же два раза напечатанный. Это была рѣчь Теофана; къ ней присоединены были, какъ говорится въ предисловіи, „торжественныя ритмы, во славу тояжде неслыханныя твоея викторіи, тройственнымъ діалектомъ латинскимъ, словенскимъ и польскимъ сложенныя отъ мене (по мѣрѣ малонискусства моего), аже наипервое по побѣдѣ въ Кіевѣ вашего царскаго пресвѣтлаго величества пришествіе напечатати и произнести тщахся, аще бы нужнѣйшихъ тогда царскихъ дѣлъ не имѣла типографія“. Далѣе, была сочинена Теофилактомъ Лопатинскимъ и напечатана благодарственная служба о дарованной Богомъ побѣдѣ. Наконецъ, въ Москвѣ славяно-греко-латинская Академія воздвигла для встрѣчи Петра торжественныя врата, на которыхъ не только объяснила исторію шведской войны, но и цѣлую исторію русскаго Геркулеса. Врата объяснены были въ книжкѣ съ такимъ заглавіемъ: „Політіколѣпная Апоеосис достохвальныя храбрості все-русскаго Геркулеса... По преславной викторіи надѣ химероподобными дівами гордынею, рекше неправдою, і хіщеніемъ свѣйскимъ, на генералной баталіи въ нынѣшнемъ 1709 году, въ 27 и 30 день мѣсяца іунія, бывшей подъ Полтавою близъ Переволочной, і на иныхъ прежнихъ Марсовыхъ случаяхъ, со подвѣгоположнымъ і побѣдоноснымъ православнымъ воінствомъ своимъ, всенароднымъ радованіемъ возвращающагося въ царствующіи градъ свої Москву, въ премудрыя Аѳіны (сі есть Палады) великороссійскія Ареопагъ, узаконенная отъ еллинско-славено-латинскія же его

царскаго пресвѣтлаго величества академіи московскія“. Дѣянія Петра сравниваются съ подвигами Геркулеса: „О Геркулесѣ повѣствуютъ, что онъ въ колыбели растерзалъ двухъ змѣй. Видѣла Россія начало царствія пресвѣтлѣйшаго монарха нашего и ужаснулась смущенія, ненависти, бунту, паче Геркулесовыхъ змѣевъ царство Его Величества заразившихъ и осквернившихъ. Но прехрабрый сей еще въ юности своей Геркулесъ дерзновенно растерзалъ ихъ, смирилъ и казнилъ крамольниковъ“. Авторъ „Апофеозиза“ говоритъ о дѣтскихъ потѣхахъ Петра, потомъ объ его путешествіяхъ, и доказываетъ необходимость знакомства съ другими землями и народами: „Малодушныя и простолюдинныя души въ дому пребываютъ и привязаны къ своей землѣ. Земля между прочими стихіями самая нечистая и гнилы подлежащая, зане пребываетъ на томъ же мѣстѣ, на немъ же бысть создана. Воздухъ же, движенія своего ради, чистъ и легокъ. Вода также морская и озерная солоня и гнилы, рѣчная же и ключевая — самая чистая и здоровая. Такъ поистинѣ всякой доматоръ у политиковъ грубъ и посмѣянію достоинъ... Почему благоразумный опасаться будетъ чуждыя посѣщать страны? Того ли токмо ради, что чужія государства токмо незнакомыя суть страны и привыкать къ нимъ трудно? Но всякая земля человѣку разумному отечество есть, всякъ воздухъ орлу есть проходимый. Еслибъ кто, въ отечествѣ живучи, а не въ томъ дому, гдѣ родился, сѣтовалъ бы сего ради и сокрушался, — поистинѣ за полоумнаго и ничтожнаго былъ бы почитанъ. Убытокъ ли ты утрачиваетъ и жошгъ на путешествіе? Но, малоумный, возьми только приходныя и расходныя книги свои, по истинѣ увидишь, что многогажды вдвое расходу нежели приходу... Теляткомъ ты родился, быкомъ вырастешь угодный для сохи и ярма, а не для политическихъ функцій. Всякій благоразумный политикъ премудрость и искусство паче всѣхъ богатствъ почитаетъ... Свѣтъ сей есть единая превеликая книга, на нейже Создатель неизреченныя премудрости своей еезесь написалъ: на овой убо части сію, на овой — иную. Не всякая земля всѣ плоды приносить. Такъ и премудрый Создатель не всѣ искусства всякой землѣ далъ, но иной — то, другой — иное, да тако разсѣянныхъ человѣкъ приведетъ до людскости, взаимныя знакомости и дружества исканіемъ сихъ, что иной имать, иной же не имать“.

Изъ московскихъ школъ Петръ приказалъ выбрать добрыхъ латинниковъ, чтобы послать ихъ въ распоряженіе повѣреннаго въ дѣлахъ въ Вѣнѣ Авраама Веселовскаго, именно въ Прагу, для переводовъ, о которыхъ, какъ дальше увидимъ, Петръ самъ

переписывался съ Веселовскимъ. Были посланы Воейковъ и впоследствии довольно извѣстный Кроликъ. Еще одинъ латинникъ, котораго хотѣли отправить за границу, Ильинскій, жилъ въ домѣ князя Кантемира: князь не отпустилъ его, но Ильинскій также переводилъ книги, напримѣръ, Систему магометанской религіи, изданную въ 1722. Потомъ посылали и другихъ въ Прагу „для либеральныхъ наукъ“.

Новый рядъ книжныхъ дѣятелей вышелъ изъ стариннаго учрежденія, игравшаго своеобразную роль въ домствѣ иностранныхъ дѣлъ и собранія свѣдущихъ книжниковъ. Это былъ посольскій приказъ. Нѣкогда для посольствъ брали прямо иноземцевъ, такъ какъ требовалось знаніе языковъ: это бывали греки, итальянцы, нѣмцы, англичане; наконецъ, находились русскіе, какимъ-либо образомъ научавшіеся иностраннымъ языкамъ. Въ подъячіе посольскаго приказа набирали молодыхъ людей особливо даровитыхъ. Переводчики приказа, иноземцы, а потомъ и русскіе, въ XVII вѣкѣ обязаны были переводить для царя иностранныя газетныя извѣстія, но переводили также и книги. Въ началѣ XVII вѣка Говвинскій, „переводчикъ греческихъ словъ и польскихъ“, перевелъ басни Эзопа; датчанинъ Гельмсъ (Эльмстонъ), котораго знавалъ Олеарій, владѣя всѣми европейскими языками, при царѣ Михаилѣ,—перевелъ на русскій языкъ нѣсколько латинскихъ и французскихъ книгъ; при царѣ Алексѣѣ переводчикъ посольскаго приказа былъ ученый нѣмецъ Келлерманъ и т. д.

Посольскіе переводчики дѣйствовали и во времена Петра. Таковъ былъ извѣстный Андрей Вивіусъ, изъ голландцевъ, давно обжившихся въ Россіи (1632—ум. около 1715). При Алексѣѣ Михайловичѣ онъ былъ царскихъ дѣлъ переводчикъ и тогда уже перевелъ на русскій нѣсколько книгъ, въ томъ числѣ „Зрѣлище житія человѣческаго, въ немъ же изъяснены суть дивныя бесѣды животныхъ со истинными къ тому приличными повѣстями“ и пр.; составилъ нѣчто въ родѣ дорожника съ указаніемъ разстояній, между прочимъ, къ иностраннымъ городамъ. Въ 1685 онъ заведывалъ въ Россіи почтами, былъ послѣ думнымъ дьякомъ, по праздникамъ „государей царей пресвѣтлыя очи видалъ“; потомъ замѣшанъ былъ въ дѣло Шакловитаго тѣмъ, что переслалъ въ Амстердамъ, для новаго печатанія за границей, портретъ царевны Софіи, сначала отпечатанный въ Москвѣ; но вскорѣ затѣмъ онъ сблизился съ Петромъ, исполнялъ разные порученія царя, напр., управлялъ сибирскимъ приказомъ, учредилъ первую навигацкую школу, давалъ указанія объ устройствѣ торжественныхъ

въѣздовъ, просматривалъ и самъ дѣлалъ переводы иностранныхъ книгъ. Такъ онъ трудился надъ „воинскими правами“, механикой, фортификаціей, „фундаментнымъ строеніемъ“, „огнестрѣльной книжицей“ и т. п. По смерти Виніуса книги его были взяты въ 1718 въ казенную бібліотеку и перешли потомъ въ Академію наукъ.

Въ концѣ XVII вѣка въ посольскомъ приказѣ работалъ надъ переводами Петръ Шафировъ, при Петрѣ Великомъ баронъ и вице-канцлеръ, и братъ его Михаилъ. Петръ Шафировъ сталъ политическимъ писателемъ; ему принадлежитъ извѣстное „Разсужденіе, какіе законныя причины его царское величество Петръ первый царь и повелитель всероссійскій и протчая, и протчая, и протчая, къ начатію войны противъ короля Карла 12, шведскаго, 1700 году имѣлъ, и кто изъ сихъ обоихъ потентатовъ, во время сей пребывающей войны, болѣе умѣренности и склонности къ примиренію показывалъ, и кто въ продолженіи оной съ толь великимъ разлитіемъ крови христіанской, и разореніемъ многихъ земель виновентъ; и съ которой воюющей стороны та война по правиламъ христіанскихъ и политическихъ народовъ болѣе ведена“ и пр.,—гдѣ многія мѣста написаны были самимъ Петромъ. До времени Петра дожилъ еще иноземецъ, Николай Спаарій: валахскій грекъ, родственникъ господаря, изгнанный изъ своего отечества за политическія интриги, причемъ ему былъ урѣзанъ носъ, онъ съ 1672 года находился на русской службѣ въ посольскомъ приказѣ, принималъ здѣсь участіе въ „строеніи“ книгъ, самъ писалъ и переводилъ и извѣстенъ между прочимъ посольствомъ въ Китай. Молодые люди, учившіеся за границей, попадали въ переводчики государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ, и независимо отъ того занимались переводами: таковы были двое Волковыхъ, Борисъ и Григорій, двое Зотовыхъ, сыновей перваго учителя Петра, Василій Суворовъ. Послѣднему принадлежить: „Истинный способъ укрѣпленія городовъ, изданный отъ славнаго Инженѣра Вобана, на французскомъ языкѣ. Нынѣ же преложенъ съ французскаго на русскій языкъ“, изданный повелѣніемъ Петра въ 1724. Это былъ отецъ знаменитаго полководца, и послѣдній говорилъ, что отецъ „при ежедневномъ чтеніи и сравненіи съ оригиналомъ сего перевода, изволилъ самъ меня руководствовать къ познанію сей столь нужной и полезной науки“.

Изъ первыхъ посланцевъ за границу одинъ князь Долгорукій, жившій въ Венеціи, перевелъ „Архитектуру цивильную“; П. А. Толстой перевелъ Овидіевы „Превращенія“, которыя остались неизданными.

Изъ новѣйшихъ пришельцевъ былъ переводчикомъ извѣстный Савва Рагузинскій, далматинскій негоціантъ, русскій политическій агентъ, вступившій наконецъ на русскую службу и впоследствии графъ. Онъ перевелъ съ итальянскаго книгу Мавро Орбини о древней славянской исторіи и „Совѣты премудрости“.

Наконецъ, Петръ желалъ воспользоваться для переводовъ даже плѣнными шведами. Въ 1714 онъ писалъ московскому коменданту Измайлову: „Господинъ комендантъ! Посылается къ вамъ роспись шведамъ, которые умѣютъ по-русски и которыхъ мы могли напечатать; но понеже ихъ болѣе того числа есть, того ради вездѣ провѣдай о нихъ и, собравъ сколько возможно, пришли сюда, а дѣло ихъ то, что имъ переводить книги съ шведскаго на російскій языкъ“. Извѣстно, что плѣнные шведы заводили школы; имъ предлагали поступать для отправленія дѣлъ въ коллегіи, въ ряду тѣхъ „ученыхъ и въ правостяхъ искусныхъ людей“, которыхъ Петръ для этой цѣли выписывалъ изъ-за границы ¹⁾.

Такъ разнообразны были средства, какими долженъ былъ дѣйствовать Петръ, и изъ такихъ далекихъ одинъ отъ другого круговъ выходили его исполнители. Онъ бралъ всѣ наличные элементы, какіе могли служить его дѣлу. Значительная часть ихъ была уже готова раньше: кievская академія, московская славяно-греко-латинская школа, посольскій привазъ; но какъ эти прежнія, такъ и новыя силы, которыя были ими привлечены, возимѣли эту усиленную дѣятельность только и именно потому, что ихъ вела энергическая воля Петра.

Новѣйшіе строгіе судьи говорятъ о недостаткѣ системы, об отрывочности плановъ Петра,—но, не касаясь политическихъ задачъ, которыя онъ ставилъ и которыхъ достигалъ, довольно останавливаясь на книжной сторонѣ его трудовъ, чтобы увидѣть именно систему и опредѣленный планъ, насколько они были выполнимы при скудныхъ средствахъ того времени.

Время Петра и затѣмъ весь восемнадцатый вѣкъ упрекаютъ въ подражательности. Дѣйствительно, очень часто она была явная; но забываютъ, что „подражаніе“ прежде и главнѣе всего состояло въ усвоеніи самыхъ элементарныхъ познаній, какъ грамматика, арифметика, географія, исторія и т. п., и тѣ практиче-

¹⁾ Позднѣе, въ 1716 велѣно было „послать въ Королевъ человѣкъ 80 или 40, выбравъ изъ молодыхъ подъячихъ, для науки нѣмецкаго языка, дабы удобнѣе въ коллегіяхъ были... робятъ добрыхъ и умныхъ, которые бы могли науку воспріять, а чтобъ были лѣтами отъ 15 до 20“.

скія знанія, какія были необходимы для общаго образованія и для нуждъ государства. Нѣтъ сомнѣнія, что дѣятельность Петра была бы шире и цѣльнѣе, если бы онъ нашелъ болѣе подготовленную почву и людей, — теперь многое надо было начинать именно съ азбуки, въ томъ числѣ ему самому: преобразование по необходимости становилось разбросаннымъ и поспѣшнымъ. Его собственная природа была такова, что его неудержимая энергія бралась за все вдругъ; затѣмъ, онъ слишкомъ хорошо зналъ своихъ подданныхъ и соотечественниковъ — слишкомъ давно и крѣпко вкоренилась полу-восточная медлительность, умственная и физическая лѣнь; онъ шелъ впереди своего вѣка, давая образецъ необычайнаго труда и подвижности. Была и еще причина его поспѣшности. Въ половинѣ своего поприща онъ долженъ былъ увидѣть, что ему нельзя ждать преемника своихъ начинаній; не на кого было оставить ихъ продолженіе, и надо было спѣшить самому сдѣлать все, что возможно. Надо было по крайней мѣрѣ положить прочное начало и оставить примѣръ.

При этихъ условіяхъ дѣло преобразованія и не могло идти иначе. Книжная дѣятельность, въ которой Петръ принималъ такое живое участіе, поражаетъ не только разнообразіемъ, но и глубиною его замысловъ: самъ онъ не могъ быть книжникомъ, но удивительна та ревность и мѣткость, какія онъ вносилъ въ свои книжные труды среди безконечнаго множества крупныхъ и мелкихъ дѣлъ, политическихъ и военныхъ заботъ. Возьмемъ нѣсколько примѣровъ.

Съ самыхъ юныхъ лѣтъ Петръ увидѣлъ, что для усвоенія иноземнаго знанія надо обратиться къ иноземнымъ книгамъ. Въ Эрмитажной библіотекѣ сохранилась рукопись, которая свидѣтельствуешь, что онъ приказывалъ переводить книги, когда ему было всего тринадцать лѣтъ. Это — прекрасная рукопись съ отчетливо нарисованными тушью чертежами, подъ заглавіемъ: „Художества огненные и разныя воинскія орудія во всякимъ городowymъ приступамъ и ко оборонѣ приличныя, издателемъ Іосифомъ Бойлотомъ Ладгрини изобрѣтенныя. Съ французскаго переведены на нѣмецкій языкъ Яганомъ Бранціемъ. Печатано въ Стразбургѣ 1603 г., по числу російскаго счету 7111 году. А по указу великаго государя царя и великаго князя Петра Алексѣевича всеа великія, и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, переведена съ французскаго и нѣмецкаго языка на русскій языкъ 7193 (1685) году“.

Послѣ перваго опыта, Петръ повелъ заботу о переводахъ систематически. Во-первыхъ, онъ воспользовался тѣми людьми, какіе

имѣлись. Во-вторыхъ, онъ старается образовать новыхъ переводчиковъ: какъ онъ собралъ ненужныхъ ему стольниковъ и спальниковъ и послалъ ихъ учиться навигацкому дѣлу, такъ потомъ отправлялъ свободныхъ людей за-границу для „либеральныхъ наукъ“. Всѣмъ этимъ онъ распоряжался самъ. Въ декабрѣ 1716 онъ пишетъ къ Мусину-Пушкину изъ Амстердама: „По полученіи выберите немедленно изъ латинской школы лучшихъ рабятъ, высмотря гораздо которые поострая, человекъ 10, и пришлите моремъ на шнавѣ, которую будетъ отпускать генераль фельдмаршалъ и губернаторъ кн. Меншиковъ“. „Рабятъ“ брали вообще безъ особыхъ церемоній, когда они оказывались нужны. Это было исконное представленіе о службѣ государству, которое Петръ началъ примѣнять съ небывалой прежде строгостью.

Петръ нуждался въ людяхъ, потому что работы все больше разрастались. Такъ было и въ книжныхъ дѣлахъ. Онъ самъ выбиралъ или одобрялъ книги, которыя надо было составить, перевести, напечатать. Книги церковныя издавались, какъ прежде, по благословенію духовныхъ властей, въ Кіевѣ по благословенію Кіево-Печерской лавры, и въ нихъ упоминалось только, что онѣ выходили при его царствованіи. Книги свѣтскія, учебныя и научныя по всякимъ специальностямъ печатаются „повелѣніемъ“ или „по указу“ царя, начиная съ того „Введенія краткаго во всякую исторію“, которое издано было Копіевскимъ въ друкарнѣ Тессинга въ Амстердамѣ, 1699. И это не была только казенная формула, потому что множество книгъ дѣйствительно прошло черезъ руки царя: онъ указывалъ книги для перевода, торопилъ переводчиковъ, грозя не давать жалованья, пересматривалъ сдѣланное, требовалъ исправленія или самъ исправлялъ дурно написанное и переведенное.

Между прочимъ упрекали Петра въ его узко утилитарныхъ взглядахъ. Напротивъ, мы видимъ, что онъ заботится не только о техническихъ знаніяхъ: рядомъ съ книгами по военному, морскому, артиллерійскому и т. п. дѣлу, онъ настояваетъ на переводѣ книгъ общаго научнаго содержанія. Ему нужно историческое сочиненіе Пуфендорфа, и онъ недоволенъ Бужинскимъ, когда тотъ исключилъ изъ текста неблагопріятные отзывы о русскихъ. Въ 1715 онъ пишетъ Веселовскому въ Вѣну: „...Сыщите книги: Лексиконъ универсалисъ, который печатанъ въ Лейпцигѣ у Томаса Фрича, другой Лексиконъ универсалисъ же, въ которомъ есть всѣ художества, которой выданъ въ Англіи на ихъ языкѣ, и оной сыщите на латинскомъ или на нѣмецкомъ языкѣ. Такожъ сыщите книгу юриспруденцію, и какъ ихъ сы-

щешь, тогда надобно тебѣ съѣздить въ Прагу и тамъ въ езуицкихъ школахъ учителемъ говорить, чтобъ они помянутыя книги перевели на словенскій языкъ, и о томъ съ ними договоритесь, почему они возьмутъ за работу отъ книги и о томъ намъ пишетежъ. И понеже нѣкоторые рѣчи ихъ несходны съ нашимъ словенскимъ языкомъ и для того можемъ къ нимъ прислать русскихъ нѣсколько человѣкъ, которые знаютъ по латыни и лучше могутъ несходныя рѣчи на нашемъ языкѣ изъяснить. Въ семъ гораздо постарайся, понеже намъ сіе гораздо нужно“. Ему же заказываетъ онъ прислать исторію Юлія Цезаря на латинскомъ языкѣ. Въ 1716 году Петръ пишетъ ему же: „такоежъ старайтесь достать книгу лексиконъ Телниковъ (*artium et scientiarum*), которая выдана въ Англіи, и чтобъ она была на латинскомъ или нѣмецкомъ языкѣ, и отдайте переводить въ упомянутый кляшторъ къ іезуитамъ, и о цѣнѣ съ ними за переводъ оной договорись. Ежели жъ (паче чаянія) что на латинскомъ или нѣмецкомъ языкѣ такой книги не сыщете, а можетъ быть что сыщутъ тѣ іезуиты и англійскаго языку переводчика, то купите и на англійскомъ языкѣ и пошлите ту, чтобъ переводили съ англійскаго на словенскій языкъ“.

Въ послѣдніе годы жизни Петръ опять вспомнилъ о Пуфендорфѣ и, бывши въ засѣданіи синода въ декабрѣ 1721, велѣлъ перевести „на словенскій діалектъ“ книгу *De officiis hominis et civis*. Переводъ былъ оконченъ справщикомъ Кречетовскимъ только въ 1724 году и лежалъ въ синодѣ, когда въ сентябрѣ этого года полученъ былъ собственноручный указъ Петра: „пошлю при семъ книгу Пуфендорфа, въ которой два трактата, первой—о должности человѣка и гражданина, другой—о вѣрѣ христіанской; но требую, чтобы первый тою переведенъ былъ, понеже въ другомъ не чаю къ пользѣ нуждѣ быть, и прошу, дабы не по конецъ рукъ переведена была, но дабы внятно и хорошимъ штилемъ“. Повелѣніе о напечатаніи книги было исполнено только по его смерти.

Другимъ живымъ интересомъ Петра была исторія русская. Наслѣдіемъ отъ старины былъ Синописисъ, два раза напечатанный при Петрѣ, но едва ли его удовлетворившій; Петръ рано сталъ думать о необходимости другой книги. Въ 1708, и потомъ въ 1712, Мусинъ-Пушкинъ нѣсколько разъ писалъ объ этомъ Ѳеодору Поликарпову, которому поручалось написать русскую исторію отъ начала царствованія великаго князя Василя Ивановича и до настоящаго времени. Повидимому, Петра интересовало изложеніе русской исторіи именно съ прочнаго уста-

новленія государственнаго порядка. Для образца, Поликарпову велѣно было описать первыя пять лѣтъ, въ двухъ редакціяхъ, краткой и пространной. Въ 1712 Мусинъ-Пушкинъ подтверждалъ: „съ великимъ желаніемъ царское величество приказалъ къ тебѣ о семъ писать“; или: „понеже его царское величество желаетъ вѣдать россійскаго государства исторію, и о семъ первѣе трудиться надобно, а не о началѣ свѣта и другихъ государствахъ, понеже о семъ много писано. И того ради надобно тебѣ изъ русскихъ лѣтописцевъ выбирать и въ согласіе приводить прилежно. О семъ имѣй стараніе да имаша получить немалую милость; отъ гнѣва же (царскаго) да сохранить тебя Боже!“ Петръ вѣроятно желалъ исторіи болѣе свѣжей, гдѣ было бы пониманіе политическихъ интересовъ, какъ потомъ онъ желалъ видѣть въ исторіяхъ собственнаго времени, напримѣръ свейской войны; но ученикъ Лихудовъ былъ такой старосвѣтскій книжникъ, что составилъ вѣроятно высокопарную компіляцію въ старомъ вкусѣ, которая Петру не могла понравиться. Книга была наконецъ написана, но въ январѣ 1716 Мусинъ-Пушкинъ извѣщалъ Поликарпова: „исторія твоя россійская... не очень благоугодна была“. Нѣсколько разъ Петръ дѣлалъ распоряженія о собираніи старыхъ лѣтописцевъ, хронографовъ и другихъ матеріаловъ для русской исторіи: съ 1720 года повелѣвалось пересылать ихъ изъ всѣхъ епархій въ сенатъ, потомъ въ синодъ, между прочимъ снимая копіи. Напримѣръ предписывалось губернаторамъ: „во всѣхъ монастыряхъ, и епархіяхъ, и соборахъ прежнія жалованныя грамоты и другія куріозныя письма оригинальныя, такожде и историческія рукописныя и печатныя книги пересмотрѣть и переписать... и тѣ переписныя книги прислать въ сенатъ“. Или распоряженіе по духовному вѣдомству: „изъ всѣхъ епархій и монастырей, гдѣ о чемъ по описямъ куріозныя, т.-е. древнихъ лѣтъ рукописанные на хартіяхъ и на бумагѣ церковныя и гражданскіе лѣтописцы, степенныя, хронографы и прочіе имъ подобныя, что гдѣ таковыхъ обрѣтается,—взять въ Москву въ синодъ, и для извѣстія оныя списать и тѣ списки оставить въ бібліотекѣ“. Около того же времени, въ 1722, Петръ опять поручаетъ сенатскому оберъ-прокурору Скорнякову-Писареву составить какой-то лѣтописецъ, и Писаревъ обращался по этому поводу въ синодъ: „императорское величество указалъ мнѣ сочинить книгу лѣтописецъ, и того ради ваше святѣйшество прошу, дабы изволили приказать прислать ко мнѣ для онаго дѣла писца, который бы могъ писать правописательно“...

Извѣстно, наконецъ, какъ Петръ заботился о составленіи

исторіи его собственнаго царствованія. Къ этому привлечень былъ Шафировъ, Теофанъ Прокоповичъ, шведъ Венедиктъ Шиллингъ, баронъ Гюйссенъ; для этого печатались вѣдомости, реляціи о главнѣйшихъ баталіяхъ, велись „юрналы“ и т. п. Въ этихъ работахъ самъ Петръ принималъ участіе, исправлялъ и дополнялъ. Руководило имъ при этомъ не самохвальство, а желаніе объяснить происходившее въ государствѣ, указать необходимость войны, тягости которой вызывали жалобы; онъ хотѣлъ, чтобы дѣло, надъ которымъ онъ трудился, было понято какъ дѣло великое, государственное, всенародное.

Петру приходилось заботиться самому о духовномъ воспитаніи народа. Онъ не могъ быть доволенъ духовенствомъ стараго московскаго склада: оно было слишкомъ мало учено, слишкомъ загрубѣло,—этому вѣроятно приписывалъ онъ и происхожденіе раскола, какъ то предполагали и кіевскіе ученые. По мнѣнію историковъ, не безъ прямого вліянія мыслей Петра написано было предисловіе къ московскому букварю, изданному „повелѣніемъ“ Петра въ 1704. Въ этомъ предисловіи восхваляется польза просвѣщенія и сурово обличается невѣжество и особенно среди тѣхъ, кто должны быть учителями. „И сей убо порокъ невѣжества елико мощно терпѣти въ мірянахъ, церкви святѣй на службу не причтенныхъ, но како мощно толико зло терпѣти въ лицахъ духовныхъ, на служеніе тайнамъ святымъ пріобщится хотящихъ? Кто не вознегодуетъ, зря тѣму невѣжества во іереяхъ, ихъ же Христосъ имѣти свѣтъ міру, глаголаше: вы есте свѣтъ міру! Кто христіанскимъ не поболитъ сердцемъ, зря слѣпыхъ отъ слѣпного водимыхъ и къ ямѣ погибельной грядущихъ?... Вещь во истину страха исполнева и ужаса—невѣжество въ начальникахъ! Горе кораблю, влающемуся посредѣ волнъ пучины морскія, правителя же невѣжду, управленія неискусна, имущу! Горе болѣзни одержиму и цѣлится хотяща, врача же проста и въ хитрости врачевной буя стяжавшу! Имѣяй уши слышати, да слышитъ!“ Потомъ и самъ Петръ заботился о томъ, чтобы народъ получилъ, наконецъ, то необходимое, простое и здравое вѣроученіе, какого онъ, несмотря на все старое благочестіе, не имѣлъ. Въ апрѣлѣ 1724 Петръ черезъ Теофана Прокоповича передалъ въ синодъ слѣдующую собственноручную записку:

„Святѣйшій синодъ! Понеже я разговорами давно побуждалъ, а нынѣ письменно, дабы краткія поученья людямъ сдѣлать (понеже ученыхъ проповѣдниковъ зѣло мало имѣемъ), также сдѣлать книгу, гдѣ изъяснить: что непремѣнный законъ божій, и что совѣты, и что преданія отеческая, и что вещи среднія, и что

только для чину и обряду сдѣлано, и что непремѣнное, и что ко времени и случаю премѣнялось, дабы знать могли, что въ каковой силѣ имѣть.

„О первыхъ вѣжется мнѣ, чтобъ просто написать такъ, чтобъ и поселянинъ зналъ, или на двое: поселяномъ простѣе, а въ городахъ покрасивѣе для сладости слышащихъ, какъ вамъ удобнѣе покажется. Въ которыхъ бы наставленіяхъ—что есть прямой путь? истолкованъ былъ, а особливо, Вѣру, Надежду и Любовь: и о первой, и о послѣдней зѣло мало знаютъ и не прямо что и знаютъ, а средней и не слышали, понеже всю надежду кладутъ на пѣніе церковное, постъ и поклоны и прочее тому подобное, въ нихъ же строеніе церквей, свѣчи и ладонъ. О страданіи Христовомъ толкуютъ только за одинъ первородный грѣхъ, а спасенія дѣлами своими получаютъ, какъ вышеписано.

„О второмъ же, чтобъ книгу сочинить—мнѣ кажется, не лучше ль оную катихизисомъ, къ тому и прочія вещи послѣдовательно, что въ Церкви обрѣтается, внести съ пространнымъ толкомъ; такожь приложить: когда, и отъ кого, и чего ради въ Церковь что внесено?“ ¹⁾

Неудивительно, что Петръ заботился, наконецъ, о распространеніи всякаго рода практическихъ познаній, которыя служили бы прямой пользѣ или удовлетворенію любознательности. Между прочимъ онъ всегда заботился о простотѣ и наглядности, и никогда до его времени не было издано на русскомъ языкѣ столько разнообразныхъ „кунштовъ“ въ книгахъ и отдѣльными листами. Въ первый разъ при немъ является правильный календарь, начиная съ того знаменитаго Брюсова календаря (изготовленнаго въ дѣйствительности Кипріановымъ), который на первый разъ давалъ еще своимъ читателямъ, кромѣ точныхъ свѣдѣній, и календарныя суевѣрія въ старомъ вкусѣ, что безъ сомнѣнія содѣйствовало его популярности; но затѣмъ началось и изданіе правильныхъ астрономическихъ календарей. Гравюра поставляла множество вещей, которыя должны были имѣть великій интересъ для читателей новыхъ, а также и старыхъ. Укажемъ нѣсколько примѣровъ. Въ такъ называемой гражданской типографіи въ Москвѣ, гдѣ начальникомъ былъ Василій Кипріановъ, а надзоръ принадлежалъ Брюсу, изданы были слѣдующія гравюры: Описание св. града Іерусалима и предградій его; Святая богоспешенная гора Синайская, съ греческаго древняго описанія; Изображеніе глобуса земного и небснаго; „Баталія царскаго величе-

¹⁾ Пехарскій, I, стр. 181—182.

ства съ туркомъ при Прутѣ" (планъ сраженія); Портретъ Петра Великаго въ латахъ и въ порфирѣ съ аллегорическими изображеніями; „Хартина меркаторская Америки или Индіи западная" (для навигацкихъ учениковъ); Изображеніе Святыя земли обѣтованная; „Новое небесное зеркало, черезъ которое возможно небо, землю и море въ скорости размѣрять и раздѣляти по всякой часъ коегождо мѣсяца и числа"... (оно было переведено съ голландскаго и латинскаго діалектовъ и въ 1717 было издано „во славу въ Троицѣ славимаго Бога, трудолюбивымъ юношамъ и всякаго возраста, иже разумѣти желаютъ теченіе, яко неба, тако и земли по Коперникову разсужденію: Москвы, Санктъпетербурха, Нарвы, Ревеля, Риги и прочихъ городовъ и провинцій, яже подъ обоими полюсы содержатся всего свѣта"); „Новое и тщательное описаніе Европы, раздѣленное на царствія и страны наилучшія противъ амстердамскихъ картъ"... Тогдашнему граверу приходилось работать самыя разнообразныя вещи; одинъ изъ нихъ такъ перечислялъ свои труды: „антиминсъ большой и средній, боть, двѣ баталіи морскія, триумфальныя ворота, флотъ корабельный, фейерверкъ" и пр.

Понятно, что уже очень рано, въ 1708, опять „повелѣніемъ" Петра изданы были (и потомъ еще два раза повторены) „Приклады како пішутся комплементы разные на нѣмецкомъ языкѣ, то-есть писанія отъ потентатовъ къ потентатомъ, поздравительныя і сожалѣтельныя і іныя. Такожде между сродниковъ і пріятели". Около 1718 года издано было „Объявленіе, какимъ образомъ ассамблеи отправлять надлежитъ".

Забываясь о выборѣ книгъ для переводовъ, привлекая къ этому вопросу всѣхъ, у кого ожидалъ найти полезныя указанія, Петръ заботился и о самомъ исполненіи переводовъ. Извѣстно, что онъ пересматривалъ книги до печати, дѣлалъ свои поправки или указывалъ, гдѣ онѣ были нужны, читалъ корректуры (какъ, между прочимъ, исправлялъ и названное Объявленіе объ ассамблеяхъ). Извѣстно, наконецъ, что съ его утвержденія установилась такъ называемая гражданская азбука въ печати. Первый опытъ упрощенія шрифта сдѣланъ былъ за границей, но затѣмъ форма гражданского шрифта установлена Петромъ и съ 1708 года принята была во всеобщее употребленіе; прежній шрифтъ остался только для церковныхъ книгъ. Первой печатной книгой гражданского шрифта считается Геометрія, 1708, изданная „новотипографскимъ тисненіемъ": она печаталась въ Москвѣ голландцами, нарочно вызванными для типографскаго дѣла изъ Амстердама и привезшими съ собой три азбуки новоизобрѣтенныхъ ли-

теръ; книга печаталась по рукописи, „въ премногихъ мѣстахъ“ правленной самимъ Петромъ и присланной въ 1707 „изъ военнаго похода“!

Просматривая и поправляя книги, Петръ прилагалъ немалую заботу о самомъ языкѣ. Очень естественно, что живая ревность къ дѣлу, здоровое и простое пониманіе вещей отразились на томъ языкѣ, какимъ писалъ онъ самъ и какой онъ желалъ видѣть въ книгѣ. Въ указѣ синоду онъ писалъ, чтобы книга Пуфендорфа „не по конецъ рукъ переведена была, но внятно и хорошимъ штилемъ“,—это была его постоянная забота. Въ письмѣ къ Ивану Зотову въ февралѣ 1709 о переведенной имъ фортификаціи Блонделя Петръ указываетъ нѣкоторыя мѣста, гдѣ переведено „зѣло темно и непонятно“, и вообще остерегается о томъ, „дабы внятнѣе перевести, и не надлежитъ рѣчь отъ рѣчи хранить въ переводѣ (т. е. переводить слово въ слово), но точію сіи выразумѣвъ, на свой языкъ ужъ такъ писать, какъ внятнѣе“. Въ 1724 году, по поводу исполненнаго по его приказу перевода о сельскомъ и домашнемъ нѣмецкомъ хозяйствѣ, Петръ, самъ переправивши нѣсколько главъ книги, далъ переводчикамъ слѣдующее собственноручное наставленіе: „Понеже нѣмцы обыкли многими разсказами негодными книги свои наполнять только для того, чтобы велики казались, чего кромѣ самого дѣла и краткаго предъ всякою вещью разговора, переводить не надлежитъ; но и вышереченный разговоръ, чтобы не праздною ради красоты и для вразумлѣнія и наставленія о томъ чтущему было, чего ради о хлѣбопашествѣ трактатъ выправилъ (вычерня негодное) и для примѣра посылаю, дабы по сему книги переложены были безъ излишнихъ разсказовъ, которые время только тратятъ и чтущимъ охоту отъемлютъ“.

Наконецъ, Петръ обращалъ вниманіе на самую внѣшность книгъ, на печать и переплетъ. Въ 1709, онъ пишетъ Мусину-Пушкину о присланныхъ ему книгахъ, печатанныхъ новымъ гражданскимъ шрифтомъ: „печать во оныхъ книгахъ зѣло предъ прежней худа, нечиста и толста, въ чемъ вамъ надлежитъ посмотрѣть гораздо, чтобы такъ хорошо печатали, какъ прежнія: а именно противъ кумплетальной и слюзной ¹⁾; такожъ и переплетъ противъ оныхъ же, ибо нынѣшней присылки переплетъ очень дуренъ, а паче всего дуренъ отъ того, что въ коренѣ гораздо узко вяжетъ, отчего книги таращатся, и надлежитъ гораздо слабко и просторно въ коренѣ дѣлать; такожъ и

¹⁾ Онъ разумѣлъ книгу о комплиментѣхъ: „Приклады“ и пр., и книгу о „свободномъ водохожденіи рѣкъ“, или объ устройствѣ шлюзовъ.

въ купорштихерсѣ знать, что свершено не гораздо чисто... Литеру буки, также и покой вели переправить—зѣло дурно сдѣланы, почеркомъ также толсты и, напечатавъ новою съ азбукую что малое, паки въ намъ пришли, а штемпели вырѣзать вели отвѣдать саксонцу, который на денежномъ дворѣ у адмирала рѣжетъ штемпели для монетъ“.

Въ связи со всѣмъ характеромъ реформы произошло во времена Петра сильное измѣненіе въ языкѣ, какъ письменномъ, такъ и въ живомъ разговорномъ. Противники реформы давно обвиняли Петра за порчу русскаго языка множествомъ иностранныхъ словъ, которыя вошли въ его время въ русскій языкъ. Обвиненіе несправедливо тѣмъ, что преувеличено. Лично у Петра было нѣкоторое пристрастіе къ голландскому языку вслѣдствіе его увлеченій морскимъ дѣломъ, которому онъ учился особливо у голландцевъ; но и это пристрастіе было случайное и поверхностное: какъ говорятъ современники, голландскій языкъ онъ зналъ весьма недостаточно. Проникновеніе иностранныхъ словъ въ русскій языкъ происходило даже мимо воли Петра, само собою: съ начатками образованія, съ практическими нововведеніями входило въ жизнь множество новыхъ понятій и новыхъ предметовъ, для которыхъ не было названій въ русскомъ словарѣ. Эти новыя понятія и предметы были обыкновенно дѣломъ первой необходимости; они относились къ первоначальной терминологіи науки, военного и морского дѣла, къ разнаго рода техникѣ, — приходилось или придумывать новыя слова, или прямо называть вещи тѣми иноземными именами, съ какими приходили онѣ отъ иноземцевъ. Оставалось предоставлять будущему такъ или иначе переработать этотъ новый лексическій матеріалъ, или отыскавъ для него новую русскую замѣну, или измѣнивъ чуждые звуки въ русское тонѣ. Такъ это впослѣдствіи и произошло: многія слова, взятая второпяхъ, когда нужно было дѣло и некогда было думать объ ихъ переводѣ, отпали сами собой, замѣнившись словами русскими; другія, относящіяся къ практической техникѣ, удержались до сихъ поръ, — применувъ къ запасу иностранныхъ словъ, который сталъ образовываться гораздо раньше времени Петра. До какой степени естественно происходило заимствование иностранныхъ словъ, можно видѣть на запискахъ путешественниковъ Петровскаго времени; встрѣчая множество невиданныхъ раньше вещей европейской науки, быта, нравовъ, они вынуждены были брать прямо иностранныя названія и мало-по-малу совсѣмъ къ нимъ привыкали. Иные, кому приходилось оставаться за границей долго, писали, наконецъ,

совершенно макароническимъ языкомъ, какъ князь Куракинъ. Въ концѣ концовъ это было временное броженіе, крайности котораго сгладились уже у первыхъ даровитыхъ писателей, порожденныхъ реформой, какъ, напримѣръ, у Ломоносова. Что касается самого Петра, онъ былъ довольно беззаботенъ о словахъ, потому что прежде всего искалъ дѣла; но, при всемъ томъ, большимъ достоинствомъ его литературныхъ понятій было то, что въ книжномъ дѣлѣ онъ всегда вставалъ на томъ, чтобы употреблялся русскій, а не славянскій языкъ, требовалъ простоты и „внятности“, требовалъ, чтобы и въ переводахъ, когда дѣло шло о простыхъ тактическихъ знаніяхъ, устранялась темнота и ненужное многословіе подлинника. Собственная рѣчь Петра заслуживаетъ внимательнаго изученія: она отличается замѣчательною простотою, наглядностью, мѣткостью и силой; Петръ не боится иностранныхъ словъ, но, въ противоположность застарѣлымъ книжникамъ, не боится и словъ чисто народныхъ, и присутствіе ихъ сообщаетъ его языку, несмотря на нѣкоторыя угловатости, замѣчательную яркость и точность.

Основной сборникъ свѣдѣній для изученія книжной дѣятельности временъ Петра составляетъ упомянутая не однажды книга Пекарскаго: „Наука и литература“ и пр. Спб. 1862, два тома. Въ первомъ — историческія извѣстія; во второмъ — подробное библиографическое описаніе книгъ Петровскаго времени, съ извлеченіями. Для библиографіи очень важна работа А. О. Бычкова: Каталогъ хранящимся въ Имп. Публ. Библиотекѣ изданіямъ, напечатаннымъ гражданскимъ шрифтомъ при Петрѣ В. Спб. 1867.

— Я. Гротъ, Петръ Великій, какъ просвѣтитель Россіи, въ Запискахъ Акад. Наукъ, т. XXI. 1872. („Труды Я. К. Грота“, т. IV. Спб. 1901).

О питомцахъ кievской Академіи, какъ Яворскій, Оеофанъ Прокоповичъ, Гавріиль Бужинскій, Оеофилактъ Лопатинскій, Кроликъ и др., въ указанныхъ раньше сочиненіяхъ Самарина, Чистовича, Терновскаго, Морозова, и въ книгѣ Пекарскаго. См. также:

— И. Морошкинъ, „Оеофилактъ Лопатинскій, архіеп. тверскій 1706—1741“, въ Р. Старинѣ, 1886.

— Собраніе словъ Гавріила Бужинскаго издано было Гер.-Фр. Милеромъ. М. 1784; Евг. Пѣтуховъ, Проповѣди Гавріила Бужинскаго (1717—1727). Историко-литературный матеріалъ изъ эпохи преобразованій. Юрьевъ, 1901 (издано по рукописи Моск. Дух. Академіи).

— Обзоръніе богословской системы Оеофана Прокоповича сдѣлано Г. Червяковскимъ, въ Христ. Чтеніи, 1876—78.

— Ф. Терновскій, Русское проповѣдничество при Петрѣ I, въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей“, 1870.

О питомцахъ московской школы:

— Сергѣй Смирновъ, Исторія московской Славяно-греко-латинской Академіи. М. 1855.

— П. Знаменскій, Духовныя школы въ Россіи до реформы 1808 года, въ „Правосл. Собесѣдникѣ“, 1878 и дал., и отдѣльно: Казань, 1881.

О специальномъ образованіи см. исторію техническихъ школъ, напр., исторію морского корпуса (Веселаго), школъ артиллерійскихъ и инженерныхъ; старую исторію медицины въ Россіи, Рихтера; „Матеріалы“ для этой исторіи, Я. Чистовича и т. д.

— Забѣлинъ, „Библіотека и кабинетъ Я. В. Брюса“, въ Лѣтоп. р. литер. и древности. І. М. 1859.

— Аванасьевъ, Школа свѣтскихъ приличій, въ Атеней, 1858, № 34 (сравненіе „Юности честнаго Зеркала“ съ „Домостроемъ“).

— Распоряженіе свят. синода объ отобраніи книги „Театронъ“, сообщ. Лѣсковымъ въ Историч. Вѣстникѣ, 1882, мартъ.

О сношеніяхъ Петра В. съ Лейбницемъ, см. В. Герье, „Отношенія Лейбница къ Россіи и Петру В.“ Спб. 1871; „Сборникъ писемъ и меморіаловъ Лейбница, относящихся къ Россіи“. Спб. 1873.

Значительное количество матеріаловъ для исторіи школы и книжности при Петрѣ В. и въ первое время послѣ него представляютъ:

— Полное собраніе постановленій и распоряженій по вѣдомству православнаго исповѣданія Россійской имперіи. Томы І—VII. Спб. 1879—1890, съ 1721 по 1732 годъ (первые четыре тома за время Петра: школы, типографія, проповѣди, хронографы, Академія и проч.).

— Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся въ архивѣ св. прав. Синода. Спб. 1868—1891. Томъ І (1542—1721), т. II—VIII (1722—1728 годы): о Петрѣ, Стефанѣ Яворскомъ, Бужинскомъ, Лопатинскомъ, Шафировѣ, Мусинѣ-Пушкинѣ, прот. Аввакумѣ, Лихудахъ, Третьяковскомъ, объ Академіи наукъ, школахъ, типографіяхъ, лѣтописяхъ, хронографахъ, журналахъ и т. д.

— Сенатскій Архивъ. Спб. 1888—1895. Т. І—VII. Журналы и опредѣленія прав. Сената сохранены въ архивѣ вообще только съ 1740 года; сохранялись только нѣкоторые документы этого рода за 1732—1739 годы: здѣсь объ Академіи наукъ, печатной конторѣ, Мусинѣ-Пушкинѣ и пр. (т. II).

— Ѳ. Булгаковъ, Иллюстрир. исторія книгопечатанія и типографскаго искусства. Томъ І, до XVIII вѣка включительно. Спб. 1889 (въ концѣ обстоятельное указаніе литературы о русскомъ книгопечатаніи).

Изъ переводчиковъ посольскаго приказа былъ особенно дѣятеленъ и извѣстенъ Андрей Виніусъ, а ранѣе Николай Спафарій, о которомъ см.: Н. Кедровъ, „Николай Спафарій и его Ариемологія“, въ Журн. мин. просв. 1876, январь (Ариемологія—собраніе поучительныхъ свѣдѣній и сентенцій, по ариеметическимъ числамъ; Кедрову представлялось, что это какъ будто могло быть сдѣлано по китайскому образцу); Ю. Арсеньевъ, Путешествіе чрезъ Сибирь, Спафарія, въ Запискахъ Геогр. общ. по отд. Этнографіи, т. X; Picot, Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar-Milescu. Paris, 1883; Сырку, Ник. Спафаріи до пріѣзда въ Россію, въ Зап. Вост. Отд.

Археол. Общ. 1888, т. III, вып. 1—2; И. Михайловскій, Очеркъ жизни и службы Ник. Спафарія въ Россіи, въ Сборникѣ Ист.-филол. Общ. при Нѣжинскомъ институтѣ. Кіевъ, 1896, т. I, стр. 1—40; А. Кирпичниковъ, докладъ въ Обществѣ любит. др. письменности, 1896, декабрь, изъ *Bibliographie Hellénique*.

ГЛАВА VII.

ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ ВЪ НАРОДНОМЪ ПРЕДАНІИ.

„Толковный Апокалипсисъ“, лондонскаго письма, съ изображеніями Петра въ видѣ Антихриста.—Зарожденіе этого представленія въ первые годы царствованія и развитіе его въ расколѣ.—Григорій Талицкій.—Дѣла Преображенскаго приказа.—Поэтическая молитва-причитаніе о Петрѣ.

Раскольничья сатира: „Мыши kota погребаютъ“, и другія лубочныя картины того же происхожденія.

Петръ въ историческихъ пѣсняхъ и сказочныхъ преданіяхъ.

Въ числѣ недавнихъ пріобрѣтеній Импер. Историческаго Музея въ Москвѣ есть замѣчательная рукопись, писанная, вѣроятно, во второй четверти XVIII вѣка; это—рукопись „лицевая“, заключающая въ себѣ Толковый Апокалипсисъ, т.-е. Апокалипсисъ съ толкованіями; текстъ обыкновенный, но чрезвычайно характерны рисунки, объясняющіе содержаніе книги, и гдѣ нѣсколько разъ въ видѣ Антихриста несомнѣнно изображенъ Петръ Великій.

„Написанная, вѣроятно, уже послѣ смерти Петра,—говоритъ В. Н. Щепкинъ въ подробномъ описаніи рукописи Музея,—эта рукопись дышитъ воспоминаніемъ эпохи великаго преобразователя. Въ рисункахъ рукописи отразилось очень опредѣленно отрицательное отношеніе къ Петровской реформѣ. Сборникъ долженъ быть отнесенъ къ произведеніямъ раскольничьей письменности, и его рисунки возникли, повидимому, въ одномъ изъ крайнихъ раскольничьихъ толковъ (какъ предполагаютъ, въ сектѣ бѣгуновъ). Рукопись, заключающая Толковый Апокалипсисъ и два особенно популярныхъ сказанія о концѣ міра, относится къ столь распространенному типу сборниковъ эсхатологическаго содержанія. Иллюстраціи рукописи, въ которыхъ выражено враждебное отношеніе къ Петровской реформѣ, отнюдь не могутъ быть названы политическими карикатурами: это вполнѣ серьез-

ныя произведенія гопимаго религіознаго фанатизма, отождествившаго традиціонныя описанія конца міра съ русской дѣйствительностью начала XVIII вѣка. Глубокимъ суевѣрнымъ чувствомъ дышать эти рисунки, и условія исторической эпохи отражаются въ нихъ весьма реально“.

Всѣ отдѣлы и главы рукописи украшены заставками, большею частью того травнаго орнамента, который принято называть поморскимъ; тѣмъ же стилемъ отличаются многочисленные заглавные буквы, писанныя киноварью. Толкованія Апокалипсиса сводныя: изъ толкованія Андрея Кессарійскаго заимствовано и предисловіе. Во второй части рукописи помѣщены слова Ипполита, папы римскаго, и Палладія мниха объ Антихристѣ, о второмъ пришествіи Христовѣ и о страшномъ судѣ. Рисунки Апокалипсиса не отличаются рѣзко отъ обычныхъ позднихъ иллюстрацій этого памятника, но можно замѣтить присутствіе бытового элемента, и, напримѣръ, церкви имѣютъ вполне реальный характеръ. На л. 89, слуги Антихриста въ первый разъ изображены въ военныхъ кафтанахъ съ отворотами, и затѣмъ, далѣе, надъ фигурами въ красныхъ и синихъ кафтанахъ находятся надписи: „отступники“, „чародѣи чловѣцы“ (изъ послѣдней главы Апокалипсиса). Въ такомъ же костюмѣ изображенъ самъ Антихристъ. Въ этой первой части рукописи его изображеніе еще не имѣетъ историческаго характера. „Художникъ надѣляетъ Антихриста отталкивающими, дикими чертами лица. Особенно поражаетъ выдавшійся носъ, широкій и угловатый, напоминающій неуклюжіе носы старинныхъ нѣмецкихъ гравюръ. Такой типъ Антихриста, въ отличіе отъ типовъ, встрѣчающихся далѣе, можетъ быть названъ фантастическимъ. Равнымъ образомъ, изображеніе „жены, облеченной въ порфиру, съ златою чашею въ рукѣ“ (л. 226 об., гл. 17 Апокалипсиса), не имѣетъ въ виду реальнаго лица, хотя вся фигура могла заимствовать отдѣльныя черты изъ какого-нибудь изображенія русской царицы XVIII-го вѣка. Для настроенія художника интересно отмѣтить, что изображенія хищныхъ птицъ, находимыя на картинѣ л. 256 об., повторены имъ въ большемъ видѣ и на слѣдующей заставкѣ: на заставкѣ это, повидимому, два черныхъ ворона, помѣщенные симметрично, другъ къ другу клювами. Извѣстно, что изображенія зловѣщихъ, фантастическихъ птицъ были господствующими въ русскомъ орнаментѣ въ мрачную эпоху XIII—XIV вѣка“.

Самый обильный матеріалъ для изображенія дѣйствительности доставляетъ Слово Ипполита, папы римскаго. Здѣсь появляются Петровскіе солдаты въ кафтанахъ съ отворотами и съ надписью:

„страну вашу чуждія поядять“ (Изъ Исаи); затѣмъ этотъ костюмъ появляется почти на каждомъ рисункѣ. Такъ, съ надписью: „егда услышите брани и нестроения“, изображено Петровское войско, сражающееся, повидимому, съ казаками; или подъ надписью: „оружіемъ отъ діавола падуть“, солдаты разстрѣливаютъ связанныхъ старцевъ, облеченныхъ во власяницы. На одной картинкѣ представлено, какъ „всѣ грады чрезъ посланія“ привлекаются въ подданство Антихристу: у воротъ города человекъ въ красномъ кафтанѣ держитъ въ рукѣ развернутый свитокъ; вправо, рядомъ съ нимъ, барабанщикъ бьетъ въ барабанъ.

Въ иллюстраціяхъ къ Слову Ипполита встрѣчаются три типа Антихриста: во-первыхъ, упомянутый фантастическій типъ; во-вторыхъ, Антихристъ съ типомъ лица иконографическимъ, и наконецъ самымъ распространеннымъ является третій типъ, въ которомъ, по замѣчанію г. Щепкина, „нельзя не узнать черты самого великаго преобразователя“. Въ справедливости этого замѣчанія легко убѣдиться и по тѣмъ двумъ рисункамъ, какіе помѣщены въ описаніи. „Въ такомъ видѣ, — говоритъ авторъ, — Антихристъ нѣсколько разъ изображенъ на престолѣ, причемъ одно изъ самыхъ похожихъ изображеній имѣемъ на л. 363 об., гдѣ Антихристъ провозглашается царемъ. Столь же хорошъ рисунокъ на л. 354 об., гдѣ Антихристъ восстанавливаетъ Іерусалимскій храмъ: на первомъ планѣ фигура Антихриста; властнымъ жестомъ, сильнымъ сложеніемъ и чертами лица онъ напоминаетъ Петра... Этотъ „историческій“ типъ Антихриста переносится иногда и на его окруженіе. Такъ, напримѣръ, на изображеніи рожденія Антихриста представлена семейная сцена въ обстановкѣ начала XVIII-го вѣка. Сидящій влѣво отецъ Антихриста обнаруживаетъ черты того же типа... Особенно мрачнымъ настроеніемъ отмѣчена картина на листѣ 382 об. Она носитъ надпись: „Тогда послетъ въ горы и въ вертепы и въ пропасти земныя бѣсовскія полки, во еже възсати и изобрѣсти скрывшася отъ очю его и тѣхъ привести на поклоненіе его“. Внизу, налѣво, подъ краснымъ балдахиномъ, сидитъ на престолѣ Антихристъ и указываетъ рукою впередъ; передъ нимъ вправо выступающій военный отрядъ, руководимый синимъ діаволомъ, направляется къ свѣту, стоящему среди дремучаго лѣса. Кверху изображены высокія горы съ тремя пещерами; въ нихъ спасаются міряне и иноки; одинъ изъ нихъ, влѣво, молится передъ иконой. Два отряда Петровскихъ солдатъ, руководимые діаволами, поднимаются вверхъ по лѣсистымъ склонамъ. Далѣе слѣдуютъ картины, въ которыхъ укрывшихся ведутъ къ Антихристу; отпавшіе

знаменуются его печатью, вѣрные предаются на муку; изображаются также страданія принявшихъ печать. На л. 380 об., подъ надписью; „Слышащіе бо божественныя писанія... въ горахъ и вертепахъ скрываются“, снова видимъ скиты, затеряшіеся въ гѣсу, въ гористой мѣстности, и праведныхъ молящихся и читающихъ книги“ и т. д.

Наконецъ, о Словѣ Палладія мниха авторъ замѣчаетъ: „Рисунки этой части, по характеру вообще сходные съ предыдущими, по своему содержанію представляютъ мало повода для бытовыхъ изображеній; они состоятъ главнымъ образомъ въ изображеніяхъ мукъ адскихъ и радостей рая. На л. 417 об. слѣдуетъ отмѣтить фигуру съ длинными рукавами, замѣняющими перчатки. Эта подробность заставляетъ предположить для рисунковъ третьей части рукописи оригиналъ XVII-го вѣка“.

Написаніе рукописи относятъ ко второй четверти XVIII вѣка на томъ основаніи, что одежда Антихриста и его воиновъ вообще напоминаетъ военную форму Петровскаго времени (кафтанъ, шляпа, волосы, галстукъ, обшлага рукавовъ и т. п.); но одна подробность относится къ формѣ, установленной въ 1732 г. А именно, въ Петровскомъ военномъ кафтанѣ фалды впереди заходятъ одна на другую, и только верхняя, лѣвая, имѣетъ отворотъ; между тѣмъ здѣсь фалды большею частью только соприкасаются, и при этомъ каждая внизу имѣетъ по отвороту.

Но предположеніе, что составленіе рукописи съ ея рисунками принадлежитъ одному изъ крайнихъ раскольниковъ, именно сектѣ бѣгуновъ, намъ кажется не вѣрнымъ — потому, что представленіе о Петрѣ, какъ объ Антихристѣ, было вообще такъ распространено не только въ расколѣ, но и между книжниками стараго вѣка, не принадлежавшими расколу, что приписать его именно только сектѣ бѣгуновъ едва ли есть основаніе. Выше мы упоминали о книгописцѣ Григоріи Талицкомъ („сказывали про него, что гораздо человекъ былъ уменъ и читатель книгъ“, пишетъ кн. Борисъ Ив. Куракинъ). Въ 1700 Талицкій написалъ тетрадки, гдѣ говорилось о пришествіи въ міръ Антихриста и излагались, подъ заглавіемъ „Врата“, исчисленія годовъ, по которымъ выходило, что Петръ Первый, какъ восьмой царь, есть Антихристъ, и что пришло послѣднее время; говорилось о паденіи Вавилона, запрещалось народу платить подати и т. д. Тетрадки встрѣчены были съ великимъ сочувствіемъ не только въ простомъ народѣ, но даже среди высшаго духовенства: тамбовскій епископъ Игнатій бывши въ Москвѣ, призвалъ Талицкаго, плакалъ, слушая чтеніе его тетрадокъ, цѣловалъ сочи-

нителя: „Павловы-де твои уста“, и далъ ему пять рублей. Талицкій, увлеченный успѣхомъ тетрадокъ, хотѣлъ ихъ выгравировать на деревѣ, чтобы продавать или просто раздавать въ народѣ. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ это сдѣлать, объ немъ донесли; Талицкій былъ сожженъ вмѣстѣ съ его другомъ Савиннымъ. Это дѣло и было поводомъ къ тому, что Степанъ Яворскій составилъ книгу: „Знаменія пришествія Антихристова и кончины вѣка, отъ писаній божественныхъ явленна“, 1703. Яворскій опровергалъ лжеученія объ Антихристѣ, но они все-таки распространялись и главнымъ очагомъ ихъ сталъ расколъ. Приводимъ нѣсколько эпизодовъ изъ множества дѣлъ, какія велись въ Петровскія времена въ Преображенскомъ приказѣ, въ Москвѣ.

Въ этомъ приказѣ разбирались такъ называвшіяся тогда государевы дѣла, по нынѣшнему политическія преступленія. Тогдашній уголовный процессъ, установившійся со второй половины XVII вѣка, былъ немногосложенъ. Непремѣнной его принадлежностью была пытка: если обвиняемый не сознавался, его пытали, чтобы вынудить признаніе; пытка достигала признанія, но иногда нестерпимыя мученія заставляли обвиняемаго вводить на себя и то, чего не было и чего требовали судьи, — лишь бы кончилось истязаніе; верѣдки были случаи, что процессъ прекращался самъ собой, потому что подсудимый не выносилъ юридическихъ пріемовъ и послѣ пытки умиралъ. Часто случалось, что подсудимый, совсѣмъ уличенный и неминуемо подлежащій казни, заявлялъ вдругъ новое „государево слово“, т. е. новый извѣтъ, по какому-либо другому дѣлу, съ одной цѣлью—отдалить казнь, потому что долженъ былъ начаться новый процессъ, по необходимости продолжительный: надо было разыскивать оговоренныхъ, привозить ихъ верѣдко изъ очень дальнихъ мѣстностей, снова начинать допросы, очныя ставки, пытки; въ этомъ проходило очень много времени, на что и рассчитывалъ доносчикъ. Нечего говорить о томъ, какъ ужасна была эта юстиція. Доносчикъ, какъ затравленный звѣрь, не останавливался передъ средствами, чтобы если не избавиться отъ гибели, то по крайней мѣрѣ отдалить ее. Онъ выкапывалъ изъ своей памяти чье-нибудь неосторожное слово, сказанное много лѣтъ назадъ, не имѣвшее никакихъ послѣдствій, но которому, онъ зналъ, будетъ придана величайшая важность; онъ не останавливался надъ тѣмъ, чтобы выдать людей, нѣкогда ему близкихъ, дѣлавшихъ ему добро, оказывавшихъ гостепріимство; когда этихъ людей, наконецъ, разыскивали и приводили въ приказъ, онъ на очныхъ ставкахъ уличалъ ихъ въ этихъ преступленіяхъ, припоминая мельчайшія по-

дробности, которыя самымъ аккуратнымъ образомъ заносились въ дѣло, обыкновенно тѣми самыми словами. Въ судебные протоколы вносились такимъ образомъ длинные рассказы доносчика, и если новый подсудимый отвергалъ ихъ, то пункты довѣса опять повторялись сполна, для „юридической“ точности, чтобы ни одна подробность не осталась неоговоренной.

Въ такихъ процессахъ множество разъ появлялись люди старой вѣры, „расколыщики“, и въ изложеніи допросовъ проходитъ передъ нами съ одной стороны страшная картина тогдашней юстиціи, съ другой — та „подноготная“ расколыщичьего быта и понятій, для изученія которой эти процессы доставляютъ иногда единственный источникъ.

Подобный процессъ начался въ 1723 году въ Тобольскѣ и окончился въ Преображенскомъ приказѣ. Казачій сынъ Дороевъ Веселковъ, фальшивый монетчикъ, чтобы оттянуть казнь, сказалъ слово и дѣло на „расколыщиковъ“, проживающихъ въ разныхъ дебряхъ пермскаго края. Хотя, по указамъ, всѣ нижнія инстанціи и обязаны были отправлять „въ скоромъ времени“ въ Преображенскій приказъ тѣхъ „колодниковъ“, которые взяты были по государеву дѣлу, но въ данномъ случаѣ Дороевъ заявилъ свои извѣты въ половинѣ февраля, а колодниковъ привезли въ Москву только въ серединѣ сентября. Оговорены были крестьянинъ Солнышковъ и старицы Варсонофія и Досиѣя. Процессъ кончился тѣмъ, что въ ноябрѣ и въ декабрѣ того же года Солнышковъ и Варсонофія умерли въ тюрьмѣ, измученные пытками; Досиѣя, которую пытали еще нѣсколько разъ потомъ, дожидая до половины слѣдующаго года. Одинъ изъ „колодниковъ“ успѣлъ бѣжать съ дороги при помощи своихъ единовѣрцевъ; еще одна старица, которую взяли больною, умерла на пути. По окончаніи дѣла, Веселкова освободили и дали денежное вознагражденіе за правый доносъ.

Въ производствѣ мы находимъ слѣдующія подробности показаній. По словамъ извѣтчика, въ 1722 году мимоходомъ въ домѣ Солнышкова были „гулящіе люди, которые шли изъ Казани, и тѣ люди сказывали имъ: государь-де въ Казани часовни ломаетъ и иконы изъ часовенъ выносить и кресты съ часовенъ сымаетъ, вездѣ указы разсылаетъ, что часовнямъ не быть, и къ тѣмъ словамъ Яковъ Солнышковъ его императорское величество бранилъ: взялъ бы-де его, растерзалъ; и отецъ того Якова, Яковъ же, его Солнышкова за то бранилъ и... тотъ Яковъ говорить пересталъ, и молчалъ“.

Въ тѣхъ же показаніяхъ Дороеей приводилъ рѣчи старицъ Варсонофія и Досиѣеи, жившихъ въ кельяхъ: „мы-де странствуемъ въ лѣсахъ и скитаемся, гонимы отъ еретической вѣры, и хотимъ-де мы сохранить истинную вѣру, мы-де пострадали и предъ царемъ были въ старовѣрствѣ, а гдѣ были и сколь давно, не сказали, и государь Петръ Алексѣевичъ велѣлъ имъ креститься щепотью, а мы-де ему государю на тотъ крестъ на руку плевали и учили-де его, государя, креститься истиннымъ крестомъ двумя меньшими персты съ первымъ большимъ... Видишь ли-де, роды ихъ царскіе пошліи неистовые, и мы-де за такого государя Богу за здравіе не молимъ, а молимся о возвращеніи, чтобъ онъ возвратился въ истинную вѣру, а еретическую вѣру покинулъ“.

Старецъ Вареоломей на вопросъ Дороеей, для чего они за государево здоровье Богу не молятъ, говорилъ: „за неправеднаго-де государя что Бога молить, онъ-де ненавистникъ истинной вѣры, противникъ Богу“—

„А старица Платонида про его императорское величество говорила: онъ-де—шведъ обмѣнной, потому догадывайся-де, дѣлаетъ Богу противно, противъ солнца крестятъ и свадьбы вѣнчаютъ, и образа пишутъ съ шведскихъ персонъ, и посту не можетъ воздержать, и платье возлюбилъ шведское и со шведами пьетъ и ѣстъ, и изъ ихъ королевства не выходитъ, и шведъ-де у него въ набольшихъ, а паче-де того догадывайся, что онъ извелъ русскую царицу, и отъ себя сослалъ въ ссылку въ монастырь, чтобъ съ нею царевичевъ не было, и царевича-де Алексѣя Петровича извелъ, своими руками убилъ для того, чтобъ ему, царевичу, не царствовать, и взялъ-де за себя шведку царицу Екатерину Алексѣевну, и та-де царица дѣтей не родить, и онъ-де государь, сдѣлалъ указъ, чтобъ съ предбудущаго государя крестъ цѣловать и то-де крестъ цѣлуетъ за шведа, одно-конечно-де станетъ царствовать шведъ, либо-де его, государя, называя шведомъ, родственникъ или царицы Екатерины Алексѣевны братъ, и великій-де князь Петръ Алексѣевичъ родился отъ шведки съ зубами, онъ-де—Антихристъ“.

Въ другомъ процессѣ подобнымъ образомъ явился извѣтчикомъ противъ раскольниковъ нѣкто Никита Кириловъ, судившійся за дѣланіе воровскихъ, т.-е. фальшивыхъ, денегъ и за разбой; чтобы избавиться отъ пытки, онъ объявилъ за собой „государево дѣло“. Это было въ концѣ 1712 или началѣ 1713.

Извѣтъ состоялъ въ новыхъ вещахъ, не имѣвшихъ къ его собственному дѣлу никакого отношенія. Онъ оговорилъ нѣсколь-

кихъ человѣкъ, своихъ прежнихъ знакомыхъ; эти люди, „живучи на Москвѣ, раскольничаютъ, въ церковь божію не ходятъ и отцевъ духовныхъ не имѣютъ, и священниковъ въ дома свои съ какою потребою не призываютъ“ и пр. У себя въ домахъ они отправляютъ богослуженіе, причемъ имени великаго государя не поминаютъ. Дѣйствуютъ у нихъ пріѣзжіе расколичьи попы изъ Кержинскихъ лѣсовъ.

Главное, однако, было слѣдующее:

„Да они жъ раскольники Степанъ Леонтьевъ, Иванъ Андреевъ, Осипъ Артемьевъ держатъ у себя въ домѣхъ многія книги старой печати и уставныя и скорописныя, и читая сказываютъ: нынѣ-де время послѣднее и великаго государя называютъ Антихристомъ: онъ-де не царь, Антихристъ; потому во прежнихъ лѣтѣхъ былъ волхвъ Симонъ Петровъ, а отъ него-де были ереси и отпалъ отъ вѣры, и этотъ-де царь Петръ бороды и лбы велитъ брить и печатаетъ солдатъ въ руки, и та-де печать на лбахъ и рукахъ—его антихристовъ ¹⁾).

„Да онъ же, государь, непріятельскіе города беретъ боемъ, а иные лестью, и то-де по писанію сбывается; а Царь-де-градъ онъ, государь, возьметъ.

„Да и Римъ-де онъ, государь, возьметъ-де лестью и соберетъ жидовъ всѣхъ и съ ними, жидами, пойдетъ въ Іерусалимъ и тамъ станетъ царствовать, и ихъ, жидовъ, возлюбитъ, а они-де, жида, въ скорыхъ числѣхъ его не познаютъ, и будетъ-де у нихъ, жидовъ, гладъ и всякая имъ нужда, и въ то-де время они, жида, его, государя познаютъ, что онъ—Антихристъ, и на немъ-де сей вѣкъ кончается“...

Оговоренные отвергли извѣтъ Никитки, но иные съ пытки и сознавались. Никитка былъ, конечно, негодяй; оказалось потомъ, что онъ и самъ принималъ участіе въ разныхъ расколичьихъ неправильныхъ дѣлахъ,—но матеріалъ для извѣтовъ взять былъ, очевидно, изъ дѣйствительности, потому что тѣ же мотивы повторяются безъ конца и въ другихъ процессахъ, и самими „раскольниками“ признавались. Но здѣсь нѣтъ ничего, принадлежащаго специально бѣгунамъ. Это—обыкновенная „поповщина“, сохраняющая всѣ церковные обряды, которые совер-

¹⁾ Д. А. Ровинскій замѣчаетъ, что антихристовой печатью называлось кромѣ медали на право ношенія бороды (у расколичьиковъ), и клеймо, которымъ Петръ весьма практично придумалъ (въ 1718) клеймить въ руку накаленнымъ до-красна желѣзомъ рекрутовъ-новобранцевъ, для предупрежденія побѣговъ (Р. Архивъ, 1873, 2296). Такое же клейменіе существовало одно время въ арміи Наполеона, а въ новѣйшее время предлагалось въ англійскомъ парламентѣ для вербуемыхъ въ войска англійскихъ натріотовъ (Р. Нар. Карг. V, стр. 159).

шаются въ домахъ „бѣглыми попами“ изъ Керженскихъ лѣсовъ (по рѣкѣ Керженцу, въ Костромской губерніи), — эти лѣса представляли тогда великую глушь и были приютищемъ для раскольниковыхъ скитовъ и поселеній. Рукопись Историческаго Музея съ изображеніями Петра въ видѣ Антихриста, легко могла возникнуть и обращаться въ подобной средѣ, съ такимъ религіозно-фантастическимъ возбужденіемъ.

Въ перекрестныхъ показаніяхъ раскрываются любопытныя черты раскольниковьяго быта и религіозно-мистическаго настроенія того вѣка. Въ числѣ оговоренныхъ былъ между прочимъ „помѣщикъ“, онъ же иконописецъ (въ тверскомъ уѣздѣ), у котораго устроено было цѣлое гнѣздо, гдѣ укрывались приверженцы стараго благочестія. Одинъ изъ привлеченныхъ такъ передавалъ раскольниковыя толки: „Въ нынѣшнее-де время стало быть въ мірѣ брадобритіе и носить нѣмецкое платье и накладные волосы и бреютъ лбы и въ томъ платьѣ ходятъ въ церковь и молитву творятъ, и крестное изображеніе имѣютъ не по старому, и такъ православнымъ христіанамъ творить не подобаетъ; и приходитъ-де нынѣ время послѣднее, а подобаетъ въ церковь Божию ходить въ русскомъ платьѣ“, и т. д. О царѣ — „для того-де не молятъ, что въ мірѣ перемѣнили вѣру и стала печать антихристова такая: первая — что перемѣнили вѣру, другая крестъ, третье платье, четвертое брадобритіе, пятое на челахъ подбриваютъ, шестая стануть солдаты печатать въ руки“. Извѣстникъ Никитка показывалъ еще: „а Иванъ же, де, Андреевъ въ домѣ у ямщика Степана Леонтьева говорилъ: государь-де нашъ принялъ звѣриной образъ и носить собачьи кудри“. На улицѣ Никита указалъ капитану на одного прохожаго и закричалъ, что за нимъ есть государево дѣло. Это оказался вологжанинъ, посадскій человѣкъ Дмитрій Швецовъ. Никитка утверждалъ, что Дмитрій — раскольникъ и что онъ вмѣстѣ съ другими „въ разговорахъ межъ себя говорили о крестѣ, которые нашиваются на ризахъ и на пеленахъ съ подножіемъ, который крестъ правѣе? и послѣ тѣхъ словъ, въ томъ же домѣ, Иванъ Андреевъ говорилъ: нынѣ-де пришло послѣднее время и скоро придетъ страшный судъ, должно скрыться подъ персть и главы свои прикрыть въ горы или въ вертепъ, и сами-де вы, братіе, видите, что пришло время послѣднее и царствуетъ у насъ по-длинно Антихристъ, и на немъ-де сей вѣкъ кончается“, и т. д. Любопытна подробность, что по разговорамъ раскольниковъ скоро будетъ страшный судъ и что должно поэтому „скрыться подъ персть“, „главы свои прикрыть въ горы или вертепъ“. Пови-

димому, это было то самое соображеніе, какое проповѣдовала въ Тирасполѣ сестра Виталія несчастнымъ, которые въ народной переписи усмотрѣли признакъ пришествія Антихриста и „скрылись подъ персть“—пожелали быть замурованными въ погребѣ.

Дѣло тянулось очень долго. Въ концѣ концовъ Никита отказался отъ своихъ извѣтовъ, сознался, что поклепалъ людей напрасно, „хотя отбыть смертной казни“. Для провѣрки его еще разъ пытали, и наконецъ, онъ былъ колесованъ.

Если отказъ его отъ извѣтовъ былъ, наконецъ, правдивъ и онъ напрасно поклепалъ оговоренныхъ имъ людей, то едва ли сомнительно, что онъ не выдумалъ самыхъ понятій и словъ, что оговоры Никиты передавали обычную тему тогдашняго раскола. Ненависть къ нововведеніямъ была такова, что мысль о близкомъ пришествіи Антихриста являлась единственнымъ объясненіемъ для непостижимыхъ нарушеній освященной вѣками старины. Старая литература объ Антихристѣ доставляла обильный матеріалъ для заключеній о томъ, что приходятъ послѣднія времена. Раньше расколъ видѣлъ Антихриста въ патріархѣ Никонѣ: онъ испортилъ вѣру; теперь присоединились нарушенія всякой благочестивой старины.

Положеніе народной массы, именно той, которая дорожила вопросамъ вѣры и обычая, было совершенно безпомощное. Эта масса лишена была всякой возможности понять нововведенія и примириться съ ними. До-Никоновская старина воспитывала только такихъ начетчиковъ, какими были основатели раскола; внушала приверженность къ буквѣ и обряду, религіозная ревность могла стать только изуверствомъ. Немудрено, что вмѣстѣ съ перемѣнами въ обрядахъ, въ текстахъ молитвъ, въ крестномъ знаменіи, первостепенную важность получилъ вопросъ о бородѣ. О неприкосновенности бороды говорилъ еще Стоглавъ; а въ послѣднее время о томъ же настойчиво говорилъ послѣдній патріархъ Адріанъ.

Въ словѣ, ему приписываемомъ, собраны были убѣдительныя свидѣтельства изъ писанія, церковной исторіи и русской благочестивой старины о великой грѣховности брадобрітія.

„Отрините отъ себя злыя обычая еже брады брѣти и подстризати, сіе бо еретической есть обычай: православнымъ же христіаномъ не подобаетъ сего творити и Божію заповѣданію противитися.

„И по общемъ всенародномъ возстаніи возстанутъ таковы, якови создашася отъ Бога, совершеніи мужи съ цѣлыми и не подстризанными ниже выбритыми брадами; кое благообразіе въ

безобразіи семъ мнится быти вамъ (аще есть кто таковой здѣ пребеззаконникъ) еже выбрившимъ браны оставляли токмо усы, сие бо сотвори Богъ не человѣки, но кошки и псы, оставя имъ безъ бранъ сущимъ едины усы прилично ..

„Взирайте часто на икону страшнаго Христова пришествія втораго и видите праведныя въ десной странѣ Христа стоящія вся имуще браны, на шуйцѣ же стоящія бесермены, и еретики, лутеры и поляки, и иные подобны имъ бранобритники... внемлите вы, кому подобны себе творите и въ коей части пишется: сиеца ваша мнимая вамъ лѣпота и честь, истинно безлѣпотна и безчестіе и грѣхъ смертный, проклято бо сіе блудозрѣлищное неистовство отъ прежде насъ бывшихъ архіереевъ, святѣйшихъ патріарховъ, имъ же и мы согласуемъ и таяжде уставляемъ и подтверждаемъ“...

Можно судить, какое впечатлѣніе должны были произвести нововведенія Петра, коснувшіяся тѣхъ самыхъ бородъ, которыя отличали праведниковъ, стоящихъ на десной странѣ Христа. Затѣмъ потребовано было, чтобы всѣ люди высшихъ классовъ, кромѣ духовенства, надѣли нѣмецкое и венгерское платье. Уже съ первыхъ лѣтъ царствованія и тотчасъ послѣ этихъ мѣръ въ Преображенскомъ приказѣ началась расправа съ ихъ противниками. Въ январѣ 1700 года одинъ монахъ въ Москвѣ, бранясь съ монастырскимъ конюхомъ, который шелъ въ даточные солдаты, приплелъ къ своей брани и Петра: „Вамъ нынѣ даны кафтаны венгерскіе—прадѣды ваши и дѣды, и отцы такихъ кафтановъ не нашивали—уже вы пропадете также, что и стрѣльцы всѣхъ васъ, что червей порубать... по городу зубцовъ много, всѣхъ васъ перевѣшаютъ... государю этому не быть... мы выберемъ инаго царя.; онъ государь—нѣмецъ, полюбилъ и вѣруеть въ нихъ и кафтаны солдатамъ и вамъ надѣлалъ нѣмецкіе“... Монаха пытали, били кнутомъ и, отрѣзавъ языкъ, сослали въ Азовъ на каторгу.

Вообще толковали: „Государя нынѣ на Москвѣ нѣтъ, а который нынѣ на Москвѣ государь и есть, и онъ какой государь? Лефортовъ сынъ, а не государь. Видишь, онъ въ свою бусурманскую вѣру и христіанъ православныхъ приводитъ и велитъ носить нѣмецкое платье, а кто на себя то платье одѣнетъ, тотъ и бусурманъ“.

Въ 1704 году караульный привелъ нижегородскаго посадскаго, простаго рабочаго человѣка, который сказалъ за собой государево дѣло.

„Государево дѣло за мною такое: пришелъ я извѣщать го-

сударю, что онъ разрушаетъ вѣру христіанскую, велить бороды брить, платье носить нѣмецкое и табакъ велить тянуть. О брадобритіи писано въ уложеніи соборномъ (въ Стоглавѣ). А про платье написано: кто станетъ иноземное платье носить, тотъ будетъ проклятъ, а гдѣ про то написано, того не знаю, потому что грамотѣ не умѣю. А кто табакъ пьетъ, и тѣмъ людямъ въ старые годы носы рѣзывали. А на Москвѣ у него, Андрея, знакомцевъ никого нѣтъ и съ сказанными словами къ государю его никто не подсылывалъ—пришелъ онъ о томъ извѣщать собою, потому что и у нихъ въ Нижнемъ посадскіе люди многіе бороды бреютъ и нѣмецкое платье носятъ и табакъ тянутъ—и потому для обличенія онъ Андрей и пришелъ, чтобы государь велѣлъ то все переимѣнить.

„Кромѣ того, за нимъ Андреемъ иного государева дѣла нѣтъ“.

Историкъ, собравшій эти процессы, дѣлаетъ замѣчаніе, что вѣроятно этотъ изобличитель брадобритія, иноземнаго платья и пр., читалъ угрозы патріарха Адріана: „Аще бо послѣ таковаго запрещенія и возбраненія отъ онаго собора дерзнулъ кто браны брить или тафін носить, анаемъ тогдашніи святіи отцы предаша. Неподобаетъ вамъ православнымъ христіаномъ сущимъ отнюдь пріимати еретическаго сего и злодѣйскаго знаменія, но паче гнушаться имъ дѣло и удалятися отъ него яко отъ нѣкіи мерзости“, и т. д.

Ромодановскій предположилъ, что имѣетъ дѣло съ раскольниковомъ; но обличитель сказалъ, что съ раскольниками не знаетъ. На пытѣхъ онъ повторилъ то же самое. „Пришелъ я его, государя, обличать самъ собою; что онъ, государь, не дѣло дѣлаетъ, разрушаетъ вѣру христіанскую, велить бороду брить, платье носить нѣмецкое и табакъ курить“. На пытѣхъ обличителя жгли огнемъ и черезъ нѣсколько дней онъ умеръ. Въ дѣлѣ осталась помѣта: „а умре онъ, Андрей, по-христіански“.

И по смерти Петра еще продолжались дѣла этого рода. Въ 1727 году, въ одной пріятельской бесѣдѣ, солдатскій сынъ, брившій бороду, носившій нѣмецкое платье и нюхавшій табакъ, услышалъ осужденіе всему этому, и когда въ защиту свою сослался на указы Петра Великаго, ему сказали: „Это не государь былъ, Антихристъ. Родился онъ отъ нечистыхъ дѣвъ и возмутилъ святую русскую землю. Книги по церквамъ старыя всѣ отставилъ, нѣкіи переимѣнилъ, разослалъ во всю святорусскую землю книги своей антихристовой печати, и по неволѣ велѣлъ христіанъ приводить къ исповѣди и причащенію, а которая нынѣ владѣетъ царствомъ жена его, она иноземка, не русская, и жила

съ нимъ безъ вѣнца. Прежніе цари коли такъ дѣлывали?.. а при прежнихъ царяхъ нѣмецкаго платья солдаты и никто не нашивали и бородъ не бривали, да и Богъ нѣмецкаго платья и бородъ брить не повелѣлъ, да и въ нѣмецкомъ платьѣ безбородый человѣкъ не пригожъ“.

Одинъ изъ попавшихъ въ Преображенскій приказъ, Стенька москвитянинъ, одинъ изъ заводчиковъ астраханскаго бунта, сообщалъ разговоръ на загородномъ дворѣ Федора Лопухина. Говорила жена столяра о стрѣльцахъ: „всѣхъ разорили, разорили въ Москвѣ, а въ мірѣ-де стали тягости, пришли-де службы, велать-де носить нѣмецкое платье, а при прежнихъ царяхъ того ничего не бывало; для того-де стрѣльцовъ разорили и платье перемѣнили и тягости въ мірѣ стали, на Москвѣ-де перемѣнной государь, какъ-де царица Наталья Кириловна родила царевну и въ тоже-де время боярыня или боярышня, а подлинно не упомянуть, родила сына, и того-де сына взяли къ царю и вмѣсто царевны подмѣнили...“

„А царицынцовъ и донскихъ казаковъ призывалъ для того (къ бунту), что они въ Астрахани стали за вѣру, за бороды и за платье, а буде не пристануть и имъ бы Царицынъ взять боемъ и идтить въ верховые города и до Москвы, и всѣхъ призывать было къ себѣ же, а кто бъ не присталъ, и тѣхъ было всѣхъ побивать, а пришедъ къ Москвѣ, нѣмцевъ всѣхъ, ктобъ гдѣ попался мужеска и женску полу, побить было до смерти, и сыскать было государя и бить челомъ, чтобъ старой вѣрѣ быть по прежнему, а нѣмецкаго бы платья не носить, и бородъ и усовъ не брить.“

„А буде бы онъ, государь, платье нѣмецкое носить и бородъ и усовъ брить перестать не велѣлъ, и его бъ, государя, за то убить до смерти, чая, по словамъ помянутой столяровой жены (!) что онъ, государь, подлинно подмѣнной“ и т. д.

Остановимся еще на одномъ дѣлѣ, которое дошло въ 1721 году до церковнаго приказа и оттуда передано было въ приказъ Преображенскій. Черезъ одного раскольника, привлеченнаго къ суду церковными властями, стало извѣстно, что не вдалекѣ отъ Воскресенскаго монастыря жилъ въ своемъ селѣ Козмодемьянскомъ богатый помѣщикъ, благочестивый человѣкъ и полу-раскольникъ, князь Мещерскій. Говорили, что у него была старинная чудотворная икона Смоленской Божіей Матери. Князь принималъ всѣхъ странниковъ, больныхъ, кликушъ, бѣснующихся, въ своей домашней часовнѣ, читалъ надъ ними молитвы, изгонялъ бѣсовъ; князь подавалъ много милостыни и „вѣрующимъ“

давалъ тайно частицы хлѣба для причастія. Князь Мещерскій и все это общество были привлечены въ отвѣту; ихъ пытали, въ томъ числѣ и князя...

Изъ этихъ подсудимыхъ любопытное психологическое явленіе представляла нѣкая Алена Ефимова. Это не была ни клякуша, ни бѣснующаяся, но, по словамъ историка, отличалась „странною маніей“, а именно: „ей хотѣлось умолить Бога, чтобъ онъ вразумилъ царя Петра Алексѣевича на путь истины, даровалъ бы ему намѣреніе прекратить гоненіе на раскольниковъ, а раскольники вразумились бы и соединились бы съ православною церковью. Сама она была не то раскольница, не то православная—крестилась двухперстнымъ сложеніемъ по внушенію какого-то пустынника, который приходилъ къ ней въ домъ и говорилъ: „трехперстнымъ сложеніемъ не умолишь у Бога“, но ходила въ православную церковь, имѣла православныхъ духовниковъ и молилась за царя Петра Алексѣевича, гонителя старо-вѣровъ“. Алена ходила по монастырямъ, давала деньги старикамъ, чтобъ въ теченіе шести недѣль читали за царя акаѣистъ; вклала въ день по двѣ и по три тысячи поклоновъ за Петра,—но всего этого казалось ей мало, и она придумала, наконецъ, рѣшительное по ея мнѣнію средство. Она призвала своего племянника, четырнадцатилѣтняго мальчика, и продиктовала ему молитву о царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, приготовила пелену подъ образъ и зашила молитву между верхомъ и подкладкой; отдала пелену въ Успенскій соборъ попу, не говоря ему о скрытомъ письмѣ, и просила его читать въ теченіе шести недѣль акаѣистъ за здравіе его величества; за это она заплатила ефимовъ и шесть алтынъ. Впослѣдствіи она показывала въ Преображенскомъ приказѣ: „Молитву писала для того, что многіе раскольники въ пустыняхъ живутъ, и учинила ту молитву собою, дабы различіе вѣры соединено было, и хотѣла объявить отцу духовному, но не показала, затѣмъ, что написано плохо“.

Молитва сохранилась при дѣлѣ. Это оригинальная, наивная и не лишенная трогательной поэзіи смѣсь молитвы и причтанія:

„Услышь, свята соборная церковь со всѣмъ херувимскимъ престоломъ и съ евангеліемъ, и сколько въ томъ евангеліи святыхъ словъ,—всѣ вспоминайте о нашемъ царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ. Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всѣми мѣстными иконами и съ честными мелкими образами, со всѣми съ апостольскими книгами и съ паникадилами, и съ мѣстными свѣщами, и со святыми пеленами, и съ честными ризами, съ

каменными стѣнами и съ желѣзными плитами, со всякими плодотворными древами... О, молю и прекрасное солнце, взмолись царю небесному объ царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ! О, младъ свѣтелъ мѣсяцъ со звѣздами! О, небо съ облаками! О, грозныя тучи съ буйными вѣтрами и вихрями! О, птицы небесныя и поднебесныя! О, синее море, съ рѣками и съ мелкими источниками и съ малыми озерами! Взмолитесь царю небесному о царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ, и рыбы морскія, и скоты польскіе ¹⁾, и звѣри дубровныя, и поля, и вся земнородныя, взмолитесь къ царю небесному о царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ!"

Составленіе молитвы тѣмъ болѣе любопытно, что хотя Алена не была совсѣмъ расколыницей, но находилась въ расколыничьемъ кругу и мужъ ея былъ „иконоборецъ“, не поклонялся иконамъ. Но Алена все-таки была отдана на пытку, а ея племянникъ, по малолѣтству, былъ битъ батогами и отданъ въ матросы.

Было еще много другихъ страшныхъ дѣлъ этого рода въ царствованіе Петра и долго послѣ. Въ 1718, когда рѣшалось дѣло царевича Алексѣя, одинъ подъячій стараго вѣка (Докукинъ) рѣшился подать въ церкви самому Петру при всемъ народѣ свой протестъ противъ отрѣшенія царевича отъ престола. Въ двадцатыхъ годахъ фанатикъ Левинъ даже прямо дѣлалъ безумныя воззванія къ бунту противъ Антихриста; предметъ его мономанія былъ опять тотъ же, который волновалъ тогда множество людей и притомъ не однихъ раскольниковъ. Всѣ, о комъ доходило свѣдѣніе въ Преображенскій приказъ какъ о привоенныхъ къ государеву дѣлу, подвергались пыткамъ, казнямъ, ссылкамъ; доносчики отрывали даже то, что говорилось въ трущобахъ Керженскихъ лѣсовъ. Въ Преображенскій приказъ попадали не только мелкіе темные люди, но офицеры, помѣщики, князья, даже архіереи; послѣднихъ въ синодѣ предварительно лишали сана и возвращенные такимъ путемъ въ первобытное состояніе, съ именемъ какого-нибудь „Ивашки“, они подвергались пыткѣ, отправляемы были въ ссылку или предаваемы казни. Самъ Петръ, впрочемъ уполномочившій Ромодановскаго на его дѣянія, называлъ его иногда „звѣремъ“ и воздерживалъ, хотя мало. Указы о ношеніи нѣмецкаго платья, о бритьѣ бородъ, въ соединеніи съ новыми стѣснительными налогами и принудительными работами, волновали народную массу, и среди нея легко распространялись толки о послѣднихъ временахъ, о томъ, что Петръ есть Антихристъ или по крайней мѣрѣ царь не настоя-

¹⁾ Т.-е. полевые.

щій, а подмѣнный, и т. д. Раскольники усиленно бѣжали то на сѣверъ въ олонецкія дебри, въ Керженскіе лѣса, или на югъ въ тогдашнія польскія владѣнія, на Вѣтку, куда сбѣжало ихъ до нѣсколькихъ десятковъ тысячъ. Давно возбужденный религіозный фанатизмъ находилъ все болѣе богатую пищу, и фантастика, питаемая сказаніями о второмъ пришествіи (мы уже встрѣчали не разъ Палладія мниха), доходила до послѣднихъ предѣловъ. Очевидно, что именно изъ этого широко распространеннаго настроенія вышло и то изображеніе Петра въ видѣ Антихриста, какое находимъ въ рукописи Историческаго Музея. Нѣтъ надобности предполагать принадлежность этой темы какой-нибудь особой сектѣ, напримѣръ, бѣгунамъ, тѣмъ болѣе, что эта послѣдняя секта сформировалась нѣсколько опредѣленно только во второй половинѣ XVIII столѣтія.

Вражда къ Петру вызвала, наконецъ, народную сатиру. Извѣстнѣйшимъ, хотя только недавно объясненнымъ примѣромъ ея служить картина, изображающая погребеніе кота мышами. „Наша картинка, — говоритъ Д. А. Ровинскій, — чисто русское произведеніе, ни откуда не заимствованное и не имѣющее никакого сходства ни съ восточными оригиналами, ни съ нюрнбергскими похоронами охотника, — на которое указываетъ Снегиревъ, — ни съ другими западными измышленіями; всѣ надписи на ней, всѣ подробности взяты прямо изъ русскаго быта, — это вполне оригинальное произведеніе русскаго народнаго буффа“.

Относительно того, на кого могла быть направлена эта сатира, Ровинскій пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. Нашъ котъ Брысъ или Алабрысъ есть не простой смертный, а знатная особа, и его титулы: котъ казанскій, умъ астраханскій, разумъ сибирскій — указываютъ на его царское происхожденіе. По многимъ примѣтамъ можно думать, что покойникъ былъ „знатный подпивало и веселый объѣдало“; ему на тризну везутъ и несутъ вино и пиво изъ „вольныхъ домовъ“ (трактировъ, вошедшихъ въ употребленіе при Петрѣ) и питейныхъ погребовъ. Покойникъ былъ русскій, но былъ въ близкомъ родствѣ съ чухнами; „чухонка вдова Маланья“ была, повидимому, его собственная вдова. Покойникъ былъ права крутого: „когда въ живности пребывалъ, по цѣлому мышенку глоталъ“, и много изобидѣлъ народа, который собрался теперь посмотреть на своего врага. Въ процессіи участвуютъ представительницы вновь прибрѣтенныхъ въ началѣ XVIII вѣка областей около Петер-

бурга: олонки, корелки, охтенка, Шушера изъ Плюшина, а также представительницы русских областей: мышъ украинская, новгородская, мышя изъ Рязани: собрались мыши съ разныхъ московскихъ улицъ и урочищъ, — всѣ онѣ въ большой радости поютъ, пляшутъ и играютъ на разныхъ инструментахъ. Даже мышъ съ Рязани, Сива въ сарафанѣ, которая, судя по обстоятельствамъ, изображаетъ духовное сословіе, и та „горько плачетъ, а сама въ присядеу пляшетъ“. Въ текстѣ нѣсколько разъ упоминается о лаптяхъ, производствомъ которыхъ покойникъ интересовался: онъ самъ „плелъ лапти“, но „носилъ сапоги“, — и Петръ въ самомъ дѣлѣ заботился о распространеніи лапотнаго производства у чухонцевъ. Похороны происходили зимой и съ музыкой, и погребальныя дровни везутъ восемь мышей; въ старѣйшемъ экземплярѣ картины сказано, что казанскій уроженецъ умеръ въ сѣрый (т.-е. зимній) четвергъ, въ шестопятое число. Петръ Великій дѣйствительно умеръ въ четвергъ зимняго мѣсяца января съ пятого часа на шестой; на похоронахъ его была музыка (которая въ первый разъ была употреблена при похоронахъ Лефорта въ 1698 году); и наконецъ, погребальныя сани были запряжены въ восемь лошадей.

„Эти существенные признаки, — говоритъ Ровинскій, — кажутся намъ, достаточно указываютъ, что державный покойникъ нашъ никто иной, какъ славный протодіаконъ всешутѣйшаго и всепѣнѣйшаго собора Пахомъ Михайловъ, — и что самая процессія его погребенія представляетъ пародію на шутовскія церемоніи, которыя устраивались Петромъ на разные случаи съ цѣлью сладко поѣсть, попить и повеселиться. Не онъ ли приходился лютымъ звѣремъ и кроводиломъ, какъ его называютъ раскольники, и — Охтенкѣ, насильно переведенной изъ родного края на Питерское болото, и бѣдному Гренкѣ съ Дона, и Шушерѣ изъ Плюшина, которыхъ онъ переводилъ, переселялъ, облачивалъ разными тяжелыми работами и повинностями? Худо пришлось отъ него татарамъ; но за то и дома у него развелось много „лазарецкихъ мышей“ — калѣкъ на костыляхъ, вернувшихся домой съ разныхъ баталій: даже и на похоронахъ одна мышъ „бьетъ дробь въ бубенъ, — походъ-де будетъ“. Исклѣченныхъ лазарецкихъ мышей ямскія мыши на себѣ везутъ и прогоновъ не берутъ, конечно потому, что прогоновъ имъ не платятъ“.

Другія подробности опять удостовѣряютъ тождественность Алабрыса со всешутѣйшимъ протодіакономъ. Въ процессіи одна мышъ куритъ изъ коротенькой голландской трубочки; въ преж-

нее время, при Михаилѣ Федоровичѣ, куреніе табаку было запрещено подѣ страхомъ смертной казни, при Алексѣѣ Михайловичѣ курильщиковъ наказывали кнутомъ, рвали имъ ноздри и рѣзали носы;—и при Петрѣ въ первый разъ разрѣшено было ввозить табакъ и нѣмецкія трубки, а подѣ конецъ разрѣшена была вольная продажа и разведеніе табаку. Далѣе, составитель картинки не забылъ, что у Алабрыса былъ „котскій“ усъ, стоячій торчкомъ вверху, какъ носилъ и отецъ протоіакоу; одинъ мышенокъ ѣдетъ въ любимой Петромъ одноколке, которая прежде запрещена была указомъ царя Федора Алексѣевича. Далѣе, самая высокая изъ крысъ и мышей, участвовавшая въ процессіи, рязанская мышъ Сива въ сарафанѣ синемъ, безспорно представляетъ рязанскаго митрополита Стефана Яворскаго (хотя онъ умеръ раньше Петра); мышъ Савва напоминаетъ Савву Рагузинскаго: по всей вѣроятности и другія мышъ съ разными прозвищами обозначали какія-нибудь извѣстные лица. Наконецъ, Ровинскій замѣчаетъ: „Цензура съ давняго времени подозрѣвала настоящее значеніе Алабрысова погребенія и въ этомъ отношеніи, чутьемъ своимъ, опередила нашихъ изслѣдователей; сперва было исключено ею означеніе дня, въ который скончался Алабрысъ, находящееся въ древнѣйшемъ переводѣ ¹⁾ его погребенія; затѣмъ въ позднѣйшихъ изданіяхъ картинки, чтобы уничтожить всякое по этому поводу сомнѣніе, вмѣсто зимняго погребенія на дровняхъ, устроено лѣтнее—на телегѣ, и выпущены всѣ мѣста—о вдовѣ чухонкѣ, о маймистскомъ заходѣ, а потомъ и о лаптахъ“.

По мнѣнію Ровинскаго, составитель погребенія кота былъ навѣрное раскольникъ, врагъ Петровскихъ нововведеній. Въ процессіи онъ помѣстилъ и богопротивную одноколку, и куреніе табаку; придалъ коту богомерзкіе подбритые усы. „Раскольникъ имѣлъ полное право радоваться котову погребенію, потому что этотъ котъ особенно преслѣдовалъ ихъ и ихъ бороды; они звали его Антихристомъ и лютымъ звѣремъ крокодиломъ, а на картинкѣ „отъ Христа паденіе Антихриста“ даже нарисовали этого послѣдняго въ образѣ Петра“. Къ раскольниковымъ изобрѣтеніямъ Ровинскій причисляетъ еще нѣсколько картинокъ, которыя считаетъ направленными противъ Петра. Такова напримѣръ, картинка, изображающая драку бабы Яги съ крокодиломъ: драка, повидимому, произошла изъ-за стклянницы вина; баба Яга—въ чухонскомъ костюмѣ, съ чухонскими вышивками и головнымъ

¹⁾ Т.-е. древнѣйшей редакціи.

уборомъ, а подъ крокодиломъ помѣщено любимое дѣтище Петра, корабликъ. На одномъ изъ изображеній баба-Яга, по мнѣнію Ровинскаго, напоминаетъ даже портретъ Екатерины. Еще на одной картинкѣ та же баба-Яга пляшетъ съ плѣшивымъ старикомъ; и еще одна представляетъ извѣстный эпизодъ македонской красавицы, которая осѣдлала мудреца и заставила его скакать на четверенькахъ; только въ нашей картинкѣ верхомъ на старикѣ сидитъ не македонская красавица, а опять-таки чухонка въ своемъ народномъ костюмѣ, хотя и съ чалмой на головѣ, да и подпись гласитъ, что это „нѣмка ѣдетъ на старикѣ“. Этими картинками, по мнѣнію Ровинскаго, раскольники отвѣчали на всѣ шутовскія надъ ними потѣхи, на безцѣльное преслѣдованіе бороды и на картинку, представляющую цирюльника, который собирается остричь раскольнику бороду, — эта картинка, какъ думаетъ Ровинскій, была сочинена и пущена въ народъ несомнѣнно по приказанію самого Петра. Но Петровская картинка въ ходъ не пошла, и повторенія не имѣла, — „а время показало, насколько Петръ былъ не правъ въ этомъ дѣлѣ, даже смотря на него съ современной ему точки зрѣнія“. И Ровинскій дѣлаетъ такое общее заключеніе о томъ, какое должно быть отношеніе государства и общества къ расколу. „Мы можемъ смѣло говорить объ этомъ несчастномъ прошедшемъ для нашихъ братьевъ старообрядцевъ; новые порядки перестали насиловать ихъ совѣсть и, можетъ быть, недалеко то время, когда и своимъ, русскимъ отщепенцамъ будетъ дозволено, наравнѣ съ иностранными сектаторами и евреями, молиться какъ кому Богъ положитъ на сердце — по старому или по новому: — всѣ вѣдь одной родины дѣти, всѣ одного царя подданные.

„За то, какъ и ненавидѣлъ народъ старой вѣры своего преслѣдователя, называя его Антихристомъ и крокодиломъ; съ какою радостію проводилъ онъ его на вѣчный покой, и, несмотря на страхъ кнута и пытки, сочинилъ ему шутовскую литію съ мышами, которая держалась въ народѣ полтора-два лѣта, и, какъ мы уже замѣтили выше, пользовалась особеннымъ почетомъ и любовью его, и выдержала безчисленное множество изданій“. Можно только прибавить, что сатира была такъ закрыта, что, быть можетъ, и въ прежнее время была вполне понятна только для посвященныхъ, а впоследствии сохраняла только интересъ простого шутства.

Исторіе народныхъ картинокъ относится вообще съ строгимъ осужденіемъ къ тѣмъ преобразовательнымъ дѣйствіямъ Петра,

которыя были нарушеніемъ народнаго обычая. Это осужденіе высказывали многіе другіе писатели еще съ XVIII вѣка и до новѣйшаго времени; видѣли въ Петрѣ зловѣщую силу, которая совершенно извратила правильное истинно-національное теченіе русской жизни; негодовали на злоупотребленіе государственной власти, приводившее къ страшной жестокости и насилію въ исполненіи личнаго неразумнаго каприза. Съ другой стороны, распространено представленіе, что Петръ есть великій преобразователь, именно начавшій новую грандіозную эпоху русскаго національнаго развитія, впервые открывшій просторъ для проявленія политическаго могущества Россіи, впервые положившій основаніе тому просвѣщенію, изъ котораго произошла новая русская литература съ ея великими именами, и русская наука, раньше совсѣмъ не существовавшая и приводящая насъ къ участію въ интересахъ и работѣ общечеловѣческой мысли. Безпристрастная исторія до сихъ поръ не свела этихъ счетовъ. Для этого еще не собраны всѣ тѣ частныя явленія, изъ которыхъ слагался цѣлый процессъ преобразованія, и особливо не оцѣнено достаточно то, воспитавшее Петра, наслѣдіе, какое получилъ онъ отъ XVII вѣка въ личномъ характерѣ, въ пониманіи своей власти, въ государственныхъ, религіозныхъ и общественныхъ идеяхъ и бытовыхъ порядкахъ. Очевидно, что въ первые годы царствованія, когда не было собственнаго знанія и опыта, когда не сложился самый характеръ, Петръ во многихъ случаяхъ дѣйствовалъ по инерціи, по старому складу жизни, который и самъ онъ видѣлъ, и въ которомъ утверждало его все окружающее... Въ своемъ отношеніи къ расколу Петръ колебался. Онъ не былъ религіознымъ фанатикомъ, и иногда относился къ расколу съ терпимостію, очень рѣдкою въ его вѣкѣ. Такова сохранившаяся собственноручная записка Петра отъ 1715 года: „съ противниками церкви,—говорилъ онъ,—съ кротостію и разумомъ поступать, по Апостолу... и не такъ какъ нынѣ, жестокими словами и отчужденіемъ“ ¹⁾, и безъ сомнѣнія не безъ его вліянія писались книги, гдѣ раскольничьимъ ученіямъ противопоставалось церковное объясненіе. Но это настроеніе смѣнялось другими при новыхъ обстоятельствахъ, волновавшихъ его нервную раздражительность. Страшная церковная нетерпимость была давно готова: соборное провѣянтіе наложено было на расколъ, когда Петра еще не было на свѣтѣ; въ старой Руси, во второй половинѣ XV вѣка,

¹⁾ Есиповъ, „Раскольничья дѣла“, II, стр. 218, и др.

церковные ревнители, какъ Геннадій и Іосифъ Волоцкій, на-
ставляли на казняхъ и сожиганіи еретиковъ.

Имя Петра перешло и въ народную повѣю. Въ первый разъ пѣсня о Петрѣ Великомъ записана была въ XVIII вѣкѣ въ сборникѣ Кирши Данилова; затѣмъ въ наше время пѣсни о немъ собраны, если, быть можетъ, не сполна, то въ весьма значительномъ количествѣ, въ „Пѣсняхъ П. В. Кирѣвскаго“. Въ отчетѣ за 1869 г. московскаго Общества любителей словесности, которое было издателемъ этого сборника, говорилось: „Въ нашей литературѣ, въ дѣйствующихъ доселѣ руководствахъ русской словесности и въ историческихъ хрестоматіяхъ утвердилось господствующее мнѣніе, подтверждавшее себя разными соображеніями, что Петръ Великій не оставилъ по себѣ никакого почти слѣда и отклика въ пѣснотворчествѣ народномъ; точно, самый сборникъ П. В. Кирѣвскаго представлялъ тому лишь нѣсколько образцовъ: но, благодаря вкладамъ другихъ собирателей, редакціи изданія удалось достигнуть до цифры почти двухъ-сотъ нумеровъ, и всѣ они дають болѣе или менѣе живую картину — высокаго лица и обстоятельствъ его времени, притомъ, что особенно замѣчательно, въ выраженіяхъ искреннаго сочувствія къ истинному смыслу великихъ событій той эпохи. Дѣло потребовало усиленнаго труда и напряженныхъ разысканій: за то, надѣмся, оно восполнитъ значительный пробѣлъ въ нашей наукѣ и литературѣ съ точки зрѣнія совершенно уже безпристрастной и неподдѣльной, однимъ словомъ, народной“.

Въ сборникѣ Кирѣвскаго, дополненномъ Безсоновымъ, пѣсни о Петрѣ распадутся на слѣдующіе отдѣлы: рожденіе (прекрасная пѣсня въ сборникѣ Кирши Данилова) и первые годы;—возстаніе и казни стрѣльцовъ;—правезъ;—борьба царя съ драгуномъ;—пѣсня о князѣ В. В. Голицынѣ;—азовскіе походы;—донскія и азовскія дѣла;—гроза на донцовъ;—царица Евдокія Федоровна Лопухина. Далѣе въ нѣсколькихъ отдѣлахъ размѣщаются пѣсни о сѣверной войнѣ: приготовленіе къ войнѣ;—выѣздъ Шереметева;—Шереметевъ, Шлиппенбахъ, Левенгауптъ;—Левенгауптъ и атаманъ Краснощокъ;—Орѣшекъ, Шлюссельбургъ;—царь на пути въ Шлюссельбургъ;—поѣздка царя въ Стокгольмъ и обратно;—осада Выборга;—сборы подъ Полтаву и полтавскій бой;—походъ Шереметева подъ Ригу;—Ревель;—походы въ земли

шведскія и турецкія;—смерть Петра;—Репнинъ, Меньшиковъ, Гагаринъ ¹⁾).

Что же представляютъ эти пѣсни, и какъ народъ понимаетъ въ нихъ личность царя и Петровскую эпоху? Безсоновъ и на этотъ разъ посвятилъ Петровскимъ пѣснямъ широковъщательный трактатъ, гдѣ среди излишества есть вѣрные замѣчанія о характерѣ пѣсенъ и ихъ складѣ. Послѣ того, что извѣстно о тяжелыхъ испытаніяхъ, вынесенныхъ народомъ въ періодъ преобразованій, о ломкѣ любимой старины, о преслѣдованіи раскола,—естественно было бы ожидать, что въ пѣснѣ отразится это перенесенное народомъ — жалобой, укоромъ, даже проклятіемъ или насмѣшкой, какъ въ раскольничьихъ писаніяхъ. На дѣлѣ этого нѣтъ. Пѣсня помнитъ тяжелые факты; но впечатлѣніе, какое они должны производить, покрыто какимъ-то новымъ настроеніемъ, гдѣ нѣтъ укора, а есть примиреніе и какъ бы историческое пониманіе.

„Пѣснотворчество народное,—говорилъ Безсоновъ,—слѣдуетъ шагъ въ шагъ почти за всѣми важнѣйшими дѣйствіями и событіями жизни великаго государя, отъ минуты рожденія его до послѣдняго дыханія: величавый образъ носится всюду, даже въ тѣхъ былевыхъ пѣсняхъ, которыя... касаются случаевъ какъ будто постороннихъ; и здѣсь, если не дѣйствуетъ онъ, то онъ присутствуетъ, какъ зеркало, передъ коимъ совершается дѣйствіе, какъ духъ и характеръ, вызовъ къ творчеству и средоточіе фантазій. Есть много образцовъ, гдѣ, по народному представленію, дѣла рѣшались даже менѣе личностью Петра, чѣмъ было въ дѣйствительности, гораздо болѣе героями другого имени и образа: но и эти герои—люди, окружавшіе царя, его близкіе“. Это Борисъ Петровичъ Шереметевъ, атаманъ Флоръ Миняевичъ, Долгорукій, Голицынъ, Семенъ Палій, и пр. Враги, недоброжелатели Петру,—враги народу по смыслу его пѣсней: старшій Голицынъ, Некрасовъ, Шведскій король, Шведская королевна-дѣвица, Мазепа, Азовскій паша, Турецкій султанъ. „Приближенные, испытавшіе справедливое безучастіе или прямое отвращеніе народа, но столь же явно обличенные самимъ государемъ, Меньшиковъ и Гагаринъ, нарочито выдѣляются изъ общаго состава и связи былинъ: творчество намѣренно выгораживаетъ изъ вины ихъ непричастнаго Петра.—Тамъ, гдѣ въ спорномъ дѣлѣ колеблется сочувствіе народа, какъ бы не зная, на чью сторону склониться, — Стрѣлецкій Атаманушка и Большой Бояринъ, сами, выразительными словами, рѣшаютъ участь свою, сами послушно

¹⁾ Безсоновъ присоединилъ сюда также малорусскія пѣсни, пѣсни сербскія и наконецъ, нижинне канты.

подчиняють себя роковому приговору, въ виду несостоятельности прежнихъ условій, въ виду новыхъ требованій жизни; Евдокія Бедоровна не пеняетъ, не жалуется, не ищетъ перерѣшенія судьбы своей, отвергаетъ возвратъ изъ кельи, молится за далекаго супруга и — „спасается“... Казни стрѣльцовъ сопровождаютъ великодушнымъ прощеніемъ пытаннаго молодца, во всемъ сознавагося, во всемъ помилованнаго... Гроза на Донцовъ, стоны и жалобы Дона, отчаяніе бѣглецовъ, бросающихъ родину, — разрѣшаются любовнымъ образомъ властителя, терпѣливо слушающаго нареканія заключенныхъ, освобождающаго ихъ, протянушаго имъ, тому или другому, руку помощи и пощады“.

„Что же, однако, забылъ ли дѣйствительно народъ о своихъ тяготахъ и нуждахъ при Петрѣ? Ни мало не забылъ, напротивъ, творчески это выразилъ. Не говоримъ здѣсь о „разореніяхъ“, вымышленныхъ Сахаровымъ и разорившихъ подлинность его печатныхъ образцовъ; народъ влагаетъ Голицыну упрекъ противу Петра: „Ты зачѣмъ, государь-царь, черня-тъ разоряешь; ты за чѣмъ большихъ господъ сподобляешь?“ Но тутъ же рядомъ, въ пѣснѣ того же типа и происхожденія, народъ, проникнутый тактомъ историческаго самосознанія, такъ безошибочно характеризуетъ своего непрощеннаго заступника: „Вотъ Москвою ѣхать князю, — ему было стыдно. Отчего же князю стыдно? Что первый измѣнщикъ“. Послѣ „рытья каналовъ“ самая дѣйствительная и реальная тягость народу при Петрѣ состояла въ обязательной и частной казенной „службѣ“, которой ото всѣхъ такъ настоятельно требовалъ Петръ... но жалуется народъ на самую службу какъ на зло, видитъ въ ней обиду и неправду? Нисколько. Это прежде всего представляется какъ личное и частное горе, основанное на прежнихъ привычкахъ быта народнаго... — не больше; а личное и частное, разумѣется, всегда легче принести въ жертву требованіямъ высшимъ... Сравните при этомъ послѣдующія наши пѣсни „Рекрутскія“, при наборахъ: тамъ, совсѣмъ наоборотъ, нѣтъ уже на первомъ планѣ этихъ сожалѣній, тамъ служба сама въ себѣ представляется роковой бѣдою и даже зломъ, при охлажденіи въ интересамъ государства или такъ называемаго, непонятнаго народу, „національнаго единства“. И тѣмъ еще болѣе убѣдимся мы, какъ государственные и народные интересы, высоко поднятые и поставленные Петромъ Великимъ, отзывались сознательнымъ высокимъ возбужденіемъ въ самихъ пѣсняхъ его поры, побуждая народъ при крупныхъ образахъ творчества опускать изъ виду всѣ личности, частности и

мелочи, или же допускать ихъ только въ качествѣ частныхъ и мелочей“.

Это отношеніе народно-поэтическаго творчества къ Петру и Петровской эпохѣ далеко не совпадаетъ съ тѣмъ осужденіемъ Петра у историковъ, о которомъ мы упоминали. Безсоновъ справедливо указывалъ, что историческій фактъ и народно-поэтическое созданіе могутъ не совпадать. „Исторія Петра остается сама собою, при всемъ народномъ творествѣ о немъ: наши историческія воззрѣнія могутъ пребывать неприкосновенными, наши взгляды и сложившіяся убѣжденія не склоняются и не преломляются сложенною пѣсней; приговоръ нашъ, даже неблагоприятный, сохраняетъ право на всю свою силу; наше сочувствіе, несочувствіе и безучастіе не условливается заявленіемъ былинны; мы въ состояніи признать заблужденіе самаго творческаго воззрѣнія. Но никому нѣтъ права — не признавать сего воззрѣнія, нѣтъ справедливости — отзываться о немъ невѣдѣніемъ, съ той минуты, какъ стало оно извѣстно, слышно и записано изъ устъ народа“... „Когда въ этомъ новомъ, прямо изъ устъ народа, столь свѣжемъ еще памятникѣ видимъ мы явную любовь народа къ Петру и искреннее къ нему сочувствіе, когда встрѣчаемъ воплощенное представленіе всего величія тогдашнихъ событий и сознаніе, далеко проникающее впередъ, въ ожиданія знаменательныхъ плодовъ отъ будущаго и съ терпѣніемъ передъ тугамъ ростомъ началъ новыхъ, крѣпкою рукою втиснутыхъ въ тогдашнюю почву русской жизни; мы отнынѣ, что бы ни говорила о Петрѣ и какая бы ни говорила намъ исторія, сошлемся всегда на творчество народное“... Историческая пѣсня, какъ пѣсня о Петрѣ, представляетъ исторію такъ и въ той мѣрѣ, какъ эта исторія прошла въ жизни народной, отзываясь въ ней изъ сферъ политическихъ, общественныхъ, религіозныхъ и всѣхъ тѣхъ, которыя не совпадаютъ съ собственнымъ существомъ народа. „Не все здѣсь дошло до народа, народъ не пережилъ всего того, что, имѣло мѣсто внѣ его, въ дѣлахъ политическихъ, общественныхъ и религіозныхъ изъ той эпохи... Сюда не вошло исполнѣ даже всего того, что прожито было тогда самимъ народомъ во внѣшней его жизни и дѣйствительности: многое утѣкло съ потокомъ внѣшнихъ событий... но не доходя до сознанія, не двигая мыслью и чувствомъ... Но и этого мало.... Не все, что было сознано симъ способомъ и на семъ пути, сдѣлалось удѣломъ творчества, поступило въ творческій образъ и воплощено въ немъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ эту эпоху сознаніе народное со всею силою, со всѣмъ увлеченіемъ, вниманіемъ и соучастіемъ жило,

питалось и развивалось, напримѣръ на такихъ событіяхъ, какъ расколъ старообрядства или рѣзкое устраненіе земства изъ участія въ общихъ дѣлахъ, когда отправленія земскія замѣнены были коллегіями и разнороднымъ наборомъ чиновнической службы: и однако ничего подобнаго не нашло себѣ доли въ былевомъ творествѣ народа... Наконецъ, даже изъ сложенныхъ въ ту пору пѣсней, обличающихъ явные признаки того времени въ своемъ происхожденіи, не все возвысилось до пѣсни „исторической“, а изъ ея сокровищъ дошло къ намъ, то-есть уцѣлѣло въ народѣ... количество еще меньшее: прочее улетѣло съ минутой или годами, не имѣло въ себѣ долговѣчности, не оказало непрерывности, не заключало въ себѣ этихъ свойствъ истинно-творческаго произведенія“.

Авторъ не сомнѣвается, что въ Петровскій періодъ сложились многія народныя произведенія болѣе совершенныя, чѣмъ тѣ, какія имѣемъ, но не дошедшія до насъ потому только, что „сфера ихъ, устная область, слишкомъ непрочна и расплывчива“. Но это послѣднее авторъ вслѣдъ затѣмъ ставитъ въ вину „намъ“, обществу, не умѣвшему цѣнить народнаго творчества и не успѣвшему во-время записать этихъ пѣсней: „образовательнѣйшіе слои народа переставали уже пѣть, пѣсня сходила въ низшія массы, но и здѣсь глотла въ безвѣстности, ибо не интересовала высшихъ. Это подлинное несчастіе, которому уже не причиненъ самъ народъ“, и т. д. Словомъ, опять повторяется обыкновенное обвиненіе противъ Петровской эпохи, наконецъ противъ всей новѣйшей литературы, приблизительно до Пушкина, въ забвеніи народности, въ отдаленіи отъ народа. Но передъ тѣмъ самъ толкователь, отмѣчая періоды развитія эпической поэзіи, говорилъ, что смѣна поэзіи народной и искусственной была совершенно законнымъ историческимъ явленіемъ и указывалъ „неотвратимое, постепенное умираніе“ народнаго творчества (въ его прежнихъ формахъ). Наконецъ, сама древняя Россія относилась къ народному творчеству прямо враждебно; старая поэзія не находила мѣста въ книгѣ. Восемнадцатый вѣкъ почти впервые (послѣ немногихъ примѣровъ предыдущаго вѣка) сталъ заносить въ книгу народно-поэтическое достояніе: отсюда возникаетъ и воздѣйствіе народной пѣсни на литературу.

Полная естественность этого перехода въ новый періодъ развитія на рубежѣ XVII и XVIII вѣка объясняется тѣми свойствами народно-поэтического пониманія, какія указывалъ самъ истолкователь. Народъ воспроизводилъ изъ исторической дѣйствительности только то, что было доступно его пониманію: не все

до него дошло; въ его поэзію „не вошло вполнѣ даже всего того, что прожито было тогда самимъ народомъ во вѣйшей его жизни“ и т. д. Другими словами, уже тогда „признакъ народности остался лишь за стихіями самыми простыми“, т.-е. и тогда уже народное становилось какъ бы только простонароднымъ и деревенскимъ. Но очевидно, что эта тѣсная точка зрѣнія не могла вполнѣ удовлетворить пониманія, воспитаннаго большимъ образованіемъ и опытомъ жизни. Если книжная литература того времени не расходилась съ приведеннымъ выше народнымъ пониманіемъ Петра и его времени, то вообще не могла довольствоваться наивнымъ горизонтомъ народной пѣсни и цѣлаго мировоззрѣнія; встрѣчалась съ новыми вопросами исторіи и дѣйствительности, должна была искать иныхъ теоретическихъ объясненій и поэтическихъ идеаловъ и т. д. Грубые канты Петровскаго времени, собранные Безсоновымъ, представляютъ первую ступень новаго направленія; второю ступеню были стихотворные и прозаическіе панегирики Ломоносова; а послѣднею ступеню были художественныя созданія Пушкина. Но самая жизнь такъ сложна и ея развитіе получаетъ столько новыхъ направленій, незнакомыхъ народному пониманію, что является вопросъ: возможно ли для народнаго творчества и полная оцѣнка настоящей дѣйствительности, и прозрѣніе будущаго?

Въ приведенныхъ взглядахъ Безсонова есть доля вѣрныхъ наблюденій и доля мистическаго преувеличенія.

Настоящій, извѣстный теперь запасъ пѣсенъ о Петровскихъ временахъ представляется истолкователю цѣлымъ мистическимъ откровеніемъ народа. „Тысячи безыменныхъ слагателей,—говоритъ онъ,—кипѣвшихъ творческими силами, умерли, исчезли и забыты прежде, чѣмъ плодомъ ихъ дѣятельности и творчества явились десятки пѣсеней, принятыхъ народомъ въ народное достояніе, признанныхъ присными и общими, запечатлѣнныхъ народною печатью, какъ собственность народа“. Пѣвцовъ несомнѣнно было много, и пѣвцовъ современныхъ. Безсоновъ подобралъ примѣры, гдѣ пѣвецъ говоритъ о настоящемъ, и гдѣ даже позднѣйшій пѣвецъ, повторяя старую пѣсню, становится на ея точку зрѣнія. Въ древней былинѣ пѣвецъ говоритъ о татарскихъ временахъ: „а отъ духу татарскаго не можно крещенымъ намъ живымъ быть“, или въ былинѣ новгородской: „а и нѣтъ у насъ такова пѣвца во славномъ Новѣгородѣ супротивъ Василя Буслаева“, и т. д. Такъ постоянно и въ Петровскихъ пѣсняхъ: „Бывало, де, православный царь любилъ стрѣльцовъ, много жаловалъ, пынче государь на насъ прогнѣвался“;— „Бѣ-

жить-то изъ Москвы скорый посолъ, держать во рукахъ грозный указъ, чтобы были мы, солдатшки, прибранные“;— „Ахъ, служили мы на границѣ три годочка, намъ ни вѣсточки, ни грамотки съ Дону нѣту, на четвертомъ годочкѣ перепала вѣсточка“;— „Какъ никто-то про то не знаетъ, не вѣдаеть, что куда нашъ государь-царь снаряжается: снаряжается государь-царь въ землю Шведскую. Онъ меня ли, добра молодца, съ собой беретъ,—ужъ какъ мнѣ ли, добру молодцу, не хотѣлося“. Пѣсня доходитъ даже до такой точности въ описаніи похода Шереметева: „Какъ во тысяча во семьсотъ во первомъ году, да и шестаго мѣсяца іюня, какъ шестаго на десять во числахъ,—тамъ шелъ, прошелъ царскій большой бояринъ, кавалеръ Борисъ Петровичъ Шереметевъ“ и т. д. Такимъ образомъ, — говоритъ авторъ, — въ этихъ современныхъ словахъ не было мѣста „ни забвенію, ни прощенію“; современникъ относился къ Петру съ сознательнымъ сочувствіемъ, какъ прежде относился къ Ивану Грозному, „делѣя ихъ творческіе образы“, — „и если теперь поетъ народъ также, то, значить, и теперь не забылъ своего сочувствія, и теперь живетъ тою же мыслию и тѣмъ же сознаниемъ“.

Эта черта дѣйствительно любопытна, но не должно преувеличивать. Эта фактическая, даже календарная, точность принадлежитъ исключительно пѣснямъ военнымъ или „солдатскимъ“, тѣмъ, предметомъ которыхъ служить опредѣленный и спеціаль- ный фактъ,—и напротивъ, за исключеніемъ солдатскихъ пѣсенъ, мы находимъ большую случайность и неполноту въ составѣ историческихъ моментовъ, на которыхъ останавливается пѣсня. По внѣшнему объему собственно военныя пѣсни, съ ихъ спеціаль- нымъ интересомъ, занимаютъ почти двѣ трети цѣлаго собранія; очень невелико количество тѣхъ пѣсенъ, предметъ которыхъ составляетъ именно личность самого Петра и его дѣйствія. И здѣсь не только нѣтъ точной хронологіи, но находимъ даже чисто фантастическія представленія, которыя объясняются только по далекимъ мотивамъ народной поэзіи, привлеченнымъ сюда по какой-то неясной связи поэтическихъ образовъ.

Пѣсня о рожденіи Петра находится въ старомъ сборникѣ Кириши Данилова; какъ почти всѣ его пѣсни—съ отчетливымъ текстомъ.

Когда свѣтель-радошенъ во Москвѣ
Благовѣрный царь Алексѣй царь Михайловичъ:
Народилъ Богъ ему сына царевича,

[Царевича] Петра Алексѣевича,
Перваго императора по землѣ.

Всѣ-то русскіе какъ плотники-мастеры
Во всю ноченьку не спали, —
Колыбель-люльку дѣлали
Они младому царевичу.
А и нянюшки-мамушки,
Сѣнныя красныя дѣвушки
Во всю ноченьку не спали, —
Шириночку вышивали
По бѣлому рытому бархату
Они краснымъ золотомъ.
[А и] тюрьмы съ покаянными —
Они всѣ распушались,
А и погребы царскіе —
Они всѣ растворялись,
У царя благовѣрнаго
Еще пиръ и столъ на радости, и т. д.

Прекрасная картина въ старомъ московскомъ стилѣ, но въ началѣ и въ концѣ упоминающая „перваго императора“: при рожденіи Петра никто, конечно, не могъ указать въ немъ не только императора, но даже вообще правителя. Пѣсня опредѣлилась на пространствѣ отъ его рожденія до принатія императорскаго титула.

Но со второй пѣсни начинается уже фантастическое смѣшеніе. Редакторъ сборника озаглавилъ эту вторую серію „Рожденіе, первые годы и отъѣздъ на чужую сторону“, и помѣщаетъ здѣсь двѣ пѣсни, записанныя Языковымъ, и близкіе по сюжету варианты изъ Карши Данилова и Рыбникова. Пѣсня начинается опять красивымъ вариантомъ первой пѣсни.

Что у насъ въ каменной Москвѣ приуныли ¹⁾,
Во большой колоколъ звонили:
Породила (государыня) царевича,
Свѣтъ Петра Алексѣевича.
Нянюшки-мамушки
Всеѣ ночь не спали —
Одѣяльце простегали
На чистыемъ сѣребрѣ,
На краснымъ золотѣ.
Плотники-мастеры
Всеѣ ночку простукали, —
Колыбельку продѣлали.

¹⁾ Это „унылое“ начало, по объясненію Безсонова, взято, по смѣшенію, изъ пѣсенъ о смерти царей.

Далѣе идетъ нѣчто странное: то, что названо у Безсонова „отъѣздомъ на чужую сторону“, разсказывается такъ:

Отломилася вѣточка
Отъ сахарнаго деревца;
Откатилось яблочко
Отъ сахарнаго деревца:
Отъѣзжалъ Добрый Молодецъ
Отъ отца своего — матери;
Лишился же Добрый Молодецъ
Своей родной страны;
Приѣхалъ же Молодецъ
Къ быстрой рѣчкѣ Смородинкѣ;
Переѣхалъ же Добрый Молодецъ
Черезъ быструю рѣчку Смородинку.

Но переѣхавши, молодецъ сталъ похваляться: была она рѣка славная, а она хуже озера стоячаго. Но на той сторонѣ молодецъ забылъ два булатныхъ ножа и, вернувшись за ними, потонулъ въ рѣкѣ Смородинѣ. Матушка его оплакивала погибель сына, а рѣка отвѣчала ей „человѣческимъ голосомъ, душой красной дѣвицей“, что не она потопила молодца, потопила его похвала молодецкая. Въ другомъ вариантѣ Языкова (объ его пѣсни — симбирскія) эта тема развита подробнѣе, но молодецъ прямо называется Добрыней Никитичемъ. У Кирши Данилова разсказъ о гибели молодца въ рѣкѣ Смородинѣ поставленъ отдѣльной пѣсней и „добрый молодецъ“ не имѣетъ никакого отношенія къ Петру Великому. Такъ это, безъ сомнѣнія, и было: Петръ въ дѣйствительности не утонулъ въ рѣкѣ Смородинѣ, и мнимая пѣсня объ отъѣздѣ на чужую сторону есть чисто механическое присоединеніе совсѣмъ отдѣльной пѣсни къ началу пѣсни о рожденіи Петра.

Нѣсколько пѣсенъ отнесено къ царицѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ Лопухиной. Только въ одной названо имя Петра: — это пѣсня, записанная кн. В. Ѳ. Одоевскимъ:

Возлѣ рѣченьки хожу млада, —
Меня рѣченька стопить хочетъ;
Возлѣ огничка стою млада, —
Меня огничекъ спалить хочетъ;
Возлѣ милаго сажу млада, —
Меня милый другъ журить-бранить,
Онъ-то журить-бранить,
Въ монастырь итти велить:
„Постригись, моя немилая,
Посхипись, постылая!

На постриженіе выдамъ сто рублей,
 На посхимене тебѣ тысячу,
 Я поставлю нову келейку,
 Въ зеленомъ саду подѣ яблоней.
 Прорублю я три окошечка, —
 Первое ко Божьей церкви,
 Другое-то во зеленый садъ,
 Третье-то во чисто поле:
 Въ Божьей церкви ты намолишься,
 Въ зеленомъ саду нагуляешься,
 Во чисто поле насмотришься.
 Случилось ѣхать князьямъ-боярамъ.
 Они спрашиваютъ: „Что за келейка,
 Что за келейка, что за новенька,
 Что въ ней за монашенка за молоденька?
 Еще кѣмъ она пострижена?“
 Отвѣчала имъ монахиня:
 — Я пострижена самимъ царемъ,
 — Я посхимлена Петромъ Первымъ
 — Черезъ его змѣю лютую“.

Въ дальнѣйшихъ вариантахъ имя царицы и Петра не названо, и собиратели отмѣчали иногда, что рѣчь идетъ именно о царицѣ Евдокии; а, наконецъ, пѣсня является просто бытовою пѣсней о женѣ, насильственно постриженной мужемъ, такъ что можетъ показаться, что имя Евдокии прибавлено только къ готовой пѣсенной формулѣ. Въ дальнѣйшихъ развитіяхъ темы рассказывается, что ѣхали мимо келейки купцы богаче и спрашивали въ недоумѣніи, кто въ ней спасается; и когда оказалось, что спасается здѣсь мужняя жена (насильно постриженная), то мужъ, который былъ между купцами, устыдился:

Какъ и взмолился тутъ немилый мужъ:
 „Разстригися ты, жена моя милая!
 За разстриженіе дамъ тебѣ тысячу,
 За расхиленіе — все имѣніе:
 Я построю тебѣ новъ-высокъ теремъ,
 А со красными со оконцами,
 Со хрустальными со стекольцами:
 Будешь жить въ немъ — прохлаждатися,
 Во цвѣтно платьѣ наряжатися.
 Какъ возговорить молода старочка:
 — Что не надо мнѣ твоей тысячи,
 — Ни всего твоего имѣніа,
 — Мнѣ не надобенъ новъ-высокъ теремъ:
 — Я остануся въ этой келейкѣ,
 — Ужъ я стану жить-спасатися,
 — За тебя Богу молитися.

Нѣтъ уже никакого отношенія къ Петру, который вовсе не желалъ, чтобы царица Евдокія разстриглась и разсхимилась ¹⁾).

Истолкователь замѣчаетъ между прочимъ, что въ пѣсняхъ Петръ Великій сближается по тону и формѣ разсказа съ Иваномъ Грознымъ, такъ что народъ одинаково относился къ обоимъ царямъ. Автору представляется опять глубокое народное прозрѣніе; но это сближеніе могло имѣть болѣе тѣсную причину, въ томъ, что къ Петру была примѣнена, съ нѣкоторой натяжкой, готовая формула сказанія о гнѣвномъ царѣ. Именно такъ составлены пѣсни о казняхъ стрѣльцовъ. Вводные стихи говорятъ прямо о царскомъ гнѣвѣ:

Бывало, де, православный царь
Любилъ стрѣльцовъ, много жаловалъ:
Нынче государь на насъ прогнѣвался
И хотеть стрѣльцовъ казнить—вѣшати,
Съ самого съ атамана голову рубить.

Стрѣльцы посылаютъ атамана къ царю просить милости и простить ихъ, и предлагаютъ за то:

Возьмемъ мы ему городъ, который надобно,
Безъ свинцу возьмемъ, безъ пороху,
Безъ его снаряду государева,
Возьмемъ городъ грудью бѣлою.

Но царь гнѣвенъ, велѣлъ атаману гнать стрѣльцовъ на Красную площадь и на поле Куликово,—

Кого хотеть казнить, кого вѣшати,
А съ меня, съ атамана, голову рубить,—

или въ другомъ вариантѣ:

Охъ вы гой еси, стрѣлецкія головушки!
Еще хотеть насъ православный царь всѣхъ жаловать,
Жаловать хоромами, хоромами высокими,
Двумя столбами дубовыми
И петлями шелковыми!

Пѣсня о Петрѣ сливается съ воспоминаніями о пѣсняхъ времени Грознаго и пѣснями казацкими.

Далѣе пѣсни о поѣздѣ царя въ Столгольмъ, гдѣ, опять въ связи съ давними пѣсенными мотивами, излагается въ сказоч-

¹⁾ Ср разборъ пѣсенъ о постриженіи у В. Н. Перетца, „Современная русская народная пѣсня“. Сиб. 1893, стр. 9 и д.

номъ тонѣ отношеніе Петра къ Швеціи. Въ старомъ текстѣ пѣсенника Чулкова разсказывается только выѣздъ въ море; въ другихъ вариантахъ, а именно, въ старой записи 1791 года, это начало развито въ цѣльный сюжетъ. Царь въ видѣ купчины прибылъ въ шведскому королевству и гуляетъ въ Стокгольмѣ; его узнали и донесли шведской королевнѣ; она выходила на красное крылечко:

Она семи земель царей портреты выносила,
По портрету царя Бѣлаго узнавала;
Закричала королевна громкимъ голосомъ:
—Ой вы гой еси, мои шведскіе генералы!
—Запирайте вы воротчики покрѣпче,
—Вы ловите царя Бѣлаго скорѣе!

Но нашъ царь не пугался, догадался о шведскихъ замыслахъ и бросился во дворъ къ крестьянину и велѣлъ вести себя на край синя моря. За нимъ бросились погони, одна и другая; вторая погоня настигаетъ царя и проситъ его взять ее съ собою, потому что, если не возьметъ, то имъ горькимъ, не быть живымъ на свѣтѣ (имъ, конечно, было сказано, чтобы безъ пѣнника не возвращались). И тутъ же вся погоня побросалась въ сине море, а царь возвратился во святую Русь.

Петровскія пѣсни отличаются вообще оригинальнымъ смѣшеніемъ старыхъ мотивовъ и новыхъ бытовыхъ подробностей. Петръ Алексѣевичъ—неизмѣнно „православный царь“, несмотря на то, что въ старину раскольники считали его Антихристомъ, а въ новѣйшее время славянофилы—немногимъ лучше. Отношеніе къ нему—любовное и бережное; его обстановка отчасти старая, царская, московская, отчасти новая, питерская. Въ любопытныхъ пѣсняхъ о кончинѣ царя постоянно сливаются тѣ и другія черты. По однимъ пѣснямъ Петръ умиралъ въ Сан-Питерѣ, а по другимъ въ каменной Москвѣ:

Во славномъ городѣ во Сан-питерѣ
Стояли палаты бѣлокаменные,
Во тѣхъ во палатахъ бѣлокаменныхъ
Состроена тутъ кроватка тесовая,
На кроваткѣ изголовьицо точеное,
Точеное, позолоченое;
На изголовьицѣ подушечки шелковыя,
Шелковыя и парчевыя,
На подушкахъ одѣяло соболивое
Того соболя сибирскаго;
Подъ одѣялечкомъ лежитъ удалый-добрый молодець,

Удалъ-добрый молодецъ, нашъ православный царь,
Православный царь Петръ Алексѣвичъ.
Передъ нимъ стоятъ всѣ князья-бояре,
Всѣ старшіе фельдмаршалы.

Въ другой пѣснѣ опять старыя пѣсенныя мотивы въ примѣненіи къ фельдмаршаламъ:

...Что возговорить надежда православный царь,
Всей ли же Россіи Петръ Алексѣвичъ:
—Ой вы гой еси, князья со боярами,
—Всѣ старшіе, любезные фельдмаршалы!
—Вы пьете, вы ѣдите готовое,
—Цвѣтное платье вы носите припасенное,—
—Ничего вы не знаете, не вѣдаете!
—Мнѣ же, царю, худо можется,
—Худо можется мнѣ, царю, конецъ идти.

Изъ пѣсень видно, что Петръ, повидимому, уже давно сталъ предметомъ не только пѣсенной поэзіи, такъ или иначе связанной съ дѣйствительностію, но и поэзіи чисто сказочной. Таковъ любопытный документъ, напечатанный С. М. Соловьевымъ: изъ него видно, что Петръ еще въ живѣ, и даже въ самые первые годы царствованія, представлялся народному воображенію героемъ чисто сказочныхъ приключеній. Соловьевъ въ свое время какъ будто не считалъ удобнымъ указывать, откуда былъ взятъ имъ этотъ документъ; но по тексту видно, что онъ исходилъ изъ того же Преображенскаго приказа, который былъ средствомъ узнавать народныя мысли. Въ раскольничьихъ показаніяхъ мы видѣли уже примѣры настоящаго баснословія о Петрѣ; въ документѣ Соловьева опять показаніе на допросѣ, и источникъ показанія — жена дворцоваго повара, слѣдовательно особа, падкая на интересные рассказы, но все-таки не изъ захолустья, а изъ ближайшихъ служителей. Между прочимъ упоминается опять шведская королева, которая является и въ пѣснѣ. Разсказъ былъ слѣдующій:

„704 года гулящій человекъ Никита Мининъ въ Преображенскомъ объявилъ: дворцоваго повара Якова Чуркина жена при немъ говорила: „Какъ государь и его ближніе люди были за моремъ, и ходилъ онъ по Нѣмецкимъ землямъ, и былъ въ Стекольномъ (Стокгольмѣ), а въ Нѣмецкой землѣ Стекольное царство держитъ дѣвица, и та дѣвица надъ государемъ ругалась, ставила его на горячую сковороду и, снявъ съ сковороды вѣлѣла его бросить въ темницу. И какъ та дѣвица была имянинница, и

въ то время князи ея и бояре стали ей говорить: „Пожалуй, государыня, ради такого своего дни выпусти его, государя“, и она имъ сказала: „Подите, посмотрите: буде онъ валяется (т.-е. еще живъ), и для вашего прошенія выпущу“. И князи и бояре, посмотри его, государя, ей сказали: „Томень, государыня!“ и она имъ сказала: „Коли томень, и вы его выньте“; и они его вынявъ, отпустили. И онъ пришелъ къ нашимъ боярамъ, и бояре перекрестились, сдѣлали бочку и въ ней набили гвоздья, и въ тое бочку хотѣли его положить, и про то увѣдалъ стрѣлецъ и прибѣжалъ къ государю къ постелѣ и говорилъ: „Царь, государь! изволь встать и выйти: ничего ты не вѣдаешь, что надъ тобою чинитца“, и онъ, государь, всталъ и вышелъ, и тотъ стрѣлецъ на постелю легъ на его мѣсто, и бояре пришли, и того стрѣльца съ постели схвати и положи въ тое бочку, бросили въ море“.

Въ одной изъ Петровскихъ пѣсенъ спасителемъ Петра отъ бѣды является крестьянинъ. Безсоновъ предполагалъ, что этотъ спасающій крестьянинъ выведенъ въ другой сказкѣ, которая была записана Рыбниковымъ.

„Наѣхалъ царь Петръ въ лѣсу на мужика: мужикъ дрова сѣкетъ. И говоритъ ему царь: „Божья ти помощь крестьянствовать!“—Мнѣ-ка надо Бога на помочь!—„А велико ли у тебя, старичокъ, семейство?“—А семейство у меня двѣ дочери да два сына.—„Не велико жъ твое семейство. Куда же ты деньги кладешь?“—Кладу я деньги на три статьи: во-первыхъ долгъ плачу, а въ другихъ въ долгъ даю, а въ-третьихъ въ воду мечу.—Царь призадумался, чтѣ бъ это значило, что старикъ и въ долгъ даетъ, и долгъ платитъ, и въ воду мечетъ? И говоритъ ему старикъ:—Въ долгъ даю,—двухъ сыновей кормлю; долгъ плачу,—старого отца и мать кормлю; а въ воду мечу,—двухъ дочерей кручу (наряжаю, чтобы выдать замужъ).—„Ну,—говоритъ ему царь,—умная ты голова, старичокъ. Будутъ со святой Руси бѣлые гуси, умѣй-ка щипать. А теперь сведи меня въ степи, я до роги не знаю“.—Почто я тебя поведу? Найдешь самъ дорогу: иди прямо, сверни вправо, тутъ повороти влѣво, а тамъ опять вправо.—„Этой я грамоты,—говоритъ царь,—не знаю. Ты меня сведи“.—А мнѣ, сударь, въ крестьянствѣ день дорого стоитъ.—„Дорого день стоитъ, да я тебѣ заплачу“.—А заплатишь, такъ поѣдемъ!

„Сѣли они на одноколку и поѣхали. Дорогой сталъ царь мужичка спрашивать: „Далече ль, мужичокъ, бывалъ?“—Кое-куда бывалъ, сударь.—„А видалъ ли царя?“—Царя не видалъ, а

надо-бъ посмотрѣть: согласился бы помереть.— „Такъ смотри: въ степяхъ царь будетъ!“—А какъ я царя узнаю?— „Всѣ будутъ безъ шапокъ бѣгать: одинъ царь въ шапкѣ“. Какъ пріѣхали въ степь, увидали люди царя, всѣ шапки подъ пазухи, бѣгомъ бѣгаютъ. А мужикъ ширить глаза; двое стоятъ въ шапкахъ, и спрашиваетъ:—Кто же царь?—Говоритъ ему Петръ Алексѣевичъ: „Видно, кто-нибудь изъ насъ царь!“

Если эта сказка съ одной стороны напоминаетъ пѣсенный мотивъ о спасеніи царя крестьяниномъ, то съ другой примыкаетъ къ тѣмъ анекдотическимъ рассказамъ, которые хотѣли сохранять память о Петрѣ, какъ подлинную исторію. Къ сожалѣнію, эти рассказы еще не собраны въ одно цѣлое.

Такимъ образомъ, несмотря на всю великую тяжесть, какою отозвалась для народа эпоха преобразованій, народная поэзія, насколько она до сихъ поръ извѣстна, почитаетъ въ Петрѣ великаго православнаго царя. Должно думать, однако, что нынѣшній запасъ пѣсенъ и преданій о Петрѣ Великомъ далеко не полонъ и, можетъ быть, дальнѣйшіе поиски опредѣлятъ точнѣе и самый матеріалъ преданія, и его внутренніе мотивы.

— В. Н. Щепкинъ, Два лицевыхъ сборника Историческаго Музея. М. 1897 (отдѣльный оттискъ изъ „Археологическихъ Извѣстій и Записокъ“, 1897).

— Обильный запасъ рассказовъ о расколѣ во времена Петра, по дѣламъ Преображенскаго приказа, находится въ извѣстной книгѣ Г. В. Есипова: „Раскольниковъ дѣла XVIII столѣтія. Извлеченныя изъ дѣлъ Преображенскаго приказа и тайной розыскныхъ дѣлъ канцеляріи“. Спб. 1861. Вторая книга, Спб. 1863. Одинъ подобный эпизодъ рассказанъ былъ С. М. Соловьевымъ: „Монахъ Самуилъ, страница изъ исторіи раскола“, въ „Православномъ Обзорѣніи“, 1860, іюль, стр. 332—338.

Въ „Чтеніяхъ“ моск. Общества исторіи и древностей, 1863, кн. I, стр. 52 и 71, напечатанъ цѣлый раскольниковый трактатъ о Петрѣ, какъ объ Антихристѣ: „Выписана Исторія печатная о Петрѣ Великомъ. Собрание отъ святаго писанія о Антихристѣ“. Редакція „Чтеній“ замѣтила, что никакой подобной печатной исторіи нѣтъ и что это выдуманно, чтобы скрыть свое. „Исторія печатная“ собрала всѣ аргументы, доказывавшіе, что въ видѣ Петра пришелъ Антихристъ; свидѣтельства объ этомъ доставили и пророки Даніилъ и Іеремія, и Меодій Патарскій, Ипполитъ папа римскій, Ефремъ Сиринъ (упомянутый выше „Ефремъ“), Кириллова книга, даже Бароній; историческіе факты заимствуются изъ книжки „Кабинетъ Петра“.

Мнимая печатная книга написана была повидимому около двадцатыхъ годовъ XIX столѣтія, и простодушный обличитель при всей ненависти къ Петру называетъ его Великимъ, очевидно по-

вторяя принятое наименованіе. Проклятiе начинается уже съ Алексѣя Михайловича, — „ибо Петръ Великій, всея воли и злобы Сатанины исполнитель, родился по отступленію св. вѣры, въ 1672 г., отъ царя Алексѣя Михайловича, не имѣющаго уже на себѣ царскаго достоинства“, а именно: „Прежде приде отступленіе царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ въ 1666 году, и потомъ, по отступленію его отъ вѣры Христовы, скончася супруга его, Марья Ильинишна, и поя себѣ въ жену Наталью Кирилловну, и сочется бракомъ законопреступнымъ, и роди сего сына погибельнаго, сирѣчь противника Христова, и всего благовѣрія нарушителя, и всей злобѣ погибельной исполнителя, яко же толкуеть Іоаннъ Златоустый, святыи вселенскій учитель: Кто убо сей есть? Убо ли сатана?“

— О Петръ какъ Антихристъ и вообще объ ожиданіи Антихриста, у историковъ раскола, напр., у Мельникова, Историческіе очерки поповщины. М. 1864, и продолженіе въ „Р. Вѣстникъ“ 1864, 1866, 1867;—Пругавина, Расколъ-сектанство. Вып. I. М. 1887;—Сахарова, Указатель литературы о расколѣ, 1887, 1892;—Милюкова, Очерки по исторіи русской культуры. Часть вторая. Спб. 1897, гл. IV.

— Д. А. Ровинскій, Русскія народныя картинки. Т. IV, стр. 256—269; т. V, стр. 155—163.

— Пѣсни П. В. Кирѣевского. Выпускъ 8. М. 1870.

— Сказка о Петрѣ Великомъ, сообщ. С. М. Соловьевымъ, въ „Чтеніяхъ“ моск. общ. ист. и древн. 1862, кн. IV, смѣсь, стр. 2.

— Е. Барсовъ, Петръ В. въ народныхъ преданіяхъ сѣвернаго края, въ „Бесѣдѣ“, 1872, V, стр. 295—310;—Петръ В. въ сказкахъ сѣвернаго края, въ Трудахъ Этн. Отд. Общества естеств., антроп. и этногр., кн. IV.

— П. Лавровскій, о Петровскихъ пѣсняхъ, въ Филолог. Запискахъ, 1872, вып. 1—2.

ГЛАВА VIII.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛѢ ПЕТРА.

Связь первой половины XVIII вѣка со стариннѣ книжнымъ преданіемъ.—Отсутствіе настоящей литературы и начатки новыхъ образовательныхъ интересовъ подъ западно-европейскими вліаніями.

Оеофанъ Прокоповичъ.—Его дѣятельность послѣ Петра и защита его преданій. Отталкивающій характеръ его церковно-политической борьбы.

Абрамовъ, нѣкогда послѣдователь, потомъ фанатическій противникъ нововведеній.

Антіохъ Кантемиръ.—Кружокъ Оеофана; нѣмецкіе академики; знакомство съ классиками и иностранной литературой.—Сатиры.—Переводъ книги Фонтенеля.

Татищевъ.—Практическая школа при Петрѣ.—Пребываніе за границей.—Литературные труды.

Изученіе временъ Петра ставитъ внѣ сомнѣнія, что образовательное движеніе той эпохи, гдѣ самыми характерными представителями были, съ одной стороны, Оеофанъ, съ другой—Посошковъ, не было исключительно созданіемъ Петра: корни его лежали внѣ вліаній самой реформы,—но, совпадая съ ея идеями, это движеніе нашло себѣ могущественную опору въ преобразованіяхъ, которымъ Петръ далъ всю силу своего личнаго труда и авторитета. Безъ него это образовательное движеніе, несомнѣнно, не могло бы имѣть такого успѣха; весьма возможно, что оно было бы если не уничтожено въ самомъ началѣ упорными приверженцами старины, то было бы сильно ограничено и замедлено: теперь оно могло высказываться смѣлѣе и многозначительнѣе. По всему духу старины, новыя стремленія должны были получить государственное церковное направленіе и оправданіе,—и ихъ далъ Оеофанъ въ своемъ ученіи „о власти и чести царской“. „Духовный Регламентъ“ сталъ церковнымъ законодательствомъ. То и другое выходило изъ собственныхъ, самостоятельно выработанныхъ убѣжденій Оеофана, но вполне сходило съ практическими желаніями Петра.

Образовательныя предпріятія Петра, отвѣчая его личному интересу, имѣли въ виду особливо распространеніе реальныхъ знаній, необходимыхъ для службы государству. Новыя школы и книги вносили свѣтское знаніе, но еще не заключали задатковъ новой литературы; скорѣе можно искать ихъ въ томъ теченіи, которое представлялъ собою Теофанъ и которое органически развивалось изъ кievской школы,—и затѣмъ, нѣсколько позднѣе, присоединился къ этому новый приливъ прямыхъ европейскихъ вліяній въ самомъ обществѣ. Дѣйствительно, за все время царствованія Петра мы почти не находимъ проявленій собственно литературнаго интереса: единственное, что принадлежитъ въ нѣкоторой степени къ литературному созданію, заключается въ проповѣди, въ „Завѣщаніи“ Посошкова, въ силлабическихъ виршахъ, полу-церковной драмѣ,—но все это старыя литературныя формы: въ проповѣдь стариннаго стиля вносились только черты новой жизни; „Завѣщаніе“ Посошкова было новой формацией „Домостроя“; силлабическія вирши появляются еще съ начала XVII вѣка, даже съ конца XVI-го.

Старое преданіе продолжается и въ другомъ отношеніи. Область книги за Петровское время чрезвычайно расширилась; къ прежнему, исключительно церковному, содержанію прибавилось много чисто свѣтскаго, научнаго общественнаго, публицистическаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ продолжается старая „письменность“. Во-первыхъ, самая борьба общественныхъ силъ, возбужденныхъ реформой, продолжается на почвѣ богословской полемики. Во-вторыхъ, продолжаетъ господствовать рукопись. Сочиненія Теофана, между прочимъ его академическіе курсы, которые могли бы имѣть большое значеніе для дальнѣйшей церковной школы, были изданы лишь черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ послѣ его смерти; въ свое время остался неизданнымъ самый „Камень вѣры“ (напечатанъ былъ только по смерти Яворскаго) и „Молотокъ“ на него; какъ въ XVII вѣкѣ, продолжали ходить по рукамъ „тетради“—единственная форма литературнаго обращенія (оставшаяся и надолго послѣ, по обстоятельствамъ цензурнымъ); „Книга о скудости и богатствѣ“ писалась „въ великой тайнѣ“.

„Письменность“ продолжается и послѣ Петра. Первый писатель, съ котораго начинаютъ „послѣ-Петровскую“ литературу, Кантемиръ, принадлежитъ въ разныхъ отношеніяхъ еще старому порядку вещей. Литературные историки прежняго времени придавали его произведеніямъ особое значеніе: первый писатель новой эпохи былъ сатирикъ, и въ этомъ видѣли предвѣщаніе од-

ного изъ двухъ путей нашей литературы въ дальнѣйшее время, гдѣ она была, съ одной стороны, панегирикъ, съ другой—сатира. Но своимъ современникамъ Кантемиръ былъ извѣстенъ въ печати только церковническимъ трудомъ въ старинномъ стилѣ—„Симфоніей“ на псалтырь (1727); затѣмъ при его жизни явился еще его переводъ „Разговора о множествѣ міровъ“, Фонтенеля (1740), и уже долго спустя послѣ его смерти были изданы его сатиры и другія стихотворенія (Спб. 1762); передъ тѣмъ онѣ вышли только во французскомъ переводѣ, опять послѣ его смерти, въ Лондонѣ (1749 и 1750 г.). Такова была судьба писателя, который долженъ былъ „предназначать“ сатирическое направленіе нашей литературы: его сочиненія остаются свидѣтельствомъ невысказаннаго настроенія наиболѣе образованныхъ людей той эпохи, но они не были литературнымъ фактомъ той эпохи, потому что были только личнымъ трудомъ любителя, не перешедшимъ въ достояніе современныхъ читателей. Его сатиры переписывались (хотя, повидимому, въ довольно ограниченномъ кругу), но не стали нормальнымъ явленіемъ, способнымъ производить литературное вліяніе; онѣ стали литературнымъ фактомъ лишь тогда, когда успѣли устарѣть и по содержанію, и особливо по формѣ: ихъ стиль и языкъ были анахронизмомъ въ шестидесятыхъ годахъ XVIII вѣка, когда оканчивалъ свое поприще Ломоносовъ и готовились Державинъ и Фонъ-Визинъ. Такимъ образомъ Кантемиръ въ свое время являлся съ чертами архаическаго писателя XVII вѣка: его сочиненія распространяются еще только какъ „тетради“ того вѣка, когда писатель, чтобы сдѣлать свой трудъ извѣстнымъ, самъ переписывалъ его въ нѣсколькихъ экземплярахъ или нанималъ писца, и раздавалъ книгу покровителямъ и пріятелямъ, затѣмъ, въ случаѣ ея интереса, находились добровольные переписчики, и книга могла дойти и до непріятелей, которые опять тѣмъ же способомъ писали и распространяли въ спискахъ свои возраженія и т. д. Такъ было это съ сочиненіями Теофана; такъ Посошковъ не думалъ о печати, предназначалъ свою работу только для небольшого круга друзей или давалъ своимъ сочиненіямъ видъ дѣловыхъ записокъ для представленія властямъ; оставался въ рукописи огромный трудъ Татищева по русской исторіи, и т. п. Такимъ образомъ въ печатномъ составѣ литературы первой половины XVIII вѣка совсѣмъ не было многихъ замѣчательныхъ произведеній того времени, которыя явились въ свѣтъ гораздо позднѣе, напр., во времена Екатерины II, или же, оставаясь совсѣмъ неизвѣстными въ свое время, являются впервые въ печати въ наше время: они бывали открываемы въ

старыхъ рукописяхъ на подобіе того, какъ отерываются памятники древней письменности: такъ было съ трудами Посошкова; многія сочиненія Кантемира стали извѣстны только въ новѣйшемъ изданіи 1867—1868 года; пятый томъ Россійской Исторіи Татищева былъ изданъ только въ 1847 году.

Это положеніе вещей, какъ увидимъ, имѣло свои причины и въ общемъ характерѣ времени, и въ различныхъ частныхъ обстоятельствахъ. По старому обычаю, напечатаніе книги было дѣломъ официальнымъ: „печатный листъ казался быть святымъ“, потому что въ прежнее время печатались обыкновенно только церковныя книги, съ благословленія святѣйшаго патріарха, а со временъ Петра—или съ разрѣшенія церковныхъ властей, или по повелѣнію царскаго величества; „писатель“ еще не имѣлъ гражданской правоспособности.

Но если не было литературы въ настоящемъ значеніи слова, то въ извѣстномъ кругу тѣмъ не менѣе совершалось развитіе литературныхъ идей, научныхъ и общественныхъ понятій, съ извѣстной логической послѣдовательностью. Нѣсколько расширенное образованіе порождало новыя умственныя потребности и внушало болѣе опредѣленные взгляды на существующіе нравы и понятія; являлась потребность критики и все болѣе усиливалась знакомствомъ съ иностранными литературами, хотя пока не весьма обширнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ явилось желаніе усвоить новыя литературныя формы. Кругъ людей, близко заинтересованныхъ литературой, былъ невеликъ, но съ каждымъ отлѣнкомъ поколѣній прибавлялся новый слой западныхъ литературныхъ вліяній. Это нарастаетъ постепенно; трудно замѣтить начало новаго направленія,—но послѣ извѣстнаго промежутка времени мы замѣчаемъ все большія отклоненія отъ старины, которыя доходятъ наконецъ до полного противорѣчія. Это вовсе не внезапная реформа, а напротивъ—медленное развитіе, тѣмъ болѣе характерное, что послѣ Петра до временъ Екатерины II совсѣмъ отсутствуетъ тотъ духъ правительственнаго преобразованія, который былъ нѣкогда сильной нравственной и фактической опорой новаго направленія; напротивъ, бывали теперь времена настоящей реакціи, когда „находились не въ авантажѣ“ не враги реформы, а ея приверженцы, и тѣмъ не менѣе умственная работа продолжалась, съ одной стороны, потому, что логически развивались однажды возбужденныя потребности, а съ другой—среди ничтожныхъ преемниковъ Петра еще оказывали нѣкоторое вліяніе преданія его славы.

Итакъ, въ литературной жизни первой половины XVIII вѣка

мы постоянно встрѣчаемся съ отголосками старины, къ которымъ все сильнѣе примѣшиваются черты новаго міровоззрѣнія и новыя литературныя формы. Дѣятели новой литературы проходятъ случайную, чаще церковную школу. Кантемиръ учился въ Славяно-греко-латинской академіи въ Москвѣ, потомъ въ академической гимназіи въ Петербургѣ. Тредьяковскій учился у католическихъ миссіонеровъ въ Астрахани, потомъ также въ московской академіи, пока наконецъ случайно попалъ за границу. Ломоносовъ, совсѣмъ въ старомъ духѣ, началъ учиться по церковнымъ книгамъ среди поморскаго раскола, былъ даже два года въ безпоповщинѣ, учился потомъ въ московской и кievской академіяхъ и въ академической гимназіи въ Петербургѣ, наконецъ поѣхалъ за границу. Татищевъ учился въ инженерномъ и артиллерійскомъ училищѣ Брюса, а потомъ набирался познаній за границей. Путешествія за границу съ цѣлями образованія были дѣломъ новымъ; но уже до Петра русскихъ молодыхъ людей тянуло за границу, какъ упомянутого сына боярина Ордина-Нащокина при царѣ Алексѣѣ; Теофанъ по собственному желанію отправился учиться въ самое гнѣздо проклинаемаго латинства—Римъ; самъ Димитрій Ростовскій считалъ счастливою ту страну, которая производитъ ученѣйшихъ мужей, какими были западные писатели; вслѣдъ за нимъ восхваляетъ Германію, какъ страну высокой науки, Теофанъ. Такимъ образомъ и здѣсь новый обычай восходитъ къ до-Петровской традиціи. Но съ каждымъ поколѣніемъ образовательный интересъ, которому хотѣли удовлетворить путешествіемъ за границу и чтеніемъ иностранныхъ книгъ, постоянно расширялся и обращался на новыя отрасли науки и литературы. Если уже Петръ Великій, самъ или по совѣту съ своими учеными людьми, заботился о томъ, чтобы дать русскимъ читателямъ книги по разнымъ отраслямъ науки,—то понятно, что любознательные люди новаго поколѣнія пошли дальше: Теофанъ ведетъ переписку съ знаменитымъ протестантскимъ теологомъ Буддеемъ; питомецъ и молодой другъ Теофана, Кантемиръ, живя за границей, находится уже въ сношеніяхъ съ Вольтеромъ; Татищевъ изучаетъ за границей технику, а рядомъ съ этимъ знаетъ сочиненія Бэяля; Тредьяковскій слушаетъ лекціи въ Парижѣ и первый изъ молодого поколѣнія, стремится усвоить ученіе французскаго псевдо-классицизма; Ломоносовъ въ заграничной школѣ полагаетъ основу тѣхъ обширныхъ знаній, которыя сдѣлали его первымъ русскимъ ученымъ естествоиспытателемъ. Эти факты указываютъ не узкое исполненіе одной воли реформатора, но самостоятельную работу пробужденныхъ умовъ,

— въ самыхъ различныхъ положеніяхъ, съ разными условіями воспитанія и ученія. Въ одномъ направленіи сходились и высокопоставленный іерархъ старой кievской школы, приходившій въ „вѣрѣ въ книгу критику“; молодой молдавскій князь, учившійся въ Россіи и обрусѣвшій; отпрыскъ стараго боярства Татищевъ, котораго учили только техническимъ наукамъ, пригоднымъ для военной службы, и поповичъ Тредьяковскій, котораго непреодолимая охота занесла изъ Астрахани въ Парижъ; и поморскій крестьянинъ Ломоносовъ, который, вышедши изъ безпоповщины, сталъ первостепеннымъ натуралистомъ и писателемъ. Очевидно, всѣхъ захватывала одна волна историческаго процесса: для всѣхъ, ихъ трудъ и стремленія были дѣломъ собственнаго убѣжденія, неистребимой потребностью ихъ внутренней жизни.

На эти условія тогдашняго движенія надо указать въ виду того, еще повторяемаго, противо-историческаго взгляда, что реформа, а съ нею все ей параллельное и изъ нея происходившее, были нарушеніемъ нормальнаго развитія русской національной жизни: еще недавно говорили, что намъ должно страхнуть съ себя утвердившееся тогда рабское подчиненіе гнилому западу и вернуться „домой“... Но достаточно обратиться къ фактамъ, чтобы распалась эта иллюзія. Петровское время было временемъ отчаянной борьбы, когда сознанныя историческая потребность большаго простора для національной жизни встрѣтилась съ упорнымъ сопротивленіемъ старины. Борьба объясняетъ крайности, которыя при этомъ были совершены и которыхъ необузданность, должно сказать, была подготовлена русскими же нравами со временъ Грознаго и опричнины, — но самая борьба была совершенно естественна. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ отвѣчала эта старина на очевидную потребность въ новомъ знаніи? Она отвѣчала только фанатической ненавистью къ новой наукѣ и ко всѣмъ поганымъ иноземцамъ, — но въ своемъ книжномъ содержаніи отставала отъ науки на нѣсколько вѣковъ. Въ концѣ концовъ должны были допустить въ Москву кievскихъ ученыхъ, хотя постоянно сомнѣвались въ чистотѣ ихъ православія ¹⁾. Ста-

¹⁾ Чрезвычайно характерно, что когда, послѣ кратковременной побѣды „греческаго ученія“ при патріархѣ Іоакимѣ, въ московской академіи и въ іерархіи снова возобладала „латинская часть“, іерусалимскій патріархъ Досеѣей, ревностный защитникъ стараго церковнаго авторитета (между прочимъ укоравшій Стефана Яворскаго въ латинствахъ), писалъ къ Петру, убѣждая его поставить патріархомъ или митрополитомъ московскаго человѣка, хотя бы и не „мудраго“ и никакъ не ставить чужака: „Аще принудятъ отсюда (то-есть съ православнаго Востока), — говорятъ онъ, — или сербы, или греки, или отъ иного народа, аще-бы и случайно были мудрѣйшія и святѣйшія особы, ваше державное и богоутвержденное царствіе да не-

рина не основала никакой школы, которая способна была бы распространять хотя элементарныя познанія: Петру приходилось основывать „цыфирныя“ школы; Посошковъ самъ съ великимъ трудомъ научился грамматикѣ. Старый порядокъ грозилъ прямо національнымъ отупѣніемъ, въ родѣ китайскаго. Обвинители реформы утверждаютъ, будто бы возможенъ былъ другой, болѣе мирный и постепенный путь образованія; но Петръ, въ своихъ первыхъ поискахъ за средствами расписать книгу, обращался и къ патріарху Адріану, и не встрѣтилъ съ его стороны никакого содѣйствія. Оставалось спрашивать иноземцевъ, самому отправиться за границу, посылать туда же молодыхъ людей въ науку, а изъ кievскихъ ученыхъ взять въ сотрудники такого человека, какъ Теофанъ.

Всѣ обвиненія, что люди новой школы забывали народныя начала и заимствовали иноземныя, опровергаются простымъ фактомъ, что собственно иноземное, напримѣръ, французское, нѣмецкое, голландское, заимствовалось иногда только во внѣшнихъ подробностяхъ быта или въ техникѣ, но смѣшно было бы говорить, что „иноземными“ были арифметика, геометрія, геодезія, географія и рядъ другихъ наукъ, съ которыми стали знакомиться новыя поколѣнія. Съ пробужденіемъ умственныхъ интересовъ, дальнѣйшія явленія становились неизбежными. Рядомъ съ точными науками привлекали науки нравственныя. Уже Димитрій Ростовскій интересовался Бэкономъ; Теофанъ зналъ Бэкона и Декарта; Кавтемиръ переводитъ Фонтенеля и знаетъ Монтескье и Вольтера; Татищевъ читаетъ Байля. Отголосокъ европейской науки проникалъ еще въ поколѣніе, предшествующее Петру, и было естественно, что она все болѣе распространялась потомъ, когда размножились вліянія европейской школы и жизни; и очевидно, что это не было произвольное „подражаніе иноземному“ (французскому, нѣмецкому и т. д.), подавлявшему наше національное начало: это было проникновеніе европейскаго просвѣщенія, тамъ необходимаго. При всемъ разнообразіи національныхъ особенностей въ литературахъ западной Европы, ихъ основныя явленія представляли одно общее развитіе, унаслѣдованное отъ Возрожденія и къ концу XVII вѣка обогащенное великими открытіями въ области точныхъ наукъ и широкимъ развитіемъ

когда сотворить митрополитомъ или патріархомъ грека, серба или русянина (то есть малороса), по москвитянъ, и природныхъ москвитянъ, аще и не немудрѣи суть, москвитяне хранятъ отеческую вѣру, сущіи не любопытательніи и не лукавнии челоувѣки; но страннии (иностранны) и оніи, иже хожяку въ и тамо, могутъ пронавести нѣкіа новости въ церкви“ (Труды Кіевской духовной Академіи, 1864, III, стр. 245).

критическаго духа. Великіе умы, дѣйствовавшіе въ отдѣльной литературѣ, оказывали вліяніе далеко за ея предѣлами, и ихъ мысль становилась общимъ достояніемъ: замѣтимъ притомъ, что латинскій языкъ все еще оставался языкомъ науки и облегчалъ ея универсальное распространеніе,—по-латыни писалъ Коперникъ въ половинѣ XVI вѣка и продолжали писать Лейбницъ и Ньютонъ въ началѣ XVIII-го. Возможно ли, и нужно ли, было оградить новыя русскія поколѣнія отъ обще-европейской науки, представлявшей высшее тогда развитіе обще-человѣческой мысли? Очевидно, что старина не въ состояніи была бы ничего противопоставить этому процессу, еслибы хотѣла возстать противъ нарушенія своихъ привычныхъ понятій. Было однако не только невозможно отвергать это новое знаніе, но необходимо было усвоить его, какъ потому, что съ нимъ была связана не только вся практически необходимая наука, но къ нему должна была неизбѣжно стремиться разъ пробужденная мысль. Новая наука становилась потребностью ума и нравственнаго сознанія цѣлаго разумнаго круга общества.

Первое сопоставленіе стараго содержанія съ тѣмъ новымъ, какое давала европейская образованность, должно было положить рѣзкую грань между старымъ и новымъ міровоззрѣніемъ: это была логическая и нравственная необходимость, которая естественно отразилась фактическимъ столкновеніемъ представителей стараго и новаго порядка. Мы видѣли, какъ еще до реформы это оказалось на старомъ Посошковѣ; у Теофана (который былъ лѣтъ на десять моложе Петра) это столкновеніе выразилось рѣшительнымъ и суровымъ отказомъ отъ старины. Этихъ двухъ примѣровъ достаточно, чтобы убѣдиться, что споръ старины и новизны стоялъ даже внѣ воли самого Петра: царь не создалъ его, а былъ только наиболѣе рѣшительнымъ и по своей власти наиболѣе могущественнымъ его дѣятелемъ... Съ тѣхъ поръ русская литература, какъ и исторія русскаго общества въ теченіе не только XVIII-го, но и XIX вѣка, представляетъ эту уже непрерывную борьбу стараго и новаго, которая бывала не однажды прямою борьбою невѣжества и просвѣщенія. Такъ какъ главнымъ источникомъ науки оставался тотъ же могущественно развивавшійся Западъ и тамъ же совершилось богатое развитіе возвышеннаго поэтическаго творчества, и русская литература естественно стремилась усвоивать это научное и поэтическое содержаніе, то у насъ и до сихъ поръ отзываются старые споры о своемъ народномъ и „западномъ“: потребность усвоивать европейское знаніе, вниманіе къ европейскому поэтическому творче-

ству изображается какъ измѣна своей народности—и приравнивается къ тѣмъ примѣрамъ прежняго времени, когда многіе представители русскаго барства подѣ вліяніемъ французскаго воспитанія забывали даже русскій языкъ. Едва-ли нужно объяснять, что такіе отталкивающіе примѣры невозможно распространять на цѣлое общество. Исторія нашей литературы съ тѣхъ поръ, какъ началось „обновленіе“ русской жизни, представляетъ, напротивъ, постоянное и все болѣе расширяющееся развитіе умственныхъ и нравственныхъ силъ русскаго общества, возростаніе научнаго знанія и поэтическаго творчества, въ которое все больше и больше вливаются элементы народной жизни, и подѣ вліяніемъ любви къ народу и путемъ критическаго изслѣдованія достигается впервые національное самосознаніе.

Дѣятельность Теофана по смерти Петра не представляетъ уже такихъ крупныхъ явленій, какъ прежде; но остается его сильное возбуждающее вліяніе въ небольшомъ кругѣ наиболѣе образованныхъ людей, гдѣ онъ съ полнымъ правомъ занималъ господствующее мѣсто. Смерть Петра вызвала небольшой трудъ, составленный имъ вмѣстѣ съ Теофилактомъ Лопатинскимъ и изданный въ 1726: „О смерти Петра Великаго краткая повѣсть“, гдѣ кромѣ разсказа о смерти царя подтверждено и право Екатерины на наслѣдованіе престола. Теофану принадлежитъ знаменитое надгробное слово, которое нѣкогда считалось перломъ краснорѣчія, и другое, сказанное въ томъ же 1725 году въ день Петра и Павла „на похвалу Петра Великаго“. Это—подробное изображеніе личнаго характера Петра и главныхъ событій его царствованія, какъ бы сводъ того, что Теофанъ говорилъ прежде о его дѣяніяхъ. По мнѣнію его біографа, эта проповѣдь Теофана, какъ блестящая характеристика Петра, не имѣетъ себѣ равной въ нашей литературѣ, за исключеніемъ похвальнаго слова Ломоносова, и она исторически важна, какъ первая сознательная оцѣнка дѣяній Петра, данная современникомъ. Теофану и здѣсь принадлежитъ большая доля въ опредѣленіи того пониманія Петра, какое надолго установилось официально и въ литературѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ это была защита его собственнаго участія въ дѣлѣ реформы. Подавши голосъ за Екатерину при ея воцареніи, Теофанъ приобрѣлъ ея благосклонность; но уже вскорѣ его вліяніе поколебалось: Меншиковъ былъ восстановленъ противъ него, а въ царствованіе Петра II, когда начиналась извѣстная реакція противъ реформы

когда выдвинулась снова старая партія русскаго духовенства и злѣйшій врагъ Теофана, епископъ Георгій Дашковъ, мечталъ даже о патріаршествѣ, положеніе Теофана становилось чрезвычайно труднымъ. Еще при Екатеринѣ сдѣланъ былъ на него первый доносъ „о непристойныхъ словахъ и церковныхъ противностяхъ“; Теофанъ написалъ отвѣтъ, но тѣмъ не менѣе ему повелѣно было не совершать противностей и дѣлалась угроза, что иначе ему „милости показано не будетъ“. Доносчикомъ былъ іеромонахъ Маркелъ Родышевскій (позднѣ архимандритъ и даже епископъ), который дѣйствовалъ, однако, не столько самостоятельно, сколько служа орудіемъ многочисленныхъ и непримиримыхъ враговъ Теофана въ высшемъ духовенствѣ школы Яворскаго: это были, кромѣ Дашкова, Теофилактъ Лопатинскій и много другихъ. Съ тѣхъ поръ жизнь Теофана была поглощена этой борьбой, гдѣ противники не щадили другъ друга, гдѣ церковное разногласіе переводилось въ политическое „слово и дѣло“, гдѣ ревнитель просвѣщенія превращался, наконецъ, въ церковнаго и политическаго инквизитора. Длинная и темная исторія этой борьбы подробно разсказана историкомъ Теофана по множеству подлинныхъ дѣлъ, впервые извлеченныхъ изъ архивовъ. Объясненіе ея просто. „Теофанъ, — говоритъ г. Чистовичъ, — цѣлую жизнь не считалъ безопаснымъ своего положенія. Между прочимъ таково было и время, что въ смутахъ и интригахъ низвергали одинъ другого, чтобы въ свою очередь и себѣ ожидать такой же участи. Теофанъ всѣми силами души вдался въ этотъ водоворотъ и кружился въ немъ до самой смерти. Сколько людей погубилъ онъ совершенно напрасно, измучилъ, сжегъ медленнымъ огнемъ пытки и заточенія—безъ всякаго состраданія и сожалѣнія!“

Теофанъ не пропускалъ ни одного неосторожнаго слова своихъ противниковъ, всякое нападеніе на свои церковныя мнѣнія представлялъ, какъ нападеніе на правительственныя мѣры, и дѣло переходило въ тайную канцелярію. По восшествіи на престолъ Анны Ивановны, Теофанъ снова занялъ вліятельное положеніе: онъ былъ противъ верховниковъ и на сторонѣ тѣхъ, которые способствовали разрушенію ихъ замысловъ; еще въ трудное для него время Петра II онъ былъ въ дружбѣ съ Остерманомъ, который былъ тогда его защитникомъ, — а теперь онъ былъ въ дружбѣ и съ Бировомъ. Все это оставило тѣнь на его имени. Впослѣдствіи князь М. М. Щербатовъ укорялъ Теофана, что онъ „жертвовалъ законъ изволеніямъ Бирона“, — но и его собственная судьба висѣла на волоскѣ.

Раздраженіе было, однако, такъ велико, что враги Ѳеофана и теперь продолжали нападать на него съ явными доносами и тайными подметными письмами. Отвѣтомъ на нихъ были розыски и пытки тайной канцеляріи; по старинному „судопроизводству“, туда попадали не только прямые подсудимые, но всѣ, кто какимъ-либо образомъ былъ съ ними связанъ, такъ что дѣла разростались въ громадныя размѣры. „Даже издали,—говорить историкъ,—на разстояніи почти полуторыхъ вѣковъ, страшно представить это ужасное мрачное и тяжелое время съ его допросами и очными ставками, съ желѣзами и пытками! Человѣкъ не сдѣлалъ никакого преступленія: вдругъ его схватываютъ, заковываютъ въ кандалы и везутъ въ Москву, въ Петербургъ, неизвѣстно куда: за что? Когда-то, годъ-два назадъ, онъ разговаривалъ съ какимъ-то подозрительнымъ человѣкомъ! О чемъ они разговаривали—вотъ изъ-за чего всѣ тревоги, страхи и пытки! Безъ малѣйшей натяжки можно сказать про то время, что, ложась спать вечеромъ, нельзя было поручиться за себя, что не будешь къ утру въ цѣпяхъ, и съ утра до ночи не попадешь въ крѣпость, хотя бы не зналъ за собою никакой вины“ ¹⁾).

Но была здѣсь другая сторона. Если ужасны были средства, какими велась борьба, то Ѳеофанъ могъ имѣть на своей сторонѣ увѣренность, что онъ защищаетъ не только свой личный интересъ, но и все дѣло Петра. Толпа его враговъ, по его собственному убѣжденію, представлялась ему „факціей темныхъ людей“, которая грозила возвращеніемъ стараго мрака и застоя, и онъ не совсѣмъ въ этомъ ошибался. По замѣчанію Соловьева, за Ѳеофана были тѣ, кому дорогъ былъ новый порядокъ вещей, новорожденное русское просвѣщеніе, тѣ, въ глазахъ которыхъ ударъ, нанесенный Ѳеофану, былъ бы тяжелымъ ударомъ этому просвѣщенію,—такъ это было не только въ глазахъ самихъ русскихъ, но и въ глазахъ иностранцевъ: здѣсь Ѳеофанъ естественно могъ найти союзника и защитника въ Остерманѣ. Для самой борьбы съ Ѳеофаномъ были бы нужны болѣе сильные люди, чѣмъ тѣ, которые возставали тогда противъ него. „Ѳеофантъ Прокоповичъ,—говоритъ Соловьевъ,—могъ быть свергнутъ только такимъ же Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, но никакъ не Георгіемъ Дашковымъ съ товарищи“ ²⁾).

Не останавливаясь на церковныхъ противникахъ Ѳеофана,—которые теперь, въ благоприятное для нихъ время Петра II, издали „Камень вѣры“ Яворскаго, вызвавшій горячую полемику,

¹⁾ Чистовичъ, стр. 348, 353.

²⁾ Исторія Россіи, т. XIX.

гдѣ приняли участіе также католическіе и протестантскіе богословы,—упомянемъ только объ одномъ, человѣкѣ свѣтскомъ, который также принялъ къ сердцу церковную борьбу и изъ прежнихъ приверженцевъ Петра сталъ злѣйшимъ противникомъ новаго духа. Это былъ Михайль Петровичъ Аврамовъ (род. 1681). Онъ рано, еще мальчикомъ, вступилъ на службу въ посольскомъ приказѣ; на восемнадцатомъ году посланъ былъ для письма при А. А. Матвѣевѣ въ Голландію, гдѣ кромѣ того учился живописи „и за прилежное обученіе тамошними жителями былъ похваленъ и печатными курантами опубликованъ“. Вернувшись въ Россію, онъ былъ представленъ царю и служилъ нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ дьякомъ Оружейной палаты. Въ 1712, онъ переведенъ былъ въ Петербургъ съ своими мастеровыми людьми, назначенъ цейх-директоромъ оружейной канцеляріи и, по приказанію Петра, занялся устройствомъ петербургской типографіи. Этой типографіей Аврамовъ управлялъ нѣсколько лѣтъ, и въ своей автобіографіи рассказываетъ, что пользовался милостями Петра, который между прочимъ поручилъ ему составленіе исторіи своего царствованія („полной исторіи о житіи и о премудрыхъ его величества монаршескихъ, Богомъ дарованныхъ, преславныхъ его дѣлахъ и неусыпаемыхъ трудахъ и подвижѣхъ“). Этотъ трудъ Аврамова неизвѣстенъ, хотя онъ говоритъ, что работалъ надъ исторіей цѣлыхъ шесть лѣтъ,—„которые мои труды были его величеству весьма благоугодны, и между своими и чужестранными министры отъ его величества оныя мои труды стали быть славны“. Въ Петербургѣ Аврамовъ жилъ очень весело. Какъ зять кабинетъ-секретаря Макарова и директоръ типографіи, онъ былъ близокъ царю, котораго не разъ угощалъ въ своемъ домѣ; по его собственному разсказу, онъ, „разгордѣвся, потерялъ отъ Бога дарованное смиренномудрое житіе и оттолкъ совершенно уже началъ жить языческихъ обычаевъ погибельное, пространное и широкое, славолубное и сластолюбное житіе и, забывъ страхъ Божій, впалъ во всякія тѣлесныя прелестныя непотребныя міра сего непрестанныя роскошныя дѣла и забавы“, наконецъ, „въ прочія безумныя дѣла и злодѣйства“. Необузданный развратъ кончился, какъ иногда бываетъ, тѣмъ, что Аврамовъ сталъ ханжой и изувѣромъ. Онъ обратился къ благочестивому житію и сдружился съ противниками Теофана, который также сталъ казаться ему врагомъ истинной вѣры. Аврамовъ началъ подавать проекты всѣмъ государямъ, начиная съ Петра I, Петру II, Аннѣ Ивановнѣ и Елизаветѣ Петровнѣ. Проекты оставались безъ результата, но нѣкоторыя изъ предложеній Аврамова направлены

были противъ Теофана и въ концѣ концовъ запутали его въ упомянутые процессы. Въ 1732 году Аврамовъ былъ заточенъ въ Иверскомъ монастырѣ; въ 1737, уже по смерти Теофана, Аврамовъ, обвиненный въ „преступленіяхъ немаловажныхъ“, сосланъ былъ въ Охотскій острогъ и имѣніе его было конфисковано, — но въ царствованіе Елизаветы онъ опять оказывается въ Петербургѣ и опять подаетъ проекты. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше развивается его фанатизмъ, который біографу его напоминаетъ проропопа Аввакума.

Уже въ первомъ проектѣ, поданномъ Петру, Аврамовъ, предлагая учредить государственныхъ адвокатовъ, которые вели бы судныя дѣла, заботились о колодникахъ, больныхъ въ госпиталяхъ, о бѣдныхъ рабочихъ, совѣтуетъ также учредить надзоръ за благочестіемъ народа. Нужно было напечатать „малыя тетрадки“ съ главнѣйшими молитвами и раздать ихъ въ народѣ, и устроить это такъ: „повелѣть во всемъ государствѣ всякаго чина жителямъ избирать между собою людей смысленныхъ ежегодно, и изъ нихъ опредѣлять жребіемъ директоровъ и прочихъ ихъ помощниковъ въ каждой дворовъ тысячѣ“; эти директора и ихъ помощники должны были вести своимъ дворамъ переписныя книги о положенныхъ сборахъ, о „всякомъ человѣческомъ правоученіи“ и о призрѣніи бѣдныхъ. При посредствѣ директоровъ архіереи и священники должны были раздать „каждой персонѣ“ упомянутыя тетрадки: „имъ же каждую персону отпустить съ сущимъ благословеніемъ, отдавъ тетрадку всякому, поучая страха Божія обучатися, и тое раздачу отмѣчать въ переписныхъ книгахъ; по которымъ тетрадочкамъ въ слѣдующій годъ предъ ними каждому отвѣтствовать... За подкомандными смотрѣть накрѣпо, чтобъ были въ своихъ опредѣленныхъ дворѣхъ по вся дни съ предложеніемъ, дабы въ каждомъ домѣ, при собраніи всѣхъ домовыхъ, прочтены были вышереченныя тетрадки, о чемъ по вся дни репортовать директорамъ письменно“ (!) Такимъ образомъ онъ предлагалъ отдать весь народъ подъ церковно-полицейскій надзоръ. Невысказанная цѣль была въ томъ, чтобы замѣнить этими тетрадочками Теофаново „Первое ученіе отрокомъ“, которое было ревнителямъ старины ненавистно, потому что учебная книжка Теофана рѣзко говорила противъ религіозныхъ суевѣрій. Въ другихъ проектахъ Аврамовъ настаивалъ на отмѣнѣ присяги на подданство, придуманной Теофаномъ, на пересмотрѣ законовъ для согласованія ихъ съ правилами св. отецъ, на возвращеніи духовенства „въ древнее благочиніе“, наконецъ, на восстановленіи патріаршества. Теофанъ, по обличеніямъ Авра-

мова, есть злѣйшій и коварный врагъ истинной вѣры и благочестія: это— „обманщикъ“, „хитрецъ“, „проклятый воръ“, который извратилъ всѣ догматы, подкюпалъ душеспасительное житіе и „подъ тончайшимъ злоумышленнымъ покрываломъ“ свободно уже вводилъ во всемъ неправо, тщеславное, слабое, распутное, сластолюбное и славолубное языческихъ обычаевъ погибельное житіе, которое и во иностранцахъ“.

Въ автобіографіи,—которая вошла въ челобитную Аврамова къ императрицѣ Елизаветѣ,—онъ съ своей позднѣйшей благочестивой точки зрѣнія съ ужасомъ рассказываетъ о тѣхъ соблазнахъ, какіе совращали его съ истиннаго пути, когда онъ былъ директоромъ петербургской типографіи.

По его мнѣнію, эти соблазны произвелъ никто иной, какъ „исконный всякаго христіанскаго добра завистникъ, лукавый сатана“ за его „небрежное роскошное житіе“; а именно оказанный внушилъ ему „якобы для наивышшей его величеству рабской моей доброй послуги, надобно просить у его величества новопереведенныхъ и его величеству отъ нѣкоторыхъ якобы разумныхъ людей поднесенныхъ, Овидіевыхъ и Виргиліевыхъ языческихъ книжищъ, для прочитанія и вѣдѣнія изъ нихъ о языческихъ фабулахъ“. Царь пожаловалъ ему эти книги и Аврамовъ читалъ ихъ съ охотою „денно и ночью“ и „читаніемъ ихъ обезумился“, выпросилъ даже указъ объ ихъ напечатаніи и „краткую изъ оныхъ одну книжицу выбравъ съ абрисами лицъ скверныхъ боговъ и прочаго ихъ сумазброднаго дѣйства, въ печать издалъ“¹⁾. Вслѣдствіе такихъ вещей, „отъ Бога дарованный, смиренномудрый умъ“ Аврамова „сталъ быть весьма помраченъ“, но зато онъ сталъ очень угоденъ міролюбцамъ и, хотя именно тогда онъ безумствовалъ, „разглашенъ отъ многихъ умнымъ человѣкомъ“. Тогда онъ предался упомянутому развратному житію, но по Божіей милости сознавалъ иногда свои грѣхи, и однажды послѣ усердной молитвы благодать коснулась его окаменѣлаго сердца, и тогда онъ началъ жить во всякомъ воздержаніи: „борясь денно и ночью съ плотію, съ міромъ и съ сатаною“, онъ возмѣнилъ намѣреніе оставить міръ, надѣлъ тайно власяницу и, чтобы укрыть предъ всѣми свое житіе, оговаривался, что имѣлъ тяжкую чахотную болѣзнь и свою „воюющую плоть до конца истинилъ и умертвилъ“. Но лукавые люди и сами бѣсы, конечно, не оставили его въ покоѣ; бѣсы, кажется, въ особенности завялись имъ въ это время, и Аврамовъ такъ рассказываетъ о

¹⁾ О какомъ изданіи говорятъ здѣсь Аврамовъ, пока не выяснено—какая-нибудь греческая миеологія.

своей борьбѣ съ ними: „Въ таковой же моей жизни еще и случались на меня отъ бѣсовъ и отъ самого сатаны, и отъ угодниковъ его, злоковарныхъ лукавыхъ завистливыхъ человѣкъ частыя нападенія: овогда разными нечистыми сонными привидѣніями смущая чистые мои помыслы, овогда и явно отстрашивая отъ заложнаго житія моего, разными прелестными помыслами колеблуще чистую мою совѣсть; иногда ночью бѣсы взломали подо мною полъ свѣтлицы моея, который обычно прибитъ былъ гвоздями пробойными; иногда же на зарѣ утренней въ свѣтлицахъ моихъ учинили страшный громъ невидимой нѣкакой тяжелой вещи катаніемъ; овогда въ банѣ моей такъ полъ и полки взломали, что и смотрѣть было удивительно, и тоя жъ noci, увязя голову въ ясличныхъ поперечникахъ, удавили возника моего; и прочія множественныя малосносныя терпѣнію человѣческому между женою и всѣми людьми моими смущенія, унынія и пустошныя ссоры и неспокойства непрестанно наносили; но, по милости Іисусъ Христовъ, отъ злохитраго его сатанинскаго и угодниковъ его лукавыхъ человѣкъ многого на меня злоковарнаго нападенія сильно оборонялся трудолюбнымъ и воздержнымъ житіемъ, молитвою и постомъ“ ¹⁾. Онъ подвигся на обличеніе „лукавыхъ вымысловъ еретиковъ Θεодосія (Яновскаго), Θεοφана и Γавρίила (Бужинскаго) и прочихъ ихъ единомышленниковъ“ и подалъ о томъ челобитную самому царю „съ доказательствами“ и, по словамъ Аврамова, царь, „удивительно“ долго и милостиво съ нимъ бесѣдовавши, воздержалъ „лукавые вымыслы“. „Отчаянные смѣльчаки“ на нѣкоторое время утихли, но потомъ „паки мало-по-малу возникли и, паче прежняго укрѣпясь, провели его величество и въ сочиненномъ ими и отъ нихъ названномъ Духовномъ Регламентѣ подписаться и, подъ тѣмъ монаршескія руки страхомъ, духовныхъ и мірскихъ особъ, безъ разсмотрѣнія о скрытыхъ въ ономъ Регламентѣ ересяхъ, всѣхъ принудили подписаться“. Видимо, царь не убѣдился обличеніемъ „лукавыхъ вымысловъ“. Аврамову пришлось бороться съ нечестіемъ и по другимъ поводамъ. А именно, въ 1716 году генералъ Яковъ Брюсъ поднесъ государю „новопереводную атеистическую книжицу, со обыклымъ своимъ предъ государемъ въ безбожномъ, въ безумномъ атеистическомъ сердцѣ его гнѣздящимся и крыющимся хитрымъ льщеніемъ весьма лестно выхваляя оную и подобнаго ему сумазброднаго тоя книжици автора Христофора Гюенса, яеобы оная книжицица весьма умна и ко обученію

¹⁾ Чистовичъ, стр. 263—264.

всенародному благоугодна, а наипаче къ мореплаванію весьма надобна, и таковою своею обыклого безбожною лестію умысленно окралъ государя“. Царь, „не смотря“, велѣлъ Аврамову напечатать цѣлый „выходъ“ этой книги ¹⁾ „для всенародной публики“. Царь затѣмъ уѣхалъ; и Аврамовъ рассказываетъ: „по отбытіи его величества, разсмотрѣлъ я оную книжицищу, во всемъ богопротивную, вострепетавъ сердцемъ и ужаснувся духомъ, съ горькимъ слезъ рыданіемъ, палъ предъ образомъ Богоматери, бояся печатать и не печатать; но, по милости Іисусъ Христовъ, скоро положилося въ сердцѣ моемъ, для явнаго обличенія тѣхъ сумасбродовъ безбожниковъ, авныхъ богоборцевъ, напечатать подъ крѣпкимъ моимъ присмотромъ, вмѣсто 1.200 книгъ, токмо 30 книгъ, и оныя, запечатавъ, спряталъ до прибытія Государева“. По возвращеніи Петра въ Петербургъ, Аврамовъ „трепещущъ подвесь (напечатанную книгу) его величеству, донесши обстоятельно, что оная книжицища самая богопротивная, богомерзкая, токмо единому со авторомъ и съ безумнымъ лъстивымъ ея подносителемъ переводчикомъ Брюсомъ, къ единому скорому угодна въ струбѣ сожженію“. Царь не велѣлъ публиковать книги, а напечатанныя „книжицищи“ приказалъ отослать „сумасбродному переводчику“. Мы замѣчали уже, что этотъ Гюенсъ, такъ перепугавшій Аврамова, былъ знаменитый Гюйгенсъ, одинъ изъ величайшихъ изслѣдователей XVII вѣка въ области математики, физики и астрономіи. Благодаря Аврамову, это изданіе стало величайшею рѣдкостью. Въ русскомъ переводѣ книга названа была: „Книга мірозрѣнія или мнѣніе о небесно-земныхъ глобусахъ и ихъ украшеніяхъ“. Въ предисловіи къ русскому изданію сказано, что „сей пріятный трактатецъ“ былъ съ великимъ почтеніемъ принятъ въ ученомъ мірѣ: „мы слѣдовали убо господина автора мнѣнію во всемъ, и колико возможно было безъ перемѣненія реченія и переводили“... Пекарскій замѣчаетъ, что изданіе особенно любопытно въ томъ отношеніи, что это была первая книга на русскомъ языкѣ, гдѣ принята была система Коперника ²⁾. Мы упоминали раньше, что Теофанъ считалъ совершенно возможнымъ принимать систему Коперника, надъ которою, по мнѣнію Стефана Яворскаго, богословы должны были смѣяться: система Коперника и долго спустя не могла найти у насъ полного признанія; допускаемая молча въ специальныхъ книгахъ, она продолжала возбуждать недовѣріе и навлекать осужденія даже до весьма недавняго времени—на тѣхъ же осно-

¹⁾ По нинѣшнему, заводъ, 1.200 экземпляровъ.

²⁾ Наука и литература, II, стр. 388—389; ср. тамъ же, стр. 656.

ваніяхъ, какія излагалъ благочестивый Аврамовъ... Впослѣдствіи Аврамову пришлось еще разъ перепугаться, когда вышелъ въ свѣтъ переводъ книги Фонтенеля „О множествѣ міровъ“, въ переводѣ Кантемира. Аврамовъ съ негодованіемъ указывалъ, что книги „Гюенса“ и Фонтенеля „землю съ Коперникомъ около солнца обращающуюся и звѣзды многія толикими же солнца быти, и особыя многія луны, во многихъ прочихъ глобусахъ, быти утверждаютъ, и на оныхъ небесныхъ свѣтилахъ, и во всѣхъ множественныхъ описанныхъ отъ нихъ глобусахъ, таковымъ же землямъ, яко же и наша, быти научаютъ, и обитателей на всѣхъ тѣхъ земляхъ, яко же и на нашей землѣ, быти утверждаютъ... И между тѣмъ всѣмъ о натурѣ вспоминають, якобы натура всякое благодѣяніе и дарованіе жителямъ и всей даетъ твари: и тако вкратчѣ хитрятъ вездѣ прославить и утвердить натуру, еже есть жизнь самобытную“. Аврамовъ подозрѣвалъ, что и здѣсь виновникомъ былъ тотъ же проклятый воръ и хитрецъ, то-есть Теофанъ: „прилично ли христіанамъ попускать явно, чрезъ печатныя атеистическія книжицы, низводить въ небытіе Творца своего и Бога, и облыгать вся Его божественная творенія, дѣла и содѣйствія, въ уничтоженіе и въ поправіе всего священнаго писанія“¹⁾.

Въ правленіе Анны Леопольдовны Аврамовъ былъ возвращенъ изъ Охотска. При Елизаветѣ онъ опять сталъ писать проекты, челобитныя, доклады и въ концѣ концовъ написалъ тамъ такихъ вещей, за которыя опять попалъ въ тайную канцелярію. Между прочимъ, за нарушеніе божественныхъ повелѣній онъ сталъ грозить и тѣмъ, кто „діадиму на себѣ носить“. Въ тайной канцеляріи онъ содержался въ такъ называемомъ „безвѣстномъ“ отдѣленіи. Несчастный мономанъ и умеръ въ этомъ отдѣленіи въ 1752 году.

Теофанъ былъ образованнѣйшимъ человекомъ тогдашняго русскаго общества и вмѣстѣ самымъ сильнымъ умомъ въ кругу лицъ, дѣйствовавшихъ тогда для образованія и литературы. При всемъ неясномъ, стихійномъ состояніи этихъ интересовъ Теофанъ становится известнаго рода центромъ, около котораго соединялись въ Петербургѣ образованные люди русскіе и иностранцы. Въ числѣ первыхъ видимъ Кантемира и Татищева; между вторыми были ученые нѣмцы, которыхъ призывали тогда въ только-что основанную Академію наукъ... Одинъ изъ ученѣйшихъ нѣмцевъ

¹⁾ Чистовичъ, стр. 692.

въ Академіи былъ извѣстный Зигфридъ Байеръ, которому принадлежить, между прочимъ, первая біографія Теофана.

Еще до открытія Академіи, когда шла переписка съ учеными, которыхъ хотѣли пригласить въ Россію, въ ней упоминается уже Теофанъ, какъ лицо авторитетное. Между прочимъ, приглашали Христіана Вольфа, и когда послѣдній опасался, что враждебные ему піетисты могутъ повредить ему въ глазахъ русской власти, Шумахеръ успокоивалъ его, ссылаясь на то, что о немъ съ большимъ уваженіемъ отзывался епископъ псковскій: „слѣдовательно, съ этой стороны вы можете быть спокойны“. Нѣмецкій біографъ Теофана говоритъ, что онъ „охотно принималъ у себя иностранцевъ православнаго вѣроисповѣданія—грековъ, славянъ, венгровъ, поляковъ, грузинъ,—странниковъ съ Ливана и Афона,—несчастныхъ, вслѣдствіе неблагоприятныхъ обстоятельствъ, безъ собственной ихъ вины потерявшихъ имущество и нуждавшихся въ помощи,—художниковъ и студентовъ, ищущихъ пособія, которыхъ рекомендовалъ знатымъ русскимъ, испрашивая помощи, и которыми самъ помогалъ щедрой рукой и отпускалъ, снабдивши всѣмъ необходимымъ для жизни... Въ урочные дни раздавалъ милостыню бѣднымъ обоого пола. Огромныя средства, которыми онъ располагалъ, давали полный просторъ его щедрости. Но онъ не могъ равнодушно видѣть ханжей, суевѣровъ, святошъ, лицемѣровъ—преслѣдовалъ ихъ всячески и подвергалъ наказаніямъ“.

„Библіотека его возросла, наконецъ, до 30 тысячъ томовъ лучшихъ изданій. Пользуясь ея сокровищами самъ, онъ охотно давалъ книги и другимъ и вообще своими знаніями,—плодомъ внимательнаго чтенія и наблюдательности,—онъ охотно дѣлился съ другими учеными людьми, которыхъ часто приглашалъ къ себѣ къ обѣду или вечеромъ къ ужину, когда по окончаніи дневныхъ занятій можно было вздохнуть свободно. Это были своего рода аттическіе вечера, съ которыхъ всякій выносилъ что-нибудь умное (*nemo, nisi doctior egressus*)... Въ кругу близкихъ лицъ, мѣшая шутку съ дѣломъ, онъ былъ гениально остроуменъ, такъ что собесѣдники съ жадностію ловили и старались запомнить его изреченія, апологи, притчи... Они стоятъ того, чтобы ихъ собрать и напечатать... У него была поговорка: *uti boni vini non est quaerenda regio, sic nec boni viri religio et patria*“ (какъ нечего спрашивать о странѣ, изъ которой идетъ хорошее вино, такъ нечего спрашивать о религіи и отечествѣ хорошаго человѣка). Біографъ перечисляетъ имена нѣмецкихъ, англійскихъ и шведскихъ ученыхъ, говорившихъ о Теофанѣ съ великими похвалами. Любопытны, наконецъ, подробности, которыя находимъ въ книгѣ

Байера: „Museum Sinicum“, посвященной Оеофану. Въ посвященіи Байеръ упоминаетъ объ интересѣ Оеофана къ древности и вспоминаетъ объ ихъ бесѣдахъ. „Мнѣ казалось, что я нахожусь въ Греціи и въ тамошнихъ поэтическихъ и риторскихъ или философскихъ школахъ, всякій разъ, какъ только вы начинали о нихъ рѣчь. Я часто смотрѣлъ на васъ, какъ на нѣкогого Климента, или Кирилла, или Евсевія, когда вы опровергали басни древнихъ народовъ или нелѣпѣйшія мнѣнія философовъ; точно также вы какъ будто вводили меня въ Римъ или въ какой другой городъ Италіи, славный священными и гражданскими памятниками; и когда со мной возобновляли въ памяти многое изъ всякаго вѣка, мнѣ казалось, что я внимаю далеко передъ другими образованнѣйшему человѣку, какъ въ словесныхъ наукахъ, такъ и въ высшихъ искусствахъ. Съ какимъ удовольствіемъ я слушалъ васъ всякій разъ, когда вы описывали мнѣ памятники древняго времени, которые вы видѣли въ Римѣ и прочей Италіи, и въ особенности состояніе учености, и рассказывали о прочихъ вашихъ путешествіяхъ и о своемъ, такъ сказать, курсѣ въ занятіи науками. Какое разнообразіе и обиліе!...“

Эти слова могли бы казаться преувеличенною похвалою, какъ водилось въ тогдашнихъ посвященіяхъ, но они подтверждаются рядомъ другихъ отзывовъ о чрезвычайно живомъ умѣ и учености Оеофана, а, главное, его собственными литературными трудами. Кромѣ Байера, у него было еще много друзей и почитателей между учеными нѣмцами Академіи; таковы были Гроссъ, Гольдбахъ, Шумахеръ, самъ президентъ академіи баронъ Корфъ; ученый изслѣдователь Сибири, Мессершмидтъ, потерявшій въ кораблекрушеніи все свое имущество, нашелъ помощь у Оеофана. Въ 1736, Оеофанъ рекомендовалъ Академіи, для предпринимавшейся тогда ученой экспедиціи въ Сибирь, своего домашняго врача Стеллера, получившаго потомъ почетную извѣстность своими изслѣдованіями въ Сибири.

Такимъ образомъ Оеофанъ и здѣсь стоитъ на перепутьѣ между старой и новой Россіей: питомецъ кіевской схоластической школы, онъ вступаетъ въ прямыя связи съ представителями европейской науки и находитъ среди нихъ высокое признаніе. Основаніе Академіи наукъ,—которая, при всѣхъ странностяхъ ея тогдашняго характера, оказала, однако, большія услуги возникшей русской наукѣ,—и дѣятельность Оеофана были первыми крупными фактами, которыми опредѣлялось сближеніе русскаго общества съ европейскимъ образованіемъ, въ свободномъ усвоеніи неизвѣстной раньше образованности.

Въ жизни русскаго общества Теофанъ былъ совершенно исключительнымъ явленіемъ, которое съ тѣхъ поръ не повторялось уже въ исторіи нашего образованія. Ученый богословъ, могущественный іерархъ, вліятельный участникъ въ законодательствѣ, онъ былъ наиболѣе передовымъ человѣкомъ въ дѣлѣ просвѣщенія и литературы,—до его смерти въ 1736 году не было человѣка, равнаго ему въ литературномъ образованіи. Мы видѣли раньше, что его понятія объ основныхъ вопросахъ тогдашней церковной и политической жизни составляли цѣльную систему, каковой уже не находимъ въ этой полнотѣ ни у кого изъ дальнѣйшихъ писателей. Правда, задачи литературы впослѣдствіи по необходимости осложнились, и когда она развилась именно въ свѣтскомъ направленіи, невозможно было совмѣщеніе въ одномъ лицѣ всего ея содержанія; но долго чувствовалось неблагоприятнымъ образомъ разъединеніе двухъ направленій, которыя пошли врозь, какъ бы не зная другъ о другѣ. Раздѣлилось образованіе духовное и свѣтское. Первое не въ состояніи было воспринять того освѣжающаго направленія, какое вносилъ Теофанъ въ свое кіевскомъ преподаваніи; оно вернулось къ старой схоластикѣ, которая съ различными видоизмѣненіями держалась въ церковной школѣ до самаго недавняго времени. Духовенство въ послѣдніе два вѣка завяло такое положеніе, что осталось чуждо литературѣ свѣтской, гдѣ почти исключительно совершалось усвоеніе новаго содержанія въ духѣ европейской науки и новыхъ формъ поэтическаго творчества. Съ другой стороны для свѣтской литературы былъ старательно закрываемъ доступъ въ область церковной жизни. Наконецъ, все движеніе литературы подчинено узкому недовѣрчивому надзору учреждений цензурныхъ... Это стѣсненное положеніе, создаваемое условіями нашей новѣйшей исторіи, продолжается до сихъ поръ. Общимъ послѣдствіемъ было именно отсутствіе цѣльности въ развитіи литературы, для которой закрыта была возможность свободнаго изслѣдованія въ наукѣ, особливо нравственной философіи и свободнаго творчества въ поэзіи. Гнетущее дѣйствіе несвободы чувствуется на всемъ пространствѣ нашей новѣйшей исторіи, отражаясь ненормальнымъ стѣсненіемъ умственной и нравственной жизни общества и народа...

Этотъ вопросъ еще не выяснился въ то время, когда Теофанъ начиналъ свою дѣятельность. Передъ нимъ стояла пока одна задача—защитить право просвѣщенія отъ глухой, но упорной вражды стараго застоя. Къ счастью, онъ нашелъ тогда опору въ правительственной власти, которая съ другой стороны боро-

лась противъ того же застоя. Для возникавшей литературы первымъ живымъ интересомъ являлась эта самая борьба противъ упорнаго невѣжества и защита науки. Таково было основное содержаніе дѣятельности писателя, съ котораго начинаютъ исторію новой свѣтской литературы — Кантемира... И въ это же время возникаютъ первые признаки упомянутаго раздѣленія, и уже вскорѣ обозначились два теченія нашего образованія и литературы, церковное въ старинномъ школьномъ стилѣ, и научно-свѣтское и литературное въ новомъ стилѣ, которыя чѣмъ дальше, тѣмъ больше удалялись другъ отъ друга. Теофанъ умѣлъ соединить свое церковное образованіе и мировоззрѣніе съ пониманіемъ свободной науки. Между его преемниками въ іерархіи, которые имѣли вліяніе на дѣла, — уже не было людей подобной силы. Укажемъ для примѣра ту систему Коперника, которая нисколько не затрудняла Теофана и была предметомъ негодованія и ужаса для позднѣйшей іерархіи, какъ нѣкогда для Стефана Яворскаго и Аврамова. Но въ западномъ просвѣщеніи, которое начинало все глубже касаться основныхъ вопросовъ религіи, природы, нравственности и исторіи человѣческаго общества, въ то время возникала наука смѣлаго критическаго характера, и отголоски ея доходятъ уже до перваго поколѣнія русскихъ образованныхъ людей, воспитаннаго при реформѣ. Рядомъ съ этимъ начинается вліяніе чисто литературное, вліяніе тѣхъ писателей, которые, исходя изъ эпохи Возрожденія, создали школу, объявляющую, наконецъ, всѣ литературы Западной Европы. Это былъ псевдо-классицизмъ: примыкая къ античнымъ образцамъ, но вмѣстѣ необходимо сливаясь съ движеніями новѣйшаго общества, онъ представлялъ, наконецъ, цѣлое особое мировоззрѣніе съ своими идеалами нравственности и общественной добродѣтели, которые у насъ тѣмъ болѣе не совпадали съ преданіемъ. Оба вліянія стали сказываться, на первый разъ едва замѣтными чертами, въ послѣдніе годы Теофана, а затѣмъ въ небольшомъ литературномъ кругѣ начиналось новое движеніе, которому съ тѣхъ поръ предстояло развиваться все шире и сдѣлаться настоящимъ началомъ новой свѣтской литературы.

Эти новыя вліянія только отчасти коснулись Кантемира (1708 — 1744). Не русскій по происхожденію, онъ случайно приведенъ былъ въ русское общество внѣшними обстоятельствами своей семьи; аристократъ по рожденію, онъ вошелъ въ высшій кругъ русскаго общества, но не могъ имѣть его преданій; воспитаніе его шло въ старинномъ церковномъ духѣ, но въ академической гимназіи, подъ руководствомъ нѣмецкихъ профессоровъ, онъ по-

знакомился и съ современной наукой; въ литературномъ отношеніи его образцами могли быть только классики, а формой—единственное, извѣстное тогда на русскомъ языкѣ силлабическое стихотворство. Въ годы юности онъ еще могъ быть свидѣтелемъ преобразовательной дѣятельности Петра и, связанный судьбою съ русскимъ обществомъ, могъ сдѣлаться только ревностнымъ приверженцемъ реформы. Это впередъ сближало его съ Теофаномъ, съ которымъ онъ вскорѣ вступилъ въ личныя дружескія отношенія. Первая сатира его: „На хулящихъ ученіе“ написана была въ послѣднее время царствованія Петра II, еще до знакомства съ Теофаномъ въ разгарѣ той реакціи, которая грозила нововведеніямъ Петра, стремилась къ возвращенію старины и къ восстановленію самаго патріаршества,—для чего былъ готовъ кандидатъ въ лицѣ Георгія Дашкова. Самъ Кантемиръ рассказываетъ въ примѣчаніяхъ къ сатирѣ, что это былъ первый опытъ стихотворца, написанный въ 1729, что въ этой сатирѣ онъ насмѣхался надъ „невѣжами и презирателями наукъ“, что не намѣревался обнародовать сатиру, но что одинъ изъ его пріятелей сообщилъ ее Теофану, „который ее вездѣ съ похвалами стихотворцу разсѣялъ, и тѣмъ недоволенъ (т.-е. не довольствуясь), возвращая ее, приложилъ похвальные сочинителю стихи... Тому архипастырю слѣдуя, архимандритъ Кроликъ многіе въ похвалу творцу стихи надписалъ ¹⁾... чѣмъ онъ ободренъ, сталъ далѣе прилежать къ сочиненію сатиръ“. Удовольствіе Теофана было понятно. Стихи Кантемира говорили то же самое, что говорилъ самъ Теофанъ въ проповѣдяхъ и „Духовномъ Регламентѣ“; это было литературное развитіе тѣхъ же самыхъ темъ, изображеніе въ лицахъ различныхъ типовъ невѣжества, лицемѣрія и фанатизма. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе стихи въ этой первой сатирѣ, гдѣ писатель передалъ разсужденія невѣжественныхъ людей:

„Расколы и ёреси науки суть дѣти,
 Больше врать, кому далось больше разумѣти,
 Приходить въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ,
 Крестонъ съ чотками въ рукахъ ворчить и вздыхаетъ,
 И просить свята душа съ горькими слезами
 Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами:
 Дѣти наши, что предъ тѣмъ тихи и покорны
 Праотческимъ шли слѣдомъ, къ Божіей проворны
 Службѣ, съ страхомъ слушающа, что сами не знали,
 Теперь къ церкви соблазну Библію честь стали;

¹⁾ Стихи Кролика были на латинскомъ языкѣ.

Толкуютъ, всему хотѣтъ знать поводъ, причину,
 Мало вѣры подай священному чину;
 Потеряли добрый нравъ...
 Уже свѣчекъ не кладутъ, постныхъ дней не знаютъ;
 Мѣрскую въ церковныхъ вѣсть рукахъ лишну чають,
 Шепча, что тѣмъ, что мѣрской жизни ужъ отстали,
 Помѣстья и вѣтчины весьма не пристали.
 Силванъ другую вину наукамъ находить:
 Ученіе, говорить, намъ голодъ наводитъ;
 Живали мы прежъ сего, не зная латынѣ,
 Гораздо обильнѣе, чѣмъ мы живемъ нынѣ,
 Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали,
 Переменявъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли“.

Любопытно, что уже въ этой первой сатирѣ Кантемиръ изображалъ надменнаго іерарха, намекая на Георгія Дашкова:

„Епископомъ хочешь быть? уберися въ рясу,
 Сверхъ той тѣло съ гордостью риза полосата
 Пусть прикроетъ, повѣсь цѣпь на шею отъ злата,
 Клобукомъ покрой главу, брюхо бороною,
 Ключу пышно повели везти предъ тобою,
 Въ каретѣ раздувшись, когда сердце съ гнѣву
 Трещить, всѣхъ благословлять нудь праву и лѣву;
 Долженъ архипастыремъ всякъ ты въ сихъ познати
 Знакахъ, благоговѣнно отцомъ называти.
 Что въ наукѣ? что съ нее пользы церкви будетъ?“

Въ первоначальной редакціи этой сатиры самъ Кантемиръ сдѣлалъ примѣчаніе: „Характеръ епископа хотя съ неизвѣстнаго лица авторомъ описанъ, однако, много сходства имѣетъ съ Д..., который въ наружныхъ церемоніяхъ поставлялъ всю преосвященства должность; а существенную, которая есть душеспасительными поученіями и добродѣтелями наставлялъ паство свое, презиралъ“. Такъ и здѣсь его насмѣшка совпадала съ антипатіями Теофана, которому Дашковъ былъ злѣйшій врагъ и лично, и по направленію. Въ томъ же духѣ Кантемиръ скорбитъ о пренебреженіи науки: золотой вѣкъ не дотянулъ до нашего рода, къ намъ не дошло то время, когда надъ всѣмъ господствовала мудрость, и одна была способомъ къ возвышенію; мудрость одолѣли гордость, лѣность, богатство; невѣжество гордится подъ митрой, ходитъ въ шитомъ платьѣ, судить за краснымъ сукномъ, смѣло водить полки, а наука—

„Наука ободрана, въ доскутахъ обшита,
 Изъ всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита,
 Знаться съ нею не хотѣтъ, бѣгутъ ея дружбы“.

Въ другихъ сатирахъ есть опять параллели съ мыслями Теофана. Кантемиръ также стоитъ за необходимость просвѣщенія, такъ же рѣзко говоритъ о невѣжествѣ духовенства, отправляющаго свое служеніе какъ ремесло, безъ всякой мысли о нравственномъ содержаніи церковнаго ученія, такъ же изображаетъ фанатизмъ раскола, основанный прежде всего на невѣжествѣ, и т. д. Теофанъ можетъ быть названъ вдохновителемъ Кантемира, гдѣ послѣдній касался вопросовъ просвѣщенія и нравственно-религіозной жизни русскаго общества. Многое, что можетъ казаться рѣзкимъ у Кантемира, имѣло гораздо раньше свои примѣры въ писаніяхъ Теофана; нѣкоторые эпизоды „Духовнаго Регламента“ были готовымъ матеріаломъ для сатиры. Таково наставленіе „Регламента“ о томъ, какъ епископъ долженъ дѣлать осмотръ своей епархіи: онъ долженъ „крѣпко заповѣдать служителямъ своимъ, чтобъ въ посѣщаемыхъ городахъ и монастыряхъ благочинно и трезво пребывали, и не творили бѣ соблазна; наипаче же не домогались бы у монаховъ и у поповъ кушанья и питья и конскаго корму лишняго; колыми паче не дерзали бы грабить... Ибо слуги архіерейскіе обычнѣ бывають лакомыя скотины, и гдѣ видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гордостью и безстудіемъ, какъ татаре, на похищеніе устремляются“. Въ правилахъ о „домахъ училищныхъ“ Теофанъ объяснялъ: „когда нѣтъ свѣта ученія, нельзя быть доброму церкви поведенію и нельзя не быть нестроенію и многимъ смѣха достойнымъ суевѣріямъ, еще же и раздорамъ и пребезумнымъ ересамъ“. „Дурно многіе говорятъ, что ученіе виновное есть ересей: ибо кромѣ древнихъ, отъ гордаго глупства, а не отъ ученія, бѣсновавшихся еретиковъ... которыхъ дурости описуютъ Иринеи, Епифаній, Августинъ, Θεодоритъ и иные,—наши же русскіе расколники не отъ грубости ли и невѣжества толь жестоко возбѣсновались?.. И если посмотримъ чрезъ Исторію, аки чрезъ зрительныя трубки, на мимошедшіе вѣки, увидимъ все худшее въ темныхъ, нежели въ свѣтлыхъ, ученіемъ временахъ. Не спѣсивились такъ епископы до четыресотнаго лѣта, какъ послѣ возгордились, наипаче константинопольскій и римскій, ибо тогда было ученіе, а послѣ оскудѣло. И аще бы ученіе церкви или государству было вредное, то не учились бы сами лучшія христіанстіи особы, а запрещали бы инымъ учиться; а то видимъ, что и учились вси древніи наши учителя не токмо Священнаго Писанія, но и ви́шней философіи. И кромѣ многихъ иныхъ славнѣйшіе столпы церковныя поборствуютъ и о ви́шнемъ ученіи, а именно: Василій Великій въ словѣ своемъ до

учащимся младенцамъ, Златоустый въ книгахъ о монашествѣ, Григорій Богословъ въ словахъ своихъ на Іуліана Апостата“. Эти элементарныя наставленія необходимы были, когда еще живы были въ массѣ старинныя предостереженія о вредѣ чрезмѣрнаго читанія книгъ: отъ этого можно было „зайтися въ книгахъ и изступитъ ума“; многіе, вѣроятно, дѣйствительно изступали ума, когда читали невразумительно переведенныя сочиненія византійскихъ писателей и, не будучи совсѣмъ приготовлены школой, запутывались въ утонченной догматикѣ, или въ суетвѣрии ложныхъ книгъ, или въ обрядовой мелочности... Въ „Правдѣ воли монаршей“ Теофанъ заключалъ свои доказательства въ защиту новаго предпріятія общимъ разсужденіемъ о томъ, что могутъ сказать его протівники: „Не оный ли безумный, упрямымъ и безотвѣтнымъ обычнымъ отвѣтъ: дѣло новое? О, студнаго и окаяннаго суетсловія! Аще бы и новое се дѣло, что же самая новостъ вредить?.. Зло—и старое зло есть; добро—и новое добро есть. Развѣ бы еще сказалъ кто, что дѣло сіе у насъ не бывало. Хотя бы и не бывало—что противно?.. Что же, хотя бы у насъ и не бывало, если доброе и полезное есть, яко же есть—бѣдны мы были, если не было у насъ, а благополучно, что у насъ настало. Первѣе явилося огненное оружіе у прочихъ народовъ нежели у насъ; но еслибы и къ намъ оное доселѣ не пришло—что бы было и гдѣ бы уже была Россія? Тожде разумѣй и о книжной типографіи, о архитектурѣ, о прочихъ честныхъ ученіяхъ. Разумный есть и человекъ, и народъ, который не стыдится перенимать доброе отъ другихъ и чуждыхъ; безумный же и смѣха достойный, которые своего и худаго отстать, чуждаго же и добраго принять не хочетъ“.

Для русскаго читателя сатира, какъ опредѣленная литературная форма, была дѣломъ совершенно новымъ; новы были и приемы изложенія. Свои образцы Кантемиръ нашелъ у классическихъ писателей, а также у Буало, который впервые является здѣсь въ русской книгѣ, какъ образчикъ будущаго псевдоклассицизма. Литературныя приемы, образныя выраженія, намеки могли быть непонятны читателю, и Кантемиръ по новости дѣла сопровождалъ свои сатиры многочисленными примѣчаніями: „приложенныя подъ всякимъ стихомъ примѣчанія нужны для тѣхъ, кои въ стихотворствѣ никакого знанія не имѣютъ, и кромѣ того къ совершенному понятію моего намѣренія служатъ“. Онъ приготовилъ сатиры къ изданію уже только въ 1743 году, но изданіе не состоялось: самъ писатель вскорѣ умеръ и время было повидимому неблагоприятно для появленія книги. Царствованіе Елиза-

веты являлось какъ бы возстановленіемъ русскихъ началъ послѣ нѣмецкаго господства при Аннѣ Ивановнѣ: проповѣдники свободно громили теперь нѣмецкіе порядки и людей того времени, но обсужденію поддавали между прочимъ и тѣ церковныя идеи, которыя шли отъ „Духовнаго Регламента“ и Теофана. Книга Кантемира вышла за границей во французскомъ и нѣмецкомъ переводахъ, прежде чѣмъ могла явиться въ русскомъ изданіи 1762 года.

Другимъ характернымъ трудомъ Кантемира былъ переводъ знаменитыхъ „Разговоровъ о множествѣ міровъ“ Фонтенеля, посвященный имъ Академіи наукъ „въ знакъ своего благодарства за полученное отъ ея мудрыхъ членовъ воспитаніе и наставленіе“. Это былъ трудъ въ духѣ Петровскихъ изданій и въ духѣ академическаго обученія, новая попытка ввести русскаго читателя въ область невѣдомой раньше науки. Указавши въ предисловіи достоинства книги Фонтенеля, „отъ разныхъ народовъ съ наслажденіемъ и жадностью читанной“, Кантемиръ думалъ и „нашему народу нѣкую услугу оказать переводомъ ея на русскій языкъ“. Онъ надѣялся, что ему извинять возможные недостатки перевода: „трудъ мой былъ не безваженъ, какъ всякому можно признать, разсуждая, сколь введеніе новаго дѣла не легко. Мы до сихъ поръ недостаточны въ книгахъ филозофскихъ, потому и въ рѣчахъ, которыя требуются къ изъясненію тѣхъ наукъ“. Къ переводу Кантемиръ также приложилъ примѣчанія, „для изъясненія такъ чужестранныхъ словъ, которыя и не хотя принужденъ былъ употребить, своихъ равносильныхъ не имѣя, какъ и для русскихъ, употребленныхъ въ иномъ разумѣніи, нежели обыкновенно чинится. Въ нихъ же вмѣстилъ нужное историческое извѣстіе особъ, понимаемыхъ въ сихъ разговорахъ, чтобъ читатель имѣлъ всѣ нужные способы для совершеннаго разумѣнія сея книги“. Примѣчаній, однако, понадобилось очень много. Онъ объясняетъ не только историческія имена, упомянутыя у Фонтенеля, — кто былъ Цицеронъ, Виргилій, Птоломей, Аристотель, Платонъ, Коперникъ, Декартъ, Мольеръ; но и названія наукъ, — что такое философія, логика, „физика или естественница“, „метафизика или преестественница“; что такое „идея“, „матерія“, „натура“, „наблюденіе“, „имагинація“; что такое „опера“, „театръ“, „партеръ“, „интрига“ и т. д. Какъ видимъ, Кантемиръ хотѣлъ передать на русскомъ языкѣ одну изъ замѣчательнѣйшихъ и вмѣстѣ доступныхъ ученыхъ книгъ того времени и, зная уровень читателей, еще при-

бавилъ къ ней объясненія, какихъ нельзя было пока найти въ другой русской книгѣ.

Выше упомянуто, какъ перепугался этой книги благочестивый Аврамовъ.

Тѣсно связанъ съ Теофаномъ и другой замѣчательный дѣятель тогдашней литературы, которая впрочемъ для него, какъ для Кантемира, все еще оставалась письменностью. Это былъ известный Василій Никитичъ Татищевъ (1686—1750). Онъ происходилъ изъ стараго боярскаго рода; изъ Татищевыхъ была мать царицы Прасковьи, и самъ Татищевъ въ дѣтствѣ былъ, кажется, зачисленъ въ придворную службу (одинъ изъ иностранцевъ, знавшій Татищева, писалъ, что онъ былъ въ дѣтствѣ пажомъ Петра Великаго). По старому обычаю, онъ рано поступилъ на службу (1704), а до этого или послѣ учился въ Москвѣ въ артиллерійской и инженерной школѣ, находившейся въ завѣдываніи знаменитаго Брюса, съ которымъ ему и послѣ приходилось вмѣстѣ работать. Это былъ умъ по преимуществу практическій, но разносторонній и широкій, одинъ изъ лучшихъ представителей круга „птенцовъ Петровыхъ“. Служба ставила его въ разнообразныя положенія и дала ему богатый опытъ. Прежде всего онъ не миновалъ военнаго дѣла, участвовалъ во взятіи Нарвы, въ полтавской баталіи, въ прутской кампаніи; въ 1713 и 1714 году видимъ его за границей въ Германіи, куда, какъ полагаютъ, онъ отправлялся для усовершенствованія себя въ наукахъ. Возвращаясь изъ-за границы черезъ Польшу, онъ въ Малороссіи успѣлъ спасти отъ казни женщину, обвиненную въ чародѣйствѣ: несчастная, несмотря на убѣжденія Татищева, не хотѣла отречься отъ мнимаго чародѣйства и созналась потомъ, что предпочитала умереть, чѣмъ быть пытанной въ случаѣ отреченія; ее сослали въ монастырь. Татищевъ приписываетъ подобную вѣру въ чародѣйство людямъ, отъ „неученія суевѣрствомъ обладающимъ“. Въ 1717, онъ былъ опять за границей въ Гданскѣ (Данцигѣ), гдѣ долженъ былъ по порученію Петра хлопотать о включеніи въ контрибуцію образа, будто бы писаннаго св. Меѳодіемъ, славянскимъ первоучителемъ; гданскій магистратъ не выдалъ образа; но Татищевъ доказалъ Петру ошибочность этого преданія. По возвращеніи Татищевъ состоялъ въ бергъ- и мануфактуръ-коллегіи, президентомъ которой былъ Брюсъ, и здѣсь повидимому возникла первая мысль тѣхъ трудовъ, которые составили потомъ литературную заслугу и славу Татищева. А именно, Брюсъ представилъ Петру о необходимости

подробной географіи Россіи и впоследствии, обремененный другими дѣлами, передалъ работу Татищеву, и когда послѣдній приступилъ къ этому сложному труду, онъ увидѣлъ необходимость въ историческихъ свѣдѣніяхъ и началъ собирать матеріалы для русской исторіи. Татищевъ уже раньше имѣлъ бібліотеку по естественнымъ наукамъ, по исторіи и географіи; теперь сталъ разыскивать лѣтописи и другіе памятники старой письменности, и нѣкоторыя данныя изъ нихъ до сихъ поръ остаются извѣстны только по его указаніямъ, какъ, напр., Іоанновская лѣтопись и другія лѣтописныя извѣстія. Петру видимо извѣстны были эти работы и бібліотека Татищева, и, напримѣръ, отправляясь въ персидскій походъ, онъ беретъ у Татищева какую-то муромскую лѣтопись. Въ 1720, Татищевъ посланъ былъ въ сибирскую губернію строить заводы и добывать серебро и мѣдь: съ этихъ поръ идетъ его трудная служба по управленію заводами, по усмиренію башкирскаго возстанія, по устройству оренбургскаго края, по устройству калмыцкихъ дѣлъ, когда онъ былъ губернаторомъ въ Астрахани, и т. д.; служба на окраинахъ прерывалась вызовами въ Москву и Петербургъ. Съ конца 1724 до апрѣля 1726, Татищевъ жилъ въ Швеціи, гдѣ долженъ былъ изучать горное и монетное дѣло, пригласить знающихъ людей на русскую службу, а также имѣлъ секретное политическое порученіе. Пребываніемъ въ Швеціи онъ воспользовался и для своихъ историческихъ трудовъ: познакомился съ шведскими учеными и выбиралъ изъ скандинавскихъ историковъ свѣдѣнія, относящіяся къ русскимъ древностямъ. Съ 1727 года Татищевъ былъ членомъ монетной конторы и на этой службѣ его застали событія 1730 года, когда онъ вмѣстѣ съ Кантемиромъ составлялъ записку о формѣ правленія, направленную противъ стремленія верховниковъ ограничить самодержавіе. Повидимому, гораздо раньше началось его знакомство съ Теофаномъ: они были людьми одной партіи въ 1730 году, и въ Теофанѣ Татищевъ чрезвычайно высоко цѣнилъ великій умъ и ученость; ихъ соединяла преданность преобразовательнымъ идеямъ Петра, одинаково враждебное отношеніе къ старому невѣжеству и застою, къ религіозному суевѣрію; сходны были политическія убѣжденія въ необходимости самодержавія, которое одно могло обезпечить для Россіи успѣхи просвѣщенія; ихъ сближали, наконецъ, историческіе интересы, гдѣ ихъ мнѣнія нерѣдко совпадали. Въ своей „Исторіи“ Татищевъ не однажды съ великимъ уваженіемъ говоритъ о Теофанѣ: „нашъ архіепископъ Прокоповичъ, — говоритъ онъ, — какъ былъ въ наукѣ философіи новой и богословіи только

ученъ, что въ Руси прежде равнаго ему не было. По природѣ острымъ сужденіемъ и удивительно твердою памятью былъ одаренъ. О Теофанѣ вспоминаетъ онъ въ своей „Духовной“, со- вѣтуя своему сыну на ряду съ твореніями знаменитыхъ учителей церкви читать сочиненія Теофана. Результатомъ бесѣды съ Теофаномъ былъ также замѣчательный „Разговоръ о пользѣ наукъ“, о происхожденіи котораго онъ упоминаетъ въ той же „Духовной“: „наконецъ, какъ я тебѣ уже ничего завѣщать не имѣю,—пишетъ онъ сыну,—но токмо для твоего о тебѣ самомъ и что тебѣ нужно къ разумѣнію, слѣдующимъ „Разговоромъ“ награждаю, который я прошлаго 733 г., будучи здѣсь, по случаю разговора съ князь Сергіемъ Долгоруковымъ началъ; потомъ чрезъ разговоры жъ съ архіепископомъ новгородскимъ Теофаномъ Прокоповичемъ и съ князь Алексѣемъ Михайловичемъ Черваскимъ, яко же съ нѣкоторыми профессорами Академіи разсуждая, продолжилъ и тебѣ для памяти оставилъ, изъ котораго желаю тебѣ пользу приобрѣсти“.

Должно сказать однако, что Татищевъ въ этомъ сходствѣ понятій вовсе не былъ ученикомъ или продолжателемъ Теофана, какимъ можетъ представляться Кантемиръ; ко времени знакомства съ Теофаномъ Татищевъ выработалъ уже въ значительной мѣрѣ свой образъ мыслей, который при всемъ его почтеніи къ Теофану оставался независимымъ. По немногимъ даннымъ его ранней біографіи мы знаемъ объ его широкой любознательности, объ его интересѣ къ русской исторіи, о его наклонности къ извѣстной скептической критикѣ: онъ думаетъ, что въ чародѣйство вѣрять только люди, „суевѣрствомъ обладающие“; онъ оспариваетъ преданіе объ иконѣ, будто бы писанной св. Меодіемъ. Безъ сомнѣнія, самостоятельно онъ пришелъ и къ той враждѣ противъ религіознаго легковѣрія, какая отличала Теофана: изъ собственнаго чтенія и размышленія Татищевъ извлекъ свое отрицательное отношеніе къ притязаніямъ духовенства, которыя всего ярче представлялись ему въ исторіи папства—какъ это было у Теофана. У Татищева не было конечно церковной учености Прокоповича, но къ нему также дошли отголоски протестантскихъ понятій—опять не въ смыслѣ вѣроученія, а только въ смыслѣ вліянія тогдашней науки, которая въ этихъ вопросахъ естественно становилась противокатолическою. Есть указанія, что скептицизмъ Татищева шелъ даже такъ далеко, что самъ Петръ училъ его быть осторожнѣе; Теофанъ счелъ нужнымъ серьезно его обличить и опровергнуть. Въ числѣ сочиненій Теофана есть одно: „о книгѣ Соломоновой, нарицаемой

Пѣсни пѣсней“, которое, какъ говорятъ, направлено было именно противъ „злорѣчія“ Татищева ¹⁾.)
 Если литературная дѣятельность Кавтемира и самого Теофана раскрылась вполнѣ только послѣ ихъ смерти, то Татищевъ при жизни и совсѣмъ не былъ извѣстенъ какъ писатель, и историческое значеніе его было оцѣнено только довольно поздно. Мы упоминали о томъ, какъ поздно была издана его „Исторія“; его „Духовная“ была напечатана въ 1773, „Словарь россійскій, историческій“ и пр. въ 1793; „Разговоръ о пользѣ наукъ“ уже только въ новѣйшее время, въ 1887. Еще въ 1739 Татищевъ привозилъ въ Петербургъ свою „Исторію“, но трудъ его не нашелъ сочувствія и было заподозрѣно самое православіе автора; Татищевъ обратился къ архіепископу новгородскому Амвросію и по его указаніямъ сдѣлалъ перемѣны въ своей книгѣ, касавшіяся различныхъ церковныхъ событій. Сочиненіе вышло только при Екатеринѣ, когда въ русской исторіографіи работали Шлѣцеръ и были уже нѣсколько понятнѣе требованія исторической критики; вслѣдъ за Шлѣцеромъ Карамзинъ говорилъ о „выдумкахъ“ Татищева; только позднѣе извѣстія Татищева и его соображенія стали находить болѣе справедливую оцѣнку въ трудахъ Погодина, Буткова, Соловьева, Лавровскаго, пр. Макарія, Милюкова. Не удивительно, что относился къ Татищеву сурово Шлѣцеръ, прилагавшій и къ новымъ, и къ старымъ писателямъ

¹⁾ Въ предисловіи къ этой книгѣ Теофанъ рассказываетъ:

„Въ недавно прошедшее время въ прилучившейся намъ нѣгдѣ бесѣдѣ дружеской, когда были разсужденія о Христовой церкви, между многими священнаго писанія словеса къ дѣлу тому приведенными, произнеслось нѣчто и отъ книги Соломоновой, глаголемой Пѣсни пѣсней. Нѣкто отъ слышавшихъ (г. Василій Никитичъ Татищевъ, тайный совѣтникъ и астраханскій губернаторъ), по вышнему виду, казалось, человекъ не грубый, новорота лице свое въ сторону, ругательнѣй усмѣхнулся, а когда и далѣе еще, поникнувъ очи въ землю съ молчаніемъ и перстами въ столъ долбя, претворный видъ на себѣ показывалъ; спросили мы его съ почтеніемъ: что ему на мысль пришло? И тотчасъ отъ него нечаянный отвѣтъ получили: „давно—рече—удивлялся я, чѣмъ понужденные не токмо простые невѣжи, но и сильно ученые мужи, возмечтали, что Пѣсни пѣсней есть книга священнаго писанія и слова Божія? А по всему видно, что Соломонъ, разжигался похотію къ невѣстѣ своей, царевнѣ египетской, сіи писалъ, какъ то у прочихъ, любовію зжигныхъ, обычай есть; понеже любовь есть страсть многорѣчивая и молчанія нетерпящая: чего ради всякомъ народѣ ни о чемъ иномъ такъ многія пѣсни не слышатся, какъ о „плотскихъ любезностяхъ“. Сими отвѣтомъ такъ пораженное содрогнулось въ насъ сердце, что не могли мы придумать, что сказать. А понеже онъ и еще повторялъ тожде свое злорѣчье, мы ему съ кротостію предложили, что надѣемся такъ доказательнѣй честь и силу книги сего, яку сущаго слова Божія, объяснить, что онъ, если совѣсти своей не воспротивится, о вышнемъ смѣхѣ своемъ вослачется. Онъ, то слышавъ, съ прилежаніемъ просилъ насъ, дабы мы общаемаго дѣла исполнить не забыли. Знать то ни мало не надѣялся, чтобы мы нѣчто важное и сильное о семъ произнести могли. Того ради мы общаніемъ онымъ одолжены, тщимся то уже совершить“.

Книжка Теофана была издана также въ царствованіе Екатерины II (М. 1774) и имя Татищева вѣроятно прибавлено впоследствии: въ 1736, когда умеръ Теофанъ, Татищевъ еще не былъ астраханскимъ губернаторомъ.

одну строгую, педантическую мѣрку критики; удивительнѣе, что такъ судилъ Карамзинъ; только новѣйшіе писатели нашли въ книгѣ Татищева трудъ, добросовѣстно исполненный и тѣмъ болѣе замѣчательный по условіямъ времени. Въ самомъ дѣлѣ, надо перенестись въ тридцатые и сороковые годы XVIII вѣка, представить себѣ, что въ вопросахъ исторіи и связанныхъ съ нею областей знанія Татищевъ былъ въ полной мѣрѣ самоучкой, что его пытливая мысль впервые стремилась пролить свѣтъ на прошедшую исторію, о которой до тѣхъ поръ говорила только первобытная, вмѣстѣ наивная и неполная, лѣтопись или „Синописисъ“; надо представить себѣ, что онъ почти не имѣлъ передъ собою никакихъ предварительныхъ работъ, хотя бы только по собранію матеріала, что ему надо было разобраться въ сложной массѣ фактовъ и связать ихъ раціональнымъ опредѣленіемъ,—и этотъ трудъ внушить невольное уваженіе, какъ бы ни казались странными нѣкоторыя мысли, почерпнутыя этимъ писателемъ изъ европейской литературы XVIII вѣка. Для своего времени Татищевъ сдѣлалъ нѣчто подобное тому, что для начала XIX вѣка сдѣлалъ Карамзинъ. Въ своемъ обществѣ онъ былъ рѣдкимъ исключеніемъ и по обширности познаній, и по духу критическаго изслѣдованія. Въ книгѣ его впервые (если исключить отдѣльныя замѣчанія Оеофана по русской исторіи) является опытъ опредѣлить основныя условія исторической жизни русскаго народа и государства, указать значеніе различныхъ факторовъ, въ ней дѣйствовавшихъ. Старина не задавала себѣ такихъ вопросовъ: въ древности она полусознательно подчинялась инстинктамъ племенного чувства, традиціоннымъ формамъ быта, потомъ слѣпо вѣровала въ тотъ складъ національной жизни, который образовался во времена московскаго царства, и искала въ этомъ царствѣ „третьяго Рима“; реформа всколебала это вѣрованіе, указывая государству и народу иные пути; наиболѣе просвѣщенные умы, понимавшіе смыслъ и результаты реформы, должны были задать себѣ вопросъ объ ея отношеніяхъ къ этой старинѣ, въ которой пребывало еще громадное большинство націи и съ которой надо было считаться приверженцамъ новыхъ идей и новаго порядка... Таково было положеніе Оеофана, Кантемира, и Татищева.

Въ его трудѣ задача исторіи впервые поставлена сообразно съ требованіями науки,—насколько авторъ сумѣлъ опредѣлить ихъ изъ своего изученія. Исторію онъ дѣлитъ на священную или церковную (по его терминологіи: „сакра“ или „божественная“), гражданскую, и исторію наукъ и ученыхъ. Польза исторіи—въ сообщаемыхъ ею добрыхъ и худыхъ примѣрахъ; она по-

лезна для богослова, юриста, философа, политика. Для исторіи нужно пользоваться и писателями иностранными, между прочимъ потому, что свои современники часто многое умалчиваютъ или искажаютъ отъ страха или пристрастія. По изложенію, исторія бываетъ генеральная (общая), универсальная (пространная), партикулярная (частная) и специальная (особенная); по порядку изложенія одни пишутъ исторію областей, другіе — государей, третьи — по годамъ. Для историка Татищевъ полагаетъ необходимыми начитанность, критическій смыслъ, знаніе логики и реторики, а главное — справедливость сказаній и отверженіе басенъ. Свой историческій трудъ онъ располагалъ на нѣсколько книгъ, по періодамъ: до начала русскаго государства (о племенахъ русской земли до-славянскихъ и славянскихъ); до 1238 г., т.-е. до татарскаго ига; до 1462 г., до 1613. Новой исторіи онъ писать не хотѣлъ, такъ какъ она болѣе извѣстна, а „наипаче, что въ настоящей исторіи явятся многихъ знатныхъ родовъ великіе пороки, которые есть ли писать, то ихъ самихъ или ихъ наслѣдниковъ подвигнуть на злобу, а обойти оныя — погубить истину и ясность исторіи“.

Сочиненіе Татищева представляетъ собою лѣтописный сводъ матеріала и многочисленныя примѣчанія, въ которыхъ заключаются его объясненія и критика извѣстій. Примѣчанія очень любопытны для характеристики этого перваго опыта русской исторіографіи, во-первыхъ, указаніями на обширную иностранную литературу, которою авторъ пользовался и по которой учился, и во-вторыхъ, массою историческихъ и практическихъ свѣдѣній, имъ самимъ собранныхъ и свидѣтельствующихъ о разностороннихъ изученіяхъ Россіи. Въ первомъ отношеніи замѣчательна обширная начитанность въ иностранныхъ сочиненіяхъ по исторіи, географіи, — самъ онъ, по словамъ его, пользовался только польскими и нѣмецкими книгами, и кромѣ того перечиталъ, конечно, все, что было тогда въ русскихъ переводахъ печатныхъ (Петровскаго времени) и рукописныхъ ¹⁾. Въ своихъ мнѣніяхъ философскихъ онъ былъ послѣдователемъ Декарта и Томасіуса и много пользовался тогдашней философскою энциклопедіей Вальха; въ предметахъ политическихъ онъ въ особенности опирается на Христіана Вольфа, Пуфендорфа и Гуго Гроція; онъ знаетъ также Макиавеля, Локка („Правленіе гражданское“) и пр.; послѣднихъ не одобряетъ, но повидимому и ихъ со вниманіемъ читалъ ²⁾.

¹⁾ Литература, цитированная Татищевымъ, и его изученія русской жизни указаны въ „Исторіи р. этнографіи“, т. I, стр. 187—189.

²⁾ „Что касается до начала сообществъ, порядковъ, правительствъ и должностей

Историческія понятія, извлеченныя имъ изъ этого чтенія, онъ провѣрялъ на фактахъ русской жизни и ея прошедшаго, — и отсюда выяснялось для него значеніе событій. Это и отдѣлило окончательно новую историографію отъ стараго лѣтописанія: Татищевъ собираетъ лѣтописные факты, какъ необходимый матеріалъ, но его собственная работа заключается именно въ стремленіи дать имъ критическое освѣщеніе. Такимъ образомъ впервые приобрѣталось сознательное пониманіе прошедшаго и, въ связи съ нимъ, пониманіе настоящаго. Отсюда онъ является сознательнымъ приверженцемъ Петровской реформы и новаго просвѣщенія. Пониманіе исторіи давало возможность Татищеву вѣрно оцѣнять и совершавшіяся событія: онъ сознательно былъ врагомъ верховниковъ при воцареніи Анны Ивановны, потому что зналъ историческія основы русскаго самодержавія. Изъ своего чтенія Татищевъ вынесъ и другія понятія, подтвержденіе которыхъ находилъ въ фактахъ нашей исторіи: приверженецъ преобразованія, онъ былъ противникомъ политическаго вліянія духовенства, можетъ быть, даже болѣе крайнимъ, чѣмъ составитель „Духовнаго Регламента“. Въ его историческихъ разсужденіяхъ постоянно проходитъ мысль о противоположности и борьбѣ между просвѣтительными стремленіями правительства и обскурантизмомъ духовенства. По его словамъ, въ старой русской жизни „видно, ни единого не токмо философскихъ наукъ, но и грамматики ученаго не было, и для того, какая надежда отъ такихъ пастырей просвѣщенія народу уповать было должно, хотя между ними мужи благоразумные и житія похвальнаго были“. Многое въ старой исторіи онъ объясняетъ именно властолюбивыми стремленіями духовенства; во многихъ изъ старыхъ законовъ онъ видитъ только „продерзкое“ желаніе духовныхъ увеличить свою власть. Въ древности, въ Россію были введены науки, но послѣ нашествія татаръ власть государей умалилась, а духовенства возросла, и тогда послѣднему, для приобрѣтенія большихъ доходовъ и власти, „полезнѣе явилось народу въ темнотѣ невѣдѣнія и суевѣрія содержать“, поэтому училища были оставлены; нѣкоторые государи думали о необходимости школъ, но

правителей и подданныхъ, — говоритъ Татищевъ въ 1-й книгѣ „Исторіи Россійской“, — оное собственно принадлежитъ до философіи, въ частяхъ морали или правоученія, закона естественнаго и политикѣ, которое отъ разныхъ философовъ достаточно на разныхъ языкахъ описано, и по моему Христіанъ Вольтъ лучше прочіихъ, то-есть нѣмцаго предаль, но оныхъ на нашъ языкъ не передаю и кромѣ Пугендорфовой политикѣ и морали въ книжцѣ о челоувѣкѣ и гражданинѣ въ печати не имѣемъ, противу тому письменныхъ, но не потребныхъ, съ излишкомъ, яко Макиавелова о князѣ, Гобезіева Левіатанъ, Локка правленіе гражданское, Боккалиннова и тому подобныя, болѣе вредительныя, нежели полезныя, находятся“.

мало достигли, и возобновилъ ихъ только Петръ Великій, „яко государь премудрый“, — „но по кончинѣ его величества злостными или отечеству невѣрными, или невѣжествомъ тѣхъ, на кого то положено было, такъ все упущено, что едва слѣды того остались“. Въ исторіи, какъ и въ современной жизни, онъ былъ врагомъ всякихъ суевѣрій, басней, ложныхъ чудесъ и т. д. Онъ съ почтеніемъ говоритъ о Теофанѣ; авторитетъ послѣдняго могъ иногда быть для него опорой и подтвержденіемъ; но вообще Татищевъ былъ самостоятеленъ, и основы его образа мыслей положены были раньше сближенія съ Теофаномъ и укрѣплялись чтеніемъ иностранной литературы, особливо нѣмецкихъ писателей и Бэйля, — Теофанъ по-нѣмецки не зналъ.

Татищевъ разошелся съ лѣтописной исторіографіей и въ томъ отношеніи, что, чрезвычайно расширилъ область предметовъ, которые, по его мнѣнію, должны были подлежать разсмотрѣнію исторіи. Онъ первый нашелъ необходимымъ изучать для этихъ цѣлей народную жизнь съ ея бытовыми особенностями, нравами, обычаями и преданіями¹⁾.

Кромѣ „Исторіи“, другимъ замѣчательнымъ трудомъ Татищева былъ лишь недавно открытый и изданный „Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ“. Татищевъ завѣщалъ этотъ „Разговоръ“ своему сыну, упоминая, что „Разговоръ“ возникъ изъ его бесѣдъ съ архіепископомъ новгородскимъ и другими знакомцами и съ профессорами Академіи. „Разговоръ“, въ 120 вопросахъ и отвѣтахъ, представляетъ цѣлую нравственную и историческую философію, послѣдній выводъ которой есть „польза наукъ и училищъ“. Онъ начинается издалека. Для всякаго истинно разумнаго человѣка необходимо познаніе самого себя, а именно духовныхъ и физическихъ свойствъ человѣка; отсюда авторъ долженъ былъ остановиться на вопросѣ о томъ, „изъ чего человѣкъ состоитъ“, слѣдовательно, о силахъ души, о свойствахъ ума и воли, и такъ какъ эти свойства требуютъ совершенствованія для своего правильнаго дѣйствія, то отсюда является необходимость обученія. Оно должно сопровождать человѣка во всѣхъ возрастахъ, и авторъ считаетъ нужнымъ опредѣлить свойства младенчества, юношества, мужества и старости. И какъ человѣкъ совершенствуется свои знанія по возрастамъ, такъ совершенствовало свои знанія и все человѣчество, и въ этомъ отношеніи Татищевъ также принимаетъ четыре возраста: младенче-

¹⁾ Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, съ какими стараніемъ онъ собиралъ историческіе матеріалы, какъ его наблюденія распространялись на самые разнообразныя предметы старинныя и народнаго бита. „Ист. р. Этнографія“, тамъ же.

скій или времена древнія, предшествовавшія изобрѣтенію письменъ, второй возрастъ—отъ обрѣтенія письма до пришествія Христова, третій—отъ пришествия Христа до изобрѣтенія тисненія книгъ, четвертый—до послѣднихъ лѣтъ. XX

При этомъ онъ долженъ былъ коснуться вопроса о вліяніи христіанства и встрѣтиться съ очень распространеннымъ тогда (у насъ и теперь) мнѣніемъ о вредѣ наукъ для вѣры. „Я еще хочу васъ спросить, — говорятъ предполагаемый собесѣдникъ автора, — что я отъ многихъ духовныхъ и богобоязненныхъ людей слыхалъ, еже науки человѣку вредительны и пагубны суть; они сказываютъ, что многіе, отъ науки заблудя, Бога отстали, многія ереси произнесли и своимъ злымъ сладкорѣчіемъ и толками множество людей погубили; къ тому жъ показываютъ они отъ письма святаго, что премудрость и философія за зло почитаема, а особливо представляютъ слова Христовы, что скрылъ Богъ таинство вѣры отъ премудрыхъ и разумныхъ, а открылъ то младенцомъ, т.-е. неученымъ“, и пр. Въ длинномъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ Татищевъ доказываетъ необходимость науки для правильного пониманія самой вѣры, и напротивъ, указываетъ искаженіе вѣры тѣми людьми, которые хотѣли запрещать науки; это—тѣ же аргументы Теофана, но изложенные независимо отъ него, тѣ же примѣры изъ исторіи папства и указанія на папешскій духъ, проникавшій и къ намъ въ стремленіяхъ патріарховъ „искать власти надъ государями“. Ссылаясь на св. писаніе, Татищевъ говоритъ, что сами апостолы называютъ „премудрость сокровищемъ таинствъ божественныхъ“, что хотя премудрость мы получаемъ отъ Бога, но не даромъ, а по прилежанію и исканію, и если бы кто вѣрилъ, что можно всякому получать вѣру и премудрость, то „вѣрилъ бы безразсудно“: „святіи же отцы, которыхъ мы наибольшими учителями по апостолѣхъ почитаемъ и отъ нихъ неопѣненную пользу спасенія приобрѣли, всѣ другихъ языковъ и многіе философіи научены были, а особливо святой апостолъ Павелъ видимо, что языческую философію училъ или по малой мѣрѣ книги читалъ“. Онъ говоритъ далѣе: истинная философія въ вѣрѣ не только полезна, но и нужна, „а запрещающіе оную учить суть или самые невѣжды... или зловарные нѣкоторые церковнослужители и для утвержденія ихъ богопротивной власти и приобретенія богатствъ вымыслили, чтобы народъ былъ неученый... но слѣпо бы и раболѣпно ихъ рассказъ и повелѣніямъ вѣрилъ“. Онъ осыпалъ рѣзкими обличеніями римское папство, и въ русской исторіи указываетъ примѣры властолюбивыхъ замысловъ у Никона, Симеона Полоцкаго, но

„Петръ Великій путь къ тому уставомъ церковнымъ и учрежденіемъ Синода заперъ“. Затѣмъ дается подробный и краснорѣчивый отвѣтъ на другой вопросъ собесѣдника: „слышу, что свѣтскіе и люди въ гражданствѣ искусные толкуютъ, якобы въ государствѣ чимъ народъ простее, тѣмъ покорнѣе и къ правленію способнѣе, а отъ бунтовъ и смятеній безопаснѣе, и для того науки распространять за полезно не почитаютъ“. Татищевъ отвѣчаетъ историческимъ объясненіемъ, что „незнаніе или глупость, какъ самому себѣ, такъ малому и великому обществу вредительно и бѣдно“, и что, напротивъ, науки необходимы для разумнаго управленія государствомъ; а когда собесѣдникъ возразилъ, что „сіе, видится, принадлежитъ токмо до знатныхъ или шляхетства, мой же вопросъ былъ о подлости“¹⁾, Татищевъ объясняетъ, что познанія необходимы и самымъ простымъ людямъ для разумнаго веденія дѣлъ и для добрыхъ нравовъ. Когда собесѣдникъ замѣтилъ, что для государства вредна также разность вѣръ, Татищевъ опровергаетъ это и цѣлымъ рядомъ примѣровъ изъ исторіи европейской и русской доказываетъ, что народная глупость и въ дѣлахъ вѣры, какъ въ понятіяхъ о правленіи, бываетъ источникомъ великихъ бѣдствій для государства: народной глупостью онъ объясняетъ бѣдствія временъ междоусобицъ, когда „семь плутовъ“ обманывали народъ, выдавая себя за разныхъ царевичей, и тѣмъ государство разорили; такой же глупостью онъ объясняетъ бунтъ Стеньки Разина и расколъ, когда „великіе плуты“, Никита и Аввакумъ, увѣрили народъ, что Никонъ старую вѣру отринулъ...

Наконецъ, когда главные сомнѣнія были разрѣшены, собесѣдникъ спрашиваетъ: „чего человѣку учиться нужно?“ Слѣдуетъ трактатъ о наукахъ. Татищевъ объясняетъ, что въ общемъ смыслѣ науки раздѣляются по существу: о божественномъ говоритъ богословіе, о тѣлесномъ—философія; затѣмъ въ „моральномъ“ отношеніи науки дѣлятся слѣдующимъ образомъ: „1) нужныя, 2) полезныя, 3) щегольскія или увеселяющія, 4) любопытныя или тщетныя, 5) вредительныя; но при томъ нѣкоторыя и по стану или состоянію человѣка могутъ быть нужны или полезны“. Подъ науками нужными онъ разумѣлъ тѣ, какія необходимы для тѣлесной и духовной жизни человѣка: домоводство, медицину, законоученіе (а особливо для шляхетства владѣніе оружіемъ), логику и богословіе. Науки полезныя—грамматика, риторика, знаніе иностранныхъ языковъ, математика, исторія, географія,

¹⁾ Въ старомъ языкѣ слова: „подлость“, „подлые люди“, означали только низшій классъ народа, простолюдины, не включая въ себя ругательства.

ботаника, анатомія, физика и химія. Къ наукамъ „щегольскимъ“ причисляются: „1) стихотворство или поэзія, 2) музыка, русски своморшество, 3) танцованіе или плясаніе, 4) волтежированіе или на лошадь садиться, 5) знаменованіе (рисованіе) и живопись“. Науки любопытныя или „тщетныя“ (пустыя)—астрология, фізіогномія (т.-е. фізіогномика), хиромантія, алхимія: эти науки не имѣють ни физическаго, ни математическаго основанія, а также божескому и моральному ученію противны. Науки вредныя— „глупѣе предыдущихъ: это—различныя роды волхвованія или колдунства, какъ еще у древнихъ некромантія, аеромантія и т. п., или какъ у насъ вѣра въ сновидѣнія, полетъ птицъ, бѣганье звѣрей“ и т. п.; „всего глупѣе чернокушество“, которое есть не что иное, какъ ума поврежденіе и необузданная злость; у насъ причисляются сюда кликуны и кликуши. Наконецъ, польза наукъ можетъ различаться по состоянію людей, по тому, кто чѣмъ занимается.

Въ дальнѣйшихъ вопросахъ и отвѣтахъ Татищевъ объясняетъ необходимость изученія иностранныхъ языковъ, пользу путешествій за границу, говоритъ о недостаточности у насъ учебныхъ заведеній и т. д. Наконецъ, послѣдніе вопросы и отвѣты посвящены политическому значенію наукъ: Татищевъ говоритъ о законахъ, о необходимости изучать естественное право, о политикѣ или мудрости гражданской; излагаетъ движеніе законодательства въ Россіи и указываетъ необходимость знанія законовъ, особливо для шляхетства.

Таково содержаніе „Разговора“: въ качествѣ наставленія сыну, онъ опять вступаетъ въ разрядъ произведеній, какъ „Домострой“ и „Отеческое Завѣщаніе“ Посошкова. По времени составленія,—въ тридцатыхъ годахъ XVIII вѣка,—„Разговоръ“ очень близокъ къ „Завѣщанію“ (1719—1720 года), но, при общей заботѣ о просвѣщеніи, два эти произведенія чрезвычайно далеки другъ отъ друга по образовательному уровню: у Посошкова хранится еще многое изъ стараго преданія; Татищевъ, хотя настаивающій на вѣрѣ и благочестіи, сильно затронутъ раціонализмомъ западно-европейской литературы и потому относится къ старинѣ критически и во многихъ случаяхъ рѣзко отрицательно. Новѣйшій издатель „Разговора“ указалъ, что главнымъ источникомъ объясненій Татищева о тѣлесной и духовной природѣ челоуѣка и о пользѣ наукъ и ихъ исторіи, была философская энциклопедія Іоганна-Георга Вальха, очень распространенная тогда въ Германіи, и другія руководящія сочиненія подобнаго рода; но эти мысли вообще крѣпко сидѣли въ головѣ Та-

тищева, неизмѣнно повторяются въ его сочиненіяхъ и примѣнены имъ къ самому объясненію русской исторіи.

Двухстолѣтній юбилей рожденія Татищева далъ нашимъ историкамъ поводъ, вспоминая о Татищевѣ, дать себѣ отчетъ и объ историческомъ значеніи эпохи, къ которой онъ принадлежалъ. Безпристрастное изученіе дѣятельности этого писателя, всецѣло принадлежащаго Петровской школѣ, побудило признать въ Татищевѣ въ полной мѣрѣ русскаго человѣка, дѣлавшаго именно то, что было нужно для русскаго общества и народа. Люди того поколѣнія, „отчасти путемъ самообразованія, отчасти увлекаемые могучимъ потокомъ преобразовательной дѣятельности самого Петра“, расширили кругозоръ своихъ понятій и все-таки „остались вполнѣ русскими людьми, не вѣдая и не говоря о разладѣ, будто бы существовавшемъ между древнею и новою Русью“; они „не только не подозрѣвали, но и не допускали мысли, что между задачами, интересами и потребностями второй половины XVII и первой половины XVIII столѣтія существовали сильныя противорѣчія“ ¹⁾. „Историкъ и публицистъ, Татищевъ стремился найти общее начало человѣческаго общежитія и человѣческой нравственности... Но не это одно даетъ право Татищеву на вѣчную благодарную память: онъ поставилъ науку русской исторіи на правильную дорогу... Но если бы даже и этого не было, имя Татищева должно бы жить вѣчно за то одно, что онъ всюду заводилъ школы и хлопоталъ о развитіи просвѣщенія“ ²⁾. Заслуженный историкъ и знатокъ нашей старины, упомянувъ о „потѣхахъ“ Петра Великаго, говорилъ: „И вотъ такими-то шутками и играми Петра, незамѣтнымъ ни для кого способомъ, настѣжь широко растворились двери къ полной свободѣ знанія, къ свободной наукѣ во всѣхъ ея разновидностяхъ и во всей полнотѣ, какой можно было достигать тогдашними, еще очень неустроенными средствами“. Въ этомъ отношеніи Петръ „ничего особеннаго и чрезвычайнаго не совершилъ“, т.-е. не совершилъ ничего, что не требовалось бы самой исторіей, а тѣмъ болѣе не совершилъ той измѣны, въ которой обвиняли его новѣйшіе фанатики. „Онъ, какъ полнѣйшій выразитель русскаго ума, все дѣло новаго русскаго знанія и образованія повернулъ на народную русскую дорогу, оставивъ въ сторонѣ водворенную схоластику и всѣ соображенія и разсужденія о томъ, какія науки благословенны и неблагословенны, благочестивы и неблагочестивы. Всѣ науки стали благословенны, то-есть, благословенною стала

¹⁾ Н. Поповъ, „Ученіе и литер. труды Татищева“, стр. 52.

²⁾ Вестужетъ-Рюминъ, „Віографія и характ.“, стр. 175.

вообще наука, открывшая русскому уму свои необозримыя сокровища въ литературѣ ученыхъ и образованныхъ народовъ Запада"... Къ этой школѣ принадлежалъ Татищевъ. „Все то, что было достигнуто постепеннымъ развитіемъ направленія, созданнаго самоученіемъ Петра, въ полной мѣрѣ отразилось и выразилось въ ученыхъ и литературныхъ трудахъ Татищева, въ его пониманіи всего окружающаго, и современнаго, и минувшаго... Самостоятельная независимая мысль составляетъ существо исторической работы Татищева. Она, ясно изображая водворенное Петромъ научное направленіе, да послужить намъ образцомъ и руководителемъ во всѣхъ нашихъ работахъ на всѣхъ путяхъ ученой дѣятельности“ ¹⁾.

Такимъ образомъ просвѣщенные люди Петровскаго времени, какъ Татищевъ, дѣйствовавшій еще четверть столѣтія послѣ смерти Петра, вовсе не чувствовали себя въ томъ разрывѣ съ народностью, какой стали имъ приписывать въ новѣйшее время; новые историки, какъ нами указанные, которыхъ нельзя было бы заподозрить въ предубѣжденіи, согласно видятъ въ Татищевѣ чисто русскаго человѣка, какъ самъ Петръ является „полнѣйшимъ выразителемъ русскаго ума“,—тѣмъ не менѣе Татищевъ, какъ и Теофанъ и Кантемиръ, съ которыми онъ былъ солидаренъ, и всѣ болѣе образованные люди той эпохи и того направленія, были отдѣлены отъ старины цѣлою пропастью: это была именно свободная наука, свободная дѣятельность мысли, которыхъ эта старина не знала и не допускала. Но пропасть отдѣлила образованныхъ людей новой эпохи вовсе не отъ русскаго народа—названный почтенный историкъ справедливо нашелъ, что Петръ повернулъ дѣло русскаго образованія именно на народную русскую дорогу; пропасть отдѣлила новую эпоху только отъ умственного мрака, оставаться въ которомъ было наконецъ недостойно великаго народа... Дальнѣйшая исторія указала, какимъ многозначительнымъ результатомъ отразилось потому это новое движеніе мысли, которое дѣйствительно впервые дало развиваться національному самосознанію. То, что сдѣлано было при Петрѣ и въ первое время послѣ него, было естественнымъ проявленіемъ давно возникавшихъ стремленій. Теофанъ, Кантемиръ, Татищевъ на собственномъ опытѣ видѣли и чувствовали то, чего не доставало въ русской жизни и гдѣ нужно было искать восполненія. Прежде всего, это недостававшее было

¹⁾ Забѣлинъ, Рѣчь, стр. 19—24.

просвѣщеніе, и для нихъ не было вопроса о томъ, что искать его можно было только у народовъ, опередившихъ насъ на этомъ поприщѣ и уже обладавшихъ великими сокровищами знанія. Это чувствовали темнымъ инстинктомъ еще въ концѣ XV вѣка; теперь это видѣли во очію и несомѣнно. До Петра, благочестивый Димитрій Ростовскій считалъ блаженною страну, обладающую наукою; для Теофана, Германія „первая царица есть Европы“, „царствъ всѣхъ знамя“, „странъ всѣхъ мать“—особенно потому, что тамъ есть „толь частыя премудрыхъ ученій академіи, толь презрядныя художества и остроумніи художники“; кто приходитъ въ нее, „познаваетъ чинное общенароднаго правительства устроеніе, обычаевъ доброту, разума и бесѣды сладость, познаваетъ храбрость, науку и остроуміе“. Татищевъ по преимуществу поучается изъ нѣмецкой литературы,—и для этого круга интересными собесѣдниками являются нѣмецкіе академики. Знаменитѣйшія имена европейской науки хорошо извѣстны въ этомъ кругу; многія изъ этихъ именъ проникли уже въ русскую печатную книгу и—рукопись. Когда начало было положено, естественно было дальнѣйшее распространеніе знакомства съ этими источниками знанія. Вслѣдъ за наукой долженъ былъ явиться и интересъ къ европейской литературѣ, къ поэтическому творчеству.

Образовательные интересы этого времени всего меньше представляли какое-нибудь организованное движеніе; напротивъ, это—картина броженія, гдѣ стихійно смѣшиваются элементы стараго и новаго, преданіе и порывъ къ новой наукѣ; дѣятели новаго образованія являются случайно изъ различныхъ положеній и слоевъ общества и какъ бы по химическому сродству отыскиваютъ другъ друга и соединяются въ одномъ дѣлѣ. Это случайность, возникающая безъ участія школы и безъ преднамѣреннаго руководства, является особеннымъ доказательствомъ жизненности движенія, овладѣвавшаго лучшими силами общества. Школа была только или совершенно элементарная, или схоластическая, или техническая; но въ результатѣ, хотя на первое время только въ избранныхъ умахъ, получается именно стремленіе найти „общее начало человѣческаго общежитія и человѣческой нравственности“, стремленіе къ свободной наукѣ и широкому просвѣщенію. Первые опыты чисто литературнаго интереса отмѣчены, повидимому, тою же случайностью, но въ ней опять сказались жизненные стремленія.

До сихъ поръ мы видѣли, что интересы писателей останавливаются въ особенности на тѣхъ непосредственныхъ практи-

ческихъ вопросахъ, какіе вызвала необходимость оправдать реформу и новыя потребности просвѣщенія. Оеофанъ, Кантемиръ, Татищевъ—публицисты-дидактики, которые защищаютъ реформу, обличаютъ нравственные и образовательные недостатки старины и указываютъ новые интересы для ума, болѣе совершенныя формы нравственности; наконецъ, они прямо занимаются сообщеніемъ полезныхъ познаній по предметамъ, равнѣе неизвѣстнымъ старой письменности. Интересъ поэтическій является впервые у Кантемира опять въ формѣ дидактической сатиры, которая по направленію примыкала къ церковной проповѣди Оеофана, но заключала еще новый, раньше небывалый элементъ. Въ своей школѣ Кантемиръ былъ воспитанъ на классическихъ писателяхъ. Это была давнишняя принадлежность схоластической школы: люди стараго вѣка, какъ Димитрій Ростовскій и Стефанъ Яворскій, были хорошими знатоками латинской поэзіи: стихи Виргилія, Горация, Авзонія, Ювенала тотчасъ готовы въ дружеской перепискѣ; можетъ быть, еще лучше зналъ ихъ Оеофанъ, прекрасный латинскій стилистъ и даже стихотворецъ. У послѣдняго, безъ сомнѣнія, въ связи съ этимъ, являлась охота и къ русскому стихотворству—между прочимъ въ разнообразныхъ размѣрахъ, гдѣ онъ слѣдовалъ образцамъ латинской поэзіи. Кантемиръ такимъ образомъ естественно взялся за сатиру въ классической формѣ, но уже на первыхъ порахъ къ древнимъ образцамъ онъ прибавляетъ новыя: къ Горацию и Ювеналу присоединяется Буало. Къ нѣмецкой литературѣ, по которой учился Татищевъ, у Кантемира прибавляется литература французская, и съ этого перваго опыта, ея вліянію предстояло развиваться все болѣе до полнаго господства надъ русскими писателями, какъ это произошло уже вскорѣ у Сумарокова. Въ одно время съ Кантемиромъ вліяніе французской литературы обнаружилось и другимъ фактомъ—въ писаніяхъ Тредьяковского.

Немного спустя, въ тридцатыхъ годахъ XVIII вѣка, отправленъ былъ учиться за границу Ломоносовъ. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ сдѣлалъ свои первые литературные опыты—переводъ оды Фонтенеля и оду „на взятіе Хотина“, въ подражаніе нѣмецкому поэту Гюнтеру. Все это вело нашу литературу на путь господствовавшего въ тогдашней европейской литературѣ псевдо-классицизма.

XX

Объ Аврамовѣ: у Пекарскаго, „Наука и литература“. I, стр. 498—514; II, 658—660 и др.;—Чистовича, „Оеофанъ Прокоповичъ“.

Литература о Оеофанѣ указана раньше. Одному изъ его друзей въ Академіи наукъ, Зигфриду Байеру, начинателю критическихъ изслѣдованій по древней русской исторіи, съ большей вѣроятностію приписываютъ біографію, помѣщенную въ *Nordische Nebenstunden*, Шерера, Frankfurt und Leipzig, 1776. Самъ Байеръ умеръ въ 1738. См. предисловіе въ книгѣ Чистовича, и Пекарскаго, „Исторія Академіи наукъ“. Спб. 1870, I, стр. 635—636.

Историки винятъ Оеофана, что увлеченіе европейской [цивилизацией] доходило у него до самоуничиженія, которое потомъ „стали высказывать русскіе люди при всякомъ столкновеніи съ Европой, при всякомъ сопоставленіи всего русскаго съ иностраннымъ“ (Порфирьевъ, Ист. р. слов., ч. II, отд. I, изд. 2-е. Каз. 1886, стр. 61—62). Оеофанъ сравнивалъ прежнее и нынѣшнее отношеніе иноземцевъ къ Россіи: „Въ коемъ мнѣніи, въ коей цѣнѣ, бѣхомъ мы прежде у иноземныхъ народовъ? бѣхомъ у политическихъ мнѣніи варвары, у гордыхъ и величавыхъ презрѣнніи, у мудрящихся невѣжи, у хищныхъ желательная ловля, у всѣхъ нерадими, отъ всѣхъ поругани... нынѣ же, которіи насъ гнушались, яко грубыхъ, ищутъ усердно братства нашего, которые безчестили, славятъ, которіи грозили, боятся и трепещутъ“... До сихъ поръ онъ указывалъ фактъ, не скрывая дѣйствительнаго отношенія иностранцевъ къ Россіи и признавая, что оно могло имѣть основаніе въ старомъ невѣжествѣ и грубости нравовъ; но онъ потерялъ мѣру, когда продолжалъ: „многія въ Европѣ коронованныя главы, не точию въ союзъ съ монархомъ нашимъ идутъ доброхотно, но и десная его величеству давати не имѣютъ за безчестіе“. Это низкопоклонное къ европейскимъ главамъ разсужденіе забывало о достоинствѣ самого російскаго императора.

Князь Антиохъ Кантемиръ (1708—1744) былъ сынъ молдавскаго господаря, Димитрія Кантемира, переселившагося въ Россію въ 1711 вслѣдствіе грозившихъ ему политическихъ опасностей; мать его, изъ греческаго рода Кантакуzenовъ, была женщина умная и образованная; самъ Димитрій по тому времени былъ человѣкъ ученый. Антиохъ съ дѣтства овладѣлъ нѣсколькими языками; въ русскомъ его наставникомъ былъ упомянутый раньше питомецъ Славяно-греко-латинской академіи, Ильинскій, отъ котораго онъ научился и силлабическому стихотворству. Свое ученіе Антиохъ закончилъ при только-что открывшейся Академіи наукъ, гдѣ учился у Бернулли, Байера (исторіи) и особливо Гросса (нравственной философіи). По обычаю онъ вступилъ въ военную службу, въ Преображенскомъ полку, и только въ царствованіе Петра II получилъ офицерскій чинъ. При воцареніи Анны Ивановны онъ принялъ участіе въ поставленномъ тогда политическомъ вопросѣ и сталъ на сторону дворянства противъ верховниковъ: ему поручено было написать адресъ, съ прошеніемъ, чтобы императрица возстановила самодержавіе, по примѣру предковъ, что и воспослѣдовало. Его матеріальное положеніе было очень затруднительное вслѣдствіе того, что долго тянулось дѣло о наслѣдствѣ, рѣшенное только

въ 1732, а передъ тѣмъ Кантемиръ, вѣроятно обращавшій на себя вниманіе своими дарованіями и образованностью, былъ назначенъ русскимъ резидентомъ въ Лондонѣ, куда и отправился въ началѣ этого года. Въ 1737 онъ сдѣланъ былъ посланникомъ въ Парижѣ, гдѣ и кончилъ жизнь.

Его біографъ такъ опредѣляетъ положеніе молодого Кантемира въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ. „Сочувствія къ старой русской партіи не могло у него быть; не могъ онъ хладнокровно смотрѣть и на усиливавшуюся реакцію. Развившійся на европейской наукѣ и на древнихъ писателяхъ, не успѣвшій еще войти ни въ какую рутину, онъ не могъ питать ни малѣйшаго уваженія ко всѣмъ старымъ формамъ русской жизни, чуждымъ ему даже и по семейнымъ преданіямъ. Онъ былъ человѣкъ совершенно новый въ русской средѣ, но въ то же время и не иностранецъ, поступившій въ русскую службу изъ личныхъ расчетовъ и интересовъ. Онъ хорошо понималъ, что Россія стала его родиной, въ которой онъ долженъ явиться дѣятелемъ не какъ иноземный наемникъ. Можетъ быть, самый образованный изъ всего новаго поколѣнія, онъ не могъ не проникнуться тѣми интересами науки, которые Петръ Великій старался ввести въ русскую жизнь. Они-то и опредѣлили сразу его отношенія къ двумъ партіямъ, когда онъ вступилъ въ общественную жизнь и обратилъ на себя вниманіе своимъ умомъ и образованіемъ“. Этими опредѣлилось и его общественное положеніе, и литературный характеръ. Онъ сталъ сатирикомъ, но та двойственность, какая отличаетъ Петровское время, отразилась и на составѣ литературной дѣятельности Кантемира. Онъ составлялъ „симфоніи“ на разныя книги св. писанія, но переводилъ книгу Фонтенеля „О множествѣ міровъ“, „Персидскія письма“ Монтескьё, „Нравоученіе“ Эпиктета, древнюю исторію Юстина, писалъ оды, переводилъ псалмы, предпринялъ эпическую поэму „Петрида“ и т. д. Основую его литературной славы были сатиры (числомъ девять), направленные главнымъ образомъ противъ враговъ просвѣщенія — вопросъ, который не безъ основанія представлялся ему однимъ изъ важнѣйшихъ въ положеніи русскаго общества. Первая сатира была имъ написана до 1730 года и вызвала стихотворное привѣтствіе Феофана Прокоповича, которому стала извѣстна въ рукописи: это было начало ихъ личнаго сближенія. Въ первый разъ онъ думалъ объ изданіи своихъ сатиръ (числомъ пяти въ то время), кажется, еще до отъѣзда изъ Россіи; затѣмъ, живя въ Парижѣ, Кантемиръ за годъ до смерти собралъ свои стихи и рѣшилъ послать ихъ въ Петербургъ для печати. Онъ писалъ тогда „къ стихамъ своимъ“:

Скученъ вамъ, стихи мои, ящикъ, десять цѣлыхъ
Гдѣ вы лѣтъ госкуете въ тѣни за ключами!
Жадно волю просите, я ваши докуки
Нудать меня дозволить то, что вредно, знаю,
Намъ будетъ...

Онъ предчувствовалъ тяжелую судьбу русскаго писателя, который рѣшится говорить истину своему обществу. Изданіе не состоялось, и сатиры вышли въ свѣтъ уже только въ 1762, съ исправленіями издателя, которымъ былъ Барковъ, — нескромной памяти.

Въ Парижѣ Кантемиръ сблизился съ нѣкоторыми представителями

учено-литературнаго міра, напрімѣръ, съ людьми какъ Монтескьё, Мопертюи, аббатъ Венути. Это показываетъ уже, что онъ воспринималъ тѣ нравственно-общественные интересы, которые въ то время волновали французскую литературу; представитель возникавшей русской литературы ставилъ себѣ вопросы объ основахъ нравственности, объ отношеніяхъ религіи и науки и пр., — на той почвѣ, какъ они ставились въ средѣ передовыхъ умовъ европейскаго просвѣщенія. Самъ онъ остался философомъ христіанскимъ, но понималъ значеніе науки, переводилъ Фонтенеля и Монтескьё; въ своихъ идеяхъ общественныхъ онъ руководился ученіями Локка. По словамъ аббата Венути, Кантемиру особенно понравилась книга Боссюэта: *Politique sacrée*, въ которой онъ именно видѣлъ соединеніе политики съ христіанской нравственностью. (Стоюнинъ говоритъ въ своей біографіи, что Кантемиръ въ особенности остановился на сочиненіяхъ „извѣстнаго въ свое время прелата де-Мо“, — но это и былъ знаменитый Боссюэтъ, *évêque de Meaux*). Такъ на первыхъ шагахъ русской литературы начиналось сознательное воспріятіе просвѣтительныхъ воздѣйствій Запада.—Основной міровоззрѣніи Кантемира была христіанская философія и убѣжденіе въ высокомъ значеніи просвѣщенія; руководствомъ въ его общественно-литературной дѣятельности было стремленіе служить превыше всего общественному благу. Съ этими задатками онъ является первымъ русскимъ писателемъ новаго періода.

Упомянутая двойственность повторяется и въ литературныхъ пріемахъ Кантемира. Это—не свободный талантъ, самостоятельно создающій; скорѣе, это еще—умный енижникъ стариннаго склада: ему нужны образцы; онъ беретъ давно готовую форму syllabического стиха, установленную у насъ Симеономъ Полоцкимъ. Его образцы прежде всего классическіе, почерпнутые прямо изъ источника: Гораций и Ювеналь, Теофрастъ; но къ нимъ онъ присоединяетъ образцы новѣйшіе—Буало и Лабрюйера. Отъ Полоцкаго онъ вступаетъ уже на путь псевдо-классицизма.

Послѣ перваго изданія 1762, изученіе Кантемира было подвинуто въ особенности изданіемъ, въ серіи русскихъ классиковъ Смирдина, 1847, хотя весьма неудовлетворительнымъ. Лучшее донинѣ изданіе:

— Сочиненія, письма и избранные переводы кн. А. Д. Кантемира, со статьею о К. и примѣчаніями В. Я. Стоюнина. Редакція изданія П. А. Ефремова. Спб. 1867—1868, два тома.

— Русская поэзія. Собраніе произведеній русскихъ поэтовъ. Подъ ред. С. А. Венгерова. Спб. 1897. Т. I, стр. 1—49; примѣчанія и дополненія, стр. 146—210: біографія Стоюнина; стихотворенія К.; указаніе литературы о немъ, съ главными статьями о К.; сполна или въ извлеченіяхъ, напр. Карамзина, Жуковскаго, Ватюшкова („Вечеръ у Кантемира“), Шевырева, Бѣлинскаго, Галахова (по поводу изданія Смирдина), Дудышкина (также), Сементковскаго и др.

Біографія Кантемира, составленная Стоюниномъ (при упомянутомъ изданіи Ефремова), была имъ дополнена въ статьяхъ: „Князь Антиохъ Кантемиръ въ Лондонѣ“ (Вѣстн. Евр. 1867, т. I—II) и „Князь А. Кантемиръ въ Парижѣ“ (тамъ же, 1880, авг.—сентябрь).

— Чистовичъ, „Оефанъ“, стр. 607 и д.

— Морозовъ, „Оефанъ“, стр. 376 и д.

- Соловьевъ Ист. Россіи, т. XX.
- И. И. Шимко, новыя данныя къ біографіи кн. А. Д. Кантемира. Спб. 1891 (изъ Журн. мин. просв.).
- В. Н. Александренко издалъ дипломатическіе документы изъ сношеній коллегіи иностр. дѣлъ съ Кантемиромъ, въ 1732—33 г. въ Лондонѣ, въ „Варшавскихъ унив. Извѣстіяхъ“, 1892, въ „Чтеніяхъ“ моск. общ. ист. и древн. 1892, кн. III; 1899, кн. IV (Реляціи изъ Лондона, т. II. 1734 годъ); „Къ біографіи кн. А. Д. Кантемира“. Варшава, 1896.
- Р. И. Сементковскій, „Кантемиръ“, Спб. 1893, — въ серіи „Жизнеописаній“ Павленкова; „Родоначальникъ нашей обличительной литературы“, въ Историч. Вѣстникѣ, 1894, мартъ; ст. въ „Энцикл. Словарѣ“, Арсеньева, 8. v.

Сатиры Кантемира увидѣли печать впервые во французскомъ переводѣ: *Satyres du Monsieur le Prince Cantemir. Avec l'histoire de sa vie* (аббата Венути). Traduites en français. Londres MDCCLXIX; 2-е изд. MDCCL. Нѣмецкій свободный переводъ барона Шпилькера. Берлинъ 1752.

Въ другомъ родѣ замѣчательна біографія Татищева, выше кратко указанная. Съ менѣе правильнымъ школьнымъ образованіемъ, чѣмъ Кантемиръ, но съ гораздо болѣе обширнымъ служебнымъ и житейскимъ опытомъ и съ непосредственнымъ преданіемъ русской жизни, онъ первыми впечатлѣніями еще связанъ съ XVII вѣкомъ; но подъ вліяніемъ духа времени и прямыхъ воздѣйствій реформы, онъ жаждетъ просвѣщенія, много читаетъ, ояты ставитъ себѣ вопросы общественные, религіозные, нравственные, но, какъ было и съ Кантемиромъ, высказываетъ ихъ съ большою осторожностью. Результатъ своихъ размышленій онъ старался примѣнить и въ „Исторіи Россійской“, трудѣ замѣчательномъ для своего времени по замыслу и обилію собраннаго матеріала.

— „Исторія Россійская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, неуспыннымъ трудомъ черезъ тридцать лѣтъ собранная и описанная покойнымъ, т.-е. астраханскимъ губернаторомъ В. Н. Татищевымъ“. Кн. I, въ двухъ частяхъ. М. 1768—1769; II, М. 1773; III, 1774; IV, Спб. 1784. V-я книга издана была уже въ московскихъ „Чтеніяхъ“ 1847—1848.

— Послѣ первой исторической оцѣнки Татищева у Соловьева въ „Архивѣ ист.-юр. свѣдѣній“ Калачова, т. II, обширный трудъ былъ посвященъ ему въ книгѣ Н. А. Попова: „В. Н. Татищевъ и его время“. М. 1861.

— Пекарскій, „Новыя извѣстія о В. Н. Татищевѣ“. Спб. 1864.

— Бестужевъ-Рюминъ, „Біографіи и характеристики“, Спб. 1882 (стр. 1—174); — „Двухсотлѣтнія поминки по В. Н. Татищевѣ“, въ Извѣстіяхъ слав. благовѣ. Общества. Спб. 1886.

— Морозовъ, Теофанъ Прокоповичъ (стр. 383 и далѣе объ отношеніяхъ къ Теофану).

— Андрей Островскій, „Духовная Василія Никитича Татищева“. Казань, 1885 (изъ „Извѣстій Казанскаго Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи“, т. IV): изданіе „Духовной“ по рукописямъ въ сличеніи съ изданіемъ Дружковцова, Спб. 1773, гдѣ есть многочис-

ленные прибавки, по мнѣнію г. Островскаго сдѣланныя самимъ Друкцовымъ.

— Н. А. Поповъ, „Ученые и литературные труды В. Н. Татищева“, Спб. 1886 (изъ Журн. мин. просв. 1886, июнь);—„В. Н. Татищева. Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ“, съ предисловіемъ и указателями М. 1887 (изъ „Чтеній“, 1887, кн. I).

Въ составѣ чтенія, опредѣлявшаго научные и нравственные взгляды Татищева, былъ, какъ въ текстѣ упомянуто, знаменитый въ свое время Пьеръ Бэйль: Татищевъ былъ едва ли не первымъ русскимъ его читателемъ. О Бэйлѣ см. у Геттнера, Ист. всеобщей литературы XVIII вѣка, 2-е изд. перевода. Спб. 1897. II, ст. 40—41.

„Печальна участь сочиненій Татищева, — писалъ Андрей Островскій въ 1885 году: — до настоящаго времени нѣтъ сколько-нибудь исправнаго изданія ихъ. Только въ будущемъ году (136 лѣтъ послѣ смерти Татищева) мы увидимъ сочиненія его въ приличномъ его значенію видѣ; уважаемыя имена Н. В. Калачова, А. А. Куника и Н. А. Попова въ томъ порукою“. Но это изданіе не осуществилось.

— И. Е. Забѣлинъ, Первое водвореніе въ Москвѣ греко-латинской и обще-европейской науки. Рѣчь, читанная въ засѣданіи Имп. Общества исторіи и древностей Россійскихъ 19 апрѣля 1886 года, въ память двухсотлѣтней годовщины рожденія перваго русскаго историка В. Н. Татищева,—въ „Чтеніяхъ“, 1886, кн. IV.

ГЛАВА IX.

ИСКАНІЕ НОВЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ФОРМЪ.

Сознаніе необходимости реальной науки.—Распространеніе любознательности и нѣкоторой критики.—Исканіе новыхъ литературныхъ формъ и содержанія.

Зачатки новыхъ формъ въ предшествующемъ періодѣ.—Рукописная повѣсть начала XVIII вѣка: связь ея, ранѣе, съ повѣстями XVII вѣка и, позднѣе, съ первыми печатными романами второй половины XVIII-го.—Русскіе опыты.

Первое знакомство съ театромъ въ концѣ XVII вѣка.—Театръ при Петрѣ.—Иностранные актеры и опера на придворномъ театрѣ при Аннѣ.—Русская сцена при Елизаветѣ.

Стихотворство.—Силлабическій стихъ.—Первое знакомство съ новой европейской поэзіей.

Съ проблесками новаго міровоззрѣнія, которое хотя отрывочно, но категорически заявлено было въ преобразованіяхъ Петра, въ первый разъ нашло прочную опору сближеніе русской литературы съ литературами западной Европы. Дѣятельность Петра именно дала ту санкцію, безъ которой этому движенію пришлось бы, безъ сомнѣнія, пролагать свой путь цѣною еще болѣе тяжелыхъ усилій. Сила общественная пока не существовала; движеніе могло бы опереться только на одно изъ двухъ—власть церкви или власть царскую. Два послѣднія патріаршества не подавали никакой надежды на здравую постановку дѣла просвѣщенія: не могло быть мысли о допущеніи свѣтской науки, само церковное образованіе упорно держалось на мертвой средневѣковой схоластикѣ; даже долго спустя, она господствовала въ церковной школѣ... Могла быть надежда только на царскую власть. Петръ исполнялъ эту надежду и внушалъ безконечное поклоненіе у тѣхъ, кто жилъ идеями новаго образованія и понималъ его жизненную необходимость: возвеличеніе царскаго авторитета, передъ которымъ должна была склоняться церковная власть, еще

недавно столь могущественная, это возвеличеніе, въ словахъ и писаніяхъ Теофана, указывало, что только въ этомъ авторитетѣ видѣли защиту новаго образованія. При Петрѣ рѣшительно заявлена была необходимость свѣтской реальной науки, которой прежде такъ боялись,—и явились первыя школы и первыя книги, ей посвященныя, хотя бы пока элементарныя; Петръ даже не ставилъ вопроса, были ли новыя науки „благословенны“: человекъ долженъ пользоваться даннымъ ему отъ Бога умомъ и здравымъ смысломъ, и прямо было отвергнуто, даже осмѣяно старое суевѣріе, которое держало умы въ туманѣ, порождая мрачный фанатизмъ. Петръ совершалъ неслыханное дѣло, когда окружилъ себя „латиною“ и „люторами“, самъ отправился учиться въ ихъ земли, собралъ иноземныхъ учителей и наконецъ задумалъ основать въ новой столицѣ цѣлое учрежденіе, которое должно было стать рассадникомъ новой науки: то, что съ суевѣрнымъ страхомъ проклинали старые учителя, получало официальное государственное признаніе. Въ книгахъ временъ Петра В. открыто принималось ученіе Коперника или „Гюенса“, Теофанъ восхвалялъ въ стихахъ (правда латинскихъ) Галилея, его питомецъ переводилъ Фонтенеля и т. д.

Правительственное признаніе науки открыло просторъ для любознательности и работы ума. Наличная школа была пока бѣдна, но даже внѣ вліяній школы любознательность начинаетъ увлекать живые умы, которые собственными силами и на свой страхъ жадно ищутъ иноземныхъ познаній, и уже въ первомъ поколѣніи являются столь оригинальные и по своему времени смѣлые писатели, какъ Татищевъ. Любознательные люди появляются во всѣхъ слояхъ общества: посланки за границу въ ученіе, самостоятельныя путешествія вводили людей молодого поколѣнія прямо въ среду иноземной жизни, гдѣ наука была такъ изобильна; дома начиналось вліяніе новыхъ книгъ. Для тѣхъ, кто учился прежде по старому образцу, старина начинала отпадать передъ настоящимъ реальнымъ знаніемъ и живыми впечатлѣніями западной литературы; приобреталось совсѣмъ иное настроеніе мысли и впервые получился возможность развитія вкуса къ художественному и поэтическому, который дома былъ издавна заглушенъ книжническимъ аскетизмомъ. Тредьяковскій, попавши въ Парижъ, такъ увлекся легкой литературой, что поспѣшилъ передать одно изъ ея произведеній въ своихъ стихахъ, на первый разъ весьма дубовыхъ; Ломоносовъ, занимаясь въ Германіи химіей и горнымъ дѣломъ, прислалъ въ Петербургъ

знаменитую оду, которая поразила невиданной красотой языка даже людей, мало заботившихся о литературѣ.

Это было знаменательное начало. Ломоносовъ сталъ первымъ великимъ писателемъ новой русской литературы.

Впослѣдствіи привыкли говорить, что это было и начало западныхъ вліяній, которымъ русская литература рабски подчинилась, забывъ преданія своей народности. Въ этомъ взглядѣ, который, повидимому, такъ убѣдительно подтверждается множествомъ фактовъ и литературныхъ и бытовыхъ, есть, однако, большая ошибка. Никто изъ писателей, которые увлекались произведеніями западной литературы и невольно имъ подражали, не думалъ, что наносить этимъ ущербъ своей національности, измѣняетъ ей; напротивъ, всѣ были глубоко убѣждены, что именно служить ея достоинству, приносить пользу согражданамъ, украшаютъ и обогащаютъ русскій языкъ. Послѣдующее развитіе русской литературы, при всей ея подражательности, оправдало ихъ ожиданія постояннымъ рядомъ успѣховъ, какъ въ содержаніи, такъ и въ языкѣ: подражательная литература послѣдовательно привела отъ Симеона Полоцкаго и Кантемира къ Жуковскому и Пушкину. Съ другой стороны, чему она измѣнила? Старая письменность была не въ состояніи дать основу для новой литературы, когда отличительною чертою послѣдней стала пробудившаяся мысль и стремленіе познакомиться съ обширнымъ запасомъ западнаго поэтическаго содержанія, когда другою чертою ея стало сильное и вполне законное стремленіе ввести въ книгу живую рѣчь вмѣсто тяжелаго искусственнаго языка старинныхъ книжниковъ. Но ни то, ни другое не было произволомъ и какою-либо измѣной; напротивъ, это была историческая необходимость. Путемъ послѣдовательнаго развитія сказалось неизбежное противорѣчіе съ прежнею ступенью исторической жизни, но вовсе не съ существомъ національности, — напротивъ, именно національное существо требовало новыхъ формъ и новой пищи для развитія своихъ силъ, и отступленіе было невозможно. Новая литература отдѣлилась отъ старой самымъ содержаніемъ, которымъ не могла бы поступиться, не отказываясь отъ возникшихъ органическихъ требованій мысли и художественнаго интереса, приобретающихъ наконецъ національное значеніе. Новый литературный языкъ опять отдѣлялся всею сущностью своего характера отъ старой книжной рѣчи, которая была въ концѣ концовъ только языкомъ церковной книги и условнымъ языкомъ одного сословія: естественно было ввести въ книгу живую, именно русскую рѣчь. Уступать было нельзя, потому что новая литера-

тура была требованіемъ болѣе широкаго горизонта мысли и поэзіи и большаго богатства языка.

Первые шаги новой литературы были часто угловаты, какъ бываютъ первые опыты: была неловкость въ передачѣ новыхъ понятій, при чемъ живая рѣчь или мѣшалась со старымъ церковно-приказнымъ языкомъ или уснащалась грубо прилаженными иностранными словами; перовности и столкновенія были неизбѣжны, когда новому содержанію приходилось отвоевывать себѣ мѣсто въ умственной и бытовой средѣ, которая встрѣчала все новое, каково бы оно ни было, съ недовѣріемъ или даже злобою школы Аввакума, оплакивавшаго „последнюю Русь“ уже во времена царя Алексѣя. Наконецъ, эти угловатости новаго движенія въ значительной мѣрѣ происходили потому, что оно шло почти стихійнымъ образомъ, предоставленное самому себѣ: Петръ намѣтилъ извѣстныя государственно-полезныя стороны его, но послѣ Петра его дѣло или едва влачилось, или было заброшено, и въ области образованія и литературы держалось только единичными силами, встрѣчая уже на первыхъ порахъ всякія противодѣйствія и помѣхи, которыя въ существѣ были отраженіемъ той же старины.

Въ такихъ смутныхъ условіяхъ должно было происходить возникновеніе новой литературы. Если оно было дѣломъ естественнаго истиннаго людей, нисколько не отрывавшихся отъ народности, какъ Татищевъ или Ломоносовъ, то съ другой стороны оно не было совершенною новизной. Усвоеніе иноземной науки было тогда вполне естественно, — другого пути не было; не было другого пути и для развитія литературы поэтической: неизбежно было воспринятіе новыхъ литературныхъ формъ. Но какъ въ первомъ отношеніи интересъ къ западной наукѣ возникаетъ еще до Петра, такъ задолго возникаетъ исканіе новыхъ литературныхъ формъ: оно восходитъ къ письменности XVII или даже XVI вѣка.

Эти признаки можно замѣтить прежде всего въ исторіи древней русской повѣсти. Въ ея исторіи ¹⁾ мы видѣли, что особенно во второй половинѣ XVII вѣка замѣчается сильный наплывъ повѣсти западной, которая приходила всего болѣе черезъ польское посредство, а въ отдѣльных случаяхъ, восходящихъ къ XVI вѣку, западная повѣсть проникала къ намъ сложнымъ путемъ — изъ итальянскаго источника черезъ сербскіе и бѣлорусскіе переводы. Эта западная повѣсть явилась какъ нѣчто не-

¹⁾ См. выше, т. II.

обычное въ „книжномъ почитаніи“: на мѣсто византійскаго типа повѣсти съ чудесными геронческими дѣяніями, мудрыми загадками и наставленіями, легендарной міеологіей и т. п., приходилъ специально рыцарскій романъ, съ любовными исторіями, шутливая бытовая повѣсть въ тонѣ фавль и Декамерона и т. п. По нѣкоторымъ чертамъ новая повѣсть сближалась, однако, съ прежнею, и читатель встрѣчалъ знакомый интересъ въ богатырскихъ подвигахъ, чудесныхъ приключеніяхъ; но былъ совсѣмъ новъ образъ западнаго рыцаря, его служеніе дамѣ сердца, обиходъ рыцарскаго быта. На первый разъ (да и долго послѣ) эти черты рыцарской повѣи были въ славянской, а затѣмъ и русской средѣ совершенно непонятны и приняты были только виѣшнимъ, поверхностнымъ образомъ: они остались неразвитыми, хотя правились, — какъ можно судить по ихъ обширному распространенію. Наша повѣсть часто не находила и словъ для выраженія тона этой рыцарской эпикѣ. „Такова судьба всѣхъ первыхъ откровеній, — замѣчаетъ г. Веселовскій: — ихъ заслуга въ починѣ, не въ завершеніи; въ этомъ и заключается интересъ славяно-романскихъ повѣстей“. Эти мотивы повторяются потомъ въ переводной повѣсти XVII и начала XVIII вѣка, но бросили корень въ нашей литературѣ только гораздо позднѣе, въ томъ видоизмѣненіи, какое идеализація женщины получила въ псевдо-классической и сентиментальной школѣ.

За итальянскими Бово, Тристаномъ и Ланцелотомъ послѣдовалъ длинный рядъ другихъ рыцарскихъ и иныхъ повѣствованій, которыя приходили къ намъ преимущественно черезъ Польшу. Для русской письменности это была новость и по рыцарско-эпическому содержанію, и потому, что являлся новый источникъ литературнаго заимствованія, тотъ самый латинскій и люторскій, котораго въ другихъ отношеніяхъ такъ страшились московскіе князья. Таковы были: „Римскія Дѣянія“, повѣсть объ Аполлоніи королѣ Тирскомъ, повѣсть о Брунцвигѣ королевичѣ чешской земли, повѣсть о преславномъ римскомъ кесарѣ Оттонѣ, о Мелюзинѣ, о Петрѣ Прованскомъ (или Петрѣ Златыхъ-Ключахъ) и королевнѣ Магелонѣ и т. п. Въ библіотекѣ князя В. В. Голицына въ числѣ другихъ иностранныхъ книгъ, латинскихъ, польскихъ и нѣмецкихъ, были и иностранныя книги въ русскихъ переводахъ, напримѣръ: „Како царица Олунда близнаты пороуди и како ихъ свекровь ея, мать цесарева, хотя погубити“, „книга съ польскаго письма съ исторіи о Магилонѣ кралевнѣ“ ¹⁾. Еще

¹⁾ Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XIX; тамъ же упоминаются „четыре книги письменныя о строеніи комедіи“.

больше это чтеніе было распространено въ менѣе высокихъ кругахъ и популярность новыхъ повѣстей, доходящая до второй половины XVIII вѣка, была, наконецъ, столь велика, что многія изъ нихъ вошли въ число наиболѣе любимыхъ народныхъ книгъ, какъ Бова Королевичъ, Петръ Златые-Ключи и пр., какъ, вѣроятно, съ того же времени перешли въ народную письменность, а затѣмъ въ лубочныя картинки шуточные анекдоты западнаго происхожденія, „польскіе жарты“ и т. п. Новый курсъ установился прочно, и на переходѣ отъ XVII на XVIII столѣтіе встречаемъ новую обширную „письменность“ повѣсти и романа, на которую до сихъ поръ почти не было обращено вниманія и которая однако очень характерна, какъ посредствующее звено между старой и новой литературой: это—та масса рукописныхъ повѣстей, волшебныхъ сказокъ, поэмъ и подобныхъ произведеній, которая представляетъ русскую повѣсть первой половины XVIII вѣка.

Она любопытна исторически именно своимъ переходнымъ характеромъ, близко примыкая, съ одной стороны, къ рукописному XVII вѣку, съ другой—къ печатной литературѣ второй половины восемнадцатаго столѣтія и къ народной книгѣ, живущей до сихъ поръ. Въ этомъ отдѣлѣ старой повѣсти находится болѣе ста названій отдѣльныхъ произведеній, въ большинствѣ переводныхъ, во частію представляющихъ русскіе опыты и подражанія, а число рукописей, какія донынѣ были указаны, восходитъ до трехъ сотъ. Въ нихъ наглядно представлены тѣ посредствующія явленія, которыя именно устраняютъ обычное представленіе о перерывѣ литературной традиціи. Между двумя періодами не было такого рѣзкаго дѣленія. До самой второй половины XVIII столѣтія можно видѣть съ одной стороны прямое продолженіе книжныхъ преданій и обычаевъ XVII вѣка, съ другой—новые, медленно возникавшіе вкусы, полное развитіе которыхъ принадлежитъ уже болѣе позднему времени. При Петрѣ и послѣ литература продолжаетъ жить по старинному въ рукописяхъ, и достойными печати считаются только вещи церковныя и официальныя,—но печатается уже „Троянская исторія“ и книги о міеологіи (раньше, въ видѣ „житія“, напечатана была только исторія Варлаама и Іосафата). Въ это время еще крѣпко продолжается старое содержаніе письменности: по прежнему ведутся въ рукописяхъ церковныя книги, лѣтописи, хронографы, историческія сказанія, житія и старинныя повѣсти—нравоучительныя, чудесныя, рыцарскія, богатырскія, смѣхотворныя и т. д. Для средняго, а тѣмъ болѣе народнаго читателя XVIII вѣка не прерывалась

старая цѣль популярной письменности: онъ не переставалъ питаться старою рукописью, и что являлось вновь, какъ будто только продолжало старую книжную традицію. Многое и въ самомъ дѣлѣ продолжало ее: новыя повѣсти, присоединявшіеся къ старому запасу, какъ будто подбирались въ томъ же прежнемъ вкусѣ, писались тѣмъ же языкомъ — полународнымъ, съ церковною и приказною примѣсью, такъ что по внѣшней формѣ иногда трудно опредѣлить, принадлежитъ ли иная повѣсть и „гисторія“ къ XVII вѣку, или была новѣе. Къ этой старинѣ весьма постепенно присоединяются потомъ, не вытѣсняя ея, новыя переводныя произведенія съ ясною печатью Петровскаго времени: въ рядъ со старыми королевичами являются болѣе новыя принцы и кавалеры; ихъ дѣянія состоятъ не только изъ богатырства, но также изъ чудесныхъ и бытовыхъ приключеній, наконецъ, являются настоящіе романы съ любовными исторіями; съ запутанными походами, турнирами и „аріями“, съ правдоучительною тенденціей и т. д., а новыя черты содержанія требуютъ новаго языка — со множествомъ иностранныхъ словъ, какия расплодила Петровская эпоха. Какъ въ старину, эти произведенія ходятъ только въ рукописяхъ и безыменными: рѣдко указано, съ какого языка и когда переведена исторія, рѣдко названы авторъ и переводчикъ.

Теперь повѣсти переводились уже не съ польскаго, а особливо съ французскаго и нѣмецкаго. Начавъ незамысловатыми „гисторіями“, источниками которыхъ иногда трудно опредѣлить, эта повѣсть представляетъ самыя разнообразныя формы западноевропейскаго романа XVII-го и первой половины XVIII вѣка и доходитъ даже до знаменитыхъ произведеній тогдашней литературы. Нѣкоторыя изъ этихъ рыцарскихъ и волшебныхъ исторій остались до настоящаго времени въ ряду нашихъ народныхъ книгъ. Такъ за Бовой, рыцаремъ Петромъ Златые-Ключи, Мелюзинной, слѣдуютъ исторіи съ такими же рыцарями, принцами, королевичами, кавалерами (или просто шляхтичами): „Евдонъ и Бероа“, „Альфонсъ Рамиръ“, „Король Ефродить и рыцарь Максціонъ“, „Францель Венціанъ“, „Египетскій царевичъ Полиціонъ“, „Гишпанскій шляхтичъ Долторнъ“ и т. д. Затѣмъ, рядъ переводовъ извѣстныхъ романовъ XVII столѣтія, какъ „Азіатская Баниса“ (Die asiatische Banise, Циглера, 1689), „Калеандръ“ (итальянскій подлинникъ Дж. Марини, 1644; нѣмецкій переводъ 1651), „Алкеменесъ“ (эпизодъ изъ „Клеопатры“, Кальпренедда, 1647—1648), „Аріана“ („Argiane“, Демаре де-Сенъ-Сорлена, 1632) и т. д. съ чудными и романтическими приключеніями.

Далѣе, романы сентиментально-правоучительные, въ родѣ „Гисторіи Жанетты“ или „Добродѣтельной Сицилианки“, „Ипполита и Жуліи“ (*Histoire d'Hippolyte, г-жи д'Онэ, 1690*), „Барла Орлеанскаго“. Наконецъ, встрѣчаемъ здѣсь „Телемаха“, переведеннаго задолго до Тредьяковскаго, и другія знаменитыя произведенія европейской литературы: „Погубленный Рай“ Мильтона, „Похвалу Глупости“ Эразма Роттердамскаго, „Локонъ волосъ“ Попа и проч.; даже „Иліада“ и „Энеида“, въ рукописяхъ, задолго опередившихъ печатныя изданія.

На эти переводы полагалось не мало труда. Многіе романы, напр. „Исторія Аріаны“, „Исторія Жанетты“, „Азіатская Баниза“, „Гедвига“—представляютъ громадныя фоліанты мелкаго письма, одна переписка которыхъ, не говоря о переводѣ, требовала долгой усидчивой работы.

Если неизвѣстны эти усердные переводчики, то по записямъ о принадлежности рукописей можно видѣть, что кругъ читателей былъ очень разнообразенъ. „Гисторіи“ списывались людьми всякихъ сословій; рукописи принадлежали людямъ по тогдашнему образованнымъ—гвардейскимъ и армейскимъ офицерамъ, мелкимъ военнымъ чинамъ (какіе проходили тогда и дворяне); чиновникамъ (между прочимъ, иностранной коллегіи), затѣмъ купцамъ, посадскимъ людямъ, наконецъ, крестьянамъ; книги переходили изъ рукъ въ руки, что и записывалось внутри переплетовъ, иногда съ выраженіемъ впечатлѣній отъ „зѣло полезнаго“ или умилительнаго чтенія, и съ заклятіями противъ покражи.

Сличая составъ этой „письменности“ съ печатною литературой, которая прямо слѣдуетъ за нею во второй половинѣ столѣтія, приходимъ къ довольно любопытному наблюденію: первые печатные романы продолжаютъ то направленіе вкуса, которое намѣчено было рукописными переводами. Многіе изъ романовъ, извѣстныхъ по рукописямъ, иногда въ томъ самомъ текстѣ, или въ новомъ переводѣ, попали теперь въ печать („Евдонъ и Береа“, „Калеандръ“, „Исторія Карла Орлеанскаго“, „Честный человекъ и плутъ“); съ другой стороны, романы печатные списывались и ходили въ рукописи, по рѣдкости книгъ и старому обычаю. Это популярное чтеніе послѣ книжности XVII вѣка было подготовленіемъ къ той болѣе серьезной литературѣ, которая возникала съ распространеніемъ образованія. Писатели новой школы подсмѣивались надъ этими „славными исторіями“, которыя казались уже грубыми и площадными, но онѣ донныя остались въ обиходѣ народнаго ученія, въ извѣстныхъ рыночныхъ, печатныхъ и лубочныхъ изданіяхъ—какъ „Францель Венціанъ“,

„Англійскій милордъ Георгъ“, „Египетскій царевичъ Полиціонъ“; по свидѣтельствамъ XVIII вѣка были популярны „Евдонъ и Вереа“, „Петръ Златые-Ключи“, „Арзасъ и Размира“ и т. д., которыхъ уже нѣтъ теперь въ народныхъ книгахъ. Осталось мало указаній о томъ, какъ складывалась эта литература; но, съ одной стороны, большое распространеніе рукописей, съ другой—громадный трудъ, положенный переводчиками на такіа произведенія, какъ „Азіатская Баниза“, „Гисторія о Коронатъ“ и др., наконецъ, замѣтки читателей указываютъ, что эта литература читалась съ великимъ увлеченіемъ. Это была интересная новизна, къ которой привлекали не только сказочныя приключенія героевъ и героинь, но и непривычныя изображенія чувства. Однимъ изъ такихъ читателей, въ началѣ второй половины столѣтія, былъ извѣстный Болотовъ.

Онъ такъ рассказываетъ о своей „чрезвычайной охотѣ“ къ чтенію книгъ: „За охоту къ тому обязанъ я книгѣ „Похожденія Телемака“. Не могу довольно изобразить, сколь великую произвела она мнѣ пользу! Я... не могъ довольно ей начитаться. Сладкій піитическій слогъ плѣнилъ мое сердце и мысли и влилъ въ меня вкусъ къ сочиненіямъ сего рода, и вперилъ любопытство къ чтенію и узнанію дальнѣйшаго. Я получилъ чрезъ нее повятіе о міеологіи, о древнихъ войнахъ и обыкновеніяхъ, о Троянской войнѣ, и мнѣ она такъ полюбилась, что у меня старинныя брови, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались непрерывно въ головѣ, къ чему много помогали и картинки, въ книгѣ находившіяся. Словомъ, книга сія служила первымъ камнемъ, положеннымъ въ фундаментъ всей моей будущей учености, и куда жаль, что у насъ въ Россіи было тогда еще такъ мало русскихъ книгъ, что въ домахъ нигдѣ не было не только библіотекъ, но ни малѣйшихъ собраній, а у французскихъ учителей того меньше. Литература у насъ тогда только что начиналась“ ¹⁾... Этотъ „сладкій піитическій слогъ“ Болотовъ нашель въ томъ первомъ печатномъ переводѣ Телемака, которымъ остался недоволенъ самъ Тредьяковскій: такъ мало еще замѣчали нескладность языка и такъ увлекательна была новостъ содержанія. Въ другой разъ одинъ знакомецъ принесъ Болотову „рукописную книгу“ и совѣтовалъ прочитатъ: „Книга сія была для меня очень любопытна, и какъ я сего рода книгъ никогда еще не читывалъ, то въ немногіе дни промололъ я ее всю, а не удовольствуясь однимъ разомъ прочелъ и въ другой разъ и могъ

¹⁾ Записки А. Т. Болотова. Т. I. Сиб. 1870, стр. 108.

ему пересказать все по пальцамъ". Знакомецъ былъ такъ доволенъ его вниманіемъ, что подарилъ ему книгу. „Я обрадовался тому до чрезвычайности и не зналъ какъ возблагодарить ему за оную. Составляла она переводъ одного французскаго и прямо, можно сказать, любовнаго романа подъ заглавіемъ „Эпаминондъ и Целеріана“, и произвела во мнѣ то дѣйствіе, что я получилъ понятіе о любовной страсти, но со стороны весьма нѣжной и прямо романтической, что послѣ послужило мнѣ въ немалую пользу“¹⁾.

Наконецъ, возникла русская повѣсть. Первые опыты ея восходятъ опять въ XVII вѣкъ. Буслаевъ такъ изображалъ состояніе народно-поэтическихъ интересовъ, въ которомъ становилось возможно появленіе повѣсти. Въ XVII вѣкѣ наступало странное раздвоеніе. „Съ одной стороны, за эпическій, ровный складъ стариннаго разсказа стоятъ сама жизнь, ровная въ своемъ обрядномъ теченіи; съ другой стороны, энергическія мѣры къ истребленію народныхъ суевѣрій лишали эпическую поэзію миѣической основы ея, колебля вѣру въ миѣическое чудесное. Старинная поэзія развиваться на прежнихъ суевѣріяхъ, столь рѣшительно искореняемыхъ, уже не могла; самая же жизнь, еще не выработавшись для новаго, болѣе согласнаго съ благочестивыми требованіями, органа, смиренно удовлетворялась эпическою сказкой. Потому русскіе люди XVII вѣка или боязливо потакали своей поэтической слабости, слушая на пирахъ и въ хороводахъ старинныя пѣсни, или же примиряли свои эстетическіе вкусы съ требованіями вѣка на стихахъ духовнаго содержанія. И такъ, какой же исходъ могла имѣть въ то время эпическая поэзія, пораженная въ корнѣ, остановленная въ своемъ прежнемъ теченіи?

„Миѣѣ развиваться не могъ. Сказки, переплетенныя небылицами, считались дѣломъ постыднымъ, непозволительнымъ... Миѣѣ смѣнился историческимъ событіемъ... Принявъ въ XVII вѣкѣ историческое направленіе, поэзія хотя и могла оставаться въ предѣлахъ эпическаго склада, но уже самое отклоненіе отъ миѣической основы даетъ намъ знать, что историческій путь, принятый фантазіею, образовался при болѣе положительномъ взглядѣ на дѣйствительность... Наступаетъ время разсужденія, наблюденія надъ тѣмъ, что окружаетъ человѣка и чѣмъ онъ живетъ. Самыя преслѣдованія предразсудковъ и эпическаго чудеснаго заставляютъ образумиться и осмотрѣться.

¹⁾ Тамъ же, стр. 182.

„При такомъ состояніи умовъ оказалась возможность повѣсти, какъ вѣрнаго разсказа о томъ, что и какъ въ жизни дѣлается“¹⁾.

Можно было бы нѣсколько видоизмѣнить или дополнить объясненіе факта. Мѣры къ истребленію народной пѣсни безъ сомнѣнія много содѣйствовали нѣкогда тому, что эпическая повѣсть не проникла въ книгу и черезъ это не могла вырасти въ литературный памятникъ, способный оплодотворить дальнѣйшую поэтическую дѣятельность,—но не только спеціальныя мѣры противъ суевѣрій, а также цѣлое теченіе жизни устраняло возможность непосредственнаго эпоса. Позднѣе, когда московская власть изъ своихъ оригинальныхъ морально-аскетическихъ побужденій преслѣдовала суевѣрія, а съ ними всякое поэтическое преданіе, пѣсню, сказку, музыку, для XVII вѣка уже независимо отъ преслѣдованій старое поэтическое творчество истощалось,—опыты повѣсти были инстинктивнымъ исканіемъ иныхъ поэтическихъ формъ, потому что прежнія уже не удовлетворяли нарождавшейся наблюдательности, потребности „образумиться и осмотрѣться“.

Первые опыты своей повѣсти вырабатывались прежде всего на почвѣ легендарной, такъ что въ началѣ лишь немногимъ отличаются отъ настоящей агиографической и апокрифической легенды о власти демоновъ надъ людьми, о происхожденіи вина, гдѣ дѣйствуетъ особый демонъ пьянственный, о рукописаніяхъ, какія бѣсамъ удается получать отъ слабыхъ людей, и т. п. Такъ, повѣсть „о бѣсноватой женѣ Соломонія“ является прямо въ формѣ одного изъ чудесъ, совершенныхъ помощью Богородицы и молитвами преподобныхъ Прокопія и Іоанна устюжскихъ²⁾; но „повѣсть о Саввѣ Грудцынѣ“, основанная на томъ же демоническомъ мотивѣ, уже не имѣетъ исключительно житійнаго характера, изображаетъ бытовой фактъ, обставляя его чертами времени и нравовъ. Чортъ, воспользовавшись тѣмъ, что Савва однажды пожелалъ помощи дьявола, явился къ нему въ видѣ друга и брата, по его неопытности взялъ съ него „малое рукописаніе“, затѣмъ служить ему, исполняетъ разныя его желанія, между прочимъ, сопровождаетъ его на войну (при осадѣ Смоленска, въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича), показываетъ даже царство „отца своего“, т.-е. сатаны. Дьявольское навож-

¹⁾ Вуслаевъ, „Историческіе очерки“, стр. 510—511.

²⁾ Издано у Костомарова, Памятники стар. русской литер., I, стр. 153—161. Пересказъ и объясненіе у Веселовскаго, въ „Ист. словесности“, Галахова, I, отд. I, стр. 482 и слѣд.

деніе открывається во время тяжкой болѣзни Саввы, когда онъ на исповѣди рассказываетъ свои приключенія іерею, — тогда бѣсъ напалъ на него, страшно его мучилъ; наконецъ, многими молитвами и защитой Богородицы Савва былъ избавленъ отъ бѣсы; въ церкви, во время херувимской, упало сверху передъ всѣмъ народомъ „богоотметное писаніе“ Саввы, все „заглаженное“. Савва сталъ инокомъ въ монастырѣ Чуда архистратига Михаила.

Въ монастырѣ кончаются и приключенія героя повѣсти о Горѣ-Злочастіи, въ своемъ родѣ единственной повѣсти XVII вѣка, которая примыкаетъ опять къ легендѣ и даже прямо къ народно-поэтическому творчеству. „Въ демоническомъ образѣ Гора, — говоритъ г. Веселовскій, — сошлись, не помирившись, двѣ различныя струи. Съ одной стороны народныя фаталистическія представленія о лихой долѣ, прирожденной, навязанной человѣку, не покидающей его до могилы, неизбежной, какъ рокъ. Онѣ дали народныя краски изображенію Гора. Какъ въ повѣсти, такъ и въ народныхъ пѣсняхъ, оно „лычкомъ связанное, подпоясанное“, его не избыть, оно всюду слѣдуетъ за горемыкой, въ лѣсъ и поле и сине море; летитъ за нимъ то сизымъ голубемъ, то соловьемъ, то сивой утицей; даже въ церкви оно его не оставляетъ. Но эти народныя черты служатъ въ повѣсти въ характеристикѣ существенно другого образа: демона христіанско-библейской легенды, древняго искушителя, нападающаго на человѣка, когда онъ, преступивъ заповѣдь, открывається, вліянію грѣха. Горе-злочастіе потому и овладѣваетъ молодымъ, что онъ ослушался родителей, пустился на грѣшную похвальбу — и оно отстаетъ отъ него, когда одумавшись, онъ вступилъ на спасенный путь“¹⁾, т. е. опять въ монастырь.

Совсѣмъ иной характеръ носятъ повѣсть, написанная по свидѣтельству одной рукописи въ 1680 году: „О російскомъ дворянинѣ Флорѣ Скобѣевѣ“. Содержаніе этой повѣсти довольно извѣстно: Скобѣевъ, молодой плутъ и ябедникъ, и человѣкъ небогатый, счумѣлъ путемъ разныхъ продѣлокъ жениться на дочери богатаго стольника и въ концѣ концовъ умилюститъ раздраженнаго тестя и получить за женой хорошее имѣніе. Рассказъ — въ духѣ тѣхъ легкихъ (переводныхъ) повѣстей, какія стали распространяться у насъ съ XVII вѣка; легендарнаго нѣтъ и слѣда.

Въ рукописяхъ Тихонравова находится передѣлка „Скобѣева“ подъ названіемъ: „Гисторія о російскомъ дворянинѣ Фролѣ

¹⁾ Веселовскій, тамъ же, стр. 479—480.

Скомраховѣ“. Тамъ же есть отрывокъ русскаго романа въ виршахъ, гдѣ разсказъ расположенъ по буквамъ азбуки, какъ будто въ подражаніе стариннымъ „толковымъ азбукамъ“: дѣйствіе происходитъ въ Москвѣ, и исторія о томъ, какъ дѣвица слюбилась съ парнемъ, передается съ нѣкоторыми характерными чертами русскаго быта. Небольшая повѣсть „о нѣкоторомъ гостѣ богатомъ и о славномъ о Карпѣ Сутуловѣ и о премудрой женѣ его, како не оскверни ложа мужа своего“, представляетъ анекдотическій разсказъ въ стилѣ польскихъ жартовъ и подобныхъ шутиливыхъ исторій, но въ русской обстановкѣ.

Такимъ образомъ повѣсть конца XVII вѣка находилась въ состояніи броженія. Въ ней мѣшались разныя стихіи: легендарная и бытовая, нравоучительная и чисто реалистическая, книжная и народная, но онѣ остались неразвитыми и не произвели новой литературной манеры; повѣсть лишена была опоры стараго эпического творчества, но вмѣстѣ и всякаго литературнаго опыта, а тѣмъ временемъ сложились новыя условія жизни и сильныя литературныя вліянія съ Запада, и старая повѣсть замолкла. „Новое идеальное содержаніе внесено было въ русскую повѣсть лишь Петровской реформой: вѣдшее освобожденіе женщины отъ стѣснительныхъ условій обычая повліяло на освобожденіе ея внутренней жизни, выдвинувъ въ ней элементъ личнаго чувства. Это должно было отразиться не только въ смягченіи общественныхъ и личныхъ отношеній между двумя полами, но и въ поднятіи идеальнаго уровня русской повѣсти первой трети XVIII-го столѣтія. Грубость нравовъ уступила мѣсто галантности; красота не вызываетъ грубо-чувственныхъ порывовъ: она осмыслена внутреннимъ чувствомъ, содержаніемъ личности. Это измѣняетъ точку зрѣнія: являются „искатели милостей“, любовь выражается неопредѣленнымъ томленіемъ, смутною тоскою и какимъ-то робкимъ заявленіемъ своего нравственнаго права. Новое откровеніе чувства вызвало и въ извѣстномъ слѣбѣ общества, открытомъ вѣянію реформы, и въ литературѣ тотъ психическій шаржъ, который отличаетъ лирику и попытки русской повѣсти въ 20—30 годахъ XVIII-го вѣка: чувствительность“¹⁾.

Приводилась въ примѣръ „Гисторія о россійскомъ матросѣ Василю Коріотскомъ и о прекрасной королевѣ Иракліи флоренской земли“. „Гисторія“ начиналась какъ будто вполнѣ на русской почвѣ, видимо во времена Петра. Русскій матросъ Василій отправленъ „въ Галандію для лучшаго познанія наукъ“; тамъ

¹⁾ Веселовскій, тамъ же, стр. 516—517.

онъ сдружился съ богатымъ голландскимъ гостемъ, т.-е. купцомъ, въ которому былъ поставленъ на квартиру, оказавъ ему услугу по его торговлѣ, и черезъ него самъ весьма обогатился. Пришелъ, наконецъ срокъ возвращенія въ Россію—матросы должны были „маршировать въ Санктпетербургъ“, въ томъ числѣ и Василій; голландскій гость сталъ „пріятно увѣщевать“ его, чтобы онъ остался, и наконецъ, когда матросъ настанвалъ, что долженъ ѣхать, чтобы повидать отца, находящагося „въ древности“, купецъ отпустилъ его, прося потомъ опять пріѣхать въ Голландію, далъ ему три корабля съ товарами и много денегъ, изъ которыхъ Василій, на всякій случай, зашилъ себѣ тысячу червонцевъ въ кафтанъ. Когда корабли отплыли изъ Голландіи, на седьмой день случилась страшная буря; корабли разсыяло по морю, а тотъ, на которомъ находился Василій, разбило, люди всѣ потонули, а Василю выбросило волнами на невѣстный островъ. Но здѣсь съ „россійскимъ матросомъ“ начинаются удивительныя приключенія. На островъ онъ попадаетъ къ разбойникамъ, успѣваетъ увѣрить ихъ, что онъ самъ также замѣчательный разбойникъ, и производитъ на нихъ такое впечатлѣніе, что, наконецъ, они выбираютъ его своимъ атаманомъ. Между прочимъ онъ открылъ, что разбойники скрывали въ тайномъ помѣщеніи на островѣ „дѣвицу зѣло прекрасну, въ златомъ одѣяніи королевскомъ одѣту“. Василій палъ отъ ея „лѣпоты“ на землю и узналъ отъ красавицы, что она—Ираклія, дочь короля флоренскаго, и была похищена этими разбойниками, которые еще спорятъ, кому она должна достаться. Василій съ своей стороны объяснилъ, что онъ—матросъ „изъ російской Европіи“ и тоже захваченъ разбойниками, и обѣщалъ освободить ее. Онъ успѣлъ въ этомъ: услалъ разбойниковъ въ море, нагрузилъ двухъ коней ихъ сокровищами и переправился черезъ море къ пристани, откуда „къ Цесаріи почтовые буеры бѣгаютъ“. Переѣхавши въ самую Цесарію, Василій нанялъ тамъ „нѣкоторый министерскій домъ“ и устроился въ немъ съ такимъ богатымъ уборомъ, что „при дворѣ цесарскомъ такихъ ливрей нѣтъ чистотою“. Самъ цесарь узналъ Василю и Ираклію; они жили у него въ великой славѣ, и Ираклія рѣшила ни за кого не выходить замужъ, кромѣ матроса Василю. Между прочимъ королева прекрасно умѣла играть „на арфіи“, и научила тому же своего любезнаго матроса. „Арфія“ пригодилась Василю въ его новыхъ приключеніяхъ, когда пріѣхалъ въ Цесарію флоренскій адмиралъ, которому король поручилъ разыскать свою дочь. Адмиралъ желалъ погубить Василю, но російскій матросъ успѣлъ

избѣжать его коварства, между прочимъ, при помощи „арфіи“, и въ концѣ концовъ уже въ самомъ флоренскомъ государствѣ адмиралъ былъ казненъ, россійскій матросъ вступилъ въ законный бракъ съ королевой Иракліей— „и было великое веселіе во всей Флоренцы три недѣли“.

Издатель повѣсти, считая ее оригинальнымъ русскимъ сочиненіемъ, находилъ, что хотя мотивы приключеній довольно обыкновенны въ литературѣ сказочной новеллы, но что „въ томъ сочетаніи, въ какомъ представляетъ ихъ фабула „Гисторіи о матросѣ Василю“, они, кажется, нигдѣ не встрѣчаются“. Оказалось, однако, что похождения россійскаго матроса съ тѣхъ поръ, какъ онъ попадаетъ на разбойничій островъ и, наконецъ, дѣлается флоренскимъ королемъ, вполне совпадаютъ съ другой „гисторіей“, описывающей приключенія гишпанскаго шляхтича Долторна и гишпанской королевы Элеоноры, при чемъ многія черты гораздо менѣе ясны и мотивированы въ исторіи матроса, чѣмъ въ исторіи гишпанскаго шляхтича, такъ что послѣдняя можетъ представляться образцомъ для первой.

Было еще нѣсколько исторій, въ которыхъ какіе-то невѣдомые писатели пытались подражать распространенной на русскомъ языкѣ иностранной повѣсти. Таковы: „Гисторія о скинскомъ принцѣ Любимѣ“, „Гисторія королевича Архилабона“, при которой замѣчено, что она сочинена трудами правительствующаго сената дѣйствительнаго коллегіи юнкора Петра Орлова (въ Москвѣ 1750). Одна изъ самыхъ оригинальныхъ исторій этого рода была очень распространенная, но не вполне до сихъ поръ изданная и изслѣдованная „Гисторія о россійскомъ дворянинѣ Александрѣ“. Герой ея еще въ „маломъ возрастѣ“ внушалъ удивленіе, „понеже отъ природы данной разумъ въ немъ такъ изострился, что философіи и протчихъ наукъ достиглъ“, но „склонность его была болѣе въ забавахъ, нежели въ удивленіи быть“. Когда Александръ „умѣренную силу въ себѣ позналъ“, то „возревновалъ красоту маловременной жизни свѣта сего зрѣти“ и попросился у отца за границу, „понеже во всемъ свѣтѣ до единого обычай имѣютъ чадъ своихъ обучати и потомъ въ чуждыя государства для обрѣтенія вещей чести и славы отпускаютъ“. Получивъ согласіе и благословеніе родителя, россійскій дворянинъ отправляется во Францію, сначала въ Парижъ, потомъ въ „Лилль“ и т. д., и ведетъ „ковалерскую“ жизнь, т.-е. заводитъ любовныя интриги, гдѣ объясняется въ любви „аріями“, дерется на дуэляхъ и т. п., и кончаетъ жизнь, не

успѣвъ вернуться домой. Въ разсказѣ есть, между прочимъ, весьма скабрѣзныя подробности.

Эта литература, весьма популярная въ свое время, съ трудомъ можетъ быть приурочена къ какому-нибудь опредѣленному классу авторовъ и переводчиковъ; они только изрѣдка называютъ себя. Такъ, переводчикомъ „Погубленнаго Рая“ Мильтона, — съ французскаго, — былъ, въ 1745, „дѣйствительный камеръгеръ и ордина святого Александра Невскаго кавалеръ“ баронъ А. Гр. Строгоновъ; переводчикомъ Энеиды — камеръ-коллегии переводчикъ Санковский; переводчикомъ „Зеркала восточныхъ принцессъ“ — Шляхетнаго кадетскаго корпуса гефрейтеръ Василій Будаковъ; переводчикомъ „Розъ изъ Вертограда“ Саади (съ латинскаго) — переводчикъ академіи наукъ Ильинскій (въ 1735); авторомъ исторіи королевича Архилабона былъ сенатскій „юнкоръ“ Орловъ. Читателями, какъ видно изъ записей, были грамотные люди всякихъ сословій, отъ гвардейскихъ капитановъ и помѣщиковъ до посадскихъ людей, купцовъ, канцеляристовъ, солдатъ и даже крестьянъ. Многіе изъ переводовъ должны относиться къ Петровской эпохѣ: на это указываетъ, между прочимъ, обиліе иностранныхъ словъ, употребляемыхъ еще въ томъ угловатомъ видѣ, когда они не успѣли сгладиться до ихъ нынѣшней формы; другія совсѣмъ вышли изъ употребленія ¹⁾. Изложеніе романовъ доставляетъ любопытныя указанія для исторіи литературнаго и книжно-народнаго языка за первую половину столѣтія.

Какъ по формѣ и языку, такъ и по содержанію эти повѣсти и переводныя, и попытки оригинальныхъ, носятъ на себѣ рѣзкую печать переходнаго звена между двумя непохожими одна на другую эпохами. Подлинная московская старина, поглощенная вопросами душевнаго спасенія и церковнаго правовѣрія, только подъ конецъ едва допустившая по крайней необходимости нѣкоторую тѣнь латинской схоластики, не помышляла даже о возможности такого чтенія, какъ легкая повѣсть съ небывалыми, а иногда нескромными приключеніями: такое чтеніе было бы предано проклятію, какъ душевредное. Теперь, къ половинѣ XVIII вѣка накопилась цѣлая масса этого чтенія, собравшагося отчасти еще невѣдомыми путями. Первымъ источникомъ было особливо то польское вліаніе, которое проходитъ въ разной степени че-

¹⁾ Апортаментъ, арія, асамблея, притти въ алтерацию (измѣниться въ лицѣ), банкетъ, волунтеръ, десперація и дисператныя рѣчи, драбантъ, ковалеръ, ковалерія (орденъ), конфузія, курантъ, либерія (ливрея), машкарать, персона (портретъ, въ этомъ смыслѣ извѣстно еще въ XVII вѣкѣ), пороль (т.-е. пароль, въ смыслѣ данного слова, обѣщанія), презентъ, сикурсъ, суетельство, статуи (муж. р.), шумованіе; наконецъ военная терминологія и т. д.

резъ весь XVII вѣкъ, особенно черезъ Кіевъ, но также и прямо изъ Литвы и Польши: отсюда шли остатки средневѣковой поэтической литературы, доживавшіе вѣкъ въ народномъ чтеніи. Къ нимъ присоединился мало-по-малу новый запасъ литературы, въ которомъ представлены были, наконецъ, самыя различныя образцы французскаго, нѣмецкаго и итальянскаго романа, особливо XVII вѣка. Разказы были для стариннаго читателя очень занимательны: они будили воображеніе, застывшее въ старомъ „книжномъ почитаніи“, затрогивали чувство, огрубѣвшее въ нравахъ Домостроя, вообще вводили въ новое настроеніе, походившее на поэзію. Какъ мѣшалось старое съ новымъ, можно судить и по внѣшней формѣ этой литературы. Книга оставалась безымянною: въ старину благочестивый книжникъ скрывалъ свое имя по своему смиренію; переводчикъ или сочинитель обыкновенно не выставлялъ своего имени и теперь, языкъ остается еще подъ вліяніемъ церковнаго склада; а Петровское время вводитъ и въ повѣсть множество иностранныхъ словъ, принятыхъ въ офиціальномъ языкѣ и частью необходимыхъ, потому что они изображали или неизвѣстные въ русскомъ быту предметы, или оттѣнки чувства, которые еще не успѣли найти себѣ русскаго выраженія. Сохранялся иногда и самый тонъ: въ самодѣльной исторіи о російскомъ дворянинѣ Александрѣ, описывающей жизнь „ковалерскую“, т.-е. весьма безпутную, говорится, что герой возревновалъ видѣть „красоту маловременной жизни свѣта сего“—въ легкомысленный разказъ вмѣшалась терминологія стараго аскетическаго поученія. Понятно, что съ позднѣйшей точки зрѣнія, напр., уже во второй половинѣ XVIII вѣка, какъ содержаніе этихъ романовъ, такъ и ихъ языкъ должны были казаться устарѣлыми и уродливыми, но въ свое время (какъ видно изъ разказовъ Болотова) они очень нравились, на-примѣръ, особенно въ томъ кругу начинавшаго учиться дворянства, изъ котораго должны были образоваться позднѣйшіе „читатели“.

Такъ медленно и такими шероховатыми путями шло исканіе новой литературной формы въ видѣ романа и повѣсти. Первые печатныя произведенія этого рода, какъ „Ѣзда въ островъ любви“ и „Аргенида“, въ переводахъ Тредьяковскаго, какъ первый переводъ Телемака (1747) и т. п., не были уже совершенной новостью для любителей чтенія: почва была подготовлена. Подобное происходило и въ другой области—литературѣ драматической.

Старая Русь не знала театра. Элементарные зародыши драмы

находились въ играхъ и обрядахъ, сопровождавшихъ народные праздники. Древніе церковно-славянскіе памятники упоминаютъ также объ особыхъ увеселителяхъ съ нѣмецкимъ названіемъ „шпильмановъ“, которые могли быть извѣстны не только на славянскомъ югѣ, но и на Руси. Русскіе памятники издавна говорятъ о скоморохахъ, а позднѣе встрѣчаются намеки на бытъ этихъ народныхъ увеселителей, которые странствовали съ мѣста на мѣсто цѣлыми большими ватагами, а при случаѣ и грабили. Въ старыхъ пѣсняхъ сохранились остатки репертуара скомороховъ: это были пѣсни веселыя, шутливыя, а частію и не весьма приличныя. Повидимому, давно были извѣстны, кромѣ паражанія, и маски. Безъ сомнѣнія, издавна проникали въ Москву скоморохи иностранные; въ первой половинѣ XVII вѣка Олеарій видѣлъ въ Москвѣ кукольную комедію, которая, по всей вѣроятности, была происхожденія иностраннаго. Были, наконецъ, элементарныя зачатки церковной драмы въ обрядахъ такъ называемаго „пещнаго дѣйства“... Но всѣ эти зародыши, — изъ какихъ, въ различныхъ комбинаціяхъ, вмѣстѣ съ вліяніями античной драмы, развился средневѣковой театръ Западной Европы, — остались у насъ совершенно неразвиты. Причина этого лежала прежде всего въ общемъ складѣ древней русской жизни. Вмѣстѣ съ пѣснями и народные зачатки драмы должны были считаться за нѣчто бѣсовское и зловерное. Правда, несмотря на запрещеніе обычая „треклятыхъ еллинъ“, народъ сохранилъ даже донынѣ многое изъ самой далекой старины; но литературное развитіе народно-поэтическихъ мотивовъ было остановлено. Люди благочестивые принимали запрещенія учительныхъ людей буквально, и во всей древней письменности не было другой рѣчи объ этихъ предметахъ, кромѣ осужденій и проклятій; къ церковнымъ поученіямъ присоединились официальные постановленія Стоглава, а при Алексѣѣ Михайловичѣ прямое правительственное запрещеніе всякаго народнаго веселья, игры, пѣсни и обряда; въ Домостроѣ добпорядочный бытъ русскаго человѣка былъ опредѣленъ какъ по монастырскому уставу... Вслѣдствіе всего этого произошло то странное явленіе, что въ тѣ времена, въ которыя многіе относятъ теперь самую подлинную русскую жизнь, была не только осуждена вся народная поэзія, но и на дѣлѣ была до значительной степени истреблена.

Тѣмъ не менѣе потребность въ театрѣ сказалась, и зачатки драматическаго зрѣлища явились еще въ этой старой Руси, потому что человѣческая природа наконецъ возмутилась поголовнымъ аскетическимъ подавленіемъ всякаго движенія фантазій.

Театръ возникалъ съ двухъ сторонъ: на югѣ въ школьной драмѣ, въ Москвѣ при дворѣ самого царя Алексѣя. Изъ Польши пришелъ въ Малороссію и Бѣлоруссію извѣстный вертепъ, который очень распространился, какъ рѣдкое увеселеніе, и соединялъ съ церковнымъ элементомъ также комическія сцены народнаго характера. Школьная драма явилась какъ принадлежность схоластической школы; питомцы кievской академіи неизмѣнно приносили эту драму въ Москву, какъ Симеонъ Полоцкій, Димитрій Ростовскій, Теофанъ и пр.; питомецъ той же академіи, Лещинскій, занесъ школьную драму даже въ Сибирь. Независимо отъ того, интересъ къ театру возникъ у царя Алексѣя подъ вліяніемъ его собственной обстановки: его ближайшіе люди и друзья, какъ бояринъ Матвѣевъ, Ординъ-Нащокинъ, Ртищевъ, передовые люди своего времени, бывали знакомы съ иностранцами Нѣмецкой слободы и ихъ обычаями; русскіе послы, ѣздившіе за границу, издавна рассказывали о любопытныхъ сценическихъ представленіяхъ; въ самой Москвѣ въ 1664 году была представлена комедія въ посольскомъ домѣ; наконецъ въ 1672 г. Матвѣевъ объявилъ полковнику фанъ-Стадену царскій приказъ ѣхать въ Курляндію, чтобы приговорить тамъ въ царскую службу разныхъ добрыхъ мастеровъ, и въ томъ числѣ такихъ, „которые бы умѣли всякія комедіи строить“. Фанъ-Стаденъ нанялъ въ Ригѣ нѣсколько человѣкъ актеровъ и между прочимъ такихъ, „которые на всѣхъ играхъ играютъ, чего никогда впредь сего на Москвѣ не слыхано“. Дѣло, однако, разстроилось: приглашенные актеры въ концѣ концовъ отказались ѣхать въ Московію, потому что были напуганы рассказами о трудностяхъ пути и о томъ, что въ Москвѣ иностранцамъ грозятъ кнутомъ и Сибирью. Стаденъ вывезъ только трубача и трехъ музыкантовъ. Но царю не терпѣлось. Въ томъ же 1672 году, 4 іюня, на шестой день по рожденіи Петра Великаго, „царь указалъ иноземцу магистру Ягану Готфриду учинити комедію, а на комедіи дѣйствовать изъ Библии книгу Есѣирь, и для того дѣйства устроить хоромину вновь“. Этотъ Яганъ Готфридъ, онъ же „магистръ Григорьевъ мартысбургенской“, былъ Іоганнъ Готфридъ Грегори, изъ Мерзебурга, одинъ изъ пасторовъ Нѣмецкой слободы, ученый человѣкъ, магистръ іенскаго университета: онъ давно жилъ въ Москвѣ; въ одной поѣздкѣ въ Германію исполнялъ даже порученіе московскаго правительства, былъ человѣкъ умный и практическій, и въ свое время былъ знакомъ съ тогдашнимъ нѣмецкимъ театромъ. Пока строилась въ Преображенскомъ комедійная хоромина, Грегори и помощникъ его по нѣмецкой школѣ въ слободѣ, Рингуберъ, сочиняли пьесу

объ Ессѣри и Артаксерксѣ на основаніи извѣстнаго имъ нѣмецкаго репертуара, а въ то же время собрали дѣтей разныхъ чиновъ служивыхъ и торговыхъ иноземцевъ, 64 человекъ, и при помощи русскаго учителя стали учить ихъ театральному дѣлу на нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ. Въ октябрѣ 1674 года происходило первое представленіе „Артаксерксова дѣйства“. Прежде чѣмъ рѣшиться пойти на это зрѣлище, царь совѣтовался съ своимъ духовникомъ, протопопомъ Савиновымъ, и послѣдній далъ ему разрѣшеніе, указавъ примѣры другихъ государей, а особливо греческихъ императоровъ, которые устраивали театральныя дѣйства въ своихъ палатахъ. Царь былъ въ восторгѣ отъ невиданнаго зрѣлища. Въ слѣдующемъ году пастору поручено было специально обучать комедійному дѣлу 26 человекъ мѣщанскихъ и подьяческихъ дѣтей, выбранныхъ въ „его царскаго величества экомедіанты“, такъ что составила первая въ своемъ родѣ театральная школа. Кромѣ „Артаксерксова дѣйства“ поставлены были другія пьесы; царь зазывалъ въ театръ своихъ приближенныхъ, „въ походъ въ Преображенское“, а наконецъ привелъ въ театръ царицу и царевенъ, для которыхъ устроена была особая ложа, закрытая частою рѣшеткою. Грегори главнымъ образомъ „дѣйствовалъ изъ Библіи“, т.-е. бралъ библейскіе сюжеты, но трактовалъ ихъ, повидимому, довольно свободно въ стилѣ такъ называемыхъ англійскихъ комедій, которыя были тогда въ ходу въ Германіи; кромѣ пьесъ серьезныхъ или „жалостныхъ“, были также „прохладныя“ или „потѣшныя“; серьезное дѣйствіе прерывалось комическими эпизодами.

По смерти Грегори (1675), руководителемъ театра былъ нѣкто Чижинскій, „львовскаго повѣту шляхетской сынъ, благочестивыя вѣры греческаго закону“. По смерти царя Алексѣя комедійная хоромина была закрыта, но она оставила свое дѣйствіе: театральное зрѣлище, устроенное по приказу царя, перестало быть въ глазахъ московскихъ людей столь грѣховнымъ дѣломъ, какъ говорили старыя поученія, и хотя въ послѣдніе годы XVII вѣка театръ не возобновлялся, но почва для него была готова, до болѣе благопріятныхъ условий. По преданію, царевна Софья любила театръ, и въ ея теремѣ разыгрывались въ ближайшемъ кругу даже пьесы ея собственнаго сочиненія. „Софія, — говорилъ Карамзинъ, — занималась и литературою: писала трагедіи и сама играла ихъ въ кругу своихъ приближенныхъ. Мы читали въ рукописи одну изъ ея драмъ, и думаемъ, что царевна могла бы сравняться съ лучшими писательницами всѣхъ временъ, еслибы просвѣщенный вкусъ управлялъ ея воображеніемъ“. Въ послѣдствіи была

даже сообщена афиша 1678 года, съ именами участвовавшихъ въ представленіи „благородныхъ дѣвицъ и мужчинъ“. Въ дѣйствительности ничего этого не было, и въ преданіи царевна Софья смѣшана была съ царевной Натальей Алексѣвной, которая позднѣе была дѣйствительно любительницей театра.

Театръ появился снова уже при Петрѣ. Во время перваго пребыванія за границей царь увидѣлъ, что театръ можетъ быть хорошимъ увеселеніемъ и, вернувшись домой, сдѣлалъ распоряженіе о вызовѣ въ Россію труппы нѣмецкихъ актеровъ. Послѣ разныхъ проволочекъ, въ Москвѣ была выстроена новая театральная хоромина со всѣми приспособленіями, и первыя представленія даны были, повидимому, на святкахъ въ 1702—1703 году, частію на нѣмецкомъ, частію на русскомъ языкахъ, потому что и этой труппѣ даны были русскіе ученики. Театръ продержался недолго, и взамѣнъ его устроился театръ въ селѣ Преображенскомъ у царевны Натальи, куда и взято было „уборство“ изъ старой комедіи, а потомъ въ Измайловѣ у царицы Прасковьи Ѳеодоровны. Устроился въ Москвѣ и другой театръ въ большемъ госпиталѣ на Яузѣ, гдѣ давали представленія ученики хирургической школы, которыхъ начальство госпиталя старалось набирать изъ питомцевъ Славяно-греко-латинской академіи. Когда дворъ переселился въ Петербургъ, въ новой столицѣ также устроенъ былъ театръ, о которомъ позаботилась царевна Наталья: актеры были придворные русскіе,—можетъ быть, учившіеся у нѣмецкихъ актеровъ въ Москвѣ. Во время втораго путешествія за границу, Петръ часто бывалъ въ театрѣ и опять сдѣлалъ распоряженіе о вызовѣ нѣмецкихъ актеровъ: въ Петербургѣ дѣйствительно давали потомъ представленія нѣмецкіе актеры; былъ упомянутый русскій театръ царевны Натальи, а кромѣ того упоминался театръ простонародный, гдѣ давались балаганные фарсы. Благодаря сохранившемуся „Описанію комедіямъ, что какихъ есть въ государственномъ посольскомъ приказѣ мая по 30 число 1709 года“, и нѣкоторымъ уцѣлѣвшимъ пьесамъ, можно составить понятіе о репертуарѣ нашего театра въ первые годы царствованія Петра Великаго ¹⁾.

¹⁾ Въ этомъ описаніи перечислены слѣдующія пьесы:

1. О Фронтисіеѣ (Фронтисіс?), король Шипрскомъ, и о Мирандонѣ сынѣ его и о прочихъ.

2. О честномъ нѣмѣнникѣ, въ ней же первая персона арцухъ Фридрихъ фонъ Поппей.

3. Донъ Педро, почитанный шляхта, и Амариллисъ, дочь его (О донъ-Янѣ и донъ-Педрѣ).

4. Прельщенный любящій.

Такимъ образомъ, начиная съ театра Грегори и до конца правленія Петра, наша драма получила свой матеріалъ главнымъ образомъ изъ тогдашняго репертуара нѣмецкихъ странствующихъ актеровъ. Въ приведенномъ списокѣ 1709 года и позднѣе, встрѣчаются нѣмецкія Haupt-Actionen, „главные дѣйства“, и Nachspiele, и импровизированные фарсы. Какъ нѣмецкій театръ собиралъ отовсюду свой матеріалъ, такъ и здѣсь находятся слѣды литературы нѣмецкой, французской, итальянской, испанской. Со временъ Грегори, репертуаръ сталъ шире и свободнѣе. Грегори, главнымъ образомъ, „дѣйствовавшій изъ Библии“, придавалъ пьесамъ характеръ правоучительный, и это было естественно: впервые вводимое зрѣлище нуждалось въ оправданіи среди людей, привыкшихъ въ литературѣ къ поученію. Въ новомъ репертуарѣ явилось первое собраніе разнородныхъ пьесъ, между прочимъ на сюжеты, совершенно невѣдомые русскому зрителю. Такъ какъ театръ былъ дѣломъ правительственнымъ, то привозныя пьесы нѣмецкихъ антрепренеровъ переводились въ посольскомъ приказѣ — единственномъ тогда учрежденіи, представлявшемъ подобіе учености; и какъ нѣкогда первые русскіе переводчики рыцарскихъ романовъ приходили въ недоумѣніе, когда имъ нужно было передавать неизвѣстныя у насъ черты рыцарскихъ нравовъ, такъ теперь переводчики драмъ писали нерѣдко нѣчто неподобное. Немудрено, что этотъ репертуаръ не бросилъ корня въ литературѣ и вскорѣ былъ окончательно забытъ. Тихонравовъ объяснялъ это тѣмъ, что комедіальная хранина Петра Великаго не имѣла того, что составляетъ душу театра, не имѣла художественной драматической литературы: „храмина поднялась на Красной площади въ то время, когда

5. Принцъ Пизель-Гарингъ, или Жодельетъ комедія, самый свой торжественный заключникъ.

6. О крѣпости Грубстона (?), въ ней же первая персона Александръ Македонскій.

7. Сципію Африканъ, вожь римскій, и погубленіе Софонизбы, королевы Нумидійскія.

8. О графинѣ Триерской Геновей.

9. Два завоеванные города, въ ней же первая персона Юлій Кесарь.

10. Постоянный Панинъанусъ.

11. Порога (рожденіе) Геркулесова, въ ней же первая персона Юпитеръ.

12. О Базетѣ и Тамерланѣ.

13. О докторѣ битомъ (Докторъ принужденный), шутовская.

14. О Тенерѣ, Лизеттигъ отцѣ, винопродавцѣ, перечневая, шутовская. Семена Смирнова.

15. О Тонвуртнѣ, старомъ шляхтичѣ, съ дочерью, перечневая, шутовская. Семена Смирнова.

Нѣкоторые изъ этихъ пьесъ сохранились, именно №№ 2. 3. 5. 7. 11 и 12 и изданы въ сборникѣ Тихонравова. Изложеніе и характеристика этихъ пьесъ у Морозова, стр. 228 и слѣд.

преобразованная Россія еще не успѣла создать себѣ литературнаго языка". Другой изслѣдователь находилъ причины неуспѣха скорѣе въ самомъ содержаніи и характерѣ драматическихъ произведеній, занесенныхъ тогда изъ Германіи. „Эти произведенія, по самой сущности своей, были до такой степени чужды русской жизни того времени, нравамъ и понятіямъ тогдашняго русскаго общества, что интересъ, ими возбуждаемый, могъ быть лишь чисто внѣшній и скоропреходящій. Напыщенная декламация Лознштейна и Грифіуса, патетическіе и сентиментальные монологи Чиконьини, трогательныя чувства злополучной графини Геновевы были совершенно необычны и неповтѣны для русскаго человѣка, воспитаннаго въ иной обстановкѣ, привыкшаго мыслить и чувствовать совсѣмъ на другой ладъ. Чего нѣтъ въ жизни, того нѣтъ и въ языкѣ,—и неудивительно, что переводчики посольскаго приказа изнемогали подъ непосильнымъ бременемъ, не имѣя средствъ для сколько-нибудь вразумительной передачи нѣмецкаго текста, а русскіе актеры „за недознатіемъ въ рѣчахъ“ дѣйствовали „не въ твердости“¹⁾. Передъ тѣмъ не было никакой литературы на живомъ языкѣ общества; самый этотъ языкъ представлялъ даже въ практическомъ употребленіи пеструю смѣсь церковнаго и народнаго (Третьяковскій послѣ говорилъ, что во время своего ученья онъ въ обыкновенномъ разговорѣ употреблялъ церковно-славянскій языкъ!); во времена Петра прибавился пестрый языкъ техническій, но не было никакихъ средствъ выраженія ни для извѣстныхъ понятій или чужихъ обычаевъ, ни для оттѣнковъ чувства, которыхъ старыя русскіе люди не вѣдали. При первой встрѣчѣ съ болѣе высокимъ литературнымъ уровнемъ неизбежны были недоумѣнія переводчиковъ посольскаго приказа. Повидимому, наиболѣе понятную долю этой старой драмы представляли комическія интермедіи, которыя своимъ балаганнымъ шутовствомъ могли быть близки къ старымъ скоморошнымъ играмъ и между прочимъ отличались особеннымъ цинизмомъ. „Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ здѣсь является гаеръ²⁾, русское воплощеніе Гансворста; содержаніемъ служатъ въ высшей степени циничныя приключенія гаера съ старухой, молодкой, пьянымъ мужикомъ, сцены молодки съ шляхтичемъ, продажа гаера цыганомъ купцу и т. д. Читая эту сцену, удивляешься, какъ могли быть представлены публично изображаемыя въ ней дѣйствія, и какою беззастѣнчивостью отличалась публика, передъ которою можно было разы-

¹⁾ Морозовъ, Ист. р. театра, стр. 262.

²⁾ Съ нѣмецкаго Geiger.

грывать подобныя вещи. Интермедіи написаны точно такою же риёмованною прозою, какъ и тексты нашихъ народныхъ картинокъ; на послѣднихъ въ старое безцензурное время нерѣдко изображались подобныя же сцены, и Д. А. Ровинскій не безъ основанія предполагаетъ, что нѣкоторыя изъ описанныхъ имъ „потѣшныхъ листовъ“ являются именно иллюстраціями интермедій. Подобныя же представленія перешли и въ кукольную нашу комедію, и наконецъ слѣды ихъ остались чуть ли не до настоящаго времени въ тѣхъ приговорахъ, которымъ расшники поясняетъ картины, показываемыя „избранной“ публикѣ и за особую плату“¹⁾. Въ связи съ подобными пьесами, съ силлабическимъ стихомъ и, вѣроятно, съ еще болѣе старымъ складомъ пословицы и поговорки, образовалась та риёмованная проза, которая стала принадлежностью народныхъ рассказовъ и лубочныхъ картинокъ.

Кромѣ комическихъ интермедій, какія имѣли мѣсто и въ школьной драмѣ и обыкновенно спускались отъ героическаго или священнаго дѣйствія въ простонародную среду, были также понятны болѣе простыя драматическія положенія, и тѣ пьесы, гдѣ была знакома самая тема. Между прочимъ передѣланы были для сцены нѣкоторыя изъ упомянутыхъ романическихъ исторій. Такъ въ числѣ пьесъ, которыя разыгрывались въ Москвѣ студентами Славяно-греко-россійской академіи вмѣстѣ съ придворными служителями, были пьесы: „Евдонъ и Бероа“, „Индрикъ (Генрихъ) и Меленда“, комедія „о Калеандрѣ цесаревичѣ греческомъ“, и Неонильдѣ, цесаревичѣ тревизондской“. Это были, повидимому, собственныя издѣлія нашихъ любителей театра и, слѣдовательно, первые опыты свѣтской драмы.

Между прочимъ, въ старомъ репертуарѣ встрѣчаются пьесы, переведенныя не въ посольскомъ приказѣ, какъ напр., „Амфитріонъ“ Мольера и переводъ его же „Précieuses ridicules“. Если вообще первые опыты переводнаго драматическаго мастерства были тяжелы и угловаты, то верхъ уродства есть переводъ „Précieuses ridicules“: „Драгья смѣяныя“ или „Дражайшее потѣшеніе“. „Трудно найти другую пьесу Мольера, — говоритъ г. Морозовъ, — которая была бы менѣе доступна для передачи на русскій языкъ того времени и по своему содержанію такъ мало подходила бы къ русской жизни и понятіямъ начала прошлаго вѣка. Этотъ странный выборъ можно объяснить только тою популярностью, какою пользовалась эта комедія на нѣмецкихъ

¹⁾ Морозовъ, тамъ же, стр. 283.

странствующихъ сценахъ конца XVII столѣтія“. Быть можетъ, нѣмецкіе актеры играли ее въ Москвѣ на нѣмецкомъ языкѣ, и отсюда она получила извѣстность ¹⁾: около 1708, повидимому, предполагалось представить ее въ Новгородѣ, „предъ королемъ самоѣдскимъ“, какъ назывался одинъ изъ шутовъ Петра Великаго. Представленіе, кажется, не состоялось, и самый переводъ пьесы не оконченъ: пьеса осталась литературной нелѣпостью, гдѣ безъ справки съ оригиналомъ нельзя понять почти ни одного слова ²⁾. Переводчикъ плохо зналъ и французскій языкъ, но и лучшій стилистъ тѣхъ временъ не могъ бы передать эту пьесу Мольера понятно для русскихъ читателей: непонятенъ былъ самый предметъ.

Процвѣтала и духовная драма, между прочимъ на театрахъ царевны Наталы и царицы Прасковьи, и въ московской Академіи. Таково было „дѣйствіе о Георгіи и Плавидѣ“, „исторія о царѣ Давидѣ и сынѣ его Соломонѣ Премудромъ“; драматическая обработка притчи о Лазарѣ подъ заглавіемъ: „Комедія Ужасная измѣна сластолюбиваго житія съ прискорбнымъ и нищетнымъ, въ евангельскомъ пиролюбцѣ и Лазарѣ изображенная, нынѣ же при запустныхъ пированіяхъ, дѣйствіемъ благородныхъ великороссійскихъ младенцевъ, въ новосіающихъ славяно-латинскихъ Аѳинахъ, въ царствующемъ и богоспасаемомъ великомъ градѣ Москвѣ явленная“. Нравоученіе передано при помощи цѣлаго ряда аллегорическихъ фигуръ, изображающихъ Сластолюбіе, Прелесть, Милость Божію, Совѣсть, Грѣхъ, Воздаяніе и пр. Рукопись, по которой издана комедія была, очевидно, театральнымъ экземпляромъ; на поляхъ сдѣланы подробныя „ремарки“ о ходѣ дѣйствія, устройствѣ сцены, костюмахъ. Такъ Сластолюбіе выѣзжаетъ на седмглавомъ змѣѣ; Милости Божіей потребно сердце горящее, пробитое стрѣлою, и чаша; Истина держитъ мечъ и вѣсы и т. п.

Эта символика, заимствованная изъ европейскаго образца, была опять нововведеніемъ, параллельнымъ съ новыми литературными вкусами. Еще съ XVI вѣка являются на западѣ цѣлыя сборники символовъ и эмблемъ, которые были особенно распространены въ XVII и XVIII-мъ. Сборники объясняли, какъ примѣнить аллегорическій рисунокъ въ выраженію нравственныхъ сентенцій и вообще остроумныхъ изреченій. „Казалось недостаточнымъ

¹⁾ Французское заглавіе пьесы и въ старомъ нѣмецкомъ переводѣ не было понято: „Die kostbare Lächerlichkeit oder die spitzfindigen, doch aber recht bestrafte Mädchen“.

²⁾ Тамъ же, стр. 267—269.

выразить мысль въ ея голой простотѣ,—говорилъ Буслаевъ по поводу иллюстраціи стихотвореній Державина:—надобно было облечь ее въ фигуру, придать ей фигуральный оборотъ, изворотить ее на новый манеръ, сдѣлать ее манерною, превратить ее въ замысловатую фразу, въ загадку, облеченную въ эти символы и эмблемы... Всѣ первоначальныя идеи, изъ которыхъ когда-то, по внутренней потребности, органически возникали художественныя формы и греческой міеологіи, и христіанской символики, и средневѣковаго мистицизма, — измельчали и обезмыслились въ этихъ сборникахъ символовъ и эмблемъ, будучи приняты въ ихъ вѣдшихъ выраженіяхъ только какъ знаки разныхъ отвлеченныхъ мыслей" ¹⁾. Въ числѣ первыхъ книгъ Петровскаго времени были изданы въ 1705, въ Амстердамѣ, „Символы и Емблемата“, заключающіе до 840 аллегорическихъ рисунковъ, съ объясненіями на нѣсколькихъ языкахъ, при чемъ русскія объясненія вообще темны по неумѣлости переводчика ²⁾. Мода на символы проявилась теперь въ разныхъ примѣненіяхъ, которыми Петръ пользовался для своихъ цѣлей. Уже въ 1697, по случаю взятія Азова, устроена была огненная потѣха съ аллегорическими фигурами: извѣстныя эмблемы стали потомъ принадлежностью Петровскихъ триумфовъ—орелъ, терзающій луну, „седьми скованныхъ мужей начертанія“, означавшія взятіе семи турецкихъ городовъ и т. п. Въ 1702, представлено было „Страшное изображеніе второго пришествія Господня на землю“, гдѣ послѣ извѣстной въ школьныхъ драмахъ аллегоріи царства земного и небеснаго, и явленія карающей смерти вставлены эпизоды современнаго политическаго содержанія, а именно изображеніе самоволія и гордыни, терзающихъ Польшу, и торжествующаго Марса Роксолянскаго, и въ заключеніе совершается страшный судъ. На новый 1703 годъ была устроена огненная потѣха, а 16 января въ Академіи представлено триумфальное дѣйство подъ названіемъ: „Торжество міра православнаго“, гдѣ являются русскій Марсъ, Злочестіе, Фортуна, Мужество, Слава и т. д. Въ 1703 шла война въ Ингерманландіи, 16 мая основанъ Петербургъ, и въ началѣ ноября происходилъ торжественный въѣздъ въ Москву, для чего сдѣланы были трое триумфальныхъ воротъ и одни изъ нихъ устроены были „учительнымъ собраніемъ“ Академіи: описаніе ихъ напечатано было особою книжкой, съ

¹⁾ Буслаевъ, „Мои досуги“, М. 1886, стр. 80 и далѣе; Морозовъ, тамъ же, стр. 308 и далѣе.

²⁾ Пекарскій, „Наука и литература“, II, стр. 112—115. Это изданіе „Символовъ“, съ дополненіями и съ подновленіемъ языка, повторено было въ 1788 и 1811.

объясненіемъ символическихъ фигуръ, украшавшихъ ворота и служившихъ къ прославленію російскаго Геркулеса: „Торжественная врата, вводящая въ храмъ безсмертныя славы, непобѣдимому имени новаго въ Россіи Геркулеса, великаго побѣдителя Тиракиа, грома, поражающаго свѣтскую силу, плѣнителя Ижерскія земли, устрашителя всея вселенныя, предыдущаго вѣка чудесе, отечества же своего всероссійскаго обновителя красоты и славы“ и т. д.

Такимъ образомъ въ одномъ тонѣ сливались панегирическая проповѣдь, какъ у Стефана Яворскаго, и школьная драма, поставившая триумфальныя дѣйства, и огненная потѣха и триумфальныя врата съ символическими фигурами, и наконецъ стихотворство. „Символы и Емблемата“, изданныя въ Амстердамѣ, были по тому времени совершенно необходимы. Въ школьных торжественныхъ дѣйствахъ странно соединялись аллегоріи и символы совершенно противоположныя, а именно, библейскіе и мифологическіе, т.-е. языческіе. Въ восхваленіяхъ побѣдъ Петра Марсъ является поборникомъ православія, Фортуна украшаетъ російскаго орла, Иисусъ Навинъ изображаетъ Петра, а въ то же время Петръ является Геркулесомъ, побѣждающимъ льва, Персеємъ, освобождающимъ Андромеду, и пр. Это была перенятая манера школьной іезуитской реторики и пѣтики; противъ нея возставалъ Теофанъ Прокоповичъ, полагавшій, что христіанскій поэтъ „не долженъ вмѣшивать языческихъ боговъ или богинь въ какое-либо дѣло нашего Бога или героевъ, олицетворяющихъ собою какія-либо добродѣтели“. Школьные драматурги московской Академіи не стѣснялись этимъ смѣшеніемъ; но въ торжественныхъ вратахъ употреблялись одни мифологическія изображенія. Это различіе между драматическимъ представленіемъ и „торжественными вратами“ было специально объяснено самимъ префектомъ Академіи, іеромонахомъ Туробойскимъ, въ предисловіи къ описанію торжественныхъ вратъ, устроенныхъ въ декабрѣ 1704, послѣ взятія Дерпта и Нарвы. Сущность объясненія состоитъ въ томъ, что торжественныя врата относятся къ дѣлу свѣтскому, гдѣ, по мнѣнію префекта, къ божественнымъ писаніямъ обращаться не подобаетъ. Онъ говоритъ: „Мнѣ, удивившися, православный читателю, яко торжественная сія врата не отъ божественныхъ писаній, но отъ мірскихъ исторій, не святыми иконами, но отъ мірскихъ историковъ или отъ стихотворцевъ вымышленными лицами и подобіями, отъ звѣрей, птицъ, деревьевъ и прочихъ, вещь намѣренную изображаемъ. Вѣдати же тебѣ подобаетъ, яко сія не суть храмъ или церковь во имя нѣкоего отъ святыхъ созданная,

но политичная, сіесть гражданская похвала труждающимся о цѣлости отечества своего... Растетъ бо всякому богодушному кавалеру въ мужественнымъ дѣламъ усердіе и дерзость, егда дѣла и труды своя съ древнихъ отъ всея вселенныя почтенныхъ кавалеровъ дѣлами зрить равночестна или тѣмъ уподобляема". По словамъ префекта, въ то время во всѣхъ христіанскихъ странахъ, свободныхъ отъ варварскаго ига, славнымъ побѣдителямъ, возвращающимся съ торжествомъ отъ брани, благодарные подданные, особливо въ академіяхъ и всякихъ школьныхъ собраніяхъ, гдѣ не только духовное, но и политичное ученіе сіяетъ, привыкли составлять похвальные вѣнцы отъ обоихъ писаній, а именно: отъ божественныхъ — въ церквахъ или другихъ прибранныхъ на то мѣстахъ, а отъ мірскихъ исторій — на торжищахъ, улицахъ и другихъ мѣстахъ, приличныхъ всенародному зрѣнію. А такъ какъ въ московской Академіи повелѣно наставлять русскихъ юношей не только въ божественныхъ писаніяхъ, но и въ мірскихъ исторіяхъ и всякихъ политичныхъ обыкновеніяхъ, то учителя ея, хотя и люди духовные, стараются исполнять оба эти дѣла.

Затѣмъ устроено было по разнымъ случаямъ еще нѣсколько торжественныхъ вратъ, и въ Академіи исполнено нѣсколько торжественныхъ дѣйствъ, въ устройствѣ которыхъ потребовались труды московскихъ риторовъ. Раньше была упомянута „Политиколѣпная Апоееосисъ“ по случаю Полтавской побѣды. Въ февралѣ 1710 представлено было дѣйство отъ божественныхъ писаній, подъ заглавіемъ: „Божіе уничижителей гордыхъ уничиженіе“, гдѣ исторія Давида и Голіафа примѣнена къ событіямъ шведской войны и въ частности къ Полтавской побѣдѣ и измѣнѣ Мазепы. Полагаютъ, что тема этихъ аллегорій была дана самимъ Петромъ ¹⁾.

Еще одно торжественное дѣйство временъ Петра, подъ названіемъ: „Слава Россійская“, написано было по случаю „торжественнаго всероссійскаго триумфа коронованія“ Екатерины I, и разыграно (или „дѣйствіемъ персональнымъ изображено“) въ

¹⁾ По его приказу Теофилактъ Лопатинскій, тогдашній ректоръ Академіи, сочинилъ благодарственную церковную службу, которая была представлена Петру, и онъ сдѣлалъ къ ней любопытныя поправки. Въ одной пѣсни находились слова: „Воистину крестъ твой, Господи, оружіе непобѣдимое есть, снѣмъ бо врагъ нашъ и посмѣлитель силы креста низложися, мы же побѣдители явихомся“. Петръ замѣтилъ на это: „Сію пѣснь всю переимѣнить, поуже бо не идетъ о законѣ, а горда была (Швеція): война не о вѣрѣ, но о мѣртѣ; такожь и у нихъ (шведовъ) крестъ есть во употребленіи и почитаніи. А кажется прилично вмѣсто сего взять слова Голіафа гордя къ Давиду, а отъ Давида уповательныя на Бога, что праведнѣе, сходнѣе сіе исторіи будетъ“.

май 1724 года „въ московской гоѣшпиталѣ“. Пьеса написана силлабическими стихами по обычнымъ правиламъ, и на сценѣ являются Истина, Мудрость, Марсъ, Нептунъ или олицетворенная Россія, Полонія, Турція, Швеція и пр. Московская Академія привѣтствовала прїѣздъ въ Москву Петра II въ началѣ 1728 „комедіей“ о Езекин царѣ израильскомъ. За время Анны Ивановны нѣтъ извѣстій о представленіяхъ московской Академіи, но въ собственномъ дворцѣ Анны представлено было „дѣйство“ объ Іосифѣ, въ постановкѣ, а можетъ быть и въ сочиненіи котораго принималъ участіе Тредьяковскій. Во время пребыванія въ московской Академіи (1723—1726) Тредьяковскій, по его словамъ, написалъ двѣ драмы: „Язонъ“ и „Титъ, Веспасіановъ сынъ“, которыя представлены были въ Академіи, но потомъ затерялись и любопытны тѣмъ, что взяты были уже не изъ Библии, а изъ мифологіи и мірской исторіи.

За отсутствіемъ театра, въ царствованіе Анны Ивановны, явились въ Петербургѣ нѣмецкіе „кунштмастеры“, съ театромъ маріонетокъ, о которомъ объявлялось, между прочимъ, въ афишахъ такимъ образомъ: „Извѣстно чинится, что недавно прибывшіе сюда нѣмецкіе показыватели выпускныхъ куколъ смотрѣнія достойную комедію представлять будутъ: о преступленіи прародителей Адама и Евы, гдѣ показаны будутъ виды неба, ада и краснаго рая, съ различными звѣрами и пріятнымъ пѣніемъ птицъ“. Кромѣ Адама и Евы, изображались цѣломудренный Іосифъ, распятіе Христово („которое состоитъ изъ девяти фигуръ, движеніе глазами и руками дѣлающихъ, что не чрезъ стекло, но просто видимо будетъ“), Есѣиръ и Агасѣиръ, „Житіе и смерть Донъ-Жуана, или зеркало злочинной юности“, „Принцъ Флоріанъ и прекрасная Банцефорія“ (изъ стариннаго романа) и т. д. Наконецъ, устроился театръ при дворѣ, гдѣ дѣйствовали нѣмецкіе и особенно итальянскіе актеры, и такъ какъ императрица по-итальянски не знала, то Штелинъ долженъ былъ составлять для этихъ пьесъ нѣмецкія либретто, которыя переводились на русскій языкъ Тредьяковскимъ. Судя по заглавіямъ „комедіевъ“ и „интермедіевъ“, это была почти сплошь арлекинада народнаго итальянскаго театра и вкусъ ея былъ не перваго сорта. Въ 1736, при дворѣ появилась итальянская опера; Тредьяковскій былъ опять переводчикомъ либретто. Есть извѣстіе, что русскіе спектакли устраивались тогда приближенными цесаревны Елизаветы Петровны. Послѣднимъ заявленіемъ школьной академической драмы въ Москвѣ была, кажется, драма „Стефанотокость“, написанная силлабическими стихами по обычнымъ прие-

мамъ школьнаго дѣйства съ библейскими и аллегорическими лицами, а также и съ политическимъ намекомъ. „Стефанотокозь“ значить: рожденный въ коронѣ; лишенный престола происками рабовъ и пришлыхъ иноземцевъ, онъ долженъ былъ изображать Елизавету и освобожденіе Россіи отъ ига иноземцевъ при ея воцареніи. Подъ видомъ злобнаго иноземнаго гонителя Амана подразумѣвался, безъ сомнѣнія, Биронъ, и рѣчи дѣйствующихъ лицъ должны были указывать на положеніе Россіи во время его правленія. Въ аллегорическомъ антипрологѣ на сцену выходятъ два мальчика и пускаютъ мыльные пузыри, которые лопаются, затѣмъ одинъ изъ мальчиковъ бросаетъ на землю стаканъ, разбиваетъ его на мелкія части и восклицаетъ: „Тако совѣты нечестивыхъ!“ Далѣе дается объясненіе: „Примѣръ сей подлежащему нынѣшнему дѣйствию, аки заглавіе или надписаніе, того ради положить умыслихомъ, да всякъ можетъ чувствами своими осязати сіе, что коварные челоуѣцы, сколь боліе хитрыхъ ради своихъ пронырствъ и злокозненныхъ зломышленій, бѣсовскимъ гордымъ вѣтромъ надменны возносятся, толь скорые среди коварствъ ихъ просѣдшеса исчезаютъ“. Самъ Стефанотокозь, —

...лишенный напрасно
Родительска престола,—ахъ! спомнить ужасно!
Бѣдствуетъ въ гоненіи, скорбѣ и печали,
Пришельцы бо и рабы на него возстали.

Иноземные насильники, гнавшіе Стефанотокоса, пользовались его наслѣдіемъ:

Иже иностранные придоша къ намъ нищи,
Достоинствъ не имуще, ни дневныя пищи, —
Уже обильно живутъ въ богатствѣхъ и славѣ,
Что, дивящеса, видятъ вси народы явѣ.

Съ другой стороны сыны отечества страдаютъ:

Богатство и честь даютъ льстителемъ бозмѣрнымъ,
А намъ, отечества сыномъ и всѣмъ слугамъ вѣрнымъ,
Аки псы, послѣднее изъ рукъ вырываютъ,
Безвинныхъ же многихъ и самыхъ погубляютъ.

Благочестіе жалуется на угнетеніе церкви: иноземцы —

Возстаютъ дерзновенно на самого Бога...
Уничтожиша церкви святыя уставы,
Ни во что ставятъ уже Божій законъ правы;

Говорить намъ о вѣрѣ нѣтъ уже свободы;
 Смѣются, ругаются намъ ужъ вси народы...
 На сіе-ли на крестѣ есмы искупленны,
 Да врагамъ креста будемъ днесь порабощены?...

Драма кончается благополучною побѣдой надъ врагами, и Стефанотокосъ восходитъ на престолъ вмѣстѣ съ Благополучіемъ и Славой. Любопытно, между прочимъ, что когда Слава возвѣщаетъ въ мірѣ наступленіе золотого вѣка и всѣ четыре части свѣта приходятъ на поклонъ къ Стефанотокосу, то олицетворенная Европа говоритъ о себѣ такъ:

Всякому добру могу нарецися мати,
 Ибо отъ мене всяко добро истекаетъ
 Обыче, ученія славная сіяютъ
 Во мнѣ, во мнѣ народомъ пользы прозябаютъ.
 Дома и грады красны, гдѣ архитектуры
 Моя созда десница; аще-жъ меркатуры
 Размножити кто хочетъ, къ общей царству пользѣ,—
 Научу въ мало время, чего бы надолзѣ
 Ищущій не обрѣлъ онъ, и т. д.

Драма написана вѣроятно вскорѣ послѣ вступленія Елизаветы на престолъ, но неизвѣстно, была ли она представлена и кто былъ авторомъ: судя по нѣкоторымъ чертамъ языка и стиха, это былъ человѣкъ южно-русскій.

Таковъ былъ характеръ этой драматической литературы. Чужая по происхожденію, непривычная по формѣ, тяжелая и угловатая по языку, школьная драма имѣла, однако, свое историческое образовательное значеніе. „Въ архангелскихъ формахъ московской школьной драмы Петрова времени,—говоритъ Тихомировъ,—выражалось живое сочувствіе просвѣтительной дѣятельности царя; авторитетомъ церкви старалась Академія оправдать начинанія и реформы, въ коихъ старина думала видѣть вѣяніе нечистаго духа. Ея сцена вводила въ умы молодого поколѣнія „политичныя мнѣнія“ образованныхъ народовъ. Она зародилась „при началіи рожденія російской славы и введенія добрыхъ порядковъ“; она не только привѣтствовала это „рожденіе“ и „добрые порядки“, но и посильно имъ содѣйствовала“¹⁾. Новѣйшій историкъ стараго русскаго театра приходитъ къ такому общему выводу о цѣломъ его составѣ: ...„Результатъ получается скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Въ драматической литературѣ мы долгое время только подбирали то, что на Западѣ уже

¹⁾ Сочиненія, т. I.

бросали. Въ то время, когда западно-европейская сцена уже пережила эпоху высшаго своего расцвѣта, когда по ней уже прошли, оставивъ за собой яркій слѣдъ, Шекспиръ, Корнель, Расинъ, Мольеръ, Кальдеронъ, Лопе де-Вега,—мы робко выступили въ роли нищаго Лазаря, на долю котораго достались жалкія крохи, случайно упавшія съ этой роскошной трапезы... Но и въ этомъ скудномъ и жалкомъ литературномъ мусорѣ, среди этихъ отбросовъ европейской сцены, все-таки уцѣлѣло и пробилося на свѣтъ Божій здоровое зерно,—животворное начало народности. Въ литературѣ вообще только то живетъ и движется, и растетъ, и приноситъ плоды, что органически связано съ живою дѣйствительностью... И наша сцена съ первыхъ же своихъ шаговъ инстинктивно стремилась приблизиться къ окружающей ее дѣйствительности, вложить въ живую и подвижную драматическую форму живое національное и народное содержаніе. Въ этомъ стремленіи къ народности заключался завѣтъ нашего стараго театра новому¹⁾.

Это заключеніе должно провѣрить мнѣніемъ самихъ современниковъ: дѣйствительно, имъ ближе представлялся смыслъ нововведенія. Въ самой ранней статьѣ о театрѣ, которая подъ заглавіемъ: „О позорищныхъ играхъ“, явилась въ 1733 году въ „Историческихъ, генеалогическихъ и географическихъ примѣчаніяхъ“ на „Спб. Вѣдомости“, авторъ считаетъ нужнымъ защитить театръ отъ осужденія приверженцевъ старины и доказываетъ, что театръ не только не противенъ благочестію, но и способствуетъ добрымъ нравамъ. „Хотя и всегда много такихъ находилось, которые всѣ комедіи и трагедіи изъ добрыхъ учрежденной, а особливо христіанскую вѣру содержащей республики совершенно изкоренить хотятъ; однакожь когда такіа позорищныя игры по ихъ намѣренію отправляются и ничего въ себѣ не содержатъ, что бѣ вѣрѣ и честнымъ поступкамъ противно было, то сіе весьма не праведно быть кажется, ежели бы любители оныхъ таковъ не винной забавы лишены были, а особливо, что они не только къ увеселенію и ободренію ума, но такожде къ поощренію разума и къ отвращенію подлыхъ помысловъ выдуманы и въ возвращеніе приведены“. Авторъ уже не одобряетъ представленія на театрѣ сюжетовъ изъ Библии и изъ исторіи мучениковъ: это полезно въ чтеніи, но на сценѣ, „въ подобіи игры“, неумѣстно. Здѣсь же въ первый разъ сообщены и теоретическія правила драмы по Аристотелю. Въ другой статьѣ того же изданія

¹⁾ Морозовъ, стр. 397—398.

1739 года, авторъ говоритъ уже „о пользѣ „театральныхъ дѣйствъ и комедій къ воздержанію страстей человѣческихъ“¹⁾. И такъ, дѣло шло еще о самой защитѣ существованія театра, объ элементарномъ введеніи его въ качествѣ невинной забавы, „ободренія ума“ и „отвращенія подлыхъ помысловъ“. На первый разъ цѣль болѣе или менѣе была достигнута: театръ получилъ право гражданства не только въ кругу высшаго общества, но и въ средѣ учащагося юношества, наконецъ между людьми средняго состоянія. Исторически знаменателенъ фактъ, что поводомъ къ правильному установленію русскаго театра было предпріятіе частныхъ любителей въ Ярославлѣ въ 1756, откуда были вызваны въ Петербургъ Волковъ и Дмитревскій (Нарыковъ); первые знаменитые дѣятели русской сцены.

Мы подошли къ той порѣ, когда началась дѣятельность перваго плодовитаго драматурга, стоявшаго уже вполнѣ и исключительно на почвѣ французской псевдо-классической драмы, Сумарокова. Дѣятельность его была только завершеніемъ предшествовавшаго хода русскаго театра. Какъ русская заимствованная повѣсть рядомъ ступеней, отдѣльность которыхъ трудно уловима, переходитъ отъ исторій и сказокъ XVII вѣка къ французскому роману половины XVIII-го, постепенно вводя новый вкусъ, но все еще оставаясь съ характеромъ „письменности“, — такъ подобное было и въ литературѣ драматической. Первые историки нашей литературы забывали или не знали о той массѣ драматическихъ твореній, которыя только теперь извлекаются изъ старыхъ рукописей, и потому могли видѣть нововведеніе въ драмѣ временъ Сумарокова. Напротивъ, со временъ царя Алексѣя не прерывалась традиція сцены, которая мало-по-малу отъ „Артаксерсова дѣйства“ черезъ школьныя драмы, пьесы нѣмецкихъ актеровъ, кукольную комедію, итальянскія арлекинады, комедіи Мольера, доходила до попытокъ изображенія народныхъ сценъ въ интермедіяхъ и до попытокъ собственнаго производства въ псевдо-классическомъ вкусѣ. Въ концѣ концовъ, драма была чужимъ растеніемъ, пересаженнымъ на нашу почву: здѣсь оно долго не принималось, не однажды давало уродливыя ростки, пока, наконецъ, освоилось съ этой почвой не раньше, какъ у Фонъ-Визина; но во всякомъ случаѣ эта пересадка чужого растенія была начата еще въ старой московской Россіи, и нововводителемъ былъ тотъ же царь Алексѣй, который, начавъ аскетическимъ гоненіемъ пѣсни и всякаго народнаго веселья, приходилъ

¹⁾ Тамъ же, стр. 849—850.

въ восторгъ отъ „дѣйства“, поставленнаго протестантскимъ пасторомъ изъ Нѣмецкой слободы.

Подобнымъ образомъ входилъ новый вкусъ въ области лирики, на первый разъ въ видѣ панегирической оды, потомъ въ видѣ лирической, любовной пѣсни. Генеалогія этой лирики, особливо послѣдней, до сихъ поръ не выяснена, между прочимъ по недостатку рукописей съ хронологическими указаніями. Несомнѣнно одно, что здѣсь происходилъ такой же процессъ постепеннаго распространенія новой литературной формы и новаго содержанія. Какъ первымъ ближайшимъ путемъ западной повѣсти былъ польскій, и первая драма явилась подъ вліяніемъ польско-латинской школы, такъ изъ этого послѣдняго источника была заимствована первая манера псевдо-классическаго стихотворства, силлабическій стихъ и рима. Въ школѣ южно-русской все это явилось съ первыми вліяніями латинской науки еще въ XVI столѣтіи или даже раньше: съ правильнымъ установленіемъ школы, латинское, а затѣмъ и славяно-русское стихотворство входило въ кругъ обычныхъ школьныхъ упражненій и въ послѣдствіи очень распространилось ¹⁾. Вслѣдствіе особыхъ условій южно-русской жизни, между прочимъ вслѣдствіе сравнительно большаго распространенія школы, книжное стихотворство не осталось чуждо народу и самой народной поэзіи: „псалмы“ и „канты“ вошли въ обиходъ народнаго обычая, въ думѣ остались слѣды книжнаго воздѣйствія. Иначе дѣло стояло на сѣверѣ. Здѣсь давно не было того непосредственнаго участія народной массы въ событіяхъ, какое даетъ силу и матеріалъ для эпическаго творчества; школа явилась слишкомъ поздно и была такъ скудна ученіемъ и людьми, что производила лишь немногихъ книжниковъ, которые терялись въ массѣ и не могли думать о какомъ-либо воздѣйствіи на народное поэтическое творчество; ученая книга была чужда народу и здѣсь не было того взаимодѣйствія въ стилѣ и языкѣ, какое можно наблюдать, напр., въ малорусской думѣ. Со школой южно-русскаго происхожденія пришелъ силлабическій стихъ, массу образцовъ котораго оставилъ Симеонъ Полоцкій и которымъ писалъ Кантемиръ.

Новое стихотворство, при всей его нескладности, имѣло большой успѣхъ; причина успѣха заключалась въ томъ, что въ вѣскольکو образованномъ кругу чувствовалась потребность въ

¹⁾ См. соображенія о школьномъ стихотворствѣ и его отношеніяхъ къ народной поэзіи южно-русскихъ думъ у Жигецакаго: „Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ“. Кіевъ 1893,—и обширный матеріалъ стараго стихотворства въ собраніяхъ В. Н. Перетца, о которыхъ упомянемъ далѣе.

новой литературной формѣ, а неразвитый вкусъ, вращаясь въ школьной атмосферѣ, не чувствовалъ уродливости первыхъ опытовъ. Первые образцы, польскіе, по которымъ знакомились съ этой формой, построенны были (худо или хорошо) по условіямъ польскаго языка, и русскіе стихотворцы, не зная другихъ формъ, думали, что достигаютъ поэтической цѣли, когда повторяли эти самые стихи церковно-славянскими словами. Притомъ содержаніе, всего чаще напыщенное, реторическое, помогало устранить мысль о возможности пользоваться обычнымъ размѣромъ народной пѣсни.

Принятіе новой формы было темнымъ исканіемъ художественнаго выраженія. Семнадцатый вѣкъ различнымъ образомъ обнаруживаетъ это стремленіе, когда путемъ переводовъ стараются расширить прежнія рамки литературы, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ первые опыты записей пѣсни и былины. Когда собственно возникли въ первый разъ опыты усвоенія искусственнаго стиха, пока не выяснено: было сдѣлано предположеніе, что эти опыты восходятъ уже къ древнѣйшей эпохѣ церковно-славянской письменности, какъ съ другой стороны была догадка, что лѣтописный стиль былъ стиль пѣсенный. Введеніе силлабическаго стиха относится къ порѣ польско-южнорусскихъ вліяній, хотя трудно указать съ точностью хронологію этого нововведенія. Еще въ первые годы царя Михаила Ѳеодоровича извѣстный вольнодумецъ князь Хворостининъ писалъ „на виршъ“ всякія укоризны московскимъ людямъ ¹⁾, такъ что эта форма была уже тогда довольно знакома. Какъ нравилась эта форма, можно заключить по указанію Симеона Полоцкаго (въ предисловіи къ его стихотворному переложенію Псалтыри), что къ этому труду побудило его то обстоятельство, что въ Бѣлой, и въ Малой Россіи, и даже въ Москвѣ многіе полюбили „сладкое и согласное пѣніе полскія Псалтыри, стиховно переложенныя“ и пѣли польскіе псалмы, „мало или ничто же знающе (т.-е. по-польски) и точію отъ сладости пѣнія увеселяющесе духовнѣ“. Полоцкій говоритъ, что всегда желалъ, „да риѣмотворное писаніе распространяется въ нашемъ славенствѣ книжномъ языкѣ“, какъ оно распространено у другихъ народовъ,—и его желаніе въ достаточной мѣрѣ исполнилось: бывали риѣмотворцы, писанія которыхъ считались десятками тысячъ стиховъ, какъ Іоаннъ Максимовичъ. Риѣмотворство пошло въ ходъ не только среди ученыхъ книжниковъ; въ массѣ грамотнаго люда распространялись псалмы и канты южно-русскаго происхожденія,

¹⁾ Соловьевъ, Ист. Россіи (новое изданіе). II, стр. 1878.

а потомъ и собственнаго производства, и ихъ форма отразилась въ духовныхъ стихахъ. Школьная латынь познакомила съ разнообразными видами латинскаго классическаго стиха, которымъ подражали русскіе стихотворцы: рима становилась привычнымъ украшеніемъ, и мы упоминали, какъ этотъ римованный складъ вошелъ въ народный разсказъ и лубочную картинку. Въ первой половинѣ XVII вѣка значительно распространяются сборники псалмъ и кантовъ, въ которыхъ прибавляются послѣ, въ томъ же стилѣ, стихотворенія свѣтскаго, именно любовнаго характера и на этихъ послѣднихъ можно замѣтить уже нѣкоторое вліаніе народнаго пѣсеннаго склада; а затѣмъ въ этихъ сборникахъ начинаютъ появляться и настоящія народныя пѣсни. Съ теченіемъ времени число народныхъ пѣсенъ должно было возрастать: онѣ получали право наравнѣ съ сочиненными пѣснями, какъ это было въ тѣхъ сборникахъ, которые во второй половинѣ столѣтія могли быть первообразомъ Пѣсенника Чулкова.

Важнымъ моментомъ въ развитіи этого стихотворства было измѣненіе нравовъ во времена реформы, когда женщина въ первый разъ явилась, изъ домашняго заключенія по Домострою, въ общественную жизнь. Мы упоминали, что въ основѣ освобожденіе женщины совершилось еще ранѣе, и прежде всего въ царской семьѣ, гдѣ сестры Петра Великаго сбросили это иго обычая, искали удовольствій общества и самой власти. Но при Петрѣ это освобожденіе приняло гораздо болѣе широкіе размѣры, когда „ассамблея“ стала обязательной: возникали свѣтскіе нравы и съ ними сталъ возможенъ новый стиль любовной лирики. Немногіе извѣстные пока факты позволяютъ предполагать и здѣсь постепенное возрастаніе новаго интереса, которому вскорѣ предстояло занять широкое мѣсто въ литературѣ. Иностранцы, бывшіе въ Россіи при Петрѣ, замѣчаютъ уже, что на придворныхъ собраніяхъ многія молодыя русскія дамы „не уступали нѣмкамъ и француженкамъ въ привѣтливости, тонкости обращенія и свѣтскости“. На первый разъ любовная лирика прибѣгала къ силлабическимъ стихамъ. Извѣстный камергеръ Монсъ, родившійся и воспитавшійся въ Нѣмецкой слободѣ, большой поклонникъ прекраснаго пола, писалъ нѣмецкіе и русскіе стихи, но, не зная русской грамоты, писалъ послѣдніе нѣмецкими буквами. Плодовитымъ стихотворцемъ былъ и секретарь Монса, Столѣтовъ, и въ ихъ бумагахъ, сохранившихся въ дѣлахъ тайной канцеляріи, уцѣлѣло не мало стихотвореній Столѣтова въ чувствительномъ родѣ. Извѣстны, наконецъ, опыты лирическихъ стихотвореній Елизаветы Петровны въ той же силлабической формѣ. Нѣсколько

позднѣе, о нравахъ половины столѣтія упомянутый Болотовъ дѣлаетъ замѣчаніе, много разъ цитированное: въ то время (около 1750-хъ годовъ), говоритъ онъ, „вся свѣтская нынѣшняя жизнь уже получила свое основаніе и начало. Все, что хорошею жизнію нынѣ называется, тогда только-что заводилось, равно какъ входилъ въ народъ и тонкій вкусъ во всемъ. Самая нѣжная любовь, только поддерѣживаемая нѣжными и любовными и въ порядочныхъ стихахъ сочиненными пѣсенками, тогда получила первое только надъ молодыми людьми свое господствіе, и помянутыхъ пѣсенокъ было не только еще очень мало, но онѣ были въ превеликую еще диевинку, и буде гдѣ какая проявится, то молодыми боярынями и дѣвушками съ языка была не спускаема“¹⁾. До того времени, какое описываетъ Болотовъ, появились уже первыя пѣсенныя стихотворенія Кантемира, Тредьяковскаго, Сумарокова.

Таковы были факты литературнаго броженія отъ конца XVII-го до половины XVIII-го вѣка. Трудно назвать это литературой въ какомъ-нибудь подобіи обычнаго значенія слова; почти безъ исключенія, это—литература безыменная; у нея нѣтъ ни яркаго представителя, ни какого-нибудь органа, нѣтъ даже того средства распространенія, какое доставляетъ печать,—единственнымъ путемъ нѣкотораго распространенія была рѣдкая еще сцена для произведеній драматическихъ; большей частью это—труды единичныхъ любителей, распространявшіеся случайно, но иногда труды громадныя, какъ, напримѣръ, переводы многотомныхъ романовъ. Это было стихійное броженіе, инстинктивное стремленіе къ новому содержанію и формѣ. Эпоха преобразованій имѣла великое значеніе общимъ возбужденіемъ умовъ, но литературно она дѣйствовала только въ отдѣльныхъ явленіяхъ: церковная проповѣдь, панегирикъ „торжественныхъ вратъ“ и т. п., вмѣстѣ съ иллюминаціей и фейерверкомъ были для Петра практическими способами привлечь народное вниманіе къ текущимъ событіямъ, которыя реформа считала своей побѣдой; „общество“ въ литературныхъ вкусахъ было предоставлено самому себѣ. Продолжая идти тѣмъ путемъ, какой былъ намѣченъ въ концѣ XVII-го вѣка, оно, однако, воспользовалось теперь великими умственными и нравственно-общественными возбужденіями реформы. Съ реформой расширилась область литературнаго знанія, увеличилось знакомство съ иностранными языками; литературные вкусы расширились, стали разнообразнѣе и мало-по-малу пришли къ той области, гдѣ нашлось, наконецъ, организующее начало.

¹⁾ Записки Волотова. I. Спб. 1870, стр. 179.

Это былъ псевдо-классицизмъ, въ томъ самомъ источникѣ, гдѣ онъ былъ тогда всего сильнѣе — во французской литературѣ. Кантемиръ зналъ не только Горація, но и Буало; Тредьяковский перевелъ оба кодекса этой школы, и латинскій и французскій; тѣ же вліянія достигли до Ломоносова черезъ нѣмецкую литературу. Внѣшнимъ образомъ эти писатели были тѣсно связаны съ недавнимъ прошлымъ: какъ во время Петра, и въ первое время послѣ него, было учрежденіе (московская Академія), которое обязано было поставлять официальную литературу — ставить на сцену панегирическія дѣйства, сочинять символы и аллегоріи для „торжественныхъ вратъ“ и т. п., какъ теперь эта обязанность перешла на петербургскую Академію наукъ и въ особенности на русскихъ ея членовъ, — Ломоносову, который долженъ былъ учиться за границей горному дѣлу, поручалось кромѣ того заниматься и „россійскимъ штилемъ“ и изъ за-границы онъ прислалъ въ Петербургъ торжественную оду. Такія же оды писали Тредьяковский, Сумароковъ и затѣмъ цѣлая толпа стихотворцевъ въ теченіе всего столѣтія. Но, завершая прежнее движеніе, эти первые дѣятели новой литературы вносили новую, сильную инициативу. Они прошли болѣе или менѣе правильную школу и старались внести, наконецъ, извѣстную систему въ свой литературный трудъ. Кантемиръ могъ отдавать этому труду только случайные досуги и не могъ имѣть большого вліянія, живя за-границей; Тредьяковский и Ломоносовъ въ первый разъ поставили теоретическіе вопросы о формахъ литературы и языкѣ. Наконецъ, въ той средѣ, на почвѣ которой происходилъ литературный процессъ, въ половинѣ XVIII-го вѣка господствовалъ еще крайне низкій уровень образованія. Говорить, что послѣ Петра литература, забывъ преданія старины, была увлечена подражаніемъ европейскимъ образцамъ, было бы странно: процессъ шелъ медленно и издалека, и цѣлые десятки лѣтъ новая литература находилась въ младенческомъ состояніи.

Тѣмъ не менѣе въ этомъ неясномъ броженіи заключались элементы широкаго историческаго будущаго. Эпоха Петра приносила новыя понятія, которыя въ первый разъ возбуждали умственную жизнь, общественные интересы и сознаніе личнаго достоинства. Когда Петръ принималъ мѣры въ внѣшней защитѣ государства и вмѣстѣ заботился о „насажденіи“ наукъ, онъ дѣлалъ именно необходимое и великое національное дѣло. Усиленная забота Петра знакомить массу, — путемъ книгъ, газетъ, реляцій и всенародныхъ торжествъ, — съ знаменательными событиями времени, содѣйствовала образованію того интереса, кото-

рый долженъ былъ вести рано или поздно къ болѣе широкому, чѣмъ когда-нибудь прежде, общественному и историческому самосознанію. Отмѣна уничижительныхъ именъ, которыя налагали на всѣхъ безъ различія одну печать холопства, впервые, послѣ нѣсколькихъ вѣковъ, возвращала понятіе личнаго достоинства... Тяжелыя матеріальныя жертвы, какихъ стоила реформа, и самое ничтожество послѣдующаго времени не остановили ея могущественнаго возбуждающаго вліянія: въ теченіе всего XVIII вѣка и до нашихъ дней, этотъ великій періодъ нашей исторіи оставался нравственной опорой для труда на пользу русскаго просвѣщенія, національнаго самосознанія; для ближайшихъ поколѣній имя Петра было еще живымъ символомъ и защитой всякой дѣятельности на народное благо, — какъ у Ломоносова.

Съ другой стороны, какъ ни слабы были зачатки новой литературы, завершившіеся, едва только въ половинѣ столѣтія, определеннымъ вліяніемъ западныхъ литературныхъ формъ, введеніе этихъ формъ было чрезвычайно важнымъ литературнымъ фактомъ. Оно впервые давало, во-первыхъ, рамку для литературнаго труда, какой прежде не было; во-вторыхъ, ближайшее знакомство съ литературами западными принесло обильное содержаніе въ произведеніяхъ величайшихъ умовъ и поэзіи западной Европы. Было много слабыхъ сторонъ въ литературѣ, развившейся подъ этими вліяніями; но большая доля вины лежала здѣсь на все еще жалкихъ условіяхъ русскаго просвѣщенія и общественности, и справедливая исторія не должна забыть благотворныхъ результатовъ новаго движенія для умственной и нравственной жизни русскаго общества въ XVIII столѣтіи и послѣ. Многое въ этихъ формахъ литературы было искусственно и вовсе не рассчитано на русскія условія; но здѣсь нашелся, наконецъ, путь для развитія русской лирики, драмы и романа. Было дѣломъ самой русской литературы примѣнить эти формы къ русскому содержанію, — какъ другимъ ея дѣломъ должно было быть образованіе литературнаго языка, способнаго впервые явиться въ книгѣ живымъ, правильнымъ и достойнымъ выраженіемъ мысли и поэтическаго творчества. Эти задачи прежде всего представляли второй половинѣ XVIII столѣтія.

Древней и болѣе поздней повѣсти стараго періода посвящены выше двѣ главы, т. II.

Повѣсти переходнаго времени, конца XVII-го и первой половины XVIII столѣтія, указаны мною въ „Сборникѣ Общества любителей рос-

сійской словесности на 1891 годъ". М. 1891: „Для любителей книжной старины. Библиографическій списокъ рукописныхъ романовъ, повѣстей, сказокъ, поэмъ и пр., въ особенности изъ первой половины XVIII вѣка“, стр. 199—276, 541—556 (и отдѣльно, М. 1888). Новыя сообщенія были намъ сдѣланы А. А. Титовымъ и Н. П. Лихачевымъ. Указанія рукописей см. также въ „Описаніи рукописей Имп. Общества любителей др. письменности“, Лопарева. Спб. 1892—1893; въ „Систематическомъ описаніи славяно-рос. рукописей собранія гр. А. С. Уварова“, архим. Леонида (четыре части). М. 1894; въ описаніи рукописнаго собранія П. И. Щукина, въ Москвѣ. М. 1896.

— „Гисторія о російскомъ матросѣ Василии Коріотскомъ и о прекрасной королевнѣ Иракліи флоренской земли“ издана была Л. Майковымъ: „Неизвѣстная русская повѣсть Петровскаго времени“. Спб. 1880.

— Въ моемъ изданіи: „Изъ исторіи народной повѣсти. Гисторія о гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ, какъ вѣроятный источникъ повѣсти о російскомъ матросѣ Василии“. Текстъ по рукописямъ XVIII вѣка и введеніе. Спб. 1887 (въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности). См. дополнительные объясненія Майкова въ новомъ изданіи повѣсти о матросѣ Василии въ „Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII столѣтій“. Спб. 1889, стр. 163—233.

— Списки „Гисторіи о російскомъ дворянинѣ Александрѣ“ указаны мной въ „Сборникѣ“ Общества любителей рос. словесности. М. 1891: „Для любителей книжной старины“, стр. 270—272.

— Изложеніе содержанія повѣсти и нѣкоторые выписки въ статьѣ М. И. Сухомлинова, „Библ. для чтенія“, 1858, № 12.

— Н. И. Петровъ, О вліяніи западно-европ. литературы на древне-русскую, въ „Трудахъ“ кіевской дух. Академіи. 1872. № 8.

— Л. Майковъ, „Очерки“, стр. 194 и д.

„Тилемахида“ Тредьяковскаго вышла въ 1766. Раньше издано было „Похожденіе Телемака“ въ 1747, и переводъ помѣченъ 1734 годомъ; въ рукописяхъ отмѣчается переводъ 1724, и съ заглавіемъ: „Случай Телемаковы сына Улисса“ и пр.; по сообщенію Л. Н. Майкова, это есть переводъ Андрея Хрушова, казеннаго вмѣстѣ съ Волинскимъ. Тредьяковскій, въ предисловіи къ „Тилемахидѣ“ (стр. LVII—LX. по изданію Смирдина), упоминаетъ о прежнихъ переводахъ, которыми былъ недоволенъ.

— Лубочная „Исторія о принцѣ Адольфѣ и островѣ вѣчнаго веселья“ составляетъ эпизодъ изъ упомянутого романа г-жи д'Оне (d'Alpou, Histoire d'Hippolyte и пр. 1690); см. Веселовскаго: „Изъ исторіи русской переводной повѣсти XVIII вѣка“. Спб. 1887.

— „Эпаминондъ и Целеріана“, упомянутый въ запискахъ Голотова, извѣстенъ теперь въ нѣсколькихъ рукописяхъ бібліотеки Общества любителей древней письменности и московскаго Румянцовскаго Музея: переводъ помѣченъ въ нихъ одинаково 1741.

— Указаніе повѣсти о Карпѣ Сутуловѣ и премудрой его женѣ было намъ сообщено М. И. Соколовымъ. „Сборникъ Общества любителей російской словесности“. М. 1891, стр. 556.

Содержаніе ея слѣдующее. Богатый купецъ Карпъ Сутуловъ, отпавившись на куплю въ литовскую землю, оставилъ своей женѣ,

„ушло прекрасной“, денегъ на „частые пиры на добрыхъ женъ, на своихъ сестеръ“, а въ случаѣ недостатка денегъ поручилъ ей обратиться къ его другу Аванасію Бердову. Когда она дѣйствительно къ нему обратилась, тотъ сталъ дѣлать ей непріличныя предложенія; она пошла за совѣтомъ къ церковному человѣку, одному, а потомъ другому, болѣе высокопоставленному, и отъ нихъ получила тѣ же предложенія, съ обѣщаніемъ все болѣе крупныхъ подарковъ (сто, двѣсти и триста рублей). Она общается каждому исполнить его желаніе, зазываетъ всѣхъ троихъ по одиночкѣ къ себѣ и затѣмъ, пугая каждого пріѣздомъ мужа, запираетъ всѣхъ раздѣтыми въ три сундука и на утро везетъ сундуки къ воеводѣ, который отпустилъ заключенныхъ, взявъ съ кушца 500 рублей, съ одного церковнаго человѣка 1.000 и съ другого 1.500 рублей. Воевода раздѣлилъ деньги пополамъ съ женой Карпа, а когда Карпъ, по пріѣздѣ, узналъ отъ жены всю исторію, то вельми возрадовался и похвалилъ ея мудрость.

Могли бы быть собраны любопытныя подробности о беллетристическомъ чтеніи прошлаго вѣка изъ мемуаровъ и воспоминаній прошлаго вѣка, какъ записки Болотова, И. И. Дмитріева, замѣтки Карамзина, воспоминанія С. Т. Аксакова и пр. См. „Черты изъ жизни русскихъ дворянъ въ концѣ XVIII вѣка“, въ „Моск. Наблюдателѣ“, 1837, ч. XI, стр. 133—147; опытъ подобной работы въ статьѣ г-жи Щепкиной: „Популярная литература въ срединѣ XVIII вѣка (по запискамъ Болотова)“, въ Журн. мин. просв. 1886, апрѣль, и ея же: „Старинные помѣщики на службѣ и дома. Изъ семейной хроники (1578—1762)“. Спб. 1890, стр. 177 и далѣе.

Первыя точныя изслѣдованія о старомъ театрѣ сдѣланы только въ послѣднее время.

— Забѣлинъ, „Домашній бытъ русскихъ царей и царицъ въ XVI и XVII ст.“ Два тома. М. 1862—1869; 3-е изд. I т., 1895.

— Пекарскій, „Мистеріи и старинный театръ въ Россіи“, въ „Современникѣ“, 1857, кн. I—II; „Наука и литература при Петрѣ Великомъ“. Спб. 1861, т. I.

— Тихонравовъ, тексты и статьи въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности“ и въ „Сочиненіяхъ“, т. II; „Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра“. М. 1872; „Русскія драматическія произведенія 1672—1725 годовъ“. Спб. 1874, два тома.

— В. Сахаровъ, „Очерки церковныхъ дѣйствій и мистерій въ древней Руси“, въ Чтеніяхъ Общ. люб. дух. просв. 1880—1883.

— П. Морозовъ, „Исторія русскаго театра до половины XVIII столѣтія“. Спб. 1886; „Русскій театръ при Петрѣ Великомъ“, въ „Ежегодникѣ Имп. театровъ“. Сезонъ 1893—1894 г. Приложенія, кн. I. Спб. 1894, стр. 52—80, изложеніе по указанной книгѣ, съ прибавленіемъ портретовъ: Ѳеофана Прокоповича, царевны Наталіи Алексѣевны (1673—1716), царицы Прасковьи (1664—1723), царевны Екатерины Ивановны (1691—1733).

Для образчика перевода Мольеровыхъ *Précieuses ridicules*, упомянутого въ текстѣ, приводимъ отрывокъ:

Mascarille (après avoir ealué). Mesdames, vous serez surprises sans doute de l'audace de ma visite; mais votre réputation vous attire cette méchante affaire, et le mérite a pour moi des charmes si puissants, que je cours partout après lui.

Madelon. Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser.

Cathos. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'y ayez amené.

Masc. Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en constant, ce que vous valez; et vous allez faire pic, repic et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris.

Маскариль (привѣтствуетъ ихъ). Пресвѣтлѣйшеи господа! вы будете уничиженны, безъ всякаго усомнѣнія, отъ снѣлости моего привѣтствованія; но ваша репутація вамъ произвѣщаетъ хулое упражненіе; заслуженное еще есть можнѣйшее мене, о что азъ стараюсь во всѣхъ дворахъ потогмъ.

Магдалина. Аще ты ни во что вмѣняешь наше заслуженное, возможешь быти въ нашихъ краинахъ, иже ты долженствуешь воспріяти.

Катось. Для вѣдѣнія мады не отиѣнно примель еси сѣмо.

Маск. Ба, неложно противъ вашихъ словъ нѣчто напишу. Честь въ правда глаголетъ, исповѣдающе, что вы здравствуете, и вы содѣлаете пѣкъ, релѣкъ и капотъ и разораете всякія удивленія въ Царьжи. И т. д.

— Комедія „Ужасная измѣна сластолюбиваго житія съ прискорбнымъ и нищетнымъ“, изъ притчи о Лазарѣ, напечатана И. А. Шляпкинѣмъ, Спб. 1882, въ изданіяхъ Общества любителей древней письменности. Въ рукописи, при перечисленіи дѣйствующихъ лицъ, названы также имена исполнителей и среди неизвѣстныхъ именъ, вѣроятно учениковъ Академіи, приведены князья Бяратинскій, Хованскій, Григорій и Иванъ Лобановы, Андрей Апраксинъ, Александръ Салтыковъ, Бутурлинъ, Лопухинъ.

— Торжественное дѣйство: „Слава Россійская“, издано М. И. Соловьевымъ въ „Чтеніяхъ“ моск. Общ. ист. и древн., и отдѣльно. М. 1892.

— Всев. Миллеръ, Новый интерлюдій XVIII-го вѣка. I. Шапошникъ и мужикъ. II. Могильщикъ и кобылякъ,—въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. Н. 1900, т. V, стр. 747—768.

Длинный реестръ комедій, напечатаннымъ при Академіи наукъ, приведенъ у Пекарскаго, Исторія Академіи наукъ, II, стр. 59. Тредьяковский получалъ объ этомъ приказы такого рода: „по приказу обрѣтающаго командира (т.-е. президента Академіи), дѣйствительнаго камергера, барона фонъ-Корфа велѣно тебѣ камедіановъ отъ ректора Аволія взять нѣсколько камедіевъ и интермедіевъ для переводу заблаговременно“.

— Новыя любопытныя извѣстія о театрѣ временъ Петра, въ книжкѣ г. Шляпкина: „Царевна Наталья Алексѣевна и театръ ея времени“. Спб. 1898, въ изданіяхъ Общ. любителей древней письменности.

— „Стефанотокость“ былъ напечатанъ Тихонравовымъ по рукописи Публичной Библіотеки, и долженъ былъ войти въ приложеніи къ второму тому упомянутаго сборника старыхъ драматическихъ произведеній; но такъ какъ вся книга своевременно не была издана, то это приложеніе осталось незаключеннымъ и совсѣмъ не вышло въ свѣтъ; оно уцѣлѣло лишь въ немногихъ корректурныхъ экземплярахъ. Изложеніе драмы у Морозова, стр. 350 и далѣе.

— В. В. Сиповскій, Итальянскій театр въ С.-Петербургѣ при Аннѣ Іоанновѣ, 1733—1735 гг., въ „Р. Старинѣ“ 1890, іюнь (не мало полезныхъ литературныхъ указаній).

О первыхъ записяхъ былины въ московское время было сказано выше (гл. XXIV, библиогр. примѣчанія). На границѣ между XVII и XVIII вѣкомъ, въ записяхъ, наряду съ книжными виршами, начинаютъ появляться и простыя народныя пѣсни.

— Л. Майковъ, объ этихъ записяхъ XVII вѣка въ Журн. мин. просв. 1880, ноябрь; О старинныхъ рукописныхъ сборникахъ народныхъ былины и пѣсенъ“, въ Трудахъ Казанскаго археолог. съѣзда. Казань, 1891, II, стр. 159—163; „О началѣ русскихъ виршъ“, въ Журн. мин. просв. 1891, іюнь.

— А. Ѳ. Бычковъ, „Свѣдѣнія о рукописяхъ Имп. Публ. Библиотеки, содержащихъ въ себѣ между прочимъ народныя пѣсни“, въ Трудахъ Каз. археолог. съѣзда, II, стр. 164—192: описаніе трехъ рукописей изъ собранія С. А. Соболевскаго и одной изъ собранія гр. Ѳ. А. Толстого.

— Предположенія о древнѣйшихъ опытахъ церковно-славянскаго стихотворства у А. Соболевскаго: „Церковно-славянскія стихотворенія конца IX—начала X вѣка“. Спб. 1892 (изъ журнала „Библиографъ“).

— О любовномъ стихотворствѣ начала XVIII вѣка, у М. Семевскаго, „Царица Екатерина Алексѣевна, Анна и Виллимъ Монсъ“. Спб. 1884;—Л. Майковъ, „Очерки“. Спб. 1889, стр. 210—216.

ГЛАВА X.

УСТАНОВЛЕНІЕ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Средина XVIII вѣка. — Новая яркая жизнь европейской образованности и первое установление литературной жизни. — Литературный трудъ какъ профессія: первые „писатели“, читающая публика, критика.

Созданіе литературы подъ впечатлѣніями эпохи преобразования. — „Насажденіе“ изящной словесности какъ продолженіе стремленій реформы.

Единственный наличный источникъ — западная литература. — Было ли заимствование изъ этого источника измѣной народности или національному „культурному типу“? — Европейскія основы русской національности. — Историческая преемственность цивилизацій.

Образовательный уровень русскаго общества въ половинѣ XVIII вѣка. — Состояніе школы: Славяно-греко-латинская Академія; духовныя школы. — Свѣтскія училища со временъ Петра: Академія наукъ и академическая гимназія; Шляхетный кадетскій корпусъ; медицинская школа и пр. — Образование за границей. — Основаніе московскаго Университета.

Такимъ образомъ къ серединѣ XVIII вѣка въ возникавшемъ кругу болѣе образованныхъ людей начинаютъ появляться признаки новыхъ литературныхъ вкусовъ. Въ близкой связи съ книжными преданіями XVII вѣка, если не въ „литературу“, то въ „письменность“ проникаетъ немалое количество переводовъ, между которыми оказались, наконецъ, характерныя произведенія западно-европейскаго романа, повѣсти, поэмы конца XVII-го и первой половины XVIII вѣка. Инстинктивно, оцупью, искали новаго содержанія и новыхъ литературныхъ формъ. Не было еще никакого опредѣленнаго воздѣйствія ни школы, ни сильнаго руководящаго дарованія, — между тѣмъ настроеніе уже измѣнилось. Образованные или грамотные люди были больше или меньше подготовлены къ новому складу литературы, первые — прямымъ знакомствомъ съ литературой французской или нѣмецкой, вторые — переводами. Тредьяковскій не усумнился въ 1730 г. издать „Ѣзду въ островъ любви“, аллегорическій и сентиментальный любовный романъ, — читатель литературы рукописной былъ

уже знакомъ съ подобными произведеніями. Такимъ же образомъ псевдо-классическая трагедія и комедія не были совершенной новостью послѣ школьнаго и придворнаго репертуара. Форма лирики въ видѣ оды знакома была со временъ Симеона Полоцкаго; въ видѣ легкаго стихотворенія знали ее, въ подражаніи классикамъ, еще въ школьномъ стихотворствѣ начала столѣтія; въ видѣ любовной пѣсни пробовали ее Монсъ и Столѣтовъ, Кантемиръ, и сама цесаревна Елизавета Петровна...

Ломоносовъ и его современники явились первыми писателями въ настоящемъ смыслѣ слова, писателями по профессіи и по призванію, и это одно стало важнымъ фактомъ. Еще раньше, Кантемиръ чувствовалъ себя и хотѣлъ быть писателемъ, но по обстоятельствамъ, еще не выясненнымъ, его сатиры оставались при его жизни въ области „письменности“ и были изданы лѣтъ черезъ двадцать по его смерти, когда уже приходила къ концу дѣятельность Ломоносова... Это не были уже случайные любители, не помышлявшіе дѣйствовать открыто на литературномъ поприщѣ и творенія которыхъ безыменно распространялись только въ тѣсномъ кругу. Съ ними, напротивъ, впервые открыта была литературная арена, сознательная дѣятельность, выступавшая въ печать, имѣвшая въ виду весь кругъ наличныхъ читателей: она должна была служить „пользѣ и удовольствію“ этихъ читателей, а вмѣстѣ подлежала ихъ критикѣ, т.-е. основывала взаимодействие литературы и общества. Словомъ, возникала литературная жизнь не какъ случайное явленіе, но какъ органическое явленіе жизни общественной. Объемъ дѣйствія былъ еще не великъ, но это былъ цѣлый переворотъ во внѣшней, а затѣмъ и во внутренней постановкѣ литературы, первая возможность широкаго развитія въ будущемъ на почвѣ общественной жизни.

Первые представители литературной профессіи явились какъ бы не случайно изъ различныхъ слоевъ общества: Ломоносовъ былъ свободный крестьянинъ, Тредьяковскій—церковникъ, Сумароковъ — изъ стараго дворянскаго рода. Образованіе ихъ, при всей немногосложности тогдашней школы, шло довольно различно. Тредьяковскій и Ломоносовъ прошли предварительно церковную школу въ Славяно-греко-латинской Академіи, потомъ бывали за границей; первый сталъ профессоромъ элоквенціи, второй—естествовѣдомъ; Сумароковъ учился въ шляхетномъ корпусѣ; въ концѣ концовъ всѣ трое скоро послѣ первой школы обратились къ одному источнику своего дальнѣйшаго литературнаго образованія—къ новѣйшей западно-европейской литературѣ. Пер-

вый примѣръ скоро нашелъ послѣдователей, а затѣмъ число ихъ стало размножаться въ сильной прогрессіи, — хотя размноженіе было больше количественное, чѣмъ качественное. Дѣятельность этихъ трехъ писателей была началомъ новой русской литературы, и хронологически это начало восходитъ къ тридцатымъ и особенно къ сороковымъ годамъ XVIII вѣка ¹⁾.

Первые писатели были опять весьма различны по складу ума и дарованія. Ломоносовъ былъ сильный умъ научнаго характера, если не поэтъ съ творческой фантазіей, то во всякомъ случаѣ способный къ поэтическому настроенію въ извѣстной области — въ изображеніяхъ широкихъ явленій природы, въ порывахъ патріотическаго чувства, и всѣхъ превышавшій въ свое время чутьемъ и знаніемъ языка. Тредьяковскій, столь нѣкогда ослабленный за свою бездарность, но въ послѣднее время находившій наконецъ защитниковъ, былъ по своему времени человекъ съ большимъ литературнымъ образованіемъ и безконечнымъ трудолюбіемъ, имѣющій за собой несомнѣнную заслугу правильнаго опредѣленія свойствъ русскаго стиха, но самъ много писавшій стихами крайне уродливыми и совсѣмъ лишенный чувства изящнаго, хотя теоретически могъ понимать его, что доказываетъ, напр., указаніями на красоту нашего пѣсеннаго стиха. Сумароковъ былъ плодовитый версификаторъ съ извѣстнымъ поверхностнымъ дарованіемъ, сполна увлеченный своими французскими образцами и нѣсколько самостоятельный только въ желчныхъ сатирическихъ произведеніяхъ, хотя съ очень тѣснымъ горизонтомъ. При всемъ различіи характеровъ и содержанія, эти первые писатели сходились въ одномъ: они одинаково чувствовали себя въ началѣ новаго литературнаго періода, и это само собой направило ихъ дѣятельность.

Передъ ними стояла задача созиданія новой литературы. Первые годы ихъ жизни проходили въ эпоху знаменательнаго историческаго переворота. Для всѣхъ, въ комъ былъ живой инстинктъ національнаго величія и въ комъ пробудилась жажда знанія, эпоха Петра должна была представляться повелительнымъ указаніемъ дальнѣйшаго труда на поприщѣ начатаго просвѣщенія. Едва ли во всей нашей литературѣ восемнадцатаго вѣка былъ писатель, глубже проникнутый этимъ чувствомъ, чѣмъ былъ Ломоносовъ. Память Петра была еще свѣжа, и подобное настроеніе господствовало въ тонѣ официальной жизни, и въ искреннемъ убѣжденіи наиболѣе образованныхъ людей. Въ примѣненіи къ

¹⁾ Они были почти однолѣтки: Тредьяковскій 1703—1769, Ломоносовъ 1711—1765, Сумароковъ 1718—1777.

литературѣ и наукѣ исполненіе завѣтовъ Петра было также обязательно, какъ и въ другихъ дѣлахъ. Въ чемъ должно было оно состоять, было ясно. Если Петръ насаждалъ науки, надо было возвращать ихъ; задуманное и рѣшенное надо было исполнить. Трудъ предстояло много, и въ числѣ наукъ, которыя нужно было водворить, была литература (*schöne Wissenschaften, belles lettres*), которая такъ богато процвѣтала у просвѣщенныхъ народовъ Европы. Для науки, по мысли Петра Великаго, основано было учрежденіе, которое должно было сразу стать наравнѣ съ европейскими академіями и вмѣстѣ служить для образованія русскихъ ученыхъ людей—въ этомъ учрежденіи прошла потомъ неутомимая и страстная дѣятельность Ломоносова; но должно было съ другой стороны заботиться о „насажденіи“ изящной литературы: этой послѣдней надо было служить собственными усиліями—ея основою вездѣ была свободная дѣятельность писателей. Общеніе ихъ, кромѣ трудовъ въ разныхъ родахъ изящной словесности, особливо требовалось въ установленіи литературнаго языка, какъ это было во французской академіи, — и по этому примѣру при петербургской Академіи, еще до Ломоносова, устроилось, какъ дальше увидимъ, особое „россійское собраніе“.

Названные писатели, по внѣшнимъ обстоятельствамъ, чисто случайно стали во главѣ литературнаго дѣла: одинъ, поповичъ, на свой страхъ и иногда „шедши пѣшъ“, сбѣжалъ изъ Славяно-греко-латинской Академіи въ Парижъ, тамъ слушалъ лекціи и увлекся французской литературой; другой, послѣ той же Академіи, былъ посланъ за границу, гдѣ долженъ былъ учиться сначала нѣмецкому языку, потомъ философіи и горному дѣлу, — ему рекомендовали также заняться „россійскимъ штилемъ“, неизвѣстно какими средствами; третій учился въ кадетскомъ корпусѣ. Ни объ одномъ неизвѣстно, чтобы кто-нибудь изъ нихъ возросталъ подъ какимъ-либо опредѣленнымъ нравственнымъ и литературнымъ руководствомъ. Главный мотивъ, который пробудилъ въ нихъ страстный интересъ къ „насажденію“ новой литературы, заключался въ могущественномъ впечатлѣніи, которое оставила только недавно кончившаяся дѣятельность Петра. Въ силѣ политической, Россія равнялась теперь съ самыми могущественными государствами Европы; нужно было, чтобы она не уступала имъ въ просвѣщеніи и литературѣ. Если можно было заимствовать устройство войска, флота, усвоить техническія знанія, отчего нельзя было такимъ же образомъ усвоить успѣхи литературы?

Исторически было, конечно, великимъ заблужденіемъ думать, что перенять и основать новую науку и литературу было такъ

же удобоисполнимо, какъ завести новое войско, флотъ, горное дѣло, фабрику и т. п. Но психологически, заблужденіе было естественно. Недавняя исторія дала поразительные факты успѣховъ, сдѣланныхъ въ теченіе не больше какъ одного поколѣнія: войско учили иноземцы, флотъ устроенъ по иноземному образцу, — но это войско уже вскорѣ одержало полтавскую викторію, отвоевало вмѣстѣ съ флотомъ въ чужой землѣ мѣсто для новой столицы; нѣмцы или шведы помогли устроить горное дѣло, — но новыя богатства послужили русскому могуществу; „инвенціи въ наукахъ“, сдѣланныя выписными иноземными учеными, опять пошли на пользу Россіи, и такія „инвенціи“ стали дѣлать потомъ и „природные русскіе“... Почему не могло быть того же въ „словесныхъ наукахъ“? Источникъ, откуда брались нововведенія, былъ одинъ: западная Европа; но тамъ же, и только тамъ, процвѣтали и словесныя науки. Ясно было, что для „насажденія“ литературы слѣдовало обратиться въ тому же изобильному источнику и ожидать того же успѣха.

Оставовимся на этихъ отношеніяхъ, которыми надолго вперед опредѣлилось дальнѣйшее движеніе нашей литературы и которыя до послѣдняго времени бывали спорнымъ вопросомъ. Таковы были давніе укоры нашей литературѣ XVIII вѣка въ подражательности и недавнія обличенія „петербургскаго“ періода въ „рабствѣ“ передъ Европой, возвратившіяся въ литературѣ новѣйшей въ видѣ теоріи „культурныхъ типовъ“: по этой теоріи европейское содержаніе, которое такъ усердно нами заимствовалось, было для насъ не нужно и даже вредно, отдаляя нашъ „культурный типъ“ отъ настоящаго свойственнаго ему пути развитія... Но въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ русская умственная жизнь встрѣтилась съ западно-европейской, „подражаніе“, т.-е. собственно ученіе, было неизбежно, и съ болѣе широкой исторической точки зрѣнія эти отношенія представляются естественными и необходимыми.

Русскій народъ по племенному происхожденію, по христіанству, которое послѣ паденія античнаго міра стало основой средне-вѣковой жизни Европы, и по самымъ начаткамъ своей исторіи въ древнемъ періодѣ принадлежалъ къ семь народамъ европейскихъ, а не азіатскихъ. Этими условіями полагалось для него дальнѣйшее развитіе въ томъ же европейскомъ направленіи, на которое указывали и связи стараго русскаго просвѣщенія съ Византіей. Наши средніе вѣка, со временъ татарскаго нашествія, безъ сомнѣнія, насильственно измѣнили ходъ нашей образованности, ослабивъ или совсѣмъ уничтоживъ на то время обще-

европейскія связи ¹⁾, но съ тѣхъ поръ, какъ исполнились вѣковыя надежды и „Богъ освободилъ отъ орды“, когда русское государство въ первый разъ прочно установилось, уже вскорѣ одною изъ постоянныхъ заботъ московскихъ государей стало привлеченіе въ Москву западныхъ ученыхъ людей и техникувъ. Съ теченіемъ времени эта забота все разрасталась, впервые явились свои ученые люди изъ Кіева, и призывъ иностранныхъ ученыхъ при Петрѣ могъ бы считаться только продолженіемъ ранѣе принимавшихся мѣръ. Такимъ образомъ сама московская Россія, хотя усиленно охраняя вѣроисповѣдную неприкосновенность русскихъ людей, въ принципѣ признавала необходимость и пригодность для русской жизни не только западнаго знанія, но и искусства. При Петрѣ все это дѣлалось только открыто и болѣе широко, и прежнее случайное и отрывочное исканіе западнаго знанія стало обдуманнѣе и принципиальнѣе. Въ русскую жизнь не было введено какое-либо новое, ранѣе неизвѣстное начало, а только приведенъ въ сознаніе давно, уже нѣсколько вѣковъ бродившій историческій инстинктъ... Говорятъ обыкновенно, что новое образованіе увлекло только одну часть русскаго общества, высшій классъ, который, находясь въ привилегированномъ положеніи, легкомысленно „оторвался“ отъ народа,—и отсюда въ особенности извлекали великое осужденіе новаго направленія; но дѣло было не въ сословности: новое направленіе просто было принято тѣми, кто не былъ чуждъ школѣ. А когда школа подготавливала извѣстную ступень разумѣнія, то для болѣе образованныхъ людей уже не было другого пути дальнѣйшаго труда, кромѣ пути европейской науки и литературы. Органическое, а не насильственный и случайный, характеръ движенія обнаруживался тѣмъ, что чѣмъ дальше, тѣмъ оно становилось шире, внутренне сильнѣе, все болѣе проникалось національнымъ и народнымъ содержаніемъ.

Это „заимствованіе“, „подражаніе“ не представляли, съ другой стороны, никакого исключительнаго явленія въ историческомъ ходѣ цивилизаціи. Вся ея исторія была длиннымъ рядомъ заимствованій, взаимодѣйствій и національных развитій. Сколько бы

¹⁾ Не касаемся частныхъ условій, которыя съ одной стороны усиливали солидарность европейскихъ народовъ между собой, съ другой отдаляли отъ нихъ русскую жизнь, какъ, напр., непосредственная преемственность античной цивилизаціи на Западѣ (по историческому и географическому сосѣдству), какъ давнее объединеніе западныхъ народовъ церковною латынью, которая стала въ то же время общимъ языкомъ науки, какъ церковное разединеніе Востока и Запада вѣроисповѣдной борьбой католицизма и православія; какъ потомъ различіе въ степени культуры и т. д. Эти обстоятельства въ концѣ концовъ сильно затрудняли наше образовательное объединеніе съ Европой, но не уничтожили указанной выше главной его основы.

новѣйшіе теоретики племенного и культурнаго раздѣленія чело-
вѣчества ни настаивали на національных различіяхъ и мнимо не-
избѣжной враждебности отдѣльных видовъ челоуѣчества, сколько
бы ни хотѣли подорвать представленіе объ „единой цивилизаціи“,
будто бы фантастическое,—остается историческій фактъ, что при
всей массѣ племенныхъ разновидностей, при множествѣ оттѣнковъ
культуры, происходящихъ отъ множества различныхъ явленій пле-
менной жизни, есть извѣстныя общія условія, которыя дѣлали и
дѣлаютъ возможнымъ переходъ отъ одного народа къ другому
приобрѣтеній челоуѣческой мысли и знанія, и наконецъ создаютъ
изъ нихъ общее достояніе. Преданія самого античнаго міра,
теперь подтверждаемая наукой, выводили начатки греческой
культуры изъ Египта и Азіи. Въ исторіи всѣхъ народовъ господ-
ствовала эта международная связь знаній, обычаевъ, искусствъ
и т. д. Заимствованія не уничтожали племенныхъ особенностей,
но обогащали племенное содержаніе, развивали его силы и да-
вали имъ возможность болѣе широкаго историческаго проявленія
и дѣйствія. Римъ не сталъ греческимъ отъ тѣхъ вліяній, какія
принялъ изъ просвѣщенія покоренной имъ Греціи, но несомнѣнно,
что его историческое могущество возросло, когда къ его соб-
ственному содержанію прибавилась сила греческаго просвѣщенія.
Въ предѣлахъ античнаго горизонта Римъ стремился къ всемір-
ному господству, т.-е. къ культурному объединенію извѣстнаго
тогда челоуѣчества, и греко-римская цивилизація дѣйствительно
приобрѣла необычайное распространеніе, которое потомъ развито
было новою историческою ступенью. Одинъ изъ самыхъ могу-
щественныхъ факторовъ цивилизаціи, даже самый могуществен-
ный, какой знала исторія, христіанство, въ своей глубочайшей
основѣ проникнутое именно духомъ чисто челоуѣческаго общенія,
отрицаніемъ какой-либо національной привилегіи, и донинѣ не
устранило соперничества и вражды племенъ; тѣмъ менѣе были бы
въ состояніи стереть національныя черты тѣ сравнительно тѣс-
ныя понятія, которыя приносили отъ одного народа къ другому
обмѣнъ культурныхъ познаній. Съ другой стороны несомнѣнно,
что культурныя вліянія, приходящія извнѣ, оставляютъ свой
слѣдъ на духовной и матеріальной жизни племени и слѣдова-
тельно въ концѣ концовъ видоизмѣняютъ больше или меньше
его природу. Для племенъ новой Европы христіанство было
извнѣ пришедшимъ культурнымъ вліяніемъ, и подъ его дѣй-
ствіемъ создавалась цивилизація новѣйшихъ временъ, измѣнились
первобытныя міровоззрѣнія, а вмѣстѣ облегченъ и ускоренъ путь
междуплеменного пониманія и взаимодѣйствія.

Исторія новой цивилизаціи еще въ гораздо большей степени наполнена фактами этого взаимодѣйствія. На почвѣ христіанства соединялись силы племенъ въ выработкѣ учреждений, образованія, литературы, легенды. Умственные центры — при помощи условнаго, всѣмъ (хотя въ разной степени) чуждаго книжнаго языка, западной церковной латыни — привлекають разноплеменную аудиторію любознательныхъ людей; взаимодѣйствіе научное сопровождается народно-поэтическимъ и литературнымъ; рыцарство становится общимъ бытовымъ явленіемъ, и съ нимъ культъ женщины. Съ первыхъ шаговъ средневѣковой латинской литературы, на ряду съ церковнымъ содержаніемъ сохраняется память объ античной литературѣ и чѣмъ дальше, тѣмъ больше разыскиваются и изучаются римскіе писатели: Виргилій становится въ популярномъ преданіи чародѣемъ и для самого Данта посредникомъ между міромъ живущимъ и загробнымъ. Когда подлинная греческая философія была еще неизвѣстна, Западъ знакомится съ Аристотелемъ черезъ арабовъ и ученыхъ евреевъ, и дѣлаетъ его краеугольнымъ камнемъ схоластической философіи. Давнимъ источникомъ культурныхъ вліяній была для средневѣковаго Запада Византія, хранившая много преданій античной греческой образованности, доставлявшая образцы искусства и художественнаго ремесла. Въ теченіе крестовыхъ походовъ не мало культурныхъ знаній Западъ пріобрѣлъ даже съ мусульманскаго Востока, съ которыми въ промежуткахъ военной борьбы велись оживленныя торговыя сношенія, даже обмѣнъ научнаго знанія, когда еще была въ своемъ расцвѣтѣ образованность арабовъ, и заимствованія въ области поэзіи... Давній интересъ къ античному преданію и связи съ Византіей сдѣлали едва замѣтнымъ первое начало такъ называемаго Возрожденія, которое съ XV вѣка стало великою силою европейскаго образованія. Первые блестящіе плоды оно принесло въ Италіи, гдѣ древнее преданіе было ближе и гдѣ рядомъ съ бурной политической жизнью и оживленною практической дѣятельностью богатыхъ торговыхъ республикъ развились интересы науки и искусства. Одно время Италія была ихъ главнѣйшимъ пріютомъ; затѣмъ классическое образованіе перешло черезъ Альпы, распространилось по всѣмъ землямъ западной Европы, — античный міръ сталъ предметомъ самаго ревностнаго изученія въ университетахъ, высшимъ образцомъ въ литературѣ, создавалъ наконецъ новое міровоззрѣніе, которое порвало съ средневѣковой схоластикой и послужило началомъ свободнаго научнаго изслѣдованія. Изъ церковной латыни, обновленной новымъ изученіемъ классиковъ, выработалась новая

латынь, которая стала чрезвычайно распространеннымъ языкомъ науки, наконецъ даже поэзи: въ XVI—XVII столѣтіяхъ бывали латинскіе поэты, пріобрѣтавшіе великую славу—въ многочисленномъ тогда кругу латинистовъ ¹⁾). Этотъ общій предметъ изученія и удивленія, и общій латинскій языкъ учености опять открывали широкое взаимодѣйствіе евронеискихъ литературъ. Важный ученый трудъ, крупное литературное произведеніе, затрогивавшее вопросы нравственно-общественные, становились общимъ достояніемъ. Литературы отдѣльныхъ странъ въ разное время пріобрѣтали широкое вліяніе внѣ собственной области. Таково было въ особенности обширное вліяніе французской литературы XVII вѣка, въ эпоху сильнѣйшаго развитія ложнаго классицизма. Она выросла, въ результатѣ эпохи Возрожденія, путемъ оживленной литературной дѣятельности, подъ вліяніемъ особыхъ условій французской жизни, силами цѣлаго ряда замѣчательныхъ дарованій и въ концѣ концовъ представила блестящую плеяду писателей, которыхъ слава совпадала съ правленіемъ Людовика XIV и перешла въ середину XVIII вѣка. Это было время высокаго политическаго значенія Франціи, наполнявшаго французовъ національной гордостью, время роскошнаго развитія утонченной придворной жизни, которая становилась недостижимымъ примѣромъ подражанія для остальной аристократической Европы, но также время усиленнаго научнаго и литературнаго труда. Литература въ лицѣ Корнеля, Расина, Мольера, Буало была „украшеніемъ двора“; она построена была всего больше въ стилѣ Возрожденія, выработала извѣстную манеру, гдѣ античные герои говорили изысканнымъ языкомъ французскаго двора и свѣтскаго круга; но вмѣстѣ съ тѣмъ эта литература имѣла столько проблесковъ истинной поэзи, тонкаго чувства, глубокой мысли, наконецъ, замѣчательной выработки формы и языка, что неудивительно то широкое вліяніе, какое получила она во всей западной Европѣ. Въ эпоху, когда монархизмъ окончательно бралъ верхъ надъ остатками средневѣковаго феодальнаго строя и уже готовилось господство „просвѣщеннаго абсолютизма“, эта искусственная, но несомнѣнно изящная литература могла стать „украшеніемъ двора“ и въ другихъ странахъ. Французскій ложный классицизмъ стоялъ на близкой всѣмъ почвѣ высокой оцѣнки античныхъ литературъ, которыя считались вершиной поэтическаго совершенства и единственнымъ образцомъ,—даже у насъ успѣхъ французскаго лож-

¹⁾ Таковъ былъ, напр., польскій латинистъ Сарбѣвскій (Sarbievius), котораго между прочимъ похвалялъ и рекомендовалъ Тредьяковскій.

наго классицизма былъ подготовленъ схоластическимъ распространеніемъ латыни въ кievской, а послѣ и московской школѣ.

Въ русскихъ отголоскахъ псевдо-классицизма повторилось также явленіе, которому у насъ давали не совсѣмъ точныя толкованія. Какъ въ западной Европѣ монархизмъ XVII вѣка устранялъ въ практической политикѣ феодальное преданіе, такъ новая литература, воспитанная классическими увлеченіями Возрожденія, стала въ отрицательное отношеніе къ другому феодальному преданію — въ средневѣковой поэзіи: въ самомъ дѣлѣ, содержаніе ея становилось чуждымъ съ тѣхъ поръ, какъ на основахъ классической философіи стало образовываться новое мировоззрѣніе, по существу отрицавшее средневѣковую мифъ и легенду, и съ другой стороны новому чувству формы не отвѣчали произведенія полу-народной старины съ тѣснымъ кругомъ образовъ и мало выработаннымъ языкомъ. Писатели и теоретики псевдо-классицизма во Франціи, Германіи и т. д. съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ смотрѣли на эту старину, которую считали вѣкомъ варварства, какъ ея поэзію считали безвкуснымъ созданіемъ черни. Для Буало и его современниковъ настоящая французская литература начиналась только съ Малерба. Это понятіе перешло буквально въ русскую литературу XVIII вѣка: условія были, правда, иныя, но подъ вліяніемъ псевдо-классического взгляда настоящей литературой полагалось только то, что основывалось на античныхъ образцахъ и было какъ бы ихъ историческимъ продолженіемъ — и точно также казалось варварствомъ то старое, что не имѣло этой классической основы. Здѣсь и былъ теоретическій источникъ того отрицанія, съ какимъ писатели XVIII вѣка относились иногда къ старому, народному или простонародному: отвергалось не существо національнаго преданія, а тѣсное содержаніе и стиль старой письменности... Мы увидимъ, напротивъ, что на самыхъ первыхъ порахъ, наперекоръ псевдо-классическому пренебреженію къ простонародному, была оцѣнена красота нашей народной пѣсни, и чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе усиливалось исканіе національнаго содержанія и стиля на новомъ уровнѣ литературы.

Самый французскій псевдо-классицизмъ не былъ однако нераздѣльнымъ созданіемъ французскаго Возрожденія: Корнель искалъ образцовъ у испанцевъ, Мольеръ въ первыхъ произведеніяхъ слѣдовалъ за испанской комедіей и итальянской арлекинадой. Если такимъ образомъ славная эпоха французской литературы не была свободна отъ заимствованія и сама утверждалась на увлеченіи классиками и классическими теоріями поэзіи, то ея

собственное распространение въ другихъ странахъ Европы было длиннымъ рядомъ примѣровъ междунарднаго заимствованія: французскій псевдо-классицизмъ создалъ школы въ литературахъ итальянской, испанской, англійской, нѣмецкой. Это былъ цѣлый литературный циклъ, который былъ господствующимъ явленіемъ европейской литературы XVII—XVIII вѣка, пока наконецъ это явленіе не было пережито, и затѣмъ національныя литературы выдвинули свои особенныя черты и запросы и въ свою очередь возымѣли широкое вліяніе въ области европейской мысли и поэзіи. Съ XVIII вѣка идетъ все возрастающее вліяніе прежде совсѣмъ неизвѣстнаго или пренебрегаемаго Шекспира, потомъ англійской философіи; въ Германіи со времени Лессинга и Гедера начинается свое могущественное движеніе, которое, — при общемъ дѣйствіи нѣмецкихъ національных элементовъ, Шекспира, болѣе глубокаго изученія самихъ классиковъ и наконецъ народной поэзіи, — свергло оковы ложнаго классицизма, возстало противъ самого „просвѣщенія“ второй половины XVIII вѣка и, отрицая его разсудочность и матеріализмъ, открыло путь романтизму и идеалистической философіи. Съ конца XVIII вѣка возникаетъ новый обширный процессъ взаимодѣйствій не только въ литературѣ художественной, но и въ цѣломъ объемѣ идей философскихъ, нравственныхъ и общественно-политическихъ.

Такимъ образомъ, начавшееся около половины XVIII вѣка вліяніе французскаго псевдо-классицизма въ нашей литературѣ было вовсе не исключительнымъ фактомъ ея частной подражательности, а отголоскомъ цѣлаго европейскаго явленія: французская школа тогда же оказывала вліяніе въ литературахъ гораздо болѣе старыхъ и богатыхъ. Въ то время, когда наша литература дѣлала свои элементарныя опыты, французская литература была во всемъ блескѣ славы, на которую еще не покушалась критика; это былъ признанный образецъ, а для нашихъ первыхъ писателей это было цѣлое откровеніе. Здѣсь все было ново: и самое содержаніе съ невѣдомыми раньше поэтическими образами, изображеніями чувства, и невиданная прежде красота формы и языка. У однихъ, ближе знакомыхъ съ французской литературой, это было впечатлѣніе непосредственное; у Ломоносова, который, повидимому, былъ знакомъ съ нею меньше, тѣ же впечатлѣнія могли быть получены черезъ нѣмецкую литературу. Въмѣстѣ съ тѣмъ, какъ мы видѣли, воспринятіе этого новаго литературнаго содержанія было облегчено въ рукописной литературѣ конца XVII-го и начала XVIII вѣка, и античная подкладка псевдо-классицизма была знакома тѣмъ, кто проходилъ

кіевскую и московскую академическую школу. Книги Петровской печати давали уже спеціальныя руководства для знакомства съ греческой и римской міеологіей, и школьное преподаваніе учило классической риторикѣ и пѣтикѣ.

Наконецъ, когда сложилось представленіе, что литература должна быть не случайнымъ дѣломъ любителей, а цѣлой особой областью просвѣщенія и общественной жизни, являлся принципиальный вопросъ: каково должно быть содержаніе и форма новой желаемой литературы, какъ сравняться съ другими просвѣщенными народами, на чемъ основать свою русскую литературу? Рѣшеніе было дано первымъ знакомствомъ съ западно-европейской литературой, прежде всего французской и нѣмецкой. Наши первые писатели увидѣли тамъ и здѣсь полное господство псевдо-классицизма, и естественно, что эта форма представилась имъ единственной, по которой должна была сложиться русская литература.

Собственная старина должна была казаться обветшалой: она давала только церковное поученіе или вирши Симеона Полоцкаго; начатки, какіе появлялись въ упомянутой рукописной литературѣ, состояли только въ переводахъ, или были слишкомъ грубы.

По существу вопросъ распадался на двѣ задачи — опредѣлить содержаніе и форму новой литературы, и выработать ея языкъ. Первая рѣшалась сама собой: необходимо было усвоить тѣ формы, которыя господствовали у другихъ просвѣщенныхъ народовъ — классическую эпопею, лирику и драму, очевидно путемъ подражанія „образцамъ“. Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковскаго предупредилъ въ этомъ Кантемиръ; но что было у Кантемира единичнымъ и случайнымъ, надо было установить въ правило. Другая задача была не легче, и русскіе писатели были предоставлены здѣсь только собственнымъ силамъ. Вопросъ о литературномъ языкѣ никогда прежде поставленъ не былъ. Изстари полагалось, что книжный языкъ не можетъ быть иной, чѣмъ тотъ, какой заключался въ книгахъ церковныхъ, — церковные писатели и донинѣ не могутъ освободиться отъ тяжелой славящины: и такъ какъ въ теченіе долгихъ вѣковъ „книжное почитаніе“ было почти только церковное, то этотъ складъ рѣчи сталъ какъ бы обязательнымъ. Правда, съ первыхъ памятниковъ нашей литературы врывалась въ книгу живая народная рѣчь, — гдѣ говорилось о предметахъ бытовой жизни, гдѣ церковно-славянскій языкъ могъ просто оказаться недостаточнымъ и уступка была очевидной необходимостью: такъ живые, прекрасные пробы народной рѣчи, кромѣ чисто дѣловыхъ актовъ, какъ

„Русская Правда“, грамоты и т. д., являются уже на самых первых страницах летописи, в поучении Мономаха, Словѣ Давида Заточника, в паломниках и т. д., не говоря о Словѣ о полку Игоревѣ. Самый церковный языкъ испыталъ вліяніе народной рѣчи, безъ сознанія самихъ книжниковъ. Эпоха Петра и здѣсь послужила переломомъ. Какъ образованіе, которое онъ стремился ввести, было по преимуществу свѣтское, такъ и языкъ, какимъ писались книги его времени, стремился быть языкомъ простой практической жизни. Старое преданіе и новыя требованія смѣшались, и когда притомъ новыя научныя и бытовыя понятія передавались или прямо въ сыромъ видѣ иностранными словами или неумѣлыми переводами, то въ результатъ получилась необычайная путаница разнородныхъ стихій, которая не могла считаться нормальной. „Поэзія“, введенная со второй половины XVII вѣка, нисколько не помогала дѣлу, потому что, не говоря объ ея тяжеловѣсномъ содержаніи, взяла совсѣмъ несвойственный русскому языку силлабическій стихъ, который остался уродливымъ даже у писателя съ новымъ образованіемъ, какъ былъ Кантемиръ. Въ иноземныхъ образцахъ наши первые писатели встрѣчали богатый языкъ, способный выражать самыя тонкія движенія мысли и чувства и, у французовъ, выработанный до высокой степени ясности и изящества: сравненіе представлялось само собою и не могло не вызвать мысли объ организаціи русскаго литературнаго языка. Мы увидимъ, что выработка литературной рѣчи стала одною изъ первыхъ заботъ у новыхъ писателей.

Таковы были задачи, которыя предстояли возникавшей литературѣ, и названные писатели дѣйствительно поставили ихъ въ самомъ началѣ своей дѣятельности. Но чтобы исторически оцѣнить эту дѣятельность, необходимо принять въ соображеніе ту почву, на какой имъ приходилось трудиться. А именно, насколько общество было подготовлено къ литературному нововведенію, можетъ дать понятіе состояніе школы.

Отъ семнадцатаго вѣка осталось два учебныхъ учрежденія: Кіевская Академія и московская школа, преобразованная при Петрѣ въ Славяно-греко-латинскую Академію; бывали также частныя архіерейскія школы, какъ школа Дмитрія Ростовскаго въ Ростовѣ, Теофана Прокоповича въ Петербургѣ и др.; но послѣднія держались только, пока жили ихъ основатели, и лишь одна южная школа, основанная въ двадцатыхъ годахъ XVIII вѣка, развивалась и образовала впоследствии харьковскій „кол-

легиумъ". При Петрѣ являются первыя свѣтскія школы, частью элементарныя, частью техническія, какъ школы цыфирныя, навигацкая, инженерная, артиллерійская. При Академіи наукъ заведена была гимназія, не отличавшаяся, однако, особымъ благоустройствомъ. При Аннѣ Ивановнѣ основанъ Шляхетный кадетскій корпусъ. Вотъ всѣ болѣе или менѣе правильныя учебныя учрежденія, существовавшія до основанія московскаго Университета. Нѣкоторая степень общаго образованія могла быть получаемъ только въ высшихъ духовныхъ школахъ, академической гимназіи и частью въ шляхетномъ корпусѣ; но въ духовныхъ школахъ въ полной силѣ продолжала господствовать старая схоластика; академическая гимназія дѣйствовала очень неровно.

Московская Славяно-греко-латинская Академія шла по стопамъ своего кievскаго первообраза. Нѣсколько подробностей изъ первой половины XVIII столѣтія дадутъ понятіе о складѣ совершавшагося въ ней преподаванія и результатахъ, какіе изъ него могли происходить. Въ области школы также шла борьба стараго съ новымъ. Петрѣ назначилъ протекторомъ московской Академіи Стефана Яворскаго, но мы видѣли, что наконецъ они разошлись въ своихъ взглядахъ; указанія на характеръ школы были даны въ „Духовномъ Регламентѣ“, но въ московской Академіи еще долго гнѣздилась схоластика, противъ которой возставалъ Ѳеофанъ; за скудостью школъ, Петрѣ желалъ, чтобы въ московской Академіи были собраны изъ всѣхъ монастырей имперіи монахи моложе 30 лѣтъ „для ученія, кого какихъ наукъ возможно“, а кромѣ того дозволилъ, чтобы „и градскіе лучшіе приказные люди и дворяне“ отдавали дѣтей въ Академію, — но ея начальство желало скорѣе сохранить за нею только церковническій составъ. Въ 1725 году, изъ герольдмейстерской конторы прислано было въ славяно-русскую школу (низшіе классы Академіи) значительное число недорослей, но ректоръ Академіи отказалъ принять ихъ, отвѣтивъ, что „въ той школѣ происходятъ во ученіи токмо духовныхъ персонъ дѣти, которые бѣ могли въ духовный чинъ происходить“ ¹⁾. Но при Аннѣ Ивановнѣ Академія наполняется недорослями изъ знатныхъ фамилій; въ 1736 году по опредѣленію сената за одинъ разъ поступило въ Академію 158 дворянскихъ дѣтей, между которыми были князья Оболенскіе, Прозоровскіе, Хилковы, Тюфякины, Хованскіе, Долгорукие,

¹⁾ С. Смирновъ, Исторія моск. академій. М. 1855, стр. 86, 107, 179. Это было однако не точно, потому что въ ея низшихъ классахъ бывали солдатскія дѣти, приславшіяся изъ полковъ. Въ 1728 году состоялся синодскій указъ „отрѣшить“ отъ этой школы и впредь не принимать „помѣщиковъ людей (т.-е. крѣпостныхъ) и крестьянскихъ дѣтей“. Тамъ же, стр. 180.

Голицыны, Мещерскіе и пр.; но здѣсь же были и люди совѣтъ иного класса—подъяческія, канцелярскія, дьяческія, солдатскія и конюховы дѣти ¹⁾. Приведенные примѣры указываютъ, во-первыхъ, на неопредѣленное положеніе школы, которая зависить и отъ синода и отъ сената (управлявшаго тогда же, въ высшей инстанціи, и Академіей наукъ), и во-вторыхъ, на бѣдность школьныхъ средствъ, вслѣдствіе которой собственно церковная школа соединяла самые разнообразныя общественныя слои и одна должна была удовлетворять ихъ весьма несходнымъ образовательнымъ нуждамъ. Сама Академія настаивала на своемъ не только церковномъ, но именно монашескомъ составѣ преподаванія: „кіевскіе наставники (они долго занимали главную роль въ профессорѣ), усвоивъ себѣ духъ иночества въ древней столицѣ православія, старались и въ Москвѣ утвердить за монашествомъ господство въ области науки: вслѣдствіе ихъ вліянія считалось почти необходимою поручать ученыхъ каѳедры во всѣхъ классахъ преимущественно монашествующимъ; много было курсовъ, когда въ Академіи между наставниками не было ни одного свѣтскаго лица“. Въ 1744 былъ въ низшемъ классѣ одинъ свѣтскій учитель, но и его сочли нужнымъ удалить; по опредѣленію синода вѣрно было „Григорья Кондакова изъ учителей, понеже онъ монашескаго чина понинѣ не приѣмлетъ, исключивъ, ни къ какимъ школамъ (?) не опредѣлять“ ²⁾.

Соотвѣтственно этому, преподаваніе и теперь сохраняло основныя черты старой схоластики, и въ высшихъ курсахъ главнѣйшіе предметы излагались на латинскомъ языкѣ: этому языку придавалось особенное значеніе языка „единоначальствія“ ³⁾.

Вершиной преподаванія было богословіе, затѣмъ философія. Схоластическія умствованія приводили къ тому, что, по словамъ историка Академіи, „разумъ указывалъ въ разсматриваемомъ предметѣ (вѣроученіи) такія стороны, такіе признаки, къ указанію которыхъ Откровеніе не даетъ ни малѣйшаго повода, объяснял мѣста писанія въ такомъ смыслѣ, который могла отыскать только страсть къ утонченнымъ изслѣдованіямъ“. И богословіе разрѣшало, напр., такіе вопросы: гдѣ сотворены ангелы?

¹⁾ Тамъ же, стр. 107. Выше мы видѣли эти княжескія фамиліи среди исполнителей торжественныхъ дѣйствъ въ московской Академіи.

²⁾ Тамъ же, стр. 84—85.

³⁾ Любопытно, что это объяснял даже ученикъ Лихудовъ, Федоръ Поликарповъ, въ предисловіи къ своему трехязычному лексикону. Греческій языкъ есть языкъ мудрости, латинскій языкъ—единоначальствія; объясняя значеніе надписи на крестѣ Свистела, онъ говорилъ: латинскимъ языкомъ знаменуется всея твари единоначальствующа Господа бытіе; а въ настоящее время „латинскій діалектъ имѣетъ по кругу земному паче иныхъ во гражданскихъ и школьныхъ дѣлахъ обносится“.

могутъ ли они приводить въ движеніе себя и другія тѣла? какъ они мыслятъ и понимаютъ — посредствомъ соединенія, различенія или какъ-нибудь иначе? какимъ образомъ они сообщаютъ другъ другу свои мысли? сколь великое по объему мѣсто можетъ занимать ангелъ? могутъ ли Божескія лица принять человѣческую природу и природу другихъ существъ сотворенныхъ? о познаваемости и возможности воплощенія: въ чемъ состоитъ сущность свѣта славы въ жизни будущей? и т. д. ¹⁾). Руководствомъ въ этихъ дебряхъ служили средневѣковые и новѣйшіе схоластики, въ томъ числѣ и іезуиты... Подобнымъ образомъ ставились и рѣшались вопросы философіи, гдѣ основнымъ авторитетомъ былъ Аристотель, истолкованный схоластиками. Въ лекціяхъ Теофилакта Лопатинскаго упомянуть и Декартъ, но постоянно опровергается. Въ философію входила по старинному кромѣ метафизики и физика, и послѣдняя, мѣшаясь постоянно съ метафизикой, съ богословіемъ и психологіей, излагается съ утонченными изслѣдованіями о существѣ вещей и нерѣдко съ фантастическими разсужденіями о природѣ: смѣшиваются вопросы самые отвлеченные и самые реальные, и послѣдніе обыкновенно излагаются въ томъ же странномъ средневѣковомъ стилѣ. Физика разбираетъ, можетъ ли матерія существовать безъ всякой формы, что можно сдѣлать съ помощью искусства и чего нельзя; говорить о натуральной магіи, занимается изслѣдованіемъ свойствъ тѣлъ, движенія, покоя, можетъ ли существо сотворенное существовать внѣ мѣста и т. п. Въ психологіи послѣ главы о душѣ слѣдуетъ трактатъ о волосахъ, есть ли въ волосахъ жизненная сила, отчего у стариковъ волосы выпадаютъ, отчего у женщинъ не растетъ борода и т. п. Послѣ объясненій о силахъ и дѣйствіяхъ души, идетъ рѣчь о душѣ прозябательной, о процессѣ питанія, о кровообращеніи, потомъ о рожденіи живыхъ существъ; „въ этой главѣ, — говоритъ историкъ, — многіе фізіологическіе вопросы могли бы быть опущены, какъ малополезные для строгаго вкуса и тяжелые для чувства цѣломудреннаго. Неумѣстнѣ всего представляется послѣ изложенія разныхъ фізіологическихъ тонкостей рѣшеніе вопроса *de purificatione Beatissimae Virginis*“. Въ главѣ о системѣ міра прибавленъ вопросъ о предметахъ, которыхъ настоящее существованіе въ мірѣ сомнительно: въ нимъ философъ относитъ рай, сирень, розу безъ шиповъ. Относительно рая приводятся мнѣнія схоластическихъ мудрецовъ: одинъ думалъ, что рай имѣлъ около 40 миль въ окружности; другой, что онъ былъ похожъ

¹⁾ Тамъ же, стр. 143—145, и далѣе.

на какое-либо царство, напимѣръ на Испанію или на Польшу, но вообще полагается, что слѣды рая уничтожены Ноевымъ потопомъ; относительно Иліи и Еноха, которые живы до сихъ поръ, неизвѣстно, гдѣ они теперь. Наконецъ: „Росла ли въ раю роза безъ шиповъ? На это Василій Великій, Амвросій и Дамаскинъ отвѣчаютъ утвердительно; ибо послѣ паденія уже сказалъ Богъ Адаму, что земля возраститъ терніе“.

Съ теченіемъ времени новыя философскія ученія начинаютъ проникать и въ этотъ пріютъ схоластики, но теперь она процвѣтала еще въ полной мѣрѣ, когда въ настоящей наукѣ совершались великія открытія, которыя при Петрѣ начинали находить мѣсто и въ русской книгѣ; были уже названы имена Коперника, „Гюенса“, но Стефанъ Яворскій думалъ, что богословы могутъ смѣяться надъ Коперникомъ. Такіе богословы были въ той Академіи, которой Стефанъ былъ протекторомъ, и удержались еще долго послѣ него... Преподаваніе реторики и піитики совершалось въ томъ же схоластическомъ направленіи. Въ результатѣ его производились натянутыя и высокопарныя риторическія упражненія, которыя неизмѣнно сопровождались украшеніями изъ греческой міеологіи, обильное силлабическое стихотворство, между прочимъ въ тѣхъ школьныхъ драмахъ и торжественныхъ дѣйствахъ, о какихъ мы раньше говорили... Историки этой школы указываютъ, что схоластическое преподаваніе при всѣхъ его недостаткахъ, которые теперь бросаются въ глаза, имѣло свою полезную сторону въ томъ, что путемъ постоянныхъ логическихъ упражненій пріучало къ работѣ мысли, къ точному разсужденію, что оно приготавливало, напимѣръ, опытныхъ богословскихъ полемистовъ и т. п.; но рядомъ оно имѣло свои несомнѣнно вредныя стороны. Схоластическое умствованіе несомнѣнно приносило тотъ вредъ, на который указывалъ нѣкогда Теофанъ. Онъ писалъ однажды профессорамъ Академіи кievской, что схоластика занимала учениковъ пустыми спорами, но поселяла въ нихъ увѣренность въ пріобрѣтеніи мудрости; что науку надо преподавать основательно и достойно, а не дѣлать изъ нея комедію. Богословіе и философія въ ихъ схоластической формѣ дѣйствительно впадали иногда въ комедію, а проповѣдь продолжала напоминать ту „фабрику испорченнаго красворѣчія“, противъ которой Теофанъ вооружался еще въ своихъ кievскихъ трудахъ: наша проповѣдь надолго сохранила эту фальшивую риторическую манеру, которая такъ помогала ей удалаться отъ дѣйствительныхъ задачъ жизни и дѣлала ее безплодной для паствы... Въ концѣ концовъ, извѣстная степень науки все-таки

воспринималась, и потребность въ ученыхъ людяхъ была такова, что питомцы Академіи шли не только въ церковное служеніе, но требовались и на разныя дѣла гражданской службы: изъ нихъ брали подготовленныхъ учениковъ для академической гимназін въ Петербургѣ.

Въ учебномъ дѣлѣ былъ и другой великій недостатокъ — бѣгство изъ школы самихъ учениковъ. Нѣкоторые защитники старой Руси утверждали, что причиной бѣгства было то, что школа XVIII вѣка — и та, которую заводилъ Петръ, и та, какую въ церковномъ вѣдомствѣ устраивали кіевскіе ученые, — не отвѣчала „русскому народному характеру“. Это возраженіе могло бы имѣть смыслъ, еслибы въ старой Россіи была дѣйствительно какая-нибудь настоящая школа, но такой школы не существовало. Дѣло объясняется проще: громадная масса людей не приобрѣла отъ старины никакой потребности въ школѣ, считала ученіе излишней роскошью („отцы наши не глупѣ насъ были и обходились безъ школы“ и т. п.), и даже вредной, потому что можно было „зайтись въ книгахъ“ и потерять разумъ, — дикое представленіе, на которое негодовалъ еще Курбскій; молодые поколѣнія охотно принимали это соображеніе и бѣжали изъ школы, чтобы не утруждать себя ученіемъ. Историкъ Академіи замѣчаетъ просто, что мысль о необходимости образованія не могла быть скоро всѣми принята съ убѣжденіемъ и охотой, потому что „старая привязанность къ праздному невѣжеству еще правилась многимъ“, и это справедливо ¹⁾. „Духовный Регламентъ“ замѣчаетъ, что наборъ въ школы въ глазахъ родителей похожъ былъ на рекрутскій наборъ. Родители оплакивали своихъ дѣтей, которыхъ брали въ школы, совершенно такъ же, какъ древній лѣтописецъ говорилъ это о временахъ Ярослава; и когда школьники бѣжали изъ школы, родители только помогали имъ укрываться. Въ концѣ концовъ отъ родителей брали „сказки“, что они укрывать бѣглецовъ не будутъ; синодъ приказывалъ брать въ школы всѣхъ поповскихъ дѣтей, „а которыя во ученіи быть не похотятъ, тѣхъ имать въ школы и неволею“, и назначенъ былъ денежный штрафъ за неявку... Старина держалась такъ крѣпко, что происходили, наконецъ, столкновенія между епархіальной властью и приходами: когда архіерей назначалъ къ церкви ученаго церковника, приходъ выставялъ своего кандидата, хотя и не ученаго. Въ самой Москвѣ бывали столкновенія, въ которыхъ вліятельный прихожанинъ, купецъ Азбукинъ, заявлялъ: „я плюю на

¹⁾ Тамъ же, стр. 105.

богословію и что намъ есть отъ богословія“, что имъ школьникамъ отнюдь не надобно, пусть школьники идутъ въ села и учатъ тамъ деревенскихъ мужиковъ, а московскіе жители до нихъ еще переучены, да и лучше ихъ, и если школьникъ впередъ придетъ въ ихъ церковь, то они опредѣлили — метлой его выгнать. Не отличались отъ подобныхъ прихожанъ и нѣкоторые архіереи. Съ тѣхъ поръ, какъ стали вызывать въ Москву ученыхъ архіереевъ изъ Малороссіи, они встрѣчали въ Москвѣ большую вражду со стороны менѣе ученыхъ архіереевъ великорусскихъ; послѣдніе свое нерасположеніе къ „черкасамъ“ переносили и на школы, о которыхъ тѣ начинали заботиться, — тѣмъ больше, что содержаніе школы уменьшало архіерейскіе доходы. Въ Казани архіерей предпринялъ гоненіе на школу и учителей. Въ Архангельскѣ архіерей Варсонофій говорилъ о большой, хорошо выстроенной школѣ: „Чего ради такая не по здѣшней епархіи школа построена? да и школамъ въ здѣшней скудной епархіи быть не надлежитъ; къ школамъ охоту имѣли бывшіе здѣсь архіереи черкасишки, ни къ чему негодницы“. Этотъ неохотникъ до школы и въ другихъ отношеніяхъ сохранялъ старинныя нравы, отличался грубостью и жестокостью; однажды, подгулявши, собственными руками прибилъ соборнаго ключаря и велѣлъ водить его на цѣпи вокругъ монастыря въ жестокой морозъ; назначалъ въ священники людей моложе двадцати лѣтъ, бралъ взятки со ставленниковъ... Въ царствованіе Елизаветы Петровны въ самой Москвѣ было не больше 40 ученыхъ священниковъ и діаконѣвъ, включая сюда не окончившихъ академическаго курса ¹⁾. Должно сказать впрочемъ, что нѣкоторымъ извиненіемъ этого бѣгства отъ школы могло служить чрезмѣрное количество безплодной схоластики, какимъ отличались академики — только московскій купецъ Азбукинъ, „плевавшій на богословію“, не умѣлъ высказать своей мысли по-человѣчески; по бѣжали и изъ школъ, менѣе мудрецовъ: приходилось загонять въ ученіе и дворянскихъ недорослей, какъ Митрофанъ у Фонъ-Визина.

Первыя свѣтскія школы являются только со временъ Петра въ видѣ школъ цыфирныхъ, навигацкихъ, инженерной, артиллерійской. Первая болѣе правильная школа, хотя предназначенная всего болѣе для военнаго ученія, но давшая мѣсто и общему образованію, былъ Сухопутный шляхетный корпусъ, основанный при Аннѣ Ивановнѣ, по мысли графа Ягужинскаго и подъ надзоромъ Миниха въ 1732 году, по образцу прусскаго кадетскаго

¹⁾ Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XXII.

корпуса въ Берлинѣ. Мысль о необходимости свѣтскаго образованія была ясно высказана въ первый разъ при Петрѣ. Въ законодательномъ актѣ, изданномъ въ годъ заключенія ниптадтскаго мира, говорилось: „Извѣстно есть всему міру, каковая скудость и немощь была воинства російскаго, когда оно не имѣло правильнаго себѣ ученія, и какъ несравненно умножилась сила его и надъ чаяніе велика и страшна стала, когда державнѣйшій нашъ монархъ, его царское величество Петръ I обучилъ оное изрядными регулами“. И прибавлялось: „тожъ разумѣть и о архитектурѣ, и о врачевствѣ, и о политическомъ правительствѣ и о всѣхъ прочихъ дѣлахъ“. Первымъ учрежденіемъ, которое предназначено было специально для высшей свѣтской науки, была Академія наукъ, которая должна была служить не только цѣлямъ ученымъ, но и цѣлямъ преподаванія: при ней должна была устроиться не только гимназія и университетъ, но должны были найти мѣсто художества и ремесла. Академія должна была разрабатывать науку, дѣлать „инвенціи“, производить разнаго рода изслѣдованія по изученію Россіи, ея географіи, ея естественныхъ богатствъ, ея народовъ, предпринять (на первый разъ руками нѣмецкихъ ученыхъ) изученіе ея древней исторіи и т. д.; въ то же время она должна была устроить среднюю и по возможности высшую школу, должна была заниматься художествами, переводить на русскій языкъ и печатать ученые и учебныя книги, издавать газеты и календари, поставлять торжественныя оды и публичныя рѣчи, наконецъ участвовать въ устройствѣ придворныхъ спектаклей, иллюминацій и фейерверковъ. Уже это обиліе занятій, возлагавшихся на Академію, показываетъ, какъ велика была скудость въ людяхъ ученыхъ или просто чему либо учившихся: во всѣхъ случаяхъ, гдѣ требовалось какое-нибудь ученое или техническое знаніе (кромѣ только военнаго), полагалось, что это можетъ знать, рѣшать и дѣлать одна Академія. Ея внѣшнее положеніе было, соотвѣтственно этому, довольно странное: она зависѣла и отъ своего президента, и отъ штатсъ-канцлеры, и отъ сената.

Между тѣмъ потребность въ нѣскольکو образованныхъ людяхъ для цѣлей самаго государства, въ его возростающемъ развитіи, становилась все болѣе настоятельной; но учиться было негдѣ въ томъ направленіи, какое требовалось для молодыхъ поколѣній служилого класса, для „шляхетства“, какъ его тогда называли. Школъ было мало или онѣ были недостаточны; оставалось учиться кое-какъ дома, или ѣхать за границу. Правительство понимало неудобство этого послѣдняго способа: „хотя

изъ того не малая польза происходила, только не безъ трудности и не безъ убытку имъ отъ тѣхъ посылокъ было, а именно: отлучались отъ домовъ и отъ родителей своихъ въ дальніе чужіе края, въ которыхъ, какъ въ проѣздахъ, такъ и въ тамошнемъ себя содержаніи и въ платежѣ за науки, понесли великіе убытки, а иные, не имѣя надъ собою надлежащаго смотрѣнія, возвратились безъ плода*. Въ этихъ соображеніяхъ основанъ былъ Сухопутный кадетскій корпусъ, главнымъ образомъ для того, „чтобъ такое славное и государству зѣло потребное дѣло (какъ дѣло воинское) наивышше въ искусствѣ производилось“, и чтобы съ этой цѣлью, „шляхетство отъ молодыхъ лѣтъ къ тому въ теоріи обучены, а потомъ и въ практику годны были“. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, кромѣ наукъ, „къ воинскому искусству потребныхъ“, въ Сухопутномъ корпусѣ дано было мѣсто и общему образованію: „повеже,—говорилось въ указѣ,—не каждаго человѣка природа къ одному воинскому склонна, тако-жъ и въ государствѣ не меньше нужно политическое и гражданское обученіе: того ради имѣть при этомъ учителей чужестранныхъ языковъ, исторіи, географіи, юриспруденціи, танцованія, музыки и прочихъ полезныхъ наукъ, дабы, видя природную склонность, по тому-бъ и къ ученію опредѣлять“. Въ день открытія корпуса (разсчитаннаго на двѣсти человѣкъ) въ немъ считалось всего 56 воспитанниковъ, но уже въ слѣдующемъ мѣсяцѣ ихъ оказывалось болѣе 300, и въ томъ же году по докладу директора, графа Миниха, новый штатъ корпуса былъ опредѣленъ въ 360 человѣкъ. Изъ этого можно заключить, что шляхетство увидѣло пользу образованія по крайней мѣрѣ для прохожденія службы; но бѣгство изъ школы оказалось и здѣсь, хотя не въ тѣхъ размѣрахъ, какъ въ духовной академіи и семинаріяхъ; въ слѣдующемъ году пришлось принимать противъ этого мѣры по случаю побѣга пяти воспитанниковъ.

Въ Сухопутномъ корпусѣ преподавались такимъ образомъ не только военныя науки, но и предметы общаго образованія и даже специально подготовлявшіе къ гражданской службѣ. И здѣсь высшей инстанціей былъ сенатъ. Къ какимъ результатамъ приводило преподаваніе, можно судить по такому эпизоду. „Въ 1742 году предъ собраніе сената представлены были присланные отъ Академіи наукъ кадеты Колошинъ, князь Циціановъ, Ляпуновъ, Поповъ, которые въ кадетскомъ корпусѣ обучались юриспруденціи, арифметикѣ и другимъ наукамъ и были посланы въ Академію наукъ для свидѣтельства. Профессора этой Академіи въ аттестатахъ показали, что князь Циціановъ, Ляпуновъ и

Поповъ во всей юриспруденціи, универсальной исторіи и географіи нарочито упражнялись, по-нѣмецки совершенно говорить и во французскомъ и латинскомъ языкахъ доброе познаніе получили, въ ариѳметикѣ и геометріи нарочито искусны, а Колошинъ въ натуральномъ и гражданскомъ правѣ нѣсколько упражнялся, въ универсальной исторіи, географіи, ариѳметикѣ нарочитое искусство показалъ, по-нѣмецки хорошо говорить и обратно съ него на російскій переводить. Сенатъ приказалъ опредѣлить этихъ кадетъ въ правленію секретарской должности—Колошина въ юстицъ-коллегію, Циціанова и Лапунова въ вотчинную, Попова въ судный приказъ¹⁾. Любопытно,—замѣчаетъ Соловьевъ,—что кадетскій корпусъ въ тѣ годы находилъ русскихъ людей, которые могли быть преподавателями этихъ предметовъ и учить иностраннымъ языкамъ такъ, что Академія наукъ признавала въ ученикахъ совершенное знаніе... Въ этомъ Сухопутномъ корпусѣ обучался Сумароковъ.

Выше упомянуто, что въ Москвѣ существовала медицинская школа, въ которую опять проникали интересы общаго образованія; одно время въ ней существовалъ настоящій театръ.

Въ такомъ элементарномъ, неустроенномъ, случайномъ состояніи находились учебныя средства. Училищъ было крайне мало; отчасти ихъ устройство не отвѣчало ни общимъ требованіямъ здраваго преподаванія по тогдашнему состоянію науки (напр., не говоря о схоластическомъ богословіи по іезуитскимъ учебникамъ, философія и физика въ курсахъ духовныхъ школъ), ни ближайшимъ потребностямъ русскаго образованія; сколько-нибудь учившихся людей было немного, и ими спѣшили пользоваться для надобностей службы. Если вмѣстѣ съ тѣмъ въ прежнемъ „учительномъ сословіи“ даже на высшихъ ступеняхъ іерархіи сказывалась самая откровенная вражда къ просвѣщенію, да и порядочное невѣжество, то съ другой стороны тамъ, гдѣ школа была поставлена болѣе или менѣе здраво, она быстро привлекала учениковъ, какъ было въ Сухопутномъ корпусѣ. Съ воцареніемъ Елизаветы Петровны въ русскомъ обществѣ явились, повидимому, новыя возбужденія къ просвѣщенію. Послѣ безобразій предшествующаго періода, одно появленіе на престолѣ дочери Петра Великаго создавало надежды, что возвратятся времена національной славы. Выше было упомянуто, какъ тогдашняя драма, изображавшая иносказательно воцареніе Елизаветы, проклинала владычество иноземцевъ и предсказывала пародную

¹⁾ Соловьевъ, тамъ же, т. XXII.

славу и благополучіе. Въ томъ же тонѣ, съ великимъ негодованіемъ говорили противъ иноземцевъ (заднимъ числомъ) проповѣдники первыхъ лѣтъ царствованія Елизаветы ¹⁾ и, безъ сомнѣнія, былъ вполне искрененъ Ломоносовъ въ знаменитомъ похвальномъ словѣ Елизаветѣ. Это настроеніе должно было напомнить стремленіе временъ Петра къ водворенію наукъ; имя Петра въ эти годы снова пріобрѣтаетъ особый нравственный авторитетъ, и мы увидимъ, какъ писатели этой эпохи усиливается доказать, между прочимъ своими собственными твореніями, что русскіе уже сравнялись съ Европой въ просвѣщеніи. Важное политическое положеніе, которое Россія успѣла занять въ средѣ европейскихъ державъ, заставляло русскихъ людей, которымъ могло предстоять высокое служебное поприще, стараться пріобрѣсти образованіе, которое поставило бы ихъ на уровнѣ европейскихъ знаній и интересовъ. Начинаетъ распространяться ученіе за границей, и съ этимъ усиленное вліяніе французской литературы, а также и обычая. „Вслѣдствіе переворота 25-го ноября,—говоритъ Соловьевъ,—нѣмцы, стоявшіе наверху, попадали, высшее правительство очутилось въ русскихъ рукахъ; но иностранцы толковали, что этотъ переворотъ будетъ гибеленъ для Россіи, русскіе по своей необразованности, не умѣя вести дѣла, погубятъ то, что было создано искуснымъ нѣмцемъ Остерманомъ, или принуждены будутъ возвратить его изъ ссылки. Новое поколѣніе русскихъ людей, выведенное Елизаветою наверхъ, должно было постараться уничтожить мѣнѣе, что безъ помощи иностранцевъ Россія не можетъ быть управляема, не можетъ поддержать своего значенія, даннаго ей отцомъ Елизаветы, а необходимое средство для этого было образованіе. Алексѣй Разумовскій посылаетъ молодого брата своего учиться за границу; вице-канцлеръ графъ Воронцовъ ѣдетъ за границу, какъ для поправленія здоровья, такъ и для образованія; молодой Иванъ Шуваловъ въ образованіи, въ сближеніи съ учеными, писателями готовитъ себѣ знаменитое мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія. Нѣмцы съ презрѣніемъ относились о необразованности русскихъ; но когда русскіе въ поискахъ за образованностью внимательно посмотрѣли на Европу, то увидали, что сами нѣмцы, столь гордые своимъ учительскимъ характеромъ въ Россіи, у себя дома рабски подчиняются вліянію французскому. Отсюда понятно, что русскіе люди непосредственно обращаются къ Франціи, къ ея языку, къ ея литературѣ“ ²⁾).

¹⁾ Дѣтописи р. литер. и древн., Тихонравова, т. II.

²⁾ Соловьевъ, т. XXII.

Царствованіе Елизаветы было дѣйствительно тѣмъ временемъ, когда въ нашемъ обществѣ стало въ особенности распространяться вліяніе французскаго языка, свѣтскихъ обычаевъ, а также и литературы; но Петръ уже имѣлъ большое уваженіе къ французской наукѣ, а первые начатки французскаго литературнаго вліянія восходятъ ранѣе временъ Елизаветы, къ Кантемиру и къ Тредьяковскому; Сумароковъ, повидимому, уже въ Сухопутномъ корпусѣ начался французской литературы и сталъ ея поклонникомъ. Эти образцы и послужили первымъ литературнымъ руководствомъ.

Тѣмъ же временамъ дочери Петра принадлежитъ фактъ исторически рѣшающаго значенія—основаніе московскаго Университета. Извѣстно, что и на его первыхъ шагахъ отразилась скудость тогдашняго образованія: университетъ долго не могъ установиться и стать въ подобавшее ему положеніе ученой школы; долго онъ держался выписными профессорами, нѣмцами,—но мало-по-малу онъ приобрѣлъ то значеніе, которое сдѣлало его однимъ изъ самыхъ благотворныхъ двигателей русскаго просвѣщенія. Въ рядахъ самихъ профессоровъ-иностранцевъ нашлись люди, достойнымъ образомъ исполнявшіе свою просвѣтительную задачу и занявшіе мѣсто въ исторіи не только возникавшей русской науки, но и литературы: многіе изъ этихъ профессоровъ были именно проводниками западныхъ литературныхъ идей.

— П. Пекарскій, Исторія Импер. Академіи наукъ въ Петербургѣ. Два тома. Спб. 1870—1873.

— А. Куникъ, Сборникъ матеріаловъ для исторіи Академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ. Спб. 1865.

— Матеріалы для исторіи Импер. Академіи наукъ,—подъ ред. М. И. Сухомлинова. Девять томовъ. Спб. 1885—1897. Томъ 1-й заключаетъ документы 1716—1730 годовъ; въ томѣ 6-мъ, 1725—1743 г., находится старая Исторія академіи наукъ, Гер. Фр. Миллера, съ продолженіями І. Г. Штриттера; томъ 9-й доведенъ до 1749 года.

— К. С. Веселовскій, Петръ В. какъ учредитель Академіи наукъ, въ „Запискахъ“ Акад. наукъ, 1872, т. XXI.

— Указанныя выше описанія документовъ архивовъ Сенатскаго и Синодальнаго, гдѣ между прочимъ свѣдѣнія о школахъ и Академіи наукъ.

— П. Знаменскій, Духовныя школы въ Россіи до реформы 1808 года. Казань, 1881 (много свѣдѣній о провинціальныхъ школахъ);—Приходское духовенство въ Россіи со времени реформы Петра. Казань, 1873.

— С. Смирновъ, Исторія моск. Славяно-греко-латинской академіи. М. 1855;—Исторія троицкой семинаріи. М. 1857.

— А. Благовѣщенскій, Исторія казанской семинаріи. Казань, 1881.

— М. И. Горчаковъ, Монастырскій приказъ (1649—1725). Опытъ историко-юридическаго изслѣдованія. Спб. 1868.

— А. С. Лебедевъ, Харьковскій коллегіумъ какъ просвѣтительный центръ Слободской Украйны, до учрежденія въ Харьковѣ университета. М. 1886.

— Д. Багалъй, Заселеніе харьковскаго края и общій ходъ его культурнаго развитія до открытія университета. Харьковъ, 1889.

— Н. Стеллецкій, Харьковскій коллегіумъ до преобразованія его въ 1817 г., въ журн. „Вѣра и разумъ“, 1895.

— Д. И. Багалъй, Опытъ исторіи Харьковскаго университета, по неизданнымъ матеріаламъ. Т. I, два выпуска. 1802—1815. Харьковъ, 1894—1896.

— Гр. Д. Толстой, Академическая гимназія въ XVIII столѣтіи, по рукописнымъ документамъ архива Академіи Наукъ. Спб. 1885;— Академическій университетъ по рукоп. документамъ архива Акад. н. Спб. 1885, изъ „Записокъ“ Акад. Н., т. II.

— А. Висковатовъ, Краткая исторія 1-го кадетскаго корпуса. Спб. 1832.

— Ѳ. Веселаго, Очеркъ исторіи морского кадетскаго корпуса. Спб. 1852.

— М. Лалаевъ, Историческій очеркъ военно-учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ главному ихъ управленію. Спб. 1880.

— Я. Чистовичъ, Исторія первыхъ медицинскихъ школъ въ Россіи. Спб. 1883.

— Владимірскій-Будановъ, Государство и народное образованіе, въ Журн. мин. просв. 1873, окт. и ноябрь.

М. И. Демковъ, Исторія русской педагогіи. Часть II. Новая русская педагогія (XVIII-й вѣкъ). Спб. 1897.

— Общіе замѣчанія о ходѣ школы и образованія въ первой половинѣ XVIII в. у С. М. Соловьева, „Ист. Россіи“.

— С. Шевыревъ, Исторія Импер. московскаго Университета. М. 1855.

— Біографическій Словарь профессоровъ и преподавателей Импер. Моск. Университета. Два тома. М. 1855.

— В. Иконниковъ, Русскіе университеты въ связи съ ходомъ общественнаго образованія, въ „Вѣстн. Европы“, 1876, сентябрь—ноябрь.

ГЛАВА XI.

ТРЕДЬЯКОВСКІЙ И СУМАРКОВЪ.

Стремленіе установить теоретическія основанія и формы литературы.
Труды Тредьяковскаго.—Реторика и поэтика.—Вопросъ о языкѣ и стихосложеніи.
Литературная дѣятельность Сумарокова.—Увѣренность, что русская литература
уже равняется съ европейскими, именно съ французской.

Первые писатели новой литературы, — когда сталъ передъ ними псевдо-классическій образецъ во французской литературѣ, — направили свою литературную дѣятельность двоякимъ образомъ: съ одной стороны они хотѣли, насколько доставало (а чаще не доставало) ихъ силы, дать въ своихъ собственныхъ произведеніяхъ разнообразныя примѣры эпоса, лирики и драмы, съ другой — объяснить самое существо новыхъ формъ. Особой важной и трудной задачей сталъ также вопросъ о литературномъ языкѣ.

Биографія этихъ писателей даетъ понятіе о томъ, какъ, — по видимому случайно, а на дѣлѣ исторически стихійно, — сложились новые вкусы и стремленія. Послѣ Кантемира, самымъ раннимъ дѣятелемъ возникавшей литературы былъ Тредьяковскій. Родомъ изъ Астрахани, онъ былъ сынъ священника (род. въ 1703), и отецъ предназначалъ его также въ священники, но ему пришлось учиться у капуцинскихъ монаховъ, которые въ началѣ XVIII вѣка перебрались туда съ католическими армянами, и когда русскихъ учителей никакихъ не было, занялись преподаваніемъ и между русскими. Такъ какъ собственная высшая духовная школа (въ Кіевѣ и Москвѣ) была тогда латинская, то неудивительно, что самъ отецъ Тредьяковскаго отдалъ сына въ ученіе къ капуцинскимъ монахамъ, какъ латинистамъ. Не извѣстно какъ, но въ концѣ концовъ Тредьяковскій ушелъ, — по

его словамъ „убѣжалъ“, — изъ Астрахани въ Москву, вѣроятно, для того, чтобы усовершенствовать свои познанія; но, пробывши года два въ Славяно-греко-латинской Академіи, онъ, по причинамъ опять недостаточно выясненнымъ, „убѣжалъ“ и изъ Москвы, на этотъ разъ въ Голландію. Это было въ 1725 году. Впослѣдствіи, обращаясь изъ-за границы въ синодъ съ челобитною о пособіи ему для продолженія его ученія, онъ писалъ объ этомъ побѣгѣ изъ Москвы такъ: „Проходя мои науки въ Москвѣ въ Спасскомъ Заиконномъ монастырѣ, при ректорѣ отцѣ архимандритѣ Вишневскомъ, превеликое я, нижепоименованный, имѣлъ желаніе, чтобы оныя окончить въ европейскихъ краяхъ, а особливо въ Парижѣ; для того, какъ всему свѣту извѣстно, что въ ономъ наиславнѣйшія (науки) находятся“. Въ Голландіи пріютилъ его русскій посланникъ графъ Головкинъ; здѣсь онъ обучился французскому языку, а затѣмъ отправился, „шедши пѣшъ“ по крайней бѣдности, въ Парижъ, цѣль его пламенныхъ стремленій. Здѣсь ему посчастливилось найти новыхъ покровителей въ князьяхъ Куракиныхъ и онъ ревностно предался изученію наукъ математическихъ, философскихъ и богословскихъ, но не остался чуждъ и легкой литературѣ; напротивъ, послѣдняя видимо увлекла его, и стихотворство, которому онъ предавался еще въ Москвѣ, получило теперь новое направленіе. Вернувшись въ Петербургъ въ 1730 году, Тредьяковскій тогда же издалъ знаменитую „Ѣзду на островъ любви“ (*Voyage à l'île d'amour ou la clef des coeurs*, Талемана). Самый Парижъ приводилъ Тредьяковскаго въ восторгъ и онъ уже на первыхъ порахъ написалъ „стихи похвальные Парижу“; его увлекала и французская литература и онъ впервые передаетъ на русскомъ языкѣ два главные кодекса псевдо-классицизма: посланіе Горация „*De arte poetica*“ и поэму Буало „*L'art poétique*“... Въ половинѣ XVI столѣтія Максимъ Грекъ восхвалялъ своимъ читателямъ науки „града Паризіа“ — и только въ первой половинѣ XVIII-го русскіе начали пользоваться этими науками.

Не будемъ останавливаться на стихотворствѣ Тредьяковскаго, неудовлетворительность котораго видѣли уже его современники; гораздо болѣе цѣнны были его труды по объясненію теоретическихъ основаній литературы. Еще въ тридцатыхъ годахъ онъ ставилъ вопросы объ истинныхъ свойствахъ русскаго стихотворства и обогащеніи русскаго языка (для цѣлей литературы); позднѣе, онъ счелъ нужнымъ дать переводы теоретическихъ поэмъ Горация и Буало и сопроводилъ ихъ своими объясненіями; переводя Телемака, онъ счелъ нужнымъ дать трактатъ объ эпопеѣ

и т. д. Эти теоретическія объясненія стояли вполне на псевдо-классической почвѣ, и на русскомъ языкѣ являлись первыми въ своемъ родѣ. Правда, въ преподаваніи духовныхъ академій уже раньше излагалась реторика и піитика на очень близкихъ основаніяхъ, потому что онѣ также были въ существѣ ложно-классическими, но, во-первыхъ, преподаваемые на латинскомъ языкѣ, онѣ не выходили за стѣны школьныхъ святилищъ, а во-вторыхъ, не выходили также изъ рамокъ латинско-схоластическаго содержанія, и мало или совсѣмъ не знали о дальнѣйшемъ развитіи псевдо-классицизма въ новой европейской литературѣ. Тредьяковский думалъ познакомить русскихъ читателей съ тѣмъ, что по его мнѣнію было самымъ свѣжимъ и авторитетнымъ явленіемъ литературы. Трудно сказать, насколько его переводы Горація и Буало поучали русскихъ читателей, потому что переводъ по его обычаю сдѣланъ жестокими стихами (Буало) и тяжелой прозой (Горацій), но многіе изъ читателей могли быть знакомы съ подлинникомъ, по крайней мѣрѣ французскаго поэта. Къ переводу Тредьяковский присоединилъ объяснительное введеніе, а текстъ сопровождалъ комментаріями; за переводъ онъ принялся съ великой серьезностью и рѣшилъ („паль жребій судомъ моимъ“) перевести Буало стихами, а Горація прозой: Горацій былъ главною основою для Буало и переводчикъ хотѣлъ, чтобы произведеніе французскаго писателя, „представляя прежде ту же самую твердость, услаждало бы притомъ и мѣрою и рифмою, и чрезъ тобъ больше предуготовило разумъ въ внятію ихъ въ послѣднемъ“; кромѣ того онъ хотѣлъ усладить читателя и другимъ, а именно, перевелъ разныя пѣсни ямбическимъ и хорейскимъ гекзаметромъ попеременно. Наконецъ, говорилъ онъ: „не оставляю вамъ донести, благосклонный читатель, и сіе, что каждый Буаловъ Стихъ изображается каждымъ же моимъ однимъ; такъ что, сколько у Буало во всякой Пѣсни и во всѣхъ четырехъ Стиховъ, столькожъ и у меня во всемъ томъ составѣ: сіе подлинно весьма трудно, но силъ человѣческихъ не выше“.

Переводчикъ счелъ нужнымъ объяснить и другія обстоятельства своего труда. Онъ опасался, что предпріятіе, которое повидимому должно бы было принести ему честь „за подыятіе труда и за обогащеніе нашего языка тѣмъ, чему у насъ давно бытъ надлежало, и еще при самомъ начатіи словесныхъ красныхъ Наукъ, — напротивъ того, скорѣе можетъ обратиться въ причину укоризны и похуленія“. А именно, онъ боялся, что пристрастные люди будутъ разглашать, что едва ли переводные стихи могутъ быть столько же хороши, какъ подлинныя, а также бу-

дуть осуждать трудившагося, что онъ „употребилъ тутже Хореическій Гексаметръ, который токмо нѣженъ, а не одинъ Іамбическій, кой есть высокъ и благороденъ“. У него уже равьше шли споры съ Ломоносовымъ объ относительныхъ достоинствахъ хореического и ямбического стиха .. „Весь сей вопль,—продолжаетъ Тредьяковскій,—кто услышитъ издали, тому онъ можетъ либо слышаться основательнымъ; но приложившаго ближе къ нему свои слухи, едваль онъ въ состояніи обольстивъ оглушить: онъ ни пошлымъ не имѣетъ твердости“¹⁾. И онъ подробно доказываетъ примѣрами изъ классической древности и новѣйшей французской литературы, что переводы могутъ быть не только не хуже подлинниковъ, но, будто бы, иной разъ даже лучше; изъ этихъ примѣровъ оказывается между прочимъ его большая начитанность и въ классикахъ, и во французской литературѣ. Затѣмъ онъ старается „очистить второй пунктъ“, то есть рѣшить споръ о хореѣ и ямбѣ, ссылаясь опять на классиковъ, на Аристотеля, Квинтиліана и Горація.

Давши практическій кодексъ поэзіи, Тредьяковскій составилъ послѣ „Мнѣніе о началѣ поэзіи и стиховъ вообще“. Это былъ опять первый въ своемъ родѣ трактатъ на русскомъ языкѣ. „Мнѣніе“ опять свидѣтельствуетъ о большой начитанности автора и по своему времени представляетъ весьма здравыя разсужденія, въ которыхъ онъ руководился классиками, а также и новѣйшими писателями, особливо Фонтенелемъ и историкомъ Ролленемъ, котораго вообще почиталъ. Горацій уподоблялъ поэзію живописи; Тредьяковскій прибавляетъ, что стихъ можно уподобить краскѣ, употребляемой въ живописи. Поэтому, говоритъ онъ, „нѣкто Эризій Путапскій написалъ основательно: иное быть цѣлкомъ, а иное стихи слагать“. О поэзіи писано много, но о началѣ стиха не говорилъ почти никто. Истинное понятіе о поэзіи есть не то, чтобы слагать стихи, но чтобы „творить, вымышлять и подражать“. „Твореніе есть расположеніе вещей послѣ оныхъ избранія; вымысленіе есть изобрѣтеніе возможностей, то-есть, не такое представленіе дѣяній, каковы они сами въ себѣ, но какъ они могутъ быть, или должныствуютъ; а подражаніе есть слѣдованіе во всемъ естеству описаніемъ вещей и дѣлъ по вѣроятности и подобію правдъ“... „Можно творить, вымышлять и подражать прозою; и можно представлять истинныя дѣйствія стихами“,—какъ объяснилъ уже Аристотель. Онъ приводитъ мнѣ-

¹⁾ Т.-е. простого, обыкновеннаго основанія: „пошлый“—въ старинномъ смыслѣ, т.-е. обыкновенный, „привычный“ („по старинѣ и по пошлывѣ“, т.-е. какъ пошло по старому обычаю), какъ „красныя“ науки—*belles lettres*.

нія древнихъ писателей о началѣ поэзіи, свидѣтельство книги Бытія объ Іувалѣ, который, по мнѣнію Тредьяковскаго, и былъ первый пѣицъ и первый музыкантъ, а послѣ потопа первая поэзія была пастушеская; но первая поэзія въ соединеніи съ стихами была дѣломъ жрецовъ, которымъ для исполненія ихъ служенія нуженъ былъ особый составъ рѣчи: посредствомъ стиха рѣчь получала поэтическую возвышенность и красоту. Повторяя въ этомъ мнѣніи своего авторитета Роллена, Тредьяковский прибавляетъ соображенія и о древней русской поэзіи. „Сіе,—говоритъ онъ,—равнымъ образомъ я разумѣю и о нашихъ самыхъ первоначальныхъ Стихахъ: вѣроятно по всему, что и наши поганскіи Жрецы были первыми у насъ Стихотворцами. И хотя нѣтъ ни одного оставшагося у насъ образчика языческія нашей Поэзіи, однако видно и нынѣ по мужицкимъ пѣснямъ, что древнѣйшія Стихи наши, бывши въ употребленіи у Жрецовъ нашихъ, состояли Стопами, были безъ Рима, и имѣли Тоническое количество слоговъ“. Дальше мы еще встрѣтимся съ этимъ взглядомъ. Къ общему вопросу о поэзіи Тредьяковский возвратился въ „Письмѣ къ пріятелю о нынѣшней пользѣ гражданству отъ поэзіи“. Указавъ древнее начало и значеніе поэзіи, прославлявшей великихъ людей, научавшей добродѣтели, исправлявшей нравы, онъ полагаетъ, что и въ наше время поэзія могла бы сохранить свою прежнюю важность, еслибы наше время не довольствовалось во многихъ случаяхъ другимъ родомъ краснословія, именно прозой, которая исполняетъ многое, что принадлежало прежде поэзіи, а поэзіи предоставила только разные виды стихотворства. И такъ, прежде стихи были нужное и полезное дѣло; а нынѣ — „утѣшная и веселая забава, да къ тому жъ плодъ богатаго мечтанія въ заслуженію не того вещественнаго награжденія, которое есть нужно въ препровожденію жизни, но такъва воздаянія, кое часто есть пустая и скоро забываемая похвала и слава“. Сдѣлавъ оговорку, что Іоаннъ Дамаскинъ и другіе святые отцы показали, что стихи имѣютъ великую важность и для православной церкви, Тредьяковский соглашается, что теперь уже нѣтъ въ стихахъ ни особой нужды, ни большой пользы; но они все таки надобны, потому что какъ бывають кромѣ скромныхъ сельскихъ хижинъ и великолѣпныя палаты, такъ нужны и стихи между науками, украшающими разумъ, или „потолкну между Ученіями словесными надобны Стихи, поколику Фрукты и Конфекты на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ“... Это разсужденіе, нерѣдкое въ томъ вѣкѣ, своею нелѣпою формою указываетъ, однако, что авторъ разумѣлъ, и самъ грубо практиковалъ, поэзію какъ ремесло.

Въ другихъ случаяхъ онъ однако опять восхищается произведеніями поэзіи и къ переводу Телемака присоединилъ обширное „предъизъясненіе“ о героической поэмі, которая кажется ему высшимъ совершенствомъ поэзіи. „Ироическая, инако Эпіическая, Піима, и Эпопіа, есть крайній верхъ, вѣнецъ, и предѣлъ высокимъ произведеніямъ разума человѣческаго. Она и глава, и совершеніе конечное, всѣхъ прейзятныхъ подражаній естеству, изъ которыхъ вѣдино не содѣлываетъ большія сладости человѣкомъ, съ природы любоподражателямъ, коль сіе, толикаго превосходства, Эпіическое подражаніе“. Героическая поэма несравненно выше живописнаго искусства: „Сія едина уловляетъ хитро, что есть самое нѣжное въ чувственностяхъ, а тонкое и живое въ мысляхъ. Едина сія входитъ и въ глубину. внутренностей нашихъ, возбуждая въ ней преутаенные душевные пружины въ подвижность. Соединяя въ себѣ дивнымъ счетаніемъ, всѣ пріятности Зографства ¹⁾ и Мусикии, имѣетъ, сверхъ сихъ, еще неизреченные, коихъ видѣ индѣ не заемлетъ, и которые вѣдомы ей токмо единой“. Она учитъ добродѣтели, она есть нравоучительное любомудріе и исторія, но все это предлагаетъ въ привлекательномъ видѣ. Напримѣръ, „Исторія есть обширная страна, измѣряемая всѣмъ разстояніемъ мѣстъ, и многочисленіемъ лѣтъ; но Эпопіа, Поле токмо подлежащее, распещренное цвѣтами и окруженное благосѣннолиственными рощами: такъ что та посылаетъ въ далекое и долгое путешествіе, а сія изводитъ на не многовременное токмо гуляніе въ прохладу. Вкратцѣ, Ироическая единственно Піима избрѣла средство преподавать истину, красующуюся убранствомъ богрянозарнымъ, сіяющую удобреніемъ ²⁾ благоприличнымъ, и высающуюся величіемъ сановнымъ“, такъ, чтобы „единнымъ возрѣніемъ вдругъ созерцаемая“, она долго удержала на себѣ „взоръ, велелѣпность разсматривающей, какъ ненасытно дивящейся въ любопытствѣ и чрезъ то вперилась бы и впечатлѣлась въ разумъ на всѣ вѣки незабвенно“.

Такъ Тредьяковскій изображалъ красоту ироической піимы, и такимъ языкомъ говорили эти первыя литературныя толкованія, въ которыхъ школьная реторика неумѣло старается выразить эстетическія впечатлѣнія и гдѣ, однако, мы не разъ встрѣтимъ удачное и красивое слово, съ тѣхъ поръ водворившееся въ литературномъ языкѣ... Первымъ избрѣтателемъ ироической піимы, который вмѣстѣ съ тѣмъ достигъ въ ней величайшаго совершен-

¹⁾ „Живописество“, толкуетъ Тредьяковскій;—такъ это слово употреблялъ и Ломоносовъ.

²⁾ Онъ разумѣлъ: украшеніе.

ства, былъ, конечно, Омиръ; черезъ нѣсколько столѣтій послѣ него вторымъ ироническимъ питомъ былъ римлянинъ Маронъ (Виргилій), а потомъ почти тысячу семьсотъ лѣтъ не было новой иронической пѣны, когда четвертою — послѣ Илиады, Одиссеи и Энеиды — „снабдилъ“ общество на французскомъ языкѣ знаменитый Фенелонъ, — „да какою сею снабдилъ? По самой сущей правдѣ, превосходнѣйшею несравненно и Первыхъ двухъ, и Третья послѣдняя, а сіе Истиною и Твердостію нравоучительнаго Христіанскаго Наставленія“... Тредьяковскій, между прочимъ, выразилъ свое великое уваженіе къ произведенію Фенелона тѣмъ, что его прозу перевелъ своими гексаметрами: онъ былъ увѣренъ, что его Тилемахида вполне передаетъ всѣ красоты подлинника, „всю оныхъ гладкость, пріятность, съ самою сладостію произливаетъ“, что онъ угощаетъ своихъ читателей, какъ и Фенелонъ, „медоточнымъ нектаромъ, пиіемъ онымъ творческимъ“...

Такимъ образомъ Фенелонъ, несмотря на промежутокъ въ тысячи лѣтъ, является непосредственнымъ продолжателемъ Гомера и Виргилія; очевидно, ихъ продолжалъ бы и русскій писатель, если бы задумалъ героическую поэму. Та же прямая преемственность соединяла новую европейскую литературу съ классиками и въ другихъ областяхъ поэзіи и прозы. Въ „Разсужденіи о комедіи вообще“ Тредьяковскій объясняетъ, что комедія древнихъ грековъ и римлянъ продолжается понынѣ подражаніемъ у всѣхъ почти европейскихъ народовъ, а особливо у французовъ: „нынѣшняя Европейская Комедія, на какомъ бы она языкѣ ни была сочинена и представлена, есть ни что иное какъ токо оная Греческая, въ совершенство уже тамъ же приведенная Комедія“. То же самое надо было разумѣть о трагедіи, о разныхъ формахъ лирики и т. д. Въ результатъ получалось представленіе о полномъ единствѣ по существу между новыми литературами и ихъ античными первообразами, и затѣмъ выводъ, что и новой русской литературѣ нѣтъ другого пути и что, перенимая свои формы въ ближайшихъ образцахъ (у французовъ и нѣмцевъ), она только примыкаетъ къ одному великому историческому цѣлому: это соображеніе, очевидно, не совпадаетъ съ позднѣйшимъ обвиненіемъ писателей того вѣка въ простое подражаніе французамъ или нѣмцамъ.

Какъ профессоръ эловенціи, Тредьяковскій написалъ и „Слово о богатомъ, различномъ, искусномъ и несхотственномъ витіиствѣ“. Здѣсь между прочимъ говорилъ онъ о томъ, что при всемъ радѣнии о природномъ языкѣ должно изучать и чужіе языки, между прочимъ латинскій, „довольно и предовольно вычищенный по

долговременной тѣмъ варварства, къ общей наукъ способности“ (онъ перечисляетъ длинный рядъ ученыхъ, начиная отъ Петрарки, совершившихъ это вычищеніе), но возстаетъ противъ тѣхъ, которые давали латинскому языку первостепенное мѣсто; „только да не называютъ его благороднѣйшимъ всѣхъ прочихъ, а особливо каждой своего природнаго, сіе не знаю чѣмъ угрюмымъ дышетъ, и да не приписываютъ толь много чести Латинскому языку, дабы думать, что все на все Ученіе токмо на немъ состоитъ“. Это послѣднее замѣчаніе могло имѣть значеніе и въ тогдашнихъ русскихъ условіяхъ: на латинскомъ языкѣ шло тогда преподаваніе въ духовныхъ академіяхъ и пока еще не было мысли подумать о „природномъ“ языкѣ, на чемъ настаивалъ Тредьяковскій.

Оспаривая „затвердѣлое мнѣніе“ о преимуществахъ латинскаго языка, онъ напоминаетъ, что греки были нѣкогда увѣрены, что только одинъ ихъ языкъ „есть и начало, и основаніе, и верьхъ всѣхъ наукъ и знаній“, и считали невозможнымъ дѣломъ, чтобы когда-нибудь такое превосходство получилъ какой другой изъ презираемыхъ „варварскихъ“ языковъ. Но потомъ гораздо больше греческаго распространился языкъ латинскій, овладѣлъ науками и художествами „и пребывалъ въ силѣ отъ тѣхъ поръ до нашихъ временъ, называясь общимъ, по крайней мѣрѣ, Учеными“. „Однако и сей (т.-е. латинскій языкъ), равнымъ образомъ, столько-жъ непристойно величается симъ именемъ: обличаетъ его спесь Аглінской, показываетъ чванство его Італіанской, доноситъ на тщеславіе его Нѣмецкой, но сильнѣе всѣхъ доказываетъ его въ томъ гордость Французской“. Тредьяковскій ожидалъ, что это подтвердитъ, наконецъ, и русскій языкъ, „ежели сперва многіе переводы съ другихъ языковъ и начнеть, и совершить, и симъ образомъ пословія своего сочиненія вычистить, а при всемъ томъ, многія и различныя вещи именами называя, богатое изобиліе словъ получить“. Поэтому, пусть тѣ изъ нашихъ, которые знаютъ иностранные языки („цвѣтутъ искусствомъ языковъ“) переводятъ „все что презираѣйшее, все что полезнѣйшее, все что достойнѣйшее въ чужихъ языкахъ, на вашъ Россійскій языкъ; да обогащаютъ Россію выборнѣйшими Книгами, да утоляютъ жажду во многихъ, которую они имѣютъ къ чтенію, къ полученію наставленія, къ наслажденію разума и сердца, къ приобрѣтенію не токмо бѣльшаго въ разумѣ просвѣщенія, но, что вѣщнее есть, и твердѣйшаго исправленія въ добродѣтельное сердце“... Но пусть наши ученые совершаютъ и свои собственные труды; „всегда удивляться чужому искусству, а собствен-

ныхъ силъ не отвѣдывать, и о собственномъ искусствѣ не стараться, знакъ есть незнанія и лѣности, или, по крайней мѣрѣ, ненадѣянія къ здѣланію равнаго, хотя бы ужъ и такъ, которое бы весьма мало не равнялось“. Если къ этому будутъ приложены всѣ мѣры неусыпнаго прилежанія, деио и ношно, каждымъ въ своемъ дѣлѣ и всѣми вмѣстѣ, тогда, заключаетъ Тредьяковский, „и вы, О! дражайшіе Россіане, здѣлаете либо еще и плодотворнѣйшее и полезнѣйшее, и изящнѣйшее, и высочайшее“.

Такъ, при первыхъ опытахъ литературы сами собой представлялись образцы, которые были тогда единственными, являлась необходимость „называть вещи именами“, обогатить и „вычистить“ языкъ, предпринимать собственные труды, которые почти равнялись бы съ чужими. Забота объ этомъ послѣднемъ была здравая и естественная. Если только народу нужно было знаніе и если возникла литература, прежде всего являлась необходимость въ запасѣ словъ для обозначенія новыхъ вещей и понятій: старый языкъ, выработанный нѣкогда въ объемѣ „книжнаго почитанія“, не имѣлъ этого запаса; церковно-академическая школа излагала свою науку на латинскомъ языкѣ, — и когда начались при Петрѣ усиленные заимствованія техническаго знанія и стали переводиться ученые и учебныя книги, получился тотъ странный языкъ Петровскаго времени, который для новѣйшихъ любителей старины служилъ иногда лишнимъ осужденіемъ реформы, а въ дѣйствительности былъ только лишнимъ свидѣтельствомъ стариннаго невѣжества, потому что старина не приготовила никакихъ средствъ для выраженія этого научнаго и культурно-практическаго содержанія. Языкъ былъ испещренъ церковно-славянскими оборотами рядомъ съ самыми яркими и сильными образчиками народной рѣчи (особенно въ писаніяхъ самого Петра) и съ множествомъ иностранныхъ словъ, взятыхъ въ сыромъ видѣ, часто уродливыхъ съ прибавкой русской фонетики и окончаній. Дѣловые люди не заботились объ этой пестротѣ языка, но съ ней не могли помириться люди ученые: въ другихъ языкахъ они видѣли уже выработанный стиль, и въ особенности во французской литературѣ, при всемъ достигнутомъ совершенствѣ ея формы, они видѣли постоянную заботу объ утонченной отдѣлкѣ языка, его ясности и изяществѣ. Время Петра было первою, безсознательною ступенью; настояла необходимость работать дальше для выработки языка, по примѣру другихъ просвѣщенныхъ народовъ. Русскій языкъ также нужно было не только обогатить, но и „вычистить“, чтобы найти для вещей русскія имена, чтобы размежевать его стихіи, которыя все еще оставались въ книгѣ

неуравновѣшенными и непримиренными... По времени, Тредьяковский первый поставилъ этотъ вопросъ въ рѣчи „о чистотѣ руссiйскаго языка“, читанной имъ въ 1735 году въ „Россiйскомъ собраніи“, учрежденномъ при Академіи наукъ. Эта первая рѣчь до крайней степени наполнена панегириками, не только императрицѣ Аннѣ Ивановнѣ, но и „командиру“ Академіи ¹⁾, „въ мудрыхъ мудрой, въ ученыхъ ученой, въ достойныхъ достойной Особѣ“, а также униженнымъ сознаниемъ его, автора, собственныхъ „недостатковъ, неспособностей и тупости ума“,— но не лишена и здравыхъ замѣчаній. Въ первый разъ говорилось о дѣлѣ, въ которомъ была „великая потребность“. Въ Россiйскомъ собраніи было „толь малое число“ людей, которымъ предстоялъ этотъ трудъ надъ русскимъ языкомъ, что можно было сомнѣваться въ успѣхѣ дѣла; но „впредь,—говорилъ Тредьяковский,—твердо надѣюсь, малый, узкій и мелкій нашъ потѣкъ, наполнися посторонними струями, возрастетъ въ превеликую, пространную и глубокую рѣку... Довольно съ насъ нынѣ и сея единыя славы, что мы начинаемъ“. И онъ убѣждаетъ своихъ сотоварищей въ исполнимости предпріятія. Нужны для русскаго языка хорошіе переводы древнихъ и новыхъ авторовъ, нужна добрая и исправная грамматика, полный и довольный лексиконъ, реторика и стихотворная наука.

Онъ спрашиваетъ своихъ сотоварищей: не помышляютъ ли они, что русскій языкъ уже не можетъ быть украшаемъ?—и отвергаетъ это предположеніе тѣмъ фактомъ, что, по его мнѣнію, русскій языкъ въ послѣднее время постоянно совершенствуется. „Посмотрите, отъ Петра Великаго лѣтъ, на многіи прошедшіи годы; то размысливши увидите ясно, что совершеннѣйшій сталъ въ Петровы лѣта языкъ, нежели въ бывшія прежде. А отъ Петровыхъ лѣтъ толь отчасу пріятнѣйшимъ во многихъ писателяхъ становится оный, что нимало не сомнѣваюсь, чтобъ, достославная Анны въ лѣта, къ совершенной не пришелъ своей высотѣ и красотѣ“. Онъ указываетъ слѣдующіе пути совершенствованія языка: во-первыхъ, дворъ ея величества, „въ словѣ учтивѣйшій и великолѣпнѣйшій богатствомъ и сіяніемъ“ ²⁾, далѣе научать искусно говорить благоразумнѣйшіе министры и премудрые священноначальники; затѣмъ, „знатнѣйшее и искуснѣйшее благородныхъ сословіе“; наконецъ, и собственное разсужденіе, потому что пра-

¹⁾ „Командиромъ“ Академіи наукъ былъ тогда баронъ Корфъ.

²⁾ Это было очень распространенное мнѣніе, исходившее изъ примѣра французской литературы при дворѣ Людовика XIV. Впослѣдствіи, ту же мысль о выработкѣ изящнаго литературнаго языка высказывала Екатерина II.

вильное употребленіе языка не можетъ существовать безъ „идеи“. Такимъ образомъ время уже приступить къ составленію грамматики. Не можетъ утратить насъ составленіе реторики, потому что „помогутъ намъ въ ней премногіи творцы Греческіи и Римскіи, а наипаче хитрый и слаткій въ словѣ Маркъ-Туллій-Цицеронъ. Помогутъ Французскіи Балзаки, Костарды, Патрю и прочіи бесчисленныи. Помогутъ многіи преславныи Нѣмецкіи... Изъ основательныя Грамматики и красныя Реторики не трудно произойти восхищающему сердце и разумъ слову Пинтическому, развѣ только одно сложеніе Стиховъ неправильностію своею утрудитъ васъ можетъ; но и то, господа, преодолѣть возможно“. Не выше силъ человѣческихъ составленіе лексикона, и вообще „трудъ прилежный все препобѣждаетъ“. И здѣсь опять представляется ему примѣръ просвѣщенныхъ европейскихъ народовъ. Между прочимъ онъ такъ убѣждаетъ своихъ сотоварищей: „первые ль мы въ Европѣ, которымъ сіе не токмо трудно, но почитай и весьма непреступно быть кажется? были, были такіи, которые не боясь того, но смотря на будущую изъ сего пользу, начали, продолжали, и нѣкоторые съ похвалою окончали. На примѣръ: не трудно было, въ самомъ началѣ, Флорентійской Академіи стараніе приложить о чистотѣ своего языка; приложила. Не не страшно было, мнѣ, предпріять также и Французской Академіи, чтобъ совершеннѣйшимъ учинить свѣйство тамъ употребляемаго діалекта; предпріяла. Невозможно, чаю, сперва казалось Лейпцигскому содружеству подражать толь благоуспѣшно вышечерченнымъ онымъ Академіямъ, коль тѣ начавши окончили щасливо: подражаетъ, и подражало благополучно“.

„Сложеніе стиховъ“ было однимъ изъ первыхъ предметовъ, на которые Тредьяковский обратилъ свои изученія. Уже въ 1735 году, когда Ломоносовъ еще только отправлялся въ ученіе за границу, Тредьяковский издалъ свой „Способъ къ сложенію русскіихъ стиховъ“, который послѣ исправилъ и дополнилъ. Свой историческій взглядъ на этотъ предметъ онъ изложилъ въ любопытной по своему времени статьѣ „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи русскіомъ“. Выше упомянуто о томъ, какъ онъ объяснялъ вообще происхожденіе поэзіи, которая, по словамъ его, „какъ подражаніе естеству, и какъ истиннѣ подобіе, есть одна и тажъ, по свѣйству своему, во всѣхъ вѣкахъ, и во всѣхъ мѣстахъ у человѣческаго рода“; различна только ея форма, стихъ. Начало русской поэзіи онъ объясняетъ такъ же, какъ начало всякой поэзіи. Какъ вообще первыми стихотворцами были жрецы, такъ это было и въ нашей древности: ихъ способъ и былъ

нашимъ древнѣйшимъ стихотворствомъ. „Но что за родъ былъ Стиховнаго ихъ того состава, нынѣ намъ видѣть достовѣрно непочему. Не осталось нигдѣ для насъ, по крайней мѣрѣ не извѣстно намъ всѣмъ повинѣ ни о самомъ маломъ обрасчикѣ, оставшемся отъ языческаго нашего Стихотворенія; истребило его наставшее благополучно Христіанство“. Онъ рѣшается тѣмъ не менѣе сказать, что древнѣйшее стихотворство было именно то-ническое, основанное на извѣстномъ метрѣ, который опредѣляется удареніемъ, и что оно не имѣло рими.

„На чемъ я, спросится, толь прямо сіе утверждаю? Неподозрительными, отвѣтствую, и живыми свидѣтелями. Простонародные наші, и тѣ самые древніе Пѣсни, сіе точно свойство въ Стихосложеніи своемъ имѣютъ“. Онъ уже указывалъ на это раньше, въ своемъ мнѣніи о началѣ поэзіи, и здѣсь объясняетъ это новыми подробностями. „Народный составъ Стиховъ есть подлинный списокъ съ Богослужительскаго; доказываетъ сіе Греческій и Римскій народъ; а могутъ доказать и всѣ прочіи, у коихъ Стихи въ употребленіи“ ¹⁾. Тредьяковскій указывалъ происхожденіе древняго стиха довольно правильно, потому что древнѣйшая народная поэзія была дѣйствительно обрядовая, связанная съ культомъ, какъ древнѣйшій эпосъ также долженъ былъ имѣть отношеніе къ мифологіи и опять къ культу. Также вѣрно онъ указываетъ и отношеніе христіанства къ этой древней народной поэзіи: какъ было „въ первенствующей церкви“ (т-е. церкви первыхъ вѣковъ), такъ и у насъ церковь искореняла „многобожныя служенія и пѣсенныя прославленія мнимымъ богамъ и богинямъ; однако съ пренебреженія ²⁾, или за упражненіями ³⁾, не коснулось къ простонароднымъ обыкновеніямъ: оставило ему забаву общихъ увеселительныхъ Пѣсень, и съ ними способъ... сложенія Стиховъ. Сіе точно и есть первородное и природное наше, съ самыхъ отдаленныхъ древности, Стихосложеніе,

¹⁾ Онъ дѣлаетъ здѣсь любопытную замѣтку о старомъ церковномъ пѣніи. „Сіе и собственнымъ нашимъ примѣромъ утверждается: ибо съ дѣтми лѣтъ, безъ мала, назадъ пѣвали у насъ въ Церкви на всенощныхъ бдѣніяхъ псаломъ 103 такъ, что по-окончаніи-рѣчи, когда напѣвъ требовалъ гагаканія до началъ другія рѣчи, вмѣсто гагаканія онаго употребляемы были незначащія слова: а именно сіи: ай, неай, аи, ну, увани. Равно и простой народъ въ нѣкоторыхъ своихъ пѣсняхъ, и въ подобномъ случаѣ, такіежъ употреблялъ незначащія ничего слова: дуунай, найна, дуни. Подлаго народа употребленіе сіе я нынѣ еще слышать всякому можно; но церковное оное старинное обыкновеніе, видимо токмо и доднесь въ Псалтири, печатанной въ Вильнѣ 1576 года, а хранящейся въ Императорской Академической библіотекѣ“. Относительно церковнаго пѣнія ср. о „хоновомъ“ пѣніи у Маракія. Ист. русской церкви, т. XII, стр. 113.

²⁾ Изъ пренебреженія.

³⁾ За другими заботами.

пребывающее и донесъ въ простонародныхъ, молодецкихъ, и другихъ содержаній, Пѣсняхъ живо и цѣло“.

Такимъ образомъ,—продолжаетъ Тредьяковский,—христіанство, уничтоживъ пѣсни въ похвалу „идоламъ“, лишило насъ „безъ мала на шестьсотъ лѣтъ“ богочтительнаго стихотворства. „Пребывало двоюродное родство его токмо, чтобъ такъ сказать, какъ въ залогъ, у самаго онаго простаго народа, въ подлыхъ его Пѣсняхъ; и превосходило ¹⁾ отъ вѣка въ вѣкъ не безъ престарѣнія“. И хотя христіанство дало намъ гораздо болѣе высокія „и по содержанію, и по сладости, и по душевной пользѣ“ церковныя пѣсни, гимны, стихиры и двустипіа, но они были переведены прозою; поэтому у насъ и распространилась проза, а стихотворство было забыто. „Ибо,—говоритъ онъ,—простонародное Стіхосложеніе, за подлость Стіхотворцовъ и матерій, отъ чесныхъ и саномъ знаменитыхъ людей, презираемо было всеконечно; такъ что и понынѣ, но уже незнающіи и суетно строптивыи люди зазираютъ неосновательно, ежели кто народную старинную Пѣсню приведетъ токмо въ свидѣтельство на письмѣ, хотя и съ извиненіемъ въ необходимости, о первоначальномъ нашемъ Стіхотвореніи“. Видимо, самъ онъ подвергался неосновательнымъ зазираніямъ; но любопытенъ остается фактъ, что первый писатель новѣйшаго времени, и той подражательной школы, которую осуждаютъ за ненародность, является защитникомъ народной пѣсни отъ незнающихъ и суетно строптивыхъ людей, основываетъ на этой пѣснѣ новое стихосложеніе, которое дѣйствительно отвѣчало свойствамъ языка и утвердилось окончательно въ литературѣ. По его представленію, презрѣніе къ народной пѣснѣ очевидно шло изъ самыхъ старыхъ временъ, отъ первыхъ нашихъ христіанскихъ книжниковъ, поддерживалось послѣдними книжниками, отъ которыхъ сохранилось и „понынѣ“.

„Среднее“ стихотворство Тредьяковский считаетъ съ конца XVI-го вѣка, когда первые искусственные стихи съ риемою, впрочемъ, дурные по его мнѣнію, напечатаны были при Острожской Библіи 1581 года; затѣмъ онъ указываетъ попытку Мелетія Смотрицкаго (при его грамматикѣ, 1619 г.) ввести метрическое стихотворство по классическимъ образцамъ, попытку, которую Тредьяковский находитъ совершенно не отвѣчающей характеру русскаго языка (и которая осталась безъ продолжателей); наконецъ, введеніе силлабическаго стиха Тредьяковский считаетъ съ

¹⁾ Переходило.

1663 года, когда при Московской Библии явились стихи этого размѣра,—затѣмъ этотъ стихъ, заимствованный съ польскаго и пришедшій къ намъ черезъ Кіевскую Академію, былъ чрезвычайно распространенъ Симеономъ Полоцкимъ и другими стихотворцами конца XVII-го и первой половины XVIII вѣка. Тредьяковскій высчитываетъ, что силлабическій стихъ существовалъ у насъ 72 года, съ 1663 до 1735, т.-е. того года, когда самъ онъ издалъ въ первый разъ свой „Способъ къ сложенію російскихъ стиховъ“. Онъ рассказываетъ, что самъ не вдругъ пришелъ къ этому способу; напротивъ, не только во время пребыванія въ Заиконоспаской школѣ, но и во время путешествія (въ Гагѣ, Парижѣ, Гамбургѣ) и по возвращеніи въ Петербургъ, когда онъ „по молодости и по французскому духу, началъ себя производить въ обществѣ нѣкоторыми Стишками“, онъ писалъ эти стишки тѣмъ же польскимъ, силлабическимъ, размѣромъ; наконецъ, однако, онъ увидѣлъ, что всѣ эти его пьесы „не состоятъ Стихами, включая Ріему, но точно странными нѣкакими прозаическими строчками“, и „почувствовалъ и то совершенно“, что это стихосложеніе „намъ всеконечно не сродно“. Подробности о составѣ силлабическаго стиха и необходимости тоническаго стихосложенія Тредьяковскій объяснилъ въ трактатѣ 1735, съ котораго и считаетъ введеніе правильнаго русскаго стихосложенія.

Не будемъ останавливаться на его собственныхъ литературныхъ твореніяхъ: характеръ ихъ достаточно извѣстенъ; несладость ихъ вошла въ пословицу. Отмѣтимъ только, что Тредьяковскій по мѣрѣ силъ старался вводить разныя литературныя формы—всѣхъ сортовъ оды, стихи всякихъ размѣровъ, сообщая вмѣстѣ съ тѣмъ теоретическія наставленія о всѣхъ родахъ классической поэзіи; покусился даже на трагедію, какъ подобаетъ, съ классическимъ сюжетомъ, изъ жизни Ахиллеса. При этомъ послѣднемъ случаѣ онъ объяснилъ, что, взявъ „матерію“ изъ греческаго баснословія, онъ „вымыслилъ отъ себя много новаго“ и оправдываетъ это слѣдующимъ образомъ: „Вольность сія дана трагическимъ Пінтамъ еще отъ Аристотеля, а подтверждена, что до басень ¹⁾, отъ великаго Французскаго трагика Петра Корнелія, какъ словами во второмъ его разсужденіи о драмѣ, такъ и въ нѣкоторыхъ его жъ трагедіяхъ прямымъ дѣломъ“. Такимъ образомъ французскій авторитетъ опять выставленъ тотчасъ рядомъ съ классическимъ.

Извѣстно, что Тредьяковскій былъ человѣкъ великаго трудо-

¹⁾ Т.-е. античныхъ мифовъ.

любия, не малой учености, особливо по своему времени; въ вопросѣ о русскомъ стихословеніи, какъ и о грамматикѣ („Разговоръ между чужестраннымъ человѣкомъ и російскимъ объ ортографіи старинной и новой и о всемъ, что принадлежитъ къ сей матеріи“) за нимъ должна быть признана положительная заслуга — особенно въ томъ отношеніи, что въ вѣкъ съ одной стороны старо-книжническаго, съ другой приказно-крѣпостническаго пренебреженія къ народу (которое кромѣ того питалось еще и новыми псевдо-классическими образцами), онъ не усумнился искать закона стиха въ простой народной пѣснѣ, наперекоръ „суетно-строптивымъ“ людямъ.

Прискорбныя личныя приключенія его, какъ гнусныя насилія отъ „врага Бирона“, Волинскаго, какъ обязанность разыграть шутовскую роль и т. п., были чертой грубаго вѣка: стихотворство было пока удѣломъ школьнаго люда, и на Тредьяковскомъ отозвалось приниженное положеніе этого люда, самодурство, а также и не малое невѣжество сильныхъ людей, причислявшихъ себя къ образованному классу. Это приниженное положеніе литературы, — въ силу того, что она существовала въ тѣсныхъ предѣлахъ немногочисленнаго круга общества и просвѣтительные интересы были очень слабы въ кругахъ вліятельныхъ, — проходитъ черезъ весь восемнадцатый, даже и девятнадцатый вѣкъ: самъ великій Пушкинъ, наша національная гордость, начинатель новѣйшаго періода нашей литературы, не любилъ являться въ обществѣ съ тѣмъ титуломъ, который былъ бы именно основаніемъ его великаго общественнаго значенія; вспомнимъ разговоръ о литературѣ на первыхъ страницахъ „Дыма“, Тургенева... Отмѣтимъ, наконецъ, еще подробность, которая опять рисуетъ положеніе начинающейся литературы: когда Тредьяковскому приходилось говорить объ обществѣ, къ которому литература должна обращаться, онъ говоритъ не о „читателяхъ“, а объ „охотникахъ“ ¹⁾: это — рѣдкія исключенія, любители вещей, которые еще не были общимъ интересомъ...

Наконецъ, оригиналенъ и исторически любопытенъ языкъ Тредьяковскаго. Въ стихахъ, которые ему совсѣмъ не давались, его языкъ грубъ и обыкновенно крайне уродливъ; въ прозѣ его языкъ проще, но все еще является свидѣтельствомъ той борьбы, какая шла между старыми школьными приѣмами и потребностью болѣе живой и свободной рѣчи. Самъ Тредьяковский прибавилъ долю педантизма, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ складѣ его языка есть

¹⁾ Ср. Сочиненія, въ изд. Смирдина, I, стр. XXIV, 177, 433; III, обращеніе къ читателямъ при „Разговорѣ объ ортографіи“, и пр.

черты народной рѣчи, есть не мало удачныхъ выраженій, хорошо переведенныхъ терминовъ, новыхъ оборотовъ, которые остались въ послѣдующемъ литературномъ языкѣ.

Другимъ усерднымъ работникомъ въ этихъ начаткахъ новой литературы былъ Сумароковъ. Значительно моложе Тредьяковскаго, онъ прошелъ и совсѣмъ другую школу. Аттестатъ, полученный имъ въ Сухопутномъ корпусѣ, не указываетъ особенной учености; но инстинкты образованія могли быть приобрѣтены еще въ семьѣ: отецъ его, который дослужился до большихъ чиновъ и умеръ въ царствованіе Екатерины, былъ, говорятъ, челоуѣкомъ по своему времени образованнымъ; въ корпусѣ, Сумароковъ дополнялъ свои науки собственнымъ чтеніемъ, которое направилось особливо, почти исключительно, на французскую литературу. Насколько могли помочь ему ученость и поэзія Тредьяковскаго, трудно сказать; во всякомъ случаѣ Сумароковъ послѣдовалъ ему въ „сложеніи стиховъ“: въ юности онъ также началъ силлабическими виршами, онъ бросилъ ихъ потомъ для тоническаго стихосложенія. Свое положеніе въ литературѣ онъ понималъ такъ же, какъ Тредьяковскій, и считалъ себя призваннымъ „насаждать“ новую литературу по тѣмъ образцамъ, какимъ научился изъ литературы французской; это были образцы, господствовавшіе въ Европѣ, и другихъ онъ не зналъ. Сущность вопроса онъ понималъ опять какъ Тредьяковскій, и какъ учили французскіе авторитеты, главнымъ образомъ Буало. Поэзія началась въ Греціи, продолжалась въ Римѣ, затѣмъ наступили вѣка варварства: „enfin Malherbe vint“, и началось процвѣтаніе французской литературы, которая была прямымъ продолженіемъ литературы классической, высшимъ образцомъ совершенства и тѣмъ примѣромъ, которому надо было послѣдовать, чтобы дать и своему народу настоящую поэзію. Сумароковъ принималъ это буквально, и если вообще въ XVIII столѣтіи думали, что французской литературѣ принадлежитъ высшая степень поэтическаго совершенства, то Сумароковъ полагалъ, что намъ должно стремиться только къ тому, чтобы у насъ были свои русскіе Расины, Мольеры и Вольтеры. Ломоносову, съ которымъ вѣчно ссорился изъ соперничества, Сумароковъ предоставлялъ роль „нашихъ странъ Малгерба“ и уподоблялъ его Пиндару, но за собой хотѣлъ имѣть славу русскаго Расина и не уклонялся отъ сопоставленія себя съ Вольтеромъ.

Сумароковъ, безспорно, не былъ лишенъ извѣстнаго дарова-

нія, но это дарованіе было поверхностное, довольно странное. Современники были высокаго мнѣнія о достоинствахъ его произведеній — безъ сомнѣнія вслѣдствіе его плодovitаго писательства „во всѣхъ родахъ“ и вслѣдствіе того, что во многихъ изъ этихъ родовъ онъ былъ начинателемъ, въ чемъ между прочимъ полагалъ свою гордость. Къ портрету его въ изданіи Новикова приложены слѣдующіе стихи Хераскова:

Изображается потомству Сумароковъ
 Парящій, пламенный и нѣжный сей Творецъ,
 Который самъ собой достигъ Пермесскихъ токовъ,
 Ему Расинъ поднесъ и ла Фонтенъ вѣнецъ.

Въ „Опытѣ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ“, Новикова (1772), вышедшемъ еще при жизни Сумарокова, читаемъ слѣдующій панегирикъ: „Различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями пріобрѣлъ Сумароковъ себѣ великую и безсмертную славу, не только отъ Россіянъ, но и отъ чужестранныхъ Академій и славнѣйшихъ Европейскихъ писателей. И хотя первый онъ изъ Россіянъ началъ писать трагедіи по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства; но столько успѣлъ въ оныхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина. Его Еклоги равняются знающими людьми съ Виргиліевыми, и поднесъ еще остались неподражаемы; а Притчи его почитаются сокровищемъ Россійскаго Парнасса; и въ семъ родѣ стихотворенія далеко превосходитъ онъ Федра и де ла Фонтена, славнѣйшихъ въ семъ родѣ. Впрочемъ, всѣ его сочиненія, любителями Россійскаго стихотворства, весьма много почитаются“. Отзвыы Новикова въ его Словарѣ вообще очень хвалебные: отчасти этого требовала чрезвычайная щепетильность тогдашнихъ писателей; отчасти Новиковъ руководился патріотическимъ побужденіемъ не забыть достоинства людей, трудившихся для русской литературы; въ данномъ случаѣ было, однако, дѣйствительно высокое представленіе о заслугахъ Сумарокова, которое любопытно для насъ какъ свидѣтельство умнаго современника. И это свидѣтельство должно быть положено на вѣсы при исторической оцѣнкѣ писателя, потому именно, что современники ближе чувствовали данное положеніе, когда для позднѣйшей критики всѣ дальнѣйшіе успѣхи литературы были неизмѣнно указателями ея предъидущихъ недостатковъ. Очевидно, что въ свое время высоко цѣнилась заслуга Сумарокова, какъ начинателя, въ установленіи новыхъ литературныхъ формъ, хотя у историка не можетъ быть мысли о сопоставленіи его съ „Виргиліемъ“ и французскими

писателями, которыхъ онъ, нерѣдко уродливо, копировалъ. У Сумарокова была большая воспримчивость: онъ вошелъ во вкусъ французской литературы, умѣлъ понять ея красоты, торопился пересказать ихъ на русскомъ языкѣ, но у него не было тѣни самостоятельнаго таланта, а иногда недоставало простой разсудительности. Ставъ на ту точку зрѣнія, что французская литература есть именно прямое продолженіе литературы античной и представляетъ единственную возможную форму поэтического созданія, онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы дать русской литературѣ всевозможныя разновидности литературнаго творчества въ стихахъ и прозѣ, какія находилъ у французовъ. Онъ не отважился только на эпопею, но затѣмъ далъ всѣ формы лирики — оды духовныя и торжественныя, переложеніе псалмовъ, эклоги, элегіи, пѣсни, оды „вздорныя“, даже „любовную гадательную книжку“; сатиры, басни и притчи; трагедіи, комедіи, драмы, оперы; наконецъ хотѣлъ быть грамматикомъ, критикомъ, историкомъ, писалъ похвальные слова и торжественныя рѣчи, и т. д. Такъ какъ онъ долженъ былъ быть русскимъ Расиномъ и Мольеромъ, то для своихъ трагедій онъ выбиралъ русскіе сюжеты и не только изъ далекой древности, какъ въ его первой трагедіи „Хоревъ“, но и изъ болѣе близкой старины, какъ въ „Дмитріи Самозванцѣ“, но къ русскимъ героямъ прилагалъ тѣ же шаблоны французской трагедіи; въ комедіяхъ онъ хотѣлъ изображать русскіе нравы, но въ постановкѣ пьесъ ясно сквозятъ французскіе образцы, которые въ русскихъ нравахъ не имѣли смысла. Много разъ были указаны странности его драматургіи, изъ которой довольно, напр., вспомнить „Димитрія Самозванца“. Съ первой сцены трагедіи, герой въ бесѣдѣ съ „наперсникомъ“, который старается его образумить, самъ указываетъ на свое тиранство:

Зла фурія во мнѣ смятенно сердце гложетъ;
Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ.

Во второмъ дѣйствіи, предчувствуя свое паденіе, онъ уже видитъ себя въ аду:

Въ преисподнюю зрю мрачныя степени,
И вижу въ тартарѣ мучительскія тѣни:
Уже въ геснѣ я и въ пламени горю.

Но въ четвертомъ дѣйствіи, въ разговорѣ съ Ксеніей, онъ опять заявляетъ:

Хочу тираномъ быть: всѣ хвалятъ добродѣтель,
 На свѣтъ коей нѣтъ, чему весь миръ свидѣтель;
 Не устрашаетъ адъ, колико ни грозитъ.

Въ самомъ концѣ трагедіи, когда народное возстаніе грозитъ Димитрію смертью и не остается надежды на спасеніе, Димитрій восклицаетъ слѣдующее:

Ступай душа во адъ и буди вѣчно плѣнна!
 (Ударяетъ себя въ грудь кинжаломъ и
 издыхая падающій въ руки стражей:)
 Ахъ, есть ли бы со мной погибла вся вселенна!

Таковъ Самозванецъ въ теченіе всей пьесы. Очевидно, это— кукла, долженствующая изображать тиранство и постоянно объ этомъ напоминающая, чтобы читатели не забыли. Но вообще Сумарковъ повторяетъ свои образцы со всѣми ихъ внѣшними особенностями и трагическимъ содержаніемъ, съ длинными рѣчами героевъ и наперсниковъ и т. п.; въ этомъ риторскомъ стихотворствѣ онъ повторяетъ и тѣ общія мысли, какія встрѣчалъ въ литературѣ, о необходимости просвѣщенія, о достоинствахъ добродѣтели, объ управленіи государствомъ на пользу подданныхъ, о благоразумной свободѣ и т. п. Изобразивъ тирана въ Димитріи Самозванцѣ, онъ не однажды останавливается на идеалѣ мудраго, добродѣтельнаго правителя, какъ, напримѣръ, въ трагедіи „Мстиславъ“, гдѣ этотъ князь говоритъ:

А я перестаю быть горестей содѣтель.
 Цвѣти подъ скипетромъ Мстислава добродѣтель!
 Я должности одной хочу себя предать,
 И безъ утѣхъ любви народомъ управлять,
 Предписывать ему полезные уставы.
 Ликуйте подданны во дни моей державы!
 Я буду вамъ отецъ, вы будьте чада мнѣ,
 Свободны, веселы живуще въ сей странѣ.
 Никто не трепещи подъ областью моею!
 Я милости къ однимъ злодѣямъ не имѣю.

Таковы и его послѣднія слова въ трагедіи, гдѣ онъ осуждаетъ тирановъ и восхваляетъ праведныхъ монарховъ.

Но какъ ни бросаются въ глаза недостатки этихъ и всѣхъ другихъ твореній Сумаркова, ихъ слава между современниками достаточно объясняется условіями ихъ перваго появленія: онѣ были первымъ примѣромъ „правильной“, по тогдашнимъ понятіямъ, трагедіи послѣ школьныхъ драмъ, которыя имъ предшествовали, и безъ сомнѣнія были выше этихъ драмъ и постройкой

пьесы, и языкомъ ¹⁾); тоническій размѣръ долженъ былъ казаться несравненно изящнѣе старыхъ силлабическихъ виршъ; далѣе трагедіи Сумарокова послужили матеріаломъ для первой русской сцены, гдѣ въ лицѣ Волкова и Дмитревскаго явились невиданные до тѣхъ поръ сценическіе таланты. Наконецъ, читателямъ и театральной публикѣ того времени были новы въ книгѣ и на сценѣ изображенія страстей и чувства, и тѣ мысли о благахъ просвѣщенія, о гражданской доблести, обязанностяхъ монарховъ къ народамъ, объ истинной славѣ и т. д. Элементарная ступень эстетическаго чувства не давала видѣть недостатковъ этихъ твореній, высокопарность казалась истиннымъ краснорѣчіемъ, и за Сумароковымъ надолго осталась слава, созданная его современниками.

Начавши дѣйствовать во времена Анны Ивановны, Сумароковъ дожилъ до середины царствованія Екатерины. Французская литература, которую знали прежде немногіе любители, находила въ русскомъ обществѣ все больше читателей и поклонниковъ, и Сумароковъ тѣмъ больше убѣждался, что оказалъ великую заслугу русскому Парнаису, слѣдуя по стопамъ Расина. Подъ конецъ жизни ему пришлось увидѣть, что сама французская литература вступаетъ на иные пути, и онъ пришелъ въ великое негодованіе, когда и на русскій языкъ переведена была пьеса Бомарше „Евгенія“, гдѣ являлся новый родъ драмы, выходившей изъ предѣловъ условной классической трагедіи. Это была такъ называемая *comédie* или *drame larmoyante*, которая послѣ Дидро и Бомарше завоевала себѣ мѣсто на французской сценѣ и съ тѣхъ поръ открыла путь къ новому, болѣе широкому развитію драматической литературы. Сумароковъ не понималъ драмы и считалъ ее самымъ непозволительнымъ нарушеніемъ классическаго преданія. Когда „Евгенія“ была не только переведена, но и дана на сценѣ въ Москвѣ, Сумароковъ поднялъ тревогу и въ предисловіи къ изданному вскорѣ послѣ того „Димитрію Самозванцу“ возсталъ и противъ пьесы, и противъ переводчика, и противъ московской публики (онъ даже написалъ противъ новой драмы къ Вольтеру): „Людовикъ XIV далъ Парнасу златой вѣкъ во своемъ отечествѣ,—говорилъ онъ,—но по смерти его вкусъ мало-по-малу сталъ исчезать. Не исчезъ еще; ибо видимъ мы онаго остатки въ г. Вольтерѣ и во другихъ французскихъ писателяхъ. Трагедіи и Комедіи во

¹⁾ Сумароковъ напоминаетъ однажды (въ забавномъ разсказѣ „о думномъ дякѣ, который съ меня взялъ пятьдесятъ рублей“): „я бывалъ на комедіяхъ, смотрѣлъ Александра и Людвига, Парижъ и Вѣну и другія комедіи“ (Сочин., 1-е изд., VI, стр. 380). Эти комедіи, заимствованныя изъ рукописныхъ повѣстей, не упомянуты у г. Морозова (Ист. русск. театра, гл. VIII).

Франціи пишутъ; но не видно еще ни Вольтера, ни Молиера. Ввелся новый и пакостный родъ слезныхъ комедій: ввелся тамъ; но тамъ не исторгнуты сѣмена вкуса Расинова и Молиерова: а у насъ Тѣатру почти еще и начала нѣтъ; такъ такой скаредной вкусъ, а особливо вѣку Великой Екатерины не принадлежитъ. А дабы не впустить онаго, писалъ я о таковыхъ Драмахъ къ г. Вольтеру: но они въ сіе краткое время вползли уже въ Москву, не смѣя появиться въ Петербургѣ; нашли всенародную похвалу и рукоплесканіе, какъ скаредно ни переведена Евгенія, и какъ нагло Актриса подъ именемъ Евгеніи Бакханту ни изображала: а сіе рукоплесканіе Переводчикъ оныя драмы, какой-то подъячій, до небесъ возноситъ, соплетая зрителямъ похвалу и утверждая вкусъ ихъ. Подъячій сталъ судьей Парнаса, и утвердителемъ вкуса Московской публики!.. конечно скоро преставленіе свѣта будетъ. Но не уже ли Москва болѣе повѣритъ подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ: и не уже ли вкусъ жителей Московскихъ сходны со вкусомъ сево подъячева!*

Не однажды цитировалось слѣдующее за этимъ язвительное изображеніе московской публики, гдѣ высказывается съ одной стороны его авторское самолюбіе, оскорбленное недостаткомъ вниманія къ его творенію, а съ другой, негодованіе противъ того, что публика еще не научилась цѣнить серьезныхъ интересовъ сцены. Предварительно Сумарковъ объясняетъ, что такое публика. „Слово Публика, какъ нѣгдѣ и г. Вольтеръ изъясняется, не знаменуетъ цѣлаго общества; но часть малую онаго: то-есть людей знающихъ и вкусъ имѣющихъ... Въ Парижѣ, какъ извѣстно, невѣждъ не мало, какъ и вездѣ; ибо вселенная по большой части ими наполнена. Слово Чернь принадлежитъ низкому народу... У насъ сіе имя всѣмъ тѣмъ дается, которые не дворяныя. Дворянныя! великая важность! Разумный священникъ и проповѣдникъ Величества Божіаго, или кратко Богословъ, Естествословъ, Астрономъ, Риторъ, Живописецъ, Скульпторъ, Архитектъ и проч. по сему глупому положенію члены черни. О, несносная дворянская гордость, достойная презрѣнія и поруганія! Истинная чернь суть невѣжды, хотя бы они и великія чины имѣли, богатство Крезово, и влекли бы свой родъ отъ Зевса и Юпона, которыхъ никогда не бывало; отъ сына Филиппова побѣдителя или паче разорителя вселенныя, отъ Іюлія Цесаря утвердившаго славу Римскую, или паче разрушившаго оную. Слово Публика и тамо, гдѣ гораздо много ученыхъ людей, не значить ни чего“. Возвращаясь къ „подъячему“, который осмѣлился переводить „Евге-

нію“ Бомарше ¹⁾, Сумароковъ пишетъ: „Подъячему соплетать похвалы вкуса Княжичей и Господичей московскихъ, толь мало-мѣстно, коль непристойно лагѣю, хотя и придворному, мон пѣсни, безъ моей воли, портить, печатать и продавать, или противъ воли еще пребывающаго въ жизни автора портить ево Драмы, и за порчу собирать себѣ деньги ²⁾ или съѣзжавшимся видѣть Семиру, сидѣть возлѣ самаго оркестра и грызть орѣхи, и думати, что когда за входъ заплачены деньги въ позорище, можно въ Партерѣ въ кулачки биться, а въ Ложахъ разсказывати исторіи своей педѣли громогласно, и грызть орѣхи; можно и дома грызть орѣхи: а публиковать газеты весьма малонужныя, можно и виѣ Театра; ибо таковыя газетчики къ тому довольно времени имѣютъ. Многія въ Москвѣ зрители и зрительницы не для того на позорищи ѣздятъ, дабы имъ слышать ненужныя имъ газеты: а грызеніе орѣховъ не приноситъ удовольствія, ни зрителямъ разумнымъ, ни актерамъ, ни трудившемуся во удовольствіе Публики автору: ево служба награжденія, а не наказанія достойна. Вы путешествователи, бывшія въ Парижѣ и Лондонѣ, скажите! грызутъ ли тамъ во время представленія Драмы орѣхи; и когда представленіе въ пущемъ жарѣ своемъ, сѣкутъ ли поссорившихся между собою пьяныхъ кучеровъ, ко тревогѣ всего партера, ложъ и театра“.

Высокое мнѣніе Сумарокова о своихъ твореніяхъ высказалось въ слѣдующихъ словахъ, которыя рисуютъ также и его представленіе о новомъ періодѣ русской литературы, гдѣ онъ приписывалъ себѣ столь важную роль. „Что только видѣли Аѳины и и видить Парижъ, и что они по долгомъ увидѣли времени, ты нынѣ то вдругъ Россія стараніемъ моимъ увидѣла. Въ то самое время, въ которое возникъ, приведенъ и въ совершенство, въ Россіи, Театръ твой, Мельпомена! всѣ я преодолѣлъ трудности, всѣ преодолѣлъ препятствія. На конецъ видите вы, любезныя мои сограждана, что ни сочиненія мои, ни Актеры вамъ стыда не приносятъ, и до чего въ Германіи многими Стихотворцами не достигли, то того я одинъ, и въ такое время, въ которое у насъ Науки словесныя только начинаются, и нашъ языкъ едва чистится началъ, однимъ своимъ перомъ достигнуть могъ. Лейпцигъ и Парижъ вы тому свидѣтели, сколько единой моей Трагедіи скорый переводъ чести мнѣ здѣлалъ! Лейпцигское ученое

¹⁾ Это былъ вѣкто Николай Душниковъ, служившій у гр. К. Г. Разумовскаго, какъ онъ упоминаетъ самъ въ посвященіи перевода своему пачальнику.

²⁾ Намекъ на какіе-то случаи съ его твореніями. Ср. статью „О кописгахъ“, г. VI, стр. 391 и сл. (1-е изд.).

собравіе удостоило меня своимъ Членомъ, а въ Парижѣ вознесли мое имя въ Чужестранномъ журналѣ, колико возможно“¹⁾.

Такъ далеко простиралось простодушное невѣдѣніе о дѣйствительныхъ отношеніяхъ литературъ. Сумарковъ былъ увѣренъ, что новая русская литература, гдѣ онъ считалъ себя основателемъ русской драмы, именно продолжаетъ, черезъ Парижъ, традицію самихъ Аѳинъ²⁾. Онъ не замѣчалъ, что его трагедіи—только ученическая копія съ французскихъ, и полагалъ, что онъ сдѣлалъ ихъ совсѣмъ національными, надававши ихъ героямъ такія „русскія“ имена: Бурновъ, Наступъ, Любочестъ, Становой, Осадъ, Свѣтима, Привѣта и т. п. Но уже тогда не всѣ въ это вѣрили, и Ломоносовъ не выносилъ его самолюбія, и его поэзію называлъ „риемичествомъ“.

У Сумаркова были, однако, примѣры болѣе прямого и живого отношенія къ дѣйствительности; это указываютъ особенно въ его сатирахъ и басняхъ, къ которымъ надо прибавить еще разныя мелкія статьи, касавшіяся современной жизни. Здѣсь онъ въ самомъ дѣлѣ бывалъ остроуменъ и язвительнъ, когда попадалъ на любимыя темы, къ которымъ принадлежалъ особенно „приказный родъ“, а также дворянская спѣсь, соединявшаяся съ невѣжествомъ. Современники считали особенной заслугой Сумаркова его сатирическія обличенія³⁾, а историки литературы не безъ основанія находятъ, что этими своими произведеніями Сумарковъ открывалъ путь явившимся вскорѣ сатирическимъ журналамъ и самому Фонъ-Визину⁴⁾.

Правильная историческая оцѣнка дѣятельности Сумаркова, какъ и его современниковъ, не должна забыть условій, въ которыхъ эта дѣятельность начиналась и о которыхъ онъ вспоминалъ однажды такъ:„Стихотворцевъ у насъ еще не было и научиться было не у ково. Я будто сквозь дремучій лѣсъ, сокрывающій отъ очей моихъ жилище Музъ, безъ проводника проходилъ, и хотя я много долженъ Расину, но его увидѣлъ я

¹⁾ Сочиненія VI, стр. 391—392.

²⁾ Онъ пишетъ въ другомъ мѣстѣ:„Когда возсіяло Россійское солнце и мракъ невѣжества разсыпало, когда возшелъ на престолъ Петръ Великій, тогда пологій Невскій брегъ сталъ горою Геликономъ, и Невскія струи струями Шпокрени“. Та же, стр. 338.

³⁾ Мы читаемъ въ „Драматическомъ Словарѣ“, М. 1787, предувѣдомленіе: „Паче всего заслуживаетъ безсмертіе омерзеніе къ лѣбдѣ, чему конечно ліющійся складъ стиховъ его притчина; не пощеголяеть никто нынѣ, какъ прежде, десятилѣтней тяжбой, которую помощію стряпчаго могъ продолжать; а до его ополченія на подъячихъ, ставили въ старину дворяне честію, будучи добрые люди, что проворствомъ повѣреннаго тянеть виноватое дѣло четверть вѣка, хвалясь притомъ, что ему Секретари въ судахъ знакомы“.

⁴⁾ Буличъ, „Сумарковъ“, стр. 181—198.

уже тогда, какъ вышелъ изъ сего лѣса, и когда уже Парнас-ская гора предъявилась взору моему. Но Расинъ Французъ и въ Русскомъ языкѣ мнѣ дать наставленія не могъ. Русскимъ языкомъ и чистотою слога, ни Стиховъ, ни Прозы, не долженъ я ни кому кромѣ себя“¹⁾...

Дѣйствительно, первымъ писателямъ новой литературы приходилось очень часто идти ощупью, руководиться инстинктомъ; старая письменность не давала имъ опоры. Самый сильный изъ нихъ по уму, дарованіямъ и знанію былъ Ломоносовъ, которому и принадлежитъ наиболѣе могущественное вліяніе въ созданіи новой русской литературы.

Въ текстѣ указаны начальные годы біографіи Тредьяковскаго. Въ Парижѣ онъ пробылъ три года, въ домѣ кн. Куракина. Вернувшись въ Петербургъ, въ 1730, онъ издалъ здѣсь свой первый переводный трудъ: „Бѣду въ островъ любви“, который, повидимому, произвелъ тогда немалое впечатлѣніе: Тредьяковскій получилъ славу искуснаго переводчика. Переводъ замѣчательнъ тѣмъ, что Тредьяковскій заявилъ здѣсь литературное право живого русскаго языка противъ „славенщизны“. Въ предисловіи онъ говорилъ: „На меня, прошу васъ покорно, неизволте погнѣваться (буде вы еще глубокословныя держитесь славенщизны), что я оную не славенскимъ языкомъ перевелъ, но почти самымъ простымъ Рускимъ словомъ, то есть каковымъ мы межъ собой говоримъ. Сіе я учинилъ слѣдующихъ ради причинъ. Первая: языкъ славенской, у насъ есть языкъ церковной; а сія книга мирская. Другая: языкъ славенской въ нынѣшнемъ вѣкѣ у насъ очюнь темень, и многія его наши читая неразумѣютъ; а сія книга есть сладкія любви, тогоради всѣмъ должна быть вразумительна. Третія: которая вамъ покажется можетъ быть самая легкая, но которая у меня идетъ за самую важную, то есть, что языкъ славенской нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего не толко я имъ писывалъ, но и разговаривалъ со всѣми: но за то у всѣхъ я прошу прощенія, при которыхъ я съ глупословіемъ моимъ славенскимъ особымъ рѣчоточцемъ хотѣлъ себя показывать“...

Впослѣдствіи Миллеръ писалъ въ своей исторіи Академіи наукъ, что Тредьяковскій собралъ всѣ, какіе могъ достать, и сжегъ экземпляры этой книжки, — „геройскій подвигъ, заслуживающій похвалы“, или потому, что на старости ему не нравилось бесполезное содержаніе книжки, или потому, что призналъ свою „неспособность писать стихами такъ же, какъ прозою“.

Въ 1731 Тредьяковскій жилъ въ Москвѣ, въ домѣ Семена Нарышкина, и былъ уже въ сношеніяхъ съ Шумахеромъ, который писалъ ему любезныя письма. Отношенія съ Академіей за это время неясны. Нѣсколько позднѣе, повидимому съ 1732, онъ находится въ числѣ академическихъ переводчиковъ; но въ своемъ доношеніи въ Академію

¹⁾ Сочиненія, изд. 1-е, IX, стр. 309—310.

1758 года онъ считаетъ за собой двадцать восемь лѣтъ безпорочной и ревностной службы (Пек., Ист. Акад. т. II, 209). Въ 1733, онъ былъ формально принятъ на академическую службу и съ него взято было обязательство, по которому долженъ былъ въ особенности: „вычищать языкъ русской пишущи какъ стихами, такъ и не стихами; давать лекціи, ежели отъ него потребовано будетъ; окончить грамматику, которую онъ началъ, и трудиться совокупно съ прочими надъ дикціонаріемъ рускимъ; переводить съ французскаго на русской языкъ все что ему дастся“. Сверхъ того онъ еще обучалъ русскому языку самого президента Академіи, Германа Кейзерлинга.

Кромѣ переводовъ Тредьяковскій занимался уже теперь писаніемъ торжественныхъ стиховъ. Онъ представлялъ такіе стихи импер. Аннѣ. Въ 1734, онъ написалъ оду на взятіе Гданска, которую посвятилъ Бирону. Въ концѣ находится разсужденіе объ одѣ, любопытное какъ свидѣтельство литературнаго преемства. Онъ восхищается латинской одой Теофана Прокоповича (на отъѣздъ Петра II на коронованіе въ Москву): „Горацій бы самъ, посмотрѣвъ оную, въ удивленіе пришолъ“, а Тредьяковскій, когда въ первый разъ прочелъ ее, „почувствовалъ Энтузіасмъ ея превысокій“ и „въ толь великій Энтузіасмъ удивленія и самъ пришолъ, что не могъ, свидѣтельствуюся совѣстію моею, удержаться, чтобъ съ дважды, или съ трижды не вскричать: Боже мой! какъ эта Ода хорошо и мастерски сдѣлана!“ О собственномъ твореніи онъ заявляетъ: „я всячески старался піндарізовать, то-есть Піндару во всемъ подражать, такъ что я въ ней (одѣ) мечъ сердитымъ, а трезвымъ піанство назвалъ, и прочія многія, гораздо дерзновенныя, употребилъ фігуры съ великолѣпнѣмъ невозможныхъ мнѣ словъ, по примѣру древнихъ Піитъ Діеврамбіческихъ“. Впослѣдствіи онъ передѣлалъ эту оду, написанную силлабическими стихами, въ тоническій размѣръ, исключивъ посвященіе Бирону (жившему тогда въ ссылкѣ въ Ярославлѣ), исключивъ изъ разсужденія объ одѣ преувеличенныя похвалы Прокоповичу (онъ давно умеръ); затѣмъ онъ призналъ, что въ постройкѣ оды былъ у него другой образецъ, именно ода Буало на взятіе Намюра. Подражаніе онъ понимаетъ такъ: „признаюсь необиновенно, сія самая Ода (Буало) подала мнѣ весь планъ къ сочиненію моего о здачѣ города Гданска; а много я въ той взялъ и изображеній; да и не весьма тщался, чтобъ мою такъ отличить, дабы никто не узналъ: я еще ставлю себѣ въ нѣкоторый родъ чести, что возмогъ нѣсколько уподобиться въ моей столь громкому и великолѣпному произведенію“. Онъ доволенъ уже тѣмъ, что „нѣсколько возмогъ оной послѣдовать“, но гордится, что „при важности въ матеріи и при Имени похваляемыхъ и восхваляемыхъ въ ней, она нѣчто имѣетъ въ себѣ, какъ мнится, нѣсколько не бесславное, а именно самая первая есть на нашемъ языкѣ“.

Въ сентябрѣ 1734, назначенъ былъ новый президентъ Академіи, баронъ Корфъ, и Тредьяковскій написалъ поздравительное стихотвореніе (напечатанное тогда же съ нѣмецкимъ переводомъ). Стихотвореніе замѣчательно тѣмъ, что было первымъ образчикомъ тоническаго размѣра, указаніе котораго было заслугой Тредьяковскаго. Впослѣдствіи, въ статьѣ „о древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи російскомъ“ (1755), онъ говоритъ: вернувшись въ Россію, „порѣвался

я съ большимъ напряженіемъ къ полученію успѣха въ стихахъ. Но, по сочиненіи чего нибудь, на какую Пѣсу (пьесу) ни посмотрю, вижу, что она не стоитъ Стихами, выключая Ріему, но точно странными нѣбѣскими Прозаическими Строчками. Напослѣдокъ, выразумѣлъ сему быть отъ того, что въ нихъ не было никакова, но равнымъ расстояніемъ измѣреннаго, слоговъ количества... Что больше? Тотчасъ напалъ я на возвышеніе и пониженіе голоса въ складахъ Просодію, то-есть на Тоническое слоговъ количество"... Иные думали, что онъ свое новое стихотворство взялъ съ французскаго; но Тредьяковскій этого не признаетъ. „Пусть отнынѣ перестанутъ противно думающіе думать противно; ибо, по истиннѣ, всю я силу взялъ сего новаго Стихотворенія изъ самыхъ внутренностей свойства нашему Стиху приличнаго; и буде желаютъ знать, то мнѣ надлежитъ объявить, то поэзія нашего простаго Народа къ сему меня довела. Даромъ, что слогъ ея весьма не красивый, отъ не искусства слагающихъ; но слатчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели тогда греческихъ и латинскихъ, паденіе, подало мнѣ непогрѣшительное руководство... Подлинно, почти всѣ званія при Стихѣ употребляемыя, занялъ я у Французской Версіфікаціи; но самое дѣло у самой нашей природной, наидревнѣйшей оныхъ простыхъ Людей Поэзіи... Я Французской Версіфікаціи долженъ мѣшкомъ, а старинной Россійской Поэзіи всѣми тысячами рублями. Однако Франція я обязанъ и за слова: но искреннѣйше благодарю Россіанинъ Россію за самую вещь“.

Въ 1740 произведено было Волинскимъ извѣстное избіеніе Тредьяковскаго.

Въ это время, когда Ломоносовъ былъ еще за границей, начались его споры съ Тредьяковскимъ о стихосложеніи; эти споры распространились потомъ и на разные другіе предметы и породили между прочимъ стихотворную полемику. Ломоносовъ не выносилъ его, — но иногда правда была на сторонѣ Тредьяковскаго, какъ, напр., въ дѣлѣ о диссертации Миллера, въ которой Тредьяковскій не видѣлъ преступленія, а только ученое мнѣніе. Между прочимъ шелъ споръ о томъ, какая стопа болѣе свойственна русскому стиху: хорей (за который стоялъ Тредьяковскій) или ямбъ (за него стоялъ Ломоносовъ, къ которому послѣ присталъ Сумароковъ). Повидимому, три стихотворца, которые вообще всѣ терпѣть не могли другъ друга, въ то время жили еще мирно, и споръ должна была рѣшить книжка, которая отдавала дѣло на судъ публики: „Три оды парафрастическія псалма 143 сочиненныя чрезъ трехъ стихотворцевъ, изъ которыхъ каждой одну сложилъ особливо“ (Спб. 1744).

Тредьяковскій долго не могъ дожидаться повышенія въ Академіи; въ февралѣ 1744 онъ подалъ просьбу въ сенатъ, заявляя свои права, и импер. Елизавета только въ іюлѣ 1745, по сенатскому докладу, назначила его профессоромъ латинской и руссійской элоквенціи. Въ Академіи его вообще не любили; Ломоносовъ его не терпѣлъ, нѣмецкіе академики были противъ него между прочимъ потому, что Тредьяковскій отстаивалъ преимущества русскихъ людей въ этомъ учрежденіи передъ иностранцами.

Въ 1752, Тредьяковскій издалъ собраніе своихъ сочиненій („Сочиненія и переводы какъ стихами, такъ и прозою Васіля Тредьяков-

скаго“, два тома), гдѣ между прочимъ перебралъ свои прежніе силлабическіе стихи на тоническіе. Сочиненія разсматривались предварительно въ Академіи (при этомъ Тр. отводилъ Ломоносова, Крашенинникова и Попова) по существу, и въ цензурномъ отношеніи—чтобы не было „противности ни закону (т.-е. религіи), ни освященной особѣ, ни государству, ни добрымъ правамъ, ни партикулярнымъ особамъ“; относительно божественныхъ одъ и переводовъ академическая канцелярія обращалась въ синодъ.

Въ 1750, Тр. написалъ трагедію „Деидамія“. Ему не хотѣлось оставить ее „одну, безъ товарища“, тѣмъ больше, что „обыкновенно трагедія препровождается бываетъ нѣкоторымъ родомъ служанки, называемая малая комедія“. Такія комедіи были, по его словамъ, и на русскомъ языкѣ, но „больше скверняція нашъ языкъ, нежели обогащающія“ (онъ разумѣлъ вѣроятно творенія своего недруга Сумарокова, который между прочимъ передъ тѣмъ вывелъ его въ комедіи „Тресотиниусъ“). Но и на другихъ языкахъ эти комедіи ему не нравились—онѣ „противны уставу комедіи и недостойны твердаго разума“. Поэтому онъ рѣшилъ дать настоящую комедію въ пять дѣйствій и стихами. Но на самостоятельную пьесу онъ не призналъ въ себѣ „ни довольства, ни способности“: „извѣстно, что на сочиненіе комедіи почитай вдвое надобно искусства противъ трагедіи“. Онъ рѣшилъ перевести. Можно было бы взять Мольера, но—по взгляду Тредьяковскаго, совпадавшему съ общимъ представленіемъ псевдоклассиковъ, что новѣйшая литература есть непосредственное продолженіе греческой и римской,—„французская комедія есть только сама списокъ, а не подлинникъ“. Надо было брать классическую, но—Аристофанъ „съ нашимъ вѣкомъ не сходствуетъ“; изъ Менандра есть только отрывки; поэтому онъ взялъ „Менандра всѣхъ народовъ и вѣковъ“, именно Теренція. По словамъ объ Аристофанѣ надо ожидать, что онъ выберетъ нѣчто „сходствующее съ нашимъ вѣкомъ“; но онъ страннымъ образомъ выбралъ комедію, рукопись которой хранится въ академической бібліотекѣ, подъ заглавіемъ: „Евнухъ комедія въ пять дѣйствій съ латынскія Теренціевы отъ мерзкихъ самыхъ срамословій очищенная стихами“.

Его академическія отношенія, какъ замѣчено, были неладныя. Его сочиненія и переводы часто не принимались; рекомендованные имъ чужіе переводы осуждались (не безъ основанія) другими академиками. Съ Ломоносовымъ онъ былъ на ножахъ. Въ началѣ 1757 года стало ходить по рукамъ стихотвореніе подъ названіемъ „Гимнъ борода“—той самой, которую нѣкогда преслѣдовалъ Петръ Великій, т.-е. раскольничьей. Гимнъ произвелъ великій скандалъ, потому что его приняли на свой счетъ и борода духовныя, и тогда же сдѣланъ былъ отъ Синода докладъ императрицѣ Елизаветѣ, съ жалобой противъ Ломоносова, которому приписывалось сочиненіе гимна. Жалоба осталась безъ послѣдствій, но Тредьяковскій съ своей стороны возсталъ противъ Ломоносова и написалъ „Переодѣтую бороду или имнъ пьяной головѣ“, гдѣ, насмѣхаясь надъ пьянствомъ Ломоносова, говорилъ, между прочимъ, что людей, которые осмѣливаются ругаться надъ священными предметами, нужно было бы „дѣльно сечь въ срубъ“.

Стихи Тредьяковского вызвали эпиграммы; и самъ Ломоносовъ отвѣтилъ стихотвореніемъ:

Безбожникъ и ханжа, подметныхъ писемъ врагъ!
Твой мерзкой складъ дабы и смѣхъ намъ и печаль, и т. д.

Въ концѣ концовъ, Тр. въ это время пересталъ ходить въ Академію. Черезъ годъ президентъ, графъ Разумовскій, велѣлъ потребовать отъ него объясненія, а въ мартѣ 1759 Тр. вышелъ въ отставку. Онъ продолжалъ работать, въ Академіи печатался переводъ Роллена, за который онъ получалъ вознагражденіе. Онъ умеръ въ августѣ 1769.

Извѣстно, что еще при жизни Тр. вызывалъ насмѣшки несладностью своихъ твореній и негодованіе нѣкоторыми сторонами своего характера; въ послѣдствіи имя его становилось синонимомъ бездарности,—но и въ XVIII вѣкѣ онъ находилъ уже защитниковъ, напр. въ Новиковѣ, а новѣйшая критика отдаетъ справедливость не только его великому трудолюбію, но и нѣкоторымъ бѣрнымъ сужденіямъ, особенно его указанію на истинныя свойства русскаго стиха, которыхъ должно искать въ народной поэзіи: здѣсь его ученый педантизмъ нашелъ правильную дорогу.

По всей своей дѣятельности Тр. есть характерное выраженіе той угловатости, которая была естественной чертой первыхъ шаговъ начинавшейся литературы. Онъ составлялъ свои взгляды по литературѣ французской (которой Ломоносовъ не любилъ), но основные образцы видѣлъ у древнихъ, съ которыми и справлялся въ своихъ псевдо-классическихкихъ теоріяхъ; но въ сущности, онъ вывелъ отсюда только схоластическую реторику и пиитику. Его прельщала и болѣе легкая, жизненная сторона французской литературы, но и здѣсь отсутствіе дарованія не дало ему никакого успѣха ни по формѣ, которая была у него уродлива, ни по содержанію.

— Старѣйшій отзывъ о трудахъ Тр. сдѣланъ въ извѣстіи о русскіихъ писателяхъ, Дмитревскаго, въ лейпцигской *Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste*, 1768. Эта статья нѣсколько разъ была повторена на французскомъ и русскомъ языкахъ, и перепечатана въ „Матеріалахъ для исторіи р. литературы“, П. Ефремова. Спб. 1867, стр. 129—160.

— Новиковъ, Опытъ историч. словаря о русс. писателяхъ. Спб. 1772; и та же біографія съ нѣкоторыми перемѣнами при изданіи „Дендаміи“. М. 1775,—и съ нѣкоторыми ошибками пересказана въ „Словарѣ достопамятныхъ людей русской земли“, Бантышъ-Каменскаго. М. 1836. V, стр. 146—150.

— Митр. Евгеній, Словарь р. свѣтскихъ писателей. М. 1845. II, стр. 210—225.

— Въ 1849 были переизданы сочиненія Тр. въ собраніи Смирдина, Спб., три компактныхъ тома.

— Перевлѣсскій, Избранныя сочиненія В. К. Тр. М. 1849, съ новой біографіей.

— Ир. Введенскій, „Тредіаковскій. Матеріалы для ист. р. литературы“, въ Сѣверномъ Обозрѣніи, 1849, II, стр. 428—452 (неокончено),—защита Тр—го. Повторено въ „Русской Поэзіи“, Венгерова, т. I.

— А. Афанасьевъ, Образцы литературной полемики прошлаго столѣтія, въ Библиогр. Запискахъ, 1859, № 15.

— В. Варенцовъ, „Тр. и характеръ нашей общественной жизни въ первой половинѣ XVIII столѣтія“, въ Моск. Вѣдомостяхъ, 1860, № 36—37.

— А. А. Куникъ, Матеріалы для ист. Акад. наукъ. Спб. 1865.

— П. Билярскій, Матеріалы для біографіи Ломоносова. Спб. 1865.

— Наиболѣе подробная біографія Тр., по академическимъ матеріаламъ, у Пекарскаго, Ист. Акад. наукъ. Спб. 1873. II, стр. 1—258. См. также упомянутые новѣйшіе „Матеріалы“ для исторіи Академіи, особливо т. VI.

— Синодскіе документы о Тр. въ упомянутомъ „Описаніи документовъ и дѣлъ“ архива св. Синода, т. VIII, 1728. Спб. 1891.

— М. Петровскій, Библиогр. замѣтки о нѣкоторыхъ трудахъ Тредіаковскаго. Страничка изъ исторіи русскаго стихосложенія. Казань, 1890.

— Венгеровъ, „Русская Пoesія“. Т. I. Спб. 1897, стр. 50—75, и примѣч., стр. 365—397, съ подробнымъ пересказомъ біографіи по Пекарскому и съ библиографическими указаніями.

— Для исторіи русскаго стихосложенія, установившагося въ XVIII вѣкѣ, очень важны работы В. Н. Перетца: „Историко-литературныя изслѣдованія и матеріалы“. Томъ I. Изъ исторіи русской пѣсни. Часть 1. Спб. 1900. Часть 2. Спб. 1900; „Малорусскія вирши и пѣсни въ записяхъ XVI—XVIII вѣковъ“, въ „Извѣстіяхъ“ II Отд. Акад. наукъ, т. IV, и отдѣльно, 1899; „Замѣтки и матеріалы для исторіи пѣсни въ Россіи“. I—XVIII. Спб. 1901.

— И. Н. Ждановъ, „Къ исторіи русскаго стихосложенія по поводу книги В. Н. Перетца: Изъ исторіи русской пѣсни“, — въ „Извѣстіяхъ“, т. V, и отдѣльно. Спб. 1901. Г. Перетцъ отвѣчалъ на возраженія Жданова въ названныхъ выше „Замѣткахъ и матеріалахъ“.

Біографія Сумарокова (1718—1777) остается еще недостаточно изслѣдованной. Онъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода; отецъ его по своему времени былъ человѣкъ образованный и былъ первымъ его учителемъ; въ 1732, Сумароковъ поступилъ въ тольео-что основанный тогда Сухопутный кадетскій корпусъ, и, хорошо подготовленный дома, шелъ въ корпусъ успѣшно. Уже здѣсь начались его литературныя интересы и собственное писательство: здѣсь, говорятъ, онъ писалъ свои первыя оды и легкія пѣсни, которыя имѣли большой успѣхъ и проникли даже до дворца импер. Анны. Кончивъ курсъ въ 1740, онъ зачисленъ былъ на службу въ военно-походную канцелярію Миниха, потомъ послѣ его паденія былъ адъютантомъ при А. Гр. Разумовскомъ, и повидимому имѣлъ полный досугъ для своихъ литературныхъ трудовъ. Онъ имѣлъ уже такую извѣстность, что въ 1743 былъ участникомъ въ стихотворномъ соревнованіи съ Ломоносовымъ и Тредіаковскимъ въ упомянутомъ переложеніи псалма. Въ 1747, онъ напечаталъ двѣ первыя трагедіи: „Хорева“, изъ мнимой русской исторіи, и „Гамлета“, котораго зналъ по-французской передѣлкѣ и въ которомъ, впрочемъ, не осталось почти ничего изъ Шекспира. Въ 1749, какъ говорятъ, „Хоревъ“ представленъ былъ кадетами Шляхетнаго

корпуса; авторъ, приглашенный на спектакль, былъ въ полномъ восторгѣ отъ исполненія, и Разумовскій доложилъ объ этомъ имп. Елизаветѣ,—она была этимъ очень заинтересована и сама приняла участіе въ устройствѣ русскихъ спектаклей при дворѣ. Это было въ январѣ 1750 (представленіе „Хорева“); въ томъ же году Сумароковъ приготовилъ еще нѣсколько трагедій и комедій; въ слѣдующемъ году написалъ „Семиру“, которая пользовалась особеннымъ успѣхомъ, и т. д. Самъ авторъ былъ произведенъ въ полковники, продолжая оставаться при Разумовскомъ. Въ тѣ же годы была вызвана въ Петербургъ ярославская труппа Волкова, въ которой былъ также Нарыковъ, знаменитый потомъ подъ именемъ Дмитревскаго, и въ 1756 положено было, указомъ сенату, основаніе русскаго театра, директоромъ котораго назначенъ былъ Сумароковъ, тогда уже бригадиръ. Въ это время онъ особенно усердно обогащалъ репертуаръ русскаго театра, писалъ трагедіи, комедіи, либретто для оперъ, аллегорическія пьесы. Въ 1759 онъ издавалъ журналъ „Трудолюбивая Пчела“, наполнявшійся больше всего имъ самимъ. Въ 1761, онъ потерялъ управленіе театромъ, „по навету враговъ“, говорятъ біографы,—но должно сказать, что онъ отличался чрезвычайно неуживчивымъ, задорнымъ характеромъ и самолюбіемъ, такъ что самъ могъ успѣшно набирать себѣ враговъ. Досаду противъ недруговъ онъ вносилъ нерѣдко въ свои творенія, и однажды импер. Екатерина поручила Олсуфьеву сдѣлать внушеніе Сумарокову о большей осторожности въ его писаніяхъ: „Взвѣсьте хорошенько ваши выраженія,—писала она Олсуфьеву,—потому что мы имѣемъ дѣло съ горячей головой, которая начинаетъ терять смыслъ, если уже давно не потеряла его“... Впрочемъ, Екатерина была очень внимательна къ популярному писателю; при вступленіи на престолъ дала ему новый, уже гражданскій, чинъ, потомъ ленту и была снисходительна къ его недѣлостямъ.

Сумароковъ, какъ писатель, опять имѣетъ типическія черты своего вѣка. Онъ сполна воспитался на французской литературѣ; историческаго взгляда на ея значеніе у него не было совсѣмъ, какъ вообще у псевдо-классиковъ: французская литература была простое продолженіе классиковъ, средніе вѣка были періодомъ варварства; въ формѣ заключалось все, и успѣхи нашей литературы состояли бы только въ усвоеніи этой формы—оставалось слѣдовать готовымъ образцамъ и приобрести своихъ Гораціевъ и Пиндаровъ, своихъ Малербовъ, Лафонтеновъ, Расиновъ и Вольтеровъ. Онъ предоставилъ Ломоносову быть „нашихъ странъ Малербомъ“ и Пиндаромъ; великое самолюбіе побуждало Сумарокова считать самого себя не только русскимъ Лафонтеномъ и Расиномъ, но даже Вольтеромъ. Въ дѣйствительности, это былъ копировщикъ французской драмы, болѣе или менѣе грубый (особливо въ комедіи); съ той школьной точки зрѣнія, на которой онъ остановился, живое движеніе западной литературы было ему или неизвѣстно или непонятно,—отсюда величайшее негодованіе, съ какимъ онъ встрѣтилъ появленіе на русской сценѣ пьесы Бомарше,—и онъ, ссылаясь на авторитетъ свой и Вольтера, осуждалъ этой „пакостный родъ“ драмы. Въ своихъ драматическихъ твореніяхъ онъ слѣдовалъ образцамъ, которыхъ начитался; давно указано, что у Сумарокова нѣтъ драматическихъ характеровъ, а только ходульныя

олицетворенія добродѣтелей и пороковъ, и драма проходить въ длинныхъ высокопарныхъ рѣчахъ; черты берутся изъ воображаемой древности или мнѳологіи, гдѣ это прилагается особенно удобно.

У Сумарокова былъ извѣстный легкій талантъ, онъ былъ плодотивый версификаторъ, и однимъ изъ предметовъ его писательскаго честолюбія было то, что онъ старался писать „во всѣхъ родахъ“ и уподобиться въ этомъ Вольтеру.

Выше упомянуто объ его отношеніяхъ съ Тредьяковскимъ и Ломоносовымъ, самыми видными дѣятелями тогдашней литературы. Сумароковъ хотѣлъ считаться основателемъ новой русской литературы; какъ человѣкъ съ малымъ все-таки образованіемъ онъ до невозможности преувеличивалъ свои заслуги и безъ всякой застѣнчивости говорилъ: „что только видѣли Аѳины и видѣть Парижъ (въ драмѣ), то нынѣ Россія стараніями моими увидѣла“ и т. д. Ломоносовъ презрительно говорилъ о „пріемичествіи“ Сумарокова, а тотъ прямо называлъ себя „знатнымъ стихотворцемъ“, ссылаясь на этотъ свой авторитетъ въ личныхъ столкновеніяхъ, и хотя импер. Екатерина должна была внушать ему спокойствіе духа, необходимое для произведеній его пера („мнѣ,—прибавляла она,—всегда пріятнѣе будетъ видѣть представленіе страстей въ вашихъ драмахъ, нежели въ вашихъ письмахъ“), — но все-таки должно отмѣтить здѣсь, какъ и въ подобныхъ вспышкахъ Ломоносова, первое заявленіе достоинства писателя, требованіе уваженія къ нему, какъ представителю возвышеннаго дѣла. Это заявленіе было необходимо и имѣло свою общественную важность на первыхъ шагахъ литературы, въ ту пору, когда, по словамъ Сумарокова, въ Москвѣ „всѣ улицы невѣжествомъ вымощены аршина на три“ и когда она „ста Мольеровъ требовала“.

Современники цѣнили въ Сумароковѣ и общественнаго дѣятеля, по его сатирамъ. Самъ онъ опять считалъ себя способнымъ не на одну поэзію: „я и кромѣ поэзіи,—говорилъ онъ въ письмѣ къ одному значительному лицу,—можетъ быть, нѣкоторые достоинства имѣю и могъ бы перомъ моимъ, кромѣ стиховъ, много принести пользы, а особливо по рефлексіямъ на Россію“... Такія рефлексіи онъ писалъ на проектъ новаго уложенія (Екатерининской комиссіи), но Екатерина не нашла ихъ заслуживающими вниманія.

Не должно забыть однако, что при всемъ томъ у Сумарокова были, какъ результатъ новыхъ литературныхъ вліяній, нѣкоторые прочныя понятія общественныя, которыя излагалъ онъ въ своихъ одахъ, драмахъ, сатирахъ, похвальныхъ словахъ и т. д. Всегда онъ—защитникъ просвѣщенія, врагъ невѣжества и предрасудковъ; онъ ищетъ правды, восхваляетъ кроткое правленіе, преслѣдуетъ вѣковую язву древней и новой русской жизни—отсутствіе правосудія, грабительство подъячихъ; онъ—врагъ пустого свѣтскаго воспитанія на французскій ладъ и преслѣдуетъ неуваженіе къ родному языку; наконецъ, онъ возмущается дикими проявленіями крѣпостнаго права. За моремъ,—откуда принесла вѣсти синица, въ одномъ изъ его стихотвореній,—

Съ крестьянъ тамъ кожи не сдирають,
Деревень на карты тамъ не ставятъ;
За моремъ людьми не торгуютъ...

Какою славой пользовался Сумароковъ у современниковъ, мы видѣли изъ словъ Новикова, приведенныхъ въ текстѣ. Слѣдующее поколѣніе усумнилось въ его величіи, и Карамзинъ писалъ: „Уже оніамъ не дымитя передъ кумиромъ, но не тронемъ мраморнаго его подножія, оставимъ въ цѣлости и надписи: Великій Сумароковъ! Соорудимъ новые памятники, если надобно, но не будемъ разрушать тѣхъ, которые воздвигнуты благородною ревностью отцевъ нашихъ“.

Пушкинъ въ лицейскомъ стихотвореніи: „Благослови, поэтъ“, говоритъ:

„...Слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣщомъ,
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ“.

Но среди почитателей старой литературы Сумароковъ, даже во времена Пушкина, еще пользовался великою славой.

Первое изданіе его сочиненій сдѣлано было Новиковымъ: „Полное собраніе всѣхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ, покойнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ордена Св. Анны Кавалера, Лейпцигскаго ученаго собранія члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы въ удовольствіе любителей руссійской учености Николаемъ Новиковымъ, членомъ вольнаго руссійскаго собранія при императорскомъ московскомъ университетѣ“. М. 1781—1782, въ десяти частяхъ. Второе изданіе, 1787.

Въ историко-литературномъ отношеніи Сумароковъ изслѣдованъ мало. Послѣ старыхъ статей Шишкова, Мерзлякова и др., странной книги Сергѣя Глинки: „Очерки жизни и избранныя сочиненія А. П. С.“ Спб. 1841 (последній отголосокъ панегириковъ XVIII вѣка), первый опытъ исторической критики сдѣланъ въ книгѣ Н. Булича: „С. и современная ему критика“. Спб. 1854 (если не ошибаемся, словомъ „критика“, довольно неумѣстнымъ, замѣнено было, по тогдашнимъ цензурнымъ видамъ, слово: „сатира“). Затѣмъ:—В. Стоюнинъ, „А. П. Сумароковъ“. Спб. 1856.—М. Хмыровъ, въ „Портретной Галлерей“ Мюнстера. Отдѣльныя упоминанія въ біографіяхъ Ломоносова; у Пекарскаго, Ист. Академіи наукъ; Сухомлинова, Ист. Россійской Академіи, т. I; у Лонгинова, Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ, 1749—1774, въ Сборникѣ II Отдѣл. Акад. наукъ, т. XI, 1875. Отдѣльныя извѣстія и документы.

— Русская Поэзія, Венгеровъ. Т. I, стр. 151—264, и въ Примѣчаніяхъ, стр. 362—363, гдѣ перечислена литература о Сумароковѣ.

Изученіе языка С. сдѣлано В. Истоминымъ: „Главнѣйшія особенности языка и слога произведеній Александра Петровича Сумарокова. 1718—1777 г.“, въ Р. Филологич. Вѣстникѣ, 1898, № 1—2, педагогич. отдѣлъ, стр. 42—85.

ГЛАВА XII.

ЛОМОНОСОВЪ.

Историко-литературныя изученія Ломоносова.
Складъ понятій въ обществѣ его времени.
Основной смыслъ дѣятельности Ломоносова.

Ломоносовъ есть, безъ сомнѣнія, величайшее имя нашей литературы XVIII вѣка,—не по силѣ поэтическаго дарованія, въ чемъ выше его стоитъ Державинъ, слѣдовательно, не по чисто художественному значенію, которое, притомъ, чувствовалось въ этомъ первомъ періодѣ нашей новой литературы еще весьма недостаточно; но величайшее по цѣлому литературному вліянію, которое давно побуждало видѣть въ Ломоносовѣ „отца“ новой литературы. Въ нѣсколько образованномъ кругу русскаго общества тѣхъ временъ ни одно имя не было окружено такимъ безспорнымъ почетомъ, какъ имя Ломоносова, даже имя самого Державина. Повидимому, его собственно литературное значеніе должны были заслонить дальнѣйшіе успѣхи литературы, ознаменованные твореніями Державина, Фонъ-Визина, наконецъ, Карамзина; но авторитетъ Ломоносова держался неизмѣнно не только въ консервативной толпѣ стараго вѣка, но и между людьми болѣе высокаго литературнаго уровня: до самыхъ тридцатыхъ годовъ поклонникомъ его на университетской кафедрѣ былъ Мерзляковъ. И точка зрѣнія, съ которой возвеличивають Ломоносова этотъ послѣдній могикианъ восемнадцатаго вѣка, была однако не совсѣмъ та, съ которой цѣнить его историческая критика. Мерзляковъ восторгался еще поэзіей Ломоносова; но Пушкинъ, а затѣмъ Бѣлинскій судятъ иначе: заслуга Ломоносова полагается гораздо больше въ его ученыхъ трудахъ, въ созданіи литератур-

наго языка—по крайней мѣрѣ, въ первомъ шагѣ къ этому созданію, который состоялъ въ опредѣленіи элементовъ книжной русской рѣчи и указаніи ихъ относительнаго значенія. Славяно-фильская школа, безусловно отрицавшая реформу, осуждавшая восемнадцатый вѣкъ за измѣну народности и рабское подчиненіе европейской цивилизации, не рѣшалась на осужденіе Ломоносова, или обходила его,—хотя именно онъ былъ величайшимъ поклонникомъ реформы и въ своемъ трудѣ руководился западной наукой и литературой. По извѣстнымъ словамъ Пушкина, Ломоносовъ былъ первымъ нашимъ университетомъ, и этими словами вѣрно обозначенъ основной смыслъ дѣятельности Ломоносова, заключавшійся въ томъ, что онъ пролагалъ пути въ самыхъ различныхъ отрасляхъ науки и литературы, становился руководящимъ авторитетомъ въ такой широкой области знанія и поэзій, какой съ тѣхъ поръ не обнималъ ни одинъ изъ нашихъ писателей, и своимъ стремленіямъ на этомъ поприщѣ придавалъ ту властную силу, которую сообщаетъ первостепенный умъ и глубокое убѣжденіе.

Какъ долго не могъ установиться взглядъ на историческое значеніе Ломоносова въ нашей литературѣ, такъ долго не было выяснено съ точностью значеніе его трудовъ по естествознанію: старыя восхваленія его великихъ научныхъ открытій лишь отчасти подтверждались новѣйшими оцѣнками нашихъ специалистовъ — физиковъ, химиковъ, геологовъ, и въ общихъ книгахъ по исторіи науки имя Ломоносова встрѣчалось рѣдко. Въ послѣднее время собрано много новыхъ данныхъ для исторіи его жизни и дѣятельности, но еще требуетъ изслѣдованій самая біографія и въ ней опредѣленіе того пути развитія, какимъ образовался этотъ могущественный характеръ. Будущему изыскателю предстоитъ объединить и освѣтить тотъ значительный матеріалъ, какой до сихъ поръ былъ собранъ и какой должно еще доставить начатое Сухомлиновымъ (1891) академическое изданіе его сочиненій...

Значеніе Ломоносова чувствовали, хотя и не вполне сознавали, его современники и ближайшее потомство: въ немъ видѣли перваго русскаго ученаго, который могъ съ полнымъ правомъ стоять на ряду съ тогдашними учеными европейскими; но еще больше почитали въ немъ простодушно русскаго Пиндара и, пожалуй, Гомера. Послѣдующія поколѣнія, ограничивая его славу, какъ поэта, признавали въ немъ великія заслуги въ образованіи русскаго литературнаго языка, въ заботахъ о распространеніи науки, въ пламенномъ патріотизмѣ, приписывали ему (нѣсколько

преувеличенно) самостоятельное научное творчество и т. д. Всѣ эти заслуги въ различной, но во всякомъ случаѣ высокой степени, принадлежать Ломоносову; но самую глубокую историческую черту должно указать въ его цѣломъ міровоззрѣніи, которое впервые водворяло у насъ истинный смыслъ просвѣщенія въ томъ объемѣ, въ какомъ оно было приобрѣтено тогда усиліями европейской науки. Если придавать преобразованиямъ Петра рѣшающее значеніе въ новомъ поворотѣ нашей гражданской и умственной жизни, то Ломоносовъ впервые далъ этимъ преобразованиямъ тотъ внутренній смыслъ, при которомъ онѣ могли стать дѣйствительно новымъ періодомъ въ развитіи русской мысли. Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы умственная и нравственная жизнь русскаго народа могли вступить на болѣе широкій просторъ изъ ихъ прежней средневѣковой ограниченности, еще недостаточно было всѣхъ тѣхъ великихъ нововведеній, какія были произведены Петромъ во внѣшней жизни государства; недостаточно было заботъ объ основаніи школъ, о расширеніи стараго „книжнаго почитанія“ новыми знаніями, до тѣхъ поръ неслыханными и расширявшими тѣсный горизонтъ стараго книжничества; недостаточно было указывать открытія новой науки, хотя пугавшія и приводившія въ негодованіе суевѣровъ стараго вѣка (какъ ученіе Коперника); недостаточно было даже такъ рѣшительно отвергать старое невѣжество, какъ это дѣлалось, напримѣръ, „въ Духовномъ Регламентѣ“, — все это было отголоскомъ новой европейской мысли, отвергшей средніе вѣка, но эти нововведенія вступали въ жизнь какъ бы механически, становясь рядомъ съ ея прежнимъ содержаніемъ, отрицая въ немъ, что было въ немъ совершенно устарѣлаго, но не указывая ясно общаго начала, на которомъ впредь могло и должно было быть построено органически новое міровоззрѣніе. Нужно было уразумѣть и воздвигнуть это новое начало, и это сдѣлано было Ломоносовымъ. Государственное преобразование въ томъ объемѣ, какой давала ему гениальная дѣятельность самого Петра, заключало въ себѣ могущественныя возбужденія къ созданію этого новаго міровоззрѣнія; но самое преобразование, притомъ рано прерванное, поглощено было насущными практическими нуждами, и по существу было слишкомъ ново, чтобы одновременно сдѣлать былъ и другой важный шагъ національнаго развитія. Нужно было, чтобы возбужденія реформы нашли опору въ болѣе прочномъ научномъ воспитаніи. чѣмъ то, какое могло быть получено въ едва возникавшей русской школѣ; чтобы родился сильный умъ, который былъ бы способенъ усвоить научную мысль во всей ея широтѣ

и внести ее—по крайней мѣрѣ, насколько было возможно—въ умственную жизнь русскаго общества. Такимъ человѣкомъ явился Ломоносовъ. Его дѣятельность была блистательнымъ результатомъ и оправданіемъ реформы, но и ея необходимымъ дополненіемъ. Если имѣлъ великое значеніе тотъ общій фактъ, что съ эпохой Петра въ русскомъ образованіи (каковы бы ни были его размѣры) введены были авторитетомъ власти элементы науки свѣтской, до тѣхъ поръ невѣдомой и, однако, отрицаемой, введены взамѣнъ старой схоластики, то съ дѣятельностью Ломоносова въ этой свѣтской наукѣ впервые указанъ былъ смыслъ ея, какъ основы новаго міровоззрѣнія, которое должно было въ первый разъ смѣнить систему средневѣковаго преданія.

Какъ водвореніе новыхъ литературныхъ формъ велось очень медленно, въ сущности на пространствѣ двухъ-трехъ поколѣній, такъ чрезвычайно медленно шло и самое воспріятіе новыхъ идей. Новый складъ понятій, который заявляла свѣтская наука, на первый разъ высказывался только отрывочно, лишь подразумеваемый, въ книгахъ историческихъ, географическихъ, астрономическихъ, какія переводились при Петрѣ, и только въ такомъ же отрывочномъ видѣ усвоивался болѣе образованными людьми: вещи, по существу противорѣчивыя, укладывались въ головы рядомъ, не заявляя о своемъ противорѣчіи; новое понятіе принималось поверхностно, вызывая только элементарные выводы и не увлекая мысли къ дальнѣйшему его развитію и примѣненію; мысль могла созрѣть лишь съ извѣстной постепенностью. Съ основаніемъ Академіи наукъ, въ среду русскаго общества былъ внезапно вдвинутъ цѣлый кругъ западныхъ ученыхъ людей, съ которымъ оно не имѣло ничего общаго. Иностранная наука тотчасъ начала свои труды, между прочимъ надъ вопросами практическаго изученія Россіи; но приемы ея были русскимъ людямъ незнакомы, ученые сочиненія писались по-латыни, частью по-нѣмецки или по-французски, и на русскомъ языкѣ невозможно было даже передать ихъ содержанія по недостатку научно-логическаго и техническаго языка... По этому поводу опять высказывалось не мало обвиненій противъ Петра и самой Академіи, которая являлась въ Петербургѣ такимъ же чуждымъ растеніемъ, какъ могла бы явиться въ Пекинѣ. Но иначе нельзя было поступить: приходилось призывать практически необходимую науку въ лицѣ ея чужеземныхъ представителей и нельзя было бы требовать, чтобы они тотчасъ превратились въ русскихъ, — притомъ всего чаще ихъ призывали по контрактамъ только на извѣстное время; нужно было только заботиться, чтобы они пмѣли русскихъ уче-

никовъ, съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣкоторое время могли образоваться русскіе ученые. Такъ объ этомъ думалъ самъ Петръ, и при Академіи вскорѣ была устроена „гимназія“, т.-е. курсы приготовительные, а затѣмъ „университетъ“, питомцы котораго выходили въ адъюнкты Академіи. На первое время чужеземная наука на чужеземныхъ языкахъ стояла только подлѣ русской литературы, или еще русской „письменности“, и когда въ первое время сдѣланы были попытки передавать эту ученость на русскомъ языкѣ, то получались уродливые переводы, совершенно невразумительные для тѣхъ, кто былъ не въ состояніи читать подлинника. Первые русскіе ученые могли образоваться только подѣ руководствомъ профессоровъ иноземцевъ или просто за границей: такъ учился Тредьяковскій въ Парижѣ; такъ Ломоносовъ, только-что вызванный изъ Славяно-греко-латинской Академіи, былъ посланъ за границу, гдѣ и прошелъ впервые правильную школу подѣ руководствомъ знаменитаго въ тѣ времена Христіана Вольфа. Прочный корень науки могъ быть положенъ только тогда, когда ея содержаніе было бы принято не на вѣру, не изъ подражанія, не подѣ давленіемъ чужого авторитета, а самостоятельно продумано и усвоено умомъ, способнымъ къ независимому изслѣдованію, и вошло въ его собственную природу. Въ первый разъ это сдѣлано было Ломоносовымъ и въ этомъ была его великая заслуга, залогъ обширнаго вліянія въ теченіе XVIII вѣка, и историческое значеніе въ русской литературѣ.

Это историческое значеніе Ломоносова до сихъ поръ съ точностію не опредѣлено. Уже вскорѣ по возвращеніи его изъ-за границы, его авторитетъ возросталъ съ каждымъ новымъ трудомъ въ области науки и литературы; имя его становилось какъ бы нарицательнымъ именемъ великаго ученаго и, наконецъ, окружено было славой, къ которой почти не осмѣливалась прикасаться критика. Сочиненія его нѣсколько разъ издавались въ теченіе XVIII вѣка и въ началѣ XIX-го. Великій авторитетъ его имени достигъ до нашего времени; но историческое изученіе его двигалось медленно и прежде всего сдѣлано было историками литературы относительно его собственно литературныхъ произведеній: и здѣсь слава Ломоносова долго оставалась неприкосновенной, и только со временъ Пушкина и потомъ Бѣлинскаго стало высказываться болѣе критическое отношеніе къ разнѣрамъ его поэтической заслуги. Специалисты только изрѣдка касались трудовъ Ломоносова по естествознанію (какъ въ трид-

цатыхъ годахъ Перевощиковъ); біографія могла быть разработана только по архивнымъ документамъ Академіи наукъ, которые по старому обычаю были не легко доступны. Но изслѣдованіе было особливо возбуждено столѣтней памятью смерти Ломоносова: съ 1865 года появилось нѣсколько значительныхъ трудовъ, посвященныхъ біографіи и опредѣленію различныхъ сторонъ его дѣятельности.

„Столѣтняя годовщина дня рожденія знаменитаго писателя, — говорилъ Пекарскій, заканчивая біографію Ломоносова, — прошла незамѣченною; но зато о немъ вспомнили по случаю приближенія ста лѣтъ послѣ кончины его: 4-го апрѣля 1865 г. во многихъ мѣстахъ Россіи отправлялись торжества, посвященные воспоминаніямъ о Ломоносовѣ. Кромѣ обѣдовъ съ рѣчами и стихами, было сдѣлано тогда нѣсколько и полезныхъ дѣлъ: учреждены стипендіи въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ; основано училище въ селеніи, гдѣ родился Ломоносовъ; установлена премія въ награду за лучшее ученое сочиненіе по наукамъ, которымъ посвящалъ себя нашъ академикъ; объявленъ конкурсъ на составленіе жизнеописаній Ломоносова: одно, которое бы удовлетворяло строгимъ научнымъ требованіямъ, другое — доступное пониманію народа. Наконецъ, плодотворнымъ послѣдствіемъ Ломоносовскаго юбилея слѣдуетъ также считать обнародованіе въ тогдашнее время въ значительномъ количествѣ рукописныхъ источниковъ для его жизнеописанія и вообще появленіе въ печати разысканій о дѣятельности и сочиненіяхъ его. То правда, что ближайшее знакомство съ тѣмъ, что стало извѣстно о Ломоносовѣ послѣ его юбилея, неминуемо ведетъ къ признанію невѣрными и преувеличенными взглядовъ того кружка, голоса изъ котораго громче всѣхъ раздавались на Ломоносовскомъ юбилей. Такимъ образомъ не подтверждается мнѣніе, что Ломоносовъ сдѣлалъ въ области естественныхъ наукъ великія открытія, будто бы оставшіяся неизвѣстными до нашего времени только по равнодушію русскихъ въ отечественнымъ геніямъ. Нашлось также не мало опроверженій тому, чтобы великій нашъ писатель былъ постоянно тѣснимъ и угнетаемъ, отчего будто бы онъ и не успѣлъ осуществить все задуманное имъ. При всей геніальности и необыкновенныхъ дарованіяхъ, у Ломоносова, какъ у всякаго человѣка, были свои слабости, недостатки и они вредили ему въ жизни не менѣе его враговъ“.

Юбилей не только вызвалъ частныя изслѣдованія, но вообще указалъ важность историческаго вопроса, который дѣйствительно съ тѣхъ поръ становится на прочную почву фактическаго изу-

ченія. Таковы были изданія матеріаловъ и изслѣдованія Куника, Билярскаго, Ламанскаго, Будиловича, Пекарскаго, Грота, Соловьева, Н. Лавровскаго, Н. Бекетова (о трудахъ Ломоносова по физикѣ), Н. Любимова (также), Борисака (по минералогіи), Леваковскаго (по геологіи), Перевощикова (по физикѣ и физической географіи), и т. д.

Наконецъ, новый богатый матеріалъ для объясненія Ломоносова доставляетъ обширное академическое изданіе сочиненій Ломоносова (до сихъ поръ четыре тома), съ обильными примѣчаніями, гдѣ собраны варианты къ сочиненіямъ Ломоносова по его рукописямъ и прежнимъ изданіямъ; указаны историческія обстоятельства, при которыхъ эти произведенія возникали; отмѣчены и приведены иногда цѣликомъ иностранныя произведенія, которымъ подражалъ Ломоносовъ или изъ которыхъ что-либо заимствовалъ; объяснены литературныя черты содержанія и стиля и т. д.

Мы должны предположить извѣстной біографію Ломоносова и остановимся въ ней лишь на нѣкоторыхъ чертахъ, которыя были или считались особенно важными для опредѣленія его характера. Въ юбилейной литературѣ Ломоносовъ въ особенности былъ изображаемъ какъ чисто русскій національный дѣятель науки, человекъ изъ народа, потому врагъ нѣмцевъ, одинъ защищавшій противъ нихъ интересы русскаго образованія... Несомнѣнно, что въ общемъ счетѣ условій, опредѣляющихъ историческій складъ характера, весьма важны бываютъ условія первоначальной среды, которыя даютъ первый толчокъ пробуждающейся мысли, первую складку нравственной и умственной природы. Не безразлично было поэтому то обстоятельство, что Ломоносовъ былъ уроженецъ края съ энергическимъ трудовымъ населеніемъ, съ преданіями свободнаго крестьянства, не знавшаго крѣпостной зависимости, наконецъ, съ воспоминаніями о недавнихъ пребываніяхъ въ этомъ краѣ Петра Великаго. Родиной Ломоносова была, по словамъ Соловьева, „поморская или бѣломорская страна, пустынная, холодная, но прилегавшая къ морю, которое принадлежало Европѣ, на которомъ появлялся европейскій корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавшій моря: эта страна впервые почувствовала прикосновеніе его сильной руки. Страна, народонаселеніе которой давно привыкло къ трудной и опасной, развивающей силы, дѣятельности, давно привыкло къ тѣмъ явленіямъ, которыя стояли теперь на очереди, сильно потребовались, эта страна наполнилась новымъ духомъ, новымъ движеніемъ;

кто-то сильный, необыкновенный явился, пришел, оставил неизгладимые слѣды, поразилъ воображеніе, овладѣлъ памятью народа. Всюду для людей чуткихъ, исполненныхъ силы, слышались слова: „Иди за мной, время наступило!“ Подъ такими впечатлѣніями богатырскаго времени Новой Россіи воспитывался одаренный великою духовною силою сынъ холмогорскаго рыбака... Работа съ отцомъ, морскія плаванія и промыслы, укрѣпляя его физическія силы, дѣлали изъ него богатыря и тѣломъ. Богатырь не усидитъ въ отцовскомъ домѣ; его тянетъ на подвигъ, а подвигъ новой, преобразованной Россіи — не разминать въ степи плечо богатырское, а развивать умъ наукою въ школахъ“. Главное было однако въ томъ, что этотъ сынъ рыбака одаренъ былъ великою духовною силою. Люди, ставшіе поклонниками Петра и исполнителями поставленныхъ имъ задачъ въ области просвѣщенія и гражданской жизни, выходили изъ всѣхъ странъ Россіи, изъ всѣхъ слоевъ общества и всѣхъ поколѣній, которыхъ коснулась его эпоха: это былъ и подмосковный крестьянинъ Посошковъ, и московскій бояринъ Татищевъ, и малороссъ Прокоповичъ, и молдавскій аристократъ Кантемиръ; всѣ они работали для одной цѣли, по размѣрамъ силъ и пониманія, — но именно у Ломоносова эти размѣры были необычны. Поэтому его служеніе русскому просвѣщенію получило такую пироту, какой до него еще не было видано и которая доставила ему господствующее положеніе. Ему помогли природныя задатки его физической и умственной силы, но направленіе этой силы уже не зависѣло отъ спеціальнаго мѣста его родины: прошло почти двѣсти лѣтъ со времени его рожденія, и его родина не дала другого человѣка, который представлялъ бы хотя отдаленное подобіе этой силы ума и характера.

То содержаніе, къ которому направилась умственная работа Ломоносова, было именно содержаніе тогдашней европейской науки. Едва ли оправдываются утвержденія панегиристовъ, что онъ намѣчалъ особые, національные пути науки; специалисты находятъ, что онъ былъ, безъ сомнѣнія, сильный умъ, остроумный и оригинальный наблюдатель, но, — быть можетъ, вслѣдствіе слишкомъ разбросанной его дѣятельности (къ чему онъ былъ также вынуждаемъ обстоятельствами), — онъ не занялъ въ наукѣ своего времени первостепеннаго положенія; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ самъ не выдѣлялъ изъ этой науки какого-нибудь особаго національнаго направленія. Напротивъ, наука была для него единымъ цѣлымъ, общечеловѣческимъ достояніемъ, и онъ стремился только къ тому, чтобы это достояніе было усвоено

русскими умами, обогащалось потомъ и ихъ участіемъ въ общемъ трудѣ. Для „западной“ науки, которую онъ считалъ общечеловѣческой, было у него одно только противоположеніе — мракъ невѣжества, одинаково иноземнаго и русскаго. Остановливаясь на этомъ вопросѣ исторической заслуги Ломоносова, его біографъ, натуралистъ, замѣчаетъ: „Труды Ломоносова были скорѣе образчики трудовъ, чѣмъ труды, доведенные до конца. Но именно въ томъ обстоятельствѣ, что, несмотря на свои несовершенства, труды эти могутъ быть, по справедливости, признаны трудами самостоятельнаго мастера, въ этомъ полномъ равенствѣ перваго русскаго академика съ современными ему представителями европейской науки и заключается великое для насъ значеніе Ломоносова какъ перваго русскаго ученаго. Нѣтъ ничего фальшивѣе стремленія выискивать въ Ломоносовѣ представителя русской науки и русской цивилизаци, какъ чего-то особаго стъ науки и цивилизаци „запада“, иною мѣрою измѣряемаго, иному міру принадлежащаго. Ничто такъ не противорѣчитъ всему характеру дѣятельности Ломоносова, всему духу Петровскаго преобразованія, какъ такое стремленіе противопоставлять русское европейскому, вмѣсто того, чтобы противопоставлять его французскому, англійскому или германскому, на равномъ правѣ въ европейской семьѣ... Истинное значеніе Ломоносова, какъ ученаго, въ томъ, что онъ былъ первымъ русскимъ ученымъ въ европейскомъ смыслѣ, живымъ оправданіемъ замысла Петра ввести Россію, какъ равнаго члена, въ семью европейскихъ народовъ. Ломоносовъ былъ ученый въ томъ же смыслѣ, какъ его знаменитые учителя и его талантливые товарищи. Заслуги Ломоносова достаточно велики, онѣ не нуждаются ни въ преувеличеніи, ни въ фальшивомъ освѣщеніи“¹⁾.

Тотъ же біографъ находитъ фальшивымъ и другое стремленіе — изобразить Ломоносова „непонатымъ, неощѣненнымъ и изнемогающимъ въ борьбѣ съ завистью и недоброжелательствомъ академиковъ-нѣмцевъ, свившихъ будто бы себѣ теплое гнѣздо въ Петербургѣ и старавшихся повредить дѣлу русскаго просвѣщенія“. Обвинители нѣмцевъ были, однако, не совсѣмъ неправы, потому что въ дѣятельности людей, какъ Шумахеръ или Таубертъ, бывали поводы къ справедливому негодованію Ломоносова, несомнѣнно ближе принимавшаго къ сердцу интересы русскаго просвѣщенія, когда на другой сторонѣ гораздо больше, если не исключительно, имѣлась въ виду только личная выгода. Съ дру-

¹⁾ Любимовъ, стр. 189 и далѣе.

гой стороны, во-первыхъ, самъ Ломоносовъ былъ не изъ такихъ людей, которые давали себя въ обиду, какъ сейчасъ увидимъ, а во-вторыхъ, едва ли не самая большая вина раздоровъ въ средѣ Академіи лежала въ ея общемъ неустройствѣ, причиною котораго были сами русскіе люди. Дѣйствительно, исторія Академіи за большую половину ея существованія въ XVIII вѣкѣ поражаетъ обиліемъ раздоровъ и непорядковъ, происходившихъ отъ крайней неопредѣленности ея общаго положенія. Академія была въ русскомъ обществѣ совершенно новымъ учрежденіемъ, къ которому сама власть не знала какъ относиться. Ея члены были въ первое время иностранцы, всего чаще приглашаемые только на извѣстный срокъ по контрактамъ; ихъ науза была для русскихъ дѣломъ совсѣмъ невѣдомымъ, а ученныя требованія должны были приниматься на вѣру, потому что некому было о нихъ судить; внѣшнее управленіе было неопредѣленно, потому что Академіей распоряжались и президентъ, и дворъ, и сенатъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, съ Академіей надо было обращаться бережно; она была необходима, потому что, за рѣдкостью ученыхъ людей, на членовъ Академіи взыали исполненіе самыхъ разнородныхъ дѣлъ: на ихъ попеченіи были ученныя экспедиціи для описанія Россіи, что считалось необходимымъ по разнымъ соображеніямъ; они должны были заниматься „инвенціями“ въ своихъ наукахъ и поддерживать славу петербургской Академіи въ ученомъ мірѣ для блеска имперіи; къ нимъ обращались за свѣдѣніями въ дѣловыхъ вопросахъ, гдѣ требовалось спеціальное знаніе; они должны были наблюдать за учебными учрежденіями и иногда приходилось имъ, въ случаѣ надобности, быть высшими экзаменаторами для питомцевъ другихъ заведеній; они должны были издавать ученныя и общепользныя книги (изъ послѣднихъ, напр., календарь); наконецъ, они же, особенно русскіе академики, должны были поставлять торжественныя рѣчи и стихотворныя произведенія: имъ приказывалось сочинять не только оды, но и трагедіи, переводить либретто для придворныхъ спектаклей, писать стихи или надписи на иллюминаціи, фейерверки и т. п. За учеными людьми признавалась нѣкоторая привилегія особой службы, непонятной для людей обыкновенныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ администраціи Академіи господствовалъ нерѣдко настоящій хаосъ, гдѣ лица, къ ней принадлежащія, не могли разобратся въ своихъ правахъ и взаимныхъ отношеніяхъ. Надо думать, что еслибы жилъ Пётръ, этотъ внутренній распорядокъ установился бы, такъ или иначе, потому что онъ самъ заинтересованъ былъ дѣломъ; но послѣ него, въ теченіе цѣлыхъ десят-

жовъ лѣтъ, не было ни интереса къ ученымъ дѣламъ, ни пониманія того, какъ можетъ быть правильно устроена внутренняя жизнь ученаго учрежденія. При господствующихъ нравахъ академическихъ дѣла должны были оказаться въ рукахъ ловкаго чело-вѣка, который сѣмѣетъ ладить съ вліятельными людьми: такимъ чело-вѣкомъ явился Шумахеръ... Въ среду этого хаоса попалъ Ломоносовъ при своемъ вступленіи въ Академію. Въ академическихъ непорядкахъ виноваты были не одни нѣмцы, но и тѣ русскіе люди, которые не умѣли упрочить правильнаго существованія ученаго учрежденія: при Елизаветѣ президентомъ Академіи былъ чело-вѣкъ русскій, гр. К. Г. Разумовскій, правою рукою его въ академическихъ дѣлахъ былъ Тепловъ, а передъ тѣмъ, когда въ 1742, вслѣдствіе жалобъ, поданныхъ отъ многихъ лицъ въ самой Академіи на Шумахера, учреждена была особая слѣдственная коммиссія, во главѣ ея стоялъ опять русскій чело-вѣкъ, адмиралъ гр. Головинъ, а однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ былъ президентъ коммерцъ-коллегіи, князь Юсуповъ. Попалъ подъ слѣдствіе, по особому случаю, и только-что передъ тѣмъ вступившій въ Академію Ломоносовъ и очутился въ числѣ „колодниковъ коммиссіи“...

Ломоносовъ несомнѣнно преданъ былъ пользамъ русской науки, но своимъ способомъ дѣйствій нерѣдко самъ давалъ противъ себя оружіе своимъ врагамъ, или, когда уже пользовался въ Академіи большимъ авторитетомъ, не умѣлъ оставаться въ границахъ справедливости... По возвращеніи изъ-за границы онъ нашелъ Академію въ томъ состояніи безпорядка, о которомъ мы говорили; онъ присталъ къ Нартову, хотѣвшему защищать интересы Академіи противъ Шумахера: въ Академіи уже не было „Петромъ Великимъ выписанныхъ славныхъ людей“; они уѣхали, какъ всѣ говорили, отъ Шумахера, и ихъ мѣста заняли люди, къ которымъ онъ не имѣлъ уваженія. Ломоносовъ сталъ бывать „шумень“, а въ такомъ состояніи весьма безпокоенъ. „Намъ,—замѣчаетъ Соловьевъ,—тяжело теперь говорить о порокахъ, которому былъ подверженъ Ломоносовъ, о тѣхъ поступкахъ, которые были слѣдствіемъ его шумства, но мы знаемъ, что современники смотрѣли на это шумство и безпорядки, отъ него происходившіе, гораздо снисходительнѣе. Французскіе писатели середины XVII вѣка съ радостію отзываются, что пьянство вывелось у нихъ въ высшихъ кругахъ и предоставлено низшимъ. Германія, отстававшая въ это время отъ Франціи во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, отстала и въ этомъ“... Но въ этомъ „шумѣ“ Ломоносовъ творилъ вещи весьма жестокія. Въ 1742, на него жа-

ловался академическій садовникъ Штурмъ: „Пришелъ ко мнѣ въ горницу и говорилъ, какіе нечестивые гости у меня сидятъ, что епанчу его украли, на что ему отвѣтствовалъ бывшій у меня въ гостяхъ лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребныхъ рѣчей не надлежитъ говорить при честныхъ людяхъ, за что онъ его въ голову ударилъ, и схватя болванъ, на чемъ парики вѣшаютъ, и почалъ всѣхъ бить и слугѣ своему приказывалъ бить всѣхъ до смерти (!), и выскочивъ я изъ оконъ и почалъ караулъ звать, и пришедъ я назадъ, засталъ я гостей своихъ на улицѣ битыхъ, и жену свою прибитую“, и проч. ¹⁾). Полиція забрала Ломоносова и, какъ адъюнкта, отослала въ Академію; но такъ какъ это случилось именно въ то время, когда шло въ упомянутой комиссіи слѣдствіе по жалобамъ на Шумахера и Академіей правилъ Нартовъ, то эта исторія кончилась для Ломоносова безъ послѣдствій. Затѣмъ, однако, произошла другая. Въ слѣдующемъ году Ломоносовъ былъ привлеченъ къ допросу въ комиссіи по жалобѣ профессоровъ. Они писали: „Сего 1743 года апрѣля 26 дня предъ полуднемъ онъ, Ломоносовъ, въ противность всѣмъ честнымъ и разумнымъ поступкамъ, напившись пьянъ, приходилъ съ крайнею наглостію и бесчинствомъ въ ту палату, гдѣ профессеры для конференцій засѣдаютъ и въ которой въ то время профессорскаго собранія хотя и не было, однакожъ находился тамъ при архивѣ конференціи профессоръ Винсгеймъ и при немъ были канцеляристы... Ломоносовъ, не поздравивши никого и не скинувъ шляпы (какъ бы ему по учтивству здѣлать надлежало), мимо ихъ прошелъ въ географической департаментъ, гдѣ рисуютъ ландкарты, а идучи около профессорскаго стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличнымъ образомъ бесчестной и крайнѣ поносной знакъ самымъ подлымъ и бесстыднымъ образомъ руками противъ нихъ сдѣлавъ ²⁾), пошелъ въ оной географической департаментъ... Въ томъ департаментѣ, гдѣ онъ шляпы такъ же не скинулъ, поносилъ онъ профессора Винсгейма и всѣхъ прочихъ профессоровъ многими бранными и ругательными словами, называя ихъ плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно... Сверхъ того грозилъ онъ профессору Винсгейму, будучи еще въ той же палатѣ, ругая его всякою скверною бранью, что-де онъ ему зубы поправитъ, а совѣтника Шумахера притомъ называлъ воромъ. Вышедъ изъ географическаго департамента, пришелъ возвратно въ конференцію... и всѣхъ профессоровъ бранилъ скверными и ругатель-

¹⁾ Подробности этой баталіи у Бялурскаго, стр. 9—14.

²⁾ Т.-е. показавъ кукишъ.

ными словами и ворами называлъ, за то что ему отъ профессорскаго собранія отказали, и повторяя оную брань неоднократно сказывалъ съ великимъ бесчинствомъ и посмѣяніемъ, чтобъ то въ журналъ записали". Профессоры просили приказать арестовать Ломоносова „и разсмотря показанное намъ отъ него неслыханное бесчестіе и неслыханное ругательство, повелѣть учинить надлежащую праведную сатисфакцію, безъ чего Академія болѣе состоять не можетъ, потому что ежели намъ въ такомъ поруганіи и бесчестіи остаться, то никто изъ иностранныхъ государствъ впредь на убылныя мѣста пріѣхать не захочетъ, такъ же и мы себя за недостойныхъ признавать должны будемъ, безъ возвращенія чести нашей, служить ей имп. величеству при Академіи, понеже во всѣхъ государствахъ, гдѣ есть Академіи, такого ругательнаго примѣра, какъ намъ случилось, не бывало". Приванный въ комиссію, Ломоносовъ и здѣсь не унялся; на вопросы комиссіи „онъ Ломоносовъ сказалъ: я-де по пусту отвѣтствовать не буду и надо мною главную имѣть команду Академія, а не комиссія, и надлежитъ де ево требовать отъ Академіи, а безъ того въ допросъ не пойдетъ и ничего-де со мною комиссія сдѣлать не можетъ. И сверхъ того предъ присутствіемъ кричалъ онъ, Ломоносовъ, неучтиво и смѣялся" ¹⁾... За это однако онъ былъ арестованъ и оставался при комиссіи „колодникомъ", повидимому, отъ іюня 1743 до января 1744, когда послѣдовала по этому дѣлу резолюція сената ²⁾. Она была очень мягкая: Ломоносовъ былъ освобожденъ отъ наказанія „ради его довольнаго обученія", велѣно было выдавать ему только половинное жалованье, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ велѣно было по высочайшему указу выдавать ему прежнее жалованье.

Сенатская резолюція любопытна, какъ свидѣтельство о самомъ положеніи науки и литературы. Въ самомъ сенатѣ (надо впрочемъ думать, не безъ отголосковъ отъ двора) сказалось уваженіе къ человѣку, который былъ тогда единственнымъ сильнымъ представителемъ науки изъ русскихъ; въ немъ берегли ея надежду въ будущемъ, — хотя все-таки долго держали „колодникомъ". Быть можетъ, еще больше цѣнили въ немъ стихотворца: за время своего заключенія Ломоносовъ не забылъ придворныхъ торжествъ, и его оды производили большое впечатлѣніе...

Такимъ образомъ Ломоносова не совсѣмъ можно было бы представлять угнетеннымъ защитникомъ интересовъ русской науки.

¹⁾ Тамъ же, стр. 33 и далѣе.

²⁾ У Пекарскаго это изложено не совсѣмъ ясно.

Можно скорѣе пожалѣть, что все положеніе русской науки было крайне неблагопріятно по непониманію или равнодушію къ ея пользамъ въ тѣхъ сферахъ, отъ которыхъ зависѣло обезпечить ея положеніе ¹⁾. Можно пожалѣть, что Ломоносовъ не направлялъ своей энергіи въ защиту русскихъ интересовъ болѣе цѣлесообразно: драки, ругательства, поправленіе зубовъ и самыя кукиши нѣмецкимъ академикамъ не могли означать успѣховъ русской науки (впослѣдствіи еще на сотню лѣтъ Академія не обходилась безъ выписныхъ нѣмцевъ), и при такихъ нравахъ Академія дѣйствительно „не могла состоять“. Можно пожалѣть, что желаніе господствовать въ Академіи и необузданность характера помѣшали установиться здоровымъ отношеніямъ Ломоносова съ двумя нѣмецкими академиками, которые оказали тогда и послѣ великія заслуги для русской науки, именно для русской исторіографіи. Это были Шлѣцеръ и Миллеръ. Ни тотъ, ни другой тоже не были уступчиваго нрава, и особенно раздоръ Ломоносова съ Миллеромъ былъ несомнѣнно вреденъ для успѣховъ едва возникавшаго историческаго званія. Тѣ неправомерности, въ которыхъ Ломоносовъ обвинялъ Миллера, могли быть, какъ учебное мнѣніе, предметомъ спеціальной критики, а не предметомъ обвиненія въ политической злонамѣренности, могли быть найдены неудобными въ официальной рѣчи, но не требовали осужденія по существу. Громадный историческій трудъ, совершенный Миллеромъ въ теченіе его жизни, остается лучшимъ оправданіемъ противъ обличеній, которыми осыпалъ его Ломоносовъ; такимъ же образомъ Ломоносовъ, который не могъ не видѣть исключительныхъ дарованій Шлѣцера, никакъ не хотѣлъ допустить его занятій русской исторіей изъ-за опасенія его „иностранинства“, „худого характера“ и возможныхъ съ его стороны „занозливыхъ“ рѣчей о Россіи, не предвидѣлъ, что этотъ Шлѣцеръ станетъ для русскихъ изслѣдователей учителемъ исторической критики.

Эта вражда къ нѣмцамъ изображается обыкновенно какъ особая патріотическая заслуга, хотя, быть можетъ, иногда преувеличенная; но эти преувеличенія были прискорбною ошибкой. Дѣло въ томъ, что пока не исполнились надежды Ломоносова,

¹⁾ Между прочимъ даже просто хозяйственное. Однажды случилось, что Ломоносову „на пропитаніе“ выдано было изъ Академіи, вмѣсто жалованія, на 80 рублей книгами. Въ другой разъ мы читаемъ, что въ 1749 году Татищевъ, желавшій, чтобы Ломоносовъ написалъ къ его Исторіи посвященіе вел. кн. Петру Федоровичу, послалъ ему въ подарокъ 10 рублей; „Онъ ямъ очень доволенъ,—писалъ къ Татищеву Шумахеръ,—и слѣдующій понедѣльникъ будетъ самъ благодарить за то“. Пискаревскій, Ист. Акад. II, стр. 416.

что русская земля будетъ рождать собственныхъ Платоновъ и Невтоновъ, русскія научныя силы были до крайности скудны или даже ограничивались тогда однимъ Ломоносовымъ. Только собственная бѣдность заставила обращаться къ иноземнымъ учителямъ, и мелочная, грубая война съ ними не помогала дѣлу русскаго просвѣщенія; надо было заботиться только о томъ, чтобы ихъ ученость шла больше на пользу ихъ русскимъ питомцамъ и чтобы въ русскомъ обществѣ укрѣплялось уваженіе къ наукѣ, водворенію котораго не помогали упомянутыя баталіи. А въ укрѣпленіи уваженія къ наукѣ такіе нѣмцы, какъ Миллеръ или Шлѣцеръ, могли бы быть для Ломоносова именно чрезвычайно полезными союзниками, а не врагами, какими онъ ихъ дѣлалъ. Изъ позднѣйшихъ отзывовъ, напримѣръ Шлѣцера, можно видѣть, что хотя способъ дѣйствій Ломоносова и оставилъ въ нѣмецкомъ ученomъ извѣстное враждебное чувство, но вовсе не помѣшалъ признанію его высокихъ достоинствъ, на почвѣ которыхъ было бы возможно ихъ совмѣстное дѣйствіе на пользу русской науки.

Для объясненія этихъ отношеній, гдѣ европейское образованіе встрѣчалось почти впервые лицомъ къ лицу съ умственными запросами русскаго общества, и гдѣ въ русскомъ обществѣ въ первый разъ являлась профессія ученаго человѣка и писателя, надо вспомнить вообще, какъ относилось это общество къ наукѣ и литературѣ и ихъ представителямъ. Это отношеніе было двойственное. Съ одной стороны люди, нѣсколько чуткіе къ умственнымъ интересамъ и подготовленные къ ихъ уразумѣнію, чувствовали почтеніе къ начинавшимъ появляться русскимъ ученымъ трудамъ—въ этихъ трудахъ былъ собственный оныть въ той наукѣ европейской, о которой много слышали, хотя мало ее знали, и къ которой питали инстинктивное, какъ бы ребячески суевѣрное уваженіе. Подъ вліяніемъ знакомства съ европейскими нравами, особливо при посредствѣ двора и заѣзжихъ иностранцевъ, и по воспоминаніямъ о трудахъ Петра, начинали думать, что литература (хотя бы на первый разъ въ видѣ торжественной оды и придворнаго спектакля съ русскими пьесами) и наука (хотя бы въ видѣ Академіи изъ иностранцевъ съ двумя, тремя русскими членами, съ учеными работами на латинскомъ языкѣ, а иногда и на русскомъ) служатъ къ украшенію двора и даже къ національной славѣ: пріятно было думать, что мы и въ этомъ не уступаемъ иноземцамъ, между которыми заняли такое блистательное положеніе во внѣшней политикѣ. Эта черта національнаго самодовольства повторяется безпрестанно, когда мы бу-

демъ слѣдить за понятіями тогдашнихъ людей о русской литературѣ и наукѣ. Рѣдко встрѣтится мысль, что литература нужна для общества, масса котораго находится въ состояніи грубѣйшаго невѣжества, но гораздо чаще встрѣчается самодовольная мысль, что мы сравнивались съ Европой, и вслѣдствіе упомянутаго представленія, что новая европейская литература есть прямое продолженіе классической, достоинства нашей литературы указывались не въ какой-либо чертѣ ея внутренняго содержанія, а въ сравненіи: писатель, произведшій нѣсколько высокопарныхъ одъ въ искусственномъ стилѣ, былъ уже готовымъ Пиндаромъ; другой, накропавшій нѣсколько трагедій въ рабскомъ подражаніи французской драмѣ, считался, и даже простодушно самъ себя считалъ, русскій Расиномъ, а встати и Вольтеромъ; нашлись русскіе Гомеры, Лафонтены и т. д. Цѣль казалась достигнутой. Русскіимъ Вольтерамъ не приходила въ голову мысль, что, не говоря о классической литературѣ, въ самой, ближе знакомой литературѣ французской, кромѣ одъ и трагедій есть еще нѣчто другое — есть работа философской и общественной мысли, которая была результатомъ многовѣковой исторіи, и что въ концѣ концовъ сравненіе выходило чистымъ ребячествомъ: изъ богатства западной умственной жизни къ намъ доходили только отрывки, какъ эпизодъ и анекдотъ, не связанный съ нашей собственной исторіей и потому принимаемый поверхностно и отрывочно... Но въ глубинѣ общества еще въ полной силѣ была ветхая старина. Какъ нѣкогда болѣе высокій умственный интересъ жилъ только въ небольшомъ кругу людей, такъ почти было и теперь. Литература и наука, начинавшіяся въ соприкосновеніи съ Европой, были еще такъ новы и школа такъ мало къ нимъ подготовляла, что литература дѣйствительно могла казаться „Фруктами и Конфетами на богатый столъ по твердыхъ кушаніяхъ“, притомъ только „на богатый столъ“, какъ писалъ Тредьяковский, — а наука могла казаться дѣломъ полезнымъ въ разныхъ практическихъ случаяхъ, но въ существѣ своемъ была громадному большинству или совершенно неизвѣстна, или представлялась пустымъ умствованіемъ, наконецъ, даже вещь „душевредительной“, какъ полагалъ о нѣкоторыхъ наукахъ одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, Татищевъ... Ученые люди были въ рѣдкость. Кромѣ немногихъ высокопоставленныхъ духовныхъ лицъ, какъ Теофанъ, и кромѣ иностранцевъ, за которыми была особая репутація, это бывали особливо выученики духовныхъ академій, почти исключительно изъ людей низшаго знанія, по тогдашнему „мизирныхъ“, кото-

рые не могли претендовать на какую-нибудь роль среди людей высшего круга. Въ высшемъ кругу, который давалъ тонъ и правила дѣлами, такъ взглянули и на новыхъ писателей, которые выступили на сцену въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ XVIII вѣка. Это дѣлалось само собою. Новые писатели съ своими торжественными одами и инымъ риторическимъ стихотворствомъ, которое можно было заказывать, прямо смѣняли прежнихъ академическихъ школьниковъ, и въ высшихъ кругахъ думали, что ихъ можно ставить на одну доску: нерѣдко это и было можно. Такимъ образомъ, когда новые писатели воображали себя русскими Расинами и Вольтерами, на нихъ смотрѣли пренебрежительно, какъ на людей, занимающихся пустяками. Хотя Сумароковъ былъ старый дворянинъ и чиновный человѣкъ, а Ломоносовъ былъ ученый академикъ, уважаемый и при дворѣ, такой меценатъ, какъ Шуваловъ, находилъ, какъ говорить, потѣху въ томъ, чтобы ссавливать ихъ между собой въ роли домашнихъ шутовъ, какіе тогда были въ модѣ. Извѣстное меценатство XVIII-го вѣка, которое не было на дѣлѣ особенно щедро и поощряло только писаніе торжественныхъ одъ, къ чему и находило очень много охотниковъ, не свидѣтельствовало о высокомъ уровнѣ литературы. Рядомъ съ меценатствомъ возможны были и такіе факты, какъ избіеніе Тредьяковского Волинскимъ. Замѣтимъ впрочемъ, что этотъ случай указываетъ не только пониженное состояніе литературы, но вообще страшную грубость вѣка. Волинскій былъ человѣкъ необузданный и билъ не только такихъ незначительныхъ людей, какъ Тредьяковскій ¹⁾. Такъ было при Аннѣ Ивановнѣ; но такъ же бывало и при Елизаветѣ. Порошинъ въ своихъ запискахъ передаетъ (подъ 1764 годомъ) рассказы Никиты Ивановича Панина объ одномъ генералѣ, который между прочимъ „разсуждалъ, какіе недотыки нынѣ люди стали, нельзя выбранить, а бывало-де палочьемъ дуютъ, дуютъ. да и слова сказать не смѣешь“; а гр. Чернышевъ передавалъ, „въ какой чрезвычайной силѣ былъ тогда (при императрицѣ Елизаветѣ) графъ Алексѣй Григорьичъ; графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ всегда ѣзжалъ съ нимъ въ Москвѣ на охоту, и гр. Мавра Егоровна молебны пѣвала по возвращеніи ихъ, что Петръ

¹⁾ Гр. Салтыковъ предостерегалъ однажды Волинскаго объ его самоуправствѣ: „Я вѣдаю, что друзья вамъ почти нѣтъ, и никто съ добродѣтелью объ имени вашемъ и упомянуть не хочетъ. На кого осердишься, велишь бить при себѣ и самъ изъ своихъ рукъ бьешь: что въ томъ хорошаго? Всѣхъ на себя озлобишь“. Впоследствии, когда совершался судъ надъ Волинскимъ, по дѣлу Тредьяковского винили его не въ томъ, что онъ билъ Тредьяковского, а въ томъ, что билъ его во дворцѣ, въ покояхъ Бирова, „и тѣмъ оказалъ неуваженіе къ государинѣ, а ему, владѣтельному герцогу, нанесъ чувствительную обиду, уже извѣстную и при иностранныхъ дворахъ“.

Иванычъ батожьемъ отъ него не сбъченъ. Алексѣй Григорычъ весьма неспокоенъ бывалъ пьяный¹⁾. Не удивительно, что при такихъ обычаяхъ и Ломоносовъ могъ востыгнуть желаніе „поправлять зубы“ нѣмецкимъ коллегамъ... Но если тогдашнее мещанство важныхъ господъ сопровождалось униженіемъ писателей, то и между ними находились люди, которые именно во имя своего литературнаго значенія держали себя весьма независимо. Таковъ былъ, напримѣръ, Сумароковъ, котораго безмѣрное самохвальство могло быть не излишнимъ, когда надо было указывать невѣждамъ достоинство литературнаго труда,—по литературнымъ вопросамъ онъ воевалъ съ самимъ московскимъ главнокомандующимъ; таковъ былъ и Ломоносовъ, и у него эта независимость была еще тѣмъ болѣе замѣчательна, что онъ былъ человѣкъ, по тогдашнему, „подлаго рода“, чѣмъ попрекалъ его даже Тредьяковскій. Много разъ цитировано было знаменитое письмо его къ Шувалову (въ январѣ 1761), который хотѣлъ мирить его съ Сумароковымъ. Несмотря на все почтеніе къ своему покровителю, Ломоносовъ читаетъ ему серьезный урокъ: „Никто въ жизни меня больше не избивалъ, какъ ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня къ себѣ. Я думалъ, можетъ быть какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ... Вдругъ слышу: помирись съ Сумароковымъ! т.-е. сдѣлай смѣхъ и позоръ!.. Свяжись съ тѣмъ человѣкомъ, который ничего другово не говоритъ, какъ только всѣхъ бранить, себя хвалить, и бѣдное свое реномичество выше всего человѣческаго знанія ставить... Не хотя васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показалъ я вамъ послушаніе... Ваше высокопревосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству спомоществованіемъ въ наукахъ, можете лутчія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ. Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю... А съ такимъ человѣкомъ обхожденія имѣть не могу и не хочу, который всѣ прочія знанія позорить, которыхъ и духу не смыслить... Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей дуракомъ

¹⁾ Прибавимъ еще черту нравовъ тогдашняго высшаго общества. „Послѣ стола, —разсказываетъ опять Порошинъ,—разговорились о временахъ при покойной государинѣ императрицѣ. Никита Ивановичъ разсказывалъ о банкахъ, которые графъ Алексѣй Григорычъ Разумовскій дѣлывалъ и нарочно проигрывалъ: какъ у него Настасья Михайловна и другіе изъ банку крадывали деньги, и послѣ щедрость его въ надлежащемъ мѣстѣ выхваляли, да не только такіа Настасья Михайловна, но и люди совсѣмъ безважные притомъ пользовались. За княземъ Иваномъ Васильевичемъ одинъ разъ подиѣтили, что тысячи полторы въ шляпѣ перетаскалъ, и въ сѣнахъ отдавалъ слугѣ своему“. „Записки“. Спб. 1844, стр. 60—72.

быть не хочу, но ниже у самаго Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ отниметъ“¹⁾).

Кромѣ внѣшней безправности литературы была еще болѣе глубокая безправность внутренняя. Подъ новыми европейскими вліяніями, которыя хотя медленно, но постоянно расширялись, должно было возникать понятіе объ извѣстномъ самостоятельномъ значеніи литературы: ея содержаніе должно было представлять собою самостоятельную мысль человѣка ученаго и самостоятельное произведеніе поэта. Къ этому понятію могли приходить уже тѣ, кто въ концѣ XVII-го вѣка схоластически знакомился съ древними классиками; тѣмъ болѣе оно должно было распространяться теперь, когда возростало знакомство съ новыми литературами европейскими. Дѣйствительно, на первыхъ шагахъ новой литературы питомецъ академической гимназій и Теофана, Кантемиръ, съ одной стороны переводить книгу Фонтенеля „О множествѣ міровъ“, представлявшую свободное научное мнѣніе о вопросахъ, которые считались въ понятіяхъ громаднаго большинства подлежащими исключительному вѣдѣнію богословія, а съ другой является сатирикомъ, т.-е. въ качествѣ поэта свободнымъ наблюдателемъ и судьей недостатковъ общественной жизни, въ томъ числѣ недостатковъ officialнаго учительнаго сословія. Эти опыты были нѣкогда поддержаны литературными нововведеніями Петра, научными изданіями его времени съ одной стороны и „Духовнымъ Регламентомъ“ съ другой: самъ Петръ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, но несравненно шире, чѣмъ было когда-нибудь прежде, смотрѣлъ на право науки объяснять явленія природы и исторіи, и спеціально не любилъ представителей стараго учительнаго сословія, какъ завѣдомыхъ обскурантовъ, — и это послужило тогда сильной опорой для тѣхъ, чья мысль направлялась въ область научныхъ изслѣдованій. Но уже на этомъ первомъ примѣрѣ, на трудахъ Кантемира и даже раньше на самыхъ книгахъ Петровскаго времени, оказалось, что не такъ легко миновать историческій разладъ новаго направленія съ прежнимъ. Въ сущности встрѣчались два противоположныхъ міровоззрѣнія. Старина даже не помышляла о возможности возымѣть какую-нибудь мысль о природѣ, о судьбахъ міра и человѣка внѣ писанія и отеческихъ твореній или, по крайней мѣрѣ, внѣ схоластическаго богословія; она не имѣла также понятій о какомъ-либо правѣ личной поэзіи, кромѣ развѣ торжественнаго стихотворства. Противорѣчіе сказалось и на дѣлѣ: переводъ Фонте-

¹⁾ Пекарскій, II, стр. 718—719.

неля былъ напечатанъ, но потомъ подвергся запрещенію; сатиры Кантемира явились лѣтъ черезъ двадцать по смерти писателя, когда успѣли сильно постарѣть и по содержанію и особливо по языку. Книги Петровскаго времени вызывали тогда же отчаянныя изобличенія, которыя писались Аврамовымъ, представляя взглядъ цѣлаго круга заклятыхъ противниковъ реформы и защитниковъ добраго стараго невѣжества: по ихъ убѣжденію, какъ и слѣдовало ожидать, новыя ученія были непосредственнымъ дѣломъ исконнаго врага человѣческаго рода, діавола... Аврамовъ еще жилъ, когда была въ полномъ расцвѣтѣ дѣятельность Ломоносова: къ обличеніямъ Коперника, Гюенса, Фонтенеля и Теофана Прокоповича онъ могъ бы присоединить и обличеніе Ломоносова. Какъ увидимъ, нашлись другіе люди, которые это исполнили...

Въ своемъ введеніи къ „Исторіи Академіи наукъ“ Пекарскій остановился, между прочимъ, на этомъ трудномъ положеніи науки; онъ называлъ этотъ отдѣлъ такъ: „о затрудненіяхъ, встрѣчавшихся въ старину для представителей нѣкоторыхъ наукъ въ Академіи высказывать добытыя ими истины въ современномъ обществѣ“. Въ дѣйствительности, „нѣкоторыхъ“ наукъ было очень много, и если „затрудненія“, т.-е. формальныя обвиненія въ нечестіи и колебаніи законовъ, встрѣчались не на каждомъ шагу, то лишь потому, что академическіе ученые заняты были обыкновенно спеціальными, даже чисто техническими вопросами и рѣдко касались общихъ основаній науки, даже прямо этого избѣгали, чувствуя, что въ „современномъ обществѣ“, слишкомъ невѣжественномъ, это было немыслимо — опасно и, пожалуй, бесполезно...

Когда, при первомъ вызовѣ иностранныхъ ученыхъ въ предположенную Академію, между прочимъ усиленно приглашали Христиана Вольфа, знаменитый философъ въ числѣ всякихъ отговорокъ (климатъ, другая пища и пр.) упомянулъ, наконецъ, слѣдующее, очевидно самое существенное (въ 1722); „Кромѣ того, еще одинъ главный вопросъ: долженъ ли я привинаться за осуществленіе моихъ мыслей касательно наукъ только въ той степени, въ какой будетъ это угодно современнымъ русскимъ? Въ такомъ случаѣ я, можетъ быть, буду вынужденъ оставить безъ осуществленія то, что здѣсь, въ настоящемъ моемъ положеніи, осуществилъ бы“... Его увѣряли изъ Россіи, что Петербургъ, въ отношеніи просвѣщенія, не уступитъ никакому германскому городу (!), но Вольфъ въ концѣ концовъ уклонился отъ приглашенія... Въ петербургской Академіи процвѣтала без-

обидная математика, но рѣчь Делиля, гдѣ утвердительно рѣшался вопросъ, вертится земля или нѣтъ, напалъ въ 1728 невозможнымъ напечатать по-русски. Книга Фонтенеля, въ переводѣ Кантемира, могла быть напечатана только съ разрѣшенія высшаго начальства, но потомъ все-таки подверглась запрещенію. Подобныя „затрудненія“ касались, очевидно, самаго существа и возможности науки.

Далѣе, если не легко было управиться съ вопросами о природѣ и міротвореніи, то на цѣлые десятки лѣтъ утвердилось въ официальномъ кругу, между прочимъ въ высшемъ управленіи самой Академіи, представленіе, что извѣстныя истины, добываемыя научными изслѣдованіями, составляютъ государственную тайну. „Такъ, — замѣчаетъ Пекарскій, — обвиненія астронома Делиля въ сообщеніи за границу астрономическихъ наблюденій доходили даже до сената (!), а между тѣмъ извѣстно ¹⁾, что достоверность и полезность подобныхъ наблюденій получается именно чрезъ сравненіе того, что наблюдаемо астрономами въ разныхъ земляхъ“. Подобныя затрудненія дѣлали и такія лица, которые по своему положенію должны были бы содѣйствовать ученымъ изслѣдованіямъ, напримѣръ тогдашій президентъ Академіи, баронъ Корфъ, тотъ самый, котораго Тредьяковскій изображалъ „въ мудрыхъ мудрой, въ ученыхъ ученой, въ достойныхъ достойной Особой“. Эта Особа разсудила, что „не безъ опасности есть, ежели что въ Россійскомъ государствѣ какія описанія или извѣстія учинятся, а въ иностранныя государства чрезъ нѣкакіе виды произнесутся (?), а о томъ еще не опубликовано, о чемъ и указами запрещается“, а потому президентъ Академіи приказалъ „въ государственную иностранныхъ дѣлъ, въ военную, адмиралтейскую и коммерцъ коллегіи и въ канцелярію главной артиллеріи и фортификаціи и отъ строеній послать промеморіи“, чтобы изъ этихъ коллегій и канцелярій „какія въ которой имѣются, а именно разныя провинціальныя описанія, извѣстія, книги, ландкарты и прочее по вопросамъ Академіи наукъ профессорамъ и адъюнктамъ ни подъ какимъ видомъ отпущены бы не были, развѣ по письменному требованію Академіи наукъ изъ канцелярій“.

По вѣроятному предположенію Пекарскаго, извѣстный ученый Байеръ, (первый начинатель норманской теории происхожденія Руси), изучавшій, между прочимъ, китайскій языкъ, не хотѣлъ тратить времени на изученіе русскаго языка, потому что, потративъ на это время, „не могъ быть увѣренъ въ томъ, чтобы это

¹⁾ Это указывалъ самъ Делиль въ объясненіяхъ сенату противъ обвиненія Шумахера.

знание когда-нибудь ему пригодилось, такъ какъ занятіе въ тѣ времена русскою исторіею для русскихъ сопряжено было не только съ трудностями, но и опасностями“. Но занятія изученіемъ русскаго языка Байеръ убѣдилъ Миллера, тогда еще молодого человѣка, и извѣстно, какую тревогу возбудила рѣчь, предложенная Миллеромъ для произнесенія въ торжественномъ собраніи Академіи подъ названіемъ: „Происхожденіе народа и имени російскаго“. Миллеръ едва не былъ обвиненъ въ политическомъ преступленіи. Къ сожалѣнію, въ этихъ обвиненіяхъ принялъ участіе и Ломоносовъ, который всю свою жизнь относился къ Миллеру крайне враждебно, считая его недостаточнымъ патриотомъ ¹⁾. Онъ утверждалъ, что въ каждомъ сочиненіи Миллера „множество пустоши и нерѣдко досадительной и для Россіи предосудительной“; вездѣ онъ „всѣваетъ, по обычаю своему, занозливыя рѣчи“ и „больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ російскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія“. Ломоносову не нравилось и то, что Миллеръ занимался изслѣдованіями о „смутныхъ временахъ Годунова и Разстриги—самой мрачной части російской исторіи“. Въ 1761 Ломоносовъ собралъ эти обвиненія въ особой статьѣ, посланной имъ къ президенту Академіи, а, можетъ быть, и къ другимъ лицамъ и, вѣроятно, не безъ связи съ этимъ Миллеръ вскорѣ послѣ того получилъ „жестокій выговоръ“ отъ высшаго правительства за „нѣкоторыя въ его сочиненіяхъ о російской исторіи находящіяся непристойности“. Миллеру оставалось прервать занятія русской исторіей. Раньше ему подобнымъ образомъ пришлось отказаться отъ своихъ плановъ издавать старыя лѣтописи и другіе матеріалы по русской исторіи: ему возражали, что для такого изданія необходимо „очистить“ лѣтописи отъ „басней“ (т.-е. лишить ихъ всякаго историческаго смысла), а кромѣ того замѣчали, что въ старыхъ извѣстіяхъ говорится, между прочимъ, о дѣлахъ государственныхъ, а ихъ слѣдуетъ вѣдать только министрамъ и сенату. Былъ съ Миллеромъ и другой случай. Въ 1746, онъ далъ извѣстному собирателю свѣдѣній о Петрѣ Великомъ, Крекшину, рукопись съ своими выписками изъ иностранныхъ писателей о Россіи, другими словами, сдѣлалъ человѣку большое одолженіе, сообщивъ ему результаты собственнаго труда. Отсюда произошло слѣдующее. „Крекшинъ, когда услышалъ, что Миллеръ далъ неодобрительный отзывъ о составленномъ имъ родословіи великихъ князей, царей и императоровъ, захотѣлъ от-

¹⁾ Миллеръ уже принялъ тогда російское подданство.

мстить ему, а потому донесъ сенату, что академикъ въ одной изъ своихъ рукописей дѣлаетъ выписки, унижительныя для русскихъ великихъ князей. Дѣло разсматривалось, по распоряженію сената, въ Академіи наукъ, и назначенная тамъ коммиссія оправдала Миллера, почему Крещинъ намѣревался уличить въ государственномъ преступленіи и его, и членовъ коммиссіи, однако дѣло въ сенатѣ было оставлено безъ послѣдствій¹⁾.

Указанные здѣсь факты относятся ко времени отъ двадцатыхъ до шестидесятыхъ годовъ XVIII вѣка; подобное повторялось и послѣ, — въ нѣсколько измѣненной формѣ переходя и въ XIX столѣтіе. Факты этого рода между прочимъ весьма осязательно опровергаютъ утвержденіе о томъ, какъ „петербургскій періодъ“ оторвался отъ старыхъ преданій и бросился на встрѣчу чужимъ нравамъ и образованію. Въ другомъ мѣстѣ мы указывали, какъ, напротивъ, тѣсно связанъ былъ XVIII вѣкъ съ XVII-мъ, какъ отголоски послѣдняго безпрестанно отзывались и въ жизни, и въ литературѣ, а съ другой стороны, нововведенія, которыя мы привыкли ставить на счетъ исключительно XVIII вѣку, на дѣлѣ имѣли свой корень еще въ старинѣ до-Петровской... Такъ не требуетъ особыхъ объясненій, что „затрудненія, встрѣчавшіяся въ старину для представителей нѣкоторыхъ наукъ, высказывать добытыя ими истины въ современномъ обществѣ“, были вполне преданіемъ XVII вѣка. На почвѣ того же преданія стояли упомянутые официальные (разныхъ вѣдомствъ) противники академическаго плана изданія лѣтописей. Крайняя подозрительность къ тому, какъ бы не явились въ печати, особливо иностранной, какія-нибудь свѣдѣнія о Россіи, которыя не „публикованы“ (а публиковать не торопились), даже безразличныя свѣдѣнія историческія, географическія, наконецъ и астрономическія; серьезныя разсужденія объ этомъ въ сенатѣ и синодѣ; распоряженія самого президента Академіи, чтобы безъ разрѣшенія „канцеляріи“ не выдавались изъ другихъ вѣдомствъ никакія „описанія“ даже самимъ академикамъ, — все это была

¹⁾ Ср. Пекарскаго, Ист. Акад. наукъ. I, стр. LXIII и далѣе, 343, 380 и др. Между прочимъ, характерно заключеніе синода, къ которому сенатъ преисправлялъ упомянутое предположеніе Академіи объ изданіи лѣтописей: „Разсуждаемо было (въ синодѣ), что въ академіи затѣваютъ исторію печатать, въ чемъ бумагу и прочій коштъ терять будутъ напрасно (!), понеже во оныхъ писаны ли явственныя..., отчего въ народѣ (!) можетъ произойти не безъ соблазна... А изъ приложеннаго для апробации видится, что ихъ будетъ не мало; къ тому же нѣко и внести въ нихъ не должно. И если напечатаны, чтобы были многіе въ покупкѣ того охотники, безнадёжно, понеже и штиль одинъ воснащать будетъ (!). А хотя бы нѣкоторые къ покупке охоту и возымѣли, то первому тому покупку учиня, до послѣдующихъ весьма не приступать. Того ради не безпачасно, дабы не принеслось отъ того казенному капиталу какова ущерба“. Послѣднее, пожалуй, могло бы быть не забота синода.

та же приказная опасливость московскихъ временъ, когда страшно боялись, чтобы иностранцы не узнали чего-нибудь о Россіи, когда окружали строгимъ надзоромъ иностранныя посольства и т. п. Семнадцатый вѣкъ еще не имѣлъ такихъ ученыхъ затѣй, какъ переводъ книги Фонтенеля, изданіе лѣтописей или „описаній“ и т. п., но московскіе приказы или патріархъ Іоакимъ отнеслись бы къ этимъ вещамъ совершенно такъ же, какъ сенать и синодъ, и президентъ Академіи середины прошлаго вѣка; или наоборотъ, послѣдніе не уступали своимъ предшественникамъ московскихъ временъ.

Въ такомъ смутномъ состояніи понятій шла дѣятельность Ломоносова. Это былъ первый русскій ученый человѣкъ въ области естествознанія, — для котораго наука была не технической выучкой, не отрывочнымъ спеціальнымъ знаніемъ, беззаботнымъ о логическомъ развитіи своихъ основаній, а напротивъ, знаніемъ, которое освѣщалось философскою мыслью и становилось поэтому цѣлымъ мировоззрѣніемъ. Именно въ этомъ смыслѣ онъ вносилъ въ умственную жизнь русскаго общества и въ русскую литературу великое благотворное начало, которое одно могло стать основой дальнѣйшаго здраваго развитія и въ области знанія, и въ области самой поэзіи, — начало сознательной работы мысли, которая уже тѣмъ самымъ становилась любовью къ просвѣщенію и стремленіемъ служить этимъ просвѣщеніемъ своему обществу и народу. Не виной Ломоносова было то, что, какъ сожалѣютъ его историки, онъ не имѣлъ достойныхъ учениковъ, что его трудъ не нашелъ непосредственныхъ достойныхъ продолжателей: первые шаги русской науки были обставлены такими дикими условіями, что это одно достаточно объясняетъ, почему не явилось такого продолженія ¹⁾. Но дѣятельность Ломоносова имѣла свое болѣе широкое продолженіе: она осталась великимъ завѣтомъ, нравственнымъ и умственнымъ возбужденіемъ для дальнѣйшихъ дѣателей, и исторія, разясняя сложные и часто невидные пути развитія, найдетъ въ позднѣйшихъ проявленіяхъ умственной и общественной жизни ту самую идею, которой нѣкогда служилъ Ломоносовъ. Дѣятельность его бросала свѣтъ на научнаго сознанія на то реальное, какое совершено было Петромъ

¹⁾ Указываютъ, правда, что толчокъ, данный Ломоносовымъ, произвелъ потомъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ естествоиспытателей, какъ, напримѣръ, Румовскій, Иноходцевъ, Лепехинъ, Озерецковскій, Севергинъ и др. (Будилевича, „Ломоносовъ какъ натуралистъ и филологъ“, стр. 60—61); но эти ученые отчасти образовались въ другой школѣ, а кромѣ того ни одинъ изъ нихъ не отличался тою широтою научнаго мировоззрѣнія, какую видимъ въ Ломоносовѣ.

Великимъ: преобразование было, безъ сомнѣнія, первою необходимою почвой для его собственнаго труда, первою ступеню для науки, какъ и для новой государственной жизни Россіи,—Ломоносовъ глубже, чѣмъ кто-нибудь прежде, сознавалъ это и отсюда его безграничное поклоненіе памяти Петра Великаго. Ломоносовъ не усумнился называть Петра творцомъ Россіи, божествомъ ея—и дѣлалъ это не въ одномъ риторическомъ преувеличеніи; онъ былъ въ этомъ убѣжденъ. Великое значеніе Петра состояло для него не въ томъ только, что онъ возвысилъ Россію какъ государство, но, быть можетъ, еще болѣе въ томъ, что онъ открылъ для русскаго народа область науки, съ помощью которой человѣкъ только и можетъ достигнуть высоты своего умственнаго и нравственнаго достоинства. Это возвышенное, и единое истинное, представленіе о наукѣ въ первый разъ было высказано на русскомъ языкѣ Ломоносовымъ, и въ этомъ была основная господствующая черта новаго міровоззрѣнія, которое должно было стать содержаніемъ новаго періода умственной жизни русскаго общества: съ этимъ наступалъ послѣдній конецъ нашихъ среднихъ вѣковъ.

Что мысль Ломоносова въ области науки не ограничивалась специальными изслѣдованіями въ химіи, физикѣ, металлургіи и пр., можно заключать изъ самого склада его ума, который постоянно искалъ общихъ основаній; это доказывается планами работъ, которыя стали извѣстны теперь по его бумагамъ. Многіе годы его занимала система натуральной философіи, которой ему не удалось закончить; въ своихъ академическихъ рѣчахъ онъ нѣсколько разъ возвращается къ вопросу о цѣлой наукѣ, — частный предметъ, о которомъ онъ говорилъ, не однажды побуждалъ его обращаться къ великимъ трудамъ и задачамъ всего человѣческаго знанія. Слушатели, къ которымъ онъ обращался, представляли ту пеструю среду, какою вообще было общество половины XVIII вѣка: нѣсколько ученыхъ людей изъ сотоварищей по Академіи (иногда, по своему „иностранству“, не понимавшихъ его русской рѣчи), а главное, люди изъ высшаго и средняго круга—въ большинствѣ съ образованіемъ крайне поверхностнымъ, для которыхъ подобныя разсужденія были дѣломъ не только новымъ, но весьма нужнымъ, потому что между ними было, безъ сомнѣнія, не мало людей, не разумѣвшихъ пользы и достоинства науки.

Рѣчи Ломоносова замѣчательны и въ чисто литературномъ отношеніи, какъ опытъ общедоступнаго изложенія серьезныхъ вопросовъ, остающагося однако на высотѣ науки. Надо предста-

вить себѣ указанный уровень тогдашней публики, чтобы оцѣнить, какъ были тогда новы мысли Ломоносова и какъ была мужественна защита достоинства науки: онъ снисходитъ къ понятіямъ слушателей, но и требуетъ отъ нихъ великаго почтенія къ трудамъ людей, соорудившихъ зданіе науки.

Въ началѣ „Слова о происхожденіи свѣта“ (1756) онъ говоритъ:

„Испытаніе натуры трудно, Слушатели, однако приятно, полезно, свято. Чѣмъ больше таинства ея разумъ постигаетъ, тѣмъ вящее увеселеніе чувствуетъ сердце. Чѣмъ далѣе раченіе наше въ оной простирается, тѣмъ обильнѣе собираемъ плоды для потребностей житейскихъ. Чѣмъ глубже до самыхъ причинъ толь чудныхъ дѣлъ провицаетъ разсужденіе, тѣмъ яснѣе показывается непостижимый всего бытія Строитель... Сіи безпрестанныя и молній несравненно быстрѣйшіе, но кроткіе и благопріятные вѣстники Творческаго о прочихъ тваряхъ промысла, освѣщая, согрѣвая и оживляя оныя, не токмо въ человѣческомъ разумѣ, но и въ безсловесныхъ, кажется, животныхъ возбуждаютъ нѣкоторое божественное воображеніе. Чтожъ о таковомъ безмѣрномъ Свѣта Океанѣ представлять себѣ тѣ должны, которые во внутреннее натуры святилище взираютъ любопытнымъ окомъ, и посредствомъ того же свѣта большую часть другихъ естественныхъ таинствъ усердствуютъ постигнуть? Свидѣтельствуютъ многочисленные ихъ сочиненія въ разныхъ народахъ, въ разные вѣки свѣту сообщенныя. Много препятствій неутомимые испытатели преодолѣли, и слѣдующихъ по себѣ труды облегчили: разгнали мрачныя тучи, и чистое небо далече проникли. Но какъ чувственное око прямо на солнце смотрѣть не можетъ, такъ и зрѣніе разсужденія притупляется, изслѣдуя причины происхожденія Свѣта и раздѣленія его на разные цвѣты. Чтожъ намъ, оставить ли надежду? Отступить ли отъ труда? Отдаться ли въ отчаяніе о успѣхахъ? Никакъ! развѣ явиться желаемъ нерадивымъ, и подвига толикихъ въ испытаніи натуры Героевъ недостойнымъ? Посмотримъ, коль великую громаду матеріи на сіе дѣло они собрали, или какъ о древнихъ сказываютъ исполинахъ, гору великую воздвигли, дерзая приближаться къ источнику толикаго сіянія, толикаго цвѣтовъ великолѣпія. Взойдемъ на высоту за ними безъ страха; наступимъ на сильныя ихъ плечи, и поднявшись выше всякаго мрака предупрежденныхъ мыслей, устремимъ, сколько возможно, остроумія и разсужденія очи, для испытанія причинъ произхожденія Свѣта“.

Въ „Словѣ о пользѣ химіи“ (1751) онъ говоритъ о великихъ приобрѣтеніяхъ, которыя доставила человѣку наука:

„Разсуждая о благополучіи житія человѣческаго, Слушатели, не нахожу того совершеніе, какъ ежели кто приятными и безпорочными трудами пользу приносить. Ничто на земли смертному выше и благороднѣе дано быть не можетъ, какъ упражненіе, въ которомъ красота и важность, отнимая чувствіе тягостнаго труда, нѣкоторою сладостью ободряетъ, которое, никого не оскорбляя, увеселяетъ неповинное сердце, и умножая другихъ удовольствіе, благодарностію оныхъ возбуждаетъ совершенную радость. Такое приятное, безпорочное и полезное упражненіе, гдѣ способіе, какъ въ ученіи, сыскать можно? Въ немъ открывается красота многообразныхъ вещей и удивительная различность дѣйствій и свойствъ, чуднымъ искусствомъ и порядкомъ отъ Всевышняго устроенныхъ и расположенныхъ. Имъ обогащающійся никого не обидитъ, за тѣмъ, что неизтощимое и всѣмъ обще подлежащее сокровище себѣ приобрѣтаетъ. Въ немъ труды свои полагающій не токмо себѣ, но и цѣлому обществу, а иногда и всему роду человѣческому пользою служить. Все сіе коль справедливо, и коль много ученіе остроуміемъ и трудами тщательныхъ людей блаженство житія нашего умножаетъ, ясно показываетъ состояніе Европейскихъ жителей, снесенное ¹⁾ со скитающимися въ степяхъ Американскихъ. Представте разность обоихъ въ мысляхъ вашихъ. Представте, что одинъ человѣкъ немногія нужнѣйшія въ жизни вещи всегда предъ нимъ обращающіяся, только назвать умѣетъ; другой не токмо всего, что земля, воздухъ и воды рождаютъ, не токмо всего, что искусство произвело чрезъ многіе вѣки, имена, свойства и достоинства языкомъ изъясняетъ; но и чувствамъ нашимъ отнюдь неподверженныя понятія ясно и живо словомъ изображаетъ. Одинъ выше числа перстовъ своихъ въ счетъ производит не умѣетъ; другой не только чрезъ величину тягость безъ вѣсу, чреаъ. тягость величину безъ мѣры познаваетъ, 'не токмо на земли непреступныхъ вещей разстояніе издалика показать можетъ; но и небесныхъ свѣтилъ ужасныя отдаленія, обширную огромность, быстротекущее движеніе и на всякое мгновеніе ока перемѣнное положеніе опредѣляетъ. Одинъ лѣтъ своей жизни, или краткаго вѣку дѣтей своихъ показать не знаетъ; другой не токмо прошедшихъ временъ многообразныя и почти безчисленныя приключенія къ натурѣ и въ обществахъ бывшія, по лѣтамъ и мѣсяцамъ располагаетъ: но и многія будущія точно предвозвѣщаетъ.

¹⁾ Снести — сравнить.

Одинъ думая, что за лѣсомъ, въ которомъ онъ родился, небо съ землею соединилось, страшнаго звѣря, или большое дерево за божество толь малаго своего міра почитаетъ; другой, представляя себѣ великое пространство, хитрое строеніе и красоту всея твари, съ нѣкоторымъ священнымъ ужасомъ и благоговѣнною любовію почитаетъ Создателю безконечную премудрость и силу... Не ясно ли видите, что одинъ почти выше смертныхъ жребія поставленъ, другой едва только отъ безсловесныхъ животныхъ разнится; одинъ яснаго познанія приятнымъ сіяніемъ увеселяется, другой въ мрачной ночи невѣжества едва бытіе свое видитъ? Толь великую приносятъ ученіе пользу, толь свѣтлыми лучами просвѣщаетъ человѣческій разумъ, толь приятно есть красоты его наслажденіе! Желалъ бы я васъ ввести въ великолѣпный храмъ сего человѣческаго благополучія; желалъ бы вамъ показать въ немъ подробно, проникаемъ остроумія и неусыпнымъ раченіемъ премудрыхъ и трудолюбивыхъ мужей изобрѣтенныя пресвѣтлыя украшенія; желалъ бы удивить васъ многообразными ихъ отмѣнами, увеселить восхищающимъ изрядствомъ и привлечь къ нимъ неоцѣненною пользою; но къ исполненію такого предпріятія требуется большее моего разумѣніе, большее моего краснорѣчіе, большее время потребно, нежели къ совершенію сего намѣренія позволяется. Того ради прошу, послѣдуйте за мною мыслями вашими въ единъ токмо внутренній чертогъ сего великаго зданія“, — ту область „сокровищъ богатыя натуры“, которую изучаетъ химія.

Онъ указываетъ примѣры открытій, которыя совершаетъ химія, объясняетъ необходимость изученія природы, и затѣмъ мысль его обращается къ прямымъ пользамъ отечества. „Мнѣ кажется, я слышу, что пространная и изобильная Россія къ сынамъ своимъ вѣщаетъ: „Простирайте надежду и руки ваши въ мое нѣдро, и не мыслите, что исканіе ваше будетъ тщетно. Воздаютъ нивы мои многократно труды земледѣльцевъ, и тучныя поля мои размножаютъ стада ваши, и лѣса и воды мои наполнены животными для пищи вашей; все сіе не токмо довольствуется мои предѣлы, но и во внѣшнія страны избытокъ ихъ проливается; того ради можете ли помыслить, чтобы горы мои драгими сокровищами поту лица вашего не наградили. Имѣете въ краяхъ моихъ, къ теплой Индіи и къ ледовитому морю лежащихъ, довольные признаки подземнаго моего богатства. Для сообщенія нужныхъ вещей къ сему дѣлу, открываю вамъ лѣтомъ далеко протекающія рѣки, и гладкіе снѣги зимою подстилаю. Отъ сихъ трудовъ вашихъ ожидаю приращенія купечества и художествъ; ожидаю вѣщаго градовъ укра-

шенія и укрѣпленія, и умноженія войска; ожидаю и желаю видѣть пространныя моря мои покрыты многочисленнымъ и страшнымъ непріятелю флотомъ, а славу и силу моея державы разпростерть за великую пучину въ невѣдомыя народы“.

„Въ концѣ Слова Ломоносовъ предостерегаетъ слушателей, — „дабы кто не подумалъ, яко бы все человѣческой жизни благополучіе въ одномъ семъ ученіи состояло, и яко бы я съ нѣкоторыми неразсудными любителями одной своей должности съ презрѣніемъ взиралъ на прочія искусства. Имѣетъ каждая наука равное участіе въ блаженствѣ нашемъ“. Человѣческій родъ долженъ благодарить Всевышняго, который далъ ему „въ толѣкимъ знаніямъ способность“, и особливо Европа, „которая паче всѣхъ таковыми его дарами наслаждается, и тѣми отличается отъ протчихъ народовъ“.

„Но коль горячаго усердія жертву полагать на олтарь Его долженствуетъ Россія, что онъ въ самое тое время, когда науки послѣ мрачности Варварскихъ вѣковъ паки возсіяли, воздвигнулъ въ ней Премудраго Героя, Великаго Петра, истиннаго Отца отечеству.

„Которой удаленную отъ свѣтлости ученія Россію принялъ мужественною рукою; и окруженъ со всѣхъ сторонъ внутренними и внѣшними сопостатами, дарованною себѣ отъ Бога крѣпостію покрывался, разрушилъ всѣ препятствія, и на пути яснаго познанія оную поставилъ.

„И по окончаніи тяжкихъ трудовъ военныхъ, по укрѣпленіи со всѣхъ сторонъ безопасности цѣлаго отечества, первое имѣлъ о томъ попеченіе, чтобы основать, утвердить и размпожить въ немъ науки.

„Блаженны тѣ очи, которые божественнаго сего Мужа на земли видѣли!

„Блаженны и треблаженны тѣ, которые потъ и кровь свою съ Нимъ за Него и за отечество проливали, и которыхъ Онъ за вѣрную службу въ главу и въ очи цѣловалъ помазанными Своими устами“.

Вотъ источникъ его поклоненія Петру.

О Петрѣ онъ вспоминаетъ и въ слѣдующей академической рѣчи, въ „Словѣ о явленіяхъ воздушныхъ, отъ электрической силы происходящихъ“ (1753). Это Слово написано имъ послѣ извѣстнаго событія, которое глубоко опечалило его самого и которое въ толпѣ общества возбудило крайнее недовѣріе къ наукѣ, даже прямое осужденіе ея—послѣ смерти профессора Рихмана, убитаго молніей во время наблюденія явленій грозы. „У древ-

нихъ стихотворцевъ обычай былъ; Слушатели,—говорилъ Ломоносовъ,—что отъ призванія боговъ, или отъ похвалы между богами вмѣщенныхъ героевъ стихи свои начинали, дабы слогу своему приобрѣсти больше красоты и силы; сему я послѣдовать въ начинаніи нынѣшняго моего слова разсудилъ за благо, приступая къ предложенію матеріи, которая не токмо сама собою многотрудна, и неизчетными преткновеніями превязана; но сверхъ того скоропостижнымъ пораженіемъ трудолюбиваго раченія нашихъ Сообщника много прежняго ужаснѣе казаться можетъ. Къ очищенію онаго мрака, которой, какъ думаю, смутнымъ симъ рокомъ внесенъ въ мысли ваши, большую плодovitость остроумія, тончайшее проицаніе разсужденія, изобильнѣйшее богатство слова имѣть я долженъ, нежели вы отъ меня чаять можете. И такъ, дабы слову моему приобрѣтена была важность и сила, и взошло бы любезное сіяніе, къ изведенію изъ помраченія прежняго достоинства предлагаемой вещи; упоотребляю имя Героя, котораго едино возпомянаніе во всѣхъ народахъ и языкахъ вниманіе и благоговѣніе возбуждаетъ“. Воспомянаніе о Петрѣ должно было замѣнить древнія призванія боговъ и восхваленія героевъ; чтобы въ то же время „извести изъ помраченія прежнее достоинство“ того предмета, о которомъ онъ хотѣлъ говорить, т.-е. электричество. Онъ воспоминаетъ великія дѣла Петра для пользы государства, для возрожденія отечества, для исправленія нравовъ, а такъ какъ всего этого невозможно приобрѣсти „безъ вспоможенія наукъ“, то Петръ въ особенности покровительствовалъ наукамъ. „Того ради не токмо людей всякими науками и художествами знатныхъ превеликими награжденіями и ласковымъ и безопаснымъ въ Россію пріятіемъ изъ дальнихъ земель призвалъ; не токмо во всѣ Европейскія государства и города, академіями, гимназіями, военными училищами и художниковъ искусствомъ славныя, избранныхъ юношей пчеламъ подобное множество разсыпалъ, но и Самъ всѣхъ общій примѣръ и предводитель, паче обыкновенія другихъ государей, не однократно удаляясь изъ отечества въ Германіи, Франціи, Англіи и Голландіи, пылая снисканіемъ знаній, странствовалъ. Въ оныхъ путешествіяхъ было бы какое ученыхъ людей общество, которое бы Онъ миновалъ и не почтилъ Своимъ присутствіемъ? Никакъ! Но Самъ въ число ихъ вписанъ быть не отказался. Было ли гдѣ великолѣпное узорочныхъ вещей собраніе, или изобильная библіотека, или почтенныхъ художествъ произведеніе, которыхъ бы онъ не видѣлъ, и всего взору Своего достойнаго не выпросилъ и не высмотрѣлъ? Былъ ли тогда человѣкъ ученія славою знат-

ной, котораго бы великій сей гость не посѣтилъ, и насладясь его ученымъ разговоромъ, благодареніемъ не украсилъ? Коль великія употребилъ изживенія на приобрѣтеніе вещей драгоцѣнныхъ, многообразною натуры и художества хитростію произведенныхъ, которыя къ разпространенію наукъ въ отечествѣ удобны быть казались! Какія общалъ воздаянія, ежели кто великое что или новое въ изслѣдованіи натуры либо искусства знаніе за собою сказывалъ, или изобрѣсти общался! Всего сего хотя не мало очевидныхъ свидѣтелей здѣсь присутствующихъ видимъ; но сверхъ оныхъ то же свидѣлствуютъ многія машины, неутомимою рукою Августѣйшаго художника устроенныя. Свидѣлствуютъ великіе корабли, твердыя крѣпости и пристани, которыхъ начертаніе и строеніе его начинаніемъ и предводительствомъ скоро и безопасно учинились. Свидѣлствуютъ военныя и гражданскія училища Его попеченіемъ учрежденныя. Свидѣтель есть сія наукъ Академія толь многими тысящами книгъ, толикимъ множествомъ естественныхъ и художественныхъ чудесъ снабдѣнная, и призваніемъ славныхъ во всякаго рода ученіи мужей основанная. Наконецъ свидѣлствуютъ и самыя оныя орудія, къ произведенію разныхъ математическихъ дѣйствій удобныя, слѣдовавшія Ему во всѣхъ Его путешествіяхъ“...

Показавши исторически на примѣръ Петра „пространное употребленіе наукъ“ въ добромъ управленіи государства, Ломоносовъ объясняетъ, что „оныхъ людей, которые бѣдственными трудами, или паче исполнскою смѣлостію тайны естественныя испытать тщатся, не надлежитъ почитать продерзкими, но мужественными и великодушными, ниже оставлять изслѣдованія натуры, хотя они скоропостижнымъ рокомъ живота лишились“. Такъ ученыхъ людей не устрасилъ Плиній, погребенный въ горячемъ пеплѣ огнедышущаго Везувія, и каждый день любопытныя очи смотрять въ глубокую и ядъ отрыгающую пропасть; онъ не думаетъ, чтобы устрасила ихъ и смерть Рихмана, и напротивъ, онъ увѣренъ, что ученые съ должной осторожностію положить всѣ старанія къ тому, чтобы открыть, „кимъ образомъ здравіе человѣческое отъ оныхъ смертоносныхъ ударовъ могло быть покрыто“.

Изложивши затѣмъ теорію электричества, онъ хочетъ искать способовъ къ избавленію отъ смертоносныхъ громовыхъ ударовъ. Здѣсь передъ нимъ опять было суевѣрное предубѣжденіе, которое нужно было опровергнуть, и Ломоносовъ защищаетъ права науки. „Симъ предпріятіемъ,—говоритъ онъ,—не уповаю, Слушатели, чтобы въ васъ негодованіе или боязнь нѣкоторая роди-

лась. Ибо вы вѣдаете, что Богъ далъ и дикимъ звѣрамъ чувство и силу къ своему защищенію; человѣку сверхъ того прозорливое разсужденіе къ предвидѣнію и отвращенію всего того, что жизнь его вредить можетъ. Не однѣ молніи изъ нѣдра преизобилующія природы на оную устремляются, но и многія иныя: повѣтрія, наводненія, трясенія земли, бури, которыя не меньше насъ повреждаютъ, не меньше устрашаютъ. И когда лѣкарствами отъ моровой язвы, плотинами отъ наводненій, крѣпкими основаніями отъ трясенія земли и отъ бурь обороняемся, и при томъ не думаемъ, якобы мы продерзостнымъ усилованіемъ гнѣву Божию противились; того ради какую можемъ мы видѣть причину, которая бы намъ избавляться отъ громовыхъ ударовъ запрещала? Почитаютъ ли тѣхъ продерзкими и нечестивыми, которые ради презрѣннаго прибытка неизмѣримыя и бурями свирѣпствующія моря переѣзжаютъ, зная, что имъ то же удобно привлечься можетъ, что прежде ихъ многіе, или еще и родители ихъ претерпѣли? Никоею мѣрою; но похваляются, и еще сверхъ того, всенароднымъ моленіемъ къ покровительство Божіе препоручаются. По сему должно ли тѣхъ почитать дерзостными и богопротивными, которые для общей безопасности, къ прославленію Божія величества и премудрости, величія дѣла его въ натурѣ молніи и грома слѣдуютъ? Нивакъ; мнѣ кажется, что они еще особливо его щедротою пользуются, получая пребогатое за труды свои издовожданіе, то есть, толь великихъ естественныхъ чудесъ откровеніе. Отворено видимъ его святилище по открытіи Электрическихъ дѣйствій въ воздухѣ и мановеніемъ природы во внутренніе входы призываемся. Еще ли стоять будемъ у порога, и прекословіемъ неосновательнаго предувѣренія удержимся? Никоею мѣрою; но напротивъ того сколько намъ дано и позволено, далѣ простираться не престанемъ, осматривая все, къ чему умное ¹⁾ око проникнуть можетъ“.

Эта защита науки противъ суевѣровъ и невѣждъ, считавшихъ ее противною вѣрѣ, постоянно занимала Ломоносова, и занимала справедливо, потому что предубѣжденіе и вражда распространены были не только въ невѣжественной массѣ, для которой физическая наука была какимъ-то покушеніемъ открывать вещи, закрытыя отъ людей самимъ Богомъ, но и въ кругу, который считался образованнымъ: многіе дѣйствительно съ злорадствомъ говорили о смерти Рихмана, какъ справедливой карѣ за такое покушеніе. Ломоносовъ долженъ былъ нерѣдко слышать

¹⁾ Умственное.

вокругъ себя подобные отзывы, которые могли грозить самому существованію науки. Онъ не оставлялъ ихъ безъ отпора и опять возвратился къ этому предмету въ статьѣ: „Явленіе Венеры на солнцѣ“ (1761). Описаніе ученаго наблюденія не могло обойтись безъ объясненія того, что эти наблюденія не представляютъ ничего богопротивнаго.

„Сіе рѣдко случающееся явленіе,—говоритъ Ломоносовъ,—требуеть двоякаго объясненія. Первымъ должно отводить отъ людей, не просвѣщенныхъ никакимъ ученіемъ, всякія неосновательныя сомнительства и страхи, кои бывають иногда причиною нарушенія общему покою. Не рѣдко легковѣріемъ наполненныя головы слушаютъ, и съ ужасомъ внимають, что при таковыхъ небесныхъ явленіяхъ пророчествуютъ бродящія по міру богадѣленки, кои не тогмо во весь свой долгій вѣкъ о имени Астрономіи не слыхали, да и на небо едва взглянуть могутъ, ходя сугорбась. Таковыхъ несмысленныхъ прорекательницъ и легковѣрныхъ внимателей скудоуміе, ни чѣмъ какъ посмѣяніемъ презирать должно. А кто отъ такихъ пугалищъ безпокоится, безпокойство его должно зачитать емужъ въ наказаніе, за собственное его суемысліе. Но сіе больше касается до простонародія, которое о наукахъ никакова понятія не имѣетъ. Крестьянинъ смѣется Астроному, какъ пустому верьхогляду. Астрономъ чувствуетъ внутреннее увеселеніе, представляя въ умѣ, коль много знаніемъ своимъ превышаетъ человѣка себѣ подобно сотвореннаго.

„Второе изъясненіе простирается до людей грамотныхъ, до чтецовъ писанія и ревнителей къ православію, кое святое дѣло само собою похвально, естли бы иногда не препятствовало излишествомъ высокихъ наукъ приращенію“.

Онъ говоритъ, что, читая здѣсь объ атмосферѣ около планеты Венеры, изъ существованія которой можно заключить, что тамъ могутъ быть такія же явленія природы и жизни, какъ на землѣ, иной сдѣлаетъ выводъ: „сіе де подобно Коперниковой системѣ; противно де закону“.

„Отъ таковыхъ размышленій,—продолжаетъ Ломоносовъ,—произходитъ подобной споръ о движеніи и о стояніи земли. Богословы западныхъ церкви принимаютъ слова Іисуса Навина, глава 10, стихъ 21, въ точномъ грамматическомъ разумѣ, и по тому хотять доказать, что земля стоитъ“.

Указаніе на западныхъ богослововъ сдѣлано повидимому для облегченія полемики, потому что и наши тогдашніе, да и позднѣйшіе, богословы говорили то же. Ломоносовъ поднимаетъ во-

прось по существу и приводить соображенія, какихъ никогда раньше не было сдѣлано въ русской литературѣ.

„Но сей споръ,—говоритъ онъ,—имѣетъ начало свое отъ идолопоклонническихъ, а не отъ христіанскихъ учителей. Древніе Астрономы, еще за долго до Рождества Христова, Никита Сиракузянецъ призналъ дневное земли около своей оси обращеніе; Филолай годовое около солнца. Сто лѣтъ послѣ того Аристархъ Самійскій показалъ солнечную систему ясяѣ. Однако Еллинскіе Жрецы и суевѣры тому противились, и правду на много вѣковъ погасили. Первый Клеантъ пѣто доносилъ на Аристарха, что онъ по своей системѣ о движеніи земли дерзнулъ подвинуть съ мѣста великую Богиню Весту, всея земли содержательницу; дерзнулъ безпрестанно вертѣть Нептуна, Плутона, Цереру, всѣхъ Нимфъ, Боговъ лѣсныхъ и домашнихъ по всей земли. И такъ идолопоклонническое суевѣріе держало Астрономическую землю въ своихъ челюстяхъ, не давая ей двигаться; хотя она сама свое дѣло и Божіе повелѣніе всегда исполняла. Между тѣмъ Астрономы принуждены были выдумать для изъясненія небесныхъ явленій глупые и съ Механикою и Геометріею прекословящіе пути планетамъ, Циклы и Епициклы (круги и побочные круги).

„Коперникъ возобновилъ наконецъ солнечную систему, коя имя его нынѣ носить; показалъ преславное употребленіе ея въ Астрономіи, которое послѣ Кеплеръ, Невтонъ и другіе великіе Маѳематики и Астрономы довели до такой точности, какую нынѣ видимъ въ предсказаніи небесныхъ явленій, чего по земностоятельной системѣ отнюдь достигнуть не возможно“.

Онъ указываетъ, что если премудрость божіихъ дѣлъ явствуетъ изъ размышленія о всѣхъ тваряхъ, то въ особенности указываютъ на нее физическое ученіе, а всего больше астрономія: эта премудрость тѣмъ очевиднѣе, чѣмъ точнѣе наблюденія совпадаютъ съ нашими предсказаніями.

„Священное писаніе,—говоритъ Ломоносовъ,—не должно вездѣ разумѣть Грамматическимъ, но не рѣдко и Риторскимъ разумомъ. Примѣръ подаетъ святой Василій Великій, какъ оно съ натурою согласуетъ, и въ бесѣдахъ своихъ на Шестодневникъ ясно показываетъ, какимъ образомъ въ подобныхъ мѣстахъ Библейскія слова толковать должно“. Ломоносовъ приводитъ подлинныя слова Васиція Великаго и заключаетъ: „Не довольно ли здѣсь Великій и Святой сей мужъ показалъ, что изъясненіе священныхъ книгъ не токмо позволено, да еще и нужно, гдѣ ради метафорическихъ выраженій съ натурою кажется быть не сходственно“.

„Правда и вѣра,—говоритъ дальше Ломоносовъ,—суть двѣ сестры родныя, дщери одного Всевышняго Родителя, никогда между собою въ разпрю придти не могутъ, развѣ кто изъ нѣкотораго тщеславія и показанія своего мудрованія на нихъ вражду всклеплетъ. А благоразумные и добрые люди должны разсматривать, нѣтъ ли какова способа къ объясненію и отвращенію мнимаго между ними междоусобія, какъ учинилъ вышереченный премудрый учитель нашея православныя церкви“. Онъ приводитъ въ подтвержденіе этому и слова Дамаскина, „глубокомысленнаго богослова и высокаго священнаго стихотворца“, и продолжаетъ:

„Создатель далъ роду человѣческому двѣ книги. Въ одной показалъ свое величество, въ другой свою волю. Первая—видимый сей міръ, имъ созданный, чтобы человѣкъ смотря на огромность, красоту и стройность его зданій, призналъ Божественное всемогущество, по мѣрѣ себѣ дарованнаго понятія. Вторая книга—священное писаніе. Въ ней показано Создателяво благословеніе къ нашему спасенію. Въ сихъ пророческихъ и апостольскихъ богодухновенныхъ книгахъ истолкователи и изъяснители суть великіе церковные учителя. А въ иной книгѣ сложенія видимаго міра сего, Физики, Математики, Астрономы и прочіе изъяснители божественныхъ въ натуру вліянныхъ дѣйствій суть таковы, каковы въ оной книгѣ Пророки, Апостолы и церковные учителя. Не здраво разсудителенъ Математикъ, ежели онъ хочетъ Божескую волю вымѣрять циркуломъ. Таковъ же и Богословіи учитель, есть ли онъ думаетъ, что по Псалтырѣ научиться можно Астрономіи и Химіи“.

Эта мужественная защита науки является одной изъ важнѣйшихъ заслугъ Ломоносова. Онъ дѣйствовалъ въ обществѣ, почти не слыхавшемъ объ истинной наукѣ, понимавшемъ ее развѣ только въ наглядныхъ практическихъ приложеніяхъ—и въ сущности ей враждебномъ, когда открывалось ея самостоятельное значеніе, какъ свободнаго изслѣдованія. Быть можетъ, послѣдующія колебанія, какимъ подвергалось у насъ дѣло науки, могли бы быть до значительной степени устранены, если бы у преемниковъ Ломоносова нашлось столько же ревности и мужества. Ломоносовъ признаетъ науку за единое созданіе человѣческой мысли, какъ результатъ общаго труда образованныхъ народовъ, и русскую науку ставить въ прямую связь и преемство съ наукой европейской. Любопытно въ этомъ отношеніи предисловіе, какое онъ присоединилъ къ переведенной имъ „Вольфіанской экспериментальной физикѣ“ (1746), гдѣ онъ указалъ развитіе европейской науки съ эпохи Возрожденія, послѣ тѣхъ

среднихъ вѣковъ, которые онъ представлялъ вѣками варварства.

„Мы живемъ въ такое время,—говорить Ломоносовъ,—въ которое науки послѣ своего возобновленія въ Европѣ возрастаютъ и къ совершенству приходятъ. Варварскіе вѣки, въ которые купно съ общимъ покоемъ рода человѣческаго и науки нарушились и почти совсѣмъ уничтожены были, уже прежде двухъ сотъ лѣтъ окончились. Сіи наставляющія насъ къ благополучію предводительницы, а особливо философія, не меньше отъ слѣпаго прилѣпленія ко мнѣніямъ славнаго человѣка, нежели отъ тогдашнихъ неспокойствъ претерпѣли. Всѣ, которые въ оной упражнялись, одному Аристотелю послѣдовали, и его мнѣнія за неложныя почитали. Я не презираю сего славнаго и въ свое время отмѣнитаго отъ другихъ философа, но тѣмъ не безъ сожалѣнія удивляюсь, которые про смертнаго человѣка думали, будто бы онъ въ своихъ мнѣніяхъ не имѣлъ никакого погрѣшенія, что было главнымъ препятствіемъ къ приращенію философіи и прочихъ наукъ, которыя отъ ней много зависятъ. Черезъ сіе отнято было благородное рвеніе, чтобы въ наукахъ упражняющіеся одинъ передъ другимъ старались о новыхъ и полезныхъ изобрѣтеніяхъ. Славный и первый изъ новыхъ философовъ, Картезий, осмѣлился Аристотелеву философію опровергнуть, и учить по своему мнѣнію и вымыслу. Мы, кромѣ другихъ его заслугъ, особливо за то благодарны, что тѣмъ ученыхъ людей ободрилъ противъ Аристотеля, противъ себя самого и противъ прочихъ философовъ въ правдѣ спорить, и тѣмъ самымъ открылъ дорогу къ вольному философствованію и къ вящему наукъ приращенію. На сіе взирая, коль много новыхъ изобрѣтеній искусные мужи въ Европѣ показали, и полезныхъ книгъ сочинили! Лейбницъ, Кларкъ, Локъ, премудрые рода человѣческаго учителя, предположеніемъ правилъ разсужденія и правы управляющихъ, Платона и Сократа превысили. Малпигій, Боилъ, Герикъ, Чирнгаузенъ, Штурмъ и другіе, которые въ сей книжицѣ упоминаются, любопытнымъ и рачительнымъ изслѣдованіемъ нечаянныя въ натурѣ дѣйствія открыли, и тѣмъ свѣтъ привели въ удивленіе. Едва понятно, коль великое приращеніе въ астрономіи, неусыпными наблюденіями и глубокомысленными разсужденіями, Кеплеръ, Галилей, Гугеній, де-ла-Гиръ и великій Невтонъ въ краткое время учинили... Словомъ, въ новѣйшія времена науки столько возрасли, что не токмо за тысячу, но и за сто лѣтъ жившіе едва могли того надѣяться. Сіе больше отъ того происходитъ, что нынѣ ученые люди, а особливо испытатели натуральныхъ вещей, мало

взирають на родившіеся въ одной головѣ вымыслы и пустягъ рѣчи, но больше утверждаютъ на достовѣрномъ искусствѣ“...

Всѣ эти мысли о достоинствѣ и необходимости науки, защита ея противъ неразумія и невѣжества, въ высокой степени важны именно тѣмъ, что онѣ въ первый разъ были сказаны на русскомъ языкѣ. Въ дѣйствительности, и въ его время, и долго потомъ, и даже до нашего времени въ русскомъ обществѣ не обезпечено достоинство науки и не имѣть полноправности это „свободное философствованіе“; но самое понятіе, продуманное русскимъ умомъ и высказанное въ литературѣ, составляетъ историческій фактъ высокаго значенія: этимъ былъ ознаменованъ переходъ къ новому міровоззрѣнію.

Ломоносовъ былъ умъ первостепенной силы; потому онъ и могъ возымѣть эти мысли, вполнѣ отвѣчавшія тогдашнему состоянію науки. Біографы спорили о томъ, насколько самостоятельно онъ принялъ философскіе взгляды своего марбургскаго учителя; но важно то, что Ломоносовъ зналъ всѣ основныя ученія тогдашней натуральной философій; онъ окружалъ высокимъ почтеніемъ имена Декарта, Ньютона, Гассенди, Гугенія (Гюенса, по Аврамову) и т. д., и стоялъ на уровнѣ тогдашняго „свободнаго философствованія“. Естественно ожидать, что эта высота мысли не будетъ понята въ обществѣ половины прошлаго столѣтія; и дѣйствительно, хотя въ то время уже цѣнили Ломоносова по ученой славѣ, признанной и европейскими авторитетами, но это было не сознательное пониманіе его труда, а только инстинктивное почтеніе наивнаго невѣжества къ мудреному знанію, уваженіе, немного похожее на то, какимъ въ средніе вѣка окружали алхимиковъ или простой народъ — знахарей и колдуновъ ¹⁾. Съ другой стороны, не только въ то время, но и долго послѣ въ Ломоносовѣ гораздо больше цѣнили не ученаго, полагавшаго основаніе цѣлаго научнаго міровоззрѣнія, а стихотворца, автора торжественныхъ одъ, которые были событіемъ въ свое

¹⁾ Въ 1865 году, одинъ почитатель памяти Ломоносова желалъ собрать на его родинѣ, въ селеніи Матигорахъ, преданія, какія могли сохраниться о немъ среди проживавшихъ еще потомковъ его рода; но мѣстные жители, „къ сожалѣнію, не только не сообщили никакихъ свѣдѣній о Ломоносовѣ, но даже не могли себѣ дать отчета, что онъ былъ за человекъ, чѣмъ занимался и чѣмъ прославился; знаютъ только то, что онъ изъ крестьянина сдѣлался большимъ баринѣмъ. Впрочемъ, нѣкоторые изъ присутствовавшихъ заподозрили его въ колдовствѣ: говорили, что онъ, какъ и всѣ колдуны, разводилъ тучи. Однажды, когда надъ Петербургомъ нависла грозная туча, императрица Екатерина II приказала Ломоносову отвести эту тучу. Ломоносовъ долго отказывался, что это-де не по силамъ его; наконецъ послушался. Какъ только сталъ отводить тучу, разразилась гроза и убила его“. Пекарскій, II, стр. 890, изъ Архангельскихъ губ. Вѣд. 1868.

время и остались предметомъ восхищенія для потомства, до Мерзлякова включительно.

Въ самомъ дѣлѣ, въ свое время оды Ломоносова были событіемъ. Новѣйшія изслѣдованія утверждаютъ, что извѣстный разсказъ о необыкновенномъ впечатлѣніи, какое произвела ода „На взятіе Хотина“, присланная Ломоносовымъ изъ-за границы, былъ легендой; но легенда отвѣчала если не факту, то позднѣйшему взгляду на писателя. О „лирѣ“ Ломоносова современники имѣли весьма высокое представленіе. Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія всѣ дѣйствующіе писатели были на лицо; ихъ было немного, въ сущности всего трое. Нечего говорить, что Ломоносовъ не могъ быть сравниваемъ съ Тредьяковскимъ: Сумароковъ, сначала бывшій въ мирныхъ отношеніяхъ съ Ломоносовымъ, но подъ конецъ страшно съ нимъ враждовавшій, признавалъ, однако, что Ломоносовъ такъ далекъ отъ Тредьяковского, какъ „небо отъ ада“, но Ломоносовъ несомнѣнно превъшалъ и самого русскаго Вольтера, и хотя послѣдній также имѣлъ горячихъ поклонниковъ, и въ своихъ твореніяхъ былъ гораздо разнообразнѣе Ломоносова и доступнѣе для толпы, по вообще вѣроятно и тогда Ломоносовъ ставился большинствомъ выше его, и именно въ литературномъ отношеніи. Это было довольно понятно: научный трудъ Ломоносова былъ слишкомъ серьезенъ, литературнаго интереса искали въ его одахъ, и въ нихъ при общемъ реторическомъ тонѣ чувствовалась глубина и сила мысли. Позднѣйшая художественная критика усомнилась въ поэтическомъ дарованіи Ломоносова и находила у него не только избытокъ реторики, но и избытокъ лести, когда онъ безразлично воспѣвалъ и Анну Ивановну, и принцессу Анну, и затѣмъ подъ радъ Ивана Антоновича, Елизавету, Петра III и Екатерину; даже съ огорченіемъ упрекала его за прямое восхваленіе рабства ¹⁾.

Для правильнаго сужденія о поэтическихъ произведеніяхъ

¹⁾ Напр., въ надписи для иллюминаціи въ день восшествія на престолъ императрицы Елизаветы (1747):

„Пусть мнимая другихъ свобода угнѣтаетъ,
Нашъ рабство подъ Твоей державой возвышаетъ“.

Объ этомъ послѣднемъ Пекарскій замѣчалъ, однако, что авторство этихъ стиховъ можетъ не принадлежать Ломоносову, такъ какъ въ царствованіе Елизаветы обыкновеннымъ поставщикомъ подобныхъ надписей бывалъ Штелинь, и Ломоносовъ обязывался только передавать его произведенія въ русскіе стихи. Исторія Академіи наукъ, II, стр. 374—375. Хотя нѣмецкій подлинникъ надписи пока не отыскался, но Сухомятиновъ считалъ предположеніе Пекарскаго очень вѣроятнымъ, потому что надпись Ломоносова находится въ несомнѣнной связи съ проектомъ иллюминаціи и съ объясненіями къ нему, а проектъ и объясненія принадлежатъ нѣмцу-академику Христіану Крузіусу (академич. изданіе, I, прилѣжанія, стр. 286—287).

Ломоносова, ихъ содержаніи и манерѣ, необходимо дать себѣ отчетъ въ свойствахъ его дарованія, въ условіяхъ времени. Онъ не былъ поэтомъ въ обычномъ смыслѣ слова; не былъ лирикомъ личнаго чувства, не былъ поэтомъ, который представляетъ въ живыхъ образахъ общество своего времени, у него не было къ тому ни влеченія, ни достаточной силы фантазіи—и литературѣ нужно было еще много опыта, чтобы достигнуть этой формы творчества; но онъ несомнѣнно былъ поэтомъ въ томъ дидактическомъ стилѣ, который былъ такъ распространенъ во всей литературѣ XVIII-го вѣка, поэтъ рефлексіи и поученія. И въ этой области былъ только извѣстный разрядъ предметовъ, которые волновали его поэтическое чувство: картины великихъ явленій природы, великія дѣла и задачи науки, славныя событія современной исторіи отечества и здѣсь превыше всего дѣянія Петра Великаго, наконецъ стремленія и мечты о славномъ процвѣтаніи отечества въ будущемъ. Когда въ его одахъ рѣчь касалась этихъ любимыхъ темъ, у него являлось истинное одушевленіе и оно высказывалось сильнымъ и выразительнымъ языкомъ, которымъ онъ предварилъ Державина. Не будемъ приводить примѣровъ, которые достаточно извѣстны даже изъ хрестоматій. Нѣтъ спора, что здѣсь имѣетъ большую долю реторика, но это была общая манера вѣка. По всѣмъ условіямъ времени ода явилась въ той формѣ, которая прежде всего могла найти мѣсто въ литературѣ и какъ продолженіе той служебной роли, какую заняла новая литература со временъ Симеона Полоцкаго, и какъ результатъ новаго подражанія иностраннымъ образцамъ, гдѣ она также была сильно распространена, наконецъ какъ форма наиболѣе доступная младенческому обществу. Крайности были замѣчаемы уже современниками и, напримѣръ, Сумароковъ въ его „вздорныхъ одахъ“ довольно удачно пародировалъ многіе напыщенные обороты Ломоносова (хотя самъ дѣлалъ тоже); но Ломоносовъ вѣроятно не чувствовалъ этой крайности: его фантазія требовала образовъ грандіозныхъ ¹⁾. Что касается упрека, что его лира была слишкомъ податлива на восхваленія, это опять черта вѣка, которая не можетъ быть отнесена только къ его личному вкусу и вы-

¹⁾ Любопытно, что самое слово „высокопарный“ (т.-е. высоко парящій) въ употребленіи Ломоносова не имѣетъ своего нынѣшняго значенія, въ смыслѣ излишества, а значитъ только: важный, возвышенный.

Есть конечно излишества, какъ напримѣръ въ „Петриадѣ“, гдѣ Ломоносовъ ввелъ псевдо-классическую мифологію и между прочимъ помѣстилъ Нептуна на днѣ Бѣлаго моря. „Понятно,—замѣчаетъ Вѣлискій (VIII, 108),—почему Ломоносовъ не кончилъ своей дикой, напыщенной поэмы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго *tour de force* воображенія, поднятаго на дыбы“.

бору: во-первыхъ, оды часто прямо бывали исполненіемъ officialнаго порученія, а во-вторыхъ, Ломоносовъ былъ безусловный патріотъ, для котораго данная власть была предметомъ почтенія, и въ ней направлялись его надежды для отечества. Мы упоминали, какъ этотъ патріотизмъ приводилъ его къ поступкамъ не только грубымъ, но и несправедливымъ, когда онъ вступался за честь и пользу Россіи, которымъ, по его мнѣнію, наносили ущербъ его противники изъ нѣмецкихъ академиковъ; онъ съ гордостію указывалъ имъ, что онъ — „природный русскій“; во всѣхъ своихъ академическихъ планахъ онъ настаивалъ на томъ, чтобы содѣйствовать процвѣтанію „Петрова насажденія“; въ замѣткахъ, которыя только въ недавнее время извлечены изъ его бумагъ, остался слѣдъ его постоянныхъ размышлений о томъ, какъ должны науки содѣйствовать пользамъ русскаго государства и т. д., — понятно, что въ одѣ, гдѣ онъ обращался и къ лицамъ, окружающимъ престолъ, и къ массѣ читателей, тѣ же мысли должны были высказываться у него тѣмъ съ большимъ жаромъ и получать иной разъ преувеличенное выраженіе. Его оды ни въ какомъ случаѣ не были пустою лестію; иногда это были или прямыя указанія на то, что нужно для Россіи, или напоминанія о Петрѣ, въ которомъ онъ неизмѣнно указывалъ идеалъ и образецъ.

Не однажды Ломоносовъ обращался въ своихъ стихотворныхъ проваведеніяхъ къ шуткѣ и эпиграммѣ. Таковъ въ особенности извѣстный „Гимнъ бородѣ“ (1757), въ которомъ сказалась нетерпѣливая вражда къ обскурантизму. Борода была однако не только раскольниковъ, и Ломоносовъ вызвалъ противъ себя ожесточенныя нападенія, при чемъ Тредьяковскій считалъ полезнымъ подобныхъ авторовъ сожигать „въ трубахъ“, какъ это практиковалось въ старину, а синодъ подалъ на Ломоносова особенную жалобу на высочайшее имя, которая впрочемъ оставлена была безъ послѣдствій ¹⁾.

Какъ другіе начинатели новой русской литературы, такъ и Ломоносовъ считалъ нужнымъ трудиться въ самыхъ разнообразныхъ формахъ поэзіи. Кромѣ разнаго рода опытовъ риторической лирики, онъ оставилъ неоконченный эпосъ „Петріаду“; по заказу имп. Елизаветы писалъ трагедіи; наконецъ хотѣлъ быть теоретикомъ языка и словесности, и историкомъ. Въ русской историографіи онъ не оставилъ серьезнаго труда: отъ него, какъ отъ славнаго ученаго, желали имѣть книгу по русской исторіи.

¹⁾ Текстъ гимна, варианты и объясненія къ нему въ академическомъ изданіи, II, стр. 137—140, и примѣч., стр. 157—182.

которая нужна была и какъ цѣльное изложеніе, котораго не было, и вмѣстѣ, вѣроятно, какъ историческій панегирикъ; самъ Ломоносовъ, какъ видно изъ его полемики противъ Миллера, думалъ, что исторія должна быть повѣствованіемъ славныхъ дѣлъ российскихъ государей, служить въ возвышенію российскаго народа и должна избѣгать событій, изложеніе которыхъ могло бы вести въ умаленію этой славы. Такимъ образомъ это не было критически-научное отношеніе къ предмету, какое, однако, было и въ ту минуту необходимо, потому что только этимъ путемъ возможно было установить самые факты. Ломоносовъ и въ этомъ трудѣ руководился тѣми же мыслями, какія владѣли имъ всегда, одушевляли его и въ ученыхъ изысканіяхъ, и въ академическихъ рѣчахъ, и въ торжественныхъ одахъ—желаніемъ служить пользѣ и возвеличенію отечества. Впрочемъ, книга Ломоносова обнимаетъ только древнѣйшіе вѣка русской исторіи.

Гораздо важнѣе были его труды по русскому языку, какъ теоретическіе—въ его работахъ по грамматикѣ и риторикѣ, такъ и практическіе—въ языкѣ его произведеній. Его филологическія сочиненія были не однажды подробно разбираемы. Ломоносовъ еще близко примыкаетъ къ своимъ предшественникамъ, даже къ Мелетію Смотрицкому, но онъ съ одной стороны знакомъ съ постановкой грамматическаго вопроса въ новыхъ „всеобщихъ грамматикахъ“, а съ другой, живое чувство языка и точныя детальныя изслѣдованія указываютъ ему много такихъ сторонъ книжной и народной рѣчи, которыя не были замѣчаемы его предшественниками. Какъ вообще ученія предпріятія его остались далеко недовершенными, такъ въ особенности надо сожалѣть, что не были довершены его работы по языку. Изъ его бумагъ гораздо больше, чѣмъ изъ напечатанной грамматики, можно видѣть широту намѣченныхъ имъ плановъ, которые для своего времени были по-истинѣ замѣчательны. Любопытно въ самомъ дѣлѣ, что путемъ сравненія словъ онъ уже приходитъ къ заключенію, что языки русскій, греческій, латинскій и нѣмецкій „сродственны“ между собою; но „въ значительную долготу времени“ языки измѣняются, и чѣмъ давнѣе одинъ языкъ отдѣляется отъ другого, тѣмъ разница между ними больше. Отъ славянскаго корня произошли, по его словамъ: русскій, польскій, болгарскій, сербскій, чешскій, словацкій, вендскій; и онъ угадывалъ дѣленіе славянскихъ нарѣчій на двѣ ихъ главныя вѣтви. Вообще онъ догадывался, что языкъ развивается по извѣстнымъ законамъ: „какъ всѣ вещи отъ начала въ маломъ количествѣ начинаютъ и потомъ присовокупленіями возростають, такъ и слово

человѣческое, по мѣрѣ извѣстныхъ человѣку понятій, въ началѣ было тѣсно ограничено и одними простыми рѣченіями довольствовалось. Но съ приращеніемъ понятій и само (слово) по малу умножилось“, т. е. ему представлялась развитая позднѣе мысль объ исторіи языка. Что касается русскаго языка, то справедливо замѣчено было, что никто въ то время, даже до Карамзина и Пушкина, не владѣлъ въ такой мѣрѣ непосредственнымъ знаніемъ русскаго народнаго языка, какъ Ломоносовъ. Въ своей академической запискѣ о трудахъ Шлёцера (1764) Ломоносовъ противопоставляетъ ему „природныхъ російскихъ ученыхъ“ и между прочимъ одного (т. е. самого себя), „который съ малолѣтства спозналъ общей російской и славенской языки, а достигши совершеннаго возраста съ прилежаніемъ прочелъ почти всѣ, древнимъ славено-моравскимъ языкомъ сочиненныя и въ церкви употребительныя книги. Сверхъ сего довольно знаетъ всѣ провинціальныя діалекты здѣшней имперіи, также слова, употребляемыя при дворѣ, между духовенствомъ и между простымъ народомъ, разумѣя при томъ польской и другіе съ російскимъ сродные языки“¹⁾. Любопытно, что здѣсь онъ указываетъ различіе древняго русскаго языка отъ „моравскаго“, на который, по его мнѣнію, было переведено священное писаніе. Какъ во всякой начинающейсѣ литературѣ, въ то время шли ожесточенные споры о литературномъ языкѣ (и въ особенности объ отношеніяхъ церковно-славянскаго и народно-русскаго элемента), а также о правописаніи; мнѣнія нерѣдко путались, такъ что иногда защитникъ народнаго элемента (какъ Тредьяковскій) становился опять его противникомъ, а Сумароковъ не однажды попрекалъ Ломоносова неправильностью языка, въ который тотъ будто бы вставлялъ холмогорское нарѣчіе, тогда какъ Сумароковъ гордился тѣмъ, что былъ москвитяниномъ; тѣмъ не менѣе Ломоносовъ, безъ сомнѣнія, гораздо шире всѣхъ своихъ современниковъ понималъ составъ русскаго языка и отношенія его элементовъ. Главный матеріалъ для русскаго литературнаго языка долженъ былъ доставить языкъ народный, который, по мнѣнію Ломоносова, распадался на три главные діалекта: московскій, сѣверный или поморскій, украинскій или малороссійскій: „московскій діалектъ главный и при дворѣ и дворянствѣ употребительный, а особливо въ городахъ, близъ Москвы лежащихъ... Поморскій нѣсколько склоненъ ближе къ старому славянскому и великую часть Россіи занялъ... Малороссійскій больше всѣхъ

¹⁾ Бяларскій, стр. 603—604.

отличенъ и смѣшенъ съ польскимъ“. Московское нарѣчіе Ломоносовъ предпочиталъ другимъ какъ по важности столичнаго города, такъ и по его „отмѣнной красотѣ“; но думалъ, что въ образованіи литературнаго языка должны имѣть долю и другія нарѣчія, подчиняясь только высшему авторитету языка славянскаго. Его отношеніе къ церковно-славянскому языку было вполне сознательное; онъ цѣнилъ его, какъ историческую основу русскаго языка: на немъ создалась богатая литература по греческимъ образцамъ и въ этомъ отношеніи онъ стоялъ выше русскаго народнаго языка, который поэтому могъ дѣлать изъ него заимствованія, какъ изъ привычнаго источника. Поэтому же, славянскій языкъ занялъ мѣсто въ извѣстномъ распредѣленіи трехъ родовъ стила, а именно, языкъ славянскій могъ служить въ особенности для стила высокаго.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ о значеніи того переворота, который совершился въ русскомъ литературномъ языкѣ въ эпоху реформы, и о томъ, какое значеніе имѣла при этомъ дѣятельность Ломоносова ¹⁾. Не повторяя сказаннаго, напомнимъ еще высокое представленіе, какое имѣлъ Ломоносовъ о русскомъ языкѣ. Еще въ 1739 году онъ писалъ: „Я не могу довольно о томъ нарадоваться, что Россійскій нашъ языкъ не токмо бодростію и героическимъ звономъ греческому, латинскому и нѣмецкому не уступаетъ, но и подобную онимъ, а себѣ купно природную и свойственную версификацію имѣть можетъ“. Въ посвященіи „Россійской Грамматики“ в. кн. Павлу Петровичу Ломоносовъ говорилъ (1755): „Карлъ пятый, Римскій Императоръ, говаривалъ, что Испанскимъ языкомъ съ Богомъ, Французскимъ съ друзьями, Нѣмецкимъ съ непріятелями, Италіанскимъ съ женскимъ поломъ говорить прилично. Но еслибы онъ Россійскому языку былъ искусенъ, то конечно къ тому присовокупилъ бы, что имъ со всѣми оними говорить пристойно. Ибо нашелъ бы въ немъ великолѣпіе Испанскаго, живость Французскаго, крѣпость Нѣмецкаго, нѣжность Италіанскаго, сверхъ того богатство и сильную въ изображеніяхъ краткость Греческаго и Латинскаго языка. Обстоятельное всего сего доказательство требуетъ другого мѣста и случая. Меня долговременное въ Россійскомъ словѣ упражненіе о томъ совершенно увѣряетъ. Сильное краснорѣчіе Цицероново, великолѣпная Виргиліева важность, Овидіево пріятное витійство не теряютъ своего достоинства на Россійскомъ языкѣ. Тончайшія философскія воображенія и разсужденія,

¹⁾ Исторія русской Этнографія, т. I.

многообразныя естественныя свойства и перемѣны, бывающія въ семъ видимомъ строеніи міра, и въ человѣческихъ обращеніяхъ, имѣютъ у насъ пристойныя и вещь выражающія рѣчи. И ежели чего точно изобразить не можемъ; не языку нашему, но недовольному своему въ немъ искусству приписывать должны. Кто отчасти далѣе въ немъ углубляется, употребляя предводителемъ общее философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ увидитъ безмѣрно широкое поле, или лучше сказать, едва предѣлы имѣющее море“.

Невольно вспоминаются другія восторженныя слова, сказанныя новѣйшимъ тонкимъ мастеромъ русскаго языка—слова Тургенева въ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“.

Ломоносовъ умеръ 4 апрѣля 1765.

Биографія Ломоносова и полная оцѣнка его научнаго и литературнаго дѣла еще не установлены окончательно. Наиболѣе обстоятельное собраніе фактовъ, главнымъ образомъ по академическимъ документамъ, сдѣлано было Пекарскимъ, въ исторіи Академіи наукъ, т. II. Основные данныя были таковы.

Годъ рожденія Ломоносова былъ неясенъ, и указанія колебались между 1709—1715 годами. Въ собственномъ показаніи первыхъ мѣсяцевъ 1754 Ломоносовъ считалъ себѣ 42 года, такъ что Пекарскій принималъ годъ рожденія 1712. Сухомлиновъ, по другимъ официальнымъ показаніямъ самого Ломоносова, принимаетъ (какъ и старыя біографы) годомъ рожденія 1711, 8 ноября.

Время ухода Ломоносова съ родины также относилось къ нѣсколькимъ годамъ, отъ 1728. Теперь документально выяснено, что Ломоносовъ взялъ паспортъ „не явнымъ образомъ“ въ декабрѣ 1730, въ половинѣ января 1731 записался въ спасскія школы. Житіе его въ это школьное время было тяжелое; въ письмѣ къ Шувалову, 1753, Ломоносовъ говоритъ о своей „несказанной бѣдности“: „имѣя одинъ алтынъ (т.-е. три копейки) въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше какъ за денежку хлѣба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ и наукъ не оставилъ“. Но ученіе шло быстро, и въ январѣ 1736 Ломоносовъ, изъ философскаго класса, былъ вывезенъ въ Петербургъ для дальнѣйшаго ученія при Академіи наукъ, а въ сентябрѣ съ двумя товарищами, Рейзеромъ и Виноградовымъ, посланъ былъ за границу учиться химіи и металлургіи. На первое время, для довершенія общаго ученаго образованія, русскіе студенты отправлены были въ Марбургъ, подъ специальное руководство знаменитаго Христіана Вольфа. Ломоносовъ питалъ великое почтеніе къ Вольфу, который цѣнилъ въ немъ большое дарованіе, но не зналъ какъ быть съ этими питомцами: они, особенно Ломоносовъ, вели весьма бурную жизнь, вошли въ долги; по письмамъ Вольфа въ Академію, эти долги составляли цѣлый лабиринтъ и только по отъѣздѣ русскихъ

студентовъ онъ узналъ истину; при нихъ никто не рѣшался говорить, потому что они „всѣхъ держали въ страхѣ“.

Въ половинѣ 1739, Ломоносовъ переехалъ въ Фрейбергъ учиться горному дѣлу у саксонскаго горнаго совѣтника Генкеля; сначала шло благополучно, но затѣмъ Ломоносовъ съ нимъ поссорился, усумнился въ самой его учености и въ половинѣ слѣдующаго года оставилъ Фрейбергъ. Въ Марбургѣ онъ женился, и послѣ всякихъ тревоженій и блужданій вернулся въ Петербургъ въ началѣ 1741.

Въ Фрейбергѣ была написана знаменитая ода на взятіе Хотина, 1739. Извѣстная легенда о чрезвычайномъ впечатлѣніи, произведенномъ этою одою въ Петербургѣ, именно при дворѣ, не подтверждается документальными фактами. Съ этой пьесы начинается обильное писаніе одъ Ломоносовымъ на торжественные случаи придворной жизни. Биографы осуждали высокопарный и раболѣпный тонъ этихъ произведеній, которыя не однажды оказывались не впопадъ. Въ августѣ 1741 Ломоносовъ писалъ оду на рожденіе младенца Ивана Антоновича, но въ ноябрѣ этого года уже вступала на престолъ Елизавета, при которой истреблялась всякая память этого несчастнаго имени. Въ 1762 онъ писалъ оду Петру III; въ половинѣ этого года въ академической рѣчи, назначенной для торжественнаго засѣданія, онъ говорилъ о Петрѣ III, какъ „наслѣдникѣ родовыхъ добродѣтелей“, но наканунѣ торжественнаго собранія Петръ III подписалъ отреченіе отъ престола, а черезъ нѣсколько дней кончилъ жизнь;—черезъ недѣлю послѣ переворота, Ломоносовъ писалъ уже оду имп. Екатеринѣ... Въ первое время императрица оставалась холодна къ нему, и почитатель ненавистныхъ ей Шуваловыхъ не получилъ никакихъ наградъ, и въ самой Академіи его положеніе ухудшилось. Но Екатерина II умѣла все-таки оцѣнить великую заслугу: извѣстенъ эпизодъ любезности, когда она сама посѣтила Ломоносова (въ іюнѣ 1764).

Это составленіе одъ, какъ выше упоминалось, было чертой вѣка, не только русскаго, но и западнаго. Русскіе начинавшіе писатели находили оду въ своихъ европейскихъ образцахъ; оды писали Фенелонъ и Буало, которыхъ переводили или копировали русскіе стихотворцы: оды писалъ и нѣмецкій поэтъ Гюнтеръ, который былъ образцомъ для Ломоносова. Академія, какъ государственное учрежденіе, должна была поставлять оды, какъ и надписи къ фейерверкамъ и иллюминаціямъ; въ средѣ Академіи нѣмцы, какъ Юнкеръ, Штелинъ, писали нѣмецкія оды, и Ломоносовъ бывалъ иногда ихъ переводчикомъ. Полагали даже, что Юнкеръ, сдружившись въ Фрейбергѣ съ Ломоносовымъ, внушилъ ему первую мысль объ одѣ, которая, — въ тогдашнихъ нравахъ,— была также средствомъ обратить на себя вниманіе и приобрести „милостивцевъ“. Но съ другой стороны, ода была для Ломоносова не однимъ раболѣпствомъ: въ ней находили мѣсто и самыя искреннія его чувства и помышленія, когда онъ превозносилъ дѣло Петра, защищалъ пользу науки, гордился величіемъ отечества.

Какъ далека былъ Ломоносовъ отъ обычнаго тогда раболѣпства, можетъ показать знаменитое письмо его къ всесильному тогда Шувалову,—откуда выписка приведена выше въ текстѣ.

Въ Академіи Ломоносовъ, съ начала 1742, назначенъ былъ адъюнктомъ по физикѣ. По отъѣздѣ академика Гмелина за границу, онъ

сдѣланъ былъ профессоромъ по химіи, и сохранилъ это званіе до конца жизни. Въ 1757 онъ сталъ членомъ академической канцеляріи, и съ 1759 ему поручено было управленіе академической гимназіей и завѣдываніе географическимъ департаментомъ. Кромѣ специальныхъ работъ по физикѣ, химіи, металлургіи, онъ занимался мозаикой, исполнялъ разныя академическія дѣла, къ чему относилось и писаніе одъ и похвальныхъ словъ, и много работалъ для словесности, наконецъ для русской исторіи.

Съ перваго вступленія въ Академію онъ становится горячимъ защитникомъ интересовъ русской науки. Личная несдержанность, даже необузданность приводила, какъ выше упомянуто, ко многимъ крайностямъ; но, выдѣливъ то, что принадлежало личному излишеству и нравамъ вѣка, нельзя не видѣть, что въ основѣ его академической борьбы лежала глубокая преданность дѣлу русской науки—въ томъ духѣ, какъ требовали завѣты Петра Великаго. Официальныя и частныя записки и письма Ломоносова (къ Шувалову, Разумовскому) замѣчательны по силѣ и ясности убѣжденія и мужественному достоинству: во всемъ XVIII вѣкѣ не было ничего имъ равнаго въ этомъ смыслѣ.

Онъ всѣми силами боролся противъ „конечнаго разоренія“, которымъ грозили Академіи его враги—„явные недоброхоты“, „прегордые невѣжды“, „высокомысленные фарисеи“, „высокихъ наукъ ненавистники“, какъ называетъ онъ Шумахера и его союзниковъ (въ числѣ противниковъ его бывалъ и русскій, Теплоуъ, имѣвшій силу при Разумовскомъ). Академическіе непорядки приводили его въ раздраженіе и уныніе. Онъ считалъ вредными и поносительными для русскаго народа узаконенія „быть многимъ иностраннымъ въ профессорахъ и другихъ должностяхъ“. Когда изъ академической гимназіи и университета выходило мало студентовъ, виною этого были именно „недоброхотство къ учащимся россиянамъ въ наставленіи и произведеніи“ (т.-е. въ повышеніи, предоставленіи имъ должнаго). „Шумахеру опасно было происхожденіе въ наукахъ и произвожденіе въ профессорахъ природныхъ россиянъ, отъ которыхъ онъ уменьшенія своей силы больше опасался... Шумахеръ неоднократно такъ отзывался: я-де великую прошибку въ политикѣ своей сдѣлать, что допустилъ Ломоносова въ профессора. И недавно зять его (Таубертъ) отозвался въ разговорѣ о произведеніи російскихъ студентовъ: развѣ-де намъ десять Ломоносовыхъ надобно. И одинъ-де намъ въ тягость“. Когда Ломоносовъ указывалъ необходимость новыхъ, болѣе широкихъ штатовъ для гимназіи и университета, Таубертъ говорилъ, „что куда-де столько студентовъ и гимназистовъ? куда ихъ дѣвать и употреблять? будетъ, — и хотя отвѣтствовано (говорить Ломоносовъ), что у насъ нѣтъ природныхъ россиянъ ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиковъ искусныхъ, горныхъ людей, адвокатовъ и другихъ ученыхъ, ниже самихъ профессоровъ въ самой Академіи и въ другихъ мѣстахъ. Но, не внимая сего, всегда, твердилъ и внушалъ Таубертъ: куда со студентами“... „Иностранные, видя сіе (малое число русскихъ студентовъ)... приписывать должны его тупому и непонятному разуму, или великой лѣности и нерадѣнію. Каково читать и слышать истиннымъ сынамъ отечества, когда иностранные въ вѣдомостяхъ и сочи-

неніяхъ пишутъ о росіянахъ, что-де Петръ Великій для своихъ людей о наукахъ напрасно старался и нынѣ-де дочь его Елисавета безъ пользы употребляетъ на тожъ великое изживеніе“. Въ 1764, онъ настаивалъ на необходимости отправлять природныхъ російскихъ студентовъ въ чужіе края, для окончательнаго обученія, чтобы не выписывать иностранныхъ профессоровъ, чтобы это „безпрочное почти стараніе вовсе оставить, но крайнее положить попеченіе о наученіи и произведеніи собственныхъ природныхъ и домашнихъ, которые бы служили, назадъ не оглядываясь и не угрожая контрактомъ и взятіемъ абшита. А паче всего служили бы къ чести отечеству, которой отъ иностранныхъ нашему народу приписывать невозможно“.

Въ своихъ указаніяхъ объ „исправленіи санктпетербургской Академіи наукъ“ Ломоносовъ настаивалъ на допущеніи всѣхъ къ образованію, безъ различія сословій,—въ то время запрещалось учиться въ академическихъ заведеніяхъ людямъ, положеннымъ въ подушный окладъ. „Во всѣхъ европейскихъ государствахъ, — говоритъ онъ, — позволено въ академіяхъ обучаться на своемъ коштѣ, а иногда и на жалованьи всякаго званія людямъ, не выключая посадскихъ и крестьянскихъ дѣтей, хотя тамъ уже и великое множество ученыхъ людей. А у насъ въ Россіи при самомъ наукъ начинаніи, уже сей источникъ регламентомъ по 24 пункту запертъ, гдѣ положенныхъ въ подушный окладъ въ университетъ принимать запрещается. Будто бы сорокъ алтынъ толь великая и казнѣ тяжелая была сумма, которой жаль потерять на приобрѣтеніе ученаго природнаго росіянина и лучше выписывать! Довольно бы и того выключенія, чтобы не принимать дѣтей холопскихъ“.

Когда шли предположенія объ основаніи московскаго университета, Ломоносовъ принялъ это дѣло къ сердцу: его указанія вошли въ проектъ Шувалова (Пекарскій, Ист. Акад. II, стр. 565 и д.), и онъ представлялъ Шувалову свои планы объ учрежденіи такого же университета въ Петербургѣ. „Едва принимаю смѣлость послать вамъ сіи строки. И нонче бы не послалъ, еслибы меня общая польза отечества къ тому не побуждала. Мое единственное желаніе состоитъ въ томъ, чтобы привести въ вождѣльное теченіе университетъ, откуда могутъ произойти безчисленные Ломоносовы... По окончаніи сего хочу только искать способа и мѣста, гдѣ бы чѣмъ рѣже, тѣмъ лучше, видѣть было персонъ высокородныхъ, которыя мнѣ низкою моею природою попрекають, видя меня какъ бѣльмо на глазѣ“.

Приводимъ еще отрывки изъ письма къ упомянутому Теплому, по поводу тѣхъ же академическихъ дѣлъ... Повѣрьте, я пишу не изъ запальчивости; но принуждаетъ меня изъ многихъ лѣтъ извѣданное слезными опытами академическое несчастье... Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоѣ; да боюсь наказанія отъ правосудія и всемогущаго промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи и нынѣ дозволилъ случай, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодоленію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего въ жизни моей дороже... Буде жъ еще такъ все останется и мои праведныя представленія уничтожены отъ васъ будутъ; то я забуду вовсе, что вы мнѣ нѣкоторыя одолженія дѣлали. За нихъ готовъ я вамъ благодарить приватно по моей

возможности. За общую пользу, а особливо за утверждение наукъ въ отечествѣ и противъ отца своего роднаго возстать за грѣхъ не ставлю... Не употребляйте божьяго дѣла для своихъ пристрастій, дайте возрастать свободно насажденію Петра Великаго. Тѣмъ заслужите не только въ прежнемъ прощенье, но и не малую похвалу, что вы могли себя принудить къ полезному наукамъ постоянству. Чтожъ до меня надлежитъ, то я къ сему себя посвятилъ чтобы до гроба моего съ непріятелями наукъ російскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ; стоялъ за нихъ съ молодю, на старость не покину“.

Въ 1761, въ день рожденія Шувалова, Ломоносовъ послалъ ему письмо, которое справедливо считаютъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ его произведеній. Оно говоритъ „о размноженіи и сохраненіи російскаго народа“ и принадлежитъ къ ряду дѣловыхъ записокъ Ломоносова или „мыслей, простирающихся къ приращенію общественной пользы“: Ломоносовъ перечисляетъ ихъ,—но до сихъ поръ, за однимъ исключеніемъ, эти записки не были найдены. Уцѣлѣвшее письмо только послѣ долгихъ цензурныхъ мытарствъ (съ 1819 до 1871, изложенныхъ въ „Ист. Акад.“ П. 756—758) могло быть издано вполне.

„Это произведение,—говоритъ біографъ Ломоносова,—поражающее и теперь широкимъ взглядомъ, чуждымъ мелочностей и личностей, затрогиваетъ столько вопросовъ, неразрѣшенныхъ и доннынъ; оно все такъ глубоко проникнуто сознаниемъ правоты того, что высказываетъ здѣсь великій писатель; въ немъ повсюду является такое глубокое знаніе своего народа—и при томъ оно написано такимъ прекраснымъ, могучимъ слогомъ, что все это дѣлаетъ письмо Ломоносова о сохраненіи и размноженіи російскаго народа однимъ изъ самыхъ выдающихся произведеній всей русской литературы XVIII вѣка. Независимо отъ этого, письмо для насъ драгоценно и въ томъ отношеніи, что оно бодрѣе, чѣмъ всѣ прочія его сочиненія, знакомитъ насъ съ его взглядами и убѣжденіями въ гражданскомъ и религиозномъ отношеніяхъ“.

Литературная слава началась для Ломоносова уже вскорѣ послѣ его первыхъ трудовъ. Видныхъ людей было немного: въ Академіи нѣмцы его не любили, но должны были признать его ученость; русскіе книжные люди съумѣли понять силу его языка, высокое содержаніе его рѣчей, похвальныхъ словъ и самыхъ одъ; личный характеръ, при всѣхъ необузданностяхъ, внушалъ уваженіе. Къ концу жизни это была установленная слава, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше она упрочивалась. Его литературный соперникъ при жизни, Сумароковъ, довольно долго сохранялъ авторитетъ у литературныхъ старовѣровъ, но этотъ авторитетъ сталъ падать еще при его жизни,—не то было съ Ломоносовымъ.

Въ книгѣ Дмитревскаго, 1768, говорится, что Ломоносовъ „достойнъ быть названнымъ звѣздою первой величины между нашими писателями“. Въ „Опытѣ“ Новикова, 1772, читаемъ слѣдующую характеристику Ломоносова: „Сей мужъ былъ великаго разума, высокаго духа и глубокаго ученія. Сколь отъишна была его охота къ наукамъ и ко всѣмъ человѣчеству полезнымъ знаніямъ, столь мужественно и

вступилъ онъ въ путь къ достиженію желаемого имъ предмѣта... Бодрость и твердость его духа оказывались во всѣхъ его предпріятіяхъ; начавъ учиться иностраннымъ языкамъ въ такихъ уже лѣтахъ, въ коихъ многіе за невозможность почитаютъ въ нихъ упражняться, достигъ онъ до великаго совершенства... А въ знаніи Россійскаго языка, яко его природнаго и имъ много вычищеннаго и обогащеннаго, почитался онъ въ свое время въ числѣ первыхъ. Слогъ его былъ великолѣпенъ, чистъ, твердъ, громокъ и пріятенъ. Предпримчивость сколь часто бываетъ въ другихъ порокомъ, столь многократно ему приобрѣтала похвалу... Нравъ имѣлъ онъ веселый, говорилъ коротко и остроумно, и любилъ въ разговорахъ употреблять острые шутки; къ отечеству и друзьямъ своимъ былъ вѣренъ, покровительствовалъ упражняющимся во словесныхъ наукахъ и ободрялъ ихъ; во обществѣ былъ по большей части ласковъ, къ искателямъ его милости щедръ; но при всемъ томъ былъ горячъ и вспыльчивъ "... (Любопытная, одна изъ немногихъ характеристика Ломоносова отъ ближайшихъ современниковъ).

Развитіе литературы измѣнило оцѣнку Ломоносова какъ писателя. Оно отвергло самую систему, въ которой совершалась дѣятельность Ломоносова, и съ новыми успѣхами поэзіи псевдо-классическая условность и служебная роль панегирика и оды стали обветшалыми и безвкусными; художественная критика не видѣла у Ломоносова истинно поэтическаго творчества; съ успѣхами литературнаго языка складъ рѣчи Ломоносова показался тяжелымъ. При всемъ томъ Ломоносовъ остался великимъ именемъ нашей литературы прошлаго вѣка, и не только какъ первый и сильный русскій ученый, но и какъ высокая созидаящая личность и — характеръ. Имя Ломоносова возбуждало почтеніе и у тѣхъ критиковъ, которые строго осуждали старую систему и отрицали въ Ломоносовѣ поэта; таковы были сужденія Пушкина и потомъ Бѣлинскаго.

Пушкинъ питалъ высокое уваженіе къ Ломоносову, какъ — человеку науки: это былъ „великій человекъ, — между Петромъ I-мъ и Екатериною II-ю онъ одинъ является самобытнымъ подвижникомъ просвѣщенія; онъ создалъ первый университетъ; онъ, лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ, — но въ семъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи не что иное какъ исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій... Эта схоластическая величавость, полу-славянская, полу-латинская, сдѣлалась-было необходимою; къ счастью, Карамзинъ освободилъ языкъ отъ чуждаго ига и возвратилъ ему свободу, обративъ его къ живымъ источникамъ народнаго слова... Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія... Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности — вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ... Ломоносовъ самъ не дорожилъ своею поэзіею... Зато съ какимъ жаромъ говоритъ онъ о наукахъ, о просвѣщеніи". Но въ другихъ случаяхъ, повторяя, что мы напрасно искали бы у Ломоносова „пламенныхъ порывовъ чувства и воображенія", Пушкинъ высоко цѣнитъ его какъ писателя. „Слогъ его, ровный, цвѣтущій и живописный, заем-

леть главное достоинство отъ глубокаго знанія книжнаго славянскаго языка и отъ счастливаго слиянія онаго съ языкомъ, простонароднымъ. Вотъ почему предложенія псалмовъ и другія сильныя и близкія подражанія высокой поэзіи священныхъ книгъ суть его лучшія произведенія. Они останутся вѣчными памятниками русской словесности; по нимъ долго еще должны мы будемъ научиться стихотворному языку нашему“... „У Ломоносова оспаривали весьма неосновательно титуло поэта“... Державинъ ниже Ломоносова въ томъ, что не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка... „Уважаю въ Ломоносовѣ великаго человѣка, но конечно не великаго поэта; онъ понялъ и истинный источникъ русскаго языка и красоты онаго; вотъ его главная заслуга“ (Соч., изд. Литер. Фонда, т. V, 27—28, 220—228, 304; VII, 116 и др.).

Бѣлинскій какъ будто примыкаетъ къ мнѣнію Пушкина о поэзіи Ломоносова, но уже дѣлаетъ къ нему большія ограниченія. Приводя указанныя слова Пушкина, онъ замѣчаетъ: „Въ этихъ словахъ виденъ взглядъ удивительно вѣрный, но тѣмъ не менѣе односторонній“. Бѣлинскій находитъ, что — если прошло лѣтъ десять съ того времени, какъ писалъ это Пушкинъ,—то теперь уже нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ вліянія Ломоносова, и „даже въ старой школѣ“ (т.-е. пушкинскихъ временъ) „видно устарѣлое вліяніе Карамзина, но уже не Ломоносова“. Далѣе, хотя въ извѣстномъ отношеніи вліяніе Ломоносова и было „вредно“, но въ цѣломъ было необходимо и полезно.. Во время Ломоносова намъ не нужно было народной поэзіи: тогда великій вопросъ — *быть или не быть* заключался для насъ не въ народности, а въ европеизмѣ“... „Ломоносовъ былъ Петромъ Великимъ нашей литературы. Отъ его сочиненій (кромя ученыхъ) ничего не осталось теперь для нашего наслажденія, но многое ли осталось теперь и отъ учрежденій Петра Великаго, и похожа ли сколько-нибудь Россія нашего времени на Россію Петра Великаго? А между тѣмъ Россія нашего времени все-таки твореніе Петра Великаго“.

Бѣлинскій замѣчаетъ далѣе, что сужденіе Пушкина вызвано возгласами слѣпныхъ почитателей Ломоносова, какіе въ то время еще были, но что „има основателя и отца русской литературы и поэзіи по праву принадлежитъ этому великому человѣку“. Относительно знанія русскаго языка и относительно стиха, „можно подумать, что Державинъ жилъ и писалъ прежде Ломоносова“. Несмотря на декламаторскій тонъ, у Ломоносова „промелькиваетъ иногда поэтическое чувство — отблескъ его поэтической души“... „Метрика, усвоенная Ломоносовымъ нашей поэзіи, есть большая заслуга съ его стороны... она не даромъ удержалась: она сродна духу русскаго языка и сама въ себѣ носила свою силу“, и т. д. (Сочин. VII, стр. 80—83; VIII, 107; XI, 7—8; XII, 151—155, и др.).

Далѣе, оцѣнка Ломоносова проходитъ еще новую ступень и получаетъ большую историческую опредѣленность. По мѣрѣ того, какъ изученіе старой литературы переходило съ точки зрѣнія эстетической на историческую, значеніе Ломоносова оцѣнивалось еще выше: когда выяснились условія дѣятельности, тѣмъ значительнѣе являлись вложенная въ нее сила и самый результатъ. Восхваленія современниковъ получали смыслъ; историческое наблюденіе видѣло недостатки

лица и слабыя стороны дѣла, — но раскрывало цѣльное явленіе. Ломоносовъ опредѣлялъ жизненное направленіе литературы; онъ устанавливалъ языкъ, къ которому иногда непосредственно примыкалъ Пушкинъ, — хотя и считалъ главнымъ его недостаткомъ „отсутствіе всякой народности и оригинальности“; его необузданность въ академической борьбѣ съ нѣмцами, при всѣхъ крайностяхъ, выражала именно заботу о народности, о собственномъ русскомъ трудѣ и достоинствѣ, ту заботу, которая одушевляла нѣкогда Петра; чувство личной независимости, его отличавшее, обозначало вмѣстѣ первый проблескъ независимости того дѣла, которому онъ служилъ, — науки и литературы. Самое писаніе одъ находить свое объясненіе въ условіяхъ среды.

Высокое значеніе Ломоносова особеннымъ образомъ выразилось и тѣмъ, что такъ называемое славянофильство, осуждая реформу и петербургскій періодъ, не покушалось на Ломоносова. Между писателями, прикосновенными къ этой школѣ, бывали даже великіе поклонники Ломоносова (что, съ нѣкоторымъ удивленіемъ, отмѣчалъ еще Бѣлинскій): такъ, послѣ книги К. Аксакова, въ упомянутыхъ дальѣ сочиненіяхъ В. И. Ламанскаго. У другого писателя, близкаго къ той же школѣ, Н. Н. Стрхова, находимъ нѣсколько замѣчаній, очень справедливыхъ и — мало отвѣчающихъ теоріи о гибельности „петербургскаго періода“.

Относительно подражательнаго псевдо-классицизма Стрховъ говорилъ:

„Отъ Ломоносова начинается у насъ рядъ такихъ европейскихъ вліяній, которые... дѣйствительно вызываютъ къ самодѣятельности нашъ народный духъ... Въ Ломоносовѣ совершилось чудо — созданы произведенія, равныя своимъ образцамъ, и явился языкъ, вполне пригодный для такихъ произведеній.

„Ломоносовская ода есть явленіе удивительное. Искренность и живость многихъ стиховъ поразительны; великолѣпное теченіе рѣчи, которое вполне усвоилъ себѣ только Пушкинъ...

„Нѣтъ сомнѣнія, что въ самой жизни было нѣчто, поддерживавшее высокопарность нашихъ одъ и ходульность нашихъ трагедій. Россія въ тотъ періодъ очевидно питала великія надежды и по временамъ испытывала упоеніе славы... Ясно было, что намъ открывается безмѣрное поприще, всемірно-историческое значеніе; европейская цивилизація тогда еще не пугала и не подавляла насъ, какъ теперь (?), а напротивъ, возбуждала въ насъ только юношескую бодрость и надежду. Эпоха Петра была блистательнымъ заявленіемъ нашего могущества, вѣкъ Екатерины былъ вѣкомъ твердой, громкой славы. Было странно, еслибы литература не отразила въ себѣ того героическаго восторга, который составлялъ самую свѣтлую сторону тогдашней жизни Россіи. Было бы странно, еслибы при такомъ ненатуральномъ, приподнятомъ положеніи народа, литература была натуральною, еслибы она отражала въ себѣ тогдашнюю будничную дѣйствительность, а не тѣ порывы и помыслы, которые носились поверхъ этой дѣйствительности... Періодъ восторга (отъ Ломоносова до Карамзина), періодъ оды и трагедіи принесли и свой положительный плодъ, оставили намъ долговѣчное наслѣдство“...

Но Ломоносову принадлежит еще заслуга создания литературного языка. „Когда явился Пушкинъ, языкъ для него былъ уже готовъ. Языкъ, вообще, есть дѣло очень таинственное. Ломоносовъ, напримеръ, едва ли ясно видѣлъ размѣры подвига, который онъ совершилъ въ этомъ отношеніи. Отлично чувствуя красоты и силы языка, онъ заранѣе вѣрилъ, что найдетъ въ немъ всѣ средства для выраженія своихъ мыслей; создавать, казалось, ничего не нужно было, а между тѣмъ вышелъ новый языкъ, которымъ еще никто до него не писалъ“...

„Ломоносовъ смотрѣлъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ на свои упражненія въ словесности“ (гораздо важнѣе ему были его ученые труды),—„но это не должно насъ обманывать; это только доказываетъ намъ въ тысячный разъ, что великія дѣла дѣлаются безсознательно, и что часто бываетъ не дано человѣку самому понимать свои силы и смыслъ своей дѣятельности...“

„Въ стихахъ и прозѣ Ломоносова послышался какой-то тонъ, раздался неожиданно какіе-то звуки, мощные, широкіе, съ такимъ размахомъ, съ такою мужественною мелодіею, что въ этомъ отношеніи ихъ не превзошла до сихъ поръ наша литература. Въ этихъ звукахъ еще не было опредѣленнаго, яснаго поэтическаго содержанія; они были наполнены избытками риторическими образами, отвлеченными изуродованными преувелеченіями и напыщенными мыслями“. (Здѣсь сказано слишкомъ много: среди реторики у Ломоносова бывало и ни мало не избыточное одушевленіе, и настоящія возвышенныя мысли; выше самъ авторъ говорилъ о „поразительной искренности и живости многихъ стиховъ“, и дальше говорить о „свѣтломъ восторгѣ“). „Но слѣдуетъ также сообразить и то: откуда бы могъ почерпнуть Ломоносовъ содержаніе для своей поэзіи?.. Время было слишкомъ безпокойное; не было ничего установившагося ни въ бытѣ, ни въ понятіяхъ. Но оживленіе было великое... И вотъ раздался его стихи и его проза, въ которыхъ на первый разъ сказалось только неопредѣленное чувство восторга и силы и уловлена музыкальность русской рѣчи. Ломоносовъ, такъ сказать, задалъ тонъ нашей литературѣ. Вспомнимъ, что въ складѣ стиховъ Пушкина вполнѣ повторяется и только развивается дальше складъ Ломоносовскихъ стиховъ. Пушкинъ любилъ тѣ же размѣры, и неподобное теченіе его рѣчи живо напоминаетъ рѣчь Ломоносова“. Больше, чѣмъ поэзіей, Ломоносовъ дорожилъ своими научными трудами. „Могъ ли онъ поставять себѣ въ особенную заслугу, что хорошо владѣетъ русскимъ языкомъ и чувствуетъ красоту и силу его словъ и словосочетаній? Это ему казалось дѣломъ простымъ. Могъ ли онъ сознательно оцѣнить и признать за великое свое достоинство тотъ спокойный и свѣтлый восторгъ, которымъ звучать его стихи? Для насъ, издали, эта вѣра и сила являются великими“... („Борьба съ западомъ въ русской литературѣ“. Книжка вторая. Изд. 2-е. Спб. 1890, стр. 11—14, 35—37).

Литература о Ломоносовѣ весьма значительна. Краткія біографіи находятся уже въ „Опытѣ“ Новикова, въ академическомъ изданіи сочиненій 1784—1787 годовъ, и т. д. Обзоръ біографическаго мате-

ріала сдѣланъ въ „Исторіи Акад. наукъ“, Пекарскаго, гдѣ находится наиболѣе подробная до сихъ поръ, хотя почти только внѣшняя фактическая, біографія (II, стр. 259—963). Далѣе, литература о Л. указана у бібліографовъ:

— В. Межовъ, Юбилей Ломоносова, Карамзина и Крылова. Спб. 1871, стр. 35—56; но особливо:

— С. И. Пономаревъ, Матеріалы для бібліографіи литературы о Ломоносовѣ. Спб. 1872.

Особеннаго вниманія требуютъ слѣдующіе матеріалы и изслѣдованія:

— Сборникъ матеріаловъ для исторіи Имп. Академіи наукъ въ XVIII вѣкѣ. А. Куника. 2 части. Спб. 1865,—а также другіе матеріалы для этой исторіи, въ упомянутыхъ выше новыхъ матеріалахъ для исторіи Академіи, Сухомлинова.

— П. Билярскій, Матеріалы для біографіи Ломоносова. Спб. 1865 (изъ академическаго архива). О странномъ враждебномъ тонѣ Билярскаго замѣчанія у Пекарскаго, II, стр. 261—262, и тамъ же многочисленныя поправки. Впрочемъ, взглядъ самого Пекарскаго какъ будто не совсѣмъ установился: онъ хотѣлъ быть безпристрастнымъ и указывалъ какъ достоинства, такъ и недостатки въ личномъ характерѣ Ломоносова, но иногда говоритъ противорѣчиво. Напр., по поводу мнѣнія Л. объ „исправленіи санктпетербургской Академіи наукъ“, Пекарскій пишетъ: „...При занятіяхъ этимъ дѣломъ Л. видимо увлекся личнымъ нерасположеніемъ противъ тогдашнихъ распорядителей судъбами Академіи и отвелъ полемическимъ выходкамъ гораздо болѣе мѣста, чѣмъ положительнымъ указаніямъ на то, какъ должны быть исправлены замѣченные имъ недостатки“, — но Л. множество разъ указывалъ средства исправленія; и вслѣдъ затѣмъ читаемъ, что въ этомъ самомъ мнѣніи Л-ва находится „очень много мѣткихъ указаній на недостатки дѣйствовавшаго тогда академическаго регламента, на малые успѣхи учениковъ, на причины малочисленности учащихся“ и т. д. (Ист. Акад. II, 573).

— В. И. Ламанскій, Ломоносовъ и петербургская Академія наукъ. Матеріалы къ столѣтней памяти его, 1765—1865 года, апрѣля 4-го дня. М. 1865, въ „Чтеніяхъ“ моск. общ. ист. и древн., и отдѣльно, — по матеріаламъ изъ архивовъ академическаго и государственнаго; — М. В. Ломоносовъ. Біографическій очеркъ (первыя четыре главы; дальше не было), съ приложеніемъ: Столѣтняя память М. В. Л.—у, 4 апрѣля 1865. Спб. 1864; 2-е изд. „Столѣтней памяти“, дополн. Спб. 1865.

— Празднованіе столѣтней годовщины Л-ва 4 апрѣля 1865 г. имп. моск. университетомъ въ торж. собраніи апрѣля 11 дня. М. 1865 (рѣчи Бодянскаго, Буслаева, Лясковскаго, Соловьева, Тихонова, Щуровскаго и Сергіевскаго).

— Памяти Л-ва. Харьковъ, 1865 (рѣчи Н. Лавровскаго, П. Лавровскаго, Н. Бекетова, Борисяка, Леваковскаго).

— Н. Буличъ, Къ столѣтней памяти Л-ва, въ Извѣстіяхъ и Уч. Запискахъ Каз. университета. Казань, 1865, вып. 2—4.

— Н. Любимовъ, Ломоносовъ и петербургская Академія наукъ,

въ Р. Вѣстникѣ 1865, № 3;—I-въ, какъ физикъ. М. 1865;—Жизнь и труды Ломоносова, съ приложеніемъ его портрета, исполненнаго геліотипіею. Часть первая. М. 1872 (второй не было).

— О. Миллеръ, Ломоносовъ и реформа Петра Великаго, въ Вѣстн. Европы, 1866, № 1.

— С. М. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. XXII.

Изслѣдованія о языкѣ и стилѣ:

— Буслаевъ, О преподаваніи отечественнаго языка. М. 1844.

— К. Аксаковъ, Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русскаго языка. М. 1846; 2-е изд. въ собраніи сочиненій, т. II. М. 1875 (объ этой книгѣ подробности у Венгерова, Критико-біогр. Словарь, въ біографіи К. Аксакова).

— А. Будиловичъ, М. В. Ломоносовъ, какъ натуралистъ и филологъ. Съ приложеніями, содержащими матеріалы для объясненія его сочиненій по теоріи языка и словесности. Спб. 1869;—Л. какъ писатель. Сборникъ матеріаловъ для разсмотрѣнія авторской дѣятельности. I. I. Указатель хронологической послѣдовательности учено-литературныхъ работъ Л. II. Особенности его языка и стиля. III. Размѣръ и характеръ его научныхъ средствъ. IV. Отрывки неизданныхъ сочиненій Л. Спб. 1871.

— Е. Будде, Нѣсколько замѣтокъ изъ исторіи русскаго языка по поводу новаго академическаго изданія сочиненія Л-ва, въ Журн. мин. просв. 1898, мартъ.

— В. Истоминъ, Главнѣйшія особенности языка и слога произведеній М. В. Л-ва, въ Р. Филологич. Вѣстникѣ, 1896.

— Самый обширный матеріалъ для изученія научно-литературной дѣятельности Л-ва представитъ академическое изданіе: „Сочиненія М. В. Л. съ объяснит. примѣчаніями акад. М. И. Сухомлинова“ Спб. 1891—1898, доселѣ четыре тома: въ 1-мъ, стихотворенія, въ хронологическомъ порядкѣ, 1738—1751; во 2-мъ, стихотворенія, 1752—1765; въ 3-мъ, сочиненія, относящіеся къ языку и словесности: Письмо о правилахъ русскаго стихотворства, 1739; Краткое руководство къ риторикѣ, 1744; Краткое руководство къ краснорѣчію (книга первая, риторика), 1748; въ 4-мъ: Россійская грамматика и филологическія изслѣдованія; О пользѣ книгъ церковныхъ; Судъ русскаго языка передъ разумомъ и обычаемъ; О нынѣшнемъ состояніи словесныхъ наукъ въ Россіи; Похвальное слово имп. Елисаветѣ Петровнѣ; Слово о пользѣ химіи; Слово о воздушныхъ явленіяхъ; Похвальное слово Петру В.: Слово о происхожденіи свѣта. (Окончаніе изданія готовится).

— О годѣ рожденія Л-ва и первой его школѣ, сообщеніе Сухомлинова: „Къ біографіи Л-ва“, въ Извѣстіяхъ II Отд. Акад., т. I. Спб. 1896.

— Венгеровъ, Русская Поэзія, т. I. Спб. 1897, стр. 76 — 150, 1—11; Примѣчанія, стр. 248—313.

— Е. В. Пѣтуховъ, Эпиграмматическія, сатирическія и шуточные стихотворенія Л-ва, въ Сборникѣ учено-литературнаго Общества при юрьевскомъ университетѣ. Юрьевъ, 1898, стр. 159—166.

Ломоносовъ не однажды былъ предметомъ беллетристическаго изображенія. Таковъ романъ Ксенофонта Полевого: „Мих. Вас. Ломоносовъ“. М. 1836. Разборъ этого романа, писанный Ник. Полевымъ (въ Очеркахъ ист. р. литературы, т. I), повторенъ въ „Р. Поэзіи“ Венгерова, т. I, Примѣч., стр. 301—306. Въ недавнее время Л. выведенъ на сцену въ романѣ Гр. Данилевскаго „Мировичъ“; качества этого изображенія были вѣрно указаны Н. Любимовымъ, въ Р. Вѣстникѣ“, 1879.

1313
3.13

12:30
3.15



3 9015 02293 0187

